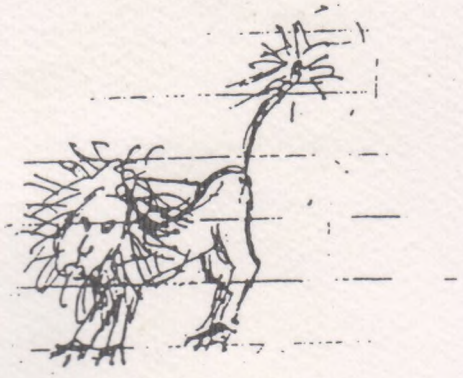
ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
МАРК АМУСИН
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ
ДМИТРИЙ БЫКОВ
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК
ЛЕОНИД ГОМБЕРГ
СЕМЕН ГРИНБЕРГ
ДАВИД ГРОССМАН
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
ВЕРОНИКА ДОЛИНА
ТАМАРА ДУБИНА
ЕЛЕНА ИГНАТОВА
БОРИС КАМЯНОВ
ГЕТА КВЯТ-ЭЙДЕЛАНД
ЮЛИЙ КИМ
ФЕЛИКС КРИВИН
БОРИС КРУТИЕР
АЛЕКСАНДР ЛАЙКО
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
РАХЕЛЬ ЛИХТ
ЮЛИЙ МАРГОЛИН
ДАВИД МАРКИШ
РЕНАТА МУХА
НИКОЛЬСКИЙ
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА
ИЛАН РИСС
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
АЛЕКС ТАРН
ВЛАДИМИР ХАНАН
МАРК ХАРИТОНОВ
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ
ИГОРЬ ШНАЙДЕРМАН
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН
РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ
ЛИДИЯ ЭЙДУС
И ДРУГИЕ

24-25



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים - עלי ספרות

2007 ' 24-25

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 24 25 2007

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
и Дмитрия Борисовича ЗИМИНА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

8467

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ספר זה הוענק ע"י
המשרד לקליטת עליה
ועיריית חיפה



И Е Р У С А Л И М

24 25 2007

Иерусалимский журнал, № 24-25, 2007

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: **www.antho.net/jr/**

Союз израильских русскоязычных писателей
Творческое объединение «**Иерусалимская антология**»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор), **Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь: **Леонид Левинзон**

Художник: **Сусанна Черноброва**

Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Редактура и корректура: **Бина Смехова, Любовь Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютина, Василий Емельянов, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс**

Издательство «СКОПУС» Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке

Литературного фонда
имени Исаака Бабеля

Совета по литературе и искусству
при Управлении национальной лотереи
«Мифаль а-паис»;

Дома наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2007. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**
E-mail: review@antho.net Тел. (972) 29960827; 544745322; 26451288

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Представители «Иерусалимского журнала» в других странах:

Москва – **Игорь Грызлов**, 5507747; igorgr@dol.ru
Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru
Нью-Йорк – **Андрей Грицман**, 1-201-2250090; agritsman@msn.com
Чикаго – **Александр Блинштейн**, 1-847-6761134; blindotcom@yahoo.com
Ефим Котляр, 1-847-5819304; yefim.kotlyar@sbcglobal.net
Бостон – **Татьяна Гольдмахер**, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
Будапешт – **Жужа Хетени**, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu
Париж – **Владимир Смехов**, vladimir.smekhov@free.fr
Торонто – **Илья Липес**, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – **Ольга Кравченко**, 08-9971014. ***Ариэль*** – **Самуил Кушниров**, 03-9365452
Афула – **Любовь Серегина**, 04-6492095. ***Герцлия*** – **Леонид Шейнкман**, 09-9502681
Кфар-Саба – **Виталий Кабаков**, 09-7673293. ***Лод*** – **Михаил Гиль**, 08-9201291
Реховот – **Марк Павис**, 08-9353758. ***Хайфа*** – **Михаил Басин**, 04-8213657

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

Семен Гринберг

ГОРОДСКОЕ

(2002)

* * *

Конь медный учрежден в саду Моше Баръама,
Что назван в честь министра или зама,
Который строил якобы и пас Иерусалим.
Но вот, преставился и этот господин
И город на него оборотил вниманье.
По совпаденью
И в день убийств на перекрестке Пат
Припомнилось, что много лет назад
Я спрашивал себя на Сретенском бульваре,
Где дождик моросил, и Брежнев был в ударе,
И в рамках праздника гремел советский джаз,
И листья сыпались, летая и кружась:
«Увижусь ли когда с подобною листвою?»
Но город превзошел своею красотою.

* * *

Мой дед по матушке не дожил до седин,
Что говорить – не догулял, не допил,
Глаз потерял под городом Мукден,
И взгляд на снимке долу опустил.
Я никогда его не видел в профиль.
Зато царил
В TV-программе «Взгляд»
Хаим Явин,
Лицом напоминающий картофель,
И царствию сему уже под пятьдесят,
Живучий, падло, точно Мефистофель.

Однажды, оросив общенародный кафель,
Я налегке пошел в Библейский зоосад,
Детей прибежище, пристанище баранов
И обиталище кошачьих всех сортов,
Где добрый попугай из Сезуана
Встречал пришедшего картавым «Бокер тов».

* * *

Это был не похожий на прежнее сад,
Где олени рогами в решетки стучат,
И красотки торгуют своими телами,
И заезжие немцы за пивом сидят,
Или даже не сад, а общественный дом,
Вспоминаемый нынче с известным трудом,
В переулке поблизости Грауэрмана
(В наше время весьма популярный роддом).
Были там занавески на каждом окне,
И хватало толкующих наедине,
Под конец упираясь друг в друга носами,
И до самого пола свисали кашне.

* * *

Там еще обретался невинный подвал.
В оны дни мы его покидали гурьбой,
Вслед за чем помаленьку терял, забывал
Одного за другим по дороге домой.
И пустая Покровка казалась сродни
Нелюдимыя Шломо а-Мелех, зане
Лишь арабы пока оставались в тени
На другой стороне.

* * *

Итак, по городу, в котором ни души,
Или, скорей, одни сплошные души,
В последнюю неделю октября,
Когда под вечер холодно уже,
Я шел за девочкой, чьи волосы были зачёсаны за уши
С сережками из янтаря.

Была ли разница меж этой и другой,
С которою под стук балтийских побрякушек,
Болтавшихся, как на фронтовике,
На нынешней Тверской
У магазина заграничных книжек
Бранились на родимом языке...

* * *

Как рассказывал молодой старичок,
Оказавшийся после московским евреем,
Мол, всего достает – у Почтамта сучок,
Портвешок в заведении за Колизеем,
И не след волочиться на Вал Земляной,
Где кончается плоская наша землица,
За которым просвечивает Разгуляй –
Заграница.
От Боброва по Чистым и из года в год,
Где трамваи стучат, хоронясь листопада,
Ниоткуда не видно, где солнце встает,
И не надо.

* * *

Все померли, куда ни погляди.
Моей учительнице, Вере Алексевне,
Коли жива, за семьдесят давно.
Лет двадцать как уже не крутит бигуди,
До осени скрывается в деревне,
Употребляет белое вино.

Она и муж её, что нынче погребён на Масличной горе,
Красавцы, как Монтан с Симоной Синьоре,
Были прописаны в Бобровом переулке.
Я был для них, понятно, мелюзгой,
Когда Французский хлеб назвали Городской,
Точней, не хлеб – по семь копеек булки.

* * *

Я видел, как ломается хамсин
И всё перемещается в природе.
Лил дождь, и было нечто вроде
Весны священныя среди родных осин,
Когда все профили, похожи на медаль,
Брели по направлению к Манежу,
Минуя Телеграф, Националь
И пьяненького Юрия Олешу.

ЮРИЙ ОЛЕША

И не пошёл смотреть китайский цирк,
И пропустил концерт корейских танцев,
Не слушал Гедике и пару иностранцев,
Что из Бетховена слепили фейерверк,
И не увидел Комеди Франсез,
Хотя и говорил немножко суетливо,
Что, вот, уже двадцатый съезд КПСС,
А всё печатают суждения невежд,
Жена сказала и, возможно, справедливо,
Мол, дело в пиджаке и, так сказать, отсутствии одежд
Действительно, пальто на воздусях,
И руки в рукава проскальзывают мимо,
И возраст наступил за шестьдесят
Неуловимо.

* * *

Тебя послушать, нету никого
И город получается Некрополь.
Выходит, мы покинули его,
А он почти такой же, как всегда,
И кипарис вполне заменит тополь,
И та же минеральная вода.

И в интерьере
Едва ль не государево клеймо
На шифоньере
Или трюмо.

СОНЕТ

Трюмо есть зеркало. Когда про Пастернака
Упомянул сидевший супротив,
Я тотчас подхватил заезженный мотив
И развивал его с усердием маньяка.

Открылись двери, и вошел без стука
Составивший поздней об этом апокриф.
Он сел, на скатерть локти поместив,
И предсказал: Сейчас начнется драка.

Но мы не гневались, мы были нетрезвы.
Из-за окна, где притаилось вади,
Смотрелися четыре наши головы,
И доносилась, прорезая мрак,
Осенняя пальба арабских свадеб,
Пугая одомашненных собак.

НОЧНОЙ РОМАНС

Фонари остаются, но нет никого,
Окна меркнут и гаснут, опричь одного,
Но и там уронили прозрачные шторы
И читают аббата Прево.

Вереницы олив у подножья бугра
Берегут свои формы почти до утра,
Появляя на свет кружевные узоры,
Словно пробу пера.

А поздней, когда всё еще нету шести,
И в подъезде мужик начинает мести,
Дочитала роман и сказала Синьора:
Здравствуй, грусть, или наоборот, не грусти.

* * *

Послушаем, постой, поговорим,
Пройдем, протиснемся кварталом Бухарим,
До перекрёстка, где пиццерья SBARRO,
Которая у многих на слуху,
И дальше примостимся наверху,
Под потолком пустеющего бара,
И разглядим в отверстое окно,
Откуда клумбы розового цвета
Являют нарушенье этикета,
Поскольку много белого чего –
Само светило выглядело белым,
И улица, закрашенная мелом,
И всех, кто попадался, между делом,
Не миновало это вещество.

* * *

По ней не скажешь, что произошло
Тогда или в больнице Бейт-Адасса,
Где их переписали набело,
Бог знает, что пришлося испытать,
Осталась чуть заметная гримаса
На память, как разыскивали мать,
Чьи ноги, две бутылки кока-кола,
Лежали порознь, но невдалеке,
И аппарат системы Моторола
Позвякивал в откинутой руке.

* * *

Не любопытствующий. В четырех стенах
Любезны мне простецкие предметы
И, скажем, надписи на вилках и ножах,
На книжных корешках, пластмассовых пакетах,
А что до бытия в заморских городах,
Что там поделывают, пьют, во что одеты,
Каков экономический размах?
Не знаю, я не думаю про это.
Я не поеду в Царское Село,
В Париж и Осло (правильно Ослó),
Ни даже в музеон, недалеко Лондóна,
Где всякий экспонат лелеют сотни лет,
И можно видеть яблоню Ньютона
И Диккенса младенческий скелет.

Давид Гроссман

ВАССЕРМАН[*]

После того, как не сумели убить его и с третьей попытки, решили препроводить наглеца в канцелярию начальника лагеря. Молоденький эсэсовец по фамилии Хопфлер, успевший уже, несмотря на свой юный возраст, получить офицерский чин, подбадривает его отрывистыми выкриками «Шнель!» и сам легкой рысью поспешает следом. Я очень хорошо представляю себе их обоих, перемещающихся таким манером из Нижнего лагеря, в котором расположены газовые камеры, по направлению к основному. Вот они достигли прохода между двумя рядами колючей проволоки, замаскированной для благопристойности и отрады глаз веселенькими зелеными кустиками. Через этот коридор прогоняют новые партии заключенных: голые ошалевшие от ужаса люди бегут между двумя шеренгами охранников, не скупящихся на удары дубинок и для острастки науськивающих на них рвущихся на поводках громадных злющих собак. Узники прозвали этот путь «шлаух» – труба; а немцы, с присущим им юмором, «химелштрассе» – дорога на небо.

Аншел Вассерман облачен в пеструю шелковую мантию, достойную королевской особы, настоящую царскую порфиру. На шее у него подвешены большие круглые часы, при каждом шаге пребольно ударяющие и по груди, и по коленям. Он необыкновенно худ, спина скрючена, на лице проступает колючая щетина. На затылке торчит уродливый горб. На всех сотнях и тысячах лагерных фотографий, прошедших через мои руки, я ни разу не видел узника, одетого столь затейливо. В данный момент они пробегают мимо плаца, где ежедневно проводятся построения, и останавливаются наконец перед помещением коменданта лагеря. Вассерман задыхается и с трудом держится на ногах. Окна мрачного двухэтажного деревянного барака задернуты занавесками. На двери прибита небольшая металлическая табличка: «Комендант лагеря», рядом, на передней стене, красуется доска побольше: «Строительные работы: компания «Хорнбахер, Лейпциг», и компания «Шмид Минстерман». Все это, включая мельчайшие детали планировки и оформления, давно знакомо мне, я отлично знаю, как выглядел любой нацистский лагерь снаружи и изнутри, а также с воздуха, но сейчас мне не хватает главного. Хопфлер сообщает что-то украинцу-часовому, возвышающемуся у входа, и тут Вассерман слегка поворачивает голову и устремляет взгляд на меня. На мгновение наши глаза встречаются – на один лишь краткий миг, но я вдруг чувствую себя как новорож-

---

[*] Первая глава из третьей части романа «Смотри статью "Любовь"».

денный младенец, отданный в надежные добрые руки, потому что в удушье и тумане последних месяцев совершенно разуверился в своей способности что-либо понимать, а тем более писать, и этот взгляд приходит так вовремя, как столь необходимая дружеская поддержка, как нежное ободрительное похлопывание родной трепетной ладони, и все части мозаики, только что такие непостижимые и несхожие, абсолютно чуждые друг другу, мгновенно встают на свои места и складываются в ясную картину. Дедушка Аншел узнал меня, и я почувствовал это. Но сколько в его взгляде недоумения и страха! Несчастный старик – за дверью его ожидает встреча с комендантом лагеря оберштурмбанфюрером Найгелем. Я начинаю колебаться: может, нельзя мне, непозволительно, еще раз подвергать его этому испытанию, бесчестно и жестоко снова возвращать его туда, в логово нацистского зверя, но что же мне делать? Без его помощи я не справлюсь – ведь это он побывал Там. К тому же он, как видно, один из тех немногих, которые знают дорогу обратно, которые, вопреки всему, сумели выбраться наружу, так что если уж я решился наконец войти туда и перешагнуть эту страшную черту, то предпочтительней сделать это с ним.

Теперь дверь открывается, и они заходят внутрь. Вот он – герр Найгель. Наконец-то! Совсем не такой, каким я представлял его себе на протяжении всех этих лет. Не мясник с багровой физиономией и свирепой кровожадной ухмылкой. Хотя действительно крепкий мужчина: мощный широкий торс ладно сидит на длинных упругих ногах. Крупный развитый череп. Слегка лысеет: это нетрудно заметить даже несмотря на то, что темные жесткие волосы коротко острижены. Две глубокие залысины. Лицо необыкновенно массивное, тяжелое, прямые четкие линии носа, лба, бровей. В тех местах, которых не касается бритва, кожа покрыта едва заметным темным пушком: это придает всем чертам оттенок мрачности и дикости. Рот маленький, тонкие губы сжаты с каким-то подчеркнутым усилием, во внешних уголках глаз читаются привычное презрение ко всему окружающему и умело дозируемая агрессивность. Общее впечатление от всего облика в целом: перед вами человек сильный и властный, не желающий, однако, привлекать к себе излишнего внимания. Не помню, чтобы мой дедушка когда-нибудь упоминал его официальное воинское звание, он всегда обращался к нему, будто к гражданскому лицу: герр Найгель, то есть, можно предположить, что постепенно между ними даже возникла какая-то близость. Не исключено, что тут имела место своего рода сделка. Я пытаюсь угадать, как Найгель называл дедушку. Поганый жид? Жидовская морда? Жидовское отродье? Нет, мне кажется, что нет. На этом грузном лице лежит неизменная печать сухости и деловитости, и тотчас становится ясно, что «жидовская морда» ни в коем случае не годится. Подобные выражения тут излишни. Немец поднимает голову от аккуратно разложенных на столе бумаг. Подавляет недовольство по поводу неожиданной помехи.

– Да, унтерштурмфюрер Хопфлер? – спрашивает он хмуро. Голос у него низкий и солидный – можно сказать, даже грозный.

Хопфлер докладывает о странном, да, чрезвычайно странном, абсолютно необъяснимом случае. Найгель окидывает подчиненного быстрым оценивающим взглядом и отрывисто переспрашивает:

– Пробовали? Что значит – пробовали?

– Да, командир, именно так: пробовали расстрелять, но остался жив.

– А в душегубке тоже пробовали? – интересуется Найгель с некоторой издевкой.

– Да, командир.

– И газом, говоришь, травили?

– Да, командир. С этого начали.

– А что же другие? Может, газ был некачественный?

– О нет, командир! Все, которые были там внутри вместе с ним, скончались как обычно. Не произошло ничего из ряда вон выходящего. Только он один...

Найгель поднимается со вздохом нетерпения, вернее, раздражения – вот на что тратится его драгоценное время! Машинально проводит ладонями по своим идеально отглаженным брюкам, застывает на минуту в раздумье, пальцы его невольно тянутся к серебряному знаку различия в правой петлице – эмблеме его дивизии в виде человеческого черепа, – но так и не дотрагиваются до него, а лишь порхают в некотором расстоянии над ним.

– Уж не шутка ли это, унтерштурмфюрер Хопфлер? – спрашивает комендант устало.

Молодой офицер заверяет, что нет, вовсе не шутка – разве посмел бы он шутить? – и принимается снова, запинаясь, пересказывать все с начала. Одним небрежным мановением указательного пальца Найгель отсылает его вон и приказывает вернуться через несколько минут, «чтобы убрать отсюда труп». После того, как проведет тут небольшую проверку. И когда этот недотепа, несозревший для настоящей мужской жизни субъект, рохля, олух, остолоп, молокосос, что там еще?.. Одним словом – желторотый, ни на что путное не способный новичок выходит, еще мгновение смотрит ему вслед тем взглядом, которым люди, достигшие определенного возраста и положения, провожают выскочек, по сию пору решительно не способных ни с чем справиться самостоятельно. «Подумать только, ничего не могут сделать как следует без нас!».

Он вытаскивает револьвер из кобуры, подвешенной на форменном ремне, – великолепную блестящую черную игрушку, заряженн...

Минуточку! Что же это происходит?! Ведь он действительно хочет выстрелить в моего дедушку Аншела! Подождите... Я отвожу взгляд в сторону и вижу небольшие аккуратные плакатики, укрепленные на стене над рабочим столом Найгеля. Краткие сентенции, продиктованные характером времени: «Фюрер, при-

казывай, мы следуем за тобой!»; «Под нашими знаменами – вперед к победе!»; «Ответственность перед нижестоящими, исполнительность перед вышестоящими!».

Однако Найгель не теряет времени, он делает несколько решительных шагов по направлению к дедушке Аншелу и приставляет пистолет к его виску. Я слышу вдруг собственный вопль, я кричу вместе с дедушкой Аншелом от ужаса и злости, выстрел гремит в тесном пространстве комендантского кабинета. Дрожащим голосом дедушка бормочет, словно бы про себя, но в то же время как бы желая поделиться пережитым:

– Какое-то жужжание пронеслось у меня в голове, острая вибрирующая игла пронзила мой бедный мозг от уха до уха, и представь, голова оленя, бесчувственное деревянное изделие, висевшее над дверью, сорвалось, *нэбэх*[*], со стены и грохнулось об пол, и один рог обломился. Здравствуй, Шлеймеле, мальчик мой, я узнал тебя, хотя ты очень изменился с тех пор, – и не говори мне, пожалуйста, ничего. Знаешь, как сказано: времени в обрез, а дел невпроворот. Есть у нас тут одна история – рассказ, который обязаны мы досказать.

Вот так, этими самыми словами, он начал говорить со мной. Не в полный голос, разумеется. Вообще не в голос – совершенно беззвучно, хоть и отчетливо. По его излюбленному выражению, «в сердце своем», и в данном случае это представляется мне ближе всего к истине, к точному определению нашей беседы. Слабый, процеженный сквозь слой песка шорох тысячи ракушек, не речь, но какое-то безостановочное шелушение слов, так чистят почерневшие от сажи и копоти каменные стены, чтобы заставить их снова засверкать первозданной белизной, так отделяют зерно от мякины и сора. Лущение слов, для которых нет существования в мире звуков, но которые необходимо записать. Дедушка Вассерман говорил со мной на том изысканном старомодном языке, которым некогда записывал свою повесть. Теми самыми словами, которые я обнаружил в обрывке старой пожелтевшей газеты, хранившейся с начала века в сундуке бабушки Хени, и которые теперь множились и рассыпались во мне искрами радости и боли. Это был первый раз, когда он внятно и подробно заговорил о своем рассказе, первый раз, когда из его уст полилась связная речь, доступная моему пониманию. Рассказ этот действительно был для него всем в жизни, самой его жизнью, и каждый раз он должен был сочинять его заново. Однажды, когда он был явно опечален и с грустью раздумывал о своем неизбежном поражении, вдруг вздохнул и признался, что тянет и тянет эту историю, подобно Сизифу, приговоренному богами вкатывать в гору тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, каждый раз вновь низвергается в пропасть. А потом извинился за то, что никогда не достает у него ни сил ни времени выслушать меня, поинтересоваться моим собственным рассказом, но по его разу-

[*] Нэбэх (идиш) – бедолага.

мению, все равно все рассказы в мире скроены из одного-единственного самого главного рассказа, «и разница только в том, что иногда ты являешься тем, кто обречен толкать камень в гору, а иногда ты сам становишься камнем преткновения».

Однако чем же занят сейчас наш немец, этот Найгель? Он потрясен. Потрясен и обескуражен. В полнейшем недоумении смотрит он на дедушку, затем на еще теплый револьвер в своей руке, хватает старика за голову и принимается с силой вертеть ее из стороны в сторону, пытаясь обнаружить след от пули. И не найдя нигде ни малейшей царапины, спрашивает жестким сухим голосом на хорошем польском языке (мать его фольксдойче, и кроме того, он обучался этому языку на курсах СС):

– Ты что, умничаешь тут со мной, паршивый жид?!

Мне важно пояснить: последние два слова он едва выдохнул, правильнее сказать, вообще проглотил – губы его беззвучно скривились, дернулись и тут же сомкнулись. Но ведь ясно, что он обязан был произнести нечто в этом роде, какое-то проклятие или ругательство, чтобы скрыть свое немыслимое изумление и потрясение, которым ни в коем случае не полагалось отразиться на его суровом незамысловатом лице. Аншел Вассерман поспешил с ответом:

– Представьте себе, господин, у меня тоже нет этому никакого объяснения, и ведь заметьте – это уже в четвертый раз! И если угодно будет господину, если соблаговолит господин озаботиться тем, чтобы я уже, не приведи Господь, скончался и умер... Если как-нибудь... Ведь нет больше мочи моей страдать и терпеть все эти мучения, не осталось дыхания в груди моей, последние силы мои иссякли!.. В самом деле так...

Найгель слегка бледнеет и отступает на шаг, а Аншел Вассерман продолжает тянуть тем же гнусавым плаксивым голосом:

– Неужто господин комендант полагает, что мне приятно и любезно все это или что я тешу себя какими-то надеждами?

В наступившей напряженной тишине постепенно нарастает и разматывается зудящая нить знакомого мне с детства унылого завывания: Аншел Вассерман бормочет себе под нос свою нескончаемую повесть: излагает свои взгляды и воззрения, претензии и догадки, в тысячный раз твердит одни и те же слова. Пальцы мои разжимаются, я выпускаю из рук перо писателя, потому что сейчас тут есть кто-то, кто нуждается в нем больше, чем я. Тот, кто долгие годы ждал, чтобы рассказ этот был записан. Он понимает мое состояние.

– Ну, что сказать, Шлеймеле? Эсав, конечно, был вне себя, душонку свою мелкую позабыл от злости и удивления, да, представь, и от удивления тоже, но ведь я правду сказал ему. Истинно так – жаждал я ее, избавительницы, скорого конца желал себе, тлена в костях моих. И даже нынешним утром, когда погнали меня в эту камеру, где напускают на нас губители наши эту отраву, удушье это, и когда стреляли они в меня, и потом забрали в эту холеру, в грузовик этот, который люди прозвали душегубкой,

и тогда тоже призывал я к себе смерть, чтобы смилостивилась надо мной и забрала меня наконец. Но что оказалось? Оказалось, что есть у меня, как видно, некоторый небольшой проблем, и может, действительно, нужно показать меня доктору? А что, ведь я действительно истосковался очень по этому, чтобы поскорей умереть, и в газовой камере, когда глядел на меня Залмансон своим последним затухающим взором, ведь при последнем издыхании он уже находился, трепыхался, *нэбэх*, как несчастный цыпленок, но еще сумел сделать мне такой знак рукой, как будто сказал: что это с тобой, Вассерман? И я, ну что мне оставалось делать? Наклонился я к самому его уху и прошептал тихонько так, чтобы другие не слышали, к чему огорчать людей? «Сожалею, Залмансон, но выяснилось, видишь, что имеется во мне какое-то небольшое нарушение, дефект какой-то такой. Может, от природы это во мне, врожденное такое уродство, не про нас будет сказано». Ну, вокруг все бьются в последней агонии, и корчатся, и кашляют, и выворачивают наружу внутренности свои, терпят страсти Саула, и весь мир – средоточие ада. Вся команда дантистов, с которыми я проживал, полных три луны проживал я с ними со всеми, задыхаются они и извиваются от непосильной муки, и один только Аншел Вассерман торчит себе, как глиняный истукан, свеженький, полный сил и здоровья, прямой и стройный, как нераскрывшаяся пальмовая ветвь. А он, Залмансон, услышав слова мои, еще начал смеяться, так начал смеяться, что лучше бы мне вовек не слышать этого его смеха! Будто хохот и рыдание вместе, представь, дикий предсмертный вой и хохот одновременно, так я это услышал, и ужаснулся в душе своей, и не знал, что мне делать, и тут он вдруг умер. Раньше всех умер. Обмяк весь, обомлел и умолк. И важно, чтобы ты знал, Шлеймеле: еврей Шимон Залмансон, единственный мой друг, главный редактор детского журнала «Малые светильники», скончался в газовой камере от жуткого неудержимого хохота, прямо-таки бесовского какого-то смеха, и я полагаю, что это, несомненно, подходящая смерть для такого человека, человека его склада, который верил в то, что Господь открывается людям только посредством радости и веселья, всяческого юмора и насмешки. Да, Шлеймеле!..

Теперь мы все трое молчим. Я смотрю на старого согбенного неудачника: лицо его похоже на то, которое я знал, но еще более исхудалое и изможденное. Эта жалкая костистая лысина, желтая задубевшая кожа, покрытая пятнами громадных противных веснушек, широкий плебейский нос, почерневшее, будто вымазанное сажей, лицо, нелепо сужающееся к подбородку. «Чтобы я так жила, говорила мне бабушка Хени на идише, как ты похож на него!» – «Что ты выдумываешь! – сердилась на нее мама, с подозрением поглядывая на единственную сохранившуюся фотокарточку маленького Аншела. – Неужели ты не видишь? Посмотри, какой нос у этого, и какой у этого!».

Найгель огибает свой широкий стол, спасительным брустверо м отгораживающий его от Вассермана, останавливается у

кресла и задумывается. Погрузившись в раздумья, он беззвучно вздыхает и втягивает щеки.

– Нет! – восклицает он внезапно и решительно ударяет кулаком по столу. (Вассерман втягивает голову в плечи и бормочет в испуге: «Чтобы только, не дай Бог, не испустил мне тут дух!»). А немец снова повторяет грозно: – Нет! Этого не может быть! – И с высокомерной ухмылкой, тоном, в котором одновременно звучат издевка, обвинение и назидание, объявляет Вассерману: – Мы осуществляем тут великую, грандиозную задачу, выполняем работы колоссального масштаба. И ни разу, никогда еще мы не ошибались и не терпели поражения!

Дедушка мой еще сильнее сгибается, сжимается в жалкий ничтожный комочек в своей роскошной бессмысленной мантии.

– Сосудом, наполненным стыдом, был я в тот час, Шлеймеле!.. А что ты думаешь? Удовольствия мне это не доставило. Ты ведь знаешь, не люблю я понапрасну мозолить людям глаза, тем более не имею обыкновения никого задирать. Как говорится, дразнить гусей. И для чего их дразнить, для какой надобности? Разве не хватает у нас несчастий без этого?..

Он пытается успокоить и ободрить Найгеля:

– Господин комендант, я полагаю, вам следует рассматривать это недоразумение, то есть, этот мой небольшой проблем, как незначительное, совершенно ничтожное, ну, просто не имеющее никакого практического значения статистическое отклонение, а что, почему бы и нет? Попробуйте взглянуть на это маленькое затруднение именно так. Статистика, и все!

Но Найгелю не до шуток, Найгель не просто ошеломлен и разгневан, он напуган.

– Статистика?!

И его страх невольно передается Аншелу Вассерману.

– Нет, не дай Бог! Что я такое сказал? Не обращайте на меня внимания! Ах, Боже мой, какой я дурак! Просто обыкновенный старый дурак. А!.. Выжил из ума, болтаю невесть что. Я только, извините, подумал, что у вас, у немцев, как раз имеется особое отношение к числам, можно сказать, большая симпатия. Это общеизвестно. А тут получилась такая игра статистики. А что? Ведь даже я удостоился здесь у вас замечательного, чрезвычайно полезного номера, а я – что я такое, в сущности? Кто я такой и что я в этом смыслю? Разве я что-нибудь понимаю? Могу осознать что-нибудь такое величественное, вроде, как вы, господин комендант, изволили выразиться, какую-нибудь такую грандиозную задачу колоссального масштаба? Не могу, и половины не смыслю! Но логика, верно? Здравый смысл. Здравый смысл тут подсказывает нам, что поскольку некоторые подымаются и уничтожают, не дай Бог, миллионы и миллионы людей во всем мире, может случиться – пардон, еще раз извиняюсь и прошу всяческого прощения, – но согласно статистике может случиться, что один или двое из их числа, этих, подлежащих уничтожению, да, именно так, что же тут невозможного? Не про-

сто возможно, но более, чем возможно! – обязаны быть исключения. И вот получается, что один или двое являются исключением: не умирают, и все тут!.. Что делать? Некоторые умеют умирать, а некоторые – ничтожное такое количество, всего один или двое, не умеют! Ну да... Как сказано, не дано им вкусить...

Найгель подается всем своим мощным корпусом вперед, глаза его сужаются, ужасное подозрение вспыхивает в сознании:

– Двое? Вас двое?!

– Нет, что вы, господин комендант, сохрани Бог! Почему вдруг двое? Это я просто так сказал, аллегорию привел. Пример. Как будто из области искусства. Не надо пугаться. Ничего страшного. Предположим, просто так, ради статистического допущения, что двое...

Он пытается изобразить на своем лице заискивающую улыбку, но вряд ли эта кривая вымученная гримаса способна успокоить и расположить к нему немца. Ему становится ясно, что все его пояснения и извинения, любое произнесенное им слово, только усугубляют положение. Найгель еще минуту пристально разглядывает его, как исследователь, изучающий в микроскоп доселе неизвестное науке насекомое. Затем отводит взгляд, вздыхает то ли обиженно, то ли раздраженно, а может, удивленно, или презрительно, выпячивает верхнюю губу, подтягивает ее к носу и издает неопределенный задумчивый звук – нечто вроде протяжного «хм-м-фф...».

Садится и обхватывает голову руками. Внезапно нашим глазам предстает не гордый покоритель стран и народов, а растерянный и беспомощный человек. Человечек. На столе дребезжит телефон, Найгель что-то отрывисто лает в трубку и с грохотом бросает ее на рычаг.

Вассерман усмехается так, что только я могу это видеть:

– Испугался, ей-богу, испугался, Фриц Фрицевич! Можешь ли ты представить себе такое, Шлеймеле, осознать своим разумом, вообразить в душе своей, какую заковырку подсунул Господь, да будет благословенно Имя его, этому Эсаву? Еврея, не подвластного смерти! Сразу, единым мановением длани своей разрушил все их злодейские замыслы! Представь себе – вся чудесная и стройная система дала трещину и пошатнулась, вся дивная мечта развеялась в одночасье, как дым в поднебесье! И что, если, не дай Бог, и к другим евреям приклеилась эта премудрость бессмертия? И что будет здесь с этими хоромами, с этим бараком и со всем нашим замечательным лагерем, со всей этой любезной машиной уничтожения и истребления, с достославным узилищем, изобилующем всеми видами адских мук, со всеми порождениями изуверского зла и коварства, что станется с этой превосходной фабрикой смерти – да, что станется с ней, если нет смерти?! А фюрер, что с ним? Как выдержат его нежные нервы такое потрясение, когда дойдет до него прискорбная весть о еврее, перечеркнувшем все его великие программы, посягнувшим на основы основ его построений, на зеницу ока его?

Вассерман отваживается слегка приподнять голову, оглядывается по сторонам и бормочет:

– И увидел я, Шлеймеле, что комната уставлена шкафами и сундуками, прямо как канцелярия какого-нибудь настоящего почтенного офицера, мудрого военачальника: кругом карты и планы, и всякие надписи и объявления, и полки, доверху набитые, чтоб не сглазить, всяким добром, драгоценными папирусами, целыми томами секретных документов, пухлыми папками разных инструкций, и на каждой изображение орла, и порадовался я за Найгеля, что живет он в таком почете, будто знатный вельможа, и никто не смеет задеть его честь, даже красивую бляху повесили ему на шею, награду такую, воистину позлащенную серьгу, что вдевают в ухо любимого раба, знак величия прицепили на грудь, вроде как главному евнуху или министру.

Но тут осторожный стук в дверь прерывает его рассуждения, и оба они – Найгель и Вассерман – одновременно вздрагивают. На пороге стоит Хопфлер.

– В чем дело? Чего ты хочешь? – спрашивает Найгель раздраженно. Вид у него утомленный и измученный, мужественное лицо внезапно посерело и осунулось.

Хопфлер смотрит на живого и невредимого Вассермана и с каким-то фамильярным сочувствием кивает Найгелю. Найгель не реагирует на это неуставное поведение подчиненного, он погружен в глубокое мучительное раздумье. Хопфлер напоминает ему – с явной тревогой в голосе:

– Господин оберштурмбанфюрер приказал мне явиться, чтобы забрать труп.

Теперь мы с дедушкой становимся свидетелями того, как Найгель умеет гневаться. Принимает решение гневаться и тотчас переполняется бурным негодованием. Именно так: прежде всего решение, затем уже волна неподдельного гнева. Грудь его мгновенно превращается в скороварку, в считанные секунды доходящую до кипения, в паровой котел, готовый взорваться от сверхкритического давления, весь избыточный пар ударяет сначала в шею, затем в голову, со свистом прорывается в лицо и окрашивает его в багровый цвет.

– Ой, Шлеймеле, – стонет Вассерман, – как я, не приведи Господь, изучил весь этот процесс, сколько раз наблюдал воочию! Каждый день в пятом часу пополудни выходил он, Найгель, прогуляться вроде бы по садику, подышать как будто морским воздухом... И взял себе за правило самолично при этом расправиться с какой-нибудь партией рабочих, возвращавшихся от трудов своих за пределами лагеря. И продвигался не торопясь от придирки к придирке, и наливался, как индюк, гневом – а что? Разве не хватает, к чему придраться? И разжигал ярость свою, будто на медленном огне подогревал ее. Выбирал себе какого-нибудь несчастного и стрелял в него из своего нагана, да, как будто в припадке праведного гнева стрелял в него... Раз-два, и готово. И тут успокаивалась мелкая его душонка. Но для того, чтобы выстрелить,

должен был сначала довести себя прямо-таки до белого каления, в первую минуту лицо его делалось красным, будто обваренное, так что опасался я, что вот-вот хватит его удар, но потом вся кровь отливала, уходила из него неизвестно куда. В точности так... И мгновенно это удавалось ему, будто долго копилось где-то в носу у него что-то такое грозное и опасное, а потом в единый миг извергалось адским пламенем наружу. Взрывалось черное сердце его от злобы. Но это я уже после изучил его повадки. А в тот день сопляк этот Хопфлер попался ему под горячую руку, удостоился, как говорится, царской милости. Весь затрясся от страха, агнец невинный, но может, это не от страха, может, от обиды его трясло, разволновался, понятное дело, что командир так вот, ни за что ни про что унизил его, задел его честь, и в присутствии кого? Такого поганого еврея, как я! И проникся я состраданием к несчастью Хопфлера, и пока Найгель, можно сказать, снимал с него стружку, топтал ногами и драл за уши, отвернулся я, отвел взоры свои в сторону, нашел им, знаешь, взорам своим, другое место, и мыслям своим нашел пристойное занятие, стою себе неприметно, будто и нет меня тут, делаю вид, что вспомнил вдруг о кораблях своих, ушедших в дальнее плаванье...

Раздавленный и побитый как собака Хопфлер убирается прочь, и с лица Найгеля мгновенно сползает выражение гнева. Как будто он сдирает его, выражение, как сдирают шкурку с ошпаренной колбаски, и выбрасывает в мусорную корзинку. Разумеется, эти неожиданные метаморфозы в поведении Найгеля еще больше пугают Аншела Вассермана. Он пригибается еще ниже, так что косточки горбатого затылка торчат теперь, как гребень на спине динозавра. Найгель встает и принимается нервными шагами мерить комнату. Останавливается позади Вассермана, и старик, на мгновение потерявший опасность из виду, в тревоге и испуге ищет ее позади себя, словно слепой птенец, сердцем уловивший вдруг, как коршун приближается к его гнезду.

– Имя! – требует Найгель.

– Аншел Вассерман, ваша честь.

– Возраст!

– Возраст? А... Должно быть... Я полагаю... Около шестидесяти, надо думать. Да, пожалуй, что шестьдесят... Что-нибудь такое...

– К кому ты приписан?

– Приписан?

– Кому ты принадлежишь?

– А... Кайзлеру, коменданту Нижнего лагеря господину Кайзлеру.

– Чем занимаешься?

– Я? Ах, да... Ну, чем... Можно так выразиться, ваша милость, что все это время я проживал с дантистами. Ну, этими, которые снимали золотые коронки у покойников. Да. Ну, а сам-то я, в общем, не был дантистом. Хм-м... Да, не был...

Найгель сверлит его раздраженным непонимающим взглядом.

– Не был?

Вассерман, с какой-то странной застенчивостью:

– Не был, ваша честь. Нет, даже не помогал...

– Чем же ты в таком случае был, черт тебя подери?

– Я? Ну, чем уж я там таким особенным был?.. Шайсмайстером я там был, да. Вот так...

Найгель невольно отодвигается от него и брезгливо морщит нос. А дедушка поясняет слабеющим и заплетающимся от страха языком:

– Но господин комендант Кайзлер, по великой милости своей, разрешил мне раз в неделю мыться, да, ваша честь, даже щелок и мыло выдавал мне по великой доброте своей, ей-Богу, выдавал, Его благородие, то есть, господин Кайзлер, да... Чтобы не чувствовались нехорошие запахи.

Немец презрительно усмехается. Вернее, усмехается у него один только рот, глаза остаются совершенно неподвижными и холодными.

– Интересно... Шайсмайстер... Надо же – именно шайсмайстер!.. Именно говночист не способен умереть... Признаться, это нечто такое, о чем мне еще не доводилось слыхивать... Ха, а может, мы тут открыли поразительные, неведомые ранее свойства дерьма?

Все правильно, значит, мой дедушка Аншел действительно был надзирателем за отхожими местами в Нижнем лагере, ответственным за их четкое функционирование. Белла, да будет память ее благословенна, бывало говорила про такие вещи: «*А ихес, ехус* – семейные связи и знатное происхождение».

У Найгеля возникает некий план, но он еще не вполне уверен. Это чувствуется по его голосу.

– А если... Если, например... Мы привяжем тебя к четырем грузовикам... И двинем их в четыре разные стороны...

Маленький печальный еврей недоверчиво покачивает головой и остужает его пыл трезвым предположением:

– Весьма опасаюсь, господин комендант, что в таком случае вы получите на свою голову эти самые четыре грузовика с серьезными повреждениями.

– И в этом, разумеется, никто тут не заинтересован, – произносят они оба одновременно и, будто сговорившись, по-польски.

Удивительной серьезностью отличается этот нелепый диалог. На минуту их взгляды встречаются, и они с интересом изучают друг друга. Как видно, какое-то давнее суеверие, наследие мрачного средневековья, или просто ребяческий страх перед необъяснимым явлением заставляет Найгеля ухватиться за край рукава, украшенного величественной эмблемой человеческого черепа. Я догадываюсь, что так делали в той деревне, где он родился, пытаясь уберечь себя от сглаза и от порчи. Есть такое поверье, что собеседникам грозят неведомые бедствия, если они оба разом произносят одно и то же слово. Но может, немец старается защититься от иной, гораздо худшей опасности – не знаю, о Найгеле я знаю слишком мало. Это ради дедушки Аншe-

ла я вошел в Белую комнату. На разгадывание прочих загадок у меня нет сил.

Найгель заносит что-то в свою черную записную книжицу, а Вассерман замечает вдруг, что на столе немца стоит, оборотной стороной к нему, Вассерману, фотография в красивой рамочке.

Он бормочет мне:

– Разумеется, я пустился в догадки, кто это там запечатлен? Что за счастливчик изображен на этом портрете – какая-нибудь ласковая к нему полячка? Или папа-мама его любезные? Или, может, уж не побоимся сказать, сам сиятельный мазила из Линца, дядюшка Вольф собственной персоной? Чтобы у Эсава имелись дети, такого я, честно признаться, тогда не подумал, ей-богу, не представлял себе, что у него... Чтоб мне так жить...

Теперь – ведь должно же это наконец случиться! – Найгель вдруг припоминает что-то:

– Как ты сказал? Вассерман? Хм-м... Вассерман... – он листает свою книжицу, и равнодушный взор его задерживается на имени, только что записанном там. – Странно... Как будто знакомая фамилия... Где-то я ее слышал... Определенно слышал... А впрочем, чего там – все вы либо Вассерманы, либо Перельманы, либо Зильберманы! Скажи мне, не бывал ли ты случайно... Нет, ерунда... Глупости!

Конечно, глупости! Но перед немцем стоит старик, тощее изможденное лицо которого озаряется вдруг радостной улыбкой. Будто пьяная оранжевая луна заглянула внезапно в комнату и осветила ее дивным светом.

Вассерман:

– Понимаешь, Шлеймеле, поскольку он сказал то, что сказал, не удержался я, выпросталась из утробы моей эта дурацкая улыбка и поползла по устам, как ластящаяся к хозяину кошка. Потому что удивление Эсава мне как раз было известно. Правда, именно так, я даже и вопросы предвидел, которые последуют после моего ответа – ведь люди всегда говорят одно и то же, нет у них свежих, еще не использованных слов, – но клянусь жизнью, не верил, что возможно такое: чтоб приключилась со мной подобная история и докатилась слава моя аж досюда! С этим...

И медовым голосом, приправленным вдобавок оливковым маслом, объясняет Найгелю с превеликой скромностью, потупив взоры:

– Нет, господин, лицом к лицу не сталкивались мы с вами вовек, но не исключено тем не менее, что все-таки встречались, ей-ей, так. Если дозволено мне будет открыть господину коменданту нечто такое забавное, анекдотец такой, хм-м... Ведь был я когда-то писателем меж народа израильского, то есть, сказывал детишкам разные враки и выдумки, сказки всякие сочинял для милых моих ягняток и печатал в журналах, и перекладывали их, случалось, на разные языки, как говорится, переливали из одного сосуда в другой, и даже на чудесный ваш немецкий, который ни с чем не посягну сравнить, ну да, так...

И прибавляет еще кое-что, чего Найгель не может слышать:

– Аншел, Аншел, старый черт, все ищешь почета и восхвалений, да?.. Когда ты уже уймешься?! – И вслед за этим, со сдавленным вздохом, будто с покаянным смирением, но в то же время как бы ища себе оправдания: – Вот ведь до чего поглупел! Смеет уповать, дурень несчастный, что и у них, у немцев – чтоб они сдохли уже! – были эти россказни – как бы это выразиться? А, чего уж там – да, и у них были они весьма и весьма известны и популярны. Но надеяться вдруг, чтобы и он, этот убийца, чудище это стозевно, читал их? Фу, Аншел, это уж слишком! Помутился твой разум или ты вовсе его лишился? Неужто до того зазнался, что позволяешь себе такое бесстыдство, мерзкое такое тщеславие? Забыл, нечестивец, что даже самому мудрому знатоку Писания дозволена только единая малая капля из всех капель гордости?

А для Найгеля продолжает Вассерман вслух – с некоторой обидой и, как ни странно, вовсе не ослабевшей жгучей жаждой признания, которая, возможно, не чужда отчасти и мне:

– И уж если как-нибудь нечаянно попадались тебе на глаза эти мои писания, то должен ты, господин, верно, помнить мое прозвище, то есть то, что писали рядом с моей фамилией в этих журналах, потому что если видел ты однажды... Шехерезада я там значился! Аншел Вассерман – Шехерезада!

Действительно ли мы уловили искру восторженного восхищения, вспыхнувшую в глазах Найгеля? Неужто и в правду расширились его зрачки от невольного изумления, с которым он, к чести своей, тут же справился? Справился, как и положено такому человеку, как он. Уж не слишком ли поспешно справился?.. И я, и Вассерман одновременно слегка наклоняемся вперед, словно подтянутые одной ниточкой.

Вассерман:

– Неужто вспомнил? Неужто узнал? А, фу! Не спорь, Шлеймеле, он узнал! И не осуждай меня, пожалуйста, и не объявляй виновным. Да, ожидал я от него какого-то такого слова, хоть полсловечка, возгласа, взгляда, тихой безмолвной исповеди, надеялся, что скажет: «А, так это ты?! Ничего себе! Тот самый, кого мы читали, рассказами которого зачитывались, и ждали их, и так любили, что даже вырезали из журнала и хранили!». – И насупившись, прибавляет мой дед строго: – И пусть не кажется это тебе пустяком, Шлеймеле, тысячи и десятки тысяч детей читали в те дни мои сочинения! Ведь «Сыны сердца» публиковались во многих детских журналах по всей Европе. И еще пять лет назад встречались мне новые выпуски – и не платили мне за них ни копейки! – но зато дети всех стран писали мне, летели их письма и открытки ко мне из Праги и даже из Будапешта! И я расскажу тебе маленький анекдот: ведь даже в этом проклятом поезде, в этом транспорте, который привез нас сюда – чтоб подавиться ему собственным дымом! – в жуткой тесноте и давке, и невозможно поверить, как нас толкало, и мотало, и бросало во все стороны, и голод вы-

грызал внутренности, и голова кружилась от слабости – и там, представь себе! – бросился вдруг ко мне не такой уж молодой еврей, но, правду сказать, и не слишком старый, с красным ожогом в пол-лица, и прокричал мне в уши, что будучи ребенком читал мои рассказы – все до единого! Несчастный человек, ведь более десяти лет трапезничали мы с ним вместе, в один и тот же час ужинали в пансионе Файнтуха на улице Кредитова. Я сижу тут, а он напротив. И понятное дело, там ни разу не заговорил он со мной, ни о чем не заговорил: ни о хорошем, ни о плохом, может, как сказано, боялся потратить толику от своих сокровищ, вероятно, что так, и вот тут, в поезде, начал, нэбэх, тосковать по моим сказкам и плакать от этой тоски, ну, что сказать? Гордись собой, сочинитель! Ведь нашел человек, о чем убиваться в такую минуту. О чем тосковать в свой последний час!.. А я уже ничем не мог утешить его... На этот раз ничем не мог утешить...

Найгель откидывается в своем кресле и играет небольшой линейкой. Наконец произносит:

– Я не разбираюсь в литературе, шайсмайстер.

И Вассерман, без всякого злого умысла, от обычной простоты своей, бормочет в ответ:

– Ну, господин, это, как говорится: кому что выпадет. У каждого свое ремесло. – И тут же бледнеет от ужаса, осознав вдруг значение сказанного.

Но Найдель не вскакивает с места и, как видно, вовсе не собирается обрушить на него удары своих стальных кулаков. Он даже не вызывает украинца-охранника, приставленного к дверям, чтобы тот проучил завравшегося еврея. Найгель смотрит на него долгим задумчивым взглядом и словно бы размышляет о чем-то чрезвычайно важном, вычерчивает линейкой кругленькие восьмерки и внушительные нули, и чем дольше он этим занимается, тем сильней каменеет у него какой-то мускул с правой стороны челюсти. Потом линейка словно наливается новой энергией и начинает со странной напористостью выписывать в воздухе угловатые семерки и размашистые четверки, и возможно, таким образом оповещает мир о том, что у Найгеля созрело и выкристаллизовалось какое-то решение. А Вассерман, напротив, продолжает трястись от страха и до сих пор не смеет поверить, что не заплатит еще дорогой ценой за свой длинный язык, за непростительную свою наглость.

Вассерман:

– Возможно, Шлеймеле, потому промолчал и не разбушевался по своему обычаю Эсав, что ощущал собственное бессилие, как говорится, руки оказались коротки, и с другой стороны, очень уж, видно, захотелось разгадать загадку, узнать, что тут за фокус-покус такой кроется за этим моим бессмертием, вот и остудил свой нрав убийцы, отступил от заведенного злодейского правила, вроде бы пропустил мои слова мимо ушей. А может, потому так себя повел, что всякий лев, будь он как угодно грозен, а любит, чтобы приходил к нему маленький ничтожный мышонок и немножечко щекотал ему лапу, ту самую ямочку между

пальцами, ведь, что ни говори, оба ощущают при этом капельку величия, как сказано: обнаглел мышонок, и не гневайся, лев, возрадуйся и усмехнись. А с меня и этого было довольно.

Но немец удивляет его еще больше, когда просит, чтобы помог ему припомнить некоторые подробности из тех глав, которые он читал.

Сочинитель весь заливается краской смущения и удовольствия.

– И не знал я, Шлеймеле, что еще осталось во мне столько крови – в той мере, сколько требуется, чтобы покраснеть щекам моим, как у настоящего живого.

А мне, признаться, как-то неловко и стыдно видеть его таким напыщенным идиотом. Он стыдливо опускает глаза, ломает пальцы и польщено усмехается.

– А, что там! – притворно скромничает наш автор. – Такое старье, можно сказать, обноски драные... Сказки для детишек, не более того... Но дети как раз любили. Да... А уж как критики радовались появлению каждого нового эпизода!.. Не все, разумеется, так, некоторые из них... «Сыны сердца» называлась эта моя повесть. Печаталась в журналах по главам, из номера в номер, значит. Каждую неделю – новый эпизод. Целые серии выстраивались. И герои мои, то есть Сыны сердца, все были отважные отроки из разных стран. С вашего позволения, один даже был из наших, а еще двое поляки, один армянин, и русский тоже был среди них, ну, и они постоянно, просто беспрерывно, можно сказать, воевали с темными силами, да, с черными силами зла воевали, пусть ваша милость не обижается, это же все враки и фантазии, просто, что называется, игра воображения, вымышленные такие приключения! С разбушевавшейся стихией воевали, с мором и голодом, и прочими бедствиями, и со смертельными неизлечимыми болезнями, и природными катаклизмами, и с человеческими несправедливостями тоже, злодействами и уродствами нашими, с безобразиями разными, и пожарами, и воцарившейся внезапно тьмой беспросветной, и вот, к примеру, спасли жизнь одному маленькому армянскому мальчику, на деревню которого напал турок и резал всех поголовно – и старика, и младенца, – еще до большой резни это было, в конце прошлого века... В машинах времени летали юные мои рыцари... Такой трюк я там выдумал. Ей-ей... А один раз помогли неграм – в давние еще времена, когда американцы мучили их и тиранили, и хотели погубить безвинно... Да... И один раз включились отважно в деятельность того мудрого врачевателя – забыл я теперь его имя, вывалилось оно из моей пустой башки, – который пошел войной на микробов, чтоб их холера забрала! – тех, что вызывают бешенство. И еще приняли они однажды сторону Робин Гуда, разбойника, который воевал с богачами там, что называется, в туманном Альбионе. Ну, что еще там было? Всего не упомнишь... Были еще краснокожие, которых постигло ужасное бедствие, и пришли мои дорогие отроки и забрали их из родной

земли, в самом деле так, прямо туда, на Луну, то есть, в просторы мироздания забрали, и спасли от злодеев, и даже композитору вашему великому помогли Сыны мои, Людвигу Ван Бетховену, который к тому времени совсем уже, *нэбэх*, оглох, и юные врачеватели бросились ему на помощь и перехитрили его недуг, и еще всякие такие случаи, а, о чем тут говорить! Вздор, господин мой, сущие пустяки, так – лишь бы позабавить детские умы... Но в то же время, скажу я тебе, рассказы мои давали отчасти представление обо всяких истинных событиях, и все в форме похождений и приключений... Занимательным, как говорится, путем. Исторические эпизоды упоминались, великие личности. И главное, старался я, чтобы не уставали малыши от учения, а так вот постепенно впитывали всякие премудрости, помещенные в любезные их сердцу сказки... Такие, скажу я вам, по большей части безделицы... Ерунда, болтовня всякая, а!.. Не стану кривить душой, любил я это!..

Найгель терпеливо выслушивает это во всех отношениях сомнительное перечисление, сдобренное немалой долей бахвальства и самолюбования, втягивает время от времени щеки и смотрит на Вассермана прищуренными глазами. Мне кажется, что легкий румянец выступает на его лице, и даже когда сочинитель наконец замолкает, немец продолжает смотреть на него, словно прислушивается к какому-то дальнему отзвуку чего-то милого и сокровенного, продолжающего звучать в его душе.

Вдруг он встряхивается, откашливается, с внезапным раздражением проводит рукой по лицу:

– А что это за мерзкий наряд на тебе, можешь ты мне объяснить?

Вассерман слегка удивлен.

– Это? Так ведь... Это шутка такая коменданта Кайзлера... Он приказал, комендант то есть, чтобы его шайсмайстер облачился в самые невозможные одежды, и даже утрудил себя и лично разыскал для меня пуримский костюм одного уважаемого раввина. Шляпа тут выполнена с особой выдумкой: украшена звездами и золотой бахромой, как у какого-нибудь знатного вельможи, и восемь кисточек на ней было, но одна вот, сдается мне, пропала – отскочила по дороге, когда я бежал сюда. Ай, в самом деле жалко, что отскочила!..

– А часы? – не успокаивается Найгель. – Часы для чего?

– Тоже более для смеха, ваша честь, еще одна такая выдумка коменданта Кайзлера. Он полагал, и возможно, справедливо, что узники слишком часто посещают отхожее место, и что работа от этого страдает, и поэтому взял меня от всего прочего стада и сделал, ну да, я уж говорил, шайсмайстером, даже указатель времен повесил мне на шею, и отмерил точный срок для личных наших, так сказать, нужд, для каждого, с позволения сказать, посещения, то есть пребывания... Две минуты постановил, и не секундой больше, две минуты отвел нам на наши потребности, по великой своей милости.

И обращается ко мне шепотом, с горечью и досадой в голосе:

– Ну, и что, ты думаешь, случилось, Шлеймеле? Я тотчас получил жуткий приступ геморроя. Зубы, говорю тебе, раскрошил, стискивая, чтобы не орать и не выть от боли. А потом – все, закрылись для меня врата рая и опечатаны были его двери. Запор, как говорится, на веки вечные. Но по крайней мере, хоть в том посчастливилось мне с этими отхожими местами, что лишен я в некотором смысле чувства обоняния, не то чтобы напрочь лишен, но различаю только приятные ароматы, а дурные вовсе не улавливаю, с детства обделен этим наслаждением. Что тут говорить, умный сам поймет...

– Да, – подтверждает Найгель с легкой издевкой, – у Кайзлера имеется воображение. А скажи, Вассерман, ведь с этим его воображением он, наверно, тоже мог бы стать писателем? Как ты полагаешь?

Вассерман думает: «Как бы не так – фиг тебе! Накоси выкуси!» – а вслух говорит: – Мог бы и еще как мог бы, определенно мог бы.

Найгель – спокойно:

– А ведь я в точности знаю, что ты сейчас думаешь, говночист. В своем маленьком еврейском сердце ты сейчас радуешься и ликуешь, и твердишь себе: «Наци – писателем? Ни в коем случае! Никогда наци не сможет быть настоящим писателем. Они, которые тут, не умеют они почувствовать ничего человеческого». Признайся, Шехерезада, прав я в своем предположении?

Разумеется, он прав. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он прав. И я знаю, каков будет ответ моего деда. Я даже стараюсь снабдить его фактами. Так, например, в школе СС, в фюрершуле в Дахау возле Мюнхена (где наверняка проходил курсы усовершенствования и Найгель), на классной доске постоянно красовались священные лозунги, гласившие: 1. Основа основ: партийная дисциплина! Главное – повиновение. 2. Воля и горячее стремление выполнить приказ преодолевают любые сомнения и постыдные слабости, как например, проявление жалости и сочувствия. 3. Любовь к ближнему оставим для немцев, верным заветам Адольфа Гитлера.

И когда я вижу, что Вассерман все еще колеблется, я вручаю ему неотразимый и несокрушимый ответ, который он может без всякого опасения высказать Найгелю. Ответ, который изобрел для нас, по милости своей, сам Адольф Гитлер, заявив в своей речи в Берлине в тридцать восьмом году: «Совесть – это еврейские штучки». Фраза, которую бригадный генерал СС Юрген Штруп, немецкий комендант Варшавы в период восстания, растолковал следующим образом: «И тем самым освободил нас, членов партии, от каких-либо угрызений совести и от самой совести как таковой».

И вот теперь эта сентенция катится к Вассерману, как брошенный с силой кегельный мяч.

– До такой степени? – не верит он. – Ай, тяжелую ношу возложил на нас мазила из Линца, пусть у него будет добрый и краткий год! – но вслух говорит Найгелю:

– Не дай Бог мне даже помыслить такую вещь про ваших соратников, господин!

– Трус! – бросает Найгель с презрением, очевидно вполне оправданным. – Ты лжец и презренный трус! Я мог бы еще както уважать тебя, если бы ты не был таким низким лжецом и трусом. – И подкрепляет свои слова надменной ухмылкой. – И такая мерзкая, ничтожная тварь, готовая ползать на брюхе, берется воспитывать подрастающее поколение в духе высоких идеалов и массового героизма! Учить беззаветной отваге и гордости! Интересно, на основании чего ты вообразил, что тебе дозволено наставлять и направлять твоих юных читателей? Ведь твои гнусные подлые мысли прямо-таки торчат из тебя!

Еврей:

– Сохрани Господь, ваша милость! Мне – наставлять и направлять?.. Кто я такой, чтобы наставлять и направлять?.. Упаси Бог...

И тут же мне:

– Разумеется, Шлеймеле, тут он угадал – боюсь я его и еще как боюсь! Пуще огня боюсь. А что ты думал? Что мне радостно стоять тут перед ним? Что благодать растекается по моим членам при звуке его голоса, что вожделею я слышать сладость его изречений? Душа уходит в пятки при каждом его взгляде и движении! Посмотри на него и посмотри на меня: он такой громадный, чтобы не сглазить, сущий медведь, вепрь стопудовый, лев рыкающий, тело, как железная болванка, а я? Смелость мне тут подходит, как мудрость ослу. Даже когда случится нечаянно – застрянет палец мой в ушке чайной чашки, тотчас обливаюсь я весь холодным потом от ужаса, словно попал в охотничий капкан, а теперь... Ну, поди рассказывай этому гою, как трясутся все мои кости, как дрожат все поджилочки!

Немец, тоном раздумья:

– Итак, подытожим: мы имеем тут старого трусливого еврея, который в силу какого-то недоразумения не умеет умирать, и к тому же он еще немножечко сочинитель. А почему бы нам, собственно, не устроить маленькую шутку – не щелкнуть слегка по носу Штауке?..

Вассерман: Пардон, ваша честь?

Найгель: Доктор Штауке, мой заместитель...

Вассерман: А, да, сдается, и я с ним малость знаком. И как же ваша милость собирается его щелкнуть?

Найгель: Ведь Штауке, прохвост, обнаружил тут Шейнгольда.

Вассерман (мне): Ну, ты сам понимаешь, Шлеймеле, у меня все кишки и все внутренности перевернулись в утробе в ту же минуту. Причем тут Шейнгольд, и причем тут я? Шейнгольд этот, может, и ты прослышал как-нибудь стороной о его славе, был дирижером самых лучших оркестров в самых роскошных ресторанах Варшавы. Но и его не миновала скорбная наша до-

ля – тоже прибыл сюда с одним из транспортов, да, несколько лун назад прибыл, и уже был раздет донага, и бежал по «шлаухе», и отведал украинских дубинок – чтобы гадкая болезнь поразила их, этих украинцев, чтобы десны у них распухли и все зубы выпали! – и прочитал уже «Шма Исраэль», и почти что затолкали уже его внутрь, как говорится, в ихнюю святая святых, и вдруг докладывает кто-то Штауке, что за птица попалась к нему в силки, и кто он, этот Шейнгольд, и что он такое в музыке. И Штауке в ту же минуту берет его ото всех и приказывает ему тут же устроить в лагере первоклассный оркестр, даже дирижерскую палочку из янтаря, скипетр, так сказать, дирижера, вручает ему, и Шейнгольд, разумеется, не верит своему счастью, благословляет Господа за чудесное свое спасение и, собравшись с силами, подбирает оркестр на славу! И не успокоился, пока не представил на хорошую ногу и хоры: мужской и женский, потому что человеческий голос, Шлеймеле, не мешает тебе знать, – основа музыки, и присоединил к ним несколько исполнителей на скрипке и на флейте, а ты, верно, слышал, мой мальчик, как обожают сыны Эсава всякие оперы и кантаты, и особенно получают от них огромное удовольствие после того, как обагрили руки свои нашей кровью, потому что у них, видишь ли, тонкая душа, и иногда, в торжественные дни Рейха или самый главный их праздник – день рождения крошки Адольфа, чтобы вспомнил уже о нем Господь и дал ему новую душу, – удостаивались и мы небольшого подарка: послушать музыку, и прекрасные звуки ее в ушах наших были как пение арфы, и гобоя, и кимвала, и бесподобного органа в Иерусалимском храме. Ах, какая это была песнь! Умела она оторвать душу человека от бренного его тела и отправить ее к своему источнику... Да... А открывали каждый концерт лагерным гимном, ну... Ой, Шлеймеле, тут не только мотив, тут и слова имели значение: «Здесь у труда есть вкус жизни, долга и дисциплины, будь исполнителен, тогда малое счастье, та-та-та (забыл!), засияет однажды и нам...». Да. Ну, а еще играли марш польской армии: «Мы, перша бригада», и завершали, на десерт, так сказать, песней, которую написал один из наших по мелодии из кинофильма «Девушка из Пущи». Губки оближешь и язык проглотишь!

Найгель все еще молчит. Раздумывает о чем-то. Я замечаю вдруг какую-то несообразность в его лице: нос и подбородок очень крупные и определенно свидетельствуют о силе и решительности, во всяком случае, в первый момент производят именно такое впечатление. Глаза тоже приковывают к себе внимание, под этим взглядом каждый вскоре невольно начинает ощущать смутную неловкость и беспокойство. Но потом тебе открывается, что есть в этом громоздком властном лице мертвые зоны, попросту никакие, лишенные всякого смысла. Не по возрасту дряблые щеки, например, и слишком широкий плоский лоб. Все участки, ответственные за речь и мимику, в том числе и

нижняя губа, и ложбинка под ней, абсолютно ничего не выражают, ни одна черта характера не сумела укорениться там. Но сейчас, без сомнения, главенствуют нос и подбородок.

– Слушай, говночист, – произносит он наконец, – есть у меня небольшая идейка. Что-то такое, что, возможно, позволит тебе остаться в живых и даже устроиться тут получше. Видишь ли...

Вассерман весь съеживается, пытается спрятаться в своей пышной шутовской мантии, словно в раковине, и бормочет оттуда еле слышным дребезжащим и скрипучим голосом:

– По правде сказать, не испытываю я такого желания... Остаться в живых...

Найгель задет и обижен. Глаза его как будто захлопываются на мгновение и вовсе исчезают с лица. Рассыпаются в прах.

– Ты понимаешь, что ты говоришь, шайсмайстер? Я предлагаю тебе жизнь, более того – хорошую жизнь! Здесь!

На что Вассерман возражает с боязливой просительной ноткой:

– Тысяча благодарствований, ваша милость, но не могу я. Такой вот, с вашего позволения, маленький каприз, не стоит даже и говорить об этом. Извините меня, конечно...

– Ой, Шлеймеле, ты не видел взгляда, который бросил на меня Эсав. Как укол шпаги. Такие у него, не про нас будь сказано, глаза! Один взгляд, и ты наполняешься робостью и стыдом, как будто обнажились все семь главных мерзостей в естестве твоем. Да, нужно отдать ему должное, умел посмотреть, будто говорил тебе: «Отлично я знаю, кто он и что он, эта тварь, называемая человеком». И поскольку и сам ты прозываешься человеком, уже уличен ты и пригвожден – объявлен в качестве преступника. И нет у тебя выбора, как только совершить это самое преступление, в котором ты уличен! Скажу я тебе, Шлеймеле, есть такие люди – как будто известно им о каждом человеке одно единственное, самое что ни на есть гадкое, и стоит для них это сведение более всех знаний и всех наук, и этой мерой измеряют они весь мир.

И тут это происходит – ведь должно же было в конце концов произойти! – должен же был он рано или поздно произнести это, пришло уже время произнести – происходит невероятное. Тихо так приподымается Найгель и говорит вкрадчиво, будто завораживает собеседника – взгляд его прикован к Вассерману, с неимоверной силой прикован, с огромным напряжением вперен в старика, прямо в рот ему смотрит немец, как змея, гипнотизирующая мышь, намереваясь проглотить ее:

– Верные сердца?

И Аншел Вассерман, без того, чтобы вникнуть и поразмыслить, немедленно откликается:

– Верные сердца!

Тишина.

– В эту минуту показалось мне, Шлеймеле, что все мое тело сжимается и исчезает, сворачивается в струп, как бумага, которую пожирает огонь, и вся плоть моя становится одной только гусиной

кожей, и голова откалывается и падает, не дай Бог, как мечом отсеченная. Ай, Шлеймеле, даже если проживу я семь жизней, даже если тысячу и один раз прокричу эту историю в уши глухого мира, пусть отсохнет моя правая рука, если забуду я то мгновение, когда назвал мне Найгель тайный пароль Сынов сердца, и значит, правду говорят: гора с горой не сходится, а человек с человеком... Меня, Шлеймеле, ничто уже в этом мире не удивляет, потому что нет на всем белом свете ничего такого, что не могло бы прийти и случиться, и кто постиг эту мудрость, того ничто не сокрушит и не взволнует, нет для него неожиданностей и потрясений, и никаким разочарованиям не будет власти над ним, и любое зло, которое обрушится на него, уже не приведет его в ужас.

А Найгель продолжает тем же заговорщическим полушепотом, который я с трудом разбираю:

– Не отступят...

И еврей, с тяжким глубоким вздохом, совершенно упавшим голосом:

– Не отступят...

– Перед любым испытанием?

– Перед любым испытанием...

«И что ж тут такого, если встретились? – размышляет Вассерман в тоске. – Много ли это стоит, что встретились, если не увидели и не поняли друг друга? – А сам не может унять дрожь, хоть и пытается убедить себя, что совершенно не волнуется. – Разве не ведомо нам, что любая встреча двух людей удивительна и таинственна, абсолютно необъяснима, ведь даже влюбленный и его избранница, и не побоюсь сказать, даже муж и жена, которые многие годы уже проживают вместе и как будто сроднились до такой степени, что стали одним существом, ну, да, даже они лишь в редчайшие мгновения, бывает, истинно встретятся и постигнут душу друг друга, а тут – он и я, господа!..»

Я вижу, что вся кровь отлила у него от лица, да и во всем теле, похоже, не осталось ни капли жизни. Найгель тоже необычно бледен, оба выглядят совершенно опустошенными, как будто все жизненные силы и соки, что таились в них, в единое мгновение оказались выкачены и выжаты и перелиты в жилы свеженького зародыша, совершенно еще прозрачного, возникшего из их упований и тайных страстей, из страхов и робких надежд двух человеческих существ, из отчаяния двух беспредельно измученных людей – двух солдат, принадлежащих к противоборствующим армиям, которые отважились на секунду высунуться из своих окопов и в испуге глянули друг другу в лицо поверх брустверов.

Глаза Найгеля неподвижно застыли, на лице читаются смятение и испуг, даже некоторое признание собственного поражения и униженности, мне вдруг становится особенно заметна дряблость этих вытянутых щек, этих мертвых просторов великой пустыни. Похоже, что он лишился голоса. Несколько раз натужно откашливается, прежде чем отваживается произнести наконец

первую фразу. Со вздохами и тяжкими паузами разворачивается постепенно его нехитрый рассказ. Родился в деревне Пёссин, притулившейся у подножья горы Цугшпитце в Баварии, и там же прочел повесть Аншела Вассермана-Шехерезады. Он прекрасно помнит содержание большинства глав и свою любимую собаку назвал Отто в честь Отто Брига, капитана команды «Сыны сердца». Ему было тогда восемь лет. И он сам, и его брат Хайнц учились читать по Библии и по «Сынам сердца»...

– Можно сказать, выросли на этих твоих выдумках...

Ладно, не следует преувеличивать. И без того стечение обстоятельств тут слишком подозрительно. Поэтому Найгель скажет сейчас, что «были, разумеется, и другие вещи, которые попадались нам на глаза». И пояснит:

– Карла Мая, например, читали, ну и другие книжки, названий, правда, уже не помню. Отец следил за тем, чтобы мы читали. Он предпочитал, разумеется, чтобы мы читали Библию – а, что там говорить, у него были всякие планы в отношении нас! Но пастор убедил его разрешить нам читать и твои рассказы. Пастор наш пользовался в Фисне большим влиянием... Как теперь говорят, авторитетом. А печатали их в приложении к газете, которая называлась «Ты, мое отечество!». Я помню, как оно выглядело, это приложение, даже запах его я помню, ей-богу. Газета с приложением поступала в кирху регулярно каждую неделю, и пастор Кнопф давал нам приложение уже в воскресенье. Я думаю, он сам читал его, потому что слышал однажды, как он говорил отцу, что твоя повесть напоминает ему Ветхий завет.

Немец краснеет еще больше, возможно, от смущения – надо же, позволил себе так расчувствоваться и разоткровенничаться! Сдается мне, что источник этого волнения запрятан в тех таинственных глубинах его существа, куда нет доступа ни речам возлюбленного фюрера, ни прочим шедеврам нацистской идеологии и где ослабевает даже могущество кодекса поведения офицера СС. Он, видно, и сам не замечает, как из него вырываются слова, абсолютно не совместимые с его чином и положением. Выталкиваются на поверхность той неодолимой силой, перед которой даже он, закаленный воин дивизии Мертвая голова, не может устоять.

– Слушай, Шехерезада, просто не верится – как же это все вдруг ожило у меня перед глазами! Как будто вчера было... Наша деревня, пастор Кнопф, – между прочим, у него был телескоп, он любил по ночам наблюдать звезды, а злые языки утверждали, что он наводит его и на совсем другие объекты, не столь возвышенные... Мой отец вырезал однажды на дубовой доске всю Цугшпитце вместе с нашим Пёссином – прекрасный был резчик по дереву, – и деревенский шинкарь купил у него эту картину, она и теперь висит в его заведении... Странно, верно? Отца уже нет, а эта деревяшка существует. Да и твои истории... Я помню их все до одной, действительно помню, как будто вчера прочитал... Если хочешь, могу пересказать...

Да, да, мы хотим! Мы даже вскрикиваем оба разом от нетерпения – и я, и Вассерман: перескажи нам, перескажи, и побыстрей! В душе мы просто умоляем его: пускай поспешит убедить нас в достоверности своих слов, затопит именами, фактами, поворотами сюжета, всякими подробностями. «Факты! – кричу я охрипшим голосом, и едва не задыхаюсь от собственного вопля. – Дай мне факты, Найгель! Ведь построение, которое мы воздвигаем тут, висит на волоске, на таком тоненьком-тоненьком волосочке, еле-еле выпросталось на свет и запросто может оказаться мертворожденным, слабой тенью подлинного романа, лишь неловкой попыткой, неуклюжей смехотворной фантазией, нужно с силой растирать его синюшное слабенькое тельце, чтобы оно задышало и издало свой первый крик, ну, не медли, Найгель, вспоминай, рассказывай, можешь даже приврать что-нибудь, не беда, ври со знанием дела, с воодушевлением, я готов всему поверить, готов забыть даже то немногое, что знал, поддаться на любой обман, жажду поддаться – лишь бы поверить, что такое возможно, вперед, герр Найгель! Шнель!

И Найгель в самом деле принимается воскрешать прошлое, как опытный медиум вызывает души умерших:

– Этот парень, твой капитан, Отто его звали, это ведь в честь него я назвал моего любимого пса, моего Отто... И еще была эта девушка, которую Отто любил, блондинка с роскошной косой, как же ее звали?.. Нет, нет, не подсказывай – Паула? Верно, Паула...

И Вассерман с нежностью, как лунатик:

– Удивительно, комендант! И главное, почти что верно. Только Паула не была девушкой Отто, потому что она...

– Ну конечно! - Найгель хлопает себя ладонью по лбу. – Какая глупость! Разумеется! Паула, она ведь была сестрой Отто! Как я забыл! Погоди, погоди, теперь это все выстраивается у меня. Паулу любил другой, тот, который приятельствовал с животными. Умел даже говорить с ними. Как ваш царь Соломон, верно? Альфред его звали... Нет... Погоди, не говори, я сам... Фрид! Фрид его звали. Да. Альберт Фрид. Он любил Паулу, но так никогда и не открылся ей. Видишь, Шехерезада, все помню. Все! «И сердце его оборвалось, и мертвенная бледность покрыла его лицо, словно лицо усопшего». Ну, что ты скажешь?

Вассерман – мне кажется, я уже начал немножко разбираться в его натуре, – не может удержаться, чтобы капельку не подпортить эту идиллию, непременно ему требуется подлить ложку дегтя в бочку меда, как будто его не устраивает обилие этой сердечности, которой он удостоился тут, можно сказать, задаром.

– Но, ваша честь, понимаете, это, как правило, были рассказы о... Ну... Как вам сказать? О горестях и мытарствах самых малых, незначительных, что называется, униженных народов... И многие герои мои, персонажи то есть, тоже иногда происходили оттуда, из них...

Однако Найгель перебивает его со снисходительной усмешкой:

– Да, я знаю. Действительно, обо всяких армяшках, негритосах. Но ведь и времена, Шехерезада, были совсем иные. Ведь это происходило до... Если не ошибаюсь, тридцать лет с тех пор минуло? Примерно... Больше? Тридцать пять? Сорок? Надо же – сорок лет! Да... Почти сорок лет... Летит время! Правильно, начало века... И куда это все делось?.. Как сон золотой... Мне тогда было лет семь, самое большее восемь, я только начинал учиться грамоте. И в продолжении нескольких лет – пяти, наверно, может, и дольше – каждую неделю регулярно читал главы из твоей повести. С нетерпением ждал продолжения. Такое дело...

Немец продолжает упиваться воспоминаниями давно минувших дней, большая его голова покачивается в такт вылетающим изо рта фразам, лицо напрягается от усердия, как будто он вычерпывает эти воспоминания из глубокого-глубокого колодца. Тот, кто посмотрит сейчас на него, громадного мужчину, охваченного наивным детским восторгом, тотчас согласится, что действительно, то были «совсем иные времена». Но Вассерман почему-то уже не рад этой задушевной беседе, он хмурится и спешит уклониться от новых откровенностей, готов уже поступиться удовольствием обрести столь высокого почитателя.

– Ну, слышали вы такое? Прямо: «И открылся Иосиф братьям»! Фу!

В душе у него растет уверенность, что дивный этот сон плохо кончится. Для него, разумеется. Обернется какой-нибудь новой бедой. Найгель, как видно, улавливает эту перемену в настроении собеседника и обрывает свои излияния. Привычно укрощает свое волнение.

– А что еще ты умеешь делать, кроме как выдирать золотые коронки изо рта покойников и надзирать за отхожими местами? – спрашивает он сухо.

– Ну, что? Что я могу уметь? Ничего такого особенного, – отвечает Вассерман смиренно, снова падая духом. – Ничему, можно сказать, не обучен, только и знал, господин комендант, что писал стишки да рассказывал детские сказки.

– Это само собой, – бросает Найгель благодушно. – Об этом я уж как-нибудь позабочусь.

Вассерман:

– Пардон?

Немец:

– Ладно, помолчи минуту. Я должен подумать. Да... Можно, разумеется... Не вижу препятствий. Есть только одна проблема: ты ведь уже числишься в списке тех номеров, за которые мы полностью отчитались. В отношении которых наша работа, так сказать, завершена. Ну да ладно, в конце концов, и это можно как-нибудь уладить. Кто-нибудь из тех, что прибудут сюда сегодня с новым транспортом, просто не получит номера. Исчезнет невидимкой. Такой пустяк не вызовет осложнений. – Он записывает что-то в своей черной книжице. – Так... Сейчас поглядим: какая, говоришь, профессия была у тебя перед войной?

– Профессия? У меня? – удивляется Вассерман.

– Что – только писал?

– Писал? Что вы! Разве вы не знаете?

– Чего я не знаю?

– То есть, как? Я уже почти двадцать лет ничего не пишу... Не пишутся больше мои «Сыны сердца»... Для заработка корректировал один небольшой журнальчик в Варшаве. Иногда редактировал статьи и брошюры других авторов, готовил к печати чужие рассказы. Незначительные такие занятия...

– Варить! – изрекает Найгель назидательно. – Печь! Жарить! Это каждый дурак умеет, верно? Было бы из чего! Будешь помогать на кухне моей поварихе. Таким образом сможешь остаться здесь, без того, чтобы некоторые слишком любопытные и въедливые типы начали задавать лишние вопросы.

– Извините великодушно, ваша милость. Готовить я умею самую малость: чаю заварить, яичко сварить...

– И ведь правда, Шлеймеле, все долгие годы моей холостяцкой жизни столовался я в домашнем пансионе Файнтуха. Селедка с луком в подсолнечном масле на закуску, суп с лапшой на первое, шмалец с картошкой на второе и изжога на сладкое.

Но Найгель не так легко сдается, Найгель швыряет еврею в лицо целый список домашних работ – любую, на выбор:

– Шить? Гладить? Чинить белье? Красить стены? – сыплются одно за другим заманчивые предложения.

Не сразу, но спустя некоторое время я наконец понимаю, что немец попросту издевается над ним – над никчемностью книжного червя, давно всеми позабытого, нелепого, оплеванного критикой литератора. И это бесит меня. Моя досада усиливается и злость распаляется еще больше при виде капитуляции Вассермана. Тот и не пытается возражать или сопротивляться, втягивает голову в плечи, в эти торчащие кости, похожие на крылья летучей мыши, и принимается потихонечку рассказывать мне:

– О ней, о моей Саре я теперь думаю, Шлеймеле, ведь мысли мои постоянно устремляются к ней. Верно, мы оба всегда подшучивали над этим, что я, *нэбэх*, ни на что не гожусь: две руки дал Господь, но обе, к несчастью, левые. Как говорится, никчемные опоры, стыдно даже руками назвать, так, пасквиль, пародия на руки, у Мефибошета, сына царя Шаула, калеки немощного, ноги величавее их были! Чудо со мной случилось, что обрел я ее, мою Сару, потому что она, таки-да, правильное была создание, еще в отцовском доме всем заправляла, соблюдала все обычаи хозяйства, даже в законах электричества разбиралась, а уж по женской части не было такой вещи, чтоб она не справилась, все играючи делала: и прибрать, и сготовить, и одежонку нашу починить, не хуже твоего портного иглой махала, и пальтецо перелицевать могла, и воротник притачать, если нужно, и подметку к ботинку приладить, во всех делах была первый специалист, никакое ремесло от нее не утаилось!

Найгель уже начинает отчаиваться и негодовать, мрачно усмехается и произносит с издевкой:

– Замечательный итог всей жизни, говночист! Что называется, на все руки мастер. Человек твоего возраста мог бы быть капельку посноровистей. Как это возможно – совершенно не разбираться в простейших жизненных делах? Шестьдесят лет прожил на свете и ничему не выучился! Не обзавелся элементарными трудовыми навыками. Что ж, теперь я понимаю, почему ты даже умереть не умеешь. – Но вспоминает вдруг еще об одной, последней возможности, и восклицает радостно: – Садовник!

Я вмешиваюсь в этот разговор и неожиданно для самого себя отвечаю вместо Вассермана:

– Садовник! Да! Это подходит.

Найгель расплывается в улыбке. Он уже лелеет мечту о своем грядущем благоденствии:

– Садовник – прекрасно! Разобьешь мне тут вокруг этого дрянного барака сад! – И уже сводит какие-то тайные счеты с ближайшим соратником, смакует скорую сладкую победу: – Сделаешь получше, чем у Штауке! Не одни, понимаешь, анютины глазки – настоящий цветущий сад! – В голове его роятся заманчивые планы грандиозного преобразования и освоения прилегающей территории: – Позади дома грядки устоишь. Наконец-то свеженькие овощи с собственного огорода! Лучок, редисочка... Все свое! Буду избавлен раз и навсегда от этой проклятой тыквенной каши. Говорят, здешние крестьянки поливают свои тыквенные поля ослиной мочой...

Я спешу отыскать и записать для приунывшего Вассермана инструкции по уходу за садом и огородом. Прежде всего необходимо разузнать, что и как сажают в садах Восточной Европы (Рути должна помочь мне в этом, у нее есть деловой подход к подобным вещам). Но Вассерман, Аншел Вассерман, непредсказуемый чудак и упрямец, умудряется обескуражить и меня.

– По правде говоря, господин комендант, – заявляет он, – не лежит у меня к этому душа. Ну, абсолютно, абсолютно не лежит!

Найгеля не смущает отказ. Он хочет иметь Вассермана при себе, и ничто не остановит его – нет такой силы, которая может воспрепятствовать воплощению принятого решения. С каким-то неожиданным, совершенно как будто не свойственным ему лукавством, он ловко и непринужденно возвращает разговор в надежную колею обсуждения достоинств «Сынов сердца», напоминает Вассерману один из эпизодов, посвященный восстанию чернокожих в рабовладельческой Америке, и заканчивает с хитроватой ухмылкой:

– Признайся, Шехерезада, ведь ты и вообразить себе такого не мог – что встретишь здесь, среди нас, своего давнего горячего поклонника!

Тут мой Вассерман снисходительно благодарит Найгеля за все его комплименты легким кивком головы, в котором, если угодно, можно различить множество дополнительных оттенков:

1. эдакое покровительственное, самоуверенно-насмешливое одобрение; 2. притворную смиренную благодарность; 3. демонстративное неверие ни единому слову немца; 4. вынужденное признание собственного ничтожества; и еще много чего, в том числе легчайшую ухмылку, которая означает: а) прямо-таки собачью покорность судьбе; б) заученное спасительное (и разумеется, неискреннее) самоуничижение; в) страстное, насилу подавляемое желание слышать еще и еще. Вассерман с железной решимостью стискивает челюсти, чтобы не дать этому постыдному желанию вырваться на волю, вследствие чего, собственно и возникает сама ухмылка, подобная внезапной судороге.

Вассерман (мне):

– Фу, подумать только! Я был уверен, что никогда уже не буду нуждаться в нем, в этом маленьком жесте, и вот, после всей моей погибели и забвения...

А Найгель продолжает рассыпаться мелким бесом, множить льстивые слова и улыбки и восхвалять талант Вассермана, заодно вплетая в свою болтовню и несколько любопытных сведений: о своем детстве в Фисне, о семье, об отце... Но тут вдруг происходит нечто странное, я бы даже сказал, необъяснимое: лицо оберштурмбанфюрера каменеет, мгновенно становится серьезным и непроницаемым, все тело подтягивается и напружинивается, словно выставленное на всеобщее обозрение на каком-нибудь параде или построении, и без всякой связи с тем, что только что говорилось в этой комнате, немец провозглашает рыкающим официальным голосом:

– Я командую тут ста двадцатью офицерами и солдатами, Вассерман! За это время транспорты доставили в мой лагерь со всех концов Европы сто семьдесят тысяч номеров – в общей сложности. Из них свыше ста пятидесяти пяти тысяч евреев. По данным на начало текущей недели.

У меня создается впечатление, будто он зачитывает некий текст, принадлежащий вовсе не ему, а словно бы транслируемый откуда-то издалека каким-то таинственным передатчиком – просто в нем, в Найгеле, переключили какой-то рычажок, и теперь он уже не принадлежит самому себе, а вещает то, что ему навязано. Я чувствую, что без помощи Вассермана не в состоянии разгадать этой загадки.

– Видал, с какой гордостью произносит Эсав свои речи? – встряхивается мой дед. – Знаешь, я первым делом наклонился и поглядел под стол: уж не щелкнул ли он при этом каблуками – одним о другой? Нет, не щелкнул.

И объясняет мне, что ничего удивительного и из ряда вон выходящего не произошло. Просто Найгель, как видно, обязан был произнести наконец эти фразы, которые всплыли «из источников более глубоких, чем уроки, полученные в хедере раби Генриха Гиммлера».

– Понимаешь, Шлеймеле, ведь подобные этому инциденты случались со мной не раз, когда я сталкивался с людьми, которые

читали мои истории в нежном возрасте невинных ягнят. А потом, что ж, возмужали ягнятки, стали взрослыми крепкими мужчинами могучего телосложения, главами семейств и большими начальниками, но существование мое как-то по-своему продолжало терзать их, как будто не вполне еще они вышли из-под моей власти. Удивительное дело, но каждый из них при встрече обязан был показать мне, насколько возвысился и чего достиг, как говорится, возвеличился и освятился, тот, видишь ли, стал богат, этот знаменит, большим знатоком в Учении стал или важным заправилой в торговле, и имя его сияет и переливается всеми лучами знатности, короче говоря, – Мойше Гросс! Возможно, этим хотели все они дать мне почувствовать, что нет в том позора, что по малолетству и по глупости зачитывались в детстве моими сказками, и силились доказать теперь, как мало уже значит для них урок, который получили от моих рассказов. Странность поведения людей, Шлеймеле, не ищи и не ройся, не пытайся расследовать то, что слишком для тебя непостижимо и выше твоих сил, не давай удивлению своему завлечь себя в те чертоги, что зовутся лабиринтом и откуда нет выхода. И ведь знаешь, похожи в глазах моих все эти бедные создания на учеников, в гордыне своей хвастающих юными своими соками, кичащихся превосходством своим перед дряхлым учителем, и может быть, именно оттого они лезут из кожи вон и пыжатся, что в присутствии учителя снова возвращаются к тем дням, когда не смели перечить ему и благоговейно внимали каждому его слову, поэтому желают теперь выставить себя сильнее и мудрее его, и возможно, что пример учителя как раз подходит тут к этому случаю с Найгелем, ведь и тот, кто пишет сказки для детей, как ни верти, выступает в роли наставника, но когда завел немец эти речи, ну, ты сам понимаешь, какая мелодия была у его любезностей и что он обычно думает о таком, как я, и даже я, Шлеймеле, не был таким идиотом, чтобы поверить хоть единому его слову, ответить по неосторожности какой-нибудь глупостью, вовремя спохватился и оградился и от звания дурака, и от лишнего мучения, только пробормотал что-то невнятное, вроде «Ну, да, так это, вероятно», и он понял, Шлеймеле, да, и как еще понял! – что как раз себя выставил последним дураком и тлей никчемнейшей, тотчас уткнулся носом в неразлучную свою, черную, как душа его, книжицу, спрятался от меня в задумчивость».

Вассерман использует образовавшуюся паузу в разговоре, чтобы сообщить мне то немногое, что ему известно о Найгеле и его заместителе Штауке, к которому Найгель, как мы оба успели заметить, не слишком благоволит. Найгеля в лагере прозвали Быком из-за его огромной тяжеленной головы и внезапных припадков ярости («Видел бы ты, Шлеймеле, его в полной красе! Молнии мечет, шары огненные, дракон огнедышащий!»). А к заместителю его, оберштурмфюреру Штауке, прилипло прозвище Лялька («из-за розовенькой его, пухленькой физиономии, подобной личику младенца, еще не ведающего греха. Прямо *тамевоте* эдакий, добродушный простачок из сказки! Но законченный

убийца, Шлеймеле, коварный и подлый, укус его – укус скорпиона, и жало – жало змеи»). По словам Вассермана, Найгель во всем отличался от Штауке. Согласно письменным свидетельствам, с которыми мне удалось ознакомиться в последнее время, доктор Штауке был исключительный, патологический садист, постигший всю премудрость мучительства и сам не ленившийся изобретать все новые и новые пытки и способы умерщвления людей, – «хватает и терзает, убивает не ради наживы и не из желания выслужиться, а во имя одного только удовольствия видеть мучительную твою кончину, из сладострастного вожделения множить чужое страдание». Помимо этого, Штауке обладал и множеством других похвальных свойств: прославился как редкостный корыстолюбец, неуемный взяточник и вымогатель, не брезговал никакими махинациями, умел прикарманить всякую ценную вещь, даже и «от малой пользы» почитал за грех отказываться, к тому же постоянно напивался, как свинья, в офицерском клубе и не пропускал ни одной деревенской потаскухи:

– Ну что? Накачается пивом и водкой, и утюжит себе без разбору этих веселых красоток.

Нет, разумеется, Найгель не Штауке, и Штауке не Найгель. Но пусть и весьма различны они и, казалось бы, нет между ними ничего общего, однако замечательно дополняли друг друга – что и говорить, славная парочка. Найгель, по словам Вассермана, крепко сшит, отлит, как чугунная болванка, можно подумать, что некий великан высек его из каменной глыбы несколькими взмахами топора.

– Никогда мы не видели его, Шлеймеле, навеселе, и никогда он не улыбнулся нам, даже такой изуверской улыбкой, как Штауке. Залмансон говорил, что рожа у него, как «явленный миру лик хронической язвы в животе», и действительно, всегда выглядел, будто постигло его какое горе-злосчастье, как человек, которому не до шуток и не до забав, и не идут ему на ум никакие шалости и глупости, одно только служебное рвение день и ночь гложет его, и не знает он иной услады, кроме как исполнение долга. Но смотри – невиданное дело: вот уж час уже или больше как поставлен я тут перед ним, в самом что ни на есть его логовище, в гнезде ядовитого гада, дракона огнедышащего, а все еще цел: все еще не сунул пудовый свой кулачище мне в физиономию и не растоптал сапожищами – не первое, не второе и не что-нибудь третье. И ведь сам ты видел, Шлеймеле: даже улыбался мне, эдак любезно беседовал со мной, о себе повествовал и о милых своих родителях. Скажи, Шлеймеле, как это понять? Ведь поначалу пришел по мою душу, к самой голове моей приставил свой револьвер, и даже выстрелил, сделал все как положено, как это у них заведено, но я хорошенько глядел и заприметил: когда стрелял в меня, отвел взгляд. Не пожелал видеть. Вроде как спрятался. Вообще, понимаешь, сдается мне, не ведает он теперь, что ему делать со мной, и это очень его смущает, прямо-таки не дает покоя. Иногда бросит на меня такой странный взгляд и промычит: хымф-ф-ф, – и жизнью тебе клянусь, не знаю я, каково это хымфу, но только

надеюсь, что это, не дай Бог, не хымф-ф-ф горести и печали, потому что, положа руку на сердце, не желаю я ему огорчений, ведь, что ни говори, все-таки и он был когда-то малым ягненком и читал то, что читал, и тогда, верно, был я ему немного мил и любезен, и кто ведает, что случилось с ним и что нашло на него, и как испортили его в этой СС, в фюрершуле ихней, но конечно, не бывает так, чтобы человек сделался убийцей и сохранилась в нем прежняя чистая ребячья радость, и если бы только знал я, как один такой, вроде Найгеля, становится убийцей, возможно, поспешил бы на помощь и что-нибудь уж придумал, предпринял бы какое посильное действие, чтобы отвратить его душу от зла и вернуть на путь истины. А, такие вот всякие пустые мысли! Сделался Аншел исправителем мира после своей погибели. Пророк, вещающий в прошлое! Но доложу я тебе, тут внутри у меня завелся и начал шевелиться такой червь, принялся грызть мои внутренности: как же это так, может ли быть, что после всего, что причинил мне этот убийца, равный тысяче убийц, и вот стою я перед ним битый час и вижу не это нынешнее его злодейское лицо, а то, которое было в нежном возрасте? И уже начал я думать: может, ошибка это была моя – все эти луны, что находился я в лагере? Ведь ни разу не пришло мне в голову, что и Найгель зовется человеком, что, может, и у него есть жена и дети, и дивился я очень всем этим мыслям, и было это в моих глазах, как свежее удивительное толкование знакомого текста, и оставил я его при себе, чтобы еще после обдумать, а Найгелю сказал, что сожалею о том утруждении, которое причинил ему, и видел, что слова мои дошли до его сердца, потому что вытаращил на меня оба глаза своих не как бык свирепый, а как обыкновенный растерянный и взволнованный человек, и тогда открыл я ему и свое смущение, признался, что и для меня тут содержится некоторое неудобство – что вот лишит меня дыхания в ноздрях моих, изничтожит теперь окончательно тот, кого я вроде бы, ну, как передать? – ну, немного знаю... И для утешения привел изречение отца моего, да будет память его благословенна, который воспитывал и наставлял меня и учил, что никогда честный и нравственный человек не смешает чувства и страсти свои с долгом, а непременно поступит, как велит ему долг, то есть в нашем случае получается, что в первую очередь, до всего остального, должен он, Найгель, изничтожить меня и погубить, хоть, может, и мил я ему отчасти, но вместо того, чтобы этот пример ободрил и умиротворил его, услышал я эдакое мрачное и хриплое покашливание и увидел окончательно потрясенное создание, и глаза его полны были ужаса, как будто сказал я, не дай Бог, нечто непристойное или грубое, чего ухо не в состоянии вынести.

– Ну, хватит уже, хватит! – взрывается вдруг Найгель. – Достаточно этих твоих рассуждений! Сегодня ты начинаешь работать тут, и все, точка! А теперь заткнись, помолчи, наконец, минуту, не мешай, дай подумать...

Вассерман:

– Начинаю работать? Как? С чем же работать, ваша честь?

Найгель:

– Опять умничаешь? Я уже сказал тебе и повторяю: цветочные клумбы, грядки, овощи. А потом, по вечерам, каждый вечер – понял? – каждый вечер, как только я заканчиваю дела, после всех этих заседаний и отчетов, ты приходишь сюда и делаешь то, что должен делать.

– Пардон?..

Рассказываешь мне продолжение своей повести. Не так, разумеется, как для детей, совершенно по-новому. Особый такой должен быть рассказ – специально для меня.

– Я? Продолжение?! – отшатывается мой дед. – Упаси Бог! Я уж двадцать лет как ничего не рассказываю. Я и не сумею! Нет, определенно не сумею... Абсолютно не способен...

– Это ты-то не способен? – ухмыляется Найгель. – Кто же, в таком случае, способен? Я, что ли? Слушай, Шехерезада, я даю тебе единственную в своем роде возможность оправдать твое чудесное прозвище. Будешь рассказывать мне всякие истории и останешься в живых.

Вассерман:

– В живых? Боже упаси! Нет, господин, честное слово, не смогу я. Я ведь никогда... То есть... А теперь и вовсе... Не смогу, и все! Не осталось ничего – ни желания, ни воображения... Все умерло.

Но Найгель отметает все возражения.

– Воображение твое в полном порядке. Всегда было на высшем уровне. Чего стоит один этот отрывок про гладиатора в Риме! Помнишь, как твоя команда спасла его? Ведь этот мальчишка, Фрид, уговорил львов не трогать его. А, что там говорить! А как они выручили Эдисона, когда тот был уже на грани отчаяния и хотел вообще отказаться от дальнейшей разработки своего изобретения – электрической лампочки? Кто еще, кроме тебя, может придумать такие вещи?

И Аншел Вассерман бросает угрюмо (общипанной курице, у которой не осталось ни единого перышка, уже не до гордости):

– Любой и каждый может, господин.

Я записываю тут слово в слово все, что Вассерман открыл мне в тот час.

– В самом деле так, Шлеймеле, и не из-за чрезмерной скромности сказал я Эсаву эти слова. А тебе открою более того, потому что сегодня нет уже надо мной господина литературного критика – пусть поцелует медведю то место, которое под фартуком! Как отравляли они, критикёры поганые, мою жизнь в те дни, когда писал я свою повесть! Как терзали неопытную доверчивую душу! Обожали мучить меня – учить уму-разуму, наставлять на путь истинный. Всю правду-матку обо мне выкладывали, торопились сообщить публике, что и познания мои в разных сферах куцы и смехотворны, и вся осведомленность в области точных наук – убогая мудрость профана и неуча; что только таскать из чужих

трудов я умею и не стесняюсь пересказывать написанное другими авторами. Дескать, все его искусство в том лишь и состоит, что гирлянды из цитат умеет он нанизывать, преступный вор и плагиатор, из чужих сюжетов лепит свою фабулу и по необразованности своей надеется уйти от ответа, остаться не пойманным за руку в своих прегрешениях. А самым главным злодеем – да сотрется имя его! – был Шапира, ох, как ранило перо его, как острая ядовитая стрела пронзало: сводником меж писателями прозвал он меня, бесстыжим взломщиком величал, всех, дескать, обобрал я, всех уместил в одной своей презренной повести, и каких только кличек не придумывал мне, одна обиднее другой. Ай, Шлеймеле, разве я пытаюсь что-нибудь утаить от тебя? Потому что – да, справедливы были их речи... С самой ранней юности пленили мое сердце и всю душу во мне взволновали и Джек Лондон, американец, и Жюль Верн, француз, и Карл Май уже упомянутый, и Даниэль Дефо, создатель Робинзона Крузо и помощника его Пятницы, и не стану умалять – к чему умалять? – вклад Герберта Уэллса с его замечательной машиной времени, которую я, что ж? – действительно, нет, не украл – так, одолжил на время как товарищ по цеху. И волшебник этот очаровательный: Эрнст Теодор Амадей Гоффман, и Джеймс Фенимор Купер, и земляк мой, Януш Корчак – все у меня уместились, для всех нашлось назначение. Верно, каюсь: ото всех тянул, ото всей братии тащил, да, копировал понемножку, переписывал, что мог, даже из Пятикнижия списывал, этого, двуязычного – польский против иврита, чтобы и простой народ мог ознакомиться с Писанием, – и из переложений на святой язык Грозовского и Бен-Иегуды, и из Шперлинга, и из Андерса, и из Калмана Шульмана, и милого Исраэля Хаима Тавьёва, и многих других весьма достойных, ну, да, и не из-за малых способностей так делал, поверь, было, было и у меня свое видение мира и понимание внутренней сущности вещей, да, все было, что требуется, как они провозглашают, настоящему писателю, ведь достигши возраста Иосифа прекрасного писал и я вещи, которые шли изнутри, из самого сердца, из глубины души, без заимствований и подражаний, от того источника, который соблюдал в чистоте и неприкосновенности, от самых заветных помыслов, стихи писал – и некоторые даже проникли в печать и были отмечены, вызвали, как говорится, небольшой шум, ну, да, ведь из-за них-то Залмансон и приласкал меня тогда, вытащил из архива, где проскучал я добрых пять лет, и сделал журналистом и писателем, но чем чаще стали выдумки мои печататься, тем большим трусом я делался, и уже боялся писать от себя, своим слогом и кровью своей души. Опасался отстать от других и провалиться. И так вот, Шлеймеле, постепенно истощилась во мне сила созидания и взошел презренный подражатель. И не стану теперь лгать перед тобой и изворачиваться языком моим лукавым – ведь и после этого был у меня такой час в жизни, когда пробудилось во мне это первозданное вожделение, жажда живого творчества, и захотелось написать

что-то другое. Чтобы было целиком мое, от искры души моей вспыхнувшее, а, что говорить! – тлела в крепости сердца моего эта искра, все годы таилась и тлела, как сказано в известной статье Бялика: малая искра, но вся моя, ни у кого я ее не позаимствовал, ни у кого не украл... И попытался, рискнул – десять лет назад это было – засел за роман... И вырвался из меня такой пламень, такой огонь! Пожрал все мое естество, один дух воображения во мне остался, и ширился, и господствовал. И перепугался я до смерти. Ведь помрачился мой разум... От рассказа, который начинался о людях, скатился я к преисподней с ее лукавыми духами, и вот, уже не собственной рукой писал – Лавин Дахцифин, враг рода человеческого с песьей мордой, водил моим пером, лавины бесстыдства и дерзости увлекали меня в пропасть... И речи мои стали сплошное злодейство, и мерзкие козни, и распутство, и ворожба, и хохот вырывался из меня чужой и гадкий, и все было заволочено таким туманом, покрыто таким отчаянием, что оказался я раздавлен, повержен и унижен, растерт в прах и пепел, и не было у меня уже сил выстоять против этого наваждения и превращать вымыслы мои в буквы и слова... Короче: сделался я поношением человеков... И может, ты станешь смеяться надо мной, но все это время не переставал я думать о том, что скажут в моем родном городе, в Болихове, когда прочтут эти постыдные вещи, и как мама будет огорчена, и расстроится, и станет плакать... В конце концов, не хватило у меня духу объявиться и предстать на всеобщее обозрение, выйти так вот, в пятьдесят лет, под юпитеры, вступить на путь безумства и тяжкой борьбы... Ну что сказать? Ты, верно, и сам понимаешь... Бросил я его в огонь, несчастный мой роман, все мое сочинение... И конечно, тотчас пожалел. И если говорю тебе: пожалел, то не открываю и малой толики моих мук. Невозможно описать их словами... Только тут, в лагере, рассказал обо всем этом Залмансону, и он тоже огорчился. Сказал, что сейчас как раз мог бы я уже писать спокойно, как мне надо, без оглядки на Болихов. Потому что когда вышел уже человек за пределы своей жизни, то может сочинять что хочет, писать как ему вздумается, ведь не приходится ему более бояться ни падения, ни безумия... А!..

А что же Найгель? Найгель о своем:

– Слушай, Вассерман. Скажу тебе откровенно. Я нуждаюсь тут в разрядке, в каком-то развлечении. В чем-то таком, что позволило бы мне хоть ненадолго отвлечься от непрерывных мыслей о работе.

Вассерман, еле слышно:

– Разве нету тут, ваша честь, ну... какого-нибудь клуба для господ офицеров?

Найгель, с гордостью:

– Перед тобой находится немец, который не любит пива! Я вообще не вайндойчер, и не бирдойчер, и не шнапсдойчер. И тем не менее, мне необходимо как-то немного... передохнуть после работы. Поэтому я решил: каждый вечер ты будешь при-

ходить сюда и сидеть со мной. Недолго – полчаса или час, просто сидеть и рассказывать.

Вассерман, едва сдерживаясь, чтобы не завыть в отчаянье в голос:

– Но о чем, господин комендант?!

– Я не знаю, – усмехается Найгель угрюмой, холодной усмешкой. – Но ты, конечно, придумаешь что-нибудь хорошенькое. Я не сомневаюсь. Я ведь не могу указать тебе, что и как сочинять, верно? Ты видишь? Есть такие вещи, в которых даже я не властен – не могу отдать приказа относительно содержания и направления твоего рассказа. – Похоже, что эта мысль только теперь пришла ему в голову и весьма забавляет его.

Аншел Вассерман, готовый уже грохнуться в обморок, предлагает Найгелю компромисс:

– Я перескажу господину коменданту мои старые истории.

Невинная эта хитрость отвергается с презрением. В своем безвыходном положении Вассерман пытается соблазнить Найгеля новым проектом, по правде говоря, достаточно безнадежным:

– А, я знаю: я расскажу господину коменданту «Сказки Гауфа». Настоящая Шехерезада. Что там сравнивать – какие сюжеты! Ужас как забавно. Вот, это действительно будет хорошо! «Халиф и цапля». «Маленький Мук». Ай, ваша честь получит большое удовольствие!

Но Найгелю не составляет труда раскусить эти наивные уловки, с прямотой истинного вояки он объявляет:

– Перестань, Вассерман, дурить – я желаю получать только свежий товар.

На время в комнате устанавливается тишина. Мы оба, и я, и Найгель, полагаем, что Вассерман подыскивает подходящую формулировку, чтобы облечь в нее свое согласие. Ведь не может же он не понимать, что все равно никуда не денется – так или иначе узник обязан подчиниться воле всемогущего владыки. Однако он вновь удивляет нас и провозглашает, что весьма благодарен господину коменданту за его любезное обращение и столь щедрое предложение, но...

– Невозможно, ваша честь, проводить аналогию между мной и той, настоящей Шехерезадой, и я вам скажу, почему: по той лишь единственной причине, что милая эта женщина весьма жаждала жить, оттого и рассказывала этому головорезу, злодею этому, султану, свои удивительные сказки, а я как раз наоборот весьма желаю умереть – не приведи Господь нам такое услышать!

Найгель смотрит на него долгим тяжелым взглядом, трет ладонью подбородок и наконец произносит тихим, но исполненным непреклонной решимости голосом:

– Что ты воображаешь о себе, старый хрыч? В твоем положении... Ты получил неповторимое, невиданное предложение, самое лучшее, какое вообще может сегодня прозвучать на всех просторах великого Рейха! – Он колеблется еще минуту и наконец бросает в пространство комнаты: – Хорошо, я готов пойти на

то, чтобы каждый вечер, после того, как ты закончишь рассказывать мне очередную главу из твоей повести, попытаться еще раз убить тебя. Один выстрел в голову. Это будет твоя премия. Как у той Шехерезады, только наоборот. Если ты непременно хочешь умереть, я согласен каждый вечер стрелять в тебя. Разумеется, при условии, что твоя история мне понравится. Ведь не может быть, чтобы день за днем непременно происходила... эта осечка, назовем это так... Надо полагать, в какой-нибудь из этих разов нам удастся перехитрить судьбу, верно? – Он победоносно откидывается в своем кресле, смотрит на Вассермана все тем же холодным взыскательным взглядом и позволяет обессилевшему писателю оценить новую, весьма перспективную идею. Капитулировать наконец, рухнуть под тяжестью всех обстоятельств и неопровержимых доводов.

Смелость и нетривиальность его мышления вызывает у меня, признаться, удивление и какое-то нездоровое воодушевление, профессиональное любопытство, что ли, может быть, даже нечто большее. Хотя Вассерман, с некоторой, надо сказать, недостойной его мелочностью, вообще не желает видеть привлекательной стороны хитроумного плана, сулящего неожиданный поворот сюжета, он усматривает в предложении Найгеля одно только злодейство и бесстыдство. Он возмущен и весь кипит и клокочет:

– Фу, Шлеймеле, чтобы гадкий язык твой прилип к гортани, чтобы земля забила тебе горло за твои подлые усмешки! Ведь тут перед тобой человеческая жизнь! Не о сюжете идет речь – о моей погибели этот Фриц Фрицевич говорит с таким спокойствием, прямо как Армилус злодей, царь наглый и искусный в коварстве. Жизнь моя тут поставлена на карту...

И еще находит в себе силы прошептать:

– А что, господин, как вдруг мой рассказ, не дай Бог, в один из вечеров изволит тебе не понравиться?

Найгель:

– Ничего особенного. Значит, придется тебе протянуть еще денек в моем обществе. – И устремляет на Вассермана тот многократно проверенный неотразимый взгляд, от которого бросает в дрожь любое создание. – И знай, старый плут, что никакие хитрости тебе не помогут: я приму меры к тому, чтобы у тебя не было ни малейшей возможности даже попытаться покончить с собой самостоятельно. Можешь быть уверен: ни один офицер, ни один солдат и ни один охранник в этом лагере никогда не поднимет на тебя руку и не посмеет помыслить о том, чтобы убить тебя по собственной инициативе. Ты будешь тут у меня огражден от любых посягательств на твою жизнь лучше, чем в самой надежной крепости, будешь жить как птенчик в тепленьком гнездышке у матушки под крылышком. – И снова усмехается.

Вассерман, быстренько взвесив все «за» и «против» и почувствовав, что деваться ему некуда, нет никакой возможности улизнуть или отговорить немца от подлой его затеи, глубоко вздыхает и провозглашает честно:

– Что ж, если для того, чтобы умереть, я должен рассказывать господину мои сказки, я готов.

Однако – «Враль, враль несчастный! – вопит кто-то у него внутри, и Вассерман позволяет ему высказаться до конца: – Признайся, бесстыжий лжец, тщеславец презренный, что едва вырвалось из уст Найгеля одно только упоминание о повествовании твоем, едва произнес он заветное слово «рассказ», тотчас воспрянул твой падший дух, пробудилась жизнь в холодных углях до срока перегоревшей и угасшей души. Продолжение! Новый сюжет! Новые идеи и размышления, наброски, перо, поспешно скользящее по бумаге, бессонные ночи, поиски и подсказки воображения, ни с чем не сравнимое наслаждение написания! И всемеро приятней будет, когда приходит это после горького небытия целых десяти лет – снова сесть за труд сочинительства, и где? Именно здесь! Здесь, в пучине ада!» Но даже выслушав это справедливое обвинение до конца, Вассерман без смущения кивает немцу и объявляет, что готов рассказывать ему про тех же самых возлюбленных его Сынов сердца, – разумеется, не в точности так, как Найгель помнит их с детства, но как про изрядно уже искушенных жизнью мужей. И когда Найгель спрашивает, к чему он клонит, объясняет ему Вассерман со спокойной уверенностью, как будто давно уже ждал этой минуты и многократно отрепетировал свою речь, испробовал каждое слово и в мыслях своих, и на языке еще до того, как будет отправлено оно на уста:

– Козлята выросли и сделались горными козлами, ваша честь. Возмужали, а может, и постарели, как и мы сами. Не исключено даже, что она, старость, настигла их быстрее, поскольку происходит это не в жизни, а в книге, где все, как тебе ведомо, движется с иной, умноженной скоростью. И пусть не удивит тебя, если они теперь как пятидесятипятилетние, а может, и семидесятилетние, дай им Бог до ста двадцати! – но во всяком случае, совсем не пятнадцатилетние.

И Найгель, немного озадаченный еще одним, непредвиденным и достаточно неприятным осложнением, представляющимся ему, разумеется, абсолютно фальшивым и неуместным, смиренно просит:

– А может, все-таки оставим их молодыми?

На что Аншел Вассерман отвечает с горькой усмешкой:

– Не осталось, ваша честь, больше места в этом мире, которое могли бы мы, как прежде, назвать свежим и молодым. Ведь отныне и младенцы безвинные, едва прорезавшись из чрева матери, уже выбираются на свет Божий старцами, готовыми к смерти.

Найгель, как видно, сдается и спрашивает только, будут ли члены команды по-прежнему действовать вместе и совершать, как в былые времена, свои удивительные подвиги, и Вассерман обещает ему, что да – даже более беспримерные.

Найгель:

– А не будет ли это выглядеть, так сказать, несколько ребячливо – в семьдесят лет?

И писатель бросает с обидой:

– Господин!..

– Не обижайся, говночист, – говорит Найгель. – Я не собирался задеть тебя.

Вассерман сглатывает слюну и решается: вот он – подходящий момент! Нельзя упустить. Он спешит использовать неожиданную снисходительность немца для того, чтобы тут же, немедленно поставить все точки над «i». Не глядя на сидящего за столом, с опущенными взорами, сочинитель предупреждает:

– Только вот что... Не будет господину коменданту права входа и распорядительства в моем рассказе. Это я должен уведомить наперед. Всякая попытка командовать и указывать будет считаться нарушением нашего сговора, а если нет – все кончено!

И нацистский офицер, про которого мы оба, оказывается, непростительно мало знаем, согласно кивает своей тяжелой головой и говорит:

– Разумеется, Шехерезада, разумеется. Свобода творчества, верно? Так ведь это у вас называется?

Вассерман смотрит на него встревоженным недоверчивым взглядом. На его месте я тоже был бы встревожен: свобода творчества представляется нам обоим чем-то абсолютно несовместимым с духовным и нравственным кодексом нацистского офицера. Возможно, он как-нибудь случайно, краем уха, услышал это выражение. Вряд ли действительно интересовался вопросами свободы и творчества. Впрочем, гадать бессмысленно. Несомненно и про Найгеля я мог бы узнать гораздо больше, если бы решился однажды влезть в его мерзкую звериную шкуру. Кто знает, может, когда-нибудь почувствую, что созрел и для этого. С Вассерманом это получается легко и естественно, потому что... Потому что это мой долг. Аяла сказала: «В Белой комнате все срезы образцов делаются прямо с тебя, с твоей личности: ты и жертва и палач, и сострадание и жестокость...» Возможно, когда-нибудь дело дойдет и до Найгеля. А пока что я довольствуюсь теми сведениями, которые от времени до времени просвечивают сквозь взгляд Вассермана. Ничего, потихоньку-полегоньку...

– Саженцы и семена я обеспечу, – говорит оберштурмбанфюрер. – Завтра начинай расчищать и вскапывать участок. Земля тут, конечно, вытоптанная, твердая, как камень, придется тебе как следует поработать. Действительно, пришло время что-то сделать с этим.

– Да, ваша честь, – мямлит Вассерман.

– Я закажу петунии. Знаешь такой цветок? Надеюсь, они приживутся тут. Моя жена выращивает их в ящиках у нас на подоконниках.

– Как прикажете, ваша честь.

– Петрушечка, огурчики – славно... Главное, не забудь редиску. Обожаю редиску! Особенно, когда она мелкая, молоденькая. Красненькая такая, свеженькая. А, прелесть! Так и хрустит на зубах!

И пока он рассуждает о достоинствах и преимуществах редиски перед прочими овощами, и с каждой минутой все больше воодушевляется, Вассерман отчаянно пытается припомнить, где и каким образом произрастает сей плод – на деревьях или на кустах?

– Ай, Шлеймеле, снова я думаю, как моя Сара могла бы помочь мне в этом тягостном деле, которое возложил на меня Найгель. Как справлюсь без ее мудрости и доброго совета? А как стану писать? Такой, ты знаешь, удивительно практический был у нее подход к этим вещам. Прежде, чем мы узнали друг друга, принужден я был днями и неделями просиживать в лютеранском книгохранилище в Варшаве, разыскивать всякие сведенья, мелкие детали, которых неоткуда мне было иначе почерпнуть. Ведь сам я от природы такой невнимательный, рассеянный и забывчивый, а Залмансон – ну, это ты даже представить себе не можешь, какой это был педант! Такой, не приведи Господь, пунктуалист и буквоед, словно придирчивый оценщик в ювелирной лавке: «Точность, друг мой Вассерман, точ-ность!». Ах, как он без конца ругал и поучал меня в те дни, когда у меня еще не было моей Сары. Черкнет, бывало, тонким своим проворным стилом по моему листу, отметит с размаху какую-нибудь несчастную фразу и шипит ядовито: «Как это понимать – «великолепная вечерняя блузка принцессы»? Ты, верно, имел в виду «великолепный вечерний наряд принцессы»? Или твоя принцесса является на бал в блузке – как какая-нибудь секретарша? Думать надо, мой друг, думать!». И пойдет срамить меня перед всем белым светом: «Блузка, Вассерман, – это женская кофточка, верхняя часть наряда, а чем же, пардон, прикрыта нижняя половина нашей принцессы? – И смотрит на меня, как на дитя несмышленое. – Ой, *майн кляйнер* Вассерман, если бы ты хоть раз удосужился взглянуть на живую женщину, а не грезил только о зачарованных принцессах и феях... – И еще хуже издевается: – Я уж не говорю, не дай Бог, о том, чтобы как-нибудь при случае остаться с женщиной наедине и освободить ее от всех одежд. Нет, это, конечно, не для тебя!..».

И вот, будто назло ему, явилась моя Сара, и писания мои от этого весьма преобразились, прямо-таки расцвели. Засверкали тысячью новых оперений. Ты не представляешь себе, Шлеймеле, с какой великой легкостью научился я отличать бирюзовый цвет от бордового и лен от хлопка, Антарктиду (которая, оказывается, лежит себе на Южном полюсе) от Аляски (которая почти касается Северного)... Подожди, или как раз наоборот? Погибаю я ныне, Шлеймеле, сокрушился дух мой в смятении, смешались все признаки вещей в больной голове, опять ничего не помню... Все она знала, милая моя несравненная Сара, и в чем разница между всякими итальянскими кушаньями, то есть между спагетти и макаронами, которые из них тоньше, а которые длиннее, и что слоны спят стоя, и это было ей ведомо, и что белая человеческая раса определяется в науке как евразийская или кавказоидная, ой, ничто, ничто не скрылось и не утаилось от нее, разум

ее был как тот колодец, который не теряет ни капли своей влаги. Отовсюду она умела почерпнуть что-нибудь свежее и полезное. Быстр и сметлив был ее ум, и заключенные в нем сокровища превышали возможности ее юного возраста! И действительно, ведь прав был Залмансон, поумнел я от общения с женщиной, и письмо мое с годами сделалось более «земным» – в лучшем и наивысшем смысле этого слова, – и память моя, Шлеймеле, вдруг выровнялась и окрепла. А, ничтожное дело, но вспомнил я теперь один эпизод и расскажу о нем, ведь главное, поселился во мне какой-то небывалый дух творческого полета, будто возвысился я над собою прежним и коснулся недосягаемых высот, и написал я однажды под его диктовку следующее: «Робин Гуд, одетый в роскошные карнавальные одежды, танцевал на балу первый вальс с богатой и красивой маркизой Элизабет и в сердце своем считал шаги: раз-два-три, раз-два-три!». Да, Шлеймеле, вот так, буквально ни с того ни с сего: сидел в одиночестве и вдруг написал такое! Невозможно поверить!..

Тем временем Найгель объявляет Вассерману, что тот уже не вернется в Нижний лагерь к Кайзлеру, а с этого дня будет проживать здесь, под боком у самого Найгеля, в его хоромах, то есть в подсобке на втором этаже, где хранятся всякие хозяйственные принадлежности, инструменты разные, и Анна, повариха-полячка, будет подавать ему раз в день горячую пищу, «чтобы ты не сказал, говночист, что я не забочусь о моих духовных наставниках!».

Здесь я должен описать, как оба они проходят в заднюю половину здания, и Найгель указывает писателю его новое пристанище – малюсенькую каморку, эдакую нишу в глубине чердака, расположенную напротив деревянной лестницы. Вассерману предложено подняться. Он делает это с трудом, наконец добирается до верха, отворяет дощатую дверцу и отшатывается назад, словно от удара. Выражение внезапной боли и страдания появляется на его лице.

– Бумага! – сообщает он мне. – Тотчас достиг ноздрей моих запах великого количества бумаги! И узрел я бесчисленные пачки нетронутых листов и груды тетрадей.

Он оборачивается к Найгелю, оставшемуся внизу, и просит у него позволения воспользоваться для нужд сочинительства одной из тетрадей, во множестве сваленных на полу. Конечно, потребуется и ручка с чернилами. И когда Найгель удивляется: «Ты что же, не в состоянии запомнить свои рассказы?», Вассерман разыгрывает сцену, которую, очевидно, позаимствовал из какого-нибудь очередного фильма про гладиаторов, демонстрировавшегося в варшавском кинотеатре: он неторопливо, можно сказать, величественно спускается по шатким ступеням, горделиво выпрямляется перед Найгелем (насколько дозволяет его скрюченная фигура) и произносит со всей возможной надменностью и праведным гневом, на какие только способен его скрипучий гнусавый голос:

– Я художник, господин комендант! Артист, тысячу раз отделывающий и исправляющий каждую букву и каждый знак!

Найгель бормочет:

– Ну, разумеется, разумеется...

Вассерман поворачивается и вновь, с грацией заржавевшей треноги, вскарабкивается на чердак и возвращается оттуда с тетрадью в руке, на грубой коричневой обложке которой изображен длиннокрылый плоский орел и под ним подпись: «Имущество отдела обеспечения СС. Восточный сектор». Найгель движением руки, в котором поначалу прочитывается лишь легкая небрежность, но на завершающем этапе выступает и несомненная солидность, вытаскивает из заднего кармана брюк собственную авторучку фирмы «Адлер» – славное наследие империи Габсбургов, – и протягивает Вассерману.

– Даже Эсав почувствовал себя, Шлеймеле, так, будто посвящает меня сим жестом в рыцари всего достославного литературного ордена.

Одно долгое мгновение они стоят и смотрят друг на друга.

Вассерман (мне):

– Когда охватил я перстами своими дивное это вечное перо, когда только ощутил прикосновение его к своей длани, то уже знал: выйду я победителем из этого сражения и посрамлю его, Найгеля, и покрою чудище позором. И не только преуспею уберечь душу свою от того, чтобы стать несчастным червем, ползающим во прахе, как тот Шейнгольд-дирижер, который пресмыкался и раболепствовал перед господами офицерами, и вилял перед ними хвостом, и говорили про него и такое, будто сделался он ихним осведомителем, прихвостнем, грязным доносчиком, клеветал и наговаривал на бедных братьев своих... – Тут вдруг глаза его останавливаются, он замолкает, словно потеряв нить своих рассуждений, а затем продолжает уже совершенно иным тоном: – Нет, Шлеймеле, не слушай меня, старого болтуна, боялся я, весь дрожал от страха. Знает пастух душу скотины своей, а я ведь даже до того унизился, что тарелку Залмансона лизал, ненавидел себя и презирал, а не мог прекратить... Гнусное я создание, Шлеймеле, правда, гнусное...

Найгель смотрит на еврея, который внезапно изо всех сил зажмуривается и стискивает веки, будто дает себе какую-то тайную клятву. И даже не зная в точности, о чем сейчас думает Вассерман, я чувствую, что есть в этом старом разбитом и раздавленном человеке, в этом слабаке из слабаков, нечто такое, что вызывает смутные подозрения и опасения в душе несгибаемого нацистского офицера. Он наклоняется к сочинителю и подчеркнуто свирепо цедит сквозь зубы:

– Рассказ про Отто и Паулу, да?

– Даже с Фридом и Сергеем, с этим мастером на все руки – ай, какие золотые руки! И с Арутюном...

– Арутюном? Кто это – Арутюн?

– Арутюн! Арутюн – маленький армянский мальчик, милый кудесник, вы забыли, ваша честь?

– Да, правда. Это тот, который играл Бетховену на свирели.

– Именно так. Будут еще и другие, разумеется.

– Кто?

Найгель подозрительно хмурится. Вассерман спешит успокоить его:

– Так, приятели их разные, верные друзья и товарищи. Не забывайте, ваша честь, что весьма трудное и почетное задание ожидает на этот раз Сынов сердца, так что будут они нуждаться в помощи любого доброго человека.

– Какое задание, позволь поинтересоваться?

– Как я могу знать наперед, господин? Этого еще невозможно знать – рассказ еще почти не замыслился в сознании моем, но обещаю вам: это будет авантюра, равной которой не было доныне, потому что если нет, зачем бы стали мы вытаскивать их с места успокоения и забвения их, тревожить невинные души и оживлять призраки?

Найгель задумывается на минуту, похоже, в нем пробуждается какое-то тревожное предчувствие – немыслимое, невероятное, но такое острое и пугающее, – однако он тотчас отбрасывает его и энергично вскидывает голову. Затем коротко приказывает Вассерману удалиться и сам исчезает из виду.

Вассерман:

– Ну что ж, поскольку так – потащил я мешок со своими старыми костями вверх по лестнице и устроил себе эдакое ложе в той конуре, по новому моему адресу. И стал размышлять. Ай, Шлеймеле, ведь не простой это был денек! Вначале забрали всех моих друзей, чтобы умертвить в душегубке: отправить праведников в небесные чертоги! Но что? Выяснилось, что недостоин я составить им компанию – не приспособлен умереть. Ни с какого боку не приспособлен. А под конец взволновались стихии, и свалилась на меня эта беда, под названием Найгель. Сатанинские его предложения и соблазны, и эти нашивки величавые на рукаве и на плечах, и орден под шеей, – фу! И обдумывал я это новое свое положение, и вспомнил про тетрадь, которую добыл у немца, и поглядел на нее. Аншел, Аншел! – сказал я себе в сердце своем. – Вот ты собираешься писать повесть, сплетать были с небылицами. И ведь будет это, к душевному огорчению твоему, серия из одного лишь экземпляра, но что тебе жаловаться? – распространение обеспечено тебе загодя. Не залежится тираж на складах! И написал я тогда под крыльями нацистского орла – чтобы выпали его перья и гниение пожрало мерзкую его плоть! – красивыми буквами на святом языке написал: «Последние, самые заключительные деяния "Сынов сердца". Сочинение писателя Аншела Вассермана, любовно прозванного юными читателями "Шехерезада"».

Перевела с иврита ***Светлана Шенбрунн***

Борис Камянов

НО ПРЕДАН ГОСПОДУ И Я

* * *

И. Городецкому

Душа моя не сатанела,
Когда вокруг был полный мрак.
Я видел свет в конце тоннеля –
Грядущей жизни верный знак.

О смерти думал я нечасто
И тратил сердце, не скупясь.
А неизбежные несчастья
Не нарушали с миром связь.

Я знал: когда она прервётся
И закружится вороньё,
Душа к Источнику вернётся
И жизнь продолжится её.

Так слиться с Ним душа хотела
За тонкой гранью бытия!..
Но я – мое больное тело!
Она – Всевышний, а не я!

Ей внуков не обнять, с друзьями
Не выпить, женщин не иметь,
А плоти – гнить в холодной яме...
Так что есть жизнь и что есть смерть?

Я слышу: «Хватит, пустомеля!
Твои исполнились года!» –
И вижу свет в конце тоннеля,
Где я погасну навсегда.

МОИ ПОДРУЖКИ

З. Палвановой

Финтифлюшки и хохотушки,
Бабки чу́дные и чудные,
Дорогие мои подружки,
Поэтессы мои родные!

Мы в начале шестидесятых,
Звон заслышав первой капели,
В окруженье друзей поддатых
Песни собственные запели.

Обреченные общей судьбою
На единые счастье и муку,
Мы по жизни идем гурьбою,
Подставляя плечо друг другу.

Вы влюблялись, грешили, не каясь.
Не утратили пыл с годами,
Словно в юности, увлекаясь,
Только нынче уж – стариками.

И в стихах, и в любви вы – доки.
Как же, милые, не влюбиться
В просветленные ваши строки!
В просветленные ваши лица!

Дорогие мои подружки,
Молодые мои старушки!

* * *

Любите меня, уходящего, дети и внуки,
Согрейте меня напоследок любовью своей!
Готовлю себя к неизбежности скорой разлуки,
И вы уж простите, что думаю только о ней.

Душе хорошо – это только лишь протуберанец.
Вернется в Светило – и вечную жизнь обретёт.
А смертное тело, прервав утомительный танец,
К другим отплясавшим в холодную землю сойдёт.

Пока я живу – будьте, милые, рядом со мною.
Душа холодеть начинает – согрейте её
Последнею лаской, последней своей добротою –
Глядишь, и помедлит кружить надо мной вороньё.

Любите меня! Ведь мне очень немного осталось.
Любите меня на закате остывшего дня.
Прощальной любовью пусть Бог осенит вашу старость,
Как вы осенили прощальной любовью меня.

* * *

На внешних сторонах мезуз, укрепляемых на косяках дверей в еврейских домах, три буквы: «шин», «далет», «йод» – Имя Бога, означающее «Всемогущий».

Могу ли Бога я любить?
Он – Всё и Ничего.
Как все мы, смертные, лица
Не видел я Его.

И всё ж целую мезузу́
Десятки раз на дню –
Поскольку преданность Ему
В душе своей храню.

И руку, тронув букву «шин»,
К губам я подношу,
А к самому Творцу любви
В себе не нахожу.

Но сын единственный, Ашéр, –
Я так люблю его!
Могу я видеть, осязать
Родное существо.

Воспитан в вере мой сынок
И превзошел отца –
Он с детства любит всей душой
Бесплотного Творца.

Но предан Господу и я –
Творцу миров и сфер.
И я целую букву «шин»
Из имени Ашер.

Леонид Левинзон

НАШ ВЫХОД

МИР ВСЯКОВЕРОЯТЕН

Нет, не знаю. Но получается, что всё, что происходит – призрачные вещи, какая-то невероятная зыбкость. Сияет и переливается солнце, накалён жарой воздух, деревья спрятались в самих себя и внутри их бродят медленные разогретые соки. В ленивом дрожащем воздухе текучи камни, строения, пустыня, ястреб точкой в небе, миг – и строения переходят в камни, камни в песок, ястреб в пыль, ещё миг – поднимаются небоскрёбы, но сквозь них уже проглядывает бесконечная синева.

Когда-то некий лысый дядька был маленьким мальчиком и любил ходить на речку. Рогастые коричневые коровы паслись на её густотравном берегу. Звякали колокольчики, высоко в небе облака то закрывали солнце и тогда лёгкий ветер, усиливаясь, рябил листву и качал жёлтыми подсолнухами за ближайшей оградой; то открывали солнце, и немедленно начинали гудеть пчёлы, носиться стрекозы, припекало голову и руки. Мальчик воображал себя великим воином и врубался с длинной палкой-мечом в заросли пыльной остро жгучей крапивы, а в перерывах между боями сбегал по глиняному скользкому распадку и восторженно бултыхался в быстрой мелкой воде. От тех времён осталась выцветшая радостно улыбающаяся чёрно-белая фотография, но можно ли верить фотографии? Процарапай блестящую плёнку и внутри ничего не выражающая изнанка. И может, так не было вовсе, а ходил по Ордынке приблатнённый послевоенных лет пацан, пугал слабаков нарочно прищуренными глазами, цедил, показываясь из тёмного подъезда: «Алёша, ша, возьми полтона ниже...», ограбил ларёк через два дома, и пропал в колонии. А скорее, светленькая веснушчатая девочка приезжала с мамой-телефонисткой и папой-слесарем из соседнего Минска в небольшой городок на берегу широкой плавной реки, познакомилась с местным мальчиком – руки в цыпках, он научил её драться с крапивой, а она его – есть оказавшиеся на вкус водянисто-сладкими маленькие жёлтенькие цветочки. Приходила с мамой, а отец громкий и весёлый сидел за столом и распевал с громкими и весёлыми друзьями: «Я слесарь шестого разряда, зарплату на ветер кидал...», видел свою розовую веснушчатую девочку, и умилялся:

– Доча, доча, это моя доча, все поняли?!

В семейном альбоме любой женщины есть фотография: девочка рукой закрылась от солнца, рядом мама рукой закрылась от солнца, а позади по выбору – деревья, дома, речка, люди, ушедшее далёкое время.

Или курсант пехотного училища: «Р-равняйсь»!

Стоял не шелохнувшись. На плац выносили знамя, и генерал говорил речь, размеренно, но так, что отзывалось каждое слово. Потом какая-то спасённая женщина то ли во сне, то ли наяву объезжала строй в открытой коляске, запряжённой лошадьми, и беспрерывно кланялась:

– Спасибо, спасибо ...

И тот же курсант, теперь старлей, в сдвинутой назад фуражке обнимал в полупустом ресторане, за окнами которого стыло и мело, плечи рядом, и грохал по столешнице кулаком, и кричал сорванным, но счастливым голосом:

– Выпьем за тех, кто командовал ротами!...

Лысый дядька: внизу органы размножения, вверху с плохо выбритой кожи рот вежливо улыбается, направился в сауну и в раздевалке увидел, ничего особенного, – голого: такой же, но более волосатый. Голый медленно одевался, оделся, а в карманах его вдруг документы, что он, например, профессор. Ушёл – где профессор? Ау!? Нет, только позвонить, записаться, заплатить за приём. Надо же, волосатый, и более удачлив. А ведь куда лучше, если бы оказался просто птицей Чи-Янь с карими круглыми удивлёнными глазами, по-цыплячьи покрытыми жёлтым пухом длинными ножками и тёплым, со встрёпанными пёрышками, животиком. Но нет – научный человек, профессор. Правда, более нематериален, потому что уже ушёл.

А жара сильнее и кто-то, кто записывает, говорит, что пятьдесят лет не было такой жары, сто лет не было такой жары, что двести лет... А вот двести лет назад была, и именно ты был профессором, а потом умер, волосатый умер, камень умер, песок скрипит на зубах – вот незадача. Через двести тридцать один год ты приезжаешь в город Иерусалим и покупаешь квартиру с ванной на улице Штерн. Ванна – это обязательное условие для покупки. А твой друг, допустим, упрямо желал жить на «Русском подворье» – и тоже исполнилось. Рядом церковь с резными дверьми, тенистый двор, священник держит собаку, собака приходит в гости, садится на пороге и тихо вздыхает. А если я вместо него – тогда и ко мне бы приходила собака? Или даже сам священник? Вздыхал бы и садился? Может, главное – захотеть. Как кто мир загадал, в нём и дышит.

Итак:

Давным-давно, то есть пятнадцать лет назад, дёрганый худой еврейский парень уезжал с российского Севера. У него была, в общем, не особо нужная, но всё-таки частная собственность. Как-то: бельё с ещё питерскими номерками прачечных, матрас, пальто, сапоги, раскладушка, чайник, плитка. Частную собственность, поразмыслив, он забил в двухметровый свежо пахнущий сосной ящик, и вечером постучал к соседу-прапорщику договориться отвезти на станцию. Прапорщик, хорошо поддавши, тянул клюквенный морс, вкушал жареную картошечку и задумчиво курил, созерцая растянутую на распорках шкуру оленя. Выслушав, без слов встал – вышли к мотоциклу.

– А я думал, у тебя с коляской?!

Прапорщик пренебрежительно махнул рукой и, нагнувшись, приподнял тяжесть. Владелец быстро помог, они устроили ящик на сиденье. От этого переднее колесо мотоцикла приподнялось с земли. Прапорщик сел, колесо не опустилось. Прапорщик озадаченно почесал затылок.

– Давай вперёд! – приказал.

Собственник спиной к дороге и лицом к водителю осторожно примостился на ободе приподнявшегося колеса, уравновесив вещи.

– Ноги, бля!

Завёлся мотор, мотоцикл тяжело, но верно поехал.

До станции было километров пять. Прапорщик вглядывался в дорогу, пытаясь в темноте угадать торчащие вверх железки из раздолбанной бетонки, вихлял колесом, объезжая. В сделавшуюся невероятно чувствительной спину собственника бил холодный ветер, тело затекло.

– Сейчас упаду, и всё, – думал, – наткнёмся на что-нибудь, Витька точно спасётся, а я вот нет.

– Витька, – не выдержал, – дыши в сторону.

Прапорщик хмыкнул.

Доехали. Отдали зевающему бородатому кладовщику в обмен на квитанцию ящик, покатились обратно. Сверху в хороводе ходили далёкие звёзды, отчётливо пахло грибами, лесом, жизнью.

– Пока откладывается, – подумал.

Приезжаешь в город Иерусалим и покупаешь квартиру с ванной. Ванна это тепло, роскошь. Средство от прострела в спине: ку-ку, привет от Витьки.

Светленькая девушка решилась к бабке-ворожее. В деревню добрались на машине, муж остался снаружи, она по тропинке к дому. Было очень тепло. Особо не надеясь, шла, рассеяно задумавшись, улыбалась, смахнула прилетевшего на тоненькой паутинке паучка. На покосившемся заборе штакетины в разные стороны, чёрно-красный петух сверху увидел чужую, протестующе закричал, захлопал крыльями, слетел. Тут и бабка вышла. Увидела, прищурилась.

– Ну, заходи, показывай.

Девушка показала: выше локтя чернело бородавчатое, поросшее волосом, пятно.

– Лечили?

– Выжигали. Потом всё по новой образовалось. Знаете, я так измучилась, очень стыдно.

– Не знаю, смогу ли, – пробормотала бабка, – чую, не наших ты кровей...

Девушка покраснела.

– Не христианка, – закончила жёстко.

Подошла к иконе, перекрестилась, достала из корзины полотняную тряпицу, на неё какие-то семена, крепко обернула руку.

– Тьфу, тьфу, – громко, – изыди!

Сплюнула.

– Три ночи не снимай! Кстати, а что за парень с тобой?

– Муж.

Усмехнулась:

– Муж? Ты с ним разведёшься.

Когда-то во втором классе у светленькой веснушчатой девочки Оли был очень красивый значок с изображением Микки Мауса, и Оля давала его носить всем, кроме толстенького Димы – чистюли и ябедника. А ещё был мальчик Петя, который, в отличие от Димы, ей нравился, и они менялись книжками. Както Дима всё-таки выпросил значок, а Петя, неожиданно зло бросив на парту взятые книжки, сказал, что больше не общается. Оказывается, Дима похвастал, что Оля сама напросилась дать значок. В третьем классе Оле понравился ещё один мальчик, она написала ему записку, но Дима записку перехватил, и прочитал вслух. Все смеялись, и Оле мальчик разонравился. А в пятом классе Дима признался ей в любви. Оле, несмотря на все Димины прошлые пакости, не захотелось обижать одноклассника, и она ответила:

– Я тебя тоже люблю.

Дома рассказала старшему брату. Брат-восьмиклассник очень рассердился:

– Как тебе не стыдно! Немедленно скажи, что это не так!

Оля честно подошла на переменке:

– Дима!

Дима прекратил жевать бутерброд.

– Дима, я вчера ошиблась, – строго выговорила, – я тебя совсем не люблю.

Дима покраснел, как бурак.

– Ну, хорошо, – выдавил, – а проводить тебя можно?

– Если только немножко.

Ещё Оля с шестого класса вела дневник: «...итак, Ольга Семёновна, вы можете себя поздравить. Вы сидели такая загадочная, такая неземная, а Н. изнывал рядом. Смотрел робкими глазами, боясь нарушить Ваше спокойствие, и не догадывался, никто в мире не догадывался, как на самом деле Вам хочется мужской ласки, да-да, мужской ласки, поцелуев, например...»

Н. исчез в прошлом, не оставив о себе какой-то значительной памяти, а Ольга окончила школу и поступила в педагогический институт, где её настигла, а потом больно ударила первая настоящая любовь. Дмитрий крутился рядом, выгуливал её после занятий и спрашивал:

– Ну почему ты такая грустная? Ну, уж мне ты можешь мне сказать? Я никому не разболтаю!

На пятом курсе сделал предложение, и она согласилась. Почти перед самой свадьбой ещё раз встретилась с бывшим другом. Они молча ходили целый день. Была осень, дул холодный ветер, рябил лужи, высоко в небе птицы, синхронно

взмахивая крыльями, медленно плыли над землёй в неизведанные края.

На следующий день Дмитрий вытащил тёмный волос из её кудрей:

– Оля, откуда у тебя?

– Дядя приезжал.

– Дядя?

– Да, из Орла. Приставучий такой, всё обнимал, поздравлял.

– Ну, хорошо, а то я всё думал, куда ты делась...

Свадьбу сыграли студенческую: в зале торжеств имени Кирова, – через открытую дверь гулял ещё кто-то. За время с семи до одиннадцати успели хорошо напиться. Ольга смеялась как заводная, и всё висла на будущем муже. Вдруг ляпнула:

– Сколько надо перецеловать жаб, чтобы потом попался принц.

Дмитрий неожиданно застыл, только заметила, как дёрнулся кадык над тугим накрахмаленным воротничком.

– Что ты милый! – испугалась. – Ревнуешь? Не надо. Я ж тебя люблю.

Танцевали, фотографировались, разливали принесённую тайком водку, изрядно тоже поддавшая с одутловатым лицом певица, вываливая полную грудь через расстегнутые пуговицы, пела басом:

– Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я не молод, не красив...

Вперёд выскочил Ольгин отец и, перебивая, заорал:

– Доча, моя доча замуж выходит! Я был слесарь шестого разряда, я зарплату на ветер кидал...

Пошёл на корточках в пляс и свалился.

На следующий день уезжали в свадебное путешествие в Питер, усатый проводник, от которого несло потом, лениво вертел в руках билеты и, улучив миг, подмигнул. Ольгу передёрнуло:

– Есть люди, – сказала с гадливостью, – что просто тошнит. Это у меня вообще физиологическое: от одних сонливость, от других сыпь.

– А от меня? – обнял Дима.

– Дима, ну прекрати, сейчас же люди войдут! – оторвала руки и засмеялась. – От тебя будет ребёнок.

После свадебного путешествия обычная жизнь: Дмитрий работал стоматологом, похрапывал ночью. Ольга было устроилась в школу, но быстро бросила. Собирались друзья мужа, рассказывали рискованные медицинские анекдоты, курили, выходя на балкон. После их ухода в воздухе витал запах зубоврачебного кабинета. Ольга родила. Обеды готовила, навещали родителей, встречали Новый год, ребёнок рос. Неожиданно Ольге удалось с помощью бабки-ворожеи избавиться от ненавистной бородавки на руке. А буквально через пару дней она встретила бывшего одноклассника Петю Ворона. Почти двух-

метрового роста, Пётр плыл над толпой, как линейный корабль, гордо разрезая волны. Увидев, бросился навстречу и, захватив в сильные руки, закружил, захохотал:

– Как ты? Я столько искал, думал, уехала, всё – не увижу!

– Я замуж вышла.

– Ну, правильно, – подмигнул, – и за кого?

– За Диму.

– Брось, сегодня не первое апреля! Так за кого?

– Я не шучу, честно! За Диму. Заходи к нам.

Ворон посмотрел внимательно:

– А что, зайду. Хотя бы проверю, не врёшь ли.

Дмитрий принял Петра очень радушно, выставил коньяк. Сидел, развалившись, болтал, потом по хозяйски обнял Ольгу, притянул к себе. В нём не было ни грамма сомнения, и Ольга разозлилась: ну нельзя быть таким, нельзя!

На следующий день Ворон позвонил. Напряженный, глухой голос:

– Ольга?

У неё пересеклось дыхание.

– Оля, ты меня слышишь?

– Слышу.

– Оля, я очень хочу с тобой встретиться!

Была весна, в весёлых больших лужах отражались безмятежно плывущие по небу барашки облаков. Пётр говорил, Ольга слушала и чувствовала, как внутри неё, словно у обочин тротуаров потемневший снег, тают последние барьеры.

Ворон работал геологом, его весёлые глаза, грубая куртка, большие сильные руки, всё говорило о невиданных просторах, дыме костров, мужественных негромких песнях. Уже одно, как он целовал, держа её лицо в ладонях, сначала прикасался губами к векам, и только потом нежно приоткрывал её ждущие губы. Как-то раз, не выдержав сладкой муки, она оттолкнула его, закричала:

– У меня муж, ребёнок, ты ломаешь мне жизнь!

– Ещё не сломал.

– Но ты, как ты можешь, ты же с ним подружился!

– Что не сделаешь ради любимой.

– Смеёшься? – она со страхом вгляделась.

– Разведись! – неожиданно с горячностью сказал Ворон. – Разведись! Ага, не хочешь, а почему?

Ольга опустила голову.

Приходила домой, с утроенной силой стирала, убирала, готовила – это успокаивало. Дмитрий по дороге заскакивал за Сашей в детский садик, а появлялся – квартира блестит, запахи – умереть.

– Вот это я понимаю, жена! – радовался как ребёнок.

Один раз он уехал в лес за грибами, и Ольга сказала любовнику, что можно прийти. А звонить, мол, не надо. Вдруг открывается дверь, – грибник вернулся.

– Дима, что случилось? – а сердце кричит: какой ужас, сейчас же Ворон появится!

– С моей Ладой разве куда съездишь! – муж раздражённо прошёл. – Вроде вчера из гаража, и опять сломалась.

Звонок. Взял трубку.

– Петя? А у меня опять карбюратор.... Нет, ну ты понимаешь! Да, да... Оля, возьми!

Вернулся из кухни:

– Что это у Ворона в зобу спёрло, как меня услышал?

Ольга фыркнула:

– Мне ещё ваших проблем не хватало.

– Ну, Петька, тебя не иначе бог надоумил позвонить! – сказала, когда встретились.

– Наверное, всё-таки чёрт, – очень серьёзно ответил тот.

Так продолжалось до отъезда в Израиль, надо было ехать в Москву, оформлять билеты. Дима по каким-то причинам не мог, поехала Ольга, а с ней тайно Пётр. Колёса стучат, сердце замирает, – как будет, что будет?

– Ты понимаешь, – повторяла и повторяла, – уезжаю я, уезжаю!

Выходили в тамбур курить, хлопала туалетная дверь, за окном проносилась, резиново растягиваясь, с белым флагом зима. Пошли в ресторан. Стираная скатерть со стиранными пятнами, дребезжат в подставках соль и перец. Солянка качается на поворотах, гуляш застыл:

– Можете унести. Да, всё. Да, спасибо.

Чай в подстаканнике, горячая ложечка – помешать тающий сахар.

– А ты ешь вишнёвое варенье, и никто в мире не ест его лучше, чем ты... – шепчет Пётр.

Заказал бутылку шампанского: пузырьки всплывают на поверхность и тихо: пух, пух...

В Москве был быстрый, сумасшедший и очень холодный день. К вечеру покупали бананы. Только купили, Пётр нагибается и в грязном перемолотом снегу находит билеты:

– Чьи, интересно? – и ахнул. – Наши!! Как же я так?

Видно, выпали, когда расплачивался.

На обратный путь достал билеты в СВ.

В купе разделся, напряг мускулистый торс:

– Красивый я?

Ольга улыбнулась:

– Зелёный цвет трусов – цвет надежды.

Долго лежали без сна.

– Когда не встречаемся, я от тебя каждый раз отвыкаю, – задумчиво сказала, – но проходит быстро.

Пётр приподнялся:

– Может, всё-таки не поедешь?

Донеслось глухо:

– А ребёнок?

– Всё-то у тебя рассчитано, – сквозь зубы. – Может и то, что он стоматолог, тоже рассчитано?

– Не обижай меня, – тихо сказала Ольга. – Ну, постарайся. Недолго осталось.

На перроне встречал Дмитрий:

– А почему другой вагон?

– Сумку, сумку возьми, ну-у Дима!!

– Да беру, ух, тяжёлая!

Закончилось как, наверное, и должно было: Дмитрий их увидел. Они неспешно шли, Ольга, положив руку на сгиб локтя Петра, что-то слушала, наклонившись к нему, потом расхохоталась, и тот легко привычно чмокнул его жену в губы. Чем-то очень горячим обдало сердце, не в силах смотреть, Дмитрий опустил глаза. Пара прошла достаточно близко, они не оглядывались, не смотрели по сторонам, они ничего не боялись.

– Ей же все равно, – с ужасом подумал Дмитрий, – ей просто все равно!

Закружилась голова, стало подташнивать. В тот же день он собрал вещи и ушёл к родителям. Через два дня Ольга узнала, что у мужа инфаркт. Пришла она в больницу, когда Дмитрий уже выздоравливал, раньше боялась. Пискнула с порога:

– Дима...

Дмитрий отвернулся.

В Израиль Ольга приехала без мужа.

Жалела ли она, что так получилось? Жалела. Стоило ли связываться с Петром? Наверное, нет, но это чувство запоздало. После того, что произошло, Пётр стал звонить реже, а потом вообще уехал в экспедицию. Сказал – на полгода.

Уже в Израиле ей приснился сон: Дмитрий стоит на одном берегу, она на другом. Дмитрий входит в воду и вдруг начинает тонуть. А все как остолбенели, ничего не замечают. Ольга бросается в реку, кричит: помогите! Помогите! Но никто не реагирует, Дима медленно уходит под воду. И под толщей воды шевелятся его губы: я тебя никогда не прощу.

А Тель-Авив встретил пыльным горячим ветром и разбросанным по улицам мусором. И вообще хорошо: проститутки как родные – русским матом ругаются. Опять же, квартиру сняла на Алленби – под потолком вентилятор, дёрнешь за верёвочку, гудит, лопастями старательно влажный воздух крутит. Тут же море, набережная. Те, кто приехал раньше, по ней прогуливаются. Те, кто позже, убирают у гуляющих квартиры. Вселились, заходит сосед с мордой, как пряник, и очень желает помочь.

Только на душе пусто. Если бы не ульпан и подработки, хоть на луну вой. А луна здесь хитрая, восточная. Начала свечи по шабатам зажигать: успокаивают. Саша спрашивает:

– Мама, а почему?

– Сыночек, ну просто горят огонёчки. Будто ждём кого-то.

Ребёнок обрадовался:

– Может, папа приедет?

Пошла слушать лекцию в общество «Свет Торы». Комнатка у них не то чтобы большая, но праздничная. На стенах картины. Лектор объяснил: не важно, это хорошие картины или плохие, главное чтобы не было неподобающих изображений. Так вот, все устроились, кругом подобающие изображения. Маленький, бородатый, синие глаза – лектор вздохнул и подёргал бороду.

– Ну, Ханука, – начал, – замечательный праздник. Свечи горели в храме семь дней. Но задумаемся, где взяты подсвечники, если всё опоганено? История говорит: сняли наконечники с копий, налили масло.

Подняла руку и спросила невпопад:

– У меня с детства такое ощущение, что если что-нибудь сильно захочу, так и будет. Вот один раз всё и исполнилось. Теперь боюсь мечтать. Кроме того, а вдруг не исполнится? Ведь тогда совсем плохо!

– Верить надо, – с готовностью отреагировал лектор, – соблюдать мицвот. Мы ж не просто так в мир пришли. Б-г милостив. Вот Ханука: свечи не должны были, а горели семь дней. Понимаете? Ну ладно, продолжаем.... Проблема в том, что наконечники использовались для убийств. Их невозможно очистить! А масло?...

Слушая, Ольга вспомнила свой ответ на Сашин вопрос в первые дни и вздохнула.

В этом «Обществе Торы» всё-таки случилось нечто очень хорошее: Ольга познакомилась с весёлой толстой Бертой. Берта немедленно затащила Ольгу к себе и надела ей на голову некую штуку, напоминающую смешного паучка с металлическими ножками. Было странно и немного щекотно.

Ольга прыснула:

– Что это такое?

– Самоудовлетворитель, – невинно округлила глаза новая знакомая.

Через час, устроившись с ногами на диване, и храбро осилив с ней полбутылки «Киндзмараули», Ольга слушала, как Берта, попав после медицинского института в Карелию, вышла там замуж за первого человека, наколовшего ей дров.

– Это был наш ортопед. Он помог мне раз, второй, третий, а потом перешёл ко мне жить. Знаешь, Оля, там дома строят так: сначала печку, потом вокруг дом. На первом этаже животные, на втором люди. А мне было так холодно, что я попросила маму прислать электрическую грелку. Муж отлучался, я с грелкой. И забыла выключить. Сижу на совещании – было огромное количество совещаний, санитарка появляется и шепчет: Берта Соломоновна, у вас пожар! Я не слышу, и машу: не мешайте. Она опять: Берта Соломоновна, у вас пожар! И эти слова «у вас пожар» начали передавать по ряду. Выбежала, когда всё сгорело. Муж приехал и говорит: Берта, я же тебя только на три дня оставил!

Берта познакомила Ольгу со своим другом, коренастым, рыжеволосым Виктором Тульским. А Виктор с бывшим офице-

ром Славиком. Стали пить за женщин, Славик вскочил как на параде, рявкнул немалым голосом:

– У нас в армии пьют стоя!

Расхвалился:

– Губерман пишет гарики, а я, Слава, славики. Между прочим, Ольга, короткие стихи всегда сложнее длинных. В две или четыре строки вкладывается столько смысла!

Выдал:

– Давайте же, как тигров бенгальских, беречь и холить популяцию Тульских! – хлопнул Виктора.

А в глазах, несмотря на славики, рост и громкий голос, затравленное выражение.

Говорили, говорили, вспомнил:

– Маме давно не звонил!

Выбежал:

– Мама, мама. Да, я. Нет, об этом не будем. До свидания. Кому сказал – до свидания.

Вышли от Берты, напросился проводить и как-то неожиданно замолчал. Будто кассету до конца домотал. Идёт, вздыхает.

– Слава, какое у вас звание?

– Капитан.

– А откуда родом?

– Москва.

Безотцовщиной оказался. Отец с третьей ходки не вернулся. Мать сама подняла. И тоже женился и разводился.

Проводил, кашлянул смущённо:

– Можно позвонить?

Попрощались, и Ольга, поднимаясь по лестнице, подумала, что её почему то всегда добивается один и тот же тип мужчин.

Они начали встречаться. Сначала редко, потом чаще.

– Сашенька, мы договорились, что ты сегодня пойдёшь к бабушке.

– Ну, сколько я могу ходить к бабушке! Хочу быть дома.

– Саша...

Ребёнок надул губы:

– Вот если ты мне разрешишь вечером посмотреть «покемоны»...

Опять утро. Обычный шабат: магазины закрыты, автобусы не ходят, их водители и пассажиры спят. Возникнет и пропадёт фигура направляющегося в синагогу. Высоченные небоскрёбы на набережной лениво смотрят в море. Бронзовые спасатели на вышке. Сегодня синий флаг, ни медуз, ни волн – можно купаться.

– Оля, почему ты так рано проснулась?

– Не знаю. Вдруг грустно стало. Вспомнила себя совсем маленькой, рядом мальчик, я отрываю жёлтые цветочки. Невдалеке корова с телёнком пасутся, колокольчики позвякивают. Солнце на плечах. Выше меня рыжий подсолнух тяжело нагнул голову. Я незрелую малину нашла, выбираю. Мальчик кричит: смот-

ри! Бросается с палкой в крапиву и машет: ах, ах! Один из стеблей отлетает и раз мне по ноге. Ожог. Я плачу. Столько было с тех пор, но как-то смялось, загрязнилось. А это самое чистое.

Приподнялась на локте:

– Слава, я знаю, что он здесь, правда! В Иерусалиме! Моя мать с его матерью как дружили раньше, так и сейчас дружат, перезваниваются. Так я про него спрашивала: был на севере. Вернулся. Живёт с подругой на съёмной квартире. Почему не встретилась? А зачем? Что я ему скажу, про жёлтые цветочки? Да и он не звонит.

Здравствуйте, уважаемый профессор! Помните, мы в сауне встречались? Понимаете, я теряюсь в жизни, вроде взрослый, но что-то до сих пор не пойму, всё понарошку, или как?

Решил разобраться и собрал много материала. Подшил в папки, разделил закладками. Осталось сделать выводы. Перед этим решил набраться сил: вышел пообедать, потом поспал, погулял. Вернулся и ахнул: птица Чи-Янь выпила чернила, изодрала папки, разорвала листы. Так обидно, пришлось соединить разные истории!

– Вот, – говорю ей, – будешь вести себя плохо, разозлюсь и уже сам всё перемешаю...

А она смотрит весёлыми глазами, перебирает от удовольствия ножками и хохочет во весь клюв.

Ну, просто дура!

19.04.03

СОБАЧКА

В полутёмном зале грузинского ресторана Борис рассказывает мне о своей жизни, и маленькая шабатняя свечечка в фигурной металлической подставке слабо горит между нами. Борис возбуждается, голос его набирает обороты и поднимается до трагического накала. Под рубашкой и свитером у него разогретое волосатое тело, мох на плечах. Он небольшой и ладный, этот Борис. С бородкой клинышком, серыми глазами, руки жестикулируют. Мы отмечаем его второй развод. Борис счастлив, очень счастлив, но что мне твоя жизнь, Борис? Я слушаю, я молчу и ем вялые жирные чебуреки.

– Ты понимаешь, Алексей, только сейчас мне повезло, наконец нашёл женщину, от которой не хочется уходить, а так – всю жизнь бегал с чемоданчиком. От одной к другой, от другой к третьей. И не потому что Дон Жуан, просто за себя надо бороться. Вот сестра – ни мужа, ни детей, кому такое надо? Сколько я просил, толкал, бесполезно. Нет, надо жить активно, менять вокруг пространство. Но при этом точно знать, чего хочешь. У моей нынешней женщины есть подруга. Просит: Боря, найди кавалера, я так устала. Ладно, отвечаю. И действитель-

но – нашёл, да не одного. А она их отбрасывает – этот не тот, другой не тот, хотя мужики неплохие. Обычные, не выдающиеся, но жизнь вполне устроить можно. Присмотрелся: живёт с дочкой, есть машина. Э-э-э, говорю, да тебе, милая и не нужно никого, у тебя уже есть семья. Сюда, девушка, салатик, сюда поставьте! Спасибо, красавица...

Смотрит вслед, берёт вилку:

– Ладная попка. Или вот сын от первой жены, я его учу, учу, а он никак не понимает. Объясняю – встречаться надо максимум четыре раза. Первый – познакомились, второй – пригласил куда-нибудь, третий – закрепление отношений, а на четвёртый – всё, в постель. Ведь если ты женщине нравишься, пойдёт обязательно, а если нет, будет морочить голову и месяц, и год, да так и не даст. А сыну непонятно, ошибка за ошибкой. Я втолковываю: на чужих ошибках учись, на моих, ведь зачем-то я путь проходил? Ответил: эх, папа, в том то и дело, что на твоих не получается. Да, добрый он у меня, медлительный. Хотя, знаешь, если иногда не выходит, то к добру. Была у меня: ухлёстывал, ухлёстывал, уворачивалась, уворачивалась. Потом узнаю, у неё гепатит «си», тот, что половым путём передаётся. Ну, думаю, ещё гепатит для полного счастья не хватало. Короче, Бог сберёг, не знаю для чего, но сберёг. Да, жить надо долго, я, например, только на старости лет начал кое-что понимать. Какая всё-таки ладная девушка... Так, о чём я? Вот, наверное, слышал, в новостях часто передают, что тут мужики жён колотят. Потом их вызывают, увещевают. Но вызывать надо не их!

– Так кого же?

Борис откидывается назад и смеётся. Сцепляет пальцы с рыженькими волосиками в замок, и хрустко разминает.

– Жён! Лечить всегда надо обоих! Мужика от применения силы, бабу – чтоб не влезала, когда не надо!

Встаёт и ищет взглядом девушку. Девушка сидит на ладной попке.

– Ещё пивка!

Встала. Принесла. Запотевшая тёмная бутылка в ломкой белой руке.

– Это у меня как профессия стала. Я и книги разные про семейную жизнь читаю. Любопытно, что люди говорят. С собой сравниваю... Жениться ведь не трудно, прожить трудно. А самое главное – надо ребёнка родить! Вот был у меня один знакомый. Лет пятнадцать назад, конечно, ещё в Союзе он женился. С женой прожил ну, максимум, полгода, потом большой скандал, и он её выгнал беременную. И никогда никого больше у него не было. А ему и не надо, видно такой человек. Приехал сюда и семь лет снимал балкон у одной семьи. Да, да, жил на балконе. Проходит, и закрывает за собой стеклянную дверь – с внутренней стороны занавесочку повесил. Чайничек, радио, на плиточке яичница жарится. Кстати, когда-то как инженер был

очень неплохой. Хозяйка, было, думала, что можно соединиться, да где там. В общем, жил, жил и вдруг внезапно умер – инсульт. Но ребёнка родил. И я вот думаю, может, он на свет пришёл, чтобы именно род продолжить. Ничто другое. Правильно?

Я молчу. Догорела шабатняя не в шабатний день свечка. Съедены чебуреки. Бездумно мигают цветные новогодние лампочки по булыжного рисунка стенам, и синий ветер через окно манит невыносимой глубиной.

– Да, правильно. Была у меня собачка. Как-то не уследил – выбежала, потрахалась. Глядь – целый выводок. Троих я утопил, а четвёртого, на белой морде тёмные пятнышки, отдал соседке. Пусть, думаю, гавкает.

22.03.03.

ЛОНДОН, ЛОНДОН...

Ну что делать, если нет ренты? Кругом говорят, что жить стало лучше, Билл Гейтс заработал ещё миллиард. Действительно – и мне на работе дали премию. Но оставим миллиарды: за пять лет жизни в Израиле я, наконец, подсобрал денег, и мы с другом заказали билеты в Лондон. Израильская авиакомпания, конечно, не по карману, взяли английский чартер, в назначенный день в аэропорту выпили по чашке кофе, поднялись в самолёт, чуть позже о нас позаботились:

– Пристегните ремни!

И вот, с пристёгнутыми ремнями – летим!

Для меня это была первая поездка. Переезд в другую страну, так уж вышло, не принёс мне ни больших денег, ни высоких должностей, хотя, что скрывать, я надеялся.

– Эй? – Вадим толкнул. – Смотри, пора обедать.

Я очнулся:

Да, рыба, две картошины, салат, красное вино налили.

– Сентябрь. В Лондоне, наверное, дождь?

– Пожалуй.

В Лондоне дождя не было. Был вечер, хорошо дышалось, девчонка в электричке напротив усиленно жевала жвачку, выдувала огромный пузырь, лопающийся опавшей плёнкой на губах. После электрички такси за пять фунтов – и мы в гостинице. Молодая негритянка безразлично швырнула ключи.

– А где...

– Up! Up!

По утрам Вадим выходил наружу, курил. Блестела вымытая ночным холодным дождиком мостовая, Вадим кашлял, молчал. Иногда я к нему присоединялся. Потом шли есть так называемый континентальный завтрак – булочку, на которую намазывали масло, пили чёрный кофе. Никуда не торопились. Успеем – успеем, не успеем – не трагедия. Ели хот-доги, катались по единой кар-

точке, прилежно ходили по музеям. Нет, хорошо было. За пять лет я настолько отвык от Запада, настолько утоп в этой бесконечной жаре, изредка сменяемой влажным нездоровым холодом, что заново удивлялся озёрам, паркам, листве с капельками влаги, порывам свежего ветра, таким вдруг родным станциям метро, читающей газеты публике. Как-то попали в гавань, заполненную яхтами. Хозяева – кто красил, кто привинчивал, ближайший к нам немолодой мужчина сновал с ведром, выливая воду за борт.

– Вот что значит Англия... У них акции, наверное, ещё со времён Ост-Индской компании.

– Завидуешь?

– Завидую. – Я честно признался.

Вадим улыбнулся:

– Тогда лучше пойдём.

Музей мадам Тюссо.

– Вадим, смотри, своих они понимают: королева Елизавета, Черчилль, Миттеран как живые, а Ленин, Мао, Горбачёв – пустышки. Барби для взрослых.

– Ты же знаешь, Восток дело тонкое... – друг хитро сощурился. – А где тонко, там и рвётся. О, Арафат! Сфотографируешь?

Вадим подскочил к мерзкой кукле и, скорчив рожу, притворился, что выдёргивает из бороды волосок. Рядом засмеялись.

– Кстати, – оживлённо заговорил, возвратившись, – в Лондоне дочка моей сослуживицы с мужем живёт, я обещал навестить. Съездим?

– Съездим. А как они здесь оказались?

– Не очень понятно, вроде попросили политического убежища.

– Интересно, кто их трогал?

– Я не вникаю. Вообще, это не наше дело. Между прочим, Анна очень симпатичная женщина. Эх, кабы я с её маманей не работал...

Поехали мы на следующий день. Анна жила достаточно далеко от центра, но и после её станции значилось остановок десять метро.

– Надо же, даже не на самой окраине! – веселился Вадим.

Муж Анны, крупный лысый человек с красным лицом, встретил у выхода. Протянув руку, буркнул:

– Михаил!

Попытался улыбнуться.

Поднял воротник тёмного широкого пальто, окончательно спрятав шею. Небо пролилось дробной капелью, разбилось о незащищённую лысину. Михаил вздрогнул, сумрачно взглянул наверх, заторопился:

– Пошли? Здесь недалеко.

– Михаил, что это за тюрбаны?!

– Индийцы, пакистанцы. Наш ребёнок – один белый в классе.

Даже далеко от центра англичане не строили хрущёвок – те же дома, те же краски. Но дворцов нет, и всё как-то более уныло. Может, потому что гроза собирается? Вон, небо какое!

Дом оказался действительно рядом. Квартира большая, немножко холодная. Телевизор включён, домашней едой пахнет. Молодая женщина встречает. И так улыбнулась, что на душе потеплело. Подала руку, мягким блеском глаза сверкнули:

– Анна, Анна... А вас как? Вадим! Ой, спасибо за передачу.

Заторопилась:

– Садимся, садимся... Вадик, что ты как чужой? Вроде, давно знакомы. И гостя успокой, – кинула кокетливый взгляд. – А то он у нас совсем засмущался. Миша, что же ты стоишь! Принеси стул!

Михаил принёс.

– Ну и как Лондон?

– Красивый город.

– А мы, – вздохнула, – за полгода так в центре и не были.

Прислушалась:

– Ой, Костик проснулся! Я сейчас!

Михаил открыл холодильник. Потёр руки.

– С чего начнём?

– Анны ещё нет, – заметил Вадим.

– Да ладно! Дело мужское! – разлил водку.

– А вот и наше чудо! – Анна ввела худенького бледного мальчика. – Костик, что надо сказать?

– Надо спросить, где конфеты?– улыбнулся Вадим. – Аня, куда пепел стряхивать?

– В тарелку. Ну, рассказывайте!

Перед уходом Анна завела нас во дворик.

– Вот! – показала с гордостью.

Внутри мирно росла малина.

– Ничего себе социальное жильё! – ахнул Вадим. – С малиной!

Миша равнодушно пожал плечами.

– Она мелкая.

– Увидишь, Анна позвонит нам, – задумчиво сказал на обратном пути Вадим, – а может, и приедет. Тошно ей с ним. Эх, пропустил я...

– Вот скажи! – Я горячо начал. – Почему красивая девушка выбрала такого обормота?

– А я откуда знаю? Бегала, бегала, я посматривал... Потом приходит с мужчиной и говорит: «Знакомьтесь – муж».

– А зачем уехала? Один белый в классе.

– Что-то я не видел, чтобы они хотели обратно.

– У нас арабы, у них арабы – половина вывесок по-арабски. Чего было уезжать?

Анна позвонила через день. Вадим поговорил, поулыбался.

– Тебе привет.

– И всё?

– А что ты хотел?

– Ну, может, приедет... Вадим, она мне так понравилась.

– Может, и приедет. Посмотрим... Алексей, ты не считаешь, что культурную программу мы выполнили, и пора на рынок?

– Конечно!

На рынке глаза разбежались. Ботинки с чуть ли не метровой подошвой, свитера, футболки, кожанки. На кожанках сердце и ёкнуло. Вадим себе купил, и я купил. Рукава были коротки, но уж очень хотелось что-то купить.

– Вадим, не любит она его.

– А тебе что?

– Она мне нравится.

– Это я уже слышал.

Анна звонила каждый день, но, несмотря на приглашения, у нас так и не появилась.

Перед отъездом мы зашли в музей Шерлока Холмса, благо было известно, где он находится. Полицейский при входе предупредительно открыл дверь, мы поднялись и разулыбались, как дети.

Вот трубка Шерлока Холмса, а вот его котелок, перчатки. Медицинские принадлежности доктора Ватсона. Чёрно-белые фотографии в рамочках – Шерлок Холмс в детстве, Шерлок Холмс в юности с папой, Шерлок Холмс и доктор Ватсон гонятся за преступником, а за ними гонится собака.

– Не знаю, чего там больше, – выйдя, задумчиво произнёс Вадим, – лукавства, грусти? Очень хорошо помню, как я первый раз взял дома Конан-Дойля: такая была толстая книжка без начала и конца с разлетающимися страницами...

– А что делать? – Я усмехнулся. – Если уж начал жить – продолжай.

Ещё раз отправились в Гайд-парк. Пустынная зелень, англичан, конечно, нет. В окружении негров какой-то араб ругал Израиль. Моросил дождь, негры смешивались с наступающей темнотой, чтобы подойти ближе, надо было отодвинуть сгрудившиеся зонты. Оратор, как в немом кино, отчаянно разевал рот и потрясал кулаками, до нас долетали лишь отдельные гневные слова.

– Странно всё это, Вадим.

– Да я уж давно запутался.

В аэропорту подошла девушка.

– Господа, позвольте узнать, сколько вы потратили?

Мы сказали.

– За какое время?

– Девять дней.

– Неужели настолько мало??

Вадим покраснел.

Мы вернулись в хамсин, когда облако рыжей пыли накрыло Тель-Авив. Бросили вещи и побежали к морю купаться. Вода была тёплая, жарило солнце. Когда одевались, Вадим сказал:

– А я рад, что вернулся. Я привык, мне здесь нравится. Пусть лучше остаётся как есть: они к нам на Мёртвое море, мы к ним в Лондон.

– А я бы от акций не отказался.

– Сдались тебе эти акции!

Прошло полгода.

– Алексей, Анна приехала.

– Когда? Почему?

– Разошлась с мужем. Михаил поставил условие: если она остаётся в Англии, он отбирает ребёнка. Анна плакала, упрашивала – всё было бесполезно.

– Вадим, я хочу её видеть.

– Я поговорю. Но Алексей, ты не представляешь, что с ней стало. Мне кажется, она потеряла килограмм двадцать! Настолько изменилась!

– Вадим, я хочу её видеть.

– Ладно, ладно, я понял.

Мы встретились через месяц. Я увидел Анну и ахнул: блеклая девушка с серым лицом, осторожными движениями и погасшими, без проблеска жизни, глазами. Мне она не понравилась.

Ну... С тех пор прошло много лет. С Вадимом я больше не встречаюсь – он внезапно умер, хотя мы договорились съездить в Испанию. С тех пор мне кажется, что смерть – это возвращение в детство, но я стараюсь об этом не думать. Про Анну ничего не знаю. Так и не женился. Зато денег стал зарабатывать больше. Вот в Праге побывал. Так что не унываю. По природе я оптимист, и считаю, что когда-нибудь всё кончится хорошо.

Да, приобретённую в Лондоне куртку я так и не носил. Попытался было надеть после приезда – рукава коротки, через полгода вообще еле налезла. Повесил в шкаф. Попытался ещё раз надеть – такое впечатление, что не себе брал. Года два там пропылилась, а потом я подарил её соседскому мальчишке. Но не видел, чтобы и он одевал. Странно, правда?

03.11.05

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Июнь. Темнеющее небо и влажный ветер. Жара немного спала. Между голым сквером со скамейками и мрачно выпятившей губу-подъезд многоэтажкой низенький заборчик очертил съёжившийся домик и грузное старое дерево с вялыми листьями, вокруг зацепленные металлическими локтями выщербленные бетонные плиты-сторожа, в щелях остатки сухой цепкой травы.

– Проходите, гости дорогие. Рады вас видеть. Ну, действительно, зачем дом, если туда гости не приходят.

Он – одноногий, плечистый, руки загрубели от костылей. Она – большая, с одутловатым лицом, в широком цветастом платье, сидит на низком стуле, к ногам прислонена трость, ручка, повторяя овал живота, выгнута и блестит полировкой. Короткая стрижка и яркие глаза.

– Вы не представляете, что тут творилось, пока мы не вселились. Ведь всё заросло! Руками, буквально руками выдёргивал.

– Серёжа, покажи дом, – вмешивается женщина. Голос протяжный и как бы заикающийся от сдержанного напряжения.

– Да, гости дорогие. Сюда, сюда. Здесь будет кухня. Холодильник дрянной. Вот спальня, а эту комнату мы ещё не приспособили. Беспорядок, всё так неожиданно...

В кухне кухня – ложки, вилки. В спальне спальня – кровать. Любовь. Окна выдыхают духоту и пот.

– А по забору я пущу бугенвилию, чтоб снаружи не заглядывали. Знаете, наверное, бугенвилия цветёт круглый год и разными цветами – белыми, оранжевыми, лиловыми, скоро здесь будет сказка.

Но пока бугенвилии и сказки нет, только на одну из колючек тянущейся по забору проволоки небрежно наколота – шипы к шипам – уронившая голову малиновая роза. Осыпающаяся штукатурка открывает раны стен.

– Хорошо, скверик рядом.

– Да, скверик. Наркоманы ночуют.

– Но дерево классное.

Хозяин усмехается:

– Классное? Да, классное.

– Кстати, тут блохи, – замечает женщина, когда двое присаживаются на матрас.

Двое вскакивают.

– Серёжа вынесет стулья, – улыбается женщина.

– Здорово, что много окон.

– Всё равно жарко. Обычно мы на улице.

Сергей устанавливает стол, женщина с трудом поднимается.

– Люся?

– Сейчас.

Выносит тарелку с овощами.

Попробовали.

– Люся, вкусно!

Люся усмехается:

– Больше ничего нет.

– У нас мясо. Ах, комары!

За ограждением возникает тёмный силуэт. Журчание.

– Что он делает? – с возмущением спрашивает один из гостей. – Эй, ты, тут люди сидят!

Сергей тоже замечает.

– Сука наркоманская! Убью, падаль! Вон, вон!

Не реагирует.

Сергей хватает нож и, сильно опираясь на костыль, делает длинный скачок здоровой ногой. Ещё один прыжок – силуэт лениво сдвинулся. Смех.

– У меня руки так и чешутся! – угрюмо говорит, возвращаясь, Сергей. Резко бросает нож.

– Если б у меня было ружьё, я б ему башку разнесла, – говорит Люся. Повторяет с удовольствием. – Башку!

Справа ленивые тёмные фигуры, слева этажи нависли, в квадратной черноте окон подъезда горят красные точечные огоньки.

– Что там?

– Кнопки свет зажечь, – улыбается Сергей, – до сих пор не знаешь? Мы, кстати, в нём три года жили, всё ждали, пока здесь не согласятся. Нам сдали потому, что мы порядочные.

– Мы порядочные, – эхом отзывается Люся.

Сергей зажигает лампу: хрупкая лампочка устроена между металлическими плоскостями – свет сразу разошёлся, осветил лица. Стал возиться с мангалом. Потянуло дымом. И откуда-то тихая мелодия.

– Очень знакомо...

– Испанская – «Полёт орла». Представляете, каждый вечер. Сколько мы гадали, непонятно где играют. Но теперь готовим мясо!

– Я помогу, – говорит гость.

– Отдыхай!

Среди пришедших женщина. Она встаёт, подходит к забору. Опираясь локтями, смотрит в поглощающую сквер, скамейки темноту, в отблесках огня и полосах необычной лампы лёгкое платье смутно обрисовывает бёдра, рыжая копна волос одуванчиком светится. «Полёт орла» сменяется «Маршем рыбаков». Музыка задувает влажным ветром с близкого моря, прокрадывается тоненькими пальчиками, женщина неожиданно громко вздыхает.

– Легко же вас пронять, – смеётся Сергей. Хрипло поёт. – Я родился в трущобах городских и добрых слов я не слыхал...

Тем временем Люся нанизывает мясо на тонкие острые палочки. Кто-то достаёт вино.

– А где штопор?

Вино «Чёрные глаза». У Люси глаза чёрные, она прекращает нанизывать мясо, смотрит на вино, прежде плотно сжатые губы приоткрываются.

– Ребята, в каком вы цирке работали? – спрашивает возвратившаяся от забора женщина.

– На Цветном бульваре.

– Я слышал, что цирковые артисты всю жизнь исполняют один и тот же номер, редко у кого есть два, а тем более три?

– Тут мы похожи на остальных людей, – замечает Люся.

– А какой у вас был номер?

– Первая порция! – кричит Сергей. – Все сюда, берите! Люся, не отвечай, пока не съедят!

Радостно зашумели, забрали, расположились обратно. На дорожке мимо дерева, трава расчёсана пробором, возникла неожиданная кошка – зрачки тревожно-вопросительное веретено. Протянула – мяу-у-у.

– Проваливай кошка, кыш, кошка, самим мало.

Чокнулись.

– За встречу!

– За дом! – поправляет Сергей. – За наш дом!

– Хорошее вино, – тихо говорит Люся, – даже очень хорошее.

– Вино, как вино. Да, гости дорогие... – Сергей неожиданно замолкает. Лампочка мигнула. Мелодия опять поплыла.

– ...помните «Генералы песчаных карьеров»? Так я читал, у Жоржи Амаду там капитаны.

– Какая разница?

– Капитан более гордо. Генералов много.

Кошка не ушла, опять просит, когти о дерево поточила, хвост выгнула. Мяу-у-у-у – кыш!

– Так вы не ответили, какой у вас номер?

– Сейчас – в ресторане посуду мыть, – Сергей перевернул мясо, – а потом злиться, когда обманут с зарплатой. Нет, не хочу. Проехали. Ребята, я думаю, вторая порция тоже на подходе.

Есть, пить, говорить слова. Только вокруг всё тише, темнее. Угли подёрнулись пеплом, яркое, малиновое их цветение угасает. Звёзды над головой выше. Серебристый свет от выглянувшей луны разлил дрожащие пятна на освободившейся от жары листве. Сергей встаёт:

– А сейчас ребята, аля-оп!

Прыгнул к дому, дёрнул за какой-то провод – на торце у крыши зажглась табличка «Выход» стрелкой вверх.

Вернулся, грудная клетка ходуном ходит.

– Когда ушёл из цирка, – начал объяснять, – работал в метро. Собрался уезжать, ребята как подарок принесли. Говорят: всегда надо знать где выход, а ты уезжаешь, иди знай, как получится...

Рассмеялся.

Гости переглянулись.

– Наверное... – протянул один.

Поглядели – кто ещё раз на стрелку, а кто на пустую тарелку из-под мяса. Дождались луны, пока лица не стали изменчивые, как вода. Часы затикали громче.

– Мы, наверное, пойдём?

– Может, рано?

– Нет, нет, – зашумели, – пора.

Поднялись.

– А вино? Забыли? Нет, нет, даже не говорите, надо будет, мы сами купим.

Люся печально вздохнула.

Пошли по расчёсанной дорожке к калитке. Кошка чернее черноты тенью метнулась.

– И заходите, конечно, заходите, ждём вас снова.

Уместились в машину. Завели мотор, зажглись и погасли вишнёвые огоньки, зажглись и не погасли жёлтые с белыми. Неся, как на ладонях, свет, покатились.

– Ребята, а я вообще не видела, чтобы они ели? – спрашивает женщина – в тесноте дыхание смешивается.

Ладно, что уж.

Сергей и Люся смотрят вслед. Машина исчезает, где-то за поворотами ещё доносится её прощальное «пи-ип, пи-ип», и наваливается тёплой грудью темнота.

Сергей поворачивается:

– Люся?

– Сегодня.

– Как раньше?

– Как раньше.

– А ты проверила?

– Всё параллельно.

– Тогда наш выход.

В душной маленькой кухне Сергей отодвигает холодильник: за ним в стене новенькие рычаги. Люся придвигает себе и мужу стулья, зажимает их терпеливые ножки в зажимы на полу.

– С Богом!

Осторожно за рычаги. Дом торцом, где стрелка, тяжело выворачиваясь из земли, чуть приподнимается. Рывок! Расходятся подпиленные, ошарашенные плиты, в надсадном скрежещущем визге и клубах пыли дом идёт вверх, ещё рывок, снизу выбрасывается яростный фонтан воды и окатывает унылое дерево. Дом, мучительно раскачиваясь, рвётся из засасывающей земли, наконец, внутри нечто звонко рвётся, дом совсем было отрывается, но тут боком с размаху налетает на цепкую проволоку и, растеряв силу, рушится. Лопается стена, сзади проваливается крыша, запоздав, медленно падает, как с закрытыми глазами, дверь.

Приближающиеся тревожные сирены, испуганные голоса, а в доме раздирающая наждаком горло пыль, оглушающая тишина и вдруг всхлипывание.

– Люся, Люся! – Сергей шарит руками.

– Больно, Серёжа...

– Где, где, сломала что-нибудь? О, господи!!

– Да нет, кажется, нет. Ушиблась.

Сергей зажигает фонарик, луч пляшет в руке, наконец, фокусирует светлое пятно, но Люся уже приподнимается. Вытирает кровь.

– Я потерплю.

– Но...

– Продолжаем, Серёжа! – кричит Люся. – Не думай, только не думай! Продолжаем!

– Тогда, господа, – голос у Сергея срывается, – последний номер. Акробаты Зверевы на выход!

Берётся за рычаги и медленно, неотвратимо медленно тянет их на себя. Дом вздрагивает.

Алле-оп!

16.07.02

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я всё сижу, сижу, никуда не хожу, и вдруг пригласили. Я поднялся от компьютера и вышел. Вышел: не ночь, не день – серый дым. Автобус остановился, водитель лицо отворачивает. Сел я на переднее сиденье и сразу замёрз: ладони под мышками грею, на месте кручусь, спрыгнул в проход и начал приседать:

– Ох, и холодно!

Стал кричать водителю:

– Выключи, выключи, кондиционер, гад!

А он хохочет и отвечает:

– Не гад я, а сокол!

Ладно, довёзли меня до славного города женского пола. Вышел я в тихое, огляделся: дома, улицы, луна провисла. Значит, всё-таки ночь. Хотя в южных городах темнеет рано, кому как не мне это знать. Значит, всё-таки вечер – вон, автобусы ходят. И тут стало мне хорошо, навернулись на глаза слёзы – раскинул я руки, крикнул так, что прохожие шарахнулись:

– Люблю тебя, страна моя!

И сразу их опустил. Просто чтобы в магазинчике пиво купить. Иду, значит, дальше, пиво пью. Где же родимые окна? Оказалось, что в другой стороне. Ладно, пошёл в другую сторону. Потом оказалось – у моря. Ладно, пошёл к морю. Потом оказалось – завернуть туда, где стройка. У забора чёрные кошки в темноте хвостами машут. Ну, кинул им бутылку – уже не жалко. Поскакала бутылка по камешкам, распугала кошек. Я остановился: да, тут, кажется. Дом. На столбах, как всегда. Под столбы зайдёшь – подъезд. Таблички с именами. Все сплошь Бронштейны, Эйнштейны. Кто-то на скамеечке сидит, огонёк сигареты красной точкой в темноте.

– Мужик, как твоя фамилия?

– Бронштейн.

– Бронштейн, дай закурить?

Покопался, дал. А я размял сигарету и выкинул в сторону. Мужик Бронштейн посмотрел молча, встал, двинулся прочь. Я захохотал вслед:

– Мужик, да не курю я, не курю. Просто все вещи пробую на ощупь.

Посмотрел на часы и пошёл вверх по лестнице. Пора, думаю. Люди там веселятся. Музыка играет. На самом деле пригласили на день рождения к женщине. Она, наверное, приоделась...

Позвонил. Пустили.

– А вот и Гена!!!.

Что, спрашивается, закричали? Будто я хоть один анекдот знаю.

Комната ярко освещена, именинница улыбается, рядом её мама сидит, несколько пустых стульев.

– Мужчины пошли за гитарой.

Пошли, так пошли, я не против. Наложил себе салатиков, ем, нахваливаю:

– Этот вкусный, и этот вкусный.

– Что же вы, Гена? А тост?

– Да не умею я.

– Нет, нет, так нельзя, обязательно тост! С вас тост!

Я подумал и поднял рюмку:

– За вашу красоту! За тонкие благородные ваши черты! За ум, отражающийся в ваших глазах! За нежные, усталые ваши руки, вы же в прачечной работаете?

Нет, с прачечной я переборщил, но остальное пришлось по вкусу, мне полностью поверили. Хлопнула дверь – появились мужчины с гитарой. Один лысенький, другой седой, третий с палочкой. Тот, кто седой – любовник героини.

Лысенький пристроил гитару, запел. Каэспэшник, точно бывший каэспэшник. Он поёт, старается, а мне грустно. Как убывающая луна на небе, есть что-то жалостливое, слезливое, сломанное в этих старых романтиках. Вздохнул я, взялся за курицу.

– Вот, Гена, попробуй ещё плов! – рядом женщина говорит.

Я посмотрел. Улыбнулся ей:

– Спасибо, Жанна.

Взял плов. Жанна взволнованно дышит. Говорит, что была у меня когда-то с ней история, и она запомнила. Надо же, а я не помню. Когда я успел? Что-то явно со мной случилось, уж очень много забыл в последнее время.

А Жанна всё напирает, намекает, что сегодня мужа нет. Надо же, мужа нет, а я не хочу. Не нравится мне Жанна, как у меня могло быть что-то с ней?

– Давайте все вместе петь! Петь! – неожиданно закричала именинница и весело хлопнула в ладоши. – Убирайте, мама, плов!

Как это – «убирайте, мама»? Куда? Я же ещё... Эх... Проводил я плов глазами: кухня на другом конце света, без проводника не доберёшься.

– Фанты, фанты! – продолжает именинница. – Кому достанется, тот поёт!

Досталось Жанне. Поёт Жанна, на меня смотрит, волнуется. Может, действительно, с ней пойти?

Ведь кое-что припоминаю: кровать у неё широкая, одеяло мягкое, воздушное, тёплое, часы в тишине успокаивающе тикают. Высплюсь по-человечески, а?

Но тут:

– Лёгких путей ищешь?! – сурово возник внутренний голос.

– Да я... – Я попытался оправдаться. – Тепло же будет! – И разозлился: – Опять ты вмешиваешься?!

Неожиданно вилка из руки упала. Я нагнулся, попробовал поднять, не получилось. Опять нагнулся, опять попробовал – металл чувствую, пальцы крепко ухватывают вилку, а поднять

не могу. Вроде как приклеенная к полу. Наверху что-то говорят, смех, Жанна грудью прижимается, дышит, а я под столом вожусь. Наловчился, рванул, поднял. И застыл в изумлении – всё исчезло. Убывающая луна в небе, забор стройки, ночь, в доме окна светятся. Надо же, так и не попрощался. Но не обратно же заходить? Пожал плечами, направился по тёмным улицам к морю. Иду, а внутри томление: от женщины отказался, торт не съел. Иду, а навстречу красные огоньки мигают. Вроде так просто не заметить, но мы не боимся недосказанности. Стою, тянусь к звонку. Дверь сама распахнулась.

– Заходите, клиент!

Приблизилась, такая русоволосая нараспашку:

– Ой, а что вы вилку держите?

Взяла за руку, повела в закуточек. Провела ладонями – одежда упала. И голос такой успокаивающий, с дурманом:

– Ходят всякие, у кого большой, у кого маленький, а я женщина – тело сильное, груди щедрые, сердце отзывчивое на ласку и шекели. Что тебя волнует? Ты разошёлся? Сошёлся. Дети обидели? Признаюсь, у меня одно средство, но зато какое! Смотри, был у меня друг, пять лет жили, но потом он стал моряком и уплыл в дальние страны, оставил меня на берегу. Поплакала я, поплакала, и нашла себе занятие по сердцу. Ведь в нашем деле сердце, именно сердце главное. А ты дурак, что подумал? Все вы так думаете! Поэтому и не любит вас никто! Ну ладно, пошутила я. Кто ты по гороскопу? А я всех спрашиваю, не могу просто так, ну хоть что-то знать. Да, действительно? Интересно, сегодня все овны идут, а вчера девы.

– А позавчера?

– Позавчера я уже не помню. Да неважно, в самом деле.

Светят красные огоньки в ночи, то ли греют, то ли обжигают сердце вонючей, безыскусной любовью.

– Нет, действительно, чего я только не навидалась. И то было, и это. Что, хочешь знать? Понимаешь, я бы рассказала, но времени не хватит. Ты за сколько платишь? Вот, вот. Так что давай лучше начнём. Со мной всегда получается настоящая любовь. Правильно, у нас же всё просто.

Ночь. Такая ночь. Я всё-таки вышел к морю, а оно ушло в небо купаться. Волны накатывают, а дальше ничего. Песок, песок, песок... Я его беру, он сыпется из руки. Был на дне рождения, и зачем? Всё забылось. А на душе легко. Вот, действительно средство. Одно, но зато какое... Я раскинул руки и крикнул со всей силы:

– Люблю тебя, страна моя! Люблю вас, Бронштейны, Эйнштейны! Со всеми вашими Жаннами, фантами и синагогами! Что, думаете, я гад? Как бы не так! Патриот я! Пожалейте меня! Сокол я, сокол ясный!

22.03.06

Никольский

Я ОПИШУ ВАМ ЖЕНЩИНУ...

ПРЕНИЯ ДУШИ И ТЕЛА И ИХ ПРИМИРЕНИЕ

Спор

Повстречались как-то душа и тело,
тело вмиг устало,
и душа совсем не того хотела,
не о том читала.
Их стянули вместе не клей, не власти
и не сила пара.
Они разной крови и разной масти,
и совсем не пара.
Не носить душе разноцветных маек,
не слабеть глазами,
а судьбу Каштанок, Муму и Лаек
обливать слезами.
Телу нужно, чтоб завтрак был утром подан,
тело может быть глухо, слепо.
Это тело бывает покрыто потом,
если колет слева.
Тело носит джинсы, что есть в продаже,
может спиться.
А душе не холодно, если даже
минус тридцать.
Части тела – это запястье, локоть,
зубы, кожа.
Тело может просто себя потрогать,
а душа не может...
Не согласны больше душа и тело
и живут в раздоре.
Все, что есть на свете, любая тема –
только повод к ссоре.
И хотя им вместе всю жизнь вариться -
не получается договориться.

Примирение

Несмотря на то, несмотря на это,
они крепко сшиты.
И покуда сшиты – они со света
никуда не сжиты.

И пускай различья в душе и теле,
но годами кряду
засыпают рядом в одной постели,
чтоб проснуться рядом.
Бог обоих мерит по тем же меркам,
поднимает планку...
Вместе служат железнодорожным клерком,
вместе тянут лямку
и влюбляются вместе в одну девицу,
что живет в Париже.
По дороге в школу, в кино, в больницу
я их часто вижу.

ЖЕНЩИНЫ ПО КАТАЛОГУ

1.

Жизнь, мечта, богиня, небожительница для любого
жителя Львова, Винницы, Бологого,
Курска, Космодемьянска, Орла,
сзади волосы собрала.
Идет по столице самой северной из провинций,
а работяги, тупицы, глупцы, провидцы,
которые дома пьют, в подъезде соображают,
ее беспрерывно воображают,
а она, не зная, сворачивает налево.
Фея... Дева.
А для жителей Нидерландов она всего-то
соседка, сожительница, Ирена,
которая неудачлива, смертна, бренна,
бегущая на работу.

2.

Заперто. Мало воздуха. Темнота.
За партой сидит, отсчитывая минуты,
не просто девочка, но именно та,
которая через десять лет почему-то...

Сумерки. Другая страна, но опять она...
С трудом отыскиваю свой дом на карте,
со стыдом вспоминаю крикнутое с утра в азарте
и отворачиваюсь от окна...

Еще через десять лет. Или двадцать пять.
Там, где она жила, в очередях стояла...
Единственная возможность потоку противостоять –
это подушка, снотворное, одеяло.

3.

Я опишу вам женщину, начну с фигуры –
с плеч, спины, трапециевидной мышцы.
Это касается кожи, ее фактуры,
поцелуев, постели, всего к чему так стремишься.

Я опишу вам женщину, начну с походки,
с крика последней моды, дурацкой сумки,
где лежат помада, презерватив, колготки,
куда суют нос различные недоумки.

Я опишу вам женщину, начну с постели...
Запах женского тела, когда в темноте не видно,
когда засыпаешь рядом, и не успели
договорить о том, что тебе обидно.

Я опишу вам женщину, начну с обиды –
с горькой, давней, несправедливой.
С горькой таблетки, стаканом воды запитой,
со встречи, оказавшейся несчастливой.

4.

Под одеждой, косметикой, слоем жира –
тонкая девушка из Алупки,
не уцелевшая в мясорубке.
Не она так решила.

Каждым солнечным утром, делая жизнь несносной,
разламывается голова.
И небесная синева
соперничает с венозной.

Солнце над нею в небе
красней китайского флага.
Запах пальцев, очистивших апельсин...
И даже если родится сын –
тоже будет бедняга.

5.

В кафе на вершине мира,
а там внизу.
На самой вершине мира,
а там течет,
кричит, задевает, выдавливает слезу,
только обычно слезы наперечет.

Пьет минеральную воду, заводит речь,
странным манером – волосы в две косы,
глупо надеется поколебать весы,
помнит, ее учили себя беречь.

Помнит: направо – галантерейный ряд,
если налево – не сбережешь коня.
С ней официанты вежливо говорят,
ей стенные часы отбивают шесть,
рядом кому-то другому несут коньяк...
Значит, другие тоже на свете есть.

6.

Женщина, застегнутая, одетая,
неизвестным мужчиной в постели согретая,
у нее из каждого выреза
выступает тело и прочь стремится.
Плоть, покидающая темницу,
хозяйка, кидающая равнодушно
взгляд на проходящих, застигнутых ею врасплох.

Женщина в синем и с белой кожей,
кожей, ухоженной, чисто вымытой,
вялой походкой, похожей
на кого-то... Из шкафа вынутый
синий костюм по улице удаляется.

Носящая имя Ольги, Кристины, Анжелы,
спешащая мимо меня по улице,
исчезнет, ибо нет ни одной причины
запомнить движенья ее руки.
Через десять минут навсегда забудется
Всеми, кроме мужчины
из второй строки.

7.

Далеко от берега, в центре суши,
за кирпичной громадой
она плачет, прячет разводы туши,
мажет губы помадой.
Далеко от центров английской речи,
итальянской моды
тянет выспаться, после ссутулить плечи,
выпить соды.

Тормозит у красного светофора
возле круга.
Отдыхает после ночного спора.
Друг от друга.
И оставив всякие сантименты
утром рано,
в самом центре целого континента
пьет из крана.

И подводит у красной кирпичной стенки
дебит-кредит,
если будут силы, бензин и деньги –
дальше едет.

8.

Напряженный заработок обыкновенных денег.
Осуществляя наилучшую из продаж,
в понедельник
очинивает карандаш,
пишет ценник,
а ее подельник,
подонок и неврастеник,
так возбужден, что словами не передашь.

Продолжая неделю, идет во вторник
в ресторан, на тело надев Армани.
Ее муж с лекарством в грудном кармане,
судя по рифме – хроник и гипертоник –
влюбился в другую, другой предлагает тоник,
поливает соусом бок бараний.

Потом начинается бег, и то,
что изверг тебя отверг – безразлично,

к семи надо быть в суде.
Это в четверг, не говоря уже о среде.

Оставшиеся три дня, или сколько их там осталось,
она употребляет, чтоб победить усталость.
Спит до обеда, до запятой выполняя предписанья врача
данные им сгоряча.

9.

Рядовая работница банка
в приличной юбке
живет, как в кабине танка,
не идет на уступки.
Половину жизни прячет под катом,
отказывает смуглокожим и всем пархатым,
разрывает бинт, выдавливает наружу,
не боится сломать, разбередить, нарушить.

Рядовая работница банка,
обладательница враждебного взгляда
на вещи,
мать
мальчика из детского сада,
крашенного под панка,
могущего разломать
ее жизнь, как карточный домик.
Пьющая тоник с подругой в баре,
несчастная, словно комик,
который хохочет до колик,
как записано в трудовом контракте.
В паре она смотрится лучше, чем в одиночку,
вопреки резону и катаракте,
тут можно поставить точку.

Татьяна Азаз-Лившиц

НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ

Сентябрьским полднем, после пятничной беготни по магазинам и конторам, Соня с наслаждением окунулась в прохладу затемненного дома. Нажала на кнопку, и тяжелые железные жалюзи, закрывавшие огромное – во всю стену – окно на садовую веранду, лениво поползли кверху.

– Итак, занавес подымается, – услышала она вдруг хриплый женский голос.

Перед ней предстало странное крохотное существо, завёрнутое в похожее на рубище платье неопределенно-бурой окраски. Одеяние создавало тревожащий контраст со сверкавшими розово-перламутровым лаком ногтями рук и ног и шоколадной смуглостью оголённых плеч. Космы серо-желтых прядей клубились вокруг черной головной накидки из настоящих испанских кружев. На тёмном морщинистом лице блестели два светло-голубых глаза.

«Нищенка, побирушка! Но как она сюда проникла? Ах, да, я ведь оставила незапертой садовую калитку».

– Сонечка, я вижу, ты меня не узнаёшь. Впрочем, и я бы тебя не узнала. Ух ты, ну-ка, покажись, какой стала породистой и красивой дамой! А ты меня совсем не помнишь, Евпатория, пляж, лето?

Что-то смутно-знакомое мелькнуло в чертах старухи, но задумываться не хотелось: Соне предстоял свободный от домашних забот конец недели, – муж в командировке, дети разъехались по друзьям, – и она хотела целиком посвятить его работе над книгой.

– Ну, а прикурить в этом прекраснейшем доме для утомленной странницы найдется?

Она достала из сумочки зелёную пачку дешёвых сигарет. Ее маленькие руки слегка дрожали, на лбу выступили капельки пота, в уголках рта собиралась слюна. Смешанный из пыли, солнца и пота, сладковатый запах её одежд стал резче.

Соня отправилась на кухню за спичками, размышляя, как повежливее избавиться от непрошеной гостьи.

Старуха чиркнула спичкой, глубоко затянулась, отвалилась на спинку кресла, высоко задрав стройные загорелые ноги, окинула их внимательным взглядом и, скрестив, опустила на землю.

И Соня вспомнила...

Конец пятидесятых, ей двенадцать лет. Первый семейный отдых на море после возвращения отца. Тогда в доме прижилась фраза: «Тиран умер, и жизнь с каждым днём становится лучше, веселее». Прежде пустой дом, в котором после ареста Сониного отца домочадцы даже ссорились шепотом, будто по

мановению волшебной палочки наполнился голосами его друзей, коллег и студентов. После лагеря отца приняли обратно в университет, на родной филфак. Отдых на море воспринимался как точка на некой кривой, ползущей вверх, к нормальному человеческому существованию. О лагерных годах упоминать в доме было не принято, а если и вспоминали, то лишь о людях, помогавших отцу там, в Челябинском лагере – с особой, почтительно-таинственной интонацией. Именно среди них мелькали имена Лии и Ицхака, друзей ещё с довоенных студенческих лет. Во время эвакуации они попали в Челябинск, а после войны осели там окончательно.

Отпуск проводили в компании родительских приятелей, Лия и Ицхак тоже приехали повидаться – вместе со своей дочерью Эммой, Сониной сверстницей. Ничего таинственного Соня в них не обнаружила. Ицхак запомнился ей высоким и добродушным увальнем, всегда беспокоившимся о девочках: не голодны ли, не пересидели ли на солнце. А вот Лия сильно отличалась от остальных маминых подруг. Увесистые продолговатые груди, начинавшиеся чуть ли не у подбородка, тонкая талия, стройные бедра, голова в мелких пепельных кудряшках. Папироска во рту, кольца дыма над головой, и постоянное перепархивание с одной пляжной подстилки на другую. Её крепкие загорелые ноги неутомимо выписывали в воздухе замысловатые фигуры, прежде чем опуститься на землю и невзначай коснуться кого-либо из мужчин.

Жёны соблазняемых Лией приятелей относились к ней снисходительно: «Почему бы тебе не взобраться вон на тот стол, под тентом? Твои замечательные ноги будут видны всем, и тебе не придётся бесконечно скакать и прыгать». А Ицхак вообще не обращал на Лиины прыжки никакого внимания, лишь застенчиво усмехался.

Но ни его невозмутимость, ни родственная фамильярность женских шуток ничего не меняли в облаке соблазна, парившем над Лией. За огоньком ее папироски перебегали, словно искорки по бикфордову шнуру, весёлые возбуждённые голоса.

Соня замечала, как напружинивались спины мужчин, когда её гладкие коричневые ноги проносились над ними.

Эмма же, бросая косые взгляды в сторону беззаботно порхавшей мамы, ещё глубже и энергичней зарывалась в песок. Они с Соней проводили вместе много времени, почти не разговаривая. Возились с песком, играли в пинг-понг и бадминтон, заплывали далеко в море или собирали шелковицу, осторожно переступая по толстому шершавому стволу старого крепкого дерева. Лазать по нему Эмма научила Соню ещё в самые первые дни их знакомства.

Стоя под деревом, Эмма терпеливо и точно направляла Сонины шаги, разлагая это опасное занятие на короткие и простые движения. Эмма была смугло-бледная, с огромными зелёными глазами, с такими же, как у матери, крепкими стройны-

ми ногами. Но с мальчишками почти не флиртовала, тем более с тем, что нравился Соне. И угадала его безошибочно, без всяких объяснений.

К концу августа все разъехались, после двух-трех попыток переписка между девочками заглохла. Сонины родители какое-то время посылали в Челябинск из Москвы дефицитное лекарство для Лииной мамы; потом необходимость в этом отпала, и они тоже всё реже вспоминали челябинских друзей. Но Соня не забыла то лето: оно осталось в памяти молчаливым изумлением-неодобрением, которое вызывали у нее безудержные взрывы веселья «банды» взрослых, и тем абсолютным доверием, которое она испытала к Эмме.

– Вы Лия? – ещё сомневаясь, спросила она.

– Господи, деточка, неужели меня ещё можно узнать? – голос старухи дрогнул.

И перебивая друг друга, они отдались потоку воспоминаний.

– Но как вы нашли меня, вы здесь в гостях, или живёте, что с Эммочкой?

– Сонечка, как у тебя хорошо, какой у тебя дом, какой сад, боже, как ты похожа на папу, а глаза – мамины. Нет, дети наших друзей – это всё-таки много, это наш билетик в будущее, – частила старуха.

Постепенно они успокоились, гостья пошла принять душ. Потом, за обедом, она рассказала о себе. Всю жизнь проработала на челябинском радио, в литературной редакции, муж был главным инженером стройтреста.

– Эммочку и меня любил и берёг безумно. Но умер молодым, как и твой папа... через несколько лет после него. Нам удалось кое-что скопить, и от мамы моей ещё оставалось золотишко. Эммочку за огромную взятку удалось устроить в мединститут. Она уже заведовала отделением, появилось имя, как вдруг в девяностом решила всё бросить и уехать в Израиль. В отличие от меня, она не только умна, но и серьёзна, здесь выдержала все экзамены и продолжает работать врачом-психиатром. Довольна. Я некоторое время без неё продержалась, а потом тоска заела, приехала сюда. Но подоспела приватизация, кое-какое барахлишко ещё там оставалось, и пришлось мне на несколько недель уехать обратно в Челябинск. А там.... Сначала меня обокрали, потом подхватила воспаление лёгких. Очухалась, а за окном уже зима. Первый раз вышла на улицу и тут же поскользнулась, перелом шейки бедра. В общем, выбралась оттуда только через год. Но, слава Богу, я опять здесь, на земле предков, с вами, мои дорогие девочки... Ладно, об этом потом. Расскажи лучше еще о книге отца, ты действительно выпускаешь книгу его работ? Какая умница, как замечательно ты чтишь отцовскую память!

...Сониного папы не стало через шесть лет после того евпаторийского лета. Он ушёл, не дожив до сорока пяти, не успев

закончить монографию о Бабеле – дела, которым он занимался с увлечением одержимого все свои последние годы.

Уже двадцать пять лет Соня жила в Израиле, она стала адвокатом, муж – тоже, выросли дети, всё, вроде бы, сложилось удачно...

И тут случилось чудо: к тридцатилетию папиной смерти она неожиданно получила письмо из России. Папин друг писал, что есть много людей, которые не забыли отца, и предлагал собрать сборник воспоминаний о нём его коллег, друзей и учеников. Нечего говорить о том, с какой готовностью откликнулась Соня. А затем родилась идея выпустить книгу избранных отцовских работ. Тот же друг подготовил рукопись к печати и переслал её в Израиль. И Соня решила издать книгу здесь, дополнив её снимками из семейного альбома и отрывками из воспоминаний. Вглядываясь в отцовские снимки – студенческие, военные, послелагерные, припоминая родительские рассказы, Соня искала и находила в памяти всё новые и новые детали. Это погружение в отцовский мир будто смягчало надсадную свербящую боль, не покидавшую Соню со дня смерти отца.

...Среди событий той жизни челябинская ссылка оставалась для Сони белым пятном, она не понимала, как отец, осужденный по политической статье, оказался в сравнительно мягком Челябинском лагере?

Лия ахнула, услышав её вопрос.

– Как, тебе об этом никто не рассказал? Представь, пятидесятый год, начало осени. Кто-то уже ходит в космополитах... Но мы, на Урале, были сравнительно на отшибе. Мужа моего ценили как прекрасного инженера-строителя, я всех знала, потому что работала на радио, к тому же, у меня была великолепная портниха, дорогая, но мама помогала. Ты знаешь, я не была красивой, зато фигурка, ножки... И никогда не была упряма. Короче, мы были приняты в кругу местной номенклатуры.

С твоими родителями обменивались письмами нечасто, но нежно их любили. Мы с твоим отцом учились в одной группе. Я тогда познакомилась с Ицхаком, а твой папа встретил свою любовь, твою маму; свадьбы сыграли почти одновременно. Ты знаешь, твой отец был душа всех компаний, звезда капустников, любимец всего факультета! И хотя война нас разбросала, студенческое наше братство сохранилось на всю жизнь. Про арест и суд мы узнали уже не помню от кого – это был гром среди ясного неба. Но написать твоей маме руки никак не доходили. И вдруг однажды ночью звонок. «Ефим едет на Север, через неделю у него остановка в Челябинске. Сделайте всё, чтобы уговорить его задержаться и отдохнуть у вас». Это звонила твоя мама, слова её означали, что Ефим получил «распределение» в Воркуту – практически смертный приговор.

Начальника пересылки Ицхак отловил на теннисном корте. Потом, за кружкой пива, он ему бросил: «Слушай, моей Лильке приспичило с тобой повидаться с глазу на глаз». «На кой

ляд?». «Ей Богу, не интересовался, ты же знаешь, какая она у меня баламутная. Да ты не дрейфь, я ей строго-настрого запретил торчать у тебя больше десяти минут». Ну, начальнику было неудобно отказать мужу, и он согласился. А я срочно заказала панбархатное чёрное платье до полу, с разрезом на боку, вытащила из нафталина потрясающую серебристую чернобурку и в таком виде, слегка обмирая, отправилась в лагерь.

Принял он меня уважительно. Наряд сработал, да и в услугах хорошего инженера-строителя он сильно нуждался. Мы закурили, поболтали о том и сём и, когда он расслабился, я ему сказала: «У меня в молодости был друг, жутко красивый мальчик, и добрый. Чего он сейчас натворил, я не в курсе, но через пару дней он будет проездом в Челябинске по дороге в Воркутлаг. Очень тебя прошу, оставь его здесь, у меня к нему сантименты. Только ради Бога, моему мужу об этом ни слова».

Лицо его окаменело, глаза сузились в щёлочки, и он процедил: «Я проверю и сообщу тебе результаты».

Ушла от него, не зная, что и думать. Но слово он сдержал, позвонил через два дня и сообщил, что друг мой действительно не опасен, и он постарается его оставить. Ну, а папа твой, умница, нас подстраховал: перед Челябинском наелся мыла, у него начался жестокий понос. Возникло подозрение на дизентерию, в Челябинске его снимают с поезда и направляют в медчасть. Но после этого мы с ним уже не виделись до его освобождения, слишком были на виду, не могли себе позволить опекать политзэка. У него потом в лагере началась цинга, я знала, но помочь не могла, его спасли лагерные врачихи Рахиль Осиповна и Анна Петровна, ты о них, конечно, слышала.

Ночью у Сони созрело решение: старуху надо записать на видео. Выручила подруга, такая же немногословная и надёжная, как когда-то Эмма. Они начали съёмку в десять утра, усадив Лию в кресло перед камином. В её облике не осталось ничего от вчерашней нищенки. Она сидела в кресле с аристократической непринужденностью, не обращая никакого внимания на камеру. Речь её текла плавно и без натуги, перемежаясь эффектными паузами. Сам рассказ звучал более торжественно; основной сюжет был дополнен воспоминаниями о её муже. Во время войны на оккупированной немцами территории смертельно раненного Ицхака подобрала и выходила, рискуя жизнью, шестнадцатилетняя украинская девочка-крестьянка. Вмешательство Лии и Ицхака в судьбу Сониного отца предлагалось видеть чем-то вроде продолжения этой круговой поруки порядочности. Рассказ был расцвечен чтением «Двенадцати» Александра Блока, цитатами из «Конармии» Бабеля, ахматовского «Реквиема» и даже пословицами из Козьмы Пруткова.

Часа в четыре Соня, наконец, приступила к вычитке рукописи. Старуха подкралась неслышно и возникла прямо перед Соней со своей вечной сигареткой в углу рта:

– Ты знаешь, мне необходимо с тобой посоветоваться.

Сонино сердце ёкнуло.

После съёмок она готовила и подавала обед, мыла посуду... Навалилась усталость, нарастало тянущее чувство напряжения, обычно возникавшее от невозможности пробиться к чему-то своему, пусть даже пустякам, но необходимым в данный момент. Как правило, такие вещи трудно делать в присутствии посторонних людей в доме. Например, порядок в коробке с иголками и нитками. Соне казалось, что это вызовет к ней чувство лёгкого презрения, и она боялась осуждения гостей: мол, вот, мы здесь, а ей наплевать. Но сегодня совсем другое дело – надо вычитать рукопись! И Соня предупредила Лию заранее, что после обеда будет занята, и что работа её не терпит отсрочки. И вот, тем не менее, старуха явилась «советоваться»!

Полился её рассказ о настоящем, и Соня сразу поняла, что Лия намеренно уклонилась от этой темы в пятницу, рассчитав, что разговор следует перенести на сегодня. «Битуах Леуми» после её внезапного, в действительности не годичного, а трёхгодичного отсутствия, говорила Лия, согласен восстановить ей пособие лишь через несколько месяцев. В то же время она не может и помыслить о том, чтобы сидеть на шее у дочери и зятя, пусть даже временно. Она никогда, да, никогда не согласится жить за счёт детей. Другое дело – государство. И полились речи о том, как Израиль ворует у репатриантов американские деньги, и бесконечные повторы про какую-то анкету, затерявшуюся по дороге из «Битуах Леуми» в банк, без которой она не может открыть счёт и получить аванс из «Битуах Леуми», который, всё-таки согласились ей перевести. И Лия очень просит Соню пойти с ней завтра в «Битуах Леуми»:

– Потому, что только ты, Сонечка, с твоим знанием иврита и здешней жизни в состоянии помочь мне справиться с этими негодяями и сволочами.

Соня застыла, словно ей нанесли коварный удар под дых... Хотя с годами она и поняла, что «сильные – гнутся, слабые – ломаются, если хочешь быть сильной – попроси», страх и отвращение перед ролью просительницы преодолевала с трудом. Но старуха припёрла её к стенке своей «круговой порукой». Вяло подумалось: «А что же Эмма, почему она не помогает матери?», – но сопротивляться напору не было сил, да и, в самом деле, клиенты были назначены только на завтрашний вечер, а работу над рукописью, в конце концов, можно отложить. Она вяло согласилась:

– Ладно, уговорили, завтра поедем.

Старуха поблагодарила с преувеличенным жаром и пошла искать последний окурок, ещё и сигареты у неё закончились.

– Может, подскочим куда-нибудь? – льстиво спросила она.

Это было уже слишком. Тащиться полчаса по жаре до ближайшей арабской деревни?

Остаток дня Соня просто от неё пряталась. Была и ещё одна причина нежелания разговаривать с гостьей. За обедом у старухи вырвалось с жиденькой, как разбавленное молоко, симпатией:

– Сонь, славная ты девочка получилась, но до Ефима тебе как до Луны, никаких выживательных инстинктов. Моя Эммка прямая, как линейка, и то побоевитее, а поди-ка, устроилась ты в жизни совсем неплохо.

В какой-то момент Соня выглянула в сад. Старуха дремала под деревом, свернувшись в комочек. Её подвижное, как у обезьянки, лицо во сне выглядело совсем старым и несчастным. У Сони сжалось сердце.

Почувствовав взгляд, старуха встрепенулась, потянулась к потёртому пластиковому мешку, с которым не расставалась ни на минуту, вытянула из него другой мешочек, поменьше, тряпичный и измятый, как грязный носовой платок, и уже из него выудила строгое ромбовидное кольцо, по виду старинное, и ещё два ожерелья, золотистое и фиолетовое, из прозрачных гранёных камешков, коротко и загадочно сверкнувших на солнце.

– Посмотри, это мои фамильные драгоценности, последние из маминого наследства. Эммочка их не любит, не признаёт, они должны остаться у тебя. Дай мне слово, что ты их будешь носить. Они тебе чертовски пойдут.

Кольцо и бусы были и вправду хороши – благородные и «стильные». Краска бросилась Соне в лицо: «Неужели она на самом деле решила их мне подарить?» А старуха продолжала решительным тоном: «Понимаешь, до наступления зимы мне необходимо ещё раз попасть в Челябинск. Мне для этого нужно восемьсот долларов. Цацки пусть останутся у тебя, ты мне дашь деньги, я туда смотаюсь, а когда вернусь, придёт пособие из «Битуах Леуми», и мы опять обменяемся».

Наверное, на Сонином лице проступило разочарование. Когда она попыталась возразить: предстоит, мол, выпуск папиной книги, и столь крупные расходы ей сейчас не по карману, – старуха, глядя на неё сухо и насмешливо, отчеканила:

– Да что ты нервничаешь? Они ведь тебе нравятся, не бойся, поноси, не захочешь оставлять их у себя, я приеду, заберу и рассчитаемся.

...Вечером, когда уже похолодало, и стёкла машин покрылись слоем влаги, женщины поехали за сигаретами в ближайший супер. Пляшущие цепочки огней на покатых спинах Иудейских холмов, ярко освещенный магазин, окна Сониной машины, открывающиеся нажатием кнопки, – Лия реагировала на всё с радостным удивлением. Сигареты продавались только блоками, и принять «такой дорогой подарок» старуха наотрез отказалась.

Наутро, накормив гостью дыней и творогом и напоив крепким кофе, Соня сообразила, что может не ехать в «Битуах Леуми» наобум, а справиться по телефону. Это оказалось гораздо

легче, чем Соня себе представляла: оказывается, старуху все помнили.

– Да, была, мы всё ей разъяснили. Нет, корзину абсорбции она умудрилась получить уже дважды, и оба раза после этого исчезала на несколько лет. А пособие ей положено, но деньги придут лишь через три месяца. Почему? А у вас есть гарантия, что она опять не удерёт?

– Да куда же она может удрать, ведь билет стоит больше, чем ваше пособие.

– А мы не знаем, надо проверить.

– Но ведь ей пока не на что жить...

– У неё есть дочь, и вообще, позвоните через час, когда придёт заведующая.

Старуха смотрела на Соню благостно, с полным доверием – ведь она так бойко чирикала на непонятном языке. Но пока Соня снова и снова звонила разным чиновницам, Лия начала сникать и уменьшаться в размерах. Невозможно было поверить, что это она вчера вещала:

– «Конармия» Бабеля – Апокалипсис, видение конца мира. Она залита кровью, но и пронизана светом. Поэтому «Закат», написанный после «Конармии» – естественное развитие этой темы, темы всеобщего конца мира, залитого кровью.

Да, вчера спорить и рассказывать ей, что события в пьесе «Закат» относятся к 1913 году, а в «Конармии» – к 1920-му, было невозможно. Как невозможно было не выложить ей деньги за насильно всученные драгоценности. А сегодня она была удивительно покладиста.

В результате всё окончилось телефонными разговорами, и необходимость куда-то ехать отпала окончательно. Ответ обещали через две недели. В ларьке, недалеко от дома, Соня купила две пачки сигарет и усадила старуху на городской автобус, который должен был доставить её на центральную автостанцию. Было очень жарко, но старуха переносила жару не замечая. На прощание, почему-то испытывая смутное чувство вины, Соня протянула старухе пятьдесят долларов:

– Это в честь нашей встречи вместо подарка, который я не успела купить». Старуха приняла деньги с достоинством:

– Спасибо, Сонечка, столько для меня сделала, и ещё подарок, как много!

Вечером Соня позвонила Эмме в Ашдод, заранее радуясь и предвкушая возобновление знакомства. Ей ответил абсолютно чужой и усталый голос:

– Разумеется, Соня, я вас прекрасно помню по Евпатории. Мама добралась благополучно. Спасибо за помощь. Мама рассказала, что вы её замечательно принимали и сами обзвонили всех чиновников. Ещё раз спасибо.

...Прошло несколько месяцев. Старуха не появилась. Соня начала беспокоиться, но телефон у Эммы не отвечал. Наконец, она дозвонилась. Эмма говорила, сухо чеканя слова:

– Соня, моя мать, к сожалению, психически неуравновешенный человек. Взбалмошный и алчный. В молодости у неё была неуёмная любовь к нарядам и поклонникам, а теперь идея-фикс – доить Израиль. Наверняка, она и у вас нагадила, – продолжала она с холодной брезгливостью. – Небось содрала за свои драгоценности втридорога. Но после отъезда она оборвала со мной всякие контакты. Мне ничего о ней неизвестно. Так что с её кольцом и ожерельями поступайте как вам угодно, мне они ни к чему. А вообще, к её поступкам и действиям я не имею никакого отношения и никакой ответственности за них не несу. Пока она была здесь, я выполняла свой долг до конца: отвела ей самую просторную комнату, обеспечила всем необходимым. Но участвовать в её безумных планах – увольте. Достаточно она над отцом поиздевалась.

Несмотря на решительный тон и командирские нотки, в голосе Эммы звучало глухое отчаяние.

...Отцовская книга вышла в конце зимы. Она имела успех, не шумный, но зато у тех знатоков, мнение которых было бы для отца важно. Появились отклики в толстых журналах. Прошли презентации. Всюду находились люди, помнившие и любившие отца и воспринимавшие выход книги как лично для них важное и радостное событие. Кольцо мучительной Сониной тоски по отцу, злой и горькой обиды на мир за его ранний, внезапный уход – распалось. В лёгкие вошёл новый воздух.

Из всего старухиного рассказа в книге нашлось место лишь короткой цитате. А старухины украшения, стыдливо засунутые в дальний угол туалетного столика, Соня спустя пару лет как-то достала. Бусы показались ей стекляшками, а кольцо прижилось на безымянном пальце. Муж подарил ей браслет, подчеркнувший строгую красоту кольца.

Однажды на веранде кафе в Сан-Франциско, на берегу океана, Соне вдруг приветливо улыбнулась смуглая пожилая женщина:

– Посмотри, как похожи наши кольца. Я – из Ливана, но семья моего отца из Сибири, они там жили до большевистской революции, и моё кольцо оттуда, от прабабки. Это – работа ювелира, знаменитого на всю Сибирь. А твоё тоже оттуда?

Иногда под настроение Соня просматривала ту видеозапись, и снова у неё перед глазами возникали кольца дыма, молодая женщина, кокетливо поправляющая на шее огромную лисью шкуру, стройные загорелые ноги, мелькающие над евпаторийским песком, но это видение быстро превращалось в сморщенную, старую, сжавшуюся в комочек фигурку на садовом кресле. И, вглядываясь в красноватое золото кольца, в тусклый блеск изумруда и сияние крохотных бриллиантиков, она задумчиво вертела его на пальце и всё чаще спрашивала себя: «А что в старости может случиться со мной?»

Геннадий Беззубов

КОГДА БУДЕТ ПОДАН ЗНАК

* * *

Ты обернёшься, не изменив лица,
Зная, что эхо не сразу Ему ответит.
Выдох ли, вдох, просто взлетит пыльца
С потных растений, которые треплет ветер.

Отзвук, отвердевая, покатится по пятам,
Чтобы достичь ушей как раз на границе света,
И отвесная тень, падающая там,
Резко контрастна, как вариант ответа.

Ты вместе с ней отклоняешься на восток,
Где в несмываемой дымке стоят Голаны,
Будто отхваченный только сейчас кусок,
Все элементы которого первозданны.

Так не тебя ли звали, если ты услыхал
Нечто подобное слабому зову свыше?
Так удаляется поезд, и стук считаемых шпал
С каждым метром становится всё тише и тише.

* * *

Собеседник молчит, он не знает ответа,
Только чувствует – двинулось как бы на слом,
Утекая сквозь пальцы, дощатое лето
Здесь, за дачным столом.

И покуда дожди зарядить не успели,
Кроме разве дождя усыхающих пчёл,
Тот, кого содержали всю жизнь в черном теле,
Просто встал и ушёл.

А дорога совсем, почитай, не пылила,
Только солнце пекло да цеплялись репьи,
И была незнакома внутри нараставшая сила,
У которой резоны свои.

Будто вправду сейчас, только вот до пяти сосчитаю
Чужеземные танки попрут через лес,
И душа полетит, поплывёт по закатному краю,
Не касаясь небес.

* * *

Эти стихи, прозвучат ли они сейчас
Так же, как звучали ещё внутри,
Или же потускнеют, как бывало не раз,
До неузнаваемости? Протри
Это бутылочное стекло,
Что там, внутри – жаба или корабль?
Скорей, неразборчивое письмо,
Его бы прочесть пора.
Но ты ведь однажды уже читал,
В голосе чувствовался металл,
Попробуй-ка, повтори.

Жизнь замирает на счете «три»,
Как одноклеточное в пруду,
Ракообразное меж камней.
Я этот путь вдругорядь не пройду
У пяти чувств на поводу,
Сейчас, на излете дней.

Но как, скажи мне, они звучат,
В каком регистре, в каком
Ритме, и кем этот ритм зачат
Где-то под потолком?
И что он то бьётся внутри потом,
А то провиснет, как плеть,
То глохнет, то не попадает в тон,
А то нальётся тяжестью тонн,
Которых не одолеть?

Но нет, не спрашивай, не части,
Не мусоль эти что да как,
А просто вслушивайся и жди,
Когда будет подан знак,
Тогда оно и пойдет расти,
Как небывалый злак.

ТЕМНОТЫ

1

Неосвещённое пространство
Ну, скажем, комнаты соседней,
Где, чтобы вывести из транса,
Вам наливают по последней,
И вы выходите оттуда
С глубоким вкусом жжёной пробки,
Гремя, как битая посуда
В глухой предпраздничной коробке.

Но это тёмное пространство
Идёт на цыпочках за вами,
Как сон, тяжёлый после пьянства,
Его не передать словами,
Тяжёлый сон чудовищ местных,
Забыться этим сном не худо,
Но боязно и неизвестно,
Как после выбраться оттуда.

2

Июль-таммуз пошёл на спад,
Не то, что было по весне,
И крылья жёсткие скрипят
В его горячей глубине.

Не бабочка, не вертолёт,
А что-то третье там, внутри
Родится, видимо, вот-вот
И в небесах кружить пойдёт,
Как говорится, до зари,

До пробужденья здешних стай,
Таких тяжёлых от жратвы,
Что сколько ни тверди: «Летай!»,
Им толком не взлететь, увы.

Прерывиста ночная нить,
И бьётся на её краю
Желание не только взмыть
И кокон лопнувший избыть,
Но одолеть и смерть свою.

3

Несколько за полночь сесть в такси
И разлететься куда скорей
Вдоль незаметной сейчас оси,
В гул остывающих батарей,

В чёрный, заглохший уже эфир,
Где светофоры мигают в ряд –
Классика ночи, жёлтый пунктир,
Светятся, но не говорят,

Что там за многоточием, впереди –
Продолженье речи или же пыльный склад,
Где вылетавшие из груди
Сказанные слова лежат.

Илан Рисс

ПРОРУБЬ

Прорубь была окружена высоким забором из снега. Забор вился по спирали, как диалектическое развитие, и я шел вдоль него, как по лабиринту жизни, подчиняясь его более или менее непредсказуемым поворотам. Светило яркое солнце, снег слепил глаза. Яркий свет высвечивал в моей памяти прошлое, скрытое длинными тенями событий, переживаний, забытых и незабытых болей и обид, воспоминаний и размышлений.

Из проруби вынырнула красивая обнаженная женщина. Впрочем, подумал я, обнаженной она могла и не быть, – я судил по верхней половине тела, нижняя была скрыта под водой. Но красивой женщина, несомненно, была.

– Вы – морж? – спросил я, осматриваясь, полагая, что не заметил ее одежды около проруби.

– Я похожа на моржа? – В ее голосе неожиданно для меня прозвучала явная обида.

– А на кого же еще? – Я был в полном недоумении. Женщина в проруби заплакала.

– Ну, конечно, я не очень молода, располнела, но все-таки, морж...

– Извините, вы удивительно стройны, я хотел сказать, что вы занимаетесь зимним купанием, – начал я оправдываться, потом спохватился. – Мне выйти? Вам нужно одеться?

– О, ужас! – она вдруг весело рассмеялась, – он принял меня за женщину!

Мне стало не по себе. Я начал потихоньку пятиться к выходу.

– Я все поняла, – снова засмеялась женщина в проруби, глядя на меня, – это недоразумение. Я – русалка.

– А, – ответил я, сразу успокоившись, – я однажды уже знакомился с русалкой, но она оказалась женщиной. Мы женаты и у нас трое сыновей.

– Она просила тебя загадать три желания, когда вы встретились? Может, она была золотой рыбкой, а не русалкой?

– Нет. Я, впрочем, не помню точно, но я почти уверен, что не просила. С тех пор как мы поженились, она иногда спрашивает меня, что я хочу на обед, и иногда выполняет мои желания.

– Так, – вздохнула русалка. – А я у своих мужей никогда ничего не спрашивала, и поэтому семеро моих сыновей – от семи разных мужей. Я их заманивала исполнением желаний и ничего не выполняла. Я же точно русалка, а не золотая рыбка. Мое дело – заманить и оставить. И они убегали от меня, и некоторые даже тонули в реке. – Она долго молчала, наконец, тихо

произнесла: – Должна признаться, мне очень нравилось смотреть, как они убегали.

Я, хотя и не поверил ей, снова немного попятился.

– Не бойся, – презрительно скривилась она, – ты женат, да и не очень-то в моем вкусе. – Она вздохнула и умолкла, задумавшись. Я обиделся. Но интерес к ней от обиды не прошел. Напротив. Она стала только привлекательней.

– У русалок сколько детей бывает? – на всякий случай поинтересовался я.

– По-разному, – пожала она плечами.

– А как русалки рожают? Неужели икру мечут? – У меня возник новый вопрос.

– Не-е... мы тогда переворачиваемся – выше пояса рыба, ниже – женщина.

Она рукой поманила меня к себе, и я с опаской присел на корточки около проруби.

– Когда мы с мужчинами, мы тоже переворачиваемся, – призывно улыбаясь, добавила она.

– И нужно целовать рыбью голову?! – брезгливо передернулся я.

– Можно подумать! – поморщилась русалка. – А то твои женщины лучше...

Я задумался. Кем были мои женщины? Русалками? Смотрели на меня помутневшими рыбьими глазами? Может быть, золотыми рыбками?

– Однажды я поймал золотую рыбку, – вспомнил я. – Она плавала в аквариуме от стенки к стенке, и я подумал, что ее нужно избавить от бессмысленных страданий. Я вытащил ее, она обиженно посмотрела на меня и пообещала исполнить мои желания. Видимо, не рассчитывая на мою сообразительность, она объяснила, что привыкла к жизни в неволе, что ни она, ни много поколений ее предков не знали другой жизни и что она предпочитает жить, как привыкла, чем не жить совсем. Я отпустил ее. Она вильнула хвостиком и уплыла к дальней стенке аквариума, потом вернулась, но больше не узнавала меня. И никаких моих желаний она не выполнила.

– А ты загадывал?

– Нет, побоялся, – признался я честно.

– А рыбка виновата?

– Я никого не виню.

– Так что же, за всю жизнь ничего не захотел?

– Хотел, но я всего сам добивался.

– Это ты просто золотой рыбке спасибо сказать не хочешь.

У меня были простые желания, и они почти всегда исполнялись. Правда, сбывались только те желания, которые могут сбыться в неволе. «Спасибо тебе, золотая рыбка!» – подумал я с благодарностью о давно забытой золотой рыбке.

– А почему ты не раздеваешься? – русалка вернула меня из пучины размышлений к краю проруби.

– Зачем?

– Ку-упаться... – недоуменно протянула она.

– Я не купаться пришел, – сказал я и снова погрузился в воспоминания.

Здесь, у этой проруби, я впервые в жизни поцеловал женщину. В моих руках та девочка показалась мне еще красивее, чем в полутемном зале на школьном вечере, откуда мы ушли, чтобы быть вдвоем. Я чувствовал в своих руках ее сильное, своевольное тело. Оно подчинялось моим движениям, скорее даже моим мыслям, как мое собственное. К его неизведанному запаху примешивался запах недорогих духов и вазелина, оставшийся на моих руках от другой девушки, с которой я танцевал в тот вечер. Я не смог удержать ее, она ушла, но с высоты моей юности легкость ее уходящих шагов показалась мне падением. Я долго смотрел ей вслед. Падение женщины оказалось необыкновенно захватывающим зрелищем. Так Сизиф, глядя как-то вслед скатывающемуся с горы камню, вдруг увидел красоту его падения. Камень, постепенно ускоряясь, катился вниз, подскакивал, взлетал, падал, с силой ударяя в землю, отчего по ней расходилась гулкая дрожь, и высекал из скал разноцветные искры, раскрашивающие серость Сизифовой горы фейерверком праздника. Потом камень замедлил свой бег, остановился, и Сизиф спустился за ним, чтобы снова втащить его на гору, но на этот раз для того, чтобы вновь увидеть красоту его падения. В тот момент Сизиф полюбил свой труд. С тех пор я больше всего полюбил вознести любовь до ее пика, и потом провожать жадным взглядом ее падение. С годами я понял, что это тем приятнее, чем больше сил ты затратил на то, чтобы вознести свою любовь на высоту призрачного счастья, и с каждым годом это требовало все больше и больше сил и времени. Когда я согласился тащить к вершине каждый раз одну и ту же любовь, я женился.

– Ладно, – поднялся я на ноги, – мне пора. – Роман с настоящей русалкой показался мне самым заманчивым во всей моей жизни, но и самым рискованным.

– Я тебе так быстро надоела? – улыбнулась русалка самой привлекательной улыбкой, какую мне доводилось видеть.

– Утопишь еще... – тихо ответил я, неохотно выдавая ей свои опасения, и снова присаживаясь около проруби.

– Если б я всех топила, город бы опустел, – русалка разочарованно отвернулась.

– Так уж к тебе толпами ходят... – не удержался я от резкости. Наверно, из ревности.

– Если б я была обычной женщиной, ты б со мной так не разговаривал, – русалка почти расплакалась.

– А как я бы разговаривал?

– Ты б ее уже давно куда-нибудь приглашал, или сам бы к ней в гости напрашивался.

Вероятно, из-за того, что напрашиваться в гости в прорубь я никогда бы не решился, жизнь моя протянулась прямой и ровной дорогой, ведущей кратчайшим путем из ниоткуда в никуда.

– А как мы доберемся до гостиницы? – услышал я свой собственный решительный голос.

– Это просто, – охотно отозвалась русалка, – я лягушкой обернусь, ты меня в кармане в гостиницу к себе возьмешь, а потом так же обратно в прорубь. Я ж на такси не могу.

Я задумался. Без прогулки по улицам города, без взглядов сидящих в лобби, без беседы в ресторане, интимная встреча в гостиничном номере представилась мне не очень привлекательной.

– Знаешь, – сказал я русалке, – давай лучше в номере – лягушкой, а по дороге – русалкой.

– Это уж я буду решать, когда лягушкой, когда русалкой. Ты уедешь, а мне здесь жить, – наотрез отказалась она.

– Значит, и для русалки важнее всего, что люди скажут. – Я искренне удивился этому.

– Долго не раздумывай. Когда еще случай представится переспать с кем-то, а потом в прорубь бросить, – поторопила меня русалка.

– Для тебя прорубь – дом родной, – огрызнулся я, и моя совесть успокоилась.

Решение было принято. У подножия неминуемой разлуки меня ждал Сизифов камень новой любви. Настоящей любви, подлинней и чище которой не бывает, потому что к ней ничего не примешано, ни планов на будущее, ни взаимных обязательств. Любви, от которой не останется адресов и имен, а только благодарная память о короткой и светлой радости, озарившей нашу жизнь бескорыстным сиянием искры, из которой не возгорится пламя.

– В каком кармане ты хочешь, в брючном или во внутреннем пиджака? – вопросительно посмотрел я на русалку.

– Бумажник ты в каком носишь? В тот и меня положи, – все еще обиженно пробурчала русалка.

У дороги, к которой поднимались ступеньки от озера, стояло такси.

– Они холодное шампанское любят, – сказал таксист, открыв мне дверь.

– А кто ж его не любит... – уклончиво ответил я, садясь рядом с ним.

– В твоей гостинице шампанское в номер не принесут, – настаивал он.

Мы заехали в маленький, допоздна открытый магазинчик, и я купил две бутылки холодного шампанского. По цене мне по-

казалось, что таксист тоже в доле. Сизифов камень в моих руках потяжелел.

В номере она обернулась женщиной. И снизу и сверху. Не такой блистательной, какой она выглядела в проруби, но была легкой, искрометной и обжигающей, как шампанское со льдом. И пахла рыбой не больше обычной женщины.

...Потом я нес ее обратно к проруби. Я шел пешком, чтобы отдалить момент разлуки. Она хлопотливо крутилась в кармане, как будто устраивалась там надолго, но я знал, что это не так. Я опять должен был расстаться с той, которую мог бы любить всю жизнь. Она была красивой, умной, опытной, необыкновенно соблазнительной, да и все остальные женские плюсы и минусы присутствовали в ней в самой восхитительной пропорции, но... ее место было в проруби, а у меня от одной только мысли о зимнем купании холодели ноги.

Прощально помахав мне рукой, русалка растаяла в ледяной воде. Я еще долго стоял у проруби. Сизифов камень очередной любви скатывался с моего сердца, и я с привычной грустью и застарелой надеждой на лучшее смотрел ему вслед.

. . . . . .

Что сказал бы Сизиф, если бы его камень вдруг навсегда растаял в воздухе?

Александр Верник

ПО ПАМЯТИ – 2

Ты спишь давно, а я давно не сплю,
но эта прорва времени меж нами
мне не препятствует во сне сказать «люблю»
а если не во сне, то между снами.

Глагол огня, глагол воды и сна,
глагол – безделка, но с такою силой,
что насмерть влёт последняя весна…
А ты из сна: «Спокойной ночи, милый».

Тамара Дубина

СНЕГ В ИЕРУСАЛИМЕ

Когда в Иерусалиме выпадает снег, я надеваю свою постепенно лысеющую шубку из черного каракуля и веду ее тряхнуть стариной, прогуляться, подышать отрадным – ну, не морозным, но все же холодным – воздухом.

Снег у нас случается редко, раз в несколько лет, держится недолго и всякий раз воспринимается как событие. Причем на всех уровнях – от правительственного до семейного. Власти озабочены нехваткой снегоуборочных машин и – не дай Бог! – возможными перебоями с доставкой хлеба и молока в магазины; не в том дело, что голод угрожает, глупости, у всех дома на два дня запасов хватит, но – оппозиция заклюет. Школьники и учителя с нетерпением ждут сообщения об отмене занятий и радуются дополнительным дням отдыха; магазины в предвидении убытков спешат объявить о сумасшедших скидках...

Но переполох в семьях имеет и иную, вовсе не меркантильную природу. Со времени предыдущего снегопада успевает в Израиле народиться новое поколение, не ведающее снега. Поэтому, когда в горах выпадает снег, чадолюбивые родители с приморской низменности садятся с детьми в машины и, преодолевая довольно крутой подъем и пробки на шоссе, устремляются в Иерусалим. Они торопятся, ведь белое чудо эфемерно, кто знает, сколько оно продержится – день, два или вовсе несколько часов. Я усматриваю в этом снежном ажиотаже проявление некоего поэтически-романтического начала, свойственного израильтянам, но глубоко скрываемого под скорлупой практичности.

Вот и сегодня утром мы проснулись от невозможной белизны, затопившей мир и проникшей в нашу темноватую спальню. К полудню ветер разогнал опустошенные ночным снегопадом обрывки туч, и на отмытом до чистейшего аквамарина небе запылало наше южное солнце. Я вдруг подхватилась: ведь оно быстренько слижет снежный покров с тротуаров – а на проезжей части улицы снег под колесами машин давно превратился в грязноватый студень, – что же я медлю? И, набросив шубку, поспешила в наш парк, переходящий в сосновый лес.

Стайки весело визжащих детей в ярких курточках кидали снежки, строили Вавилонскую башню, лепили снежную бабу... Счастливые отцы семейств, сами впавшие в детство, громогласно руководили работами.

Я прошла вглубь парка, где было безлюдно. Под соснами снег еле покрывал жухлую траву, там и тут из-под снега выпирали толстые удавы корней. Зато на сосновых лапах лежали

белые пласты, почти как в настоящем зимнем лесу, хотя на доступных солнцу местах уже начинающие слезиться. Как мы любили когда-то подкрасться к замешкавшемуся лыжнику и сбить палкой снег с нависающей ветки прямо ему на голову и за шиворот... Это было озорство, понятно, но отчасти также вид заигрывания: «Вы мне интересны!». Как давно это было! А ощущение внезапно холодящего кома меж лопатками и веселого удивления-негодования – не забывается. Какое чудо ты, наша память!

По склону горы, поросшему соснами, я спустилась до смотровой площадки, полюбовалась видом на плавную линию холмов Иудеи, бросила хозяйский взгляд на раскопки римской виллы внизу, на еле заметную ниточку железной дороги у подножия гряды, которая окаймляет «мою» долину с противоположной стороны. От смотровой площадки двинулась вправо по тропинке к арабскому ресторанчику, где в крохотных чашечках подают ароматный кофе...

Тропинка вилась среди густой поросли сосняка. Я шла в полном одиночестве; мысли, как бывает в минуты беззаботности, перескакивали с предмета на предмет. Сосны – они *здесь* совсем не такие – а в чем же разница? – ну, да, иглы у них очень длинные – может, это не сосны даже, а ливанские кедры? – вон, шишки какие огромные – а ведь я уже видела когда-то такие сосны, не помню, где – но было это *там*, это точно... Хорошо, что купили квартиру в этом районе, около парка – своя квартира, ни от кого не зависим – дожить бы до выплаты ссуды – оставить чистое наследство, без долгов – а что еще после нас останется – старые пыльные книги, статуэтка Дон-Кихота каслинского литья, ностальгические пластинки, переплетенные тома «Нового мира» за двадцать лет – зачем тащили – внуки-правнуки не будут читать по-русски – все пойдет на помойку...

...Внезапно лес кончился, я вышла на опушку. Вдоль края леса тянулась хорошо наезженная лыжня, посверкивающая синеватыми искорками; в двух шагах от меня у невысокой разлапистой елки стояла пара лыж; рядом торчали две бамбуковые палки с кольцами внизу и кожаными ремешками для рук, все, как полагается. «Господи, что я делаю» – ужаснулась я, продевая сперва одну, потом другую ногу в крепления и затягивая их потуже. Лыжи были впору; я подвигала ими вперед-назад – скользят! Сбросив шубу, схватила палки и радостно двинулась по лыжне в левую сторону. Вот, быстренько доеду до ресторанчика, попью кофе и вернусь. Поставлю лыжи на место, никто и не спохватится. А шуба? – да черт с ней, кому она нужна здесь! Мне даже на миг захотелось, чтобы ее украли, столько места в шкафу освободится...

Я наслаждалась и бегом, и тем, что тело не забыло так давно не возобновлявшийся автоматизм движений. Вдох – левая нога, правая рука; выдох – правая нога, левая рука! Но испод-

воль – где-то за грудиной – начало торкаться неприятное чувство. Я же точно знаю, что у нас в Иерусалиме такого плоского поля – до горизонта и в обе стороны вдоль леса – быть не может. И откуда столько снега? И лыжня?!

Я ведь не сплю? Замедлив бег, я наклонилась и зачерпнула горсть снега. Он приятно захолодил руку. Не сплю. И голова свежая. И тут до меня дошло, что когда-то я уже шла на лыжах вдоль этой лесной опушки, по этой самой лыжне. Только тогда я была не одна. И было это... Боже мой, это же было в Дубне! Мы шли с ним по этому полю, вдоль этого же леса, и день был такой же серенький, и какие-то еле уловимые сырые запахи предвещали весну. Я потянула носом – да, пахнет прелью, набухающими почками ольхи, сыростью и... весной. Как тогда!

В тот мой приезд Москва неприятно поразила меня своей неприбранностью. Вдоль тротуаров, сузив пешеходную часть до посыпанной песком узкой дорожки, громоздились кучи ноздреватого, в черных оспинах копоти снега, высотой с человеческий рост. И творилось это не где-нибудь на окраине, а на Ленинском проспекте, в районе академических институтов. У всех свои верстовые столбы на временной оси; для меня именно с этого неприбранного снега на улицах столицы началась эпоха, получившая потом название «застойной».

Все в тот приезд шло наперекосяк. Я выстояла два часа, изнемогая от жары, в универмаге «Москва»; когда я была уже близка к прилавку, болгарские сумки закончились. На Кировской ждало новое расстройство, как раз в этот день правительство вздуло цены на кофе в четыре с половиной раза! В знаменитом чайном магазине, бывшем «Высоцкого», где только и можно было запастись кофе в зернах, обозленные люди – не открытым текстом, конечно, – костили бровастого генсека, после чего, озираясь, поспешно выбегали вон.

С горя я отложила служебные дела и отправилась поездом в Дубну, его проведать и душу отвести. Мне хотелось обсудить свои научные дела, я всегда нуждалась в его одобрении. Да и просто пожить там. Она умела так красиво все устроить; меня восхищала полукруглая гостиная с большой стеклянной дверью – до потолка – на веранду, уютные холлы, мебель из карельской березы... Он посмеивался над ее страстью и дорогие мебельные гарнитуры называл не иначе как «дрова».

В ту зиму он жил там в одиночестве, она с больным сыном и дочкой-школьницей оставалась в московской квартире. Да, именно в тот визит мой мы пошли с ним на лыжах. По этой самой лыжне! И тут я услышала его голос:

– Да, это было в том году.

Я не остолбенела, не упала. Продолжая по инерции двигаться, скосила глаза вправо – рядом по целине неторопливо шел на лыжах он. На нем были старенькие лыжные штаны-шаровары и легкий свитер; он шел без палок. Все, как тогда. Более всего меня поразило в тот момент не то, что я вижу его,

а то, что я не испугалась. Растерялась – да, но не испугалась! И спросила тут же первое, что пришло в голову:

– А вы... разве вам... ушедшим (невозможно было произнести «умершим», что-то меня удерживало, боязнь обидеть или иное смутное чувство), вам разрешается ходить на лыжах... ну, с нами... с оставшимися?

– Кто же может нам что-то разрешить или запретить?

Он сказал это с такой знакомой мягкой усмешкой, что сердце у меня зашлось. Я остановилась, чтобы отдышаться. Он тоже прекратил бег.

– А разве... ну, не знаю... правила же какие-то там... у вас... должны же быть? – промямлила я, не имея смелости выговорить простой и главный вопрос – а есть ли Бог. И с робкой надеждой посмотрела ему в глаза.

– Законы природы – да, соблюдаются, – ответил он, как мне показалось, сухо.

Мы некоторое время постояли молча. Я размышляла – почему мне не страшно? Ведь он – привидение? Дух бесплотный? А я не боюсь! Спросить? А вдруг обидится?

– Вопросы не могут быть обидными, – услышала я. И поразилась – выходит, он напрямую улавливает мои мысли! Значит, тот мой незаданный вопрос тоже понимает, но вот – не отвечает, не хочет... или нельзя?

– А что касается моего облика, – продолжил он, – то я столь же материален, как и ты. Вот, – и ладонью легонько похлопал меня по спине. И рассмеялся.

От неожиданности я поперхнулась, закашлялась.

– В-третьих, у нас с тобой идет прямой обмен мыслями. Но если тебе так привычней, будем говорить.

Конечно, я должна говорить, ведь те обрывки образов и тени идей, что взвихриваются у меня в голове, как тучи пыли вслед машине, проехавшей по сельской дороге, их и мыслями назвать нельзя. Не знаю, как у других, а я, чтобы сформировать самую простенькую мысль, должна одеть ее в слова – устно или письменно. Он все понимает про меня!

Мы снова двинулись по лыжне. Я взглянула – у него было хорошее спокойное лицо, видно было, что ритмичный размеренный бег доставляет ему удовольствие. Как и мне.

Все было точно так же, как в тот единственный раз в жизни, когда мы вместе пошли на лыжах. Всю жизнь – с детства – я мечтала об этом, а довелось только однажды. До войны я была слишком мала, чтобы на своих дешевых детских лыжах, которые надевались на неуклюжие валенки, участвовать в его студенческих кроссах; потом была война, фронт, ранение, он долго лежал в госпиталях, какие лыжи... А потом что мешало? В послевоенные годы я школу кончала, очень старалась медаль получить, и голодно было – не до лыж. И он тоже занят всегда был, учился в аспирантуре и работал инженером. Денег всегда не хватало; только благодаря ему я смогла закончить школу.

Наш отец считал, что мне лучше идти в техникум, там платят стипендию, но он меня отстоял.

Что такое взрослое катание, я узнала только в институте: надо было получать зачет по физкультуре; а лыжи мы брали на базе... студенческий билет в залог... Измайлово, Сокольники. «Был большой слалом лыж», счастье, что ноги уцелели. Но это все без него происходило. Думалось, всё впереди...

В шестидесятых и позднее, когда зимние воскресные лыжные вылазки в лес с детьми, друзьями, и непременные бутерброды и горячий чай в термосе – ах, какое наслаждение, мороз и солнце, облачко пара изо рта, – стали неотъемлемой частью жизни, и у нас уже были настоящие лыжи с ботинками и креплениями, и красивые свитера ручной вязки, ветровки, кокетливые шапочки с помпоном... с ним походить никак не получалось, мы жили в разных городах и виделись только во время моих наездов в Москву. «Жизнь прошла как не было, не поговорили...»

В тот мой визит в Дубну мы надели лыжи прямо у крыльца, лес начинался сразу за забором, их коттедж стоял в самом конце улицы. И пошли, пошли... Мне ее ботинки слегка жали, я натерла ногу, до речки не дошли и повернули назад. О чем мы тогда говорили? Не помню. Но вот такого – «несем веселый легкий бред» – не было. Никогда я не осмеливалась просто болтать с ним.

И сейчас я сомневалась, колебалась, спросить – не спросить, хотелось узнать так много, а та детская боязнь показаться глупой в его глазах мешала. В юности эта робость иногда выплескивалась в бунт. От злости на себя саму я выпаливала что-нибудь нелепое, да еще в такой экстравагантной упаковке, что он сердился, а я упрямо отстаивала то, во что совсем не верила. Потом корила себя...

Он молчал. Я осмелилась и спросила:

– Скажи, а ты часто так вот бегаешь на лыжах... как сейчас?

– Нет.

– Почему? Тебе же нравится, я вижу.

– Мы материализуемся в том воплощении, которое более всего соответствует вашему воспоминанию о нас.

– Но я ведь часто о тебе думаю! Почему же ты раньше никогда не приходил?

– Это неверно. Я приходил.

– А я не увидела? Как это могло получиться?

– Иногда ваши воспоминания так мимолетны, что мы не успеваем до конца материализоваться и сразу распадаемся. А иногда мы приходим, но вы нас не замечаете. Или замечаете, но не догадываетесь, кто это.

– Я не понимаю, ты про что? Как это – не догадываемся?

– Мы можем материализоваться по-разному – запахом, дуновением ветра, мыслью, вспышкой молнии, звуком. Или вот как сейчас – в своем прежнем облике.

– А от чего это зависит? От вашей воли?

– У нас нет воли.

Его ответ меня поразил. Тысячи вопросов вились в моем мозгу, как пчелы над цветущим миндалем, но ни один я не могла четко сформулировать. Или подсознательный страх узнать нечто, чего лучше не знать, мешал мне?

Придя в себя, я задала совсем нейтральный вопрос:

– А когда ты приходил ко мне последний раз?

– Совсем недавно. Ты вспомнила, как я занимался с тобой физикой перед выпускными в школе. Я объяснял, что такое сила тяготения, ты упрямилась и не хотела понимать.

– А знаешь, я и по сей день не понимаю про тяготение. Вот, если молотком по гвоздю ударить – это сила, понятно, а вот как через расстояние сила действует так, что тела притягиваются – не понимаю.

И тут на меня накатило то самое – из зеленой юности – желание противоречить. Меня понесло в браваду:

– А может, сила тяготения – это такой вид любви? А что – в космосе... между звездами и планетами? И между другими телами... Вот же сказал поэт: «Привлечь к себе любовь пространства...» Красиво, правда?

– Красиво. Но красота не имеет отношения к физике явлений.

– А разве вращение планет вокруг солнца не красиво?! – меня уже было не остановить, я вошла в раж. – А атом устроен не по законам красоты?!

На это он ответил совсем уж сухо:

– Категорию прекрасного в картину мира привносят люди.

Он был, конечно, прав, как всегда, но я почему-то обиделась. Люди... почему он так отстраняется от людей... ведь он тоже... или уже нет? – спросить? нет, боязно...

Я сникла. Мы какое-то время скользили молча.

Почему он не расспрашивает меня? Все про нас знает? Или ему не интересно? Поколебавшись, я решилась спросить почти впрямую:

– А ты знаешь, что я... что мы живем в Иерусалиме?

– Знаю.

– Ты одобряешь этот наш шаг? Или осуждаешь?

– Я понимаю ваши мотивы.

– А когда-то ты иначе относился к отъезду! Помнишь, что ты сказал в больнице? Что уезжают неудачники. Ты меня тогда так расстроил! Я им всем, уезжающим, сочувствовала, даже завидовала. Это у меня от отца, он ведь что завещал, помнишь?

– Помню. Развеять его прах в Палестине.

– А знаешь, это был первый случай в моей жизни, когда я с тобой не согласилась. Но ты был так слаб после операции, я не стала возражать.

– И напрасно. С детства ты привыкла во всем со мной соглашаться. Я тебя подавлял.

Я с жаром возразила:

– Что ты! Ты же не приказывал! Да, я выполняла твои просьбы и следовала твоим советам, потому что они были в

моих глазах правильными, ты все мне умел объяснить. И я радостно разделяла твое мнение.

– Вот именно – радостно. Ты слишком сильно любила меня.

– Что же в этом плохого?

– Две вещи. Во-первых, ты стала вести себя с оглядкой: боялась высказываться, стеснялась приводить в дом школьных подруг, позднее – друзей-сокурсников. Я никого из них не видел, кроме Эллы.

Я слушала с удивлением: он помнит такие малозначащие для него мелочи! Да, Элку, мою институтскую подругу, можно было привести без опасения, что она сморозит глупость или того хуже – пошлость. Чего нельзя было сказать о других моих приятелях-студентах... Я ведь сравнивала: его друзья, бывавшие у нас в доме и до войны, и после – кто уцелел – были интересней, начитанней, достойней, чем мои однокашники. Страх осрамиться в его глазах сковывал мои попытки создать какое-нибудь подобие веселой студенческой компании; это было, было...

Он, видимо, следил за ходом моих мыслей:

– ...Да, ты боялась опозориться... Это первое отрицательное следствие твоей чрезмерной детской любви ко мне. А второе – мне досталась та любовь, которая должна была принадлежать нашей маме. Я поздно понял, что совершал ошибку.

– А что ты мог сделать?! Разве ты мог помешать моему сердцу исступленно любить тебя?

– Мог. Если бы понимал, что твое глупое маленькое сердце делает из меня кумира. Признаки были: меня ты слушалась беспрекословно, маму – нет, мне не смела грубить, маме – могла.

...Я разрыдалась, чего давно уже не случалось, в моих старых глазах усохли слезные железы. Но острое сожаление о былом молодом эгоизме душило меня, и слезы текли сами собой. Мы снова остановились. Когда я успокоилась, то заговорила о том, что давно меня мучает:

– Как ты думаешь, мама страдала от... ну, от моего неправильного поведения?

– Конечно. Но она была очень доброй и все тебе прощала.

Тут мне показалось, что кто-то третий находится здесь, с нами... какое-то дуновение завихрилось... воздух задрожал наподобие весеннего марева... меня окутал родной запах дрожжевого пирога с маком, только что вытащенного из русской печи... Это длилось мгновение. Он внимательно посмотрел на меня – поняла ли я, что произошло, – удовлетворенно кивнул и двинулся вперед.

Я вдруг испугалась, что вот он уйдет совсем – я что-то не так сказала, рассердила его? А что будет со мной? Смогу ли я сама найти дорогу обратно?

Я огляделась – местность стала полностью незнакомой, за разговором я и не заметила, как все вокруг изменилось. Леса, по опушке которого шла лыжня, не было. И что показалось уже

совсем странным – я не увидела и самой лыжни! Вокруг не было ничего, кроме снега, похожего на приторно сладкую пенувату. Я стояла в оцепенении, а он, почувствовав мое замешательство, задним ходом вернулся и встал рядом. Я погрузила руку в снег – в руке ничего не осталось! Это был пар, туман... облако? Где же мы?

– Мы на заоблачной лыжне, – услышала я.

– Зачем? – глупо спросила я, вместо того, чтобы обрадоваться – он показывает мне иной мир! Но он ответил вполне прозаически:

– Я должен тебя вернуть на твои холмы, так будет скорей.

И мы заскользили так быстро, что засвистело в ушах.

– Ты что, торопишься? – это я уже на бегу прокричала.

– Структуры нашего воплощения недолговечны. Скоро начнется распад.

– И что тогда?

– Небытие.

– До следующего воплощения?

– Да.

– Но ведь у вас сохраняется память обо всем, что было при жизни, и после нее, какое же это небытие? И вообще, что... вы? или кто?

– Мы – сгустки информации. А небытие – это невостребованная информация.

Мы продолжали скользить, то немного спускаясь, то плавно поднимаясь; усилий почти не требовалось.

Одна мысль, возникшая по ходу его лаконичных ответов, не давала мне покоя. Я собралась с духом и спросила:

– Тебя многие знали – коллеги, ученики, друзья, родные; тебя часто вспоминают; на твои работы ссылаются; твой день рождения и... ну, день ухода, они всегда отмечаются. Значит, ты часто выныриваешь из небытия? Это хорошо?

– Хорошо, плохо... Это не абсолютные понятия. Мне не с чем сравнить.

– Почему же? Хотя бы с другими... ушедшими. Кого мало вспоминают, потому что у них не было братьев, сестер, детей. Или обычные люди, не сделавшие открытий, не написавшие книг, ничем не прославившиеся. Они так и пребывают в основном в небытии?

– Вероятно.

– Но это же несправедливо! Они и при жизни были обделены талантом, славой, а после жизни их вообще ждет небытие!

– Ты опять вносишь человеческие оценки в мироустройство. Справедливость – категория моральная, а мир существует по законам природы.

– Но кто – или что – определяет, решает и осуществляет, как у кого на Земле сложится судьба?

– Случай. Сцепление вероятностей. И еще – свобода выбора. Воля, которая есть у вас.

Я была разочарована, расстроена, просто убита. Такой холодный, безразличный мир...

Как он сказал? – воля, свобода выбора... Значит, мы предоставлены самим себе, сами за себя отвечаем? И это все?! Я не задала вопрос, но ясно услышала, как он ответил: «Да».

Я пропустила момент, когда мы сошли с высоты, только мы уже двигались по настоящему снегу, по той самой опушке леса, но в обратном направлении – лес был у нас теперь справа. Он бежал как-то с трудом. Я вгляделась – и ужаснулась: сквозь его тело в стареньком свитере просвечивал горизонт! Он тает... распадается?! Я заплакала:

– Постой, не уходи! Мне так хорошо с тобой, как будто я попала в детство! Во взрослой моей жизни мы так мало бывали вместе, я не наговорилась с тобой, а потом ты так скоро, так неожиданно... ушел... Пожалуйста, не уходи!

Лицо его стало угловатым, потемнело... какие-то лиловые тени легли у губ... При жизни – даже когда он насовсем покидал нас – лицо его никогда не выглядело таким трагическим. И все же я видела, видела раньше этот горестный потусторонний облик... ну да, конечно же, на портрете. Что он провидел, тот знаменитый – и гонимый – художник, друг семьи, который так написал его портрет? Портрет мне, как и многим другим, не нравился тогда совершенно, он не отражал реальности, на наш взгляд. А вот что-то такое истинное художник в нем углядел...

На снегу вдруг растеклось бурое масляное пятно, заплясали мрачные огоньки. ...Но мне было не до того. Я снова обратилась к нему, в отчаянии, что вот он сейчас оставит меня, а я так и не узнаю главного:

– Постой, еще только один вопрос: рай, ад – это что? Выдумка? Мифы?

Он ответил с трудом, медленно подбирая слова:

– Рай и ад – это наша способность... оценивать свои... поступки. У каждого... свой рай... и свой... ад...

– Но ты, – закричала я, видя, что он истончается, испаряется, уходит, – ты жил как святой, у тебя не может быть ада!

– Ад... рай... прощай... про... щай...

Он исчез.

Механически передвигая ногами, я еще некоторое время шла по лыжне – и добрела до той елки, где надела лыжи. Я сняла их, прислонила к дереву, воткнула рядом палки, накинула шубку и вошла в наш лес.

Снег под соснами еще не растаял, хотя солнце стояло высоко и хорошо припекало. Сколько же прошло времени? Десять минут? Пять? Или я вернулась в тот самый момент, в который вышла на лыжню? Я схожу с ума? Но тут я увидела за деревьями арабский ресторанчик. Горячий крепкий кофе – это было как раз то, в чем я сейчас нуждалась.

апрель 2005

Зинаида Палванова

ДОМАШНИЕ РЕЕСТРЫ

* * *

Шумит, не умолкая, память-дождь..
Давид Самойлов

Жизни две и столицы две.
Боль знакомая в сердце моём.
Я ли это в осенней Москве
мокну под неизбывным дождём?

Что-то я зачастила сюда.
Каждый раз почему-то больней.
Всё другое здесь, ни следа
от моих настоящих дней.

Явный сон стряхнуть не могу –
ни следа от моей любви.
Только вот – берёзы в снегу.
Только вот – рябины в крови.

* * *

Совершаю трудный обзвон
неизменных друзей московских.
Налетают со всех сторон
клочья, щепки, обрывки, осколки.

Зря несутся со всех сторон –
жизнь былую из них не составишь.
Слава богу, на месте он,
мой возлюбленный, мой товарищ!

Отпускает меня мой страх –
и на месте, и ласков даже...
Наше прошлое в голосах
проживает без всякой пропажи.

У МЕТРО

Он предлагал мобильный телефон.
К Москве примеривая смутно сына,
нечаянно спросила я, откуда он.
Он запросто сказал: «Из Палестины».

Вот это да. Опешивши слегка
от этой встречи на виду у всех,
я запросто спросила: «*Ма шломха?*»*
Он запросто ответил: «*Ма шломех?*»**

БАБЬЕ ЛЕТО В МОСКВЕ

Гале Сухоруковой

Моросили дожди, и деревья стояли,
не желтея ничуть. И краснеть не хотят.
Бабье лето уже состоится едва ли.
Отменяется. Листья и так отлетят.

Бабам очень обидно. Дожди вместо лета,
безналичная осень, а дальше – зима.
Но сегодня с утра – изобилие света,
золотишко надежд! Бабы сходят с ума –

и несутся гулять по московским бульварам,
по отчаянным скверам, по дачным лесам.
Время взять и тряхнуть всем припрятанным жаром,
время взять и поверить земным чудесам.

С кем гуляешь, подружка? С подружкой, со мною.
Вышли мы, разодетые в пух и прах.
Я в гостях у тебя. Грезим старой Москвою,
вспоминаем в охотку о дождях, о ветрах.

Завтра я возвращаюсь в жарищу, войнищу.
Как бы кактус мой там без меня не зачах...
Никого мы с тобою глазами не ищем,
нянчим дитятко – бабий предзимний страх.

---

* Как дела? (Обращение к мужчине, иврит.)

** Как дела? (Обращение к женщине, иврит.)

ОДА СТРАХУ

Снова очутилась в облаках,
вновь душевный чувствую подъём.
Это он во мне, смертельный страх.
Дело в нём.

Не боюсь я страха. Глуп, умён,
одинаков или многолик,
страх прекрасен, потому что он
честен и велик.

Перепашет мою душу страх,
словно лемех полюшко весной.
Всё в порядке. Я на небесах.
Страх со мной.

ДОМА

Первый дождь в Ерусалиме. Вопли
эфиопских девочек в окне.
Девочки нисколько не намокли,
повезло намокнуть нынче мне.

На колёсиках спешит под крышу
мой битком набитый чемодан.
Симпатяга-дождь помочь мне вышел,
ринулся сквозь солнечный туман.

Открываю дверь, вхожу – и снова
солнце прожигает синеву.
В этом городе дождя благого
я почти безоблачно живу.

* * *

Как в автобусе много солдат!
Видеть юные лица отрадно.
Не убил меня автомат –
прикоснулся легко и прохладно.

Я асфальт в лицо узнаю,
по ступенькам недвижным хожу я.
Лишь вчера я вернулась в свою
Из поездки в страну нечужую.

Как легко и привычно здесь!
Как легко и привычно дома!
Вот и путь мой жизненный весь.
И не будет уже по-другому.

Здесь живет мой геройский страх.
Здесь восходы мои и закаты.
Отчего же при этих словах
сердце снова рвётся куда-то?..

ЙОМ-КИПУР

Судный день – из вещества чудного,
из особенного состояния:
медленный, томительный, тягучий...
Это нам Господь на всякий случай
время растянул для покаяния.

Снова знойный пост и тишина. И снова –
жаркая попытка предстояния.

* * *

Целый день бесследно пропадает
из-за мелких, быстрых, как рыбёшка,
сереньких несметных незаметных
бесконечных дел.

Каждое блеснёт, сверкнёт в сознанье
серебром догадки – нужно сделать,
и за каждым крохотным, бессчётным
я, как рыба хищная, гонюсь.

Надо поскорее выбираться
из лихой воды на твёрдый берег
твёрдой воли.
Берег утренний, родной, как речь,
надо уберечь.

Мерный вековечный шум прибоя,
в ярком воздухе озон разлит...

Если одолеет суета,
брошу всё и выброшусь на берег,
сладостно, огромно,
словно кит.

ДОМАШНИЕ РЕЕСТРЫ

Когда чего-то в доме не хватает,
я быстренько хватаю ручку
и в список заношу очередную
нехватку вроде хлеба, молока,
картошки, помидоров, огурцов,
ну и так далее.

Вычеркиваю, переписываю наново,
кладу себе то в сумку, то в карман...
А старые бумажки сладко рву,
на них срывая суету и злость.

Ах, эти столбики на четвертушках,
их столько через годы пронеслось!

Я нахожу порой то там, то тут
давнишние домашние реестры.

Мне представляется:
когда меня не станет,
они еще немножко поживут
в карманах, в сумках.

Мне представляется помятый список,
и ничего не вычеркнуто в нём,
душа его прихватит в небеса:

любовь
свобода
молодость

И чуть помельче:

здоровье
деньги
время
чудеса

Владимир Ханан

МЕРЛИН И МАРЛИН

– Ну так как, Николай Петрович, что вы скажете о нашем проекте? – задавший вопрос молодой человек в очках с толстыми стёклами и небольшой, но уже заметной плешью на затылке робко посмотрел на своего визави.

– Что ж, – после некоторой паузы отозвался его собеседник, моложавый семидесятилетний человек с седой, но ещё густой шевелюрой и явно военной выправкой, – мысль интересная, хотя я в этом вопросе не компетентен. При этом, как вы знаете, сейчас в отставке, то бишь на пенсии, так что решить его, естественно, не могу. Но кое с кем поговорить, посоветоваться... Слава богу, у нас ещё остались серьёзные кадры, хотя любимый вами, демократами, Бакатин и сделал всё, чтобы уничтожить нашу контору. Позвоните через недельку, думаю, что к тому времени смогу вам что-нибудь сообщить. А пока, ежели не торопитесь, чайку – заварю такой, какого вы в жизни не пробовали.

– Ну, а сами-то вы как, Николай Петрович, как вам-то идея? Голос молодого человека прозвучал уже более уверенно.

– Мне-то? – хозяин дома улыбнулся. – Мне-то, если честно говорить, она даже и не слишком интересна. У меня ведь, знаете ли, профиль на службе был другой, о котором я распространяться даже в отставке не имею права. К тому же, по характеру я человек консервативный, ко всяким научным новинкам отношусь скептически, одна из них мне даже подгадила в смысле карьеры...

– Как так? – молодой человек был явно удивлён. – Как это может быть? Если что-то и не получилось, так ведь в науке и отрицательный результат – всё равно результат. В каком смысле подгадила?

– Может, может, – проговорил старший, – ещё как может. А уж в нашем ведомстве вообще всё может быть. Дело это старое, давно не секретное, пойду распоряжусь насчёт чайку, а потом, если вам интересно, расскажу обо всём подробно.

После ухода хозяина гость окинул взглядом кабинет, подошёл к занимающему почти всю стену книжному стеллажу. Среди разноцветных собраний сочинений классиков – Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Горький, Драйзер, Джек Лондон, Золя, Анатоль Франс – чёрным пятном выделялись несколько, порядка десятка, томов «Литпамятников»

– А между прочим, эти книжки имеют отношение к теме нашего разговора, – сказал хозяин, входя в кабинет с заварным чайником и парой чашек. – Заваривать чай научил меня один коллега, – продолжил он, уже колдуя над столом, – который лет двадцать проработал нелегалом на Востоке. Русский человек, а так

обазиатился, ну чистый чучмек. Чай заваривал гениально, при этом русского в нём всего-то и осталось, что любовь к водке. Любовь, надо сказать, сильная и постоянная. Когда приезжал в отпуск, то уж тут себе не отказывал. Работник был редкий, так что начальство на это дело смотрело сквозь пальцы.

– Так вот, об этой самой науке... Дело было лет... в общем, даже не вчера. Обратились ко мне несколько молодых людей с одной, с их точки зрения, интересной идеей. Вышли они на меня, как думаю, через моего сына. Он у меня биолог, кандидат, весь в науке, не в отца пошёл. А идея была и впрямь забавная. Подобрался там такой молодёжный коллектив: несколько нейробиологов, медик, инженер и, сбоку припёка, – филолог-лингвист. Это сейчас о генетике только в стенгазетах не пишут, а тогда дело было новое, перспективное, много чего можно было сделать. Короче, пришли они к такому выводу, что любое знание, полученное человеком, откладывается в его генах. Я как человек от науки далёкий, всё это вам своими словами, где-то, может быть, с научной точки зрения и неправильно... Но дело не в этом. А практически-так: научился человек трением добывать огонь – это закладывается в его ген, который передаётся потомкам – и следующим за ним, и тем, кто через тыщу лет. Неважно, что это знание стало ненужным – сидит оно в его генах намертво. А уж такое знание, как язык, на котором этот человек говорит, оно в его генетику забито так, что и захочешь – не избавишься. То есть, если ваш пра-пра-пра-прапредок тыщу лет назад жил в Германии и говорил по-немецки, то этот язык в полном объёме сидит в ваших генах, пусть даже ваши пра-пра уже с тех пор сменили десяток стран, носят фамилию Иванов или Хо Ши-мин и по-немецки ни сном ни духом. Лопочут себе на нижегородском или китайском, и все дела. И по их, этих моих молодых, теории, уже подкреплённой кое-какими экспериментами, выходит, что этот глубоко запрятанный язык каким-то образом, при каких-то условиях, может быть вытащен наружу. Понимаете? Человек, имевший в школе по английскому стабильную тройку, может при определённом воздействии на его мозг заговорить по-английски, как Черчилль – и это без многолетних занятий, зубрёжки и тому подобного. Перспективы, конечно, богатые. С этим они и толкались в разные НИИ и лаборатории – и всё, понятное дело, без толку. Нужно, спрашивается, директору НИИ или завлабораторией новое, абсолютно непроверенное дело, начальством в план не поставленное, с сомнительным успехом и гарантированной головной болью? Понятно, что их отовсюду гнали в шею. Вот им и посоветовал, как я уже говорил, мой сын, хотя, мерзавец, не сознаётся, обратиться со своей идеей в КГБ. В том смысле, что для разведки методика обучения языкам с помощью таблетки или там укола – просто бесценный подарок. Притом, учтите, знание языка на уровне родного, в самом деле родного, без всякого акцента и тому подобного.

– Я доложил по начальству, и, хотя у нас тоже своя бюрократия и своя канитель, довольно скоро получил «добро», с тем,

правда, условием, что я их шарашку и буду курировать. Начальство почти и не артачилось, поскольку денег на эту лабуду нужен был, по нашим меркам, мизер. По сравнению с тем, что шло на работу заграницей – гроши.

– Дело моё было крайнее: в научные проблемы я не вникал, общее руководство, не более, хотя и это вышло мне впоследствии боком. Ребятишки своего, надо сказать, добились – три года теории, экспериментов и прочей свистопляски, которой требует наука – и нате вам, пожалуйста, стопроцентно положительный результат. Благодаря которому меня, правда, не уволили, но нервов помотали и смотреть стали косо, благодаря опять-таки чему ваш покорный слуга вышел в отставку не генералом, на что вполне законно рассчитывал, а всего лишь полковником.

– А теперь по существу вопроса. Ребятишкам этим моим умным понадобились, естественно, не только теории и эксперименты, но и объекты этих самых экспериментов, то есть, попросту, люди. Встал, таким образом, вопрос о контингенте. И вопрос этот решился быстро: евреи. Вы спросите, почему евреи? А уж это проще простого. Сколько ты не вытаскивай подноготную из Вани из Рязани, кроме прадедовских матюгов ничего из него не вытянешь, разве что какое-нибудь «хурды-мурды» времён татарского ига. А евреи – другое дело. Контингент в нашем смысле бесценный. Благодаря этому заданию я даже вник в их весьма запутанную, надо сказать, историю. Они, племя это многослойное, попали в Россию после разделов Польши при матушке Екатерине Второй. Попали, так сказать, не трогаясь с места. А в Польшу их когда-то давно пригласили, чтобы наладить местные финансы, из Германии. А в Германию они попали из Франции и Англии, откуда их изгнали – видимо, там они уже финансы наладили, и в их услугах больше не нуждались. А ещё до этого их изгнали из Испании и Португалии. Иначе говоря, из одного скромного Каца или Рабиновича можно было методом моих ребят извлечь не один, а два, три, а то и четыре полноценных языка. Разумеется, отбор в контингент был строгий, и по идеологической линии тоже. Много смысла в разведчике, знающем четыре европейских языка на уровне родного, который только и смотрит как бы слинять из вырастившего и выучившего его государства? Я евреев повидал: когда-то их и в нашей конторе было немало – патриоты, каких и в каком-нибудь кондовом Торжке не сразу разыщешь. Мы, к слову сказать, ни в одном из них не ошиблись: сейчас, после перестройки этой долбаной, когда и природные русаки толпой валят заграницу, как будто им там мёдом намазали, наши все до единого здесь, ни один не уехал, а чем занимаются, скажу тебе чуть позже.

– Интересная, знаете ли, подробность. Пришлось мне и в эту штуковину вникнуть. Ну, ни для кого не секрет, что освободительная борьба палестинского народа всегда опиралась на нашу помощь. И нашего государства, и особенно – нашего ведомства. Их лидеров и вождей, начиная с этой губастой морды – Арафа-

та – я ещё лет тридцать назад видел, как сейчас вас, на наших тренировочных базах. Тогда им было достаточно денег и оружия, а потом понадобилось и идеологическое обоснование их национальной, на наши денежки, борьбы. Вы, я думаю, слышали о Хазарском Каганате. «Как ныне сбирается вещий Олег...» – каждый советский школьник, как мамино имя, помнит. Не знаю, неразумные они там были, или разумные, но из всех существующих на то время религий выбрали себе иудаизм и стали – в соответствии с еврейскими законами – натуральными евреями. Вот этот факт наши палестинские «братья» и решили использовать. «Древние евреи, – говорят они, – были из Иудеи изгнаны и давно вымерли или ассимилировались. А те, что верховодят сейчас в мире и, в частности, захапали нашу родную Палестину, являются потомками хазар, а, следовательно, на землю нынешнего «сионистского образования» никакого права не имеют. Если их так уж неудержимо тянет на «землю отцов», то и пусть себе селятся в районе российской Астрахани или российского же Ростова.

– Что интересно: один из наших двадцати подопечных залопотал-таки на каком-то чучмекском наречии, которое вызванный из самых высоких академических сфер тип признал натуральным «хазаритом». Парня мы, конечно, отчислили, поскольку агентурной ценности он для нас не представлял: работы среди хазар мы не планировали. Да он и сам не возражал, понимал, что в практической жизни этот язык нужен ему, как зайцу насморк. Один из двадцати – это, выходит, пять процентов. Арабам-то мы, конечно, дали цифру в пятнадцать раз больше, нам не жалко, а им приятно, хотя толку от этого у них всё равно никакого не выйдет. Однако самое интересное получилось с другими. Вот ведь как на свете бывает: результат работы положительный, а последствия отрицательные. Всё, что мои учёные новаторы обещали, – они выполнили на сто процентов, сейчас все доктора наук. Некоторые даже академики. Это только мне их наука вышла боком.

– Уверяю вас, Николай Петрович, – горячо начал молодой, – у нас ничего подобного быть не может, мы всё рассчитали точно... Мы...

– Да ладно, – успокоил гостя хозяин, – я и не беспокоюсь: с отставки не выгонят. Мне сейчас даже самому смешно, как всё в том деле обернулось. Ведь надо же, проблема была, так сказать, на поверхности, а никто её не заметил – ни ребятки, ни я, ни те, кто выше. Вышло всё в самом лучшем виде: все наши клиенты дружно залопотали на языках, о которых полгода назад и понятия не имели. Кто на одном, а кто и на трёх. Полный, что называется, успех. А вот практической пользы для нашей конторы, которая весь этот успех оплатила и выпестовала, оказался нулевым. Ну как пошлёшь ты в Англию или Германию агента, который запросто сможет поболтать с Шекспиром или там Лютером, но которого ни один современный англичанин или немец не поймёт, поскольку наши орлы свободно говорят: одни – на древ-

неанглийском, другие – на средневерхненемецком, третьи – вообще на старокастильском. Когда мы вызвали своих, конторских, языковедов, они сначала таращились на наших питомцев, как на каких-то монстров, а потом целый час ржали до колик и обмороков. Конечно, кому смех...

– Потрясающе! Просто потрясающе! – заговорил молодой. – Ну, пусть не для вас, не для, как вы говорите, конторы, но это же – потрясающее открытие. Неужели нельзя было это использовать?

– Да уж, конечно, использовали. Не зря же ребятки эти учёные в докторах да академиках ходят. Николай Петрович поднялся и подошёл к стеллажу. А вот и по поводу книг, как обещал. Обратите внимание: переводы с древнеанглийского, гэльского, старофранцузского. Это ведь всё подарки от моих бывших питомцев. Раньше все были разных профессий, один, помнится, даже ветеринар... А сейчас все как один переводчики со староевропейских – и интересно, говорят, и заработок, по нынешним временам, неслабый. Английским да французским нынче не удивишь, а то же с приставкой «древне» – редкость.

– Ну, а с этими, с учёными, поддерживаете отношения? – гость перевёл взгляд со стеллажа на хозяина дома.

– Поддерживаю, ещё как поддерживаю. – Николай Петрович подошёл к письменному столу и взял в руки лежавшую там книгу. Я ведь, знаете, раньше, «литпамятниками» не интересовался, всё больше классику читал, а вот благодаря нашим стал и их почитывать. И попалась мне однажды «Смерть Артура» некоего Мэллори. Ага, читали. Значит, помните там про такого колдуна по имени Мэрлин. А моё полное имя, если не запамятовали – Марлин. Николай Петрович Марлин. Я сначала на имя этого колдуна особого внимания не обратил: ну почти совпадение, что из того? А потом – уже после этой нашей истории – подумал: а что, если?.. Понимаете, о чём я? Подумал я это, подумал, да и пошёл к бывшим своим подопечным. Так, мол, и так... А вдруг мои корни – оттуда? А им-то не всё равно, что я, что другой? Посмеялись, но всё, что положено было проделать, проделали. И – представляете? – через некоторое время так и попёр из меня это древний, но всё равно, оказывается, родной язык. Попёр и попёр... Так что вот это, – он поднял вверх чёрный томик, – мой первый опыт, как переводчика. Первый, но, как видите, удачный.

– Фантастика! – проговорил гость. – Я слушаю и не верю своим ушам. То есть, конечно, верю, но это... – И, вспомнив о цели своего визита, продолжил: – Так тем более, Николай Петрович, тем более, посодействуйте нам. Вы же теперь больше, чем кто-нибудь, можете нас понять. А мы, со своей стороны...

– Обещал, посодействую – значит, посодействую, – с улыбкой сказал хозяин дома и, проговорив непонятную фразу на непонятном языке, добавил: – в переводе с гэльского это означает: «Всё, что смогу – сделаю».

И нежно погладил лежащую на столе книгу.

Игорь Губерман

РАЗГОВОР АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ С ЛИРИЧЕСКИМ ГЕРОЕМ В ДЕНЬ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ АВТОРА

Герой: Я бабник, пьяница, повеса,
я никаких святынь не чту,
мой автор вылепил балбеса,
чтоб утолить свою мечту.
А ты? Зачем и почему
ты здесь торчишь, судьбу ругая?

Ангел: Меня назначили к нему,
меня тошнит от разъебая.

Герой: А я живу не без приятства,
его лирический герой, –
всё время пьянки, много блядства,
и философствую порой.

Ангел: А я к нему приставлен свыше,
чтоб дольше жил на свете он –
забавно Богу то, что пишет
болтливый этот мудозвон.

Герой: Однако пишет он давно,
поэт известный, муз любимец...

Ангел: Да не поэт он, а гавно,
мошенник, плут и проходимец!
В поэтах есть парфюм эпохи,
у них мечтания и звуки,
поэт рождает в людях вздохи,
а мой дурак – смешки и пуки.

Герой: Однако жулику и жоху –
зачем Господь дал певчий дух?

Ангел: Его клюёт всё время в жопу
на мыслях жареный петух.
Его Сибирь не охладила,
опять бумагу стал марать
и снова принялся, мудила,
херню с помоек собирать.

Герой: Оставим дурь его в покое,
один интимный есть момент...

Ангел: Писать о женщинах такое
способен только импотент!

Герой: На импотента баба злится,
и сразу видно – отчего...

Ангел: Она всё терпит, ангелица,
она святая у него!

Герой: Но говорят, он весельчак,
его гостей от смеха пучит...

Ангел: В уборной сядет на стульчак
и там чужие шутки учит.
А днём читает и лежит,
бранит евреев, если жарко...
Нет, он пока ещё мужик...

Герой: Дай Бог, а то ведь бабу жалко.
Но так хулить его нельзя,
твои сужденья угловаты,
его ведь любят все друзья...

Ангел: Да все они мудаковаты.

Герой: А утром он задумчив, тих?

Ангел: И вялый, будто инвалид.

Герой: Наверно, пишет новый стих...

Ангел: Или желудок барахлит.
Чужой придёт и не заметит
его присутствие в квартире:
он до обеда – в кабинете,
потом до ужина – в сортире.
А утром ест угрюмо кашку,
сопит, как десять хомяков...

Герой: Постой, так ты про старикашку!
А молодой он был каков?

Ангел: Так я с небес недавно спущенный,
и мне уже нехорошо,
а все коллеги предыдущие –
кто спился, кто с ума сошёл.
Недолго ангелы-хранители
могли прожить при этом падле,
теперь больниц небесных жители,
да только вылечатся вряд ли.

Герой: Сейчас я выпить нам найду,
мне жребий твой прозрачно ясен,
ты, ангел мой, попал в беду,
старик ещё весьма опасен.

Ангел: Да! То лежит, как пень-колода,
то захуячит, как трамвай,
а я мечусь, ища урода...

Герой: Так пить не будешь?

Ангел: Наливай!



Рисунок Саши Окуня

Алекс Тарн

ДОМ

ЗИМА

19 декабря 1248 года.

За стеной свистнул ветер, пометался по улице, слепо тычась в заборы и запертые ворота, ухнул в каминной трубе, шлепнул мокрой ладонью по толстому оконному стеклу и унесся вниз, к Рейну. Мастер Герхард поежился и встал подбросить дров. Как ни топи, а все равно холодно: вон, окна какие большие... Ну а кого винить-то? Винить, кроме себя, некого – сам захотел, чтоб светлее и чтоб Дом видно было. Он покосился в заоконную темноту, туда, где угадывалась мрачная громада собора.

Мрачная... не то чтобы днем она смотрелась приятнее. Здания не любят пожаров, даже каменные. А все почему? Потому что для здания огонь – смерть, ежели, конечно, он не в камине. А пожар от чего проистекает? – От людской глупости, от скучной и скученной жизни. Живут, как вши, друг о дружку трутся. В этом-то вся и загадка: если люди вши, а не кремни, то как же от ихнего трения огонь высекается? А ведь высекается как-то. Глянь, полыхнуло, то тут, то там... и все – беги подальше, уноси ноги. А если еще и ветер, наподобие сегодняшнего, то вообще каюк. Оглянуться не успеешь, как все домишки выгорели, знай, стройся заново.

И добро бы еще одни домишки или людишки тамошние: этим-то грош цена, новых нарожают, прости Господи. А вот коли пламя на собор перекинется... вот это, считай, беда. Собор в городе – самая ценная, самая главная вещь. Без собора город не лучше деревеньки, даже если со стенами, и с ратушей, и с лавками, и с рынком, и с замком герцога или архиепископа. Даже если все это, положим, самое лучшее в мире, то все равно без собора – никуда. Оттого и строят его так долго, поколениями, лет сто... а может, и больше, кто знает? Когда в Шартре начинали? Ровно пятьдесят четыре года назад, в 1194 году от Рождества Христова. И все это время строят, и строят, и строят... и конца-края не видно. В прошлом году был здесь проездом знакомый каменщик-пикардиец; так он говорил, что в Шартре работы еще лет на десять, не меньше. Во как! Ну и как же такое чудо не беречь, коли в него столько золота вбухано, и умения, и сил человеческих, и жизней? А святыни бесценные, а ларцы с мощами, а драгоценная утварь, шитые золотой нитью одежды? Это ж сколько столетий городу корячиться надо на такие немыслимые расходы?

А ведь поди ж ты, корячатся. Мастер Герхард усмехнулся. Скорее всего, граждане Кельна и понятия не имеют, во сколько обойдется строительство нового Дома. Да и откуда им знать? Разве старые каролингские церкви могут сравниться с великолепием чудес Шартра и Реймса, с амьенским творением мастеров Робера и Тома́? Где кельнские бюргеры найдут столько денег? Неужели надеются на архиепископа? Нет, не такие они наивные. Тогда почему? Гордыня, гордыня человеческая. Дела у Кельна в последнее время идут неплохо, вот и возомнили невесть что. «Германский Иерусалим»! Ни больше, ни меньше...

Он ногой пододвинул жаровню, склонился над столом с чертежами. Германский Иерусалим! А почему бы и нет? Он, Мастер Герхард, безродный паренек из маленькой мозельской деревушки, построит здесь, на берегу Рейна невиданное чудо, каких нету даже в самой Франции! Как это сказал архиепископ Конрад? – «Сделай нам собор не хуже Шартрского!»

Его и наняли-то потому, что двадцать лет проработал в Пикардии на строительстве знаменитого Амьенского кафедрала. Там Герхард из Рейля стал уважаемым Мастером Герхардом. Мальчишкой бегал на посылках у старого Робера де Люзарша, а потом, когда старика унесла болезнь, стал помощником нового мастера – Тома де Кормона. Мастер Тома был немногим старше него, так что, можно сказать, строительство они продолжали вместе.

Мастер Герхард хмыкнул, разглядывая чертежи. Неудивительно, что получилась копия Амьена. Этому он учился, это он знал. Амьенский собор, когда его наконец закончат, будет прекрасен. Он будет самым большим во Франции, самым большим и самым красивым. Во Франции, но не в мире. Самым большим в мире станет его Дом! Кельнский Дом Мастера Герхарда! Последние слова он произнес вслух, сиплым, сорванным голосом строительного прораба. И еще раз, погромче. И еще. И еще, уже нешуточно сердясь на самого себя из-за очевидной фальши, прячущейся за его бодрыми воплями.

Набежавший ветер снова насмешливо шлепнул в стекло и ринулся дальше, по кругу. Мастер Герхард покачал головой, плеснул себе вина из кувшина, подошел к окну, держа в одной руке стакан, а в другой – масляную лампу. Его собственное отражение в темном стекле смотрело мрачно и вызывающе.

– Чего уставился? – сказал Мастер Герхард с ненавистью. – Лучше молчи. Я и без тебя знаю: нету никакого Дома Мастера Герхарда! Нету! Есть второй Амьенский собор. В точности такой же, хотя и побольше. Но какая разница – побольше, поменьше... Важно, что такой же! Такой же! И это ясно каждому дураку!

Он выпил залпом, отбросил стакан и уставился на огонек лампы.

– Огонь... Хорошо было Мастеру Роберу. Прежний собор в Амьене сгорел от удара молнии. Господь самолично спалил

его, чтобы освободить место для нового кафедрала. Разве мог старик Робер сомневаться в себе после такого начала? Разве не чувствовал он, что сам Иисус двигает его рукой по бумаге?.. А я? Я? Кто поможет мне?

Мастер Герхард уныло повернулся к окну. Ему не помогал никто, даже пожар. Старый собор подожгли специально, чтобы потом легче было разобрать стены. Начали с западного фасада, намереваясь сохранить хор, но неожиданно налетевший ветер разметал огонь куда ни попадя, и в итоге получилось бестолково, не по плану, ни то, ни се. А когда поджигали, не было ни ветерка... Что и говорить, небеса явно не благоприятствовали грандиозной затее. Все шло через силу, скучно, как из-под палки. Чертежи понравились и архиепископу, и Городскому Совету, но сам-то Герхард знал цену своему труду. Жалкая компиляция чужого вдохновения, позорная беспомощность мозга, паралич таланта.

А ведь он мог, мог! Работая в Амьене с Мастером Тома, Герхард самостоятельно находил такие оригинальные решения, что все вокруг только восхищенно цокали языками. Отчего же теперь воображение отказывает ему, уныло пресмыкаясь перед ворохом чужих идей? Отчего эскиз за эскизом упрямо повторяет знакомые линии амьенских фасадов, башен и аркбутанов? Вы в безнадежном тупике, уважаемый Мастер...

Герхард печально покачал головой. Вот уже полгода он проводит бессонные ночи в этой горнице, вызывая все возрастающее недоумение помощников и домашних. Дни-то еще куда ни шло... днем можно отвлечься, наблюдая за строительством. Со дня закладки Дома прошло четыре месяца; работы на фундаменте в самом разгаре. Но на самом деле на размеченной площадке прекрасно справляются и без него; скорее, наоборот, он мешает землекопам и каменщикам, путаясь у них под ногами. Но лучше уж так, чем безрезультатное сидение здесь, наедине с этими постылыми чертежами.

Он кряхтя нагнулся, подобрал медный стакан, выждал, пока откатится назад нахлынувшая в голову кровь, и потянулся к кувшину. Вот-вот... и пить стал втрое прежнего... это уже который кувшин за сегодня? Так ты и стен не увидишь, не то что крышу... Попросить аудиенции у архиепископа? Но навряд ли тот сможет добавить что-то к уже сказанному. Ведь тогда, в августе, после церемонии они проговорили почти целый вечер. Закладку собора приурочили ко дню Успения Святой девы Марии, и горожане, отстояв свое на утренних и полуденных молитвах и вволю поглазев на роскошную церемонию, дружно отправились в трактиры. В самом деле, не каждый же день начинают такое строительство. Видимо, поэтому архиепископ Конрад оказал Мастеру Герхарду великую честь, пригласив его на обеденную трапезу... и не просто так, а вдвоем, с глазу на глаз.

Обед был чудесен, обилен кушаньями и продолжался несколько часов. Хозяин говорил немного, все больше про еду, а

Герхард почтительно поддакивал и ждал главного. Не может же быть, чтобы его пригласили сюда ради одного лишь чревоугодия. Возможно, архиепископ хочет изменить план? Или потребовать ускорения работ?.. К тому времени, как подали последнее блюдо, уже начинало темнеть. Город за окнами дворца полнился пьяными криками.

– Слышишь, сын мой? – сказал Конрад, кивая на душные летние сумерки. – Это голос дьявола. Он там, поверь мне. Он живет в наших домах, ходит по нашим улицам. А сейчас он сидит в каждом трактире у каждого стола, залитого дрянным вином и блевотиной. Пока он еще немного стесняется света дня, но стоит стемнеть, и начнется обычная поножовщина. Вот увидишь, завтра во дворах и переулках, в лужах мочи и крови найдут не меньше десятка трупов, и мне снова придется приказать повесить номинальных виновников. И, как всегда, они будут этому только рады из-за своего ужасного похмелья.

– Почему «номинальных»? Разве их осуждают просто так?

– Конечно, нет... – усмехнулся архиепископ. – Свидетелей пьяной драки всегда достаточно. Они могут надраться так, что забудут родного отца, но никогда не упустят малейшей возможности нагадить ближнему.

Он скользнул взглядом по грубым рукам своего собеседника, рукам строительного рабочего, плотника и каменщика.

– Впрочем, что я тебе об этом рассказываю? Ты наверняка знаешь намного лучше меня, что и как происходит сейчас в городских трактирах.

Герхард смущенно кивнул. Рядом с аристократом из гордого рода Хохштаденов трудно было не почувствовать себя неотесанным деревенщиной. Конечно, он знал счет и геометрию, а также немного умел читать – ровно настолько, насколько требовало ремесло, но по сути, хозяин дворца попал в самую точку. Мастер Герхард принадлежал к тому, заоконному, тупому и беззаконному миру, сгущающимся сумеркам пьяных драк и грубого свального греха, неотличимого от насилия. Хотя... намного ли аристократы лучше? Опыт общения со знатными заказчиками убеждал в обратном. В некоторых дворцах воняло поменьше, и вино наливали получше, но на количество драк и блевотины это не слишком влияло.

– Но и аристократы немногим лучше... – задумчиво произнес архиепископ, словно услышав Герхардовы мысли. – Дьявол живет и во дворцах, не только в лачугах. Он направляет руку убийцы, грабит и насилует. Потому я и называю завтрашних висельников «номинальными» виновниками. Настоящий преступник остается безнаказанным.

Он повернулся к Мастеру Герхарду и посмотрел на него в упор своими блеклыми, словно выцветшими глазами.

– Послушай меня хорошенько, сын мой, и постарайся запомнить. Ты грамотный человек и богобоязненный христианин. Мы оба должны бороться с дьяволом, каждый на своем месте:

я – как архиепископ, ты – как архитектор. Важно, чтобы ты понял свою роль, иначе ничего не получится у нас обоих...

Конрад фон Хохштаден подошел к окну и брезгливо уставился в ворочающееся внизу темное тело города.

– Сатана полагал, что уже подчинил себе весь мир. Люди погрязли в грехе, и надежды не было. Тогда пришел Спаситель и на кресте искупил человеческие грехи. Теперь можно было начинать с чистого листа, заново. С этого момента новорожденные младенцы появлялись на свет, не отягощенные прежними преступлениями. Представь себе, какое настало бы счастье, если бы все они продолжили нести с собой эту чистоту от пеленки до самого савана! Но враг рода человеческого не желал отдавать без боя владения, которые считал своими! И вот он, результат!

Он грубо, по-мужицки, сплюнул в темноту, перекрестился. Герхард слушал, почтительно склонив голову и не слишком улавливая цель архиепископской проповеди.

– Но люди уже стали другими! – продолжил священник. – Муки Христовы не могли пропасть зря. Чистая божественная душа по-прежнему дается каждому при рождении, и дьяволу приходится немало потеть в его разрушительной работе. К несчастью, это его не останавливает. Исчадье ада без устали снует вокруг нас, пятная и уродуя души, пока они не утратят свой кристальный возвышенный облик!

Последние слова он произнес с угрожающей силой, на высокой, до срыва в фальцет ноте.

– Кто же спасет человечество? Кто выведет к свету заблудшие души? Кто вернет их в небесный, райский Иерусалим? – архиепископ сделал паузу и торжественно возвестил: – Церковь! Только она, десница Спасителя на грешной земле, может помочь в ежечасной борьбе с Сатаной! Смотри! Мы соединяем их...

Он протянул сжатую в кулак левую руку к ночному городу за окном.

– Их... эту юдоль разврата, эту земную геенну... – он резко поднял вверх правую руку. – И этот небесный, святой Город Иисуса... – оба кулака рванулись друг к другу, и, столкнувшись, сплелись в тесном объятии пальцев. – Мы соединяем их вот так! Вот так! Церковь Спасителя соединяет небо и землю! Понимаешь?!

Архиепископ внезапно перешел на шепот.

– Когда-то мы думали, что до небесного Иерусалима будет легче добраться, если мы завоюем земной. Полтора столетия назад Святой отец благословил христианский мир на первый крестовый поход. Мы вернули себе земной Иерусалим, но, увы, небесный не стал от этого ближе. Господь преподал нам хороший урок, а когда мы заупрямились, передал Святой Город в руки мусульман. Как тебе известно, многие до сих пор не оставляют попыток отвоевать Гроб Господень, идя против воли самого Папы. И Тот, Кто на небесах, раз за разом карает своевольных. Сколько смельчаков с крестом на груди погибли в

африканских песках, сколько рыцарей сгинуло от чумы под сирийскими городами!

Герхард кивнул.

– Воистину так, святой отец. Я и сам едва не ушел с Крестовым походом детей. Бог миловал... да еще мать, что высекла и заперла в чулане...

– Вот именно! – подхватил священник. – Твоя добрая мать, сама того не ведая, действовала именно так, как должна действовать наша великая Церковь: наставлять на истинный путь неразумных детей своих... а при необходимости и не побояться взять в руки розгу. Взять в руки розгу и силой выбить ересь из христианской спины, для ее же пользы!

Герхард снова поспешно кивнул. Разговор приобретал опасный поворот. Альбигойская расправа, произведенная с беспримерной жестокостью, на долгие годы запечатлелась в памяти европейцев. И хотя последние катары и вальденсы уже двадцать лет как сгорели в пламени костров, но учрежденная для борьбы с ними Священная Инквизиция осталась. Уж не проверяет ли Конрад фон Хохштаден своего архитектора?

– Я всегда был добропорядочным христианином, святой отец, – сказал Мастер Герхард. – Это не значит, что мне нечего рассказать на исповеди, но...

– Никто и не сомневается в тебе, сын мой, – улыбнулся архиепископ. – Еще несколько слов, и ты поймешь, к чему я веду.

Он помолчал, сосредоточенно щурясь на составленные вместе пальцы своих мягких ухоженных рук.

– Все еретики похожи. Их кажущиеся различия – чисто внешние. Суть же одна: все они полагают, что могут обойтись без Церкви. Им кажется, что в каждом человеке есть достаточно силы и разума, чтобы очистить душу от скверны. Нужно только сделать что-то правильное... например, отказаться от земных благ или, наоборот, грешить особенно гадко и безудержно, или хлестать себя по спинам, или поститься... методы у каждого свои. Но главное тут – их самостоятельность, отдельность от Церкви. И пусть тебя не обманывает кажущаяся скромность этих одетых в лохмотья еретиков. На деле они обуяны большей гордыней, чем самые гордые короли. Ничтожные твари, они возомнили себя сильнее Спасителя или, по крайней мере, равными Ему! Ведь даже Он не смог принести небесный Иерусалим на землю; какой же наглостью и высокомерием надо обладать, чтобы тягаться в этом с самим Иисусом!

Герхард быстро перекрестился. Он никак не мог определить, к чему клонит могущественный хозяин. Архиепископ поднял голову и пристально посмотрел на него.

– Даже Церковь не может принести сюда небесный Иерусалим. Даже Церковь! Оттого-то мы и ждем с таким нетерпением второго пришествия нашего Спасителя. Ждем и стараемся не посрамить себя, стараемся быть готовыми к Его грядущему явлению в громе и славе Страшного Суда! Но, как я уже сказал,

взамен того, чтобы превратить земной мир в небесный Иерусалим, Церковь может соединить с ним грешную землю. Не совместить, но соединить! Церковь может показать страждущим душам, что они не одни в этом страшном, вязком болоте греха и разврата, в этом царстве пляшущего дьявола. Церковь может выстроить светлый путь к небесному Городу, путь, похожий на ветхозаветную лестницу Иакова. Может! Но как? Как?.. Я спрашиваю тебя, Мастер Герхард! Скажи, как?

Испуганный Герхард хотел отвести взгляд и не мог. Блеклые немигающие глаза держали его цепко и жгли, как раскаленные щипцы палача на допросе Священной Инквизиции.

– Пощадите, святой отец! – взмолился он, падая на колени. – Где уж мне знать, неученому мужлану...

Встав со своего кресла, архиепископ подошел к Герхарду и поднял его на ноги.

– О, святая невинность... – сказал он ласково. – «Прости им, ибо не ведают, что творят...» Воистину, это сказано не только о грешниках, но и о праведниках! Ты, сын мой... да, да, ты – тот, кто выстроит путь к небесному Иерусалиму. Подумай сам: что есть храм Божий, как не лестница, соединяющая землю с небесами? Ну?..

У Герхарда перехватило дыхание. Конечно! Теперь он осознал, что имел в виду священник. В самом деле... что есть храм Божий, как не лестница к небесному Городу? И это важное строительство поручено ему, ему! Господи, какая честь, какая... Он хотел что-то сказать – и не смог вымолвить ни слова, а только промычал что-то невнятное, но очень восторженное.

Архиепископ улыбнулся и похлопал его по плечу.

– Вижу, вижу... ты понял. Ты сможешь, Мастер Герхард. Сделай нам собор не хуже Шартрского!

Не хуже Шартрского... Германский Иерусалим... Легко сказать, а вот как сделать? Сейчас, четыре месяца спустя, вспоминая ту беседу, Герхард не мог удержаться от горьких упреков самому себе. Глядя на чертежи, он видел всего лишь копию Амьенского собора, но уж никак не то, чего хотел от него архиепископ. И что с того, что ни он, ни Конрад фон Хохштаден, да и, скорее всего, никто из нынешних детей не увидит собор завершенным? Профессиональная гордость мастера не позволяла ему смириться с поражением. Он снова потянулся за вином и выругался: кувшин был пуст.

– Эй!.. Кто там!.. Хельга!

Дом молчал, не отзываясь на крики хозяина. Служанка спала, сердито и принципиально, и просыпаться не собиралась ни в какую. Герхард прикинул – стоит ли затевать ссору, и решил, что нет, не стоит. Но ложиться в постель тоже не хотелось. Что толку ворочаться с боку на бок, безуспешно отгоняя проплывающие перед мысленным взором детали перекрытий из Реймса, планы амьенского крипта, пилоны и розетки Шартра?

Он накинул плащ и вышел из дома. Трактиры в такой час уже наверняка позакрывались, но чем черт не шутит? Луна пряталась на темном, неотличимом от земли своде, скупо сочащемся мелким дождем. В такую ночь было особенно трудно поверить, что где-то там, за облаками живет светлое чудо небесного Иерусалима. Как же до него добраться? Как?..

Освещая себе дорогу масляным фонарем, Герхард побрел по направлению к ратуше. На улицах не было ни души, никого, кроме дождя, темноты да нахального ветра, упрямо норовящего загасить Герхардову лампу. Потыкавшись в запертые двери нескольких трактиров, он уже совсем собрался поворачивать назад, как вдруг заметил огонек невдалеке от огромного здания ратуши, на границе еврейского квартала. Синагога? Или что это у них там? Нет, для синагоги здание выглядело слишком невзрачным. Постучать, что ли? Вдруг удастся раздобыть вина? Какой еврей откажется от нескольких монет?

Герхард постучал. Внутри тут же послышался шорох, и дверь отворилась. На пороге, близоруко щурясь в темноту, стоял старик в теплой меховой накидке и бархатном берете.

– Нельзя ли войти? – произнес Герхард, не желая приступать к делу с наскока.

– Да-да, конечно, извините, – старик отступил в сторону, пропуская гостя в маленькое помещение. – Немного ранний час для купания, да еще в первый день Хануки...

Последнюю фразу Герхард не понял, но это его не слишком взволновало. Какая разница, что он там себе бормочет? Сейчас спросим про вино... Он огляделся. Большую часть комнаты занимал простой дощатый стол и несколько скамей к нему. На подоконнике крошечного оконца догорали две толстые свечи в массивном многорогом подсвечнике. Их-то свет и увидел Герхард в своих ночных блужданиях. В дальнем углу зияла дыра; широкая каменная лестница уходила вниз, в подвал, очевидно, довольно глубокий, если судить по явственному дуновению сырости. На столе под яркой масляной лампой размещались огромный раскрытый фолиант, кувшин и хлеб на чистой полотняной тряпке.

– Ээ-э... нет ли у вас вина? – неловко сказал Герхард, косясь на кувшин. – Я бы купил.

– Вина? – изумленно повторил старик. – Вы хотите вина? Да вот, пожалуйста...

Что-то бормоча и пожимая плечами, он взял с полки серебряный кубок и налил гостю вина из кувшина. Герхард присел на скамью и залпом осушил довольно вместительную посудину. «Гм... совсем неплохое вино для такой дыры», – подумал он, поглядывая на странный черный провал в углу.

Хозяин топтался перед ним, явно чего-то ожидая. Денег, что ли? Герхард полез в пояс за кошельком.

– Хорошее вино, – одобрительно сказал он, нащупывая монеты. – Я бы купил у тебя кувшинчик-другой прямо сейчас. За сколько продаешь?

Изумление старика, казалось, возросло еще больше.

– А как же омовение? Вы не будете совершать омовение, господин?

– Какое омовение?

– Вы знаете, где вы сейчас находитесь?

– Где?

Старик хлопнул себя по бокам и тоненько засмеялся.

– Вот так так! А я-то подумал, что господин – еврей, что господин пришел совершить омовение. Это микве... – он указал на уходящую вниз лестницу. – Там, внизу, колодец... туда евреи погружаются, когда надо пройти очищение.

– А, вот оно что, – усмехнулся Герхард. – Потому-то ты меня и впустил, не так ли? Ничего, не волнуйся, я сейчас уйду. Меня бояться не надо, я не грабитель и не разбойник, а всего лишь добрый христианин. Я строю новый Дом для города. Мастер Герхард... может, слышал?

– Ах да, Мастер Герхард! – вежливо откликнулся старик. – Кто не слышал о Мастере Герхарде! Такой большой проект, на много лет... важное событие для Колонии. Не хотите ли еще вина?

Он называл город его старым римским именем.

– Почему бы и нет? – Герхард протянул кубок. – Так ты что тут – за сторожа?

Старик улыбнулся. В его манере отсутствовало обычное для евреев опасливое заискивание. Возможно, потому, что здесь, в микве, он чувствовал себя на своей территории.

– В моем возрасте люди только на это и годны, господин. Стариковская бессонница.

– Ты сам из Кельна или пришлый? – для Герхарда, подростком покинувшего родные места и с той поры всю жизнь скитавшегося по чужим городам, этот вопрос был больным, и оттого он задавал его чуть ли не каждому встречному.

Старик засмеялся.

– Мой род живет здесь почти с самого основания Колонии. При императоре Константине один из моих предков был даже главой городского совета. Возможно, вам приходилось слышать такое имя: Цви Нер? Меня зовут так же.

– Хорошее у тебя вино, – сказал Герхард, снова протягивая кубок. – Нет, не слышал. Ты меня, конечно, извини, но кому могут быть интересны ваши имена?

Старик печально кивнул, и Герхард ощутил неловкость. Все-таки он сидел у этого еврея в гостях, пил его вино.

– Что это значит – Нер? – добавил он, желая смягчить свою грубость.

Одна из свечей на подоконнике погасла, издав на прощание легкий шорох. Вторая тоже вытапливала последние минуты. Герхард зачем-то пересчитал рога подсвечника, искусно исполненного в виде узора, который чем-то напоминал голову королевского оленя. Девять. А свечей зажег только две... до чего все-таки скупой народец...

– «Нер» – это свеча, – ответил старик, глянув на свой девятисвечник. – А «Цви» – олень. В моем роду часто называют так старших мальчиков. После того, как я умру, мой внук даст это имя своему первенцу. Берите хлеб, господин. Вино на пустой желудок вредит здоровью.

Герхард отломил от краюхи кусок. Он уже переборол свою неловкость и даже слегка досадовал на себя за это неуместное чувство. В конце концов, что он должен этому нехристю?

– Странный вы народ, евреи, – неприязненно сказал он и покосился на книгу. – Отчего вы не желаете жить, как все, нормально? Имена какие-то дурацкие... язык этот ваш сатанинский... даже пишете задом наперед!

Старик молча стоял перед ним, опустив голову. С самого прихода Герхарда он так и не сел. «Хоть бы возразил что-нибудь, гнилая душонка», – подумал Мастер Герхард угрюмо. Ему вдруг захотелось ударить этого еврея – просто так, ни за что. Хмель гудел в голове, усиленный многодневной бессонницей. Герхард откашлялся и взял себя в руки. Пусть живет себе пока, тварь обрезанная...

– Ладно, пойду я... – он покачал головой, возвращаясь к своим угрюмым мыслям. – Мне тут с тобой недосуг. Пойду-ка я в свой германский Иерусалим...

Герхард расхохотался собственной горькой шутке. Да, последний стакан определенно был лишним. Он попробовал встать со скамьи, но тут же плюхнулся назад и свесил голову на грудь, собираясь с силами для новой попытки. Хозяин с беспокойством смотрел на него, не пытаясь помочь.

– Иерусалим? – пробормотал он и осторожно потряс Герхарда за плечо. – Какой Иерусалим? Неужели собирается новый крестовый поход? Эй, господин...

Герхард снова расхохотался и отбросил слабую стариковскую руку.

– А тебе-то что? Ну какое дело еврею до крестового похода? Хочешь присоединиться? Неужели крест нашьешь? А?..

– Да нам-то дело самое прямое, господин, – тихо отвечал старик, впервые за все время садясь на скамейку. – Когда христиане принимаются искать свой Иерусалим, они непременно начинают с резни евреев. Так будет поход или нет?

– Да хоть бы и был... – злобно процедил Герхард. Он чувствовал, что непонятная злоба закипает в нем, и сдерживался из последних сил. – Да хоть бы и резня! За дело ведь режут, разве не так? Кто Христа распял, если не вы? Кто теперь насылает на нас беды и болезни, отравляет наши колодцы, пьет нашу кровь? Не вы ли, дьявольское отродье? Вы как... как... – он подвигал руками, ища достойное сравнение, и вдруг нашел его совсем близко к языку. – Вы как стены, как перегородки между добрыми христианами и небесным Иерусалимом! Да! Да! Если бы не вы!..

Герхард вскочил. Он уже не чувствовал слабости. Злоба клокотала в нем, неудержимая, как рейнское наводнение. Все

отчаяние, все мучения последних месяцев, казавшиеся доселе совершенно безвыходными, вдруг разом обрели причину и объяснение. Он схватил старика за грудки, сдернул со скамьи, поднял в воздух, как перышко. На подоконнике, зашипев, умерла вторая свеча.

– Вы ошибаетесь, Мастер Герхард, – быстро сказал еврей, испуганно глядя в его рычащее лицо, лицо смерти. – Между человеком и небесным Иерусалимом нету никаких перегородок. Нет ничего, кроме Бога. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Бог Един...

Наверное, последние слова были уже молитвой. Герхард поднял старика над головой и с размаху швырнул его в черный, уходящий в сырую глубь провал. Раздался усиленный эхом звук падения, предсмертный стон, и все стихло.

– Вот! – зачем-то произнес Герхард. – Вот.

Он вдруг разом пришел в себя. Злоба и хмель будто провалились в колодец вместе с несчастным стариком. Что он наделал? Зачем? Боже, какой грех на душу, какой грех! Он толкнул дверь и вывалился на темную улицу. Ветер сразу отвесил ему пощечину, небо плюнуло в лицо склизким плевком дождя вперемежку со снегом. Поделом, поделом! Он теперь убийца. Убийца! Пошатываясь, Герхард брел вперед, не разбирая дороги. Он изо всех сил пытался собрать мысли, но они не давались, беспорядочно суетясь вокруг какой-то одной, огромной и преобладающей, как шпиль собора над пинаклями контрфорсов. Мысль эта была такой большой, что он даже не мог осознать ее разом, и оттого мучительно гадал, в чем же она заключалась. Убийство?.. – нет. Грех, покаяние?.. – нет. Страх наказания?.. – тоже нет.

Нет, конечно, все это было – и отвращение к себе из-за только что совершенного убийства, и необходимость покаяния, и страх... но все эти чувства были хотя и важными, но мелкими по сравнению с той, главной. Герхард судорожно вдохнул и вдруг замер, забыв выдохнуть. Он стоял на площадке перед старым, обгоревшим, полуразобранным собором. Наверное, это помогло ему вспомнить. Как сказал старик? – «Между человеком и небесным Иерусалимом нету никаких перегородок». Вот! Вот! Нет перегородок! Нет горизонталей! Есть только одна вертикаль! Господи!

Он упал в грязь на колени и поцеловал мокрую, пахнущую лошадиным навозом землю. Вот оно! У его Дома не будет никаких перегородок. Никаких горизонталей, карнизов, балконов, перил и балюстрад. Никакого традиционного привычного ряда скульптур, всех этих королей и святых на фасаде. А тимпан... к черту тимпан! – он только мешает. Будет лишь одна вертикаль, неистовое стремление вверх, к небесному Иерусалиму, вверх, вверх и вверх!.. и никаких перегородок!

Герхард поднялся на ноги и жадными вдохами набрал полную грудь холодного влажного воздуха. Дождь перестал, за

Рейном занимался рассвет. Он смотрел на громоздящуюся перед ним руину, но видел совсем другое: стройное стремление симметричных башен, пиршество параллельных колонн, собранных пилонами в пучки, как стрелы в колчане, игру света на перекрытии боковых нефов. Он испытывал восторг и безмерную благодарность Создателю за эту внезапно разверзшуюся перед ним истину. Он без колебаний заплатил бы за нее собственной жизнью.

Жизнью?.. он-таки заплатил жизнью, хотя и чужой. Издали, словно из другого, параллельного, как Домские колонны, бытия, к нему пришло воспоминание о другой жизни, жизни старика-еврея, столь жестоко и несправедливо отнятой совсем недавно. Но даже это не омрачило сияющей радости обретенного знания. Он отмолит этот страшный грех. Он пожертвует половину заработанных денег на перестройку синагоги. Почему половину? Он пожертвует все! Зачем ему деньги теперь, когда у него есть истина? Это будет великий Дом, который навсегда прославит имя Герхарда из Рейля! Это будет широкая, сверкающая дорога к небесному Иерусалиму, дорога, вымощенная его гением!

Мастер Герхард еще раз глубоко вздохнул и быстрым шагом двинулся домой, к чертежам. Он еле удерживался от того, чтобы не сорваться на бег. В предрассветной темноте узеньких улиц можно было не на шутку навернуться, упасть, повредить руку. А руки нужны были ему в настоящий момент более всего на свете. Руки, бумага, уголь и перья.

ОСЕНЬ

30 сентября 1349 года.

Они пришли в последний день сентября, со стороны Бонна. Впрочем, архиепископский гонец опередил шествие Братьев Креста на целые сутки, так что весь город уже знал и готовился к их приходу. В своем послании городскому Совету архиепископ предписывал не впускать флагеллантов в Кельн «из-за опасности распространения чумы и ради предотвращения смуты». Но Совет, по большому счету, плевать хотел на распоряжения Его Высокопреосвященства. Пусть распоряжается у себя в Бонне. После славной битвы при Воррингене, где кельнские латники наголову разбили архиепископскую армию, город получил фактическую самостоятельность и сам решал, кого и куда пускать или не пускать.

Бургомистр прочитал послание, презрительно оттопырив нижнюю губу. Насчет смуты архиепископ явно поторопился. Со всем почтением к его высокому сану, объявить Братьев Креста еретиками может только Папа, и пока такое решение не принято, говорить не о чем. Что же касается чумы, то каким, спрашивается, образом процессия кающихся христиан может навлечь на

город болезнь? Наоборот, если уж на то пошло, только искреннее покаяние спасает от Господнего меча. И хотя достопочтенному Кельну нечего опасаться благодаря своему общеизвестному благочестию, лишняя страховка никогда не помешает.

Тем более что непозволительная затяжка со строительством Дома вполне может вызвать неудовольствие небес. Бургомистр покосился на загораживающую пол-окна каменную громаду. Собор уже сейчас возвышался над городскими домами, как добрая наседка над цыплятами, а ведь готов-то пока по-настоящему один лишь хор. Это за сто лет строительства! Хор, да еще недостроенный портал, на скорую руку соединенный с хором временным невысоким нефом. Башни едва намечены... фасады – начать и кончить... о-хо-хо... это ж сколько еще денег! – страшно подумать. А где их взять, деньги? То война, то чума, то смута...

Если бы сейчас у него спросили, надо ли было затевать одному, пусть даже очень богатому городу такой огромный проект, то бургомистр ответил бы решительным «нет, ни в коем случае!» Но в том-то и дело, что тогда, сто лет назад, никто его не спрашивал. И вот он, результат. Теперь город вынужден погашать старые долги, подобно тому, как правнуки выплачивают векселя попавшего в кабалу предка.

По-хорошему, надо было бы заморозить строительство до лучших дней – пусть потом другие расхлебывают. Но кто же отважится на такую крайнюю меру? Векселя-то не кому-нибудь выписаны, а самому Господу, точнее, святым Петру и Марии. Бургомистр быстро перекрестился. А ну как святые рассердятся, перейдут из заступников в многочисленную армию врагов? Нет уж, нет уж. По нынешним временам рисковать не следует, и так город насилу выживает. Лучше строить, как прежде: потихоньку, полегоньку, особо не торопясь, чтобы не разориться, но при этом никого и не прогневить...

А флагеллантов тем более надо впустить, пусть отмолят свои грехи, а заодно и наши прихватят. Они ведь ненадолго: больше дня в одном месте не задерживаются, разве что на воскресенье. Воскресенье они чтят пуще, чем евреи свою субботу. Не грабят, не воруют, за еду платят звонкой монетой. Ну что плохого может случиться от тысячи таких богобоязненных паломников? Опять же, оружия у них нету... разве что бичи эти ихние. Но и тут никакого вреда городу: ведь, кроме самих себя, Братья Креста никого не стегают. Конечно, грязи нанесут, не без этого. Но грязь – не страшно, грязь подметем. А вот, кстати, хорошая мысль: на площади перед собором все равно грязно от постоянной стройки. Пусть там и встанут, на святом-то месте! Так и овцы будут сыты, и пастыри целы... Весьма довольный собой, бургомистр вызвал капитана стражи и отдал необходимые распоряжения.

«Кайся, грешная душа!» – песня вспархивала из каждой старательной глотки в прохладный вечерний воздух, подобно мелкому воробью. Но глоток было очень много, так что в итоге воробьи собиралась в огромную стаю, которая кружила над Кель-

ном, как грозовая туча. Шествие растянулось на весь город. Стражники направляли голову колонны от городских ворот в сторону обширной площади перед недостроенным Домом. Флагелланты двигались медленно, раскачиваясь в такт своему заунывному гимну.

«Все сюда, покайтесь с нами,
А не то пожрет вас пламя!
Люцифер опасный друг!..»

Те, что шли во главе процессии, несли изображения святых, большие деревянные распятия, надписи с призывами к покаянию. Другие тащили грубые рисунки, изображающие адские муки нераскаявшихся грешников. Остальные просто приплясывали, тыча воздетыми руками в густое от песни небо.

«Те, кого он схватит в лапы,
Не спасутся от расплаты
В страшном пекле адских мук!
Кайся, грешная душа!»

Голова каждого флагелланта была повязана широкой белой лентой с буквами IHS – монограммой Иисуса. Поверх одежды свисали почти до земли длинные белые балахоны с нашитыми на груди и на спине красными крестами; многие паломники добавляли к крестам еще и большое изображение голубки с оливковой ветвью в клюве.

«Кайся, грешная душа!»

Длинная змея процессии втягивалась в пространство площади и сворачивалась там белым, постепенно разбухающим клубком. С высоты западного портала Братья Креста казались скопищем копошащихся опарышей. Клаус, бригадир каменщиков, смотрел сверху и беспокоился. Он никогда не видел здесь столько народу. Не попортили бы чего... воровать-то не станут – на что им камни да известь? А вот доски поломать или пожечь – это за милую душу.

Он оглянулся, подобрал пустой бочонок и уселся поудобнее. На сегодня, похоже, работа закончена. Клаус лениво поискал причину – на случай, если вдруг заявится мастер... да вот она: не работать же, коли под самыми лесами столько людей шастает? А ну как камень упадет? Бригадир озабоченно почесал макушку. Подошел работник, встал рядом, опершись на ограждение.

– Передай парням, чтобы завязывали, – сказал Клаус, не оборачиваясь. – Видишь, какое дело.

Работник кивнул.

– На южной башне угол криво пошел... – он смущенно потер ладони, стряхивая налипшую известку.

– Ну а как же... – Клаус зевнул. – Сколько раз вам, дурням, говорил: вывешивайте, коли глаз кривой. Ладно, завтра разберемся. Дуйте домой.

– Кто ж сегодня дома усидит, Клаус? – ухмыльнулся работник. – Ты только глянь, что деется.

Клаус неопределенно махнул рукой: мол, делайте, что хотите. Самому ему идти было некуда – одинокий бригадир каменщиков жил при стройке, в каморке под южной башней. Той самой, где «угол криво пошел». Он невесело покачал головой: какая разница? При нынешних темпах строительства закончат лет через триста, не раньше, как ни строй – хоть криво, хоть прямо. Кто на него смотреть будет, на этот угол? Если у города нет денег на Дом, зачем тогда вообще огород городить? Который год они работают вшестером на такой громадине... вшестером! Кому рассказать – не поверят. И стыдно, и смешно.

Похоже, что последним крупным усилием было завершение хора. Вышло красиво, никто не спорит. Но сколько с тех пор лет прошло? Двадцать пять?.. Тридцать?.. Тридцать, не меньше. Клаус тогда еще в учениках бегал, известь месил. Теперь он уже бригадир, да что толку-то? Он вздохнул и с досады сплюнул на копошащуюся внизу толпу. Так хочется закончить что-нибудь красивое, такое, чтоб можно было отойти и посмотреть, задрав голову. Чтобы можно было сказать: это выстроил я, мастер Клаус! Что у него есть в жизни, кроме этих камней? А тут... эх... «угол криво пошел»... тьфу!

«Кайся, грешная душа!» – песня на площади неожиданно скомкалась, сжалась, пробежала затухающей волной к уже видимому в конце улицы хвосту процессии и там окончательно упала на землю, под ноги идущим. Теперь слышался лишь слитный ропот людской массы, составленный из многих слов, вздохов, смешков, плача, жалоб и восклицаний. Потом над головами пронесся чей-то высокий нечленораздельный крик, и ропот стал стихать, уступая место напряженной тишине, насколько возможна тишина в тысячной людской толчее.

– Добрые христиане!!

Клаус наконец-то определил кричавшего. Наверное, это был предводитель. Он взгромоздился на груду камней в северном конце площади. По внешнему виду этот паломник ничем не отличался от остальных: такой же балахон с крестами, голубем и оливковой ветвью, такая же лента с монограммой Спасителя. В руках человек держал развернутый свиток. Он начал читать, не дожидаясь полной тишины. Клаус не мог разобрать слов – в основном, из-за того, что большинство присутствующих нестройным хором присоединились к чтению. По всей видимости, люди знали текст наизусть.

Закончив, предводитель свернул свиток и упал на колени, сдирая с себя одежду. Площадь вздрогнула, как единый организм, следуя примеру своего лидера. Люди поспешно обнажались до пояса, издавая при этом однотонный жалобный вой. Минута – и все уже стояли на коленях, белея торсами в предвечерних сумерках. Человек на круче что-то прокричал, страстно и требовательно. Затем он сделал круговое движение над

головой, и тут только Клаус заметил у него в руке большой кнут, скорее даже – бич. Предводитель еще раз что-то выкрикнул и с размаху хлестнул себя по спине.

Коленопреклоненная толпа на площади ответила дружным свистом бичей. Потрясенный бригадир вскочил со своей бочки. Конечно, ему приходилось и до этого слышать о самоистязаниях, которым подвергали себя Братья Креста – оттого их и называли флагеллантами – «бичующими». Но одно дело слушать досужие трактирные россказни, и совсем другое – увидеть своими глазами красные от крови спины, услышать стоны и звуки безжалостных ударов. Он чувствовал, что еще немного – и его стошнит.

Паломники вдруг, как по команде, прекратили самобичевание и пали ниц, лицом в осеннюю грязь. Они лежали, раскинув руки по сторонам, наподобие креста. Клаус перевел дыхание. Но перерыв продолжался недолго. Следуя неизвестному сигналу, флагелланты поднялись на ноги, и вся процедура повторилась, включая коленопреклонение, удары бичом и падение ниц. На этот раз бригадир обратил внимание, что «Братья Креста» вели себя по-разному. В то время, как они неистово бичевали себя одной рукой, вторая словно жила независимой жизнью, производя повторяющиеся жесты. Кто-то подносил ладонь к губам, кто-то тыкал вверх двумя пальцами, кто-то совершал бросательное движение рукой...

В жизни Клаус не видывал ничего более странного, чем это массовое мученическое моление. Оно одновременно отталкивало и влекло, как пропасть. Так иногда, заполняя пространство перекрытия между несущими нервюрами, он случайно цеплялся взглядом за светлеющие далеко внизу серые плиты пола и неожиданно остро ощущал его смертельное магическое притяжение. Это чувство, хорошо знакомое каждому строителю, заставляло отводить глаза, пробовать рукой крепость страховочной веревки и плотнее прижимать бедро к надежной спине замкового камня. Но это ведь там, наверху... он скользнул взглядом по крыше временного нефа. Разве можно сравнивать головокружительную опасность высоты с молитвой, совершаемой на земле, в крови и прахе такими же людьми, как он сам? Чего он так испугался?

Тем временем паломники завершили третье бичевание и теперь медленно, вразнобой, поднимались на ноги, как выныривали из омута, опустошенные и просветленные одновременно. Судя по всему, моление закончилось. Подчиняясь неясному внутреннему зову, Клаус спустился на площадь. Отсюда, снизу, она казалась еще более людной. Флагелланты собирали свою в беспорядке разбросанную одежду, расправляли белые балахоны; страшные кровавые бичи праздно лежали на земле. Клаус наклонился посмотреть поближе: в кожаное тело бича были обильно вплетены рваные кусочки металла. Бригадира передернуло; невольно отшатнувшись, он почти наступил кому-то на ногу и торопливо забормотал извинения.

– Ничего, ничего, мил-человек, – отвечал ему приветливый голос. – Кто из нас в жизни не оступается?

Клаус поднял глаза. Перед ним на ступеньке собора сидел улыбающийся толстяк с мягким добрым лицом и венчиком пегих волос вокруг обширной лысины. Он еще не успел надеть рубашку, но, по-видимому, не чувствовал холода. Клаус выдавил из себя ответную улыбку. Толстяк радостно кивнул, с некоторым трудом завел руку за спину и, выпростав ее назад, протянул на обозрение Клауса окровавленную ладонь.

– Кровь Христова... – гордо объявил он. – Погоди... да тебе никак дурно? Эк ты побледнел-то, бедняга... Садись, мил-человек, садись...

Той же ладонью он похлопал по каменной ступеньке, оставив там грязно-красный след. Клаус механически подчинился, стараясь при этом не попасть на смешанную с плевками и мусором «кровь Христову». Его слегка мутило.

– А ты, никак, каменщик? – спросил толстяк, натягивая рубаху. – Это вы кому же собор-то строите?

– Святым Петру и Марии... – глухо ответил Клаус.

– О! – толстяк восторженно перекрестился. – Святым Петру и Марии! Заступникам нашим... Ах, если бы не Мария, мил-человек, если бы не Мария, гореть бы нам всем в аду! Не знаю, слыхали ли здесь у вас о явлении в Дофине?

Клаус отрицательно помотал головой. Ему уже стало полегче, хотя и недостаточно хорошо для того, чтобы встать на ноги и продраться через толпу к своей каморке.

– Так я и думал! – радостно воскликнул толстяк. – Никто не слыхал, пока Братья Креста не приносят благую весть! Я вот, в своем Страсбурге, тоже ничего не знал, пока они не пришли... так и жил в темноте, как червь. У меня там трактир в Страсбурге, недалеко от рыночной площади. Пока он еще называется «Веселый жбан». Но теперь-то придется подыскать что-нибудь поблагочестивее. Я вот думаю, «Добрый Приют» подойдет. Как тебе кажется?

Не дожидаясь ответа, он влез в балахон с крестами и голубем на груди и, наклонившись поближе к Клаусову уху, заговорил свистящим торжественным шепотом.

– Сказывают, в Дофине один добрый крестьянин пахал поле и вдруг увидал на меже самого Господа нашего Иисуса. Будто сидел Он, печальный от гнева Своего, отворотив в сторону лицо Свое. И хорошо, что отворотив, потому как иначе умер бы тот бедолага от одного взгляда – так страшен был лик божественный. И будто слышит крестьянин, как говорит ему Иисус: «Дай мне хлеба, добрый человек!» А время уже пополудни, значит, после обеда уже. Ну, упал несчастный на колени: «Прости меня, Господи!» Сожрал, мол, последнюю краюшку, даже крошки все подобрал.

Трактирщик округлил глаза и еще более понизил голос.

– Но тут Иисус слегка пальцем шевельнул... глядь – лежат три целых буханки. И приказывает Он, значит, тому крестьяни-

ну: «Возьми эти хлеба и брось их в ручей». Ну, взял парень первый хлеб да и пошел к ручью. А там стоит женщина со светящимся лицом.

«Стой, – говорит, – добрый человек! Ты что это такое делать собрался?»

«Да вот, – отвечает крестьянин. – Хочу бросить хлеб в ручей по воле Господа нашего Иисуса».

«Не делай этого!»

«Да как же мне ослушаться самого Иисуса, женщина?»

А она и говорит:

«Вернись к Нему с хлебом и передай, что мать запретила».

Тут только понял бедолага, что перед ним сама Мария, Божья Матерь.

– Сама Мария?! – недоверчиво повторил Клаус. Почему-то явление крестьянину Иисуса удивило его намного меньше.

– Сама Мария! – торжественно подтвердил трактирщик. – И вот, вернулся тот деревенщина к Спасителю. Так, мол, и так, говорит... мать, мол, и все такое. А Христос ни в какую: «Возвращайся и брось хлеб в ручей!» Страшным голосом таким кричит. Тут уже несчастному не до сомнений стало. Добежал до ручья, да и швырнул буханку в воду. Даже по сторонам не смотрел, чтобы, значит, опять Святая Мария не помешала.

– А Она, что же, ушла?

– Какое там ушла! Никуда Она не ушла. На том же месте стоит и плачет.

«Знал бы ты, – говорит, – что ты сейчас наделал! Ведь каждый из трех этих хлебов – это треть всего человечества. И то, что ты эту буханку в ручей бросил, означает смерть для трети людей!»

Тут уже он совсем голову потерял. «Как? – говорит. – Почему? За что нам такая кара?»

«За грехи ваши страшные, – отвечает Святая Дева. – За ростовщичество, за пьянство, за прелюбодеяния, за то, что не соблюдаете светлое воскресение, и за другие грехи, нет которым ни конца, ни края. И за все это разгневался на людей Сын мой и задумал извести вас всех под корень».

Ну, крестьянин, конечно, заплакал-зарыдал.

«Что же мне-то теперь делать, горемычному, если даже твое светлое заступничество не помогает?»

«Не бойся, – говорит Мать-Заступница. – Ту треть уже не вернуть, я по ним еще все глаза свои выплачу... но оставшихся можно еще выручить. Иди и передай всем, что, ежели начнут они каяться по-настоящему, то уговорю я Спасителя отложить карающий меч. А каяться надо так. Собирайтесь вместе большими братствами и идите по земле, чтобы все вас видели, и дважды в день хорошенько наказывайте себя кнутом по спине. И чтобы при этом каждый свой собственный грех показывал, за который он, значит, прощения молит. И каждый такой поход должен продолжаться тридцать три дня и еще одну треть, по числу лет земной жизни Иисусовой, да в память об уже погиб-

шей трети христианского мира. А коли не сделаете так, то тут уж даже мне вас не защитить!»

Во как! Сказала и пошла. Парень-то, значит, немного подождал, а потом все-таки вернулся к тому месту, где Христа увидал. Только там уже никого не было, и хлеба тоже исчезли. Все исчезло, как не бывало.

Толстяк хлопнул Клауса по колену.

– Что ты на это скажешь, каменщик?

Клаус осторожно покашлял в кулак.

– А вдруг это ему приснилось, твоему пахарю? Задремал после обеда, вот и привиделось...

– Эх ты... – расстроился трактирщик. – Не веришь, значит?.. Посмотри, сколько народу уверовало, а ты не веришь. Сам подумай, мил-человек, отчего это вдруг чума – Черная Смерть – по миру пошла? Прикинь, сколько народу она уже выкосила и сколько еще выкосит? Как раз треть и получится. Вот она, та самая буханочка, в речку брошенная!

Клаус смутился. Аргумент действительно показался ему сильным.

– А коли чумы тебе мало, то есть еще одно доказательство, – важно продолжал толстяк. – Слышал ли ты письмо, которое перед молитвой зачитывали?

– Слышал, только слов не разобрал.

– Охо-хо... – толстяк печально покачал лысиной. – В том-то и беда наша, мил-человек, что слышать-то слышим, а вот слов не разбираем. А письмо это обнаружено не где-нибудь, а на самом престоле Святого Петра в Иерусалиме, высеченное в камне. И прописаны в нем те же самые слова, которые Святая Дева Мария сказала тому крестьянину из Дофина. Ну? Теперь поверил?

– Гм... может, и поверил. А может, и нет... – Клаус развел руками. – Мне, чтобы поверить, время надо. Неученый я... глупый. Долго до меня доходит.

– Ну, если время... – протянул трактирщик с презрительной интонацией. – Если время, тогда конечно. Смотри только, как бы в той самой трети не оказаться. Сатана-то не ждет, пока дойдет до каждого... Мы никого не неволим. Хочешь – иди с нами, не хочешь – сиди, жди смерти. У нас и оружия нету. Мы несем людям мир. Мир! Видишь голубку? – он сердито ткнул в грубое изображение голубя на своем балахоне. – Это значит «мир»! Понял?

Наступило неловкое, даже враждебное молчание.

– На кого же ты свой трактир оставил? – спросил Клаус, чтобы хоть немного снять напряжение.

– На жену, да на сынов. Я ж не навсегда ушел. Еще неделя и назад, домой. Я-то свое отхожу, не то что некоторые...

– Не сердись, – Клаус примиряюще похлопал паломника по плечу. – Я просто еще не решил. Как-то это сразу... чересчур...

– Я тебе вот что скажу, мил-человек, – перебил его толстяк. – Тут раздумывать нельзя. Либо ты со Спасителем, либо с

сатаной. У нас ведь в Страсбурге как получилось? Тоже не все поверили. Городской Совет ну никак не хотел, ну никак... уже и из Берна письмо получили о делах сатанинских – а все равно никак! Рыба, она с головы гниет, мил-человек.

Он с досадой сплюнул на свой бич. Кровь на нем уже запеклась и выглядела обычной грязью.

– О чем ты? – не понял Клаус. – Какое письмо, какие дела?

– Про жидов, какое же еще? Про то, как они колодцы отравляют, сатанинское отродье. Консулы бернские многие города предупреждали, честь им и хвала! А вот наш дурак-бургомистр не поверил. Врал чего-то про папскую буллу, где будто бы говорится, что жиды ни в чем не виноваты... Да только буллы такой нету, а если и есть, то фальшивая! Не может Папа за сатану заступаться, ну никак не может! Правда ведь?

Клаус неуверенно пожал плечами. По кельнским трактирам давно ходили рассказы о том, что чума свирепствует из-за того, что евреи отравляют колодцы. Но власти – что Совет, что архиепископ – решительно пресекали эти слухи. И папскую буллу, о которой говорил трактирщик, действительно зачитывали в церквях меньше года тому назад. Так что никакая она не фальшивая. Он хотел возразить, но потом решил, что не стоит противоречить возбужденному паломнику еще и в этом.

– Да уж... – сказал он с фальшивым сожалением. – Против бургомистра не попрешь.

– Ну да! – презрительно фыркнул трактирщик. – Это против всего города не попрешь. В феврале пришли Братья и научили нас уму-разуму. Взяли копья...

– Как же так? – удивился Клаус. – Откуда у Братьев копья? Ты же говоришь – без оружия.

Толстяк осклабился.

– А кто сказал, что копья взяли Братья? Братья только объяснили что к чему, а копья взяли мы, честные горожане. И что ты думаешь? Совет сразу разбежался, потому как против города не попрешь. А новый Совет уже знал, что делать. Собрали мы всех жидов на ихнее кладбище, ну и...

Он рубанул воздух ладонью.

– Что?

– Как это «что»? – удивился толстяк. – Как, по-твоему, со слугами сатаны поступают? Сожгли. Всех, до единого. Тыщи две их было, не меньше, и колдунов, и ведьм, и чертенят ихних. А добро их, сатанинскими кознями нажитое, поделили по справедливости. Честно, поровну. Только прежнему бургомистру не досталось... накося, выкуси!

Он рассмеялся, вспомнив приятное.

– Да разве можно две тысячи человек зараз сжечь? – изумленно спросил Клаус.

– Опять не веришь? – упрекнул его трактирщик. – Все можно, если постараться. Главное, сначала костровище побольше сложить. Потом на него жидов ставишь, вплотную, сколько по-

местится. А потом поджигаешь и подкладываешь помаленьку: то дрова, то жидов, то дрова, то жидов...

Он снова засмеялся.

– За день уложились. Вонь потом целую неделю стояла... как от мусора, знаешь?.. только сладкая будто. Если бы печь какую большую, то можно было бы чище управиться и быстрее. А с костром возни много. Сам увидишь.

– Как это – «увижу»?

– Да ты что, слепой? Встань, оглянись, мил-человек!

Трактирщик поднялся на ноги и потянул за собой Клауса. Площадь и в самом деле изменилась за полчаса, прошедшие с конца молитвы. Белые балахоны уже не составляли на ней большинства, смешавшись с толпой местных горожан. Повсюду люди собирались в кружки; слышались возбужденные выкрики. Кто-то размахивал над головой палкой, кто-то потрясал в воздухе кулаками. Людская масса угрожающе рычала, как жадный до человечины каннибал. Клаус поискал глазами муниципальных стражников и не нашел. Они либо разбежались, либо просто растворились в толпе, стали ее частью.

Евреев бригадир каменщиков особо не жаловал. С одной стороны, они не сделали ему лично ничего плохого – скорее всего, потому, что пути их никогда не пересекались. С другой стороны, быть бы сейчас Клаусу богачом, кабы не тихое помешательство его знаменитого прадеда, Герхарда фон Риля, первого Мастера этого собора. Находясь в здравом уме и полной памяти, отписал прадед все свое имущество на перестройку кельнской синагоги, той самой, которая сейчас гордо высится вплотную к городской ратуше. По этой причине последующие поколения семьи с трудом сводили концы с концами. Зато синагога получилась на славу... Когда приходилось особенно туго, мать приводила туда маленького Клауса и, остервенело плюясь, шипела, указывая на стрельчатые окна еврейской молельни: «Хочешь жрать? Вот, жри! Жри! Тут твой хлеб, тут твои деньги!»

Так что, по всему выходило, что должен был бы Клаус ненавидеть евреев смертной ненавистью, как ненавидела мать, как ненавидел лишенный наследства дед, при жизни которого и произошло необъяснимое Герхардово помешательство. Но странное дело – Клаус не испытывал никакой злобы. Во-первых, из-за очень флегматичной и мирной натуры. Во-вторых – из-за того, что, в отличие от деда и истеричной матери, он не пережил неожиданного разочарования, лишившись наследства, а узнал о неприятности по рассказам, из семейной легенды. Ну, а в-третьих, познакомившись с великим прадедом по чертежам Дома, Клаус не мог не восхититься его необыкновенным талантом, смелостью и красотой его замысла, внешне схожего с традиционными французскими решениями, но, по сути, принципиально отличного от них. Такой человек не мог просто помешаться, тем более, что завещание было написано задолго до смерти. Следовательно, существовала какая-то

причина. Но какая? Любопытство – вот что испытывал Клаус к евреям. Любопытство, не злобу.

Трактирщик дружески хлопнул его по спине.

– Бери меч, бери копье, мил-человек. Нынешней ночью они ох как пригодятся. А нету ничего такого – сойдет и осиновый кол. Сатанинское отродье осины боится.

– Да кто тебе сказал, что они сатанинское отродье? – тихо промолвил Клаус. – Люди как люди...

– Ну ты даешь... – протянул толстяк. – Тебя, верно, Фома зовут, да? Фома неверующий? Тогда слушай, Фома, что мне один францисканец рассказал, ученый человек, не чета нам с тобой. Почему, ты думаешь, они такие гады? Почему отравляют колодцы, убивают наших детей, душат добрых христиан процентами? Почему оскверняют тело Христово? Почему распяли Его, а до того – мучили... свят-свят-свят... – он трижды перекрестился. – На все есть причина, мил-человек.

Трактирщик схватил Клауса за локоть и жарко зашептал в самое ухо.

– Францисканец объяснил, что они верят в одного Бога, единственного, что кроме того Бога нет ничего – ни Спасителя нашего Иисуса, ни Святой Девы Марии, ни даже самого Сатаны.

– А что плохого в том, что они не верят в Сатану? – удивленно сказал Клаус, отстраняясь. – Не понимаю я. Как это – сатанинское отродье в Сатану не верит?

– Вот и я не сразу понял! – восторженно запрыгал толстяк. – А все, оказывается, проще простого. Слушай. Ежели кто в Сатану не верит, то это означает одно: что для него все одинаково, все дозволено, понимаешь?

– Нет...

– Ну сам посуди. Вот у нас с тобой есть добро – это Иисус. А с другой стороны есть зло – это Сатана. Все ясно, все отличимо. Праведные дела – от Спасителя; грехи – от Сатаны. Так?

– Так.

– Ну вот. А теперь представь, что нет Сатаны. Что это значит?

– Что нет зла? – догадался Клаус.

– Правильно! – возопил трактирщик, хлопая себя по бокам. – Нет зла! То есть, для них, для жидов, нет зла. То, что для нас грех, преступление, для этих нехристей – обычное дело. А значит, разрешено все... даже пить детскую кровь и отравлять колодцы. Понимаешь?

Клаус задумался. Сказанное было слишком ново для него, хотя и просто до необычайности. Это ж надо же, какой умный францисканец забрел в страсбургский трактир... Трактирщик прервал его размышления.

– Прощай, мил-человек. Пойду-ка я, а то уж больно мы с тобой разговорились. Какой трактирщик не любит почесать язык? – добродушно посмеиваясь, он обвязал вокруг пояса бич и поднял с земли котомку. – Так ведь и представление пропустим. Кажись, уже начинается...

Клаус проводил его взглядом. Нет, что-то здесь не так. Как это – зла нету? Это ведь против всякой очевидности. Есть оно, еще как есть! Краснорожее, хрипатое зло кипело на площади, выплескиваясь в прилегающие улицы белой пеной балахонов, царапая криками сумеречное небо, полируя локтями мокрые столы кабаков. Зло ждало темноты, зло сладострастно оттягивало неминуемое удовольствие, подобное лесному разбойнику, который, развалившись на спине и широко расставив ноги, нежно поглаживает свой вздувшийся гульфик, поглядывая при этом на связанную, обреченную, полумертвую от ужаса жертву, и слюна стекает из его зловонного рта.

Ноги сами понесли Клауса к ратуше. Недалеко от нее, вокруг прадедовой синагоги стояла мрачно молчащая, словно набычившаяся толпа горожан. Тут и там белели балахоны Братьев Креста. Из синагоги доносилось высокое пение, перемежающееся многоголосым бормотанием.

– Ишь, воют-то как, бесовское семя... – сказал кто-то за спиной у Клауса.

– Нынче у них праздник какой-то, вот и воют, – отозвался другой.

– Праздник, а света не зажигают, скупятся.

– А зачем им свет? Они ж Сатану зовут, а Сатане темнота сподручней.

– Сейчас дозовутся, только на этот раз – на свою голову!

Быстро темнело. Башня ратуши уже почти потерялась на черном фоне зарейнского неба. Темнота опускалась на толпу, добавляя свой весомый платеж к угрюмой, темной, по грошу скопленной ярости.

– Да что ж это такое! – кто-то в балахоне выскочил из человеческого кольца на свободное место, вскинул вверх руки с напряженно растопыренными пальцами, задергал головой в визгливой истерике. – Что ж это деется, братья-христиане?! Доколе крови нашей литься? Что же вы стоите? Что же... что же...

Упал, забился в падучей. Дрогнуло высокое пение в синагоге, дрогнуло и тут же выпрямилось, длинной и пронзительной мольбой к Страшному Судье. Дрогнула черная толпа, напряглась, ожидая последнего знамения, сигнала, знака.

– Стойте! Стойте! – это зычный голос бургомистра. Откуда? Да вон он, в окне ратуши, размахивает факелом. – Только не жечь!

О чем это он?..

– Только не жечь! Иначе ратушу спалите! И весь город в придачу! Только не жечь!

Толпа заревела и бросилась вперед. Зазвенели, посыпались стекла. Сломалось, сникло пение кантора, а вместо него возник низкий вой, страшный и отчаянный. Он вывалился из разбитых окон синагоги, плюхнулся в истоптанную сотнями ног осеннюю грязь, тяжелым шаром покатился по улицам еврейского квартала, в каждый двор, в каждый дом, в каждую лачугу. Минута – и уже весь квартал стонал этим ужасным предсмерт-

ным стоном, как будто убивали не людей, а здания, стены, двери, домашние очаги.

Их стали выбрасывать из окон синагоги – снизу мужчин, сверху, с галереи – женщин. Они падали в беснующуюся толпу и тут же тонули в ней, как в море, исчезали в мелькании кулаков, ножей и дреколья. Зажатый со всех сторон, Клаус пытался выбраться из толпы, но людской поток нес его в противоположном направлении, разворачивая в сторону от синагоги, вглубь квартала. Он еще успел заметить выскочившего на крыльцо человека с разодранным надвое свитком в обеих руках, еще успел услышать торжествующее улюлюканье. «Плакали прадедовы денежки», – подумал он, работая локтями. Внутри квартала стало немного свободнее. По улицам бегали пьяные от крови горожане. Мужчины убивали и насиловали, женщины деловито увязывали и растаскивали по домам уже никому не принадлежащее добро.

Клауса внесло в чьи-то распахнутые ворота, в чей-то пустой двор. Он прислонился к забору, чтобы отдышаться.

– Эй, бригадир, пособи-ка!

Клаус обернулся. Один из его каменщиков стоял на крыльце и изо всех сил пытался протащить через дверь огромный узел. Клаус стал помогать.

«Зачем ты это делаешь? – спросил он сам себя и сам же, помедлив, ответил: – Потому что товарищ просит, вот почему. Привычка. Такой уж ты – медленный...»

– Вот спасибо... – приговаривал работник, блестя в темноте зубами. – Да ты залезь внутрь, оттуда сподручней... ага, вот так! Вот так! Ну вот... слава Богу, справились... – он утер со лба пот и весело добавил. – С меня должок, бригадир! А ты лучше дальше иди. В этом доме уже ничего, кроме трупов. Подчистую. А хотя... черт их знает: может, и прячут еще чего-нибудь. Богатые, кровопийцы. Если хочешь, поищи – я там внутри факел оставил. Ну, удачи!

Он выволок узел из ворот и исчез в погромной суете улицы. Клаус глубоко вздохнул. Он и сам не знал, зачем он продолжает стоять в этом мертвом молчащем доме. Возможно, потому, что снаружи было еще страшнее? Клаус сделал несколько осторожных шагов и оказался в большой гостиной, вернее, в бывшей гостиной, напоминающей теперь короб со сваленным туда строительным мусором. В колеблющемся свете факела, грубо воткнутого в спинку кресла, виднелся разгромленный буфет с вывороченными внутренностями, разрубленные комоды, опрокинутые навзничь стулья, глиняные черепки, осколки стекла и жизни. Крутая лестница вела вверх. Клаус выдернул факел и стал подниматься.

Тела обитателей дома оказались наверху, грудой сваленные в одной спальне. Насколько Клаус смог рассмотреть, прежде чем отвести взгляд, все они были детьми. Видимо, взрослые нашли свою смерть в синагоге, а дети набились кучей сюда, в самый дальний угол родного дома. Еще одно истерзанное

тело белело обнаженными ягодицами в смежной комнате. Клаус инстинктивно протянул руку, чтобы одернуть закинутый на голову подол платья, как будто мертвая девочка еще могла чего-то или кого-то стесняться. Но подол не поддавался, приколотый к телу кухонным ножом, всаженным в спину жертвы по самую рукоятку.

Клаус огляделся в поисках чего-либо, чем можно было бы укрыть мертвую. Отчего-то ему казалось совершенно непозволительным оставить ее так, в этом непотребном виде. А, вот, занавеска... он содрал с окна короткую драпировку и остолбенел. Прямо на него остановившимися, но несомненно живыми глазами смотрел мальчик лет четырех в длинной полотняной рубашке. Он не пошевелился, не издал ни звука, просто смотрел огромными, в пол-лица, остановившимися глазами. Обеими руками он прижимал к груди странный еврейский подсвечник с девятью рогами, похожий на голову королевского оленя.

– Ты кто? – спросил Клаус, поражаясь глупости своего вопроса. Все-таки он обладал очень медленной реакцией.

– Я Цви, – ответил мальчик неожиданно чистым и ясным голосом. – Цви Нер. Ривка сказала мне стоять здесь очень-очень тихо и не выходить, пока она не придет.

Клаус всхлипнул. Напряжение всего этого вечера вдруг хлынуло у него через глаза неудержимым потоком.

– Что с тобой? – удивленно спросил мальчик. – Где Ривка? Я хочу к Ривке. И к маме.

– Сейчас, сейчас, – пробормотал Клаус, смаргивая слезы и прикидывая, как бы лучше взять мальца, чтобы он поменьше увидел. – Сейчас...

Он осторожно обернул мальчика занавеской и взял на руки, крепко прижимая к груди его голову.

– Пусти... – сказал тот без особой надежды. – Я хочу к маме.

– Сейчас... сейчас... – повторял Клаус, осторожно спускаясь по лестнице, выходя во двор и оттуда на улицу. – Сейчас...

По улице все так же бежали люди, размахивая оружием или таща награбленное. Рядом с ратушей, у синагоги все так же топталась в красноватой грязи жадная до крови толпа. Навстречу Клаусу вывернулся давешний толстяк. Глаза его светились воодушевлением.

– А, Фома, и ты здесь! – закричал он. – С праздничком избавления тебя! Погодь-погодь... что это ты тащишь? Уж не жиденка ли? Да ты что, сбрендил?

Клаус, не задумываясь, наклонился к сапогу. Некоторые решения он принимал на удивление быстро. Трактирщик даже не пикнул. Нож вошел ему прямо в сердце, в клюв нашитой на балахон голубки с оливковой ветвью. Не желая зря пугать пацана, Клаус попридержал тело – так, чтобы оно не рухнуло, а тихонько сползло по забору. Теперь паломник сидел на земле, словно отдыхая от трудов праведных. Балахон под колотой раной постепенно пропитывался кровью, и оттого топорно изго-

товленный голубь мира и его оливковая ветвь более походили на бешеную собаку, зажавшую в пасти окровавленную кость.

В каморке под южной башней Клаус посадил мальца на топчан и зажег лампу.

– Сегодня нельзя зажигать свет, – сказал мальчик. – Сегодня Йом-Кипур.

Клаус присел перед ним на корточки.

– Слушай внимательно, сынок. Теперь тебя зовут Клаус, как меня. Я буду Клаус Большой, а ты будешь Клаус Маленький. Понял?

Он снял с себя крестик и повесил его на детскую шею. Пацан покосился на новое украшение. Игра была для него незнакомой и потому интересной.

– Маленький – это не фамилия, – заметил он нравоучительно.

– Гм... резонно... – согласился Клаус. – Придется придумать и фамилию. Будешь... ээ-э... будешь Цвинер. Чем не германская фамилия? Клаус Цвинер! Звучит! А?

Малец звонко расхохотался, и Клаус вдруг понял, что счастлив.

ЛЕТО

24 июля 1855 года.

– А как продвигается ваше главное строительство, дорогой Эрни?

Прежде чем отвечать, Эрнст-Фридрих взглянул в выцветшие глаза своего собеседника, пытаясь угадать, спрашивает тот всерьез или шутит. В разговоре с графом это всегда представляло некоторую проблему.

– Я уже не знаю, какой из моих заказов главный, Ваше сиятельство. Не думаю, что Эрдрингенский замок или собор в Ремагене требуют меньших усилий, чем Дом.

Граф фон Вюрстенберг погрозил пальцем и расхохотался. «Значит, шутит», – с облегчением решил Эрнст и оказался прав.

– Нехорошо, друг мой, нехорошо... Королевский заказ всегда самый главный. Не так ли, Вернер?.. – заговорщицки подмигнув Эрнсту, старик затаил дыхание в ожидании ответа. Так замирает рыболов, уставившись на чуткий поплавок.

– Пфуй! – молодой человек в кресле у окна возмущенно пыхнул трубкой.

Клюнуло! Старый граф снова расхохотался. Жизненной энергии ему было не занимать.

– Хотите, я вам переведу это «пфуй», дорогой Эрни? – сказал он, отсмеявшись и вытирая слезы. – На первый взгляд обычное междометие, оно исполнено глубокого внутреннего смысла. На самом деле мой сын сказал следующее: «Какое значение имеют все эти короли, императоры и жалкая стая павлинов, именующих себя аристократией? Главное – это воля великой германской нации, ее будущее и свобода!» Не так ли, сынок?

– Так! Именно так! – раздраженно ответил Вернер с видом человека, который вынужден нарушить собственный неоднократный зарок не ввязываться в спор с закоренелым ретроградом. – И к несчастью, строительство Дома никак нельзя считать народным заказом. Это именно королевская прихоть, очередной берлинский каприз, призванный потешить прусскую манию величия!

В курительной кельнского дома фон Вюрстенбергов повисла неловкая тишина. При всем снисхождении к юношеской горячности молодого графа, Эрнст-Фридрих почувствовал себя не в своей тарелке. Чему их только учат там, в нынешних университетах? За обеденным столом еда и присутствие женщин еще несколько смягчали резкость высказываний, но теперь, когда мужчины перешли в библиотеку отдохнуть и выкурить по трубке, молодой Вюрстенберг не собирался стеснять себя в выражениях.

– Ну вот, видите? – старый хозяин с выражением комической беспомощности развел руками. – Этой молодежи только волю дай, и нигде камня на камне не останется.

Он повернулся к четвертому обитателю комнаты, молодому человеку в дешевом, но опрятном сюртуке. За все время обеда он не промолвил не слова, храня на лице неизменно скучающее выражение. Сейчас он со столь же отсутствующим видом стоял у окна, скрестив на груди руки и презрительно поглядывая на туповатый Рейн, который покорно тащил баржу за баржей мимо родового особняка Вюрстенбергов.

– Неужели и вы не поможете, господин ээ-э... – начал граф и замешкался, тщетно вызывая в памяти фамилию студенческого приятеля своего сына.

– Фриске! – вспыхнув, вставил Вернер. – Право, отец...

– Фриске! Фриске! Ради Бога, извините старика, – добродушно замахал руками хозяин. – Конечно, господин Фриске... как же это я забыл! Но вы ведь у нас впервые, что немного извиняет мою забывчивость, усугубленную к тому же старческим слабоумием.

Эрнст-Фридрих усмехнулся, уже чувствуя себя частично отмщенным. Остроте ума и памяти старого графа могли бы позавидовать даже молодые университетские профессора. Так что его забывчивость совершенно определенно была мнимой.

– Так вот, господин... ээ-э... Фриске, – продолжил старик, снова безжалостно затянув паузу перед именем сыновнего гостя. – Неужели и вы полагаете так же, как и этот якобинец? Взываю к вашей милосердной помощи, ибо, сдается мне, что ваше влияние на Вернера несоизмеримо с моим, ничтожным.

Молодой человек слегка дернул лбом, что, вероятно, означало поклон.

– В определенном смысле вы правы, Ваше сиятельство, – произнес он чистым и звучным голосом. – Я, как и вы, не могу полностью согласиться с Вернером.

– Скажите пожалуйста... – изумился фон Вюрстенберг, оглядываясь на Эрнста. – Вы слышали, Эрни? В определенном смысле... И как же можно определить этот смысл, господин... ээ-э...

– Очень просто, Ваше сиятельство, – бесцеремонно перебил Фриске. – С одной стороны, Вернер абсолютно прав, утверждая приоритет народа, в данном случае – германской нации, перед любой другой институцией, включая даже и короля. Но с другой стороны, национальная особенность немцев заключается в непререкаемом уважении к власти, даже когда она поступает неправильно или несправедливо. Мадам де Сталь как-то выразилась на эту тему с присущими ей остротой и точностью: «Немцы энергично льстят и смело подчиняются».

Старый граф одобрительно крякнул. Этот голодранец был явно не прост.

– Но острота и точность в деталях, столь свойственные французскому уму, не могут заменить глубины анализа, – продолжал Фриске. – Поверхностному французу никогда не понять причины и смысла немецкого подчинения. Возможно, именно поэтому Лютер появился здесь, а не к западу от Рейна. Немецкая лютеранская мораль основана на исполнении долга. Немец исполняет долг не потому, что в настоящем или в будущем его ожидает за это вечное блаженство. Он не делает это «за что-то». Он вообще не ожидает награды, подобно тому, как раб ожидает миску супа. Немецкое уважение к долгу, к власти, к порядку – результат нашего собственного свободного выбора. И в этом заключается истинное величие и благородство немецкой души. В определенном смысле... – Фриске насмешливо покосился на графа. – ...в определенном... ээ-э... смысле немец сам себе Бог, сам себе Судья.

– Прекрасно сказано! – воскликнул Вернер, но Фриске остановил его почти повелительным жестом.

– Возвращаясь к моему несогласию с Вернером, я бы сформулировал его так: пусть даже королевское решение идет вразрез с истинным благом германского народа, мы, как настоящие немцы, обязаны уважать это решение в соответствии с его законным приоритетом. Так что, уважаемый господин Цвирнер, вашим главным заказом, при всем моем уважении к хозяину этого дома, является именно королевский.

Закончив свою речь, Фриске слегка поклонился и снова отвернулся к окну. «Ну?! Каково? – говорил устремленный на отца гордый взгляд Вернера. – Теперь-то уж ты запомнишь его имя...»

Но старый хитрец немедленно запыхтел трубкой, уходя от ответа при помощи густой дымовой завесы.

Зато Эрнст-Фридрих скептически хмыкнул.

– Покорнейше благодарю вас, господин Фриске, за великодушное позволение исполнить королевский заказ, – произнес он с нескрываемым сарказмом. – Ваши рассуждения об особенностях немецкой души небезынтересны и, возможно, даже имеют какие-то основания. Но при чем тут, проект восстановления и достройки Дома? Каким, скажите на милость, образом завершение этого грандиозного собора может идти, как вы выразились, вразрез с истинным благом германского народа?

Фриске тонко улыбнулся.

– Вы прекрасный архитектор, господин Цвирнер. Жаль, что ваш несомненный талант, вместо того, чтобы приносить пользу отечеству на славной ниве настоящего искусства, занят реанимацией образцов варварства и вырождения.

Граф фон Вюрстенберг возмущенно хлопнул себя по колену.

– Вы забываетесь, молодой человек! Как вы смеете говорить такие дерзости одному из лучших архитекторов Европы? Да вы знаете, кто перед вами стоит?

– Нет-нет, Ваше сиятельство, подождите... – остановил хозяина Эрнст-Фридрих. Щеки его пылали. – Это даже интересно. Я не слишком много понимаю в философской заумной болтовне об отличии французского ума от германского. Но последнее замечание господина Фриске относится к области, которая занимает вашего покорного слугу вот уже целых тридцать пять лет. Не соблаговолите ли объяснить, милостивый государь, что вы имеете в виду под варварством и вырождением?

– Вы принимаете мои слова слишком близко к сердцу, – спокойно отвечал Фриске, прислоняясь к стене и складывая руки на груди. – Я сожалею, что начал этот разговор. Извините, господин Цвирнер.

– Господа, господа... – примиряюще заговорил Вернер, выходя на середину комнаты. – В самом деле... незачем ссориться по пустякам. Да и разговор этот, собственно, начал я, а не Фриске... Господин Цвирнер, ради Бога, не обижайтесь. Ни у кого и в мыслях не было...

– Не было? – перебил его Цвирнер, тяжело дыша. – Как бы не так! Я слышу эти идиотские разговоры с тех самых пор, как я начал серьезно заниматься архитектурой. Я говорю «идиотские», потому что никто из этих господ-теоретиков никогда так и не смог связно объяснить мне, отчего они называют готику «варварством», а классицизм – «настоящим искусством». Кельнский Дом является величайшим достижением германского строительного гения, намного превзошедшим французские и английские образцы. Утверждая это, я знаю, о чем говорю, и могу доказать это фактами, хотя и не уверен, что кто-нибудь здесь сможет понять мою профессиональную лексику.

– Эрни, голубчик, – неловко промолвил старый граф. – Ну что вы, что вы... Вернер, господин Фриске, немедленно извинитесь.

– С удовольствием, – с иронической безропотностью произнес Фриске, кланяясь ненамного глубже прежнего. – Я, между прочим, уже извинился перед господином Цвирнером, но готов повторить свои извинения столько раз, сколько понадобится.

– Ну уж нет! – Эрнст-Фридрих сделал решительный жест, словно отметая все возможные возражения. – Все-таки, если позволите, я хотел бы получить объяснения. Сдается мне, что на этот раз передо мной стоит человек, умеющий формулировать... по крайней мере, там, где это касается ни к чему не обя-

зывающей болтовни. Кто знает, возможно, способности господина Фриске простираются и на более конкретные предметы?

Граф огорченно покачал головой, Вернер ответил ему столь же расстроенным взглядом. Никто из хозяев не ожидал, что разговор зайдет настолько далеко. На лице у Фриске застыла неопределенная улыбка.

– Вы зря стараетесь меня оскорбить, господин Цвирнер, – сказал он. – Я гожусь вам в сыновья и, поверьте, отношусь с глубочайшим почтением к вашему архитектурному таланту. Видимо, сам того не желая, я наступил на вашу больную мозоль. Это случается, но судите сами, есть ли в том моя вина?

– Конечно, дядя Эрнст! – горячо воскликнул Вернер. – Фриске и мухи не обидит.

– А чтобы доказать, что за моими словами кроется истинное убеждение, а вовсе не стремление оскорбить, – продолжил Фриске, – я теперь просто обязан объяснить вам свою позицию. Готовы ли вы выслушать меня?

Цвирнер отчужденно кивнул. Он уже немного успокоился.

– Итак... – Фриске поднял палец. – Отчего я считаю готику вырождением? Скажите мне, господа: разве не напрямую связано возникновение этого архитектурного стиля с самыми темными страницами в истории христианства? Разве не отмечены те годы непрекращающимся стремлением простых верующих вывести религию из-под пяты поразившего ее иудейского влияния? Католический Рим объявлял эти народные движения ересью; одни за другими гибли на кострах альбигойцы, беггарды, фратичелли, флагелланты... Они гибли, но их жертва не прошла даром. Настоящее христианство накапливало силу, покуда Мартин Лютер не решил окончательно исход этой борьбы. Сейчас, в свете последних исследований об арийском происхождении германцев, суть этой борьбы стала намного яснее, чем тогда. Сейчас, когда мы повторяем вслед за великим Вагнером, что христианство было лишь ответвлением благородного буддизма, мы можем доказать это с фактами в руках. Но тогда... что могли противопоставить тогда несчастные флагелланты мощной машине еврействующего папства? Только свою интуицию, только голос своей арийской крови, взывающей к свободе из глубины артерий, изо всех своих сил отторгающей темное и чуждое еврейское начало!

– Эк куда хватил! – фыркнул граф. – Во-первых, господин Фриске, советую вам не забывать, что хозяин этого дома – добрый католик. Как бы вам, с вашим острым язычком, не порезать заодно и меня. А во-вторых, еврействующее папство – это уж совсем нонсенс!

– Нонсенс? – переспросил Фриске. – Отнюдь. Папы и архиепископы постоянно защищали евреев, еще со времен гностиков. Это исторический факт, который невозможно оспаривать. Но вернемся к готике. Что могло противопоставить папство тому неудержимому низовому стремлению к другой религии, про-

стой и ясной, возвращающей в центр мироздания самого человека, его душу, его долг и добродетель? Что? – он выдержал многозначительную паузу. – Храмы! Латинское схоластическое богослужение и храмы – огромные, подавляющие, утверждающие господство непонятного, невидимого, еврейского Бога. Небесный Иерусалим!

Фриске сморщился, как от зубной боли.

– Это была самая длинная европейская война, война за истинное христианство. С одной стороны – добрые христиане с арийской кровью и верой в Христа и в свою правду; с другой – папство со своей готикой, своим еврейским Богом и своими евреями. Если уж мы говорим о Доме... посмотрите: когда было начато строительство?

– В тысяча двести сорок восьмом году, – глухо ответил Цвирнер.

– Вот именно! – подхватил Фриске. – Середина тринадцатого века, время расцвета евреев в Кельне! А когда оно было практически прекращено? Через сто лет, после того, как всех евреев Кельна ликвидировали во время чумы! Разве не так, господин Цвирнер?

– Так.

– Вот видите! Но это живучий народец... как ни режь, ему все нипочем. Трудно себе представить, но они вернулись в город! А вместе с ними вернулось и строительство – ни шатко ни валко, но оно продолжалось! А теперь скажите нам, дорогой господин Цвирнер, когда стройка прекратилась окончательно?

– Строительство было окончательно заморожено в тысяча четыреста пятидесятом году.

– О! Но вам, видимо, будет интересно узнать, что совсем незадолго до этого евреи были окончательно изгнаны из города решением городского Совета. И с тех пор в течение четырехсот лет ни один камень не был положен в стены Дома! Ни один! И – какое совпадение! – все эти четыреста лет ни один еврей не вступал на святую землю Кельна! – Фриске снова сделал значительную паузу и спокойно добавил: – Полагаю, дальнейшее ясно без дополнительных объяснений.

– Конечно! – воскликнул Вернер. – Проклятые французы захватили город шестьдесят лет тому назад и сразу отменили запрет на еврейскую иммиграцию. А потом пруссаки оставили это решение в силе. И вот он результат: сейчас в Кельне уже несколько тысяч евреев. Что же касается Дома...

Он смущенно взглянул на Цвирнера.

– Гм... – граф фон Вюрстенберг, посмеиваясь, развел руками. – Дорогой Эрни, согласитесь, это и в самом деле чрезвычайно забавно. Связь, хоть, видимо, и случайна, но очевидна: нет евреев – нет строительства, есть евреи – есть строительство.

Эрнст-Фридрих сердито пожал плечами.

– Вот это я и имел в виду, когда говорил о беспредметной болтовне. Разве вы не видите, Ваше сиятельство, что рассуж-

дения господина Фриске более чем притянуты за уши? Дом начал строиться как достойное вместилище для мощей Святых волхвов, привезенных в Кельн известным Райнальдом фон Дасселем, канцлером Барбароссы. Скорее всего, горожане особо не представляли себе, на какие расходы они идут. Так что нет ничего удивительного, что в дальнейшем Кельн испытывал постоянные материальные затруднения. Добавьте к этому разруху, войны, эпидемии, Реформацию... все это объясняет перипетии со строительством намного логичнее и проще, чем вычурная мистика господина Фриске. А уж связывать готику как архитектурный стиль с евреями – это и вовсе горячечный бред.

– Отчего это вас так удивляет? – со смехом заметил старый граф. – В последнее время евреи в моде. Вот и мой сын чуть что, так сразу принимается обвинять во всем этих мошенников.

Цвирнер усмехнулся.

– Как вам известно, Ваше сиятельство, я силезский немец. Если выражаться в терминах господина Фриске, чистокровный ариец. Мне не за что любить евреев. Честно говоря, я с ними почти не сталкиваюсь. Может быть, оттого эта нынешняя мода кажется мне нелепой. Вы делаете слишком много чести этим низменным торгашам, приписывая им чуть ли не дьявольские силы. Мое чувство пропорции просто корежится от подобного вопиющего нарушения логики.

Фриске покачал головой.

– Не стану оспаривать ваше прославленное чувство пропорции, господин Цвирнер. В конце концов, кто может апеллировать к нему, как не выдающийся архитектор? Говорю это без всякой лести.

Цвирнер сдержанно поклонился. Конфликт явно затихал в липкой паутине слов, подобно отчаявшейся вырваться на свободу мухе.

– Тем не менее, – продолжил Фриске, – я не могу не указать на другие авторитеты, не всегда архитектурные, которые отнюдь не разделяют вашу беззаботность в отношении евреев. Взять хоть вашего заказчика, короля. Отчего он так носится с идеей восстановления гетто? Оттого, что видит в еврейской эмансипации опасность, которая, по его же собственному выражению, «подрубает немецкие корни». При этом особенно Его величество боится так называемых «невидимых евреев», то есть таких, которые маскируются под добропорядочных немцев, ходят в кирху и дают своим детям немецкие имена. Пойдем дальше. Кант, как и Ваше сиятельство, именовал евреев «народом мошенников», но при этом имел в виду мошенничество намного более страшное, чем обман бедного крестьянина бессовестным ростовщиком. Они несут в наш мир разъедающую язву безответственности. Их мерзкий и мстительный Бог отрицает величие человеческого духа. Гегель как-то заметил, что бесконечный дух не найдет себе места в тайниках еврей-

ской души, так же, как лев не может поместиться в ореховой скорлупе. Поэтому он называл их народом рабов. А Фихте утверждал, что предоставить евреям гражданские права возможно лишь при одном условии: в одну ночь отрубить им всем голову и приставить другую, в которой не будет ни одной иудейской идеи. Наконец, великий Гете, описывая свою модель идеального города, прямо говорил: «Мы не потерпим среди нас ни одного еврея». Вы можете не доверять безвестному Фриске, но, надеюсь, не откажете в определенных мыслительных способностях упомянутым мною господам?

Вернер захлопал в ладоши.

– Иногда я поражаюсь твоей удивительной памяти, – сказал он восхищенно. – Ты прямо набит цитатами.

Эрнст-Фридрих смущенно откашлялся. Компания великих имен, которую Фриске вытащил в решительный момент из рукава, как шулер – четыре туза, действительно впечатляла.

– Гм... возможно, вы правы. Как я уже заметил, мой взгляд на вещи полностью обусловлен профессией. Я предпочитаю думать языком планов, фасадов и перекрытий.

Граф отложил трубку и встал.

– Что ж, молодые люди, – проговорил он с лукавой улыбкой. – Благодарю вас за интересную беседу. Нам с господином Цвирнером надо еще обсудить некоторые детали относительно замка в Эрдрингене. Надеюсь, что тамошние готические башни не будут обвинены в подрыве арийского духа и германского величия. Не так ли, дорогой Эрни?

Все облегченно расхохотались. Инцидент был исчерпан.

Выйдя от графа, Эрнст-Фридрих решил прогуляться. Вечер стоял чудесный; дневная июльская жара спала, и в воздухе чувствовалась удивительная свежесть. Даже уставшая от зноя зелень как-то воспряла. Над Рейном носились бодрые чайки; прозрачная волна играла разноцветным галечником на берегу.

«Какое чудо... – думал архитектор, спускаясь к воде. – Покой и равновесие природы. Вот уж где действительно все пропорционально. Ну разве не смешны наши глупые склоки перед лицом этой спокойной и мощной красоты? Поставить заносчивого голодранца Фриске рядом с добрым и медлительным великаном Рейном... пусть-ка попробует тогда порассуждать о величии человеческого духа. Тьфу! Наглый комар, жужжащий в душных гостиных...»

Но что лукавить... как бы ничтожен ни был этот комар, он ухитрился-таки вывести Эрнста-Фридриха из равновесия. Что он там вякнул про «больную мозоль»? – «Наступил... сам того не желая...» Обиднее всего, что, желая или не желая, но подлец оказался прав: эта тема действительно являлась больной для знаменитого королевского архитектора.

С самого раннего детства, с тех пор, как Эрнст-Фридрих помнил себя, он твердо знал, что будет строителем – архитек-

тором, мастером, бригадиром, как все мужчины в длинном роду силезских Цвирнеров, корни которого уходили в темноту средневековья и терялись там, где-то между Тридцатилетней войной и Реформацией. Он учился в Бреслау и Берлине, работал у маститого Шинкеля и все время слышал только одно: классицизм, классицизм, классицизм. Классицизм и эллинская гармония; классицизм и героика римского характера; классицизм и титаны Возрождения; классицизм и высоты германского духа. Он просто не знал ничего другого, вместе со всеми смеясь над бессмысленностью затейливых французских пинаклей и нелепыми подпорками контрфорсов. В самом деле, чего стоит архитектура, которая нуждается в укосинах для того, чтобы выдержать свод?

Но потом мастерская Шинкеля получила заказ на восстановление и достройку разваливающегося кельнского Дома, и молодой силезец перестал смеяться. Наоборот, раз услышав божественную музыку устремленных ввысь колонн и шпилей, он уже не понимал, как мог восхищаться грубой приземистостью классицизма. Поездки в Реймс и в Амьен довершили переворот. Коллеги пожимали плечами, слушая его восторженные отзывы. Тогда-то он впервые и столкнулся с презрительным клеймом «архитектура вырождения» по отношению к своей новой любви – готике. Поразительно, но с той поры не проходило и месяца, чтобы какой-нибудь идиот не повторял эту чушь в присутствии Эрнста-Фридриха. «Вырождение против Возрождения»... безмозглые бараны! Немудрено, что к пятидесяти годам эта тема превратилась у него в больную мозоль.

Поначалу неприятие готики со стороны немецких коллег Цвирнера еще можно было объяснить ненавистью к французам. Но услышанное сегодня и вовсе не лезло ни в какие ворота! Еврейская готика! Надо же такое придумать! Небесный Иерусалим! Полнейшая нелепица!

Эрнст-Фридрих фыркнул и покрутил головой. Прогулка успокоила архитектора, но воспоминание о безапелляционном идиотизме Фриске не могло заново не пробудить его возмущения. Он сильно пнул носком ботинка круглый камешек, и тот, удивляясь необъяснимой людской агрессивности, звучно шлепнулся в воду в нескольких метрах от берега. Небесный Иерусалим! Это ж надо такое сморозить...

Неожиданное воспоминание вдруг кольнуло его в сердце – настолько сильно и остро, что Эрнст-Фридрих остановился, как вкопанный. Там, на чертежах... Господи, да как же это?.. Цвирнер снял пенсне и зачем-то потер лоб и глаза, как будто рассчитывал тем самым стереть поразительную картину, столь некстати всплывшую сейчас в его памяти. Перед мысленным взором архитектора лежал лист оригинальных чертежей кельнского Дома с пометками самого Герхарда фон Риле, его великого автора. Чертеж изображал завершение колонн центрального нефа, вернее, не завершение, а плавное перетекание вер-

тикалей в стрельчатые арки и нервюры перекрытий. Каждый раз, глядя на это чудо совершенной и в то же время бесконечной гармонии, Эрнст-Фридрих испытывал непреходящее восхищение. Но теперь не это занимало его во вдоль и поперек пересмотренном, заученном наизусть чертеже. Его занимало совсем другое: сбоку на листе знакомым почерком Мастера Герхарда были написаны два слова: «Небесный Иерусалим».

Он надел пенсне, снова снял, протер и снова надел. Сомнений быть не могло. Эти два слова стояли там с самого начала, хотя и никогда не привлекали внимания ввиду своей явной неуместности на строительном чертеже. Ну при чем тут Иерусалим, да еще и небесный? Неудивительно, что Эрнст-Фридрих, да и любой другой относились к ним, как к посторонней детали, типа рваного края или чернильной кляксы. Сам факт находки оригинальных чертежей в Дармштадте в 1814 году представлялся слишком неимоверным чудом, чтобы обращать внимание на такие мелочи!

Все это так... но теперь... Теперь, после разговора у графа невинная надпись неожиданно приобретала совсем другое, грозное и двусмысленное значение. «Да что за чепуха? – одернул сам себя Цвирнер. – Какое такое значение? Что ты несешь?» Но ноги уже сами несли его к Дому. Он чувствовал, что просто обязан взглянуть на него новыми глазами... почему «новыми», что за чушь?.. Ладно, не «новыми», просто взглянуть и успокоиться, вернуть себе прежние убежденность и равновесие. Сначала он быстро шел, затем сбился на бег, но все равно темная громада собора приближалась чересчур медленно. Эрнст-Фридрих уже не уговаривал и не одергивал себя. Им овладела необъяснимая паника, как будто вся его жизнь, нет, больше – весь смысл его существования зависел от того, что он увидит, когда, наконец, добежит.

Подъем на холм с берега дался ему особенно тяжело. Пот заливал глаза, дыхание сбилось; Эрнст-Фридрих несся, широко разинув рот и не обращая внимания на изумленных прохожих. Обогнув абсиду, он перевалился через ограждение, оттолкнул остолбеневшего сторожа и вбежал в собор через недостроенный южный портал, отшвыривая доски, опрокидывая ведра и поминутно натыкаясь на деревянные стойки лесов. Трансепт влился в центральный неф; Эрнст-Фридрих не глядя повернул влево, пробежал еще несколько метров и остановился, побычьи наклонив голову, тяжело дыша и уставившись в серые плиты пола.

Вот и все. Капля пота скатилась на серое и расплылась безобразной кляксой, за ней другая. Эрнст-Фридрих вытер лицо рукавом сюртука. Вот и все. Сейчас он поднимет глаза и увидит... что он увидит? Неужели всю свою жизнь он расхваливал платье голого короля? Неужели он посвятил всего себя обману, фальшивке, ложным и лживым ценностям? Неужели заплутал, сбился с верного пути, упрямо и надменно игнорируя сове-

ты друзей, которые тщетно пытались вернуть его к истине? Неужели?..

Эрнст-Фридрих повернулся к хору, с замирающим сердцем посмотрел вверх и зажмурился, не в силах вынести увиденного. Прямо в лицо ему, отражаясь от натянутых парусов перекрытий, бил торжествующий световой ветер. Тонкие линии колонн безудержно стремились вверх, как стройные мачты летящего ввысь корабля, невыносимо высокие в своей удивительной нескончаемости, а крутые дуги нервюр играли в скакалки с пьяной от света тенью. Даже воздух, казалось, трепетал, натянутый напряженной струной от пола до верхнего, парящего в облаках замкового камня.

И бедное сердце Эрнста-Фридриха зазвенело, затрепетало в унисон общей музыке камня и света, потому что иначе ему, сердцу, было бы просто невозможно уцелеть, не разорваться. Он вдруг понял, что плачет. Он вдруг понял, что видит в точности то, что видел Мастер Герхард, с той только разницей, что Мастер Герхард видел все это в своем восторженном воображении, в чертежах, во внезапном озарении, в то время как ему, Мастеру Эрнсту-Фридриху, дана бесценная привилегия увидеть то же самое чудо наяву, в живом, светящемся камне.

– Небесный Иерусалим... – прошептал архитектор, приоткрывая глаза маленькими щелочками, чтобы не ослепнуть от невыносимой яркости чуда. – Вот что он имел в виду. Небесный Иерусалим...

Цвирнер повернулся и тихо пошел прочь, словно боясь расплескать и без того переполненную душу. Он понимал, что с ним произошло нечто удивительное, из ряда вон выходящее, и теперь пытался осознать – что же именно? Эрнст-Фридрих никогда не замечал за собой склонности к религиозной экзальтации, принципиально практикуя трезвый, скептический взгляд на вещи. Собор он видел многократно и снаружи, и изнутри... видел сотни, возможно, тысячи раз. Да что там видел! – Он его строил! Он знал его назубок, на ощупь – каждый его камень, каждое стеклышко витражей! Отчего же тогда именно сегодня он испытал такое пронзительное потрясение, такую остроту ощущений?

Возможно, этот наглец Фриске настолько вывел его из себя? Эрнст-Фридрих вспомнил состояние, в котором он находился, когда вбежал в Дом, свой безумный бег по набережной, бешеное колочение сердца. Он был в натуральной панике, вот что. Его душу раздирали сомнения в истинности его профессиональной репутации, в правильности прожитой жизни, сомнения тем более мучительные, что сейчас, в пятьдесят четыре года, поздно что-либо поправлять или начинать сначала. Он жутко боялся, стоя там, в лесу колонн центрального нефа и не осмеливаясь поднять глаза. Конечно, он отчаянно надеялся на благоприятный исход испытания, но одновременно и чувствовал готовность тут же, на месте, признать свое полное ничтожество. Он был готов принять любой приговор... Но чей? Какого судьи? – Неважно!

Важна именно готовность. Важно именно это самоотрицание, осознание собственной малости, вторичности, подчиненности... именно это состояние выбросило его душу из толстой скорлупы самодовольства, именно оно помогло ему увидеть наконец то, по чему прежде он только проскальзывал глазами. Увидеть то, что Мастер Герхард называл Небесным Иерусалимом. Унизиться, чтобы взлететь – вот она, истинная суть настоящей готики! Эрнст-Фридрих усмехнулся. Людям типа Фриске с их безапелляционной уверенностью в величии человеческого духа можно не входить в этот собор – они все равно ничего не поймут. Ничего.

Но разве не смешно это их толстозадое самолюбование? Разве не похожи они на навозного жука, наивно убежденного в том, что весь мир ограничивается кучкой коровьего навоза? Далеко ли видят их подслеповатые глаза? На многое ли способны их слабые лапки, крошечная капля их студенистого мозга? Величие! Боже милосердный! Они так свято верят в собственное господство над своим навозным мирком, что даже хрусткая смерть под коровьим копытом, которое время от времени по чистой случайности наступает на них, не в состоянии переубедить этих идиотов. Они...

Эрнст-Фридрих снова усмехнулся. Как это знаменательно! Он уже говорит «они», помещая Фриске по ту сторону невидимого барьера. Невидимый барьер. Если уж зашла речь о невидимости, то наглец Фриске наверняка назвал бы его за подобные мысли «невидимым евреем». Как это он выразился давеча? – «Невидимые евреи, такие, которые маскируются под добропорядочных немцев, ходят в кирху и дают своим детям немецкие имена». Экая чушь! Тьфу! Ну при чем тут еврейство?.. Это он – невидимый еврей?! Он, потомок славного рода силезских мастеров?! – Тьфу!..

И вместе с тем, неразумно давать повод для дурацких обвинений. Субъекты типа Фриске нынче определяют слишком многое. Еще полвека назад привратник графа фон Вюрстенберга не пустил бы подобного проходимца дальше кухни. А теперь... тьфу! Надо быть осторожнее. Нельзя позволить мошенникам связать дело твоей жизни с проклятым еврейством. Прилепят ярлык – поди потом отдери...

Легко представить, какую гримасу скорчил бы Фриске, а вслед за ним и его одноклассник Вернер фон Вюрстенберг, если бы они узнали, что Цвирнеру предложено взяться за строительство кельнской синагоги! Вот уж связь так связь, крепче не придумаешь... Слава Богу, он пока не дал определенного ответа, хотя деньги были обещаны немалые. Около двух месяцев назад к Эрнсту-Фридриху заявился богатый торговец тканями с Клокенгассе... как его?.. Абрахам?.. да-да, Абрахам Нер:

«Не окажет ли великий архитектор великую честь возрождающейся еврейской общине города?»

«Каким образом, господин Нер?»

«Мы планируем выстроить на Клокенгассе большую, лучшую в Европе синагогу, господин Цвирнер. Участок уже есть, совсем рядом с моим домом, и даже получено высочайшее разрешение. Не соблаговолите ли...»

И так далее... Он назвал сумму сметы – огромную сумму. На нее можно было выстроить две огромные синагоги... Он назвал сумму гонорара: так много Цвирнеру еще никто не платил. Он назвал главного донатора – банковский дом Оппенгейма, и это говорило само за себя. Только безумец отказался бы от такого заказа. Но что-то удержало Эрнста-Фридриха от немедленного ответа. Он сказал, что подумает. И слава Богу! Не исключено, что в нынешней общественной атмосфере он мог бы лишиться из-за этого заказа всех своих клиентов. Немедленно отказаться, немедленно!

– Поберегись! – конная пролетка пронеслась мимо, едва не сбив его с ног. Цвирнер огляделся. Он стоял прямо посреди улицы, вновь и вновь повторяя вслух: «Немедленно, немедленно!» Черт подери, ну и картинку же он, наверное, представляет сейчас со стороны! Скорее домой и в постель... но где это он находится? Цвирнер остановил прохожего и спросил, каким путем можно быстрее вернуться к Дому. Оттуда было всего два шага до его дома.

– Это просто, господин, – отвечал ему услужливый малый. – Продолжаете идти по Клокенгассе, затем поворачиваете...

Но Цвирнер не дал ему закончить.

– Эта улица – Клокенгассе? – спросил он в сильнейшем волнении. – А не знаете ли вы дома господина Нера?

– Да кто ж его не знает? – горожанин засмеялся. – Вот же он, на углу!

«Не иначе как судьба, – думал Эрнст-Фридрих, решительно направляясь к богатому особняку. – Оно и к лучшему. Чем быстрее закончу дело, тем надежнее. Личной беседой, без всяких писем и посыльных. Меньше потом будет кривотолков».

Дверь открыла удивленная служанка.

– К господину Абрахаму Неру, по делу, срочно... – внушительно произнес Эрнст-Фридрих. – Архитектор Цвирнер.

В просторной гостиной не было никого. Он даже не стал садиться: дело не должно было занять более двух минут. Поблагодарить за оказанную честь и извиниться. Не могу. Загружен предыдущими обязательствами по самое горло...

Вышел хозяин в длинной накидке и бархатном берете. Вид у него почему-то был еще более удивленный, чем у служанки. «Что такое? – раздраженно подумал Цвирнер. – Время еще не позднее. Или они вообще гостей не принимают?»

– Извините, если не ко времени, – неловко сказал он после первых приветствий. – Я пришел дать вам свой окончательный ответ по поводу строительства.

– Ничего-ничего, – улыбнулся Абрахам Нер. – Честно говоря, время для дел действительно не самое подходящее, но я с удовольствием вас выслушаю.

– Я хотел бы поблагодарить вас за оказанную мне честь... – начал Цвирнер, опустив глаза и вдруг замолчал, уткнувшись взглядом в предмет на ковре. – Что это у вас?

Он наклонился и поднял с пола серебряный девятирогий подсвечник, чем-то похожий на ветвистую оленью голову. Точно такой же стоял у него дома. Это была реликвия рода Цвирнеров, неизвестно как и когда оказавшаяся в семье. Тем не менее, обстоятельства ее появления были, по всей вероятности, необычайно значимы, если судить по трепету, с которым традиционно относились Цвирнеры к этому подсвечнику.

– Ах! – воскликнул хозяин. – Это Цви, маленький проказник. Играет даже в такой день. Сегодня у евреев траур по разрушению Храма, господин Цвирнер.

– Но откуда? Где вы взяли этот подсвечник?

– Это называется ханукия, господин Цвирнер, – вежливо произнес хозяин с легким оттенком недоумения. – Видите ли, ханука – любимый детский праздник. Обычно детям дарят много подарков. А в нашей семье есть еще один обычай, который вам, возможно, покажется странным. Старшим мальчикам дают имя Цви и дарят именно такую ханукию. Дело в том, что «цви» означает «олень», а у нее такая форма, сами видите... Цви – олень, а «нер» – свеча, вместе получается такая вот ханукия. А почему вы спрашиваете?

– Скажите... – сказал Цвирнер сипло и откашлялся. – Скажите... это значит, что вы передаете подсвечник по наследству, от отца к сыну?

– Большей частью. Но случается, что ханукия пропадает... – Нер печально покачал головой. – Как ни береги, а знаете... за тысячи лет чего не случается. Кроме того, иногда в семье может быть несколько мальчиков по имени Цви. Тогда мы отливаем новую ханукию. У нас есть литейная форма, господин Цвирнер. Думаю, ей очень много лет. Очень.

Эрнст-Фридрих провел рукой по краю подсвечника. Его пальцы помнили наизусть эти ямки и бугорки... Цви Нер. Цвирнер. Невидимые евреи. Он кивнул самому себе: «Ну, скажи это».

– Я возьмусь за строительство синагоги, господин Нер, – сказал он вслух. – Общий эскиз будет представлен на ваше рассмотрение месяца через три. Относительно рабочих чертежей поговорим позднее.

У дверей он обернулся.

– Скажите, господин Нер: а вы не боитесь, что пропадет форма?

– Нет, – твердо ответил Абрахам Нер, кельнский торговец тканями. – Нет, господин Цвирнер. Форма не может пропасть, никогда. Бог не допустит.

ВЕСНА

27 апреля 2005 года.

– А на этом месте стояла большая синагога города Кельна, – тетка-экскурсоводша поперхнулась словами, отхлебнула воды из бутылочки и продолжила. – Она была построена в 1857-1861 годах по проекту знаменитого архитектора Эрнста-Фридриха Цвирнера, того самого, которому выпала честь достройки великого кельнского Дома. Синагога оказалась его последней работой. Цвирнер умер практически одновременно с ее завершением.

Цвика зевнул. Совсем задолбала его эта тетка. Бубнит на одной ноте, уши вянут. И сердце тоже как-то недовольно екает. Немудрено... загоняли беготней... из города в город, из города в город, тьфу! Чтоб он еще раз поехал с группой... польстился на горящий тур, вот теперь и страдай. Хотя, если разобраться, то не все так просто. Наверное, сюда, в Германию, лучше все-таки с группой. Во всяком случае, в первый раз.

– Кровля синагоги была крыта толстой листовой медью... – частила экскурсоводша. – Во время Первой Мировой войны еврейская община пожертвовала весь металл на нужды вооружений. Ранним утром десятого ноября 1938 года, во время погромов Хрустальной ночи, здание было разгромлено, а затем и снесено до основания. Позднее участок перешел в собственность городского Совета, который выстроил здесь прекрасный оперный театр, открытый в 1957 году.

Вокруг, заглушая теткин бубнеж, шумела площадь, полная веселым, праздным, по-весеннему бодрым народом. Цвика присмотрелся к указателю: Оффенбахплац. Опера, понятное дело. Хотя Оффенбах, вроде бы, оперетты писал? Чего ж тогда? Или это они в память снесенной синагоги? Пусть, мол, хоть что-то еврейское останется... Цвика усмехнулся. Да кому она, на хрен, сдалась, ваша трусливая память? Назвали бы уж честно, по-оперному, по-германски: Вагнерплац! И ша-а-агом марш! По плацу, блин, по плацу, под музыку Вагнера! Ать-два, ать-два!

Экскурсоводша завершила свой речитатив и немедленно устремилась вниз по улице, держа высоко над головой сложенный зонтик, подобно тому, как пастух поднимает свой кнут для вящей ориентации стада. Куда теперь? Цвика, вздыхая, двинулся вместе со всеми. Сердце опять дернулось в груди, стукнуло сильно и больно, отдаваясь в плече, а потом спряталось, испугавшись своей неожиданной выходки. Но Цвика глотнул холодного вкусного воздуха, и сердце снова объявилось, виновато частя, словно отрабатывая пропущенные такты. То-то же. Вот вернемся, надо будет показаться костоправам... или как они там называются?.. мартирологи?.. спелеологи?.. кардиологи? Никогда у него со здоровьем проблем не было, а тут, в Германии, вдруг началось, ни с того, ни с сего. Ничего удиви-

тельного, при такой-то гонке... Хорошо хоть сегодня обещали несколько свободных часов... когда же? Он уже давно откололся бы от группы, если бы не одно обстоятельство: коварная групповодительница наотрез отказывалась заранее сообщить о времени и месте встречи. Терпите, мол, до последнего. За эту вопиющую безжалостность Цвика уже окрестил ее про себя «группенфюрером» – согласно местному колориту.

Где-то здесь когда-то стоял дом, в котором родился дед. Странно представить себе, что здесь же мог бы родиться и он, Цвика. Но он, слава Богу, родился в Нагарии, приморском городке, именуемом в Израиле «северным», несмотря на то, что температура там даже зимой редко опускается ниже десяти градусов. А этих «германских радостей» ему и на фиг не надо. Так обычно говаривал дед, когда в семье поднимался вопрос о покупке немецкого автомобиля, телевизора, стиральной машины или даже просто конфет или пива: «нам этих германских радостей и на фиг не надо». Старик физически не переносил никаких вещей германского производства.

«У нас в доме и так переизбыток немецких продуктов... – говорил дед, поворачивая руку так, что становился виден синий номер. И многозначительно добавлял: – Пока. Но скоро этого не станет, вот тогда и покупайте».

Как в воду глядел. Дед умер пять лет тому назад, и уже на втором году после его смерти Цвика купил «опель». А что делать, если скидку дали фантастическую? Да и машина прекрасная... С одной стороны, деда можно было понять, но с другой – жизнь-то продолжается, правда? Продолжается. Вот живой тому пример: он, Цвика, здесь, в Кельне, где когда-то стоял дедов дом. Дом, из восьми обитателей которого уцелел только сам дед, да его лагерный номер. Поездка в Германию всегда оставалась для них табу. К своим тридцати восьми годам Цвика изъездил полмира, а уж Европу облазил всю, из конца в конец. Всю, кроме Германии. А тут еще Мири пристала: поедем да поедем... красивая страна и знакомые у нее какие-то во Франкфурте... то да се... Да и у самого Цвики имелся некоторый личный интерес. Дело в том, что имя он получил в честь своего кельнского прадеда, дедова отца. Того тоже звали Цви Нер, и этот, в общем, малозначащий факт отчего-то пробуждал в нем странное любопытство... его зачем-то тянуло́ туда, в Кельн – увидеть, если не дом, то хотя бы место.

Так что Цвика поупирался-поупирался и сдался. Вот и «опель», опять же, помог решиться. Нелогично ведь получается: если уж «опель», то почему бы уже тогда и не съездить? Но разница, что ни говори, была, и это понимала даже Мири. Она-то и придумала этот трюк с туром. Все-таки до чего женщины изобретательный народ! Нашла где-то горящую копеечную экскурсию: «Вот, поезжай один, без меня, проверь свои нежные чувства. А летом, как перебесишься, поедем уже вместе, по-нормальному».

«Как перебесишься...» К своему удивлению, Цвика не только не бесился, но даже и чувств никаких особых не испытывал, если не считать странные фортеля, которые неизвестно почему отчебучивало сердце. Страна как страна, люди как люди, города как города. Время от времени он даже забывал о том, что находится не где-нибудь, а в Германии. Даже здесь, в Кельне, куда они приехали сегодня утром. И неудивительно. Добро бы еще следы какие остались, а то ведь ноль, ничего. Дом-то дедов ведь тоже погиб. Союзники сравняли город с землей своими бомбардировками. Говорят, один только кафедральный собор и торчал над всей округой в качестве ориентира для тысячной авиационной армады. Надо бы вернуться туда, к собору – потом, когда «группенфюрер» отпустит на долгожданную свободу. А то все бегом, бегом... ничего толком не рассмотришь.

Зонтик впереди дрогнул и остановился. Группа обступила большую стеклянную пирамиду, нелепым грибом растущую прямо из каменных плит площади. Она выглядела абсолютно неуместно на фоне красивого средневекового здания с высокой шатровой башней.

Экскурсоводша откашлялась.

– Мы стоим перед древней микве средневекового Кельна. Как я уже говорила, еврейский квартал располагался в непосредственной близости к ратуше, здание которой вы также можете видеть здесь... да-да, вот это, с башней. Согласно письменным свидетельствам, микве была построена в 1170-м году. Ее винтовая лестница опускается на глубину шестнадцати метров, где находится ритуальный бассейн, питаемый подземными водами. После изгнания евреев из Кельна в 1424-м году примыкавшая к ратуше синагога была превращена в капеллу, а микве засыпана. В таком состоянии она пребывала до послевоенного времени... я имею в виду Вторую Мировую войну. Тогда, согласно решению германского правительства о возрождении памяти об уничтоженных нацистами еврейских общинах, микве была откопана и полностью восстановлена.

– А внутрь туда пускают? – спросил кто-то.

– Внутрь... – экскурсоводша посмотрела на часы. – В принципе, пускают. Всегда можно взять ключи; они хранятся у охранников на входе в ратушу. Так что, если хотите... правда, я боюсь, что тогда у вас останется меньше времени на самостоятельную прогулку...

– Нет-нет!.. зачем?.. – зашумела группа. – Что мы, микве не видели? Пусть кто хочет, тот и идет, а остальным-то чего страдать...

– Да я нет... я ничего... – смутился любопытный возмутитель спокойствия. – Я только спросил.

– О'кей! – решительно резюмировала «группенфюрер». – Тогда все свободны до семи тридцати. Встречаемся на площади перед Домом, у крестоцвета. Все помнят, где это? Просьба

ни в коем случае не опаздывать. Мы должны быть в Дюссельдорфе до девяти вечера. Рекомендую вам посетить...

Слушать рекомендации Цвика не стал. Сами как-нибудь разберемся, без ваших речитативов... Мимо ратуши он вышел на набережную, постоял, глядя на Рейн и повернул в сторону железнодорожного моста. Шел неторопливо, на всякий случай прислушиваясь к сердцу. Сердце помалкивало, очевидно, тоже обрадованное нежданной свободой. Впрочем, подъем с берега на холм, туда, где высилась черная громада Дома, дался тяжело им обоим – и сердцу, и Цвике.

«Да что это такое со мной? – удивлялся он, останавливаясь чуть ли не через каждые двадцать ступенек, чтобы привести в порядок сбившееся дыхание. – На лестницу не подняться! Обязательно покажусь костоправу... вот приеду и сразу... Вот только к кому?»

Перебирая в памяти имена знакомых врачей или знакомых с врачами, Цвика завершил подъем по некрутой, в общем-то, лестнице, отдышался в последний раз и начал обходить собор слева. Он не относил себя к любителям архитектуры и уж тем более – к знатокам. Семейный текстильный бизнес не слишком располагал к занятиям искусством. Но так уж получилось, что кафедральные соборы непременно входили в список основных достопримечательностей почти любого места, в котором он оказывался по делам или на отдыхе. Никакой мало-мальски значительный город не мыслил себя без храма. Со временем Цвике даже стало казаться, что существует связь между характером, атмосферой места и его собором. Внешне красивый, но темноватый, с непременной лужей мочи между контрфорсами Собор Парижской Богоматери; беспорядочно помпезный и бестолково огромный Павловский Собор в Лондоне; задавленная собственным классическим портиком, но неожиданно воздушная внутри громада Ватиканского храма; мощный резной клирос Севильского кафедрала – все они как нельзя лучше рассказывали о своих городах и их обитателях, прошлых и нынешних, об их страстях, страхах и амбициях.

Мири обычно удивлялась: «Опять тебя в церковь потянуло? Зачем? Они ведь так похожи одна на другую!»

Цвика усмехнулся, вспомнив про жену. Если бы она повторила это сегодня, то, скорее всего, оказалась бы права. Уж больно кельнский Дом напоминал свой амьенский прототип, во всяком случае – пока, со стороны абсиды и южного портала. Хотя амьенский все же позатейливее будет... но ведь и французы позатейливее немцев. Да и похожесть не случайна: что там, что тут – непомерные некогда амбиции, сменившиеся в итоге провинциальным прозябанием. Так железнодорожные ветки, нежданно-негаданно пришедшие с разных сторон в крохотный степной городок, одним махом преображают его в крупный транспортный узел; в сонных улочках закипает коловращение жизни, откуда ни возьмись, заводится чудной разно-

цветный люд, на главной площади, где прежде лишь лениво позевывали несколько пыльных собак, суетятся лоточники, прохаживаются разодетые матроны с резвыми детьми, солидно кивают друг другу толстые бизнесмены, шныряют воры, взирает полицейский, возводятся ратуша, тюрьма, публичный дом и библиотека... короче говоря, мир цветет и радует глаз, и, главное, всем оправившимся от первого обалдения горожанам кажется, что так оно и было назначено судьбой, что так оно теперь и будет отныне и до скончания веков.

Но нет. Нет, дорогие друзья. Это всего лишь промашка, случайная клякса на пергаменте небесной канцелярии, и на самом деле эти благословенные, пахнущие мазутом и золотом, эти блестящие, эти проклятые рельсы предназначены змеиться совсем-совсем в другом месте, совсем-совсем в другом городке, так что извините, не судьба, ошибка наша, с кем не бывает... эй, кто там!.. сворачивай декорации, уезжаем! И они уезжают, все разом: и матроны, и бизнесмены, и воры, и мадам Зизи со своими красотками, и даже полицейские – последними, как и положено тугодумам, и городок остается, как был, если, конечно, не считать достроенную тюрьму и недостроенный собор... а уж о библиотеке никто и не вспоминает. И обыватели снова обалдело моргают выпученными глазами, и кто-то роняет слезу о безвозвратном величии, и кто-то вздыхает о будущем, не успевшем стать прошлым, и только собаки удовлетворенно ложатся в прежнюю мягкую пыль опустевшей площади, выкусывая блох перед долгой спячкой.

«Да-да... – Цвика поравнялся со строительным забором, идущим от южного трансепта Дома в направлении главного портала. – Именно так. В Амьене хоть успели закончить, а здесь вон, до сих пор... это ж с какого века?"

Он улыбнулся собственным мыслям, и сердце улыбнулось вместе с ним, непрошенно и больно растянувшись на всю ширину груди.

«Э, ты это... того... – сказал Цвика сердцу, приостанавливаясь. – Ты особо-то не балуйся, слышишь? Нам еще вернуться надо... Тем более, что, как выясняется со второго взгляда, не так-то они и похожи, этот Дом с Амьенским... опять наша с тобой Мири ошибается».

Найдя свободную скамеечку на площади перед западным фасадом, Цвика смотрел на собор, пытаясь определить словами эту уже очевидную глазам разницу. Шпили? Высота? Отказ от традиционного тимпана? Да-да, и то, и другое, и третье, но не только и даже не столько это. Главное отличие заключалось в почти полном отсутствии горизонталей, в последовательном и неудержимом стремлении вверх. Конечно, архитектор не мог совсем обойтись без карнизов или без непременного скульптурного ряда, но даже эту обязательную программу он выполнил, сделав все, чтобы максимально затушевать поперечные линии. Интересно... Цвика осторожно,

чтобы не застать врасплох сердце, поднялся и пошел внутрь.

Там оказалось очень светло и просторно. Народу было совсем немного, в основном, туристы. Цвика прошел по центральному проходу между скамьями и, не доходя до трансепта, сел, чтобы осмотреться спокойно, не торопясь. По воздушности этот собор, как минимум, не уступал ватиканскому. Только там она достигалась за счет светящейся подкупольной пустоты, как бы парящей над огромной пустотой базилики. Чем же еще заполняется пустота, если не воздухом? А значит, источник той, ватиканской воздушности заключался в пустоте... Там, но не здесь, в Доме, в лесу бесчисленных колонн, растущих по краям узкого нефа. Здесь в распоряжении архитектора просто не было достаточно пустоты. И тем не менее...

Конечно, выходящие в центральный неф окна огромны – чтобы сделать их такими большими, пришлось сильно уменьшить высоту боковых нефов. Как в Амьене. Но в Амьене все равно не получилось такого эффекта, как здесь. Тогда отчего же? Цвика еще раз скользнул взглядом по стремительной вертикали колонн и улыбнулся. То же самое, что и снаружи – безудержная, победительная, небесная вертикаль! Вертикаль, ведущая взгляд и душу вверх, к белым парусам сферических перекрытий, туда, где нервюры, даже не спотыкаясь о замочный камень свода, немедленно возвращают их – и взгляд, и душу – назад, в тугой колчан бесконечных стрел, оперенных светом. Воздушность этого пространства объяснялась просто: в нем не существовало ни стен, ни потолка... ничего, кроме света и воздуха.

Цвика перевел дыхание. Это было чудо, и он сидел внутри него, внутри чуда. Это было как... как... кто-то тронул его за плечо. Он обернулся. Перед ним, облокотившись на спинки скамей, стояли два молодых парня в одинаковых белых свитерах с голубем мира на груди. Один из них, с длинными, собранными в конский хвост волосами что-то спросил на неизвестном Цвике языке.

– Извините, я не понимаю, – сказал Цвика по-английски и улыбнулся. – Английский, французский...

– ...и еврейский, – продолжил за него длинноволосый.

Второй парень, бритоголовый круглощекий крепыш прыснул.

– Чем могу служить? – сказал Цвика, сохраняя на лице улыбку.

– Сначала сними шапку, еврей, а потом уже служи, – мрачно проговорил волосатый. – Ты в Божьем храме, а не в своей вонючей синагоге. Совсем обнаглели, сволочи.

Цвика непроизвольно поднял руку к голове. Так и есть, он совсем забыл о летней фуражке с козырьком и с эмблемой израильской текстильной фабрики. Скорее всего, этих двух радетелей святости привлекла даже не сама фуражка, а именно ивритские буквы на ней. Он снова присмотрелся к свитерам.

Вокруг голубя с оливковой ветвью в клюве шла надпись мелкими буквами на трех языках: английском, арабском и немецком.

«Мир Палестине и Иерусалиму!» – прочитал Цвика.

– Красивая форма, – сказал он вслух. – А каски к ней прилагаются?

Бритоголовый перестал улыбаться.

– Не играй с огнем, юде, – посоветовал он и протянул руку к Цвикиной голове. – Лучше сними, а то хуже будет. Здесь тебе не там.

Сердце дернулось, зачастило, проваливаясь и подпрыгивая. Конечно, входить в христианский храм в головном уборе не полагалось. Но и уступить теперь этим двум подонкам он не мог. Резким движением Цвика отбил руку в белом рукаве и встал. На них уже оборачивались. Неслышно, но быстро ступая, подошел служитель в форменном пиджаке.

– Господа, что здесь происходит?

Волосатый ухмыльнулся и выпрямился.

– Вы тоже хороши, – процедил он. – Пускаете кого попало...

– Так... – протянул служитель, безошибочно оценивая ситуацию. – Я попрошу вас немедленно покинуть храм. Иначе я буду вынужден вызвать полицию.

Бритоголовый возмущенно покачал лысиной.

– Никакой управы на жидов не стало. Ну ничего... ничего...

– Я вызываю полицию...

– Не надо, – остановил служителя волосатый. – Мы уходим.

Они вразвалку, не торопясь, двинулись к выходу.

– И вы тоже, господин, – с упреком сказал служитель. – Шапка, в храме... нехорошо.

Цвика стянул с головы фуражку. Странное дело: даже теперь, когда подонки ушли, это стоило ему некоторого труда. В интонации и мимике служителя не ощущалось ничего, даже отдаленно напоминающего враждебность или насмешку; наоборот, в только что происшедшем конфликте он был целиком и полностью на Цвикиной стороне, но, тем не менее, обнажая голову, Цвика почувствовал себя униженным. Не от того ли, что в этом вынужденном преклонении перед чужим Богом присутствовало, пусть тенью, пусть одним лишь дальним, едва различимым намеком, но несомненно присутствовало отречение, предательство своего?

«Глупости! – сердито оборвал он себя, оглаживая ладонью левую сторону груди с рвущимся из узды сердцем, как конюх оглаживает бунтующего в стойле коня. – Глупости! Ты и в Бога-то не веришь. Ни в какого не веришь, так что нет у тебя ни чужого Бога, чтобы перед ним обнажать голову, ни своего, чтобы от него отрекаться. Это просто дань уважения к другим, верующим людям, разве не так? К людям, а не к их богам! Конечно! Развел тут...»

Сердце наконец успокоилось, но прежнее настроение, прежнее ощущение чуда уже не вернулось. Цвика вздохнул,

провел напоследок долгим, запоминающим взглядом от серого пола вверх, по тонкой линии колонны и дальше, по арке перекрытия и еще дальше – в новую или, вернее сказать, никогда не кончающуюся вертикаль. Провел и, уже не оглядываясь, пошел наружу, на площадь. Там сгущались сумерки; солнце садилось, тонуло в городе, цепляясь последним лучом за северный зубец Дома. До встречи с группой оставалось еще более часа. Цвика прошелся по площади, купил в сувенирном киоске альбом с фотографиями собора. Обложка альбома изображала Дом во всей красе ночной зеленоватой подсветки – вид издали, с противоположного берега Рейна. Цвика снова взглянул на часы. Он не знал, когда включается подсветка, но время на то, чтобы пересечь реку по железнодорожному мосту, постоять на той стороне, глядя на панораму старого города, и успеть вернуться, у него определенно имелось, даже если не торопиться.

Не мешкая, он спустился к Рейну и быстрым шагом двинулся в направлении моста. Гуляющих было совсем немного, от вечерней реки веяло спокойствием и силой. К своему разочарованию, Цвика обнаружил, что набережная не выходит на уровень моста, а ныряет под него, так что придется снова подниматься по ступенькам. Следуя указателю, он вошел в полутемный, пахнущий мочой и кошками туннель.

– Эй, ты!

Сердце подпрыгнуло и стало расти, забирая с собою дыхание. Цвика сразу понял, кто это. Очевидно, они шли за ним от самого собора. Какая непростительная беспечность – ни разу даже не оглянуться! Он попробовал прибавить шагу и не смог. Голова кружилась, ноги не слушались. Звать на помощь? Кого? Как? Все равно догонят, лучше отдышись. Цвика остановился и стал ждать, хватая ртом вонючий воздух туннеля. Они подошли, белея в темноте свитерами с голубем мира на груди.

– Что, юде, попался? – произнес длинноволосый с почти ласковой интонацией. – Где теперь твоя армия? Это тебе не бомбы на Газу сбрасывать.

Цвика вдохнул поглубже, пытаясь успокоить сердце и остановить головокружение, но тщетно. Нечего было и думать о том, чтобы защищаться. Во-первых, их было двое здоровенных бугаев, а во-вторых, в таком состоянии он не справился бы и с одним, самым тщедушным подростком.

– Что... что вам от меня надо? – выдавил он.

Слова выходили с трудом, царапая разросшееся на всю грудь сердце.

– Сейчас поймешь...

Длинноволосый ухмыльнулся и сильно ударил Цвику в лицо. Кровь сразу хлынула из разбитой брови, заливая глаз. Не падать, только не падать... он отшатнулся к стене, прижался к ней спиной, одной рукой защищая голову, а другой зажимая рану. Второй удар прошел вскользь; бритоголовый ругнулся и сделал

шаг вперед, выцеливая неприкрытое место. Цвика инстинктивным движением выкинул вперед ладонь. Его несильный толчок пришелся прямо в середину белого свитера, в клюв голубки с оливковой ветвью. Бритоголовый свирепо вскрикнул и отступил, разглядывая измазанную кровью одежду. В полумраке туннеля голубь мира и его оливковая ветвь более походили на бешеную собаку, зажавшую в пасти окровавленную кость.

– Ах ты сволочь...

Длинноволосый ступил в сторону, делая странный пируэт. В следующее мгновение Цвикина голова мотнулась в сторону от сокрушительного удара ногой. Мотнулась так сильно, что, прежде чем потерять сознание, он даже успел удивиться, как это она не оторвалась.

...Сознание возвращалось постепенно, фрагментами. Сначала Цвика даже подумал, что он лежит дома, в спальне, и, удивившись непривычной темноте, протянул руку, чтобы включить ночник на тумбочке. Но рука уткнулась в холодную пластиковую стенку, и тогда Цвику посетила странная мысль, будто он погребен заживо. Впрочем, он тут же успокоил себя тем, что гробы не делают из пластика. Потом он почувствовал боль во всем теле; сердце тоже немедленно напомнило о себе, стоило ему только пошевелиться. Наконец включилось обоняние, он вдохнул вонь туннеля и сразу все вспомнил. Дом, фуражка, двое с голубями, туннель, избиение... Пластик – это, должно быть, мусорные баки. Да-да, там сбоку еще стояли два таких больших мусорных бака. Должно быть, борцы за мир, наскучив работать ногами по бесчувственному телу, напоследок заткнули его между баками и стеной. Предусмотрительные... в таком месте его не обнаружили бы до завтрашнего утра.

Погоди-погоди... автобус! Цвику пробил холодный пот. Он опоздает на автобус! Кряхтя и охая от боли, он встал на четвереньки и выбрался на открытое место. В туннеле, как и следовало ожидать, никого не было. Держась за стенку, Цвика поднялся на ноги и заковылял к выходу, к реке. Снаружи, равнодушно глядя на него немигающими глазами фонарей, стояла чужая немецкая ночь. Который час? Он взглянул на часы. Без пяти семь. Слава Богу! За тридцать пять минут он точно успеет добраться, даже в таком инвалидном виде. Там свои, там помогут... в чемодане одежда, можно будет переодеться... а эту он выкинет – все рваное, да и не отстираешь такую мерзкую вонь. С новыми силами Цвика заспешил вдоль пустынной набережной. Подойдя к подъему на холм, он решил немного перевести дух. Недолго, всего пару минуток. Потом еще десять минут подняться по лестнице, пять на обход Дома, и он на площади, у крестоцвета.

Цвика снова взглянул на часы, чтобы засечь время. Без пяти семь! Как же так?! Тут только он увидел разбитое стекло циферблата. Часы стояли! Его охватила паника. Не помня себя,

задыхаясь, он ринулся наверх. Сердце угрюмо топталось у самого горла, мешая дышать. Какой-то прохожий испуганно метнулся в сторону. «Ну и видок у меня, должно быть...» – подумал Цвика. Он преодолел последние ступени и остановился, держась за фонарный столб и хватая воздух разбитым запекшимся ртом. Прямо перед ним, во всем великолепии зеленой подсветки, высилась громада Дома. Но Цвика смотрел в другую сторону, туда, где на стене музея светилось табло электронных часов. На нем значилось час восемь.

«Спокойно, – сказал он себе и своему сердцу. – Спокойно, ребята. Главное – не поддаваться панике, иначе уж действительно будет полная крышка. Спокойно. Они, конечно, уже уехали, но большой беды в этом нету. У меня где-то записан телефон экскурсоводши и даже координаты гостиницы. Всего-то и нужно позвонить в Дюссельдорф, чтобы не волновались, пойти на вокзал и доехать туда поездом. Самолет улетает только послезавтра... можно еще сто раз успеть».

Он полез в карман куртки за бумажником. Бумажника не было. Ни бумажника, ни денег, ни документов, ни телефонов. Мерзавцы обобрали его подчистую. Цвика сполз по фонарю на землю, с трудом удерживаясь от того, чтобы не заплакать. А может, и не удерживаясь? Он тронул пальцами глаза и вскрикнул от боли. Оба глаза распухли и заплыли, особенно левый. Странно, что он еще ухитрялся что-то видеть. Сердце снова утихло, успокоенное неподвижностью, зато появился озноб.

«Ночи в апреле даже у нас не такие теплые, а уж в Европе... – подумал он, с трудом протаскивая мысли сквозь боль, холод и слезы. – Надо найти золотую середину между покоем и движением, а то совсем замерзнешь».

Цвика поднялся, цепляясь за столб, повернулся к собору спиной и двинулся вперед – наугад, не разбирая дороги. Никогда в жизни он еще не чувствовал себя таким одиноким, таким потерянным, таким пропавшим. Он слепо ковылял по пустым улицам чужого враждебного города. Нам этих германских радостей и на фиг не надо... прав был покойный дед, тысячу раз прав. Что он делает здесь, зачем он приехал сюда, чего ожидал? Как еще может встретить его этот город, с его новой оперой и кварталами дорогих магазинов на том самом месте, где... где... где...

Только тогда их было здесь много, а теперь... теперь он был здесь один, один, если не считать бунтующее сердце и шаркающий звук его собственных ног по чужому тротуару. Надолго ли его хватит в этой злобной немецкой ночи? Цвика впервые подумал о смерти и заплакал, уже не сдерживаясь, от жалости к Мири, к детям и к себе. Почему все должно закончиться именно так, именно здесь, в этом страшном, безнадежном одиночестве, как в плену, как в тюрьме, среди этих аккуратных враждебных стен? За что? Что такого плохого он сделал этому

Богу, в которого даже не верит? Зачем Он привел его умирать именно сюда?

Цвика поднял голову. Он стоял на широкой площади, прямо перед светящейся пирамидой. «Микве, – вспомнил он. – Закрыта. Ключи у привратника». Он положил руку на стекло, и ему стало легче. Жаль, что так и не довелось попасть туда вовнутрь... Ведя ладонью по стеклу, Цвика повернул за угол и остановился, как вкопанный. Дверь в пирамиду была приоткрыта! Это мог заметить даже он своими заплывшими щелочками. Затаив дыхание, Цвика ступил внутрь. В маленьком входном тамбуре перед подсвеченной витриной с иудаикой стоял усатый турок-уборщик и протирал стекло. Увидев Цвику, он выронил тряпку, отшатнулся и что-то залопотал, часто-часто, отмахиваясь руками, как от привидения.

«Боится... – подумал Цвика. – Правильно боится. Это мое. Мое!»

– Мое! – крикнул он на иврите неожиданно сильным голосом. – Мое! Уходи!

Турок бочком продвинулся к двери и выскочил из пирамиды. Сквозь стекло Цвика видел, как он побежал к ратуше, все так же заполошно размахивая руками.

«За помощью побежал... ничего, мне ненадолго, успею...»

Он подошел к витрине и замер. Там, внутри, за толстым пуленепробиваемым стеклом среди прочих серебряных менор, кубков, указок и подставок для чтения стояла и его семейная ханукия. Цвика узнал ее сразу, немедленно. Еще бы! Он получил ее в возрасте четырех лет в подарок на хануку. До него она принадлежала прадеду, тому самому, тезке, сгоревшему в аушвицком крематории.

– Мое! – радостно сказал Цвика. – Конечно, мое!

Он спустился вниз по лестнице и сел прямо на влажный каменный пол, наклонившись над темной, слегка колышущейся, как будто дышащей поверхностью воды. Боль отступила, сердце билось ровно и сильно. Цвика посмотрел в воду и увидел деда. Дед улыбался и грозил ему пальцем.

– Не сердись, дед, – виновато сказал Цвика и улыбнулся. – Машина хорошая, да и скидка была фантастическая...

Но дед и не думал сердиться. Он просто смотрел на Цвику снизу, а вместе с ним – тезка-прадед и еще, и еще... много... а прямо за ними, в самой глубине, уходя в дальнюю, захватывающую дух бесконечность, высился Небесный Иерусалим, почти неотличимый от реального, Цвикиного, и потому легко узнаваемый.

– Мое! – счастливо повторил Цвика.

Сердце его трепыхнулось в последний раз и остановилось.

Бейт-Арье, 2006

Юлий Ким

*ВРЕМЯ СКЛАДЫВАТЬ КАМНИ**

Избранные зонги к одноименному мюзиклу

ВАЛТАСАР

Нет! Нет!
Прошу тебя, прошу: Ты можешь, ты пророк –
Скажи им, чтобы мне продлили срок!
Нельзя же сразу так! Ведь я же человек!
А что если иначе я не мог?

Над каждой головой сидит начальник свой,
И каждый должен слушаться его.
Но Тот, Кто надо мной, вот сколько я живу,
Ни разу не сказал мне ничего!

И сразу приговор? И сходу под топор?
Буквально – ни с того и ни с сего?
А как мне было знать, что я такой плохой?
Когда молчали все до одного?

Прошу тебя, прошу, ты можешь, ты пророк,
Скажи, чтоб небеса меня простили в долг.
Отсрочки я прошу! А я тогда зато
Все сделаю для них – пусть только скажут – что!

Сокровища – раздам! Налоги – отменю!
Могу построить Храм, могу предать огню!
И этих, этих всех, которые в плену,
На родину верну! И ценности верну!

Ты только небесам скажи, о чем прошу,
И я тебя на трон с собою посажу!
Святые небеса! Я умоляю слёзно:
Взгляните на меня не так темно и грозно!
Не надо так серьёзно! Не надо так серьёзно,
Святые небеса!

---

* Редакция «Иерусалимского Журнала» поздравляет любимого поэта, барда, драматурга и редколлегу с семидесятилетним юбилеем и представляет зонги, написанные для мюзикла о возвращении евреев из Вавилонского плена и строительстве Второго Храма.

ТАМАР И ЗРУБАВЕЛЬ

Тамар:

О, мой храбрый Зрубавель! Вот придем мы в край пустынный.
Чем займемся, позаботимся о чем?

Зрубавель:

Мы придем, любовь моя, раздобудем камень с глиной,
Да помолимся и строиться начнем.

Тамар:

О, мой славный Зрубавель! Глина есть и камень до́быт,
Что же первое ты станешь строить там?

Зрубавель:

Мы придем, любовь моя, и воздвигнем целый город,
Но сначала мы построим Божий Храм.

Тамар:

О, мой мудрый Зрубавель! Но не лучше ли сначала
Возвести и обустроить царский дом?
Пусть над миром и страной вознесется величаво,
Чтобы каждый понимал, чье величие и слава...

Зрубавель:

Нет, сначала будет Храм, дворец потом.
Так устроил мир Господь и заповедал нам:
В теле сердце, в небе солнце, в доме печь, в столице Храм.
Я люблю тебя, Тамар! Будь во всем моей опорой,
Песней сердца моего, усладой глаз!

Тамар:

Я не знаю, Зрубавель... Я тебе отвечу скоро:
В день, когда – и если – Кир отпустит нас.

НИСИМ И ТАМАР

Нисим:

Кир не отпустит нас, поверь!
Как глуп, однако, Зрубавель:
Что значит Вавилон без иудеев –
Без мастеров, юристов, книгочеев,
Без медиков, актёров, брадобреев,
Без прорицателей и мудрецов?
Да не дурак же Кир, в конце концов!
Но если даже отпустит –
То тебе-то зачем это нужно?
Ты потащишься в пыльное пекло
Поднимать Иудею из пепла?
Ну признайся: тебе это чуждо!

Тамар:

Но однажды в пустыне бесплодной
Встанет белый дворец превосходный,
Процветёт и прославится всюду –
Но не я в нем хозяйкою буду?..

Нисим:

В Вавилоне с твоей красотою
Ты всегда будешь первой звездою,
И знатнейшие провинциалки
Пред тобой будут мелки и жалки.
О, царица моя! Будь со мною!
Ты увидишь, я этого стою.
Пусть идет Зрубавель куда хочет,
Но других-то зачем он морочит?

(к публике): Вавилон – наша жизнь, Вавилон – наша песнь,
Вавилон – наша юность и детство,
И дома наши здесь, и сады наши здесь,
Для чего же нам трогаться с места?
Вавилон – пуп земли! Вы подумайте, как
Расцветет он при новом укладе!
И должны мы лишать себя будущих благ...
Извините, чего это ради?

ЗРУБАВЕЛЬ И НИСИМ*

Зрубавель:

Это сорняк цветёт, где бы он ни пророс,
Он и в жару, и в мороз – вывернется, прогнётся,
Но человек живой – помнит очаг родной,
Если он человек – значит, домой вернётся.
Где бы ни проживал, чей бы хлеб ни жевал,
Бей по плечу царей, вешайся им на шею –
Но помни, что каждый миг может раздаться крик:
– Эй, иудей, а ну – марш в свою Иудею!

Нисим:

Да от злых языков и завистливых глаз
Ни в какой Иудее не скрыться!
А зато Вавилон невозможен без нас,
А ведь он – всего мира столица!
Нас Господь зачерпнул и с размаха швырнул
В этот мир, как бродильные дрожжи,
Чтобы жизни вино этот мир пробрало
До восторга и сладостной дрожи!

* В соавторстве с Игорем Бяльским.

Зрубавель:

Мы потому народ, что у нас есть она,
Скорбная от потерь, скудная от лишений,
Но все равно земля, но все равно – страна,
И возродить её – нету мечты священней!

ШИМШАЙ И ЗРУБАВЕЛЬ

Шимшай:

Итак, Зрубавель, благородный Шомрон
На помощь пришёл к Иудее,
Поскольку желает способствовать он
Успеху великой затеи.
Мы видим, какой воздвигается Храм,
Какие ведутся работы,
Какие на это отпущены вам
Щедроты, кредиты и льготы.
И чтобы всё это не рухнуло зря,
Шомрон под крыло принимает тебя.
Наш Храм вознесётся и, словно магнит,
Притянет и торг и ремёсла,
И скоро такой тут котел закипит,
Что это представить не просто!
Обложим торговлю, умножим казну,
Проложим дороги – и вскоре
Мы выиграть сможем любую войну
В пределах от моря до моря.
А всякий предел нам дается затем,
Что можно его и раздвинуть затем.

Зрубавель:

Благодарю тебя, доблестный мой сосед.
Ты хорошо расчёл выгоды и доходы.
Но на твои слова я отвечаю «нет»,
Пусть даже мне грозят тяготы и невзгоды.
Нам за грехи Господь счёт предъявляет Свой:
Он взял у нас в залог город, и Храм, и землю,
И заплатить должны мы – и никто другой,
Вот почему ничьей помощи не приемлю!
Надо поставить Храм, надо построить дом,
Чтоб не забыть потом, кто мы, зачем и где мы.
Это приказ небес. В нем ничего о том,
Как Вавилон пугать и расширять пределы.
Такой приказ дается не затем,
Чтоб мы его нарушили затем.

ТАМАР И ЗРУБАВЕЛЬ

Тамар:

О, мой мудрый Зрубавель! Он хотел быть с нами дружен,
Почему врага ты сделал из него?

Зрубавель:

Это злой и хищный зверь. Храм ему для власти нужен,
Мне же власть нужна для Храма моего.

Тамар:

О, мой скромный Зрубавель! Тебе нужно так немного.
В чем же мощь твоя и слава, Зрубавель?

Зрубавель:

Я хочу, чтоб мой народ сеял хлеб и помнил Бога
И для славы не искал чужих земель.

Тамар:

К нам приходил Шомрон, и он приходил с добром,
Он предлагал союз, как я и хотела.
Что ж ты его отверг, гордый мой человек?
Гордость – это не то, что нужно для дела!
Он говорит: весь мир! – ты отвечаешь: Храм.
Ты глядишь в небеса – а надо на землю.
А я гляжу на тебя – может, ты скажешь сам,
Что бы могло помочь твоему прозренью?
Честный мой Зрубавель – сколько уже недель
Стройка эта твоя все длится и длится...
И среди всех ты свой – грузчик, мастеровой,
Только не царь, а значит, и я не царица.

ШИМШАЙ:

Не ходи, герой, не ходи один
По тропе лесной, по траве густой.

Неизвестно, где вдруг очутишься,
Неизвестно, как окочуришься.

Упадет скала, проскользнет змея,
Просвистит стрела – вот и нет тебя.

Вот и нет тебя, сиротиночки.
Не ходи один по тропиночке,
Не ходи...

ДОНОС

Тамар пишет письмо:

Зрубавель, правитель Иудеи,
Восстанавливая Храм и город,
Кроме как о собственном величье,
Ни о чём другом не помышляет.
Он не слушает ничьих советов.
Он враждою оттолкнул соседей...

В Вавилоне Нисим дочитывает это письмо персидскому царю:

...Он враждою оттолкнул соседей,
И теперь, когда могучий Кир
Навсегда покинул этот мир,
Он готовится, в обход закона,
Навсегда отпасть от Вавилона.

Персидский царь:

Навсегда отпасть от Вавилона?

Нисим:

Так сказано в письме.

Персидский царь:

Навсегда отпасть от Вавилона!..

Вот ваше племя, Нисим!
Вот твои братья, Нисим!
Вот – ваш такой неприятный народ!

Дай вам – полмира, Нисим,
И вам – всё будет мало:

Вам Вавилон не по нраву,
Египет противен,
ни Север, ни Запад,
ни Юг, ни Восток –
Только дикий Сион
вас упорно влечёт!

Дикий Сион...
безлюдный, безводный,
бесплодный Сион!

Нигде вам не сидится,
Бродяги иудеи,

Да вы в саду Господнем
И то не усидели.

И под любой короной
Прекрасно находясь,
С ехидною усмешкой
Глядите вы на власть!

Хор:

Вот – ваше племя!
Вот – твои братья!
Ах – до чего неприятный народ!

Персидский царь:

Как паводок весенний,
Повсюду вы проникли,
Начальство и соседи
Повсюду к вам привыкли,

И песни ваши звонки,
И танец ваш хорош,
И как-то так выходит:
Не хочешь, а поёшь!

Хор:

Вот – ваше племя!
Вот – твои братья!
Ах – до чего неприятный народ!

Персидский царь:

Для вас ничто не ново,
Во всем у вас сомненья,
По каждому вопросу
У вас другое мненье.

А так как остальные
Всегда во всем правы,
То, что бы ни случилось,
Виновны только вы!

Хор:

Вот – ваше племя!
Вот – твои братья!
Ах – до чего неприятный народ!

ЗРУБАВЕЛЬ УХОДИТ

Господи, Боже мой, что ж я молчу?..
Что ж я сижу?..
Выбора нет... Выход один:
я ухожу.
Крепок и молод – всё бы я смог!
Я ухожу.
Сердце как молот, кровь – кипяток –
я ухожу.
Господи, что же я сделал не так?
Грешен я в чём?
Я не искал ни почёта, ни благ,
строя Твой дом.
Алчного хищника к стенам его
не подпустил.
И день и ночь возводил я его
что было сил!
Господи, Боже мой – кто объяснит,
хоть намекнёт,
Что за проклятье над нами висит,
жить не даёт?
Не для того же вернуться сюда
Ты нас подвиг,
Чтоб мы топтались вроде скота
в стойлах своих?
Незачем жить... нечего ждать...
Я и не жду.
Нет моих сил – сидеть и молчать.
Я ухожу.

ПРОРОК

Время разбрасывать камни – и собирать затем,
И от того и другого нам остаётся опыт,
Но собирающий камни будет в веках почтен,
А разрушающий их – будет в потомках проклят.
О, сколько еще всего вынести нам суждено,
Прежде чем, наконец, Дом и алтарь достроить!
Но на любых путях дело у нас одно:
Камни свои собирать либо раствор готовить.

Юрий Ряшенцев, Дмитрий Сухарев

ДИАЛОГ О КИМЕ

Юрий Ряшенцев: О Киме написано немало. И не последние люди писали.

Дмитрий Сухарев: Ничего, попробуем, у нас все-таки особенная исходная позиция – мы не литературные, не театральные критики и даже не очарованные поклонники, мы ему братья по цеху – коллеги.

Ю. Р.: Да попросту друзья! Притом почти сверстники. Вот я и боюсь, что станем дуть в одну дуду.

Д. С.: Ну, подудим в одну – что плохого? А критик, даже самый умный, может не заметить того, что ведомо нам. Я только что впервые прочитал послесловие Татьяны Бек к сборнику Кима 2004 года, выпущенному «У-Факторией». Тане карты в руки, она из самых вдумчивых критиков поэзии. Мощная наблюдательность, замечательно точные формулы. Притом сама поэт. Тем не менее, ловлю Таню на важной неточности. Она пишет, что творчество Юлия Кима было творчеством счастливого человека только в начальную пору, когда юный Ким жил в гармонии с эпохой оттепели. Затем, дескать, настали времена, гармонировать с которыми Ким не мог, и доминантой стала горечь. Да ничего подобного! Конечно, было всем несладко замерзать после оттепели, а лично Киму досталось куда увесистей, чем, допустим, нам с тобой. И в послебрежневские времена судьба продолжала наносить ему жестокие удары. Но в результате – что в результате? Какого Кима мы имеем в конечном счёте, после всех его тяжких потерь, всех испытаний? Солнечного!

Как прекрасна моя Антарктида
На просторах холодных равнин,
Как мне нравится эта картина –
Над снегами парящий пингвин!
Как люблю я взобраться на айсберг
В окруженье застенчивых дам!
Я вам честно спою:
Антарктиду мою
Я в обиду ни разу не дам!

……

– Я хочу рассказать тебе поле.
– Что вы, сударь, пристали ко мне?
– Потому что вы с севера, что ли?
– Шагане ты моя, Шагане,
– Хочешь, я расскажу тебе Фета?
– Из Бодлера просила бы я.

– Я могу и Рембо.
– Ах, не всё ли равно?
– Шагане ты моя...
– Я твоя.

Абсолютно дурацкие куплеты! Смех ради смеха! Юмор в кристаллически чистом виде – не ангажированный, не политизированный, не поучающий, никого не обличающий, просто юмор. Но в этом и прелесть. В цикле «Безразмерное танго» таких куплетов тридцать семь штук, один смешней другого, хоть подряд их цитируй. Кто еще так умеет? Я других таких певцов не знаю. А наш – солнечный, как в юности. «Только, может, и осталась складка горькая у рта»... Что скажешь?

Ю. Р.: Я тоже не заметил у Кима кардинальной перемены настроения после окончания оттепели. Ты совершенно прав: Киму свойственно быть счастливым. Не внешним обстоятельствам руководить его настроениями. Солнечная, счастливая энергия, характерная для его стихов, – это его органическое свойство, присущее ему, слава Богу, во все времена. И не то чтобы он был оптимистом, несмотря ни на что.

Нет, он ясно представляет себе силу всякой мрази, но смеется над этой мразью, не позволяя ей превращать себя в злобное человеконенавистническое существо, а оставаясь таким же весело-насмешливым и даже как будто чуть снисходительным к изображаемым им уродцам. Но вернемся к поэзии.

Д. С.: Вернёмся. Вот у меня к тебе вопрос. Меня давно мучает подозрение, что у вас на историко-литературном факультете МГПИ совсем не учили литературе. Или учили очень плохо. Я правильно думаю, что Ким стал профессионалом не благодаря, а вопреки институту? Ты сам, Коваль, Фоменко – у вас-то откуда школа? Вы из самоучек? О той школе, которую давал в ваше время МГПИ, сужу по Визбору и многим другим. Ты, когда читал переписку Визбора с Адой Якушевой, обратил внимание на их литературный аппарат? Едва заходит речь о поэтах, которых следует брать за образец, как возникают имена Виктора Гусева, Иосифа Уткина... Это же кошмар! Притом – ни единого упоминания о Блоке, Пастернаке, Ахматовой – ну просто ни о ком из Большой Семерки. А ведь Юраша кончил институт, это письма из армии. Кто вас учил? Я где-то читал, что ректором был Поликарпов, который более известен по высокой должности в ЦК. Уже в армии Визбор сам открыл для себя Леонида Мартынова, прекрасно, всё-таки мастер. Но это потолок. Гусев остался Учителем, это видно по Юриным стихам. Поклонники уверены, что при советской власти его не печатали за диссидентство, а этого же не было в помине, Визбор один среди нас был членом КПСС и очень старался напечататься в приличном журнале. Стихи не брали за уровень письма. Ты не пробовал напечатать его в «Юности», когда работал в редакции?

Ю. Р.: Тут ты попал в самую точку. Я и сам часто думаю над тем, как институт старался отбить у нас вкус к настоящей поэзии. Это хороший вопрос: «Кто вас учил?». У нас были отдельные хорошие пре-

подаватели, и они честно пытались делать свое дело. Но в целом у меня всегда было ощущение, что в институтском преподавании доминировала смоленская школа поэтов...

Д. С.: Это Рыленков, что ли?

Ю. Р.: Прежде всего Твардовский и Исаковский.

Д. С.: Так они совсем не противопоказаны.

Ю. Р.: Но получалось, что никакой другой поэзии в России как бы и не было. Юлий Ким возник вопреки царившим на факультете вкусам – благодаря своему чутью и русской классике. Все мы читали и любили стихи вопреки, а не благодаря институту. Меня спасла моя тогдашняя приверженность Цеху Поэтов. Петра Фоменко – его театральные поиски, далекие от существовавшего театра. Юрия Коваля – тяга к обериутам.

Д. С.: Извини, перебью. Как прозаика Коваля, мне кажется, сделали архангелогородцы – Шергин, Писахов.

Ю. Р.: Наверно. Но ранний стихотворный Коваль – от обериутов. Если же говорить о Юре Визборе, то ты прав. Ты знаешь, его даровитость была шире поэтического таланта. Она, как бы это сказать, более размыта, что ли. И у меня такое впечатление, что Юрка попросту не успел в институтское время, когда писал свои песни, узнать великую поэзию. Гусев же и Уткин, при всей справедливости твоих упреков, порой умудрялись сочинять строчки, которые хлесткостью своей запоминались и надолго оставались в памяти. «Если бумага к стене прибита, значит, бумага уже приказ!».

Д. С.: Ужас!

Ю. Р.: Чем не формула? Сочинена Гусевым, жива до сих пор. Разница между Кимом и Визбором заключалась в том, что у Юлика не могло быть непрофессиональных строк – только если он писал их нарочно! У Юры они попадались на каждом поэтическом шагу. Сама фактура его стиха, строго говоря, не профессиональна. По этим именно причинам, а не по каким-нибудь другим его нельзя было печатать в «Юности». А совсем не по политическим мотивам – для этого не было никаких оснований... Да и сейчас, когда всё напечатано, приходится, читая строки Юры Визбора, не выпускать из памяти его мощное обаяние. Это же, но в меньшей степени, относится к Владимиру Высоцкому, стихам которого тоже нужны вспомогательные подпорки – музыка, мимика, голос. А вот Булату Окуджаве это не требуется, у него и на бумаге, и лишенные гитарной струны стихи сохраняют поэтическую силу.

Д. С.: И Киму не требуется. Любителям бардовской песни эти различия не очевидны, и к разговорам такого рода они относятся крайне болезненно. Особенно поклонники Визбора и Высоцкого. Давай лучше не будем касаться этого предмета.

Ю. Р.: Давай не будем. Я знаю, что ты высоко оцениваешь Кима не только как паролье, то есть человека, пишущего для музыкальных произведений в театре и кино, но и как собственно лирического поэта.

Д. С.: В самом деле. Скажем, стихи из цикла «Письма Ирине» приоткрывают некую бездну, тайну. В песнях этого нет. Но песни Кима я тоже очень люблю.

Ю. Р.: Мне-то всегда хотелось, чтобы Юлик больше времени уделял лирике, а не прикладной работе.

Д. С.: Да она не такая уж и прикладная. Она у Юлика тоже для души.

Ю. Р.: Конечно, прикладная – это условно. И всё же мне кажется, что в маске Юлик чувствует себя совершенно свободным, а открытых лирических высказываний – побаивается. Что ты думаешь?

Д. С.: Что я могу думать? Прямое лирическое высказывание всегда голгофа. Разве у тебя не так? Потому и работаем в масках. Я тут уже вспоминал Таню Бек, так вот, в том самом послесловии она определяет творчество Кима формулой: потаённое целомудрие. Это точная мысль. Но художник принужден публиковаться, а публичное плохо совместимо с сокровенным. Или уж вообще не публикуй сокровенную лирику, как это делал Пушкин. Я зациклился на Таниной формуле еще вот почему. Буквально перед тем как прочитать ее статью, я записывался для канала «Культура», речь шла об истории любви Ады Якушевой и Юры Визбора, и я вполне спонтанно определил главную черту их любовных писем тем же самым словом – целомудрие. Наверно, это не случайное совпадение. Ты согласен, что целомудрие было вообще органичной чертой того времени? И что оно не было лицемерным? И что Ким, как никто другой, уберёг и защитил эту нашу традиционную ценность, приютил ее в нынешнем времени, которое более питательно для цинизма и распущенности?

Ю. Р.: Я бы даже сказал, что оно, это целомудрие, не такое уж у него «потаенное». При всем озорстве Ким никогда не бывает скабрезным. Это, пожалуй, вообще черта нашего поколения. В своем предисловии к переписке Якушевой и Визбора я тоже отмечал эту очень очевидную особенность – в присутствии Юры самые резвые пошляки осаживали свою прыть и растерянно умолкали. В этом смысле Ким – в одной шеренге с Визбором. Да и просто отличный вкус его никогда не позволял ему быть не по-хорошему двусмысленным.

Д. С.: Как ты думаешь, целомудрие у нас отняли навсегда?

Ю. Р.: Думаю, мода на цинизм минует.

Д. С.: Мне кажется, она уже проходит. Чем потрясал несчастный «Норд-Ост»? Только ли музыкальными, постановочными, исполнительскими дерзаниями? Нет, я сам не единственный раз вместе с дру-

гими зрителями, стоя, хлопал там в слезах добрую четверть часа – и я уверен, мы благодарили создателей великого спектакля не только за художественный подвиг, но и за подвиг гражданский. За отвагу, с какой они отстояли наши оплёванные ценности – презрение к предательству, гордость за отечество, готовность на подвиг и, не в последнюю очередь, чистую, целомудренную любовь.

Ю. Р.: Да ведь нецеломудрие – это и не просто откровенность, а грубое прикосновение к вещам, для многих потаенным или святым. Наше ханжество, царившее в советские годы, загонявшее любую эстетическую свободу глубоко внутрь, достаточно в последнее время получило по мозгам, чтобы общество успокоилось. Ну, пофигуряет какой-то период приязнью к мату и постельным сценам. Но ведь надоест. И тогда воцарится нормальное ко всему этому отношение. Я видел на днях ленту режиссера Серебряникова «Изображая жертву». Там персонаж, доведенный до отчаяния беспричинными преступлениями, минуты три говорит отборным матом. Это смотрится легко и весело, и в голову не приходит упрекать героя и автора фильма за нецеломудренное отношение к языковым средствам. Но дело не в мате. Дело в нормальном, подчеркиваю – н о р м а л ь н о м отношении Юлия Кима ко всему, что, так или иначе, может быть изображено с сальной усмешкой.

Д. С.: Вот что еще у Кима уникально – языковой диапазон. Его стихи – энциклопедия русской речи. В них все ее тембры, регистры и обертона, все просторечья и все новоязы, и локусы, и времена. Где хочу, перемешиваю. Где надо, стилизую.

Ю. Р.: Конечно, Юлик – гений стилизации. Глубина и разнообразие ее поразительны. Уже в его цикле песенок 1812 года это проявилось со всей веселой мощью. Бомбардиры, говорящие

А ну, ребята, пли –
Господь нас не оставит!

или кавалергарды, предупреждающие графинь, герцогинь, королев, что, мол,

Выступаем справа по три
Весело́, весело́.
Палаши мы вынимаем
Наголо́, наголо́ –

всё это точно, экономно, празднично. И конечно, смешно. За одно то, что Ким возвратил этому приёму достойное место в литературной работе, стоит его горячо поблагодарить. Я не знаю никого у нас, кто бы пользовался стилизацией так мощно и последовательно. А ведь стилизация еще недавно в устах критиков была чуть ли не ругательством.

Д. С.: Ты заметил, как часто в нашем разговоре возникало слово «уникальный». В смысле – не знаю никого другого, только он, Ким. Наверно, в этом суть.

Леонид Гомберг

МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ И БЫТИЕМ

К 85-летию Юрия Левитанского

Писатель Лев Разгон рассказывал, что однажды, увидев расстроенного и мрачного Левитанского, спросил у него: «Юра, что тебя печалит?» Тот совершенно серьезно ответил: «Несовершенство мира...»

Поэт часто повторял, что жизнь человека трагична от начала и до конца, поскольку люди, едва появившись на свет, обречены на неизбежное увядание, а потом и умирание.

Конечно, эти идеи Левитанского не были слишком оригинальны: всякий человек задумывался о бренности существования и прочих мало приятных реалиях бытия. Но Левитанский сделал эти свои мысли едва ли не главными в своем творчестве. Борьба с несовершенством мира, с уходящим куда-то и почему-то обратно не возвращающимся Временем стала центральной темой его поэзии зрелой поры. За двадцать с небольшим лет, с 1970 по 1991 годы, Левитанский опубликовал четыре книги стихов, каждая из которых представляет этап во взаимоотношениях поэта со Временем как одной из фундаментальных характеристик нашего мира. Разгадка феномена взаимосвязи мгновений и вечности на долгие годы становится основой его мироощущения.

Вообще, «книга стихов» была главной поэтической формой творческой работы мастера. Его книги, связанные незыблемой авторской задачей, больше напоминали поэмы или стихотворные повести, поскольку кроме сквозной идеи обладали своей неповторимой историей и даже фабулой – определенной последовательностью событийного ряда.

В книге «Кинематограф» (1970), например, Время свернуто в замкнутый цикл повествования. Жизнь представлена в виде движущейся киноленты с хроникой событий от осени к лету, за которыми поэт то наблюдает со стороны, то сам «участвует в сюжете». Почему с осени? Может быть, потому что приближающийся к пятидесятилетнему юбилею Левитанский именно эту унылую пору оценивает в качестве своей ближайшей перспективы. С господином по имени Время он пока что на «ты»: в его представлении это «бесстрашный художник», «мастер», едва ли не коллега, бескомпромиссно расписывающий человека до «последней муки», «самого последнего штришочка». Тема смерти пока не табуирована, она является уже в самом начале книги в своем явном обличии – «пал», «умер», «выбыл»... В последующие годы Левитанский не позволял себе так лихо разбрасываться словами. Смерть пока воспринимается поэтом не столько как переход в некое иное качество, сколько просто как отсутствие признаков существования.

В «Кинематографе» отчетливо зазвучала тема бездомности, бесприютности: *...у меня все было впереди, / не было лишь квартиры, / комнаты, / угла, / крова.*

И это, увы, не поэтическая метафора: такая ситуация и в реальности будет актуальной едва ли не до последних лет жизни. Не зря же Левитанский говорил, что вся его биография заключена в стихах; даже знаменитые сны из «Кинематографа», по его словам, снились ему на самом деле. Домом для него навсегда оставался весь мир.

В стихотворении «Взаимосвязи» поэт затрагивает такую важную для него тему как «человек и космос», ставя свое земное бытие в зависимость от неведомых космических процессов. Конец – это обрыв дороги, как обрыв кинопленки. Причина пока ему не ясна: просто где-то в далеком созвездии «небесное распалось вещество». Игра в прятки со смертью становится непременным условием его творчества.

В «Кинематограф» Левитанский включил одно из своих лучших стихотворений «Сон о дороге», где представил концепцию истории человечества как долгую чреду поколений, шествующих по единому для всех пути в бесконечность. В стихотворении зафиксирован роковой момент, когда и сам поэт присоединяется к общей процессии.

И тогда пошел я вслед за ними,
как в конце военного парада
с площади уходят музыканты,
завершая шествие его.

Правда, рядом с моделью «дороги» имеется и еще одна – «спирали». По Левитанскому, бесконечное поступательное движение всего человечества, а может быть, и вообще всего живого на свете, никак не противоречит закольцованности движения на малом временном отрезке – «нескончаемой спирали бесконечных кругов». А жизнь человеческая – это и есть то самое крошечное расстояние «от пункта А до пункта Б», на который мы пришли откуда-то и вскоре куда-то уйдем…

В книге «День такой-то» (1976) представлено качественно иное Время. Оно спрессовано в стопку дней, часов, минут и движется не по кругу, не от осени к новой осени, не от возникновения к исчезновению, а по вектору «приход – уход» и даже «восход – закат». Ведь жизнь – это, в сущности, всего лишь один день, всего лишь «именной билет», «пропуск» туда, *где больше нет календарей, / и нет ни декабрей, ни январей /, а все одно и то же время года.* Это еще и «восхождение» в мир, *где почти не имеет значения до или после, / и совсем не имеет значения когда и где…*

Однако поэт не желал, не мог смириться с мыслью об уходе в полное забвение, не хотел поверить, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Он не воспринимал всерьез идею принципиально иного мира, в котором «душа» обитает отдельно от «тела», и что вообще-то нет никакой надобности соотносить грядущее бытие «души» с нынешним человеческим состоянием, именуемым жизнью.

Так рождается иная концепция Времени, которая включает возможность «неокончательного ухода» или «второй попытки»: «Мы уже были, но мы еще будем потом…» От прежней спирали остается мысль о бесконечной зеркальной повторяемости событийного ряда истории – «все это прежде когда-то случалось…» Ситуация дежа вю, кажется, становится навязчивой. Едва ли не через страницу поэт повторяет: «все

это было, было, бывало...» Сущность поэтического творчества, таким образом, – это всего лишь «восстановление» или «воскрешение» стихов, которые жили когда-то в прошлом.

Время в системе координат, предложенной Левитанским в середине 1970-х, теряет вселенскую всеобщность; оно почти не существенно, поскольку важен только один прожитый день. В качестве зримой модели повторяемости времени, а стало быть, и человеческой жизни поэт предлагает песочные часы, которые некая Рука всякий раз переворачивает после того, как весь песок оказывается в нижнем конусе.

При этом Левитанскому чрезвычайно важно понять, что же представляют собой последние минуты здесь, «перед полетом в бездну, в пустоту», и первые минуты там, иными словами, момент перехода в небытие. Иногда «переход» носит характер фантастического путешествия в мире, где царствует «спокойное движение планет / по разобщенным эллипсам орбит». В другой раз это путешествие приобретает все признаки мифологического предания или даже народных сказок – загадочного путешествия «по черному руслу, по черной воде».

...Следующее творение Левитанского – и в самом деле фантастическое путешествие по мифам позднего средневековья.

В книге «Письма Катерине или Прогулка с Фаустом» (1981), посвященной его появившимся на свет в середине 1970-х годов дочерям, предпринята очередная попытка трансформировать Время. По сути дела факт нового рождения – это «передвинутые стрелки», «нарушение сроков», «разрушение привычных связей» и созидание новых; это и есть остановленное время, а точнее – время, беспредельно растянутое возникшей жизнью...

Повторяемость существования, «спираль» веков обогащаются новым качеством, некой едва слышной оптимистической нотой – «так, а все-таки иначе» – «стремлением быть всегда самим собой!..» Самоценность жизни, по Левитанскому, в том и состоит, что несомненно оставаясь частью общего, человеческая личность все-таки как-то ухитряется сохранять свою оригинальность. Окрыленному убедительной победой природы поэту (как же, родились три дочери!) финал больше не кажется таким уж неизбежным, хотя на всякий случай, будучи человеком суеверным, он предпочитает именовать небытие по-немецки – «ich sterbe».

Итог книги не то чтобы оптимистический, но все же умиротворяющий, без «черных птиц» и «белых метелей». Кажется, в конце 70-х годов Левитанский и в самом деле серьезно полагал, что ему удалось преодолеть время, ну не преодолеть, так обмануть: ему уже давно за пятьдесят, а у него родились дети – состоялось возрождение...

И, не чураясь фабулы вчерашней,
пока другая наново творится,
неповторимость этого мгновенья
в каком-то новом лике повторится.

Впрочем, это повторение в «новом лике» нисколько не отменяет затухающих колебаний импульса, растворения в бесконечности колец спирали, некоего последнего звука «нисходящей гаммы» «там, за чертой», иными словами, мифологических атрибутов его прежних книг:

...живешь на этом тесном пятачке,
в двух зеркалах бессчетно повторяясь
и постепенно в них сходя на нет...

Книга «Белые стихи» (1991) вышла в свет ровно через десять лет. За прошедшие годы в обществе случились перемены, по словам поэта, «под стать геологическим, которые происходят, может быть, раз в полтысячи лет». Немало перемен произошло и в его личной жизни. Наконец ему улыбнулось простое семейное счастье: он полюбил и был любим. Правда, жизнь поэта в ту пору была отягощена полной бытовой неустроенностью и какой-то социальной растерянностью. Он был не из тех, кто умел менять сущность бытия на средства существования.

В последние месяцы своей жизни Левитанский побывал в Израиле. Эта полуторанедельная поездка оставила в его сознании ощущение неких туманных перспектив в освоении новых пространственно-временных координат, которые, впрочем, так ощущениями и остались.

«Один из крупнейших поэтов современности – писала иерусалимская газета "Столица", – предстал перед нашей, если честно сказать, избалованной гастролерами аудиторией самим собой: ни эстрадных заготовок, ни путевых заметок. Естественность. Достоинство стиха и прямой речи. Даже в ответ на традиционное «Ваши впечатления об Израиле?» Мастер импровизировать не стал – он слишком хорошо знает, что такое Слово. "Для меня это слишком серьезно, чтобы сформулировать что-нибудь по сути всего за одну неделю, которую я здесь"»...

Несмотря на теплую израильскую погоду, зима оказалась необратимой.

«Белые стихи» Левитанского – не поэтическая форма, а формула существования во времени, это «зимняя книга» поэта. Да, конечно, после зимы обязательно последует весна, апрель, возрождение, но, скорее всего, это все-таки будет уже там, за горизонтом понятных событий. Поэту еще нет и семидесяти. Но зачем-то ему загодя понадобилась эта страшноватая церемония прощания.

Я пока еще здесь, слава Богу,
но близится срок
собираться в дорогу...
Простимся до Судного Дня.
Все птицы мои улетели, –

говорит он своей любимой в стихотворении «Предзимье».

В «Новогоднем послании Арсению Александровичу Тарковскому» поэт обращается к собратьям по перу – уже ушедшим и еще живущим:

...И вот я завершил свой некий труд,
которым завершился некий круг,
я кончил книгу и поставил точку...

Буквально через несколько страниц следует очередное послание – «Послание юным друзьям». Возможно, он имел в виду своих учеников...

Вот оглянусь назад – далека дорога.
Вот погляжу вперед – впереди немного.

И опять – из классической мифологии:

Старец Харон над темною той рекою
Ласково так помахивал мне рукою...

Диву даешься, с какой тщательностью он разрабатывает детали своего ухода, примеривая различные «погребальные» одежды – от греческой туники до скафандра космонавта. У Левитанского «прощание» становится новым поэтическим жанром, который поэт разрабатывает с беспрецедентным энтузиазмом и откровенностью.

Осталось все про все,
почти что ничего...
...немного помолчать
присев перед дорогой.
... ...
Спасибо всем за все.
Счастливо оставаться.

Это уже, кажется, обращение ко «всем» читателям.

Ну а после несколько затянувшейся церемонии расставания остается только предугадать и «предописать» свой уход, что Левитанский и делает в самом конце книги. Но именно потому, что к такому концу нас готовили давно, лет двадцать, а то и больше, это великое поэтическое произведение, страшное в своей запредельной неминуемости, не оставляет впечатления тяжелой безысходности...

На зыбучий этот снег
осторожно ставлю ногу,
и помалу, понемногу
след теряется вдали.
В белый морок, в никуда
простираю молча руки –
до свиданья, мои други,
до свиданья
до свида...

Неоконченное слово в конце книги – как гром среди ясного неба. Только так и могло окончиться затянувшееся прощание, чтобы не стать искусственно сконструированной церемонией похорон классика. Так и случилось через несколько лет: Левитанский шагнул в небытие, как и предупреждал заранее. Просто ушел из дома и не вернулся... Утром мы говорили по телефону, обсуждали новый поэтический сборник «Меж двух небес», а вечером его уже не стало.

Не раз Юрий Левитанский говорил, что благодарен судьбе за то, что она позволила ему дожить до начала будущего времени, увидеть «начало грядущих начал», которое, как он верил, последует за крушением тоталитаризма в России, – не сейчас, не «завтра», когда-нибудь.

Поэт как минимум дважды обманул «бренную» судьбу. Он, «уже там стоявший одной ногою», уцелел во время войны... А сегодня, уже в следующем веке, продолжает жить с нами в своих стихах.

Марк Харитонов

ДВЕРЬ, ОТКРЫТАЯ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

БАХ

Зерна, злачные остья, четвертушки, осьмушки
В тактовых разгородках, на иссохших листах,
Увлажненные слухом, прорастают –
божественный вздох!
Ветер волнует ниву, льется звучащий свет
Из сияющих облаков. Подъем по грузным ступеням.
Внизу осталась одышка, мерная мощь мехов
Соединилась с дыханием. Выше, выше! Над фугами
Травянистых холмов, измеренных в детстве шагами,
Над хребтами хоров, голосами заморышей-ангелов,
Над похлебкой из брюквы, недовольством начальства,
Над величием неуспеха.
«Трепет, слезы и горе».
Сердце измучено болью, зрение меркнет. Выше,
Выше, по лестнице в небо.
Все растворилось в звуках,
Как растворяется в вечности время – здесь
Правота и опора гармонии, счастье услышать,
Оставаясь всю жизнь неуслышанным. Имя забыто,
В богадельню ушла вдова, запустела могила,
Зерна нот затерялись среди бумаг, чтоб однажды
Прорасти в открывшийся слух – в жизнь после жизни.

ШИНЕЛЬ

Сорвана с плеч шинель. Глубже костей проник
Холод, уже нездешний. Нечем душу согреть,
Нечем ее прикрыть. Закручены снежной вьюгой,
Распались без оболочки, во мраке растворены
Строки или дома, дни, сложенные из букв,
Ровно, одна к другой, без единой ошибки,
Без заботы о смысле, только лишь с предвкушеньем
Завтрашних букв, из которых возникнет она – шинель.

Редколлегия «ИЖ» сердечно поздравляет нашего автора – прозаика и поэта Марка Сергеевича Харитонова с семидесятилетним юбилеем.

Сорвана с плеч шинель. Выдернуты из петель,
По снегу разбросаны пуговицы. Без скрепок
Расползаются очертания. Смешаны круговертью,
Уходят с шипящим звуком в рябящую черноту
Буквы, дома без окон, дни, прожитые ли, нет ли,
Проглоченные неощутимо, словно с мухами щи...
Дух травяной жвачки, теплый нечаянный ветер
Из лошадиных ноздрей на миг коснулся щеки.

Сорвана с плеч шинель. Освободилась душа –
Больше непрожитых дней этот предельный миг –
Вырвалась, чтобы очнуться где-то уже не здесь,
Вспомнить себя, обрести заново или впервые,
Складываясь из букв под чьим-то властным пером,
Морщины, нелепое имя, подслеповатый взгляд,
И, воплотившись сполна, живее еще живущих,
Ночами являться, пугая, из призрачной пустоты.

Уж не меня ли вспомнил? – тронет за плечи, скалясь. –
Ищешь рассыпанный смысл, сочувствуешь свысока
Бедняге, себе не чета? Надеешься заговорить
Жизнь, незаметно утекшую за таким же столом
В пятнах чернил? Тоже с пером в руке? А на плечах
Что у тебя? Не шинель? Скидывай все равно
Впустишь в себя, как истину, тот же холод,
От которого не укрыться, не убежать.

Сорвана с плеч шинель. Что остается? Перья,
Пара носков да пуговиц, стопка бумажных листов,
Исписанных ли, пустых, тоска непрожитой жизни,
Жалость – к кому? не к себе ли? Надежда соединить
Буквы, дни или мух, проглоченных вместе со щами...
Дух травяной жвачки. ветер из влажных ноздрей
Коснется на миг щеки. Добавишь хотя бы немного
В мир своего тепла, чтоб до конца не застыл.

ХАИМ СУТИН

Хаим – жизнь.

Курица оцепенела в руке местечкового резника,
Блеск ножа, вспышка яростной крови,
Крик застрял в перехваченном горле – кажется, навсегда

Жизнь – попытка освободиться, вытолкнуть крик.

Голый юноша с детской губастой улыбкой
Смотрит на чистый холст, как влюбленный на девушку,
Обмакнул осторожно кисть в красную краску –
Брызнула первая кровь, вскрикнул первый мазок.
Алая рана рта, нервно сцеплены пальцы,
Многоцветно пульсируют жилы, напряжены,
Беспокойно вздернуты плечи, взбудоражены складки,
Изумленье смещает черты, лицо живее, чем в жизни.

Мир неправилен, вздыблен, тревожен, если не омертвел.
Кисть в руке – сопротивление небытию. Ребе сказал:
Не изображай ничего, что имеет душу, это запрещено.
Краски вопят с холста: разве мертв натюрморт?
Пейзаж освежеванных тел, распятых, цветущих кровью,
Ритуальная бойня, молитва, заклинание боли.

Вскрыта земля, копошась, расползаются склоны,
Обнажены потроха цвета глины, пульсируют жилы дорог,
Взбаламучено, взбугрено небо, рощи срываются с места,
Деревья летят кувырком с горы, запутаны волосы-ветви,
Дома вцепились корнями в землю,
наклонились не в сторону ветра –
Против ветра, чтоб удержаться на крутизне.

Жизнь – попытка держаться.
Только с кистью в руке одолеваешь тревогу,
Если ты без нее – значит, спишь или пьян.

Хаим – жизнь.
Спит художник на просохшем холсте,
укрывшись едва просохшим.
Под ним и над ним вздымаются, дышат холмы,
Дорога, взобравшись на гору, повернулась, глянула вниз –
Кружится голова. Дома громоздятся на плечи друг другу,
Заблудилось под ними облако, освежеваны красные крыши,
Вздуты реки цвета рубина. В ущельях, рощах, оврагах
Проявляются вдруг обитатели – застигнешь врасплох,
Отведешь на мгновение взгляд – больше уже не увидишь,
Не сможешь вернуться, заблудишься в складках мира.

Хаим – жизнь.
Ты, наверное, много страдал? –
Спросят его. Я был счастлив всю жизнь, –
Улыбнется художник детской губастой улыбкой,
Спрятанный в катафалке, чтобы проникнуть в город,

Который сравнил однажды с телом, цветущим кровью,
Мимо постов оккупантов – и там умереть в больнице.

Кровь, наконец, прорвется.
Крик предсмертного счастья,
Молитва огненных красок будет звучать с холстов.

ПОЗДНИЙ ПИКАССО

Женщина и мужчина, соединенные чудовищной силой,
Поединок, корежащий, как коррида,
Выползшие из орбит глаза, оскал, поцелуй или пожирание,
Вдавленные одно в другое, перепутанные тела.
Чья тут рука, чья нога? Вместе несет в провал,
Где распадается разум, где все восторг или ужас,
Предчувствие неизбежного. Очнешься, вспоминаешь другое,
Называемое нежностью и красотой. Девочка ведет под уздцы
Усмиренного Минотавра. Художник посмеивается над собой:
Обессиленный карлик любуется пышной плотью,
Тычет кистью в округлости, в курчавую щелку.
Вот что прекрасно в искусстве – если забыть о безднах,
Лишь прикрытых поверхностью. Рука ведет кисть сама,
По ту сторону мастерства – от всего надо освободиться.
Обреченный бык, упрямый мужской бодец. Умиротворения нет
И на девятом десятке. Неизбежность покоя страшит,
Как разложение тел, как видение смерти,
Глянувшей однажды из зеркала. Измученные глаза,
Скорбный рот, оголенный череп автопортрета –
Желание до последнего сопротивляться,
Оставив потом в мастерской пустой белый холст,
Словно дверь, открытую в неизвестность.

РОЖДЕНИЕ АКВАРЕЛИ

Г. Э.

Первый мазок по листу увлажненной бумаги
Кистью еще без краски, прозрачным по белизне.
Отсвечивают очертания тела, изгиб бедра,
Нежные купы деревьев, набухшие облака.
Все уже видится ясно. Не огрубить бы теперь, не испортить,
Проявить прозрачное для других.

НАТЮРМОРТ

Бутоны в вазе с водой
Распускаются
Становятся цветами
Уже убитые
Другие в саду
Увядают раньше
Жить остается
Натюрморт

ПАМЯТНИК

Черное изваяние, тени снега
На голове, на плечах –
Негатив подменяемого все весомей,
Памятник вместо памяти.
Непоправимей
Может быть, лишь восковая фигура
С розовыми, как у живого, губами,
С той же окраской глаз,
С волосами от скальпа.
Страшнее
Был бы озвученный ходячий двойник,
Выращенный из клеток жившего тела –
Опухоль без памяти о душе.
. . . . . .
Не горюй, не томись испугом,
Памятники тоже не вечны,
Простоят еще тысячу лет, другую,
Имена сотрутся.

ВЕЧНОСТЬ

Галерея скульптур. Тема: «Вечность».
Материал: песчаник или песок.
Степень плотности не имеет значения,
Как и меры объема, веса,
Единицы времени или таланта,
Не говоря о подписях. Ветерок
Выдувает где песчинку-другую,
Добавляя оспин в лицо, где осыпет
Сразу струйку. Материал возвращается
Дюнам или пустыне.

ЕВРЕЙСКОЕ ПЕСНОПЕНИЕ

Сколько страсти в мелодии! Подпевает голосу скрипка,
Россыпь звезд откликается хором, шевелятся лунные травы.
Пусть слова языка непонятны – поет, восхищается сердце,
Отзываются струны смычку, воздух полнится дрожью и светом,
Заливает сияньем холмы. Как нас тянет друг к другу!
Слышишь? Музыка о тебе – песнопение нашей любви.

Говоришь, что слова не о том, что песнопенье – молитва,
Благодарение, *Алель,* Тому, кто нам явлен во всем,
Кто создал светило большое для дня, и поменьше – для ночи.
Я это услышал без слов: восхищение и благодарность
За то, что все в мире едино: сияние, полное тайны,
Благоухание трав под луной, священная песнь Суламифи.

Мелодия льется, течет.

РЕЗОНАНС

Среди невнятицы, разноголосья, шума
На ощупь ищешь, вслушиваясь, множишь
На шевеленье мысли трепет листьев,
Настраиваешь воздух, напряженный
Предчувствием и ожиданием. Сейчас!..
Струна откликнулась струне. Дрожь дрожью
Усилилась, окрепла. Всколыхнулась
Поверхность вод, волной пошла трава.
Совпало! Чувство встречи, узнаванья,
Единственности, камертон без фальши,
Мембрана чуткая открывшейся души.

Елена Аксельрод

ДВОР НА БАРРИКАДНОЙ

Я вспоминаю жизнь свою
и жизнь чужую.
На память – стершийся костыль –
я опираюсь.
Охранник-странник, тени вёсен сторожу я,
И тени зим в ладони тёплой собираю.

Но я опять в крутых объятьях лета,
Придет ли осень, и гадать не смею,
Но кличут тени, шелестит газета,
И бормочу о прошлом вместе с нею.

ПРИМЕТЫ ДЕТСТВА

Одно из первых воспоминаний – частные врачи, к которым по знакомству меня иногда водили. Не знаю, из-за каких таких хворей, скорей всего, постоянные ангины, гланды, как у всех интеллигентских детей. Врачи носили одну и ту же фамилию Хазан, хоть и не были родственниками. Значение этого слова мне объяснила бабушка, и я во время визита все ждала, когда же врач запоет… Первый Хазан был похожим на фотографию Менделе Мойхер-Сфорима в маминой книжке – белые волосы и бородка, жилет, очки. Добрый, улыбчивый, с мягкими руками. Помню большой портрет пятнистого красавца-дога на стене. Выстукивая, прослушивая, доктор просил меня смотреть на собаку, дог поворачивал голову вслед за мной, не отводя от меня коричневых, как у доктора, внимательных глаз… Второй Хазан – миловидная женщина с гладкой короткой стрижкой – напоминала сразу всех маминых подруг с минских фотографий.

Музыкой меня не мучили, не на что было. Да и пианино некуда было бы втиснуть. (О скрипочке, слава Богу, речи не заводили). Все мое дошкольное образование – книжки, домашние разговоры и уроки пышнотелой Анны Матвеевны; в ее «прогулочной группе» на Патриарших прудах я получила начатки французского языка, к которым долгое формальное обучение в школе и в институте почти ничего не прибавило. В «группе» я подружилась с мальчиком по имени Валя Никулин, потом он стал известным актером.

Недостатки образования возмещал «балетный кружок» в Клубе писателей на улице Воровского (Поварской – сегодня и позавчера), благо,

---

Редакция «Иерусалимского Журнала» сердечно поздравляет поэта и переводчика Елену Аксельрод с юбилеем и представляет фрагменты из ее книги воспоминаний.

недалеко ходить... Когда мне в детстве задавали ритуальный вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту, я без запинки отвечала: балериной или украинкой, в полной уверенности, что в обязанности украинки входит *украшать* голову (отсюда и *украинка*) венком с лентами и носить вышитые блузы, как на праздничных демонстрациях. Родители почему-то решили, что карьера украинки мне не светит, согласились на танцы, и водили меня на занятия в коричневый, с камином и нарядной лестницей Дубовый зал, до революции собственность княгини Олсуфьевой. Нынче, принадлежа формально Центральному Дому Литераторов, этот зал куплен дорогим рестораном, надежно охраняемым от литераторов дюжими молодцами во фраках... В балетном кружке я сразу стала примабалериной, и мне была доверена роль Красной шапочки. Алые фартучек и шапочку мне сшила из двух сатиновых пионерских галстуков наша руководительница. За неимением тапочек и я, и моя рослая партнерша-Волк танцевали в носках. Успех был грандиозный... Зрители-родители не скупились на аплодисменты. Кстати, мечта о венке с лентами и кофточке с вышивкой сбылась, что подтверждает фотография, где я в круге так же наряженных девочек пляшу гопак.

Водились и другие развлечения. Мы жили рядом с Зоопарком, а там, кроме зверей в клетках – мне было скучно смотреть, как они ходят взад-вперед за барьером (не оттуда ли нелюбовь к клеткам на всю жизнь, даже сетки от комаров на окна не ставлю) – было и еще кое-что заманчивое. В первую очередь, маленькие послушные лошадки-пони, запряженные в тележку. Родители усаживали меня рядом с незнакомыми мальчиками и девочками, лошадки бежали, колокольчики на сбруе звенели, тележка тряслась. А у входа в Зоопарк продавали красных липких петушков на палочке, они сосались долго, до самого дома. «Петушки» и конфеты «Раковая шейка» были моими самыми любимыми лакомствами, впрочем, других не припомню. Эти «петушки» бессмертны. Много лет спустя я баловала ими маленького сына, а он потом свою маленькую дочку, да и сейчас, в Израиле, они радуют детишек. Такого мороженого, какое продавалось у Зоопарка, я позже не видела, на чудо его приготовления смотрела, завороженная: сундук на колесах, в нем два ведерка, в одном – круглые вафельки, в другом – сладкий холод, которым мороженщик в халате, белом, как у доктора, прослаивал вафли, оглаживая края сверкающей на солнце лопаточкой. Об этом мороженом написал Маршак, и я, облизывая вафельный кружок, приговаривала: «По дороге – стук да стук – едет крашеный сундук».

Из нестирающихся, хоть и поблекших от времени воспоминаний: деревня Трактомирово на Днепре, куда мы с мамой, папой и редактором журнала «Пионер» Беньямином Ивантером, который подкармливал иллюстрациями многих художников, приехали на лето 1939 года. С фамилией «Ивантер» связан комический эпизод. Однажды ее владелец получил телеграмму по адресу «трактомирово тчк ивану третьему». И дошла ведь. Наверно, больше некого было заподозрить в царском происхождении. Но ведь и я называла его Ивантером, воспринимая эту фамилию как имя.

Мама и Ивантер переводили повесть Шолом-Алейхема «С ярмарки», отец писал соавторов за работой и пейзажи – бабы с коромыслами

на фоне белых хаток, рассыпанных по зелено-желтым холмам, а я болталась с деревенскими ребятишками. Они приняли меня как свою и однажды подговорили забраться с ними на чердак, где в ведрах хранились семечки. По темному скрипучему чердаку, еле освещенному пробивавшимися сквозь щели лучами, мы крались ползком, наш верховод первым наткнулся на ведро, которое с предательским звоном опрокинулось. Мы даже не успели семечками набить карманы, только пятки сверкали. Как наказали деревенских, не знаю, наверно, выпороли; мне устроили нагоняй, впрочем, по обыкновению, не слишком суровый. Да и не до того было. На следующее утро я проснулась от дикого вопля, донесшегося с берега. Я уцепилась в разбуженного папу и потащила его на реку. Бабы сгрудились вокруг матери нашего вчерашнего зачинщика, она, содрогаясь, выла и причитала над его телом, вытащенным из Днепра. Это был первый и, кажется, единственный утопленник, виденный мною в жизни... А через несколько дней выла и стенала уже вся деревня: провожала сыновей и мужей на Финскую войну. Уезжали мы из Трактомирова в поезде, набитом солдатами.

До сих пор ума не приложу, куда отец мог втиснуть мольберт, где он писал двухметровые картины: то ли в Минске в покосившейся хибаре своих родителей, то ли в Москве на первом этаже деревянной двухэтажной развалюхи, где мы теснились в двух смежных комнатушках вчетвером: в семиметровой – отец с мамой, в одиннадцатиметровой – я с бабушкой. Окна почти упирались в землю, деревянные столбики подпирали потолок, а до потолка отец мог рукой достать; кривобокая голландка захлебывалась сырыми дровами, но судорожный огонь ее давал ощущение тепла и уюта. Я любила, сидя на тахте рядом с папой смотреть на тлеющие головешки, по которым он постукивал кочергой. К тому, что зима пахнет гарью, мы привыкли.

В обязанности отца входило пополнять запасы дров (он получал их по талонам и привозил на извозчике), колоть их во дворе у общего сарая, откуда они растаскивались неимущими обитателями нашего длинного горбатого двора, по которому были разбросаны прогнившие двухэтажки, заслоненные с улицы восьмиэтажным кирпичным монстром.

В глубине двора, куда я добегала редко, т.к. боялась попасться на глаза дразнящим меня зловредным мальчишкам, красовались еще два кирпичных дома, в одном из которых впоследствии «Московский Областной суд» судил Синявского и Даниэля, – вот и пришлось «добежать», не пугаясь некоторых из этих мальчишек, выросших и поднаторевших в зловредности...

Дровами топили и кухонную плиту. На ней стряпали нехитрые яства бабушка и соседи. Впрочем, те предпочитали холодные закуски. Плита служила и для обогрева кухни – вход в нее был прямо с улицы, а вход в нашу с бабушкой комнату – из кухни. Никаких «излишеств» вроде горячей воды, ванны, телефона, радио, даже дверной звонок казался мне чудом цивилизации – мы отворяли наружную дверь на условный трехкратный стук. Умывались по утрам холодной водой над проржавевшей раковиной в той же кухне, купали меня в лохани или в тазу, разогрев на печке ведро воды и отодвинув стол в комнате, а если соседи отсыпались

после очередных гулянок, располагались на кухне. Многие рисунки отца запечатлели такие купания, которые, почему-то вызывали неудовольствие застигнувших нас на месте преступления соседей – девицы не самых строгих правил, которую весь двор звал Веркой, и ее строгого – очки и эспаньолка – родителя, отставного бухгалтера Ивана Фролыча, украсившего дверь своих трехкомнатных покоев, выходивших в ту же кухню, медной табличкой с замысловатыми вензелями: «Профессор И. Ф. Рынгайло».

Мать Верки – Татьяна Степановна – рано состарившаяся, ходившая всегда в одной и той же вылинявшей юбке и неопределенного цвета кофте, больше походила на прислугу «профессора», чем на его жену. Была незлобива, но нечиста на руку и на ногу – у наших гостей частенько пропадали галоши, оставленные за дверью, и перчатки, торчащие из карманов пальто. Татьяна Степановна галоши и перчатки возвращала по первому требованию, сваливая похищение на Джека – черного беспородного щенка. Может, он и был вороватым – кто их разберет? Но как дотягивался до карманов?

Во время почти ежедневных Веркиных попоек Татьяна Ивановна быстро затихала, а «профессор» подробно матюкался. От соседей нас отделяли звуко-отлично-проницаемые фанерные стенки, может быть, поэтому я до сих пор вздрагиваю при звуках вполне цензурной нынче брани. Рыжая размалеванная Верка любила творческую интеллигенцию, хвастала, что отцом ее синеглазого неприкаянного Алика, путавшегося между ногами у гостей, то Веркиных, (от которых он норовил поскорее улизнуть), то наших, был известный актер, в кухне я часто сталкивалась с широко улыбавшимся мне, всегда нетрезвым Петром Алейниковым, рубахой-парнем из кинокомедий. Увлечение искусством дошло до того, что в нашей квартире на правах Веркиного мужа поселился «художник» Гапошкин (чем не «достоевская» фамилия?), краснорожий потертый алкаш, малевавший олеографические «видики», которые он кому-то сбывал, и постоянно пристававший к отцу с «профессиональными» разговорами. Так вот, каким-то непостижимым образом над картинами отец умудрялся работать в семиметровой «спальне», во всяком случае, над колоссальным количеством эскизов.

Наверно, крупных, сюжетных картин, которые он хотел писать, было бы значительно больше, если существовали бы условия для их создания, если бы не вечная теснота, преследовавшая его всю жизнь. Когда в конце тридцатых появилась 18-метровая мастерская на Масловке, казалось, сам Бог велел писать картины. Но не было ни заказов, ни охоты – картинный жанр был скомпрометирован хлынувшим, как из рога изобилия, раскрашенным официозом…

Возвращаюсь на Баррикадную. Трехкратный стук в наружную дверь раздавался по вечерам почти ежедневно. Приходили художники, рассаживались на моей кровати, на бабушкином диване, на двух-трех табуретках. Отец показывал новые работы, ставил их на единственный стул, подпирая картоном, потом рисовали друг друга или просили кого-нибудь позировать, частенько это были мама или я, или затесавшийся в компанию художников литератор или актер. Из гостей-писателей я больше всех любила Льва Квитко, он был «своим», славным, простым,

веселым. Мягкие черты лица, пухлые губы, чуть вздернутый нос. Обычно молчаливый, он сажал меня на одно колено и, покачивая в ритме стиха, читал что-нибудь новое, детское, иногда в русских переводах. Так я впервые услышала известное стихотворение «Из Бембы в Дрембу», сначала в оригинале, потом в переводе Елены Благининой…

Мама накрывала на стол, неизменно подавался чай с баранками или сушками, другими яствами лакомились редко, художников в то время прикрепляли к кооперативам, где они получали скудный паек…Быта никакого не было. Ни мебели, ни посуды, о которых можно вспомнить, ни подробностей интерьера, ни гастрономических воспоминаний. Чай пили из граненых стаканов. Впрочем, художница Полищук-Гусятинская подарила нам две белых с супрематистским рисунком чашки (на белом фоне черные разбегающиеся линии) …У отца на редких натюрмортах мой тряпичный клоун в красном колпачке, яблоко (значит, появлялись в доме и яблоки!) да одна из любимых им дымковских «барынь», правда, есть еще «портрет» неведомо как попавшего в наш дом венского стула – круглое деревянное сидение и спинка, как лира. По торжественным случаям гостям подавались черный свежий хлеб и масло.. А разговор всегда шел об искусстве, о выставках и книгах. Заработки, дела, политика – казалось, это никого не интересовало, хотя судя по письмам, это не совсем так. Во всяком случае, от озабоченности хлебом насущным деться было некуда. Но об этом не говорили. Работы судили заинтересованно и строго, откровенно ругали, откровенно хвалили. Художников этого круга связывала тесная, бескорыстная дружба, без ревности и зависти… Успеху другого искренне радовались. А успехом была только удачная работа, ничего внешнего. Если подворачивался «заказ», старались привлечь к нему кого-нибудь из друзей…

Дома часто звучали еврейские песни, не те набившие оскомину, которые сейчас заполонили эстраду, а подлинные, народные, исчезнувшие во время Катастрофы, или песни Пульвера из спектаклей ГОСЕТа, сгинувшие вместе со всей идишской культурой. Я замирала от жалости и страха, когда мама и Ширка Горшман пели песню коварной Бабе-Яхне из спектакля «Колдунья»: «*Кум, кум, кум цу мир, кум цу мир, тохтер майне…*» («Иди, иди, иди ко мне, моя доченька…») В Московском ГОСЕТе в роли колдуньи блистал Зускин, мама рассказывала, как встретила его на Тверском бульваре – он шел ей навстречу, никого не замечал, играл тросточкой и, пританцовывая, напевал эту зазывную песенку. Каких «колдунов» он зазвал к себе, хорошо известно…

КАЗАХСТАНСКАЯ ПУРГА

Осенью 1941 года Литфонд эвакуировал писательских детей в Чистополь. Родители снарядили в дорогу и меня, собрали мои вещички, но когда мы втроем с мамой и папой подошли к составу, куда втаскивали упирающихся детей, я прокричала мелодраматическую фразу, решившую мою судьбу: «Лучше бросьте меня под поезд!». Этого родители не выдержали, мы вернулись домой, но вскоре отец отправил маму, бабушку и меня в Тамбов – тот же Тамбов, где по странному совпадению

семья Аксельрод спасалась от Первой мировой войны, – а сам остался в Москве, продолжая поиски арестованного (и к тому времени уже расстрелянного) брата Зелика и ожидая призыва в армию. Пока же работал над антифашистскими плакатами и иллюстрациями для журналов. В армии прослужил недолго, т. к. Сергей Эйзенштейн отозвал его для участия в работе над фильмом «Иван Грозный». Киностудия «Мосфильм» эвакуировалась в Алма-Ату, куда мы всей семьей и отправились в теплушке (опять в теплушке, как изгнанная из Белоруссии семья в 1915 году) через Урал, Сибирь, Северный Казахстан.

Из моего «теплушечного» дневника:

14 ноября 1941 г. Сегодня в 6 утра проснулась, поезд стоял. Через полчаса поезд пошел, проехал 15-20 минут и стал. Сказали, что поезд будет, наверно, стоять три дня. Мама очень испугалась и сказала, что если он будет так долго стоять, у нас не хватит хлеба и мы умрем с голоду, а папа сказал, что доедем... Папа и две девочки пошли за водой. Они пришли с замерзшими руками, и обе девочки плакали, но воду все-таки принесли. Папа пошел кипятить воду, а я тем временем рисовала, я нарисовала Северный полюс. Потом папа принес чай с хлебом. В 8 часов я легла спать (поезд все стоял). Это было под Новосибирском.

16 ноября... Мы пили чай с крошками, а эти крошки были вот откуда. У нас была мука. На станции Дема бабушка испекла хлеб, который остался недопеченный. Хлеб распался на крошки, в поезде их подсушили. Вот история этих сухарей. Потом приходил к нам в вагон машинист и говорил, что следующая станция Черепаново, там поезд будет стоять полтора часа и что там есть буфет и будут обеды с хлебом... Потом в вагон начали взбираться новые люди (польские евреи), а проводница не хотела их пускать, а они, бедные, с отмерзшими руками и отмерзшими ногами. Но они дали проводнице денег, и она их впустила. Они уже третий год в дороге. На следующей станции мама сказала, что продают семечки, я тогда позвала папу, и он пошел покупать, но уже не хватило. Потом поезд приехал в Барнаул, там опять начали входить к нам в вагон новые люди. Был целый скандал, потому что уже на головах сидели. К нам на скамейку тоже сели еще два человека...

Что касается «польских евреев», писателей, художников, бежавших из оккупированной Польши, отсидевших (или еще не отсидевших) в советских тюрьмах – с этими людьми странного непривычного облика – обноски со следами былой элегантности, щеголевато переброшенные через плечо истрепанные длинные шарфы – отца связала надолго тесная и преданная дружба...

После трех месяцев скитаний в теплушке мы добрались до Алма-Аты. Помню, как мы с мамой отправились навестить обосновавшегося там художника, друга отца еще по Вхутемасу. Отдельная благоустроенная квартира – я таких и в Москве не видела. На обширном подоконнике теснятся банки с домашним вареньем. Мама просит хозяйку – благообразную, рассыпчатую Любовь Семеновну – уложить меня где-нибудь. Та, потупив глаза, отвечает: «По правде говоря, я боюсь сыпняка». А я, изголодавшаяся, не могу оторвать глаз от варенья на подоконнике. Хнычу, зарывшись в мамину юбку: «Хочу чего-нибудь сладенького». Хозяйка, поймав мой взгляд: «О сладком, деточка, забудь». Мама сгре-

бает меня в охапку, и мы убегаем в свое саманное пристанище на окраине города, где нас ждали папа с бабушкой. В конце концов нас втиснули в крошечную комнатку в помещении местного Союза писателей – сначала вместе с эвакуированной из Ленинграда семьей писателя Александра Хазина (тот самый «некий Хазин» из знаменитого доклада Жданова). Он приезжал к семье на побывку, отец написал его портрет. Жену Хазина с маленьким Вовчиком – черные глаза в половину лица (сохранился и его портрет) – отселили, а у нас на полу и даже на столе постоянно ночевали «поляки».

Только одного из наших алма-атинских гостей я избегала и боялась. Забулдыга, невесть откуда взявшийся, в длинном плаще нараспашку, пляшущая походка, аристократическое (не еврейское) грассирование. Попрошайка с изысканными манерами. Клянчит вещи самые неожиданные: «Меер Моисеевич, сделайте одолжение, подарите мне, пожалуйста, одну галошу...» Вторую галошу он, наверно выцыганивал у кого-нибудь другого, рассудив, что с одной галошей расстаться легче – все-таки что-то остается на память. Часто просился ночевать. Спал, скрючившись, на столе. Весь серого цвета – серая помятая шляпа на серых волосах, серый плащ, накинутый на серое рванье свитера. Я страшилась его, как крысы, а крысы были главным кошмаром моего существования в Алма-Ате.

Нашими соседями по Союзу писателей оказались Юрий Смолич и Наталья Забила с Украины, Кагановский из Варшавы, кинорежиссер Григорий Рошаль и его жена Вера Строева, Цвирка из Литвы. Этого помещения добился Маршак, славившийся своими организационными способностями; он раздобыл для вывоза из Москвы нескольких именитых деятелей искусств спальный международный вагон. В нем, как рассказывала вдова Льва Квитко Берта Самойловна, разместились трое Кукрыниксов с семьями, академик Лина Штерн, скульптор Чайков с женой, Маршак с женой и младшим сыном и трое Квитко. Все они, благодаря тому же Маршаку, были прекрасно, в отдельных квартирах, размещены в Алма-Ате, где также нашли приют писатели Харджиев и Паустовский.

В Союз писателей привозили иногда на машине, а порой и на вороном кавалерийском жеребце национальную реликвию – почти столетнего акына Джамбула, воспевателя дружбы народов и советской власти. Его усаживали дремать в каком-нибудь укромном уголке во дворе, а в это время многочисленные секретари звонили по инстанциям, требуя от имени Джамбула разных насущных благ, к примеру : «Джамбулу требуются двадцать пар лакированных сапог». Однажды ночью, уложив патриарха спать, челядь разделала во дворе его жеребца. Джамбул «кормил» не только секретарей, но и эвакуированных переводчиков (не жеребцами, а гонорарами). В том, что он действительно что-то сочинял, я и жильцы Союза писателей могли убедиться, когда в один из приездов его усадили в кабинете, сунули в руки домбру и он, полураскрыв выцветшие хитроватенькие глазки, пробубнил, обращаясь ко мне, вытолкнутую вперед по малорослости (переводила собравшимся одна из секретарш): «Ты еще мала, а я уже стар. Ты не знаешь, кто я, а я не знаю, кто ты. Но скоро ты вырастешь, и узнаешь, кто я, а я узнаю, кто ты» Не уверена, что сей провидческий опус опубликован, но в первой своей

части он сбылся, и я узнала, «кто он» и какой еще и по живым и точным рисункам отца. Нам повезло. Живя в помещении Союза писателей, мы имели возможность видеть не только Джамбула, но и более молодых классиков казахской советской литературы – толстяка Муканова и подтянутого «европейца» Тажибаева, всегда появлявшегося в сопровождении безмолвной красавицы-жены. Что же касается менее именитых «джамбулов», мы их слышали и видели на айтысе – состязании акынов в местном оперном театре: на сцене сидели полукругом несколько песнопевцев разного возраста в полосатых халатах и разноцветных треугольных шапочках и по очереди, терзая домбру, тягуче бубнили что-то архипатриотическое. Папа, конечно, их рисовал...

Хотя «Иван Грозный» поглощал львиную долю времени, сначала эскизы стенной росписи, потом выполнение самой росписи – 80 кв. м. – отец умудрялся писать портреты и пейзажи. Главным художником фильма был Иосиф Шпинель. Рассказывали, что некий высокий церковный чин, посмотрев роспись, воскликнул: «Какова же власть Всевышнего, если Он дал иноверцам такую силу, чтобы восславить Его!»

Отец мечтал о Москве, тяготился эвакуационной жизнью, но «грозный Иван» держал мертвой хваткой.

К слову сказать, были и среди писателей предприимчивые люди. Так, Иван Владимирович Андреев (не путать с Грозным Иваном), по прозвищу «Один Иван среди евреев», широкоплечий красавец с профилем Остапа Бендера, который Ивану Владимировичу в подметки не годился бы, прославился не своими литературными трудами, а грандиозной аферой под названием «День танка». По всему городу были развешаны кричащие афиши: «Все для фронта! Жители Алма-Аты за победу над фашистской Германией». В программе народное гуляние в городском парке, выступления московских артистов, аттракционы, игры, угощение и – главное – беспроигрышная лотерея. Обещаны богатые выигрыши: каракулевые и котиковые манто, пыжиковые шапки, шелковые и шерстяные отрезы, часы, вина и пр., и пр. Билеты на праздник и лотерею отнюдь не бесплатные, не помню, сколько они стоили, помню, что дорого и что на продажу их были мобилизованы эвакуированные писательницы и писательские жены. Мама, улыбчивая и общительная, сидела под разлапистым платаном на парте, вытащенной из школы, где я училась, и бойко продавала лотерейные билеты, складывая вырученные денежки в ларчик с казахским орнаментом. Только любовь к танковым войскам могла ее заставить согласиться на эту нагрузку при ее отношениях с арифметикой, даже я складывала и вычитала проворней – при любой мало-мальской покупке ее надували со сдачей...

Праздник удался: люди гуляли, московские кинозвезды – Жаров, Целиковская, Кадочников – блистали, лотерейные билеты раскупали, танковые войска крепчали. А на следующий день Иван Владимирович со всеми обещанными шубами, шапками, часами, отрезами и немалыми деньгами исчез, испарился, след его простыл и где обнаружился, мне неведомо. Но шуму было много... Лишь во время военной неразберихи все причастные к «празднику танка» могли избежать судебного преследования...

КАК ВЫ СЮДА ПОПАЛИ?..

Я училась на литературном факультете Московского Городского Педагогического института, куда вовсе не хотела поступать, но в 1950-м году с моей фамилией соваться в университет было бессмысленно, а в МГПИ нашлось «знакомство», за меня замолвил словечко Евгений Борисович Тагер, который вел там спецкурс по Горькому.

Я была единственной студенткой «еврейской национальности» на курсе и, конечно, без заступничества Тагера меня бы не зачислили, как не зачислили Майю Улановскую, с которой мы вместе поступали в институт и до сих пор дружим. Она мало того что еврейка, так еще и дочь репрессированных родителей, и на свет появилась в Нью-Йорке. Чему эта чернявая девушка с косичками могла научить советских детей? Майя, получив двойку за сочинение и оказавшись вне института, приходила к нам на Баррикадную и надолго утыкалась в какую-нибудь случайно обнаруженную книгу. Через некоторое время она стала появляться реже, обрезала косы, лихо прикуривала от отцовской «Примы» и настоятельно звала посещать вместе с нею «философский кружок». Осторожная мама меня в этот кружок не пустила, и Майя исчезла…

В «Семинаре молодых переводчиков» при Союзе писателей я познакомилась с Романом Сефом, недавно вернувшимся из лагерей, где он умудрился выучить английский язык… Семинаром по зарубежной поэзии руководили Сергей Шервинский и Вильгельм Левик; семинаром, занимавшимся переводами стихов с языков СССР – Давид Самойлов и Мария Петровых. Посещали семинар Александр Ревич (старший из нас, фронтовик), Евгений Солонович, Асар Эппель, Нина (тогда Нинель) Воронель, Павел Грушко, Андрей Сергеев, Евгения Аронович и еще многие молодые литераторы, пробовавшие себя в художественном переводе. Так вот, Роман Сеф предложил мне однажды пойти вместе с ним на день рождения своей приятельницы. Пообещал, что будет интересно. Мы пришли в многоэтажный дом неподалеку от метро «Красные ворота», позвонили в дверь одной из квартир, и нам открыла… Майя Улановская, опешившая, как и я, от этой неожиданности. Мне показалось, что она мало изменилась, только еще худее стала, а открытая улыбка та же, и короткая стрижка, и хорошо запомнившийся низкий голос. В тот вечер я познакомилась с ее мужем Анатолием Якобсоном и ее родителями, недавно возвратившимися после долгого отсутствия Надеждой Марковной и Александром Петровичем…

…Когда я пришла сдавать зачет Сергею Михайловичу Бонди, который вел у нас семинар по творчеству Пушкина, он, сразу поставив мне зачет и недоуменно улыбаясь, спросил только об одном: «Как вы сюда попали?» Была свежа в памяти борьба с космополитами, когда прорабатывали и его самого, и Леонида Гроссмана, лекции которого по русской литературе мне удалось услышать, и Леонида Пинского, блестящего ученого, крупнейшего специалиста по западной литературе, которого, к великому сожалению я уже не застала, он был арестован в 1951 году. Почему не тронули Леонида Петровича Гроссмана, автора знаменитых «Записок д,Аршиака» и романа «Рулетенбург», посвященного Достоевскому, творчеством которого он занимался долгие годы, до сих пор ка-

жется мне чудом. То есть его, конечно, «тронули», требовали выступить на кафедре с публичным покаянием и отречением от Достоевского, который в своих романах опрометчиво не учел требований советской идеологии. Но Леонид Петрович громогласно заявил проработчикам: «Ничто не может заставить меня отказаться от моего кумира». И уцелел, и входил к нам в аудиторию широкими шагами, величественный, прямой, высоко неся свою седую голову…

ТАК НАЧИНАЛИСЬ ПЕРЕВОДЫ. ШЕРВИНСКИЙ

В 1955 году я перевела несколько рассказов Шолом-Алейхема. Конечно, первым моим советчиком и строгим редактором была мама, знавшая творчество Шолом-Алейхема как никто другой, написавшая о нем монографии и статьи, предисловия к собраниям его сочинений, много его переводившая. Она состояла в редколлегии шеститомника Шолом-Алейхема на русском языке и надумала привлечь к переводам его рассказов Зощенко, Всеволода Иванова, Паустовского, за что ее и погнали из редколлегии: всяк сверчок знай свой шесток!. Перевод одного из рассказов по настоянию мамы все-таки поручили Зощенко…

Сергей Васильевич Шервинский редактировал для Гослитиздата «Антологию румынской поэзии». Составитель антологии Абрам Садецкий порекомендовал С. В. привлечь меня к переводам. И Шервинский, перед которым я благоговела, зная его как переводчика Софокла, Катулла и Овидия, Гете и Ронсара, как свидетеля «серебряного века», мало того, как друга Ахматовой, подолгу жившей у него в наследственной усадьбе Старки под Коломной, пригласил меня к себе. Визит к Шервинскому определил мое существование на долгие годы. Трепеща, я переступила порог особняка в Померанцевом переулке. Мне навстречу, приветливо улыбаясь, вышел немолодой, подтянутый, чуть сутулившийся человек с совершенно голым черепом, с аристократичным, удлиненным лицом, немного похожий на Вертинского, как мне показалось. Он усадил меня в кресло в кабинете, по одной стене застекленные шкафы с книгами на разных языках – Шервинский переводил и Низами и Хафиза, и современных армян и таджиков, на другой – картины. Я впервые увидела Коктебель Волошина, в изобилии украшавший стены, хотя в «Коктебельских стихах» молодой Шервинский когда-то написал: «Сегодня Макс читает. Будет скучно / Не каждый день к стихам наклонен ум. / В десятый раз уж внемлешь равнодушно, / Как пострадал пресвитер Аввакум»… Ирония однако не касалась живописи Волошина.

В доме Шервинских не было ничего привычно-советского… Может быть, этот особняк принадлежал еще отцу Шервинского – знаменитому московскому эндокринологу… Хозяин дома расспрашивал о моем житье-бытье, поначалу я робела, но он был настолько внимателен и участлив, будто никакой ни возрастной, ни культурной пропасти между нами не существовало, а когда оказалось, что он знает работы моего отца, я совсем осмелела. Ведь Сергей Васильевич был еще и историком искусства. К концу разговора он предложил мне на пробу несколько сонетов румынского классика Панаита Черны, вручил оригиналы (по-румынски

я немного читала) и подстрочники и повел меня чаевничать с его черноглазыми, статными и очень похожими друг на друга женой Еленой Владимировной и дочерью Катей.

Я корпела над переводами целыми днями, и спустя неделю снова сидела перед Сергеем Васильевичем. Он сразу прочел рукопись, сделал несколько замечаний, указав на неточные рифмы, немного поговорил о строгости и чистоте формы, о свободном и бережном отношении к языку не только в оригинальных стихах, но и переводах и ...предложил мне перевести еще тысячу строк румынских классиков. От современных стихотворцев, как две капли воды похожих на советских, уберег. Это был мой первый крупный переводческий опыт и первые уроки владения стихом, полученные у крупнейшего мастера. Между делом, в разговоре он тактично и мягко поправил неправильные ударения, и я навсегда запомнила: не мастерски, а мастерски, не завидно, а завидно...

Одна характерная деталь. Отец, беспокоясь о моем будущем, подумывал, не взять ли мне псевдоним. Я попросила совета у Сергея Васильевича. Он возмутился: «Зачем? У вас такая звучная фамилия!» Живший в своем отдельном мире, чуждом окружающего негодяйства, он действительно не понимал, з а ч е м мне псевдоним.

...Парадоксально, что Сергей Васильевич познакомился с моими стихами раньше, чем я – с его. Он всю жизнь писал, его исторический роман «Ост-Индия» появился более полувека тому назад, книги его оригинальных стихов изредка выходили начиная с 1916 года, но я увидела только сборник его стихов и воспоминаний, изданный в 1997-м, через шесть лет после его смерти, и почему-то в Томске. Правда, в периодике в разное время я встречала его работы о Пушкине, о «Слове о полку Игореве». Но, конечно, читателю Шервинский, прежде всего, известен своими классическими переводами античных классиков.

ЗАГАДКА АЛЕКСАНДРА АРОНОВА

Остановиться, оглянуться,
Внезапно, вдруг, на вираже,
На том случайном этаже,
Где нам доводится проснуться.
Ботинком по снегу скребя,
Остановиться, оглянуться,
Увидеть день, дома, себя,
И тихо-тихо улыбнуться.
Ведь уходя, чтоб не вернуться,
Не я ль хотел переиграть:
Остановиться, оглянуться,
И никогда не умирать.

Александр Аронов

Сколько «правильных», нужных поэту при жизни слов сказано об Александре Аронове посмертно! Но почему посмертно.? Пишут друзья, собутыльники, стихотворцы, называющие себя его учениками, коллеги по «Московскому комсомольцу», где он почти 30 лет был лучшим обозревателем, имел свою колонку и печатал молодых в руб-

рике «Турнир поэтов» и немолодых – в приложении «Стихи в газете», где у него был особый режим – мог даже не ежедневно являться в свой газетный закуток. Некролог, горький, нестандартный, подписали сплошь знаменитости. Почему же Саша, который, казалось, был поэтом с рождения, у которого не припомню «ученических» стихов, издал первую свою книгу в 1987-м, когда ему перевалило за пятьдесят, а известен и сейчас, когда уже изданы три книги, песенкой «Если у вас нет собаки...» и строчкой «Остановиться, оглянуться...» Да известен ли? Многих спрашивала об авторе, пожимают плечами. Может быть, и Рязанов не указал в титрах своего хронического «С легким паром» имени Аронова, т. к. искренне считал, что «слова народные». Интересно, как сам Саша относился к своей анонимности. Сомнительно, чтобы ему это нравилось... Не напрасно он убеждал себя: «Отсвет имени на строчке / В сотни раз прекрасней слова». И винился, и взывал: « Я ничем вам не помог, мои слова. / Чтобы вам не сгинуть снова, / Не пропасть поодиночке, / Друг за друга вы держитесь, как трава». Да ведь и отсвет имени вряд ли кто-нибудь разглядел.

Но где были те, влиятельные и знаменитые (чуть не сказала «богатые и знаменитые»), что сейчас воздают должное его независимости, отдельности, его выплывающим из небытия строчкам? Не думаю, что он сам противился публикациям. Ведь печатал же в своей газете, растрачивая себя, стихи по случаю и не по случаю, хорошие и разные, больше, к сожалению, разные... Он был, что называется, «легкий человек», ходить по редакциям, унижаться не хотелось, книги подождут, возиться, отбирать, составлять – скучное дело... А ведь будучи по нынешней фразеологии, шестидесятником, почему бы не внедриться в блистающую на подмостках и в печати братию, знаком был со всеми, и многими любим и привечаем, да суетиться не хотелось, а за руки не тянули. Надо бы как люди, а он не мог.

Гуляю по морю пешком,
Стучу о море посошком,
Вокруг стихия с трех сторон,
А с берега кричат – «Силён!»
Они завидуют тому,
Что я иду и не тону,
А я зато на берегу
Сидеть, как люди, не могу.

Поэты не всегда точны в самооценке. Всю жизнь он выплывал ненадолго – то замеченным стихотворением, то выступлением на литературном вечере – и снова тонул «на берегу» поденной работы. Но сам-то, наверно, чувствовал: «Силён!». Ахматова, которой, по свидетельству Евтушенко, понравилось прочитанное ей стихотворение Саши, удивлялась, «отчего он ей свои стихи не подсовывает».

Мы с Сашей учились в Педагогическом институте им. Потемкина на одном факультете, но с разницей в два года и не были знакомы. По окончании института Саша работал учителем, а я нет. Правда, первая его должность в школе называлась диковинно «запасной учитель».

А познакомились мы в Лито «Магистраль», куда в 1956 г. привел меня только начавший писать стихи Евгений Храмов. «Магистраль» в то время привлекала много даровитых людей, на занятия приходили Владимир Войнович (тогда сочинявший песни), Нина Бялосинская, Эльмира Котляр, Алла Стройло, Владимир Леонович, Игорь Шаферан, появлялся и еще не перестроившийся Станислав Куняев. Но в первый раз меня поразили три человека: худощавый черноволосый Окуджава, тихим голосом прочитавший сразу же запомнившееся стихотворение «Вобла»: «...Она клала на плаху буйную голову, / и летели из-под руки / навстречу нашему голоду / чешуи пахучие медяки», пышноусый мрачноватый Владимир Львов с пугающе-эффектными строчками «Кровь моя сквозь Красные ворота / Льется по Садовому кольцу» (если бы обстоятельства были не так драматичны, я бы сказала «как в воду глядел» – вскоре он утонул в бассейне «Москва»), и Александр Аронов – широконосый, полногубый, с открытым юным лицом белого мулата. Вскинув кудрявую голову, он броско, звучно читал свои стихи. Что именно он читал, не помню – так была покорена его поэтическим обликом, что стихов не слышала. С Сашей Ароновым мы встречались большей частью в «Магистрали», где я всегда с волнением ожидала его выступлений – со стихами и о стихах. Говорил он напористо, ярко, остроумно. Смеялся громко и заразительно. Азартно вступал в спор с руководителем объединения Григорием Левиным, человеком, преданным стихам и поэтам, но с диктаторскими замашками, зачастую пытавшимся диктовать нам не только свой, не всегда безусловный вкус, но и подчас чрезмерную осторожность, и, если что было не по нему, кричал на своих студийцев, как унтер на солдат. Однако благодаря его неуемной энергии в гости к «магистральцам» приезжали Арсений Тарковский, еще не имевший ни одной книги оригинальных стихов и околдовавший меня навсегда, Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, который в то время своих лагерных стихов еще не обнародовал, но мы почему-то были осведомлены о его «черных камнях», Андрей Вознесенский, только вступивший на свой победоносный путь, и многие другие. В квартире Левина на ул. Мархлевского мы услышали первые песни Булата Окуджавы.

Саша, чтобы не пугать начальство, а может, и сам не лишенный осмотрительности, не мог прилюдно читать свое стихотворение «1956», но не побоялся напечатать его в подпольном журнале Александра Гинзбурга «Синтаксис» (то самое стихотворение, которое вдова Шенгели показала Ахматовой).

Среди бела дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.

Пряжкой от ремня,
Апперкотом валящим
Будут бить меня
По лицу товарищи.

Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют,
А потом простят,
А потом помилуют...

Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность,
Что у нас за чем.

Теснее сошлись мы с Сашей в 1965-м, когда оба участвовали в подписной компании в составе журналистской группы, которая отправилась в автобусе по городам Поволжья агитировать за издания «Молодой гвардии». Сашу назначили командиром нашего десанта. Я должна была рекламировать журнал «Веселые картинки». Саша, наверно, газету «Московский комсомолец», где начинал работать с будущего года. Какие еще издания были представлены в этой поездке, не помню. В память врезался только «Юный натуралист» – потрепанный, пожилой дядька с незаживающим свищом на шее в вырезе рубашки. Под гогочущее одобрение то и дело опохмеляющихся попутчиков он изрыгал проклятия и глумился над только что осужденными Синявским и Даниэлем. Впрочем, ему было далеко до Сергея Владимировича Михалкова, который в большом зале ЦДЛ на общем собрании московских писателей во время процесса Даниэля и Синявского визжал заикаясь: «Д-давить их н-надо, к-как к-клопов» (сама слышала). Что касается нашего автобуса, не участвовали в кураже только молодой татарин-шофер, чуждый литературным страстям, да Саша и Володя Бараев, красивый рослый бурят из журнала «Байкал», помалкивали и прятали глаза, а я, единственная представительница прекрасного пола, отсаживалась подальше и прикидывалась спящей. Обшарпанный автобус чавкал и подпрыгивал в осеннем бездорожье, заснуть не было никакой возможности. Мы постоянно буксовали, часами ждали, когда нас извлечет из очередной хлюпающей ямы очередной матюкающийся трактор. По дороге из Саранска в Куйбышев автобус на сутки увяз в грязи, но пока мои коллеги носились по ближайшей деревне в поисках помощи, мимо автобуса, вставшего на закорки, проехал трактор, направлявшийся «к теще» (дай ей Бог здоровья!), он-то нас и вытащил. Заночевали в автобусе, тем временем наши места в куйбышевской гостинице заплыли...

Кстати, о Володе Бараеве. Когда мы занимались агитацией и пропагандой во Владимире, там шли съемки фильма «Андрей Рублев» Тарковского, являвшие совсем не «веселые картинки». Но дым, чад и мычание бегущих по городу коров не помешали кому-то из съемочной группы заметить нашего восточного красавца, переодеть его в воинственного монгола и посадить на коня. Мы видели, с какой непринужденностью он гарцевал, врезавшись в измученное стадо... Вообще, Володя был склонен к рискованным ситуациям – напечатал в журнале «Байкал» отрывок из книги Аркадия Белинкова об Олеше и «Улитку на склоне» Стругацких, отправил в набор «Зойкину квартиру» Булгакова, и за все эти подвиги был с треском изгнан из редакции. Понятно, что с таким направлением мыслей он не мог разделять праведный гнев по

поводу двух «отщепенцев». Сейчас он известный бурятский писатель, пишет роман о Чингисхане…

Возвращаясь к ночевке в Куйбышеве, не могу умолчать о пикантной детали. Нас, беспризорных, отправили в мужскую ночлежку на дебаркадере на *незаплывшие* (буквально) места. В огромном сарае храпели, разметавшись, тридцать полуголых мужиков. Сашина и моя койка соседствовали, и Саша привязал к своей ноге веревочку, за которую я в случае опасности могла дернуть…

Выступая в телепередачах и по радио во Владимире, Саранске, Куйбышеве, Арзамасе, Саша поражал меня правоверным энтузиазмом, плакатным комсомольским пылом. Да и значок комсомольский, казалось, навечно прилип к его пиджачку. Простодушие или лукавство?.. С молодежными вожаками, принимавшими нас в райкомовских кабинетах, он был раскован и весел, перед телекамерой не дрейфил, везде был «свой», не в пример косноязычным партийным пентюхам…

Деньги на всю команду, которые на следующий день благополучно пропивались, зарабатывали только мы двое, потому что читали стихи и публиковали их в местных газетах. Я, естественно, выступала с детскими стихами, одобренными предводителем команды Ароновым, особенно ему нравилось про трех коров (опять коровы!), которые «состязались, кто кого перемычит». Вроде бы мы с Сашей не состязались, хоть его положение было не столь выигрышное: он читал «взрослое», и в школы его, как меня, не приглашали. Точно не помню, но, наверно, для своих выступлений он выбирал за неимением сугубо комсомольского что-нибудь полегче, что-нибудь шутливое, вроде «Стихов о странах»:

…Читали или нет? Прочтите обязательно!
Газеты публикуют важное сообщение:
Страна Читателей и Страна Писателей
порывают дипломатические отношения.

>…< Сидят, никак не достанут виз,
мучаются отчаянно
путешественники из Страны Подлиз
в Государство Больших Начальников.

>…< До свиданья, мама, до свиданья, папа,
я уезжаю на Юго-Запад
в страну, отдаленней которой нет:
Красивых Девчонок Семнадцати Лет…

Конечно, девчонки семнадцати лет млели, но я-то знала другие стихи Аронова и не понимала, как они совмещаются с его вполне советской жизнеутверждающей бравадой – стихи, хотя и немногочисленные, на еврейскую тему. Сначала это были мучившие поэта невеселые сомнения:

Вот рвешься ты, единственная нить.
Мне без тебя не вынести, конечно.
Как эти две звезды соединить –
Пятиконечную с шестиконечной?

Две боли. Два призванья. Жизнь идет,
И это все становится неважным.
– Жиды и коммунисты, шаг вперед!
Я выхожу. В меня стреляйте дважды.

Но «неважное» становилось важным, «звезды» он уже не соединял, в конце 70-х было написано стихотворение «Гетто».

...– Варшавское восстание
Подавлено и смято,
Варшавское восстание
Потоплено в крови.
Пусть лучше я погибну,
Чем дам погибнуть брату, –
С отличной дрожью в голосе
Сказал мой визави.

А я ему на это:
Когда горело гетто,
Когда горело гетто
Четыре дня подряд,
И было столько треска,
И было столько света,
И все вы говорили:
«Клопы горят».

Судьба Александра Аронова трагична. Надо было зарабатывать на жизнь, а значит, писать всякое. Не всякое – были стихи. Поэт победил газетчика. В лучших стихах Аронова, даже в шуточных, даже в экспромтах, всегда изящных и наполненных смыслом, присутствуют неизбежность конца, «полной гибели всерьез».

Вот гражданин, в трамвае едущий.
Наверно, он сойдет на следующей.
А тот, по улице идущий,
Уже сошел. На предыдущей.

Незадолго до моего отъезда в Израиль мы после долгого перерыва встретились с Сашей, и я поразилась переменам в его внешности: детское широконосое лицо сплошь в мелких морщинах, жидкая серая бороденка казалась приклеенной. Я вижу его, такого, когда читаю стихи:

Почти нигде меня и не осталось.
Там кончился, там выбыл, там забыт.
Весь город одолел мою усталость,
И только эта комната болит.

Диван и стол еще устали очень,
Двум полкам с книжками невмоготу.
Спокойной ночи всем, спокойной ночи!
Где этот шнур? Включаем темноту.

Темнота включилась 19 октября 2001 года.

Александр Лайко

ИЗ ЦИКЛА «РУИНЫ»

ВОСПОМИНАНИЯ НА BRUSENDORFER STRASSE

(*Берлинская баллада*)

Жизнь продолжается – сегодня понедельник,
На Brusendorfer Strasse тишина,
И часового нет, и только Бог-подельник
В процессе этом. И ещё – луна.
Царя лесного зов сквозь Sturm und Drang и ельник,
Поэт мнит перевод, а ученик-охальник
С Полиной романтизмом дотемна
Неутомимо занят, и она
Увлечена отнюдь не гётевой балладой,
Но отроком смешливым, с коим сладу,
Ну, просто нет... – Изыди, Сатана!

Отсель мне Трифоновская видна
На горке с Трифоном и домом деревянным,
Где коммуналки тонкая стена –
Стук-стук! – аукнулась вторженьем окаянным.
Комедь стряслась в ночи, а время было оным,
Закон, вдруг воссиявший серебром погонным,
Полину испугал – так сделалась бледна! –
Любовь и жизнь, и смерть – всё смертная вина
В Московии моей... Какого же рожна?
И повязали, выдернув из сна.

Старлей вещал в ментовке языком картонным,
Стращал статьями и корил страной –
«Оскорблена соседка вашим действом шумным,
Нам жалится на вздохи за стеной».
И, подписав, шагнули в снег ночной,
Вкруг редких фонарей светившийся зелёным,
И жёлтый цвет мерцал, то вдруг иной,
Снег устремлялся вверх пробегом окрылённым
К потухшим окнам – черноте глазниц,
Поземкой шелестел по улицам пустынным,
И упадал слезой с твоих ресниц.
В державном униженьи нет границ.
Ты плакала навзрыд, как дети, – безутешно.
Ступени шаткие пролётов лестниц

Скрипели, и ворчал соседкин шпиц...
Мы как бы возносились над землёю грешной.
И вот, добравшись до твоей скворешни,
Сидели долго и безмолвно в тьме кромешной,
Пока ты не зажгла настольный свет:
Тахта и коврик, стул и стол, буфет –
И знамо – как предмет сечёт предмет.

Трофейный коврик – Запада рассадник.
На нём – Ich Liebe dich! – стих записной.
А царь лесной? Нема. Есть, правда, всадник
На взмыленном коне и замок под луной.
Я слово позабыл. А должен был сказать!
Теперь, спустя полвека, ручку взять
Так не с руки... С чего начать письмо?
Спасибо за приют? Что там «спасибо»!..
Ich Liebe dich! – за тыщу вёрст – Ich Liebe!
Я вас любил. Любовь ещё быть мо...

ПОМПЕЙСКИЕ ХРОНИКИ

Помпеи

...Мнёт нам бока огромной толпою
Сзади идущий народ:
Этот локтем толкнёт или палкою крепкой,
Иной по башке тебе даст...

Децим Юний Ювенал

И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первым днём.

Александр Пушкин

Для русской кисти, вероятно, первый,
Но горожанам было невдомёк,
Что их последний, нонешний денёк,
Приманкой станет для туристской хевры.

Звенят экскурсоводочкины нервы –
Звучит её зазубренный урок,
Хотя подсел заметно голосок,
И в ярости шипят глухие стервы.

Голландке тощей на один зубок
Кусище вегетарианской пиццы...
Ну а теперь – спешит вперёд пробиться,
получше видеть, слышать, приобщиться,
Вот только финки – под балдой сестрицы –
Теснят ёё, толкая в грудь и в бок.

Амфитеатр

I

Попав на этот праздник любопытных,
Я всё же убежал глазеющей толпы,
И там, где битые колонны, аль столпы,
И несколько глотков свершив солидных,
Услышал ржание однокопытных,
Гром колесниц, мечей глухой металл...

Вдруг над ареною предсмертный стон восстал
Под дикий рёв трибун и лож элитных:
Один из гладиаторов упал –
Громадный и рыжеволосый галл
Лежал, презрением прижатый к полу.

Утихла брань. Амфитеатр ждал.
И пальчик был опущен долу.

II

Жест этот по истории блукал
В речах вождей, газетах и плакатах –
Ах, Бог ты мой, какие всё же каты
Ревлюциённый громоздили бал!

III

В Москве расстрельный посещал подвал,
Был вхож к поставленным высòко лицам.
Сам не стрелял несчастных по темницам, –
Но вдрызг накокаиненным девицам
Казнь, как десерт, на ужин подавал.

Везувий

Вот мы и визави с тобой, Везувий.
Я отбезумствовал, и ты затих.
Что говорить? Свершим же на двоих!
Недаром «Старочку» издалека везу я!

Ах, кипарисы на холмах твоих! –
Знакомцы по полотнам кватроченто,
Которые я изучал зачем-то,
Да ты и сам – лишь отголосок их.

Вилла Плиния в Мизене

В девятый до сентябрьских календ
День солнечный и вместе с тем не жаркий,
Упущен Плинием был тот момент,
Когда в судьбу его вмешались Парки.

Но знак был дан, и со ступеней арки
Он видел в небесах неверный свет
(я в тот момент глотнул из фляги «Старки»,
Таясь, – не дай Бог, италийский мент!) –

И облако – как будто роща пиний,
Одна в одну, не нарушая строй,
Впечатывалась в крой из чётких линий –
Стояло кроной черной над горой.

Послание небес темно порой,
Его не разобрал массивный Плиний,
Ему б на Капри, в рай зелёно-синий,
Жить-поживать, худеть... А наш герой...

Капри

На этом острове худел совсем другой,
Хотя всегда был худ и грудью слабый;
Умучили вконец чекистки-бабы,
И стал он кесарю невольным, но слугой.

Нам только снится, так сказать, покой:
Являлась вилла – плиневой не хуже –
И Ходасевич выходил на ужин,
Издалека помахивал рукой.
Но не спалось, стонал, вставал, знобило,
А утром вновь малинные дела...
О, Господи, как быстро тают силы,
Куда ни кинь – везде выходят вилы...

Тень Рябушинского его усыновила
И пролетарским Гёте нарекла.

Стабии

I

...А наш герой своё направил судно
На Стабии и пересёк залив.
Стояли черные дымы вдали...
И это Стабии? Поверить трудно.

Повозки, всадники – народ вал*и*т
Дорогой в порт, а там столпотворенье;
А вот для вора – чудное мгновенье,
Но о любви не грезит, паразит.

II

Такой же на Москве присутствовал бедлам,
Когда вождя препровождали в путь последний,
Хотя не верилось – бессмертным был намедни,
И вот в Колонном он с цветами пополам.

Звала свидетелей квадратная мадам,
В своём кармане обнаружив чью-то руку,
И в толчее смертельной, двигаясь по кругу,
Кричала хрипло щипачу: «А по мордàм?!»

Желанье сполнить это – не с руки зело,
Так как в тусовке жуткой и рукой не двинуть,
И вор свою не может из кармана вынуть –
В отчаяньи они плюют друг в друга зло.

А от вокзалов Подмосковье шло и шло,
На Сретенке смешались в кучу кони, люди...
Гора галош – всем общим памятником будет!
И особливо тем, кому не повезло.

III

...И кормщик бледный, свой скрывая страх,
Сбирается в обратную дорогу,
Но Плиний говорит: «...судьба в подмогу
Лишь смелым...», ну и далее в стихах.

Везувиев садится чёрный прах
На Форум, на его пустую площадь,
Ржёт, словно плачет, брошенная лошадь...
Вон дом Помпониана – в двух шагах!

Здесь Плиний принял ванну, а потом,
Болтая весело, и отобедал,
И об Эсхиле кое-что поведал –
Внимал Помпониан с открытым ртом.

ВЕЗУВИЙ

Скажи-ка, дядя, сколько лет подряд
В предгорье ты глядишь комедь людскую?
И вдруг, до рвоты злобясь и тоскуя,
На город обращаешь камнепад.

Что делать? Кто тут виноват?
Извечные и русские вопросы.
И в Питере ответили матросы
На них в семнадцатом, упившись в мат.

И лавы пламенеющий каскад,
Мерцая, сводит лес, ползёт по склону...
Почто безжалостно и неуклонно
Помпеи обращаешь ты во ад?

Наверно, и утихнуть был бы рад -
Тяжёлая тебе досталась доля.
Когда б на это не Господня воля,
Ты б разошёлся, думаю, навряд.

ГИБРАЛТАР

Тане

Бессонница. Гомер. Аптека.
Тугой кусок холстины грубой –
Белеет парус голубой...
Живи ещё хоть четверть века –
Всё слижет вафельный прибой.

Но прежде нам дано с тобой,
Когда рейх рухнул в одночасье,
Непозволительное счастье,
Тот привкус вольности особый
В запретной прихоти любой.

Дан белый град Бенальмадена –
Засвеченный на солнце кадр –
И мачты яхт, жары угар...
Явь обреталась постепенно –
Прохладой привечал бульвар.

Ну разве не Господень дар –
Помола местного коврижка,
Вина бутыль – так где же кружка? –
Помянем коммунальный тартар,
И третьим будет – Гибралтар.

Что же касается прибоя,
Который волны нам печёт,
То вафля – чёт, то вафля – нéчет,
Объяты синей синевою,
Им и векам теряем счёт.

Юлий Марголин

ДОРОГА НА ЗАПАД[*]

ПОЕЗД СВОБОДЫ

Моя дорога на Запад началась в то морозное утро, в конце марта 1946 года, когда со станции Славгород Алтайский, из глубины советской Сибири, тронулся переполненный поезд польских репатриантов. Теплушки были битком набиты взволнованными людьми, на нарах в два яруса плотно лежала человеческая масса среди мешков, узлов и деревянных сундучков. И посреди каждого вагона, как железное на четырех лапах чудище, стояла, жаром пыша, приземистая печка. На мне был тяжелый, сермяжный крестьянский зипун до колен и ватные стеганые брюки – память о концентрационном лагере. Женщины, молодежь, дети, – всё было сбито вместе в кучу, а стариков среди нас было немного, – стариков приняла суровая сибирская земля за годы ссылок и бедствий.

Двадцать пять дней и ночей шел на Запад наш эшелон через бесконечную русскую равнину. По дороге воровали на станциях доски и бревна на топливо в печку, а еду выносили нам к вагону на остановках бабы-торговки, – яйца, молоко, блины-пироги, даже жареное мясо кусками: неистребимая, недодавленная, внеучётная «частная инициатива».

Поезд шел через города – Омск, Челябинск, Куйбышев, переходил реки: сперва Иртыш, потом по сызранскому мосту медленно-торжественно пересекли Волгу. Она в начале апреля ещё лежала в снегу, и только на самой середине лед потемнел, а справа тянулся по реке длинный обоз саней. В Куйбышеве я впервые за долгие годы увидел вокзал по-европейски: вечер, огни, в теплом коридоре парикмахерская с зеркалами и запахом одеколона, буфет первого класса с пальмами и му-

---

[*] Произведения печатаются на основе архивных текстов, размещенных в интернетовском сайте http://margolin-ze-ka.tripod.com. «Ю. Б. Марголин. Путешествие в страну зе-ка. Иерусалим, 2005». Составитель и редактор сайта – профессор Инна Андреевна Добрускина. В 2001-2003 гг. она работала в Центральном Сионистском Архиве, разбирая рукописи Марголина. На своем сайте Добрускина цитирует письмо от 30.11.1954 Юлию Борисовичу и Еве Ефимовне Марголиным от их парижской приятельницы и помощницы Сараны Гурион: «Дорогие мои Ю. Б. и Е. Е. Рада сообщить вам, что «Дорога на Запад» – наконец вышла. (Посылаю вам 2 номера). Не жалею что так долго продолжалось ожидание так как номер сплош исключительный. Как видите, дорогой Юлий, вы пишите в ревю в которой пол-дюжины бывших и будущих Председателей Совета Министров и наилучшие французские писатели; номер совсем исключительный, и я очень горжусь "вашими" коллегами по печати! Не знаю еще сколько денег "нам" дадут за ету статью...» [Орфография сохранена]. В письме нет точной библиографической ссылки, и, несмотря на предпринятые ею активные библиографические разыскания, И. А. Добрускина так и не смогла установить, о каком «ревю» идет речь.

Публикация в «ИЖ» подготовлена при участии Семёна Гринберга.

зыкой. Туда нас не пустили, и только запомнились люди в лохмотьях, что толпились у входа и заглядывали за спину швейцара в зал. А пустили нас в буфет второго класса, для которого мы были достаточно прилично одеты, и там уселись пить «московскую» с комендантом эшелона.

Потом пошли Харьков и Конотоп, Гомель и Барановичи. На узловых станциях оставались подолгу, посылали делегации к начальнику движения. На боковых путях, ныряя под вагонами, среди необозримых стад сгрудившихся составов натыкались на другие, такие же, как наш, эшелоны – со всех сторон, с Урала, из Ташкента, Красноярска, тянулись на польскую границу «западники», а среди них, как последняя пена сбежавшей волны, евреи. Это была «репатриация» по договору сорок пятого года. В те месяцы 350 тысяч поляков вернулись из России, и из них почти половина были евреи. Вагоны были разукрашены еловыми ветками и надписями о дружбе народов, но через неделю пути растеряли и надписи, и транспаранты, и зеленые украшения. Нас, евреев, не обманывало слово «домой». Мы знали, что ничего не найдем в Польше, кроме могил и развалин, и сердцем были уже далеко за семью морями, где всё другое – и люди, и небо, и память.

Миновали Дон и Днепр, шли дни, повеяло ранней весной. Часами, вырвавшись из душного, скученного вагона, я простаивал на узкой открытой площадке, жадно вдыхая острый воздух, глядя на плывущие мимо луга, по которым недавно прокатилась лавина немецкого нашествия... Стали попадаться немецкие пленные. Они работали вдоль путей на станциях и подходили просить хлеба. Женщина из нашего вагона осыпала их проклятиями. «Мы не виноваты»... Помня, что в массовой могиле под Пинском лежит моя замученная мать, я дал им хлеба, с чувством какого-то брезгливого ужаса... Я научился в России брать лагерный хлеб из рук тюремщиков и передавать его дальше с мыслью о несчастной человеческой мрази, что вся в крови и беде, между своей и чужой смертью. И не больше думал я о вине и воздаянии, когда громыхали колеса на Запад, чем думает пьющий, запрокинув голову и заливаясь водой из жбана...

В те черные годы, на самом дне советской ямы, я не раз пробовал представить себе «поезд свободы», который когда-нибудь перевезет меня через границу страшной страны... Тогда я думал, что в минуты, когда мимо окна поплывут последние километры (я представлял себя в пульмане, полупустом, как до войны), лицо мое окаменеет, горло сожмется, и в самой глубине глаз накипит, мол, не скатываясь, слеза... А теперь, стоя в зипуне на площадке товарного вагона, я ровно ни о чем не думал, ни о чем не вспоминал, точно после экзамена, когда вся наука кончена и остался ты самим собой, таким, какой ты есть. Нечего прибавить, нечего убавить... Я нёсся в такт громыхающим колесам навстречу будущему, как льется река к морю – без волнения и зыби.

В Гомеле, одном из бывших еврейских центров Белоруссии, поезд стоял долго, и я отправился в город. По черной апрельской грязи шли прохожие, серое небо висело над унылыми развалинами, и, наконец, в боковой улочке я нашел, что искал. Я увидел лачугу, точно с полотна Шагала – крыша покосилась, кривые окошки, дверь на одной петле и перед ней старая еврейка в платке и мужских сапогах. Из какого Тур-

кестана вернулась она на старое пепелище? Я подошел и сказал, что «еду в Палестину». Она встрепенулась.

– Да, я знаю... У меня в Тель-Авиве сестра...

– Хочешь, передам ей привет?

Она посмотрела на меня помутневшим, внезапно насторожившимся взглядом. Помолчала и сказала безразлично:

– Нет, не стоит. Мы советские. Я даже адреса ее не знаю. Я понял, она не доверяет мне, и пожалел, что сказал о Палестине. Попрощался и пошел дальше. Я искал почту – из каждого города, где мы стояли, я писал или телеграфировал, что еду, еду... На углу я обернулся. Старуха застыла, как я ее оставил, и пристально смотрела мне вслед. Я помахал рукой. Она не ответила, не шевельнулась. Мы стояли, глядя друг на друга, и молчали.

Так и осталась в памяти эта фигура на фоне развалин и серого неба, как жена Лота, обращенная в столб, как вопросительный знак, как символ всех, кто молчит и ждет там, за советским рубежом. Молчит и ждет по сей день.

И еще воспоминание. О последних часах перед отправкой эшелона из Славгорода.

В нашем вагоне творилось нечто неладное. Уже смеркалось, все устали в ожидании сигнала тронуться. Тяжелая дверь была полуоткрыта. В углу расположилась семья из трех женщин с двумя детьми – бабушка, с темным суровым лицом, молоденькая женщина с грудным младенцем, и еще одна, лет двадцати шести, с шестилетней девочкой. Их так и вывезли пять лет тому назад – старуху с дочерью и невесткой Владей, женой сына. И понятно, за 5 лет обе молодые нашли себе дружков – младшая, Таня, по закону, по записи в «Загсе», а замужняя, Владя, – под недобрым оком свекрови – без всякой записи. И девочка выросла упрямая, дикая, и в шесть лет научила ее бабушка, что отец – не этот, что рядом, а другой. Когда пришло время возвращаться на родину, Танин муж, белобрысый лейтенант, сразу дал развод, – вольную дорогу из сибирских сугробов в широкий свет. И Владя со своим попрощалась...

Как будто всё было улажено, но вот теперь, в последние часы, уже после посадки в вагон, всё сорвалось – сам не свой, исступленный, с дикими невидящими глазами, пришел Владин Николай, поднялся в вагон и молча лег на Владино место.

– Уйди, уйди! – Она заломила руки, вскочила, выбежала на мороз, вернулась, заметалась... Он не уходил, и в вагоне стало нарастать напряжение, будто бомбу, готовую ежесекундно взорваться, положили на нары. Мы уже знали наверно, что он Владю не отпустит. В эти последние минуты, когда уже и говорить было не о чем, он без слов, одним своим присутствием ломал сопротивление женщины, как ломают тонкое деревцо, нагибая, пока не хрястнет у самого корня...

Пришел польский комендант эшелона, опасливо, осторожно:

– Честью прошу, товарищ лейтенант, не имеете права здесь находиться.

Появились друзья Николая, отвели коменданта в сторону:

– Ты, милок, не волнуйся, без тебя уладим. – Николай поднялся, Владя вышла за ним. Мы видели ее страх и потерянность.

Она боялась мужа в далекой Польше, ведь еще поезд не тронулся, а свекровь уже угрожала, шипела: – Подожди, подожди, муж обо всем узнает... И страшно остаться. Одной из всех! – это было изменой большей, чем измена мужу, это была гибель души навек.

Но я следил не за ней, не за Николаем, не за свекровью, которая, отвернувшись, казалось, вся была занята возней с младенцем – для меня главным персонажем этой драмы была маленькая худенькая шестилетняя девочка. Она сидела в капоре, тепло укутанная, с крошечным, напряженным, всё понимающим личиком. Для нее, выросшей в Сибири, не знавшей ни другого языка, ни другой жизни, кроме как в этой славгородской комнатке с кухней и сенцами, где жили ссыльные польки, и вечерами собирались пить водку, расстегнув мундиры, молодые курсанты, – для нее что за беда была бы остаться? ...Но я не помню, чтоб когда-либо я видел на детском лице такое выражение ужаса и исступленного горя – она вся тряслась от отчаяния и ненависти. Когда мать подходила к ней поправить пальтецо, она отбивалась и кричала не ей, а нам, окружающим:

– Она заберет меня, она заберет меня!

Николай не обращал на нее никакого внимания. Девочка вдруг накинулась на него:

– Уходи отсюда! Уходи! Я не хочу тебя, не хочу, не хочу!

Тогда Владя схватила ее на руки, целуя и плача, и обе залились слезами. Это маленькое существо уже знало, что сопротивление бесполезно. Вся ее жизнь решалась в эту минуту... Мать забирала ее с собой, как свою собственность, и никогда не увидит она отца... Она исчезла из вагона, дала вывести себя послушно, оцепенев, будто в страшном сновидении. Потом выносили Владины узлы. Николай и его друзья укладывали их в сани. Свекровь стала кричать, звать на помощь коменданта: в узлах были общие вещи. В последнюю минуту попрощаться и успокоить свекровь прибежала Владя, на ней лица не было. Весь вагон отвернулся от нее, как от прокаженной... И снова в эту минуту я думал не о ней, не о страстях, что отнимают у человека волю и разум и, словно костер, оставляют лишь кучу пепла, – я думал о маленькой девочке, которой распорядились, которая так и не дотянулась до отца и канула в славгородской угрюмой, нечеловеческой ночи, как камень, без следа и надежды.

Боже мой! Она могла уехать отсюда, от этой беспросветной нужды и дикости, могла... и осталась! И кто посмел вывести ее из вагона? Родная мать! Было впечатление, точно эта несчастная кинулась в омут головой вниз, – и не одна, а с ребенком, который чувствовал, что с ним делают нечто непоправимое. Я не мог опомниться, будто на моих глазах совершили убийство. Да это и было убийство – вырвать с корнем и порешить чужую судьбу, навеки осудить юную жизнь на пребывание в гнусной атмосфере сталинского сибирского захолустья, в неправде, в отчуждении от мира свободы, в прогорклом холодном чаду, которым пропитано существование этих людей от детства до смерти... И всё во мне сжалось от негодования и жалости...

В течение семи долгих лет я жил в советском плену одной мыслью об освобождении, о возвращении в тот далекий мир, где люди не боят-

ся друг друга, смело говорят вслух, что думают, сами выбирают свою дорогу, где жить и как жить, едят ненормированный хлеб... Надо коснуться смерти, чтобы узнать, что такое жизнь, надо выпасть из Запада, чтобы узнать, что такое Запад. В это самое время многие добровольно возвращались в Россию или мечтали о том, чтобы им разрешили стать гражданами этой страны. Судьба, незнание, личный расчет – не всё ли равно? Поезд шел на Запад, и неотступно следовала за мной память о безвинно погибших, втоптанных в землю, опозоренных и просто обманутых, уведенных насильно за руку, скрытых от человеческого глаза, барахтающихся, проданных и заживо похороненных людей...

КОНЕЦ МАРИИ

В это лето Европа открылась предо мною, как райский сад женщин. Я далек от мысли сравнивать Варшаву и Лодзь летом 1946 года с магометанским раем, населенным гуриями. Магометанский рай, обитель чистого созерцания, сохраняется еще в трезвой Европе разве только в парижских театриках на Grand Boulevards. Варшава же представляла собой хаос развалин, а Лодзь находилась на пороге сталинского перевоспитания. И все-таки это был резкий, внезапный для меня контраст по сравнению с Советской Россией.

В течение семилетней ссылки я привык к виду женщин без прелести и тени кокетства, в сапогах и мужских бушлатах, к обществу работниц или заключенных с угрюмыми, серыми лицами, остриженными волосами, к виду бесполых, рано увядших советских служащих. Но с улиц Лодзи не сходило воскресенье. Танцевали во всех кафе. Уже одна походка девушек в ясный день на переполненных тротуарах казалась танцем, чудом эластичности и гибкости. Они были ослепительными красавицами, одна лучше другой. Я был ошеломлен их одеждами, движениями, их голосами. Карнавальным, триумфальным летом сорок шестого года мне открылось зрелище солнечной, яркой полноты жизни.

Навстречу шли женщины с мощными бедрами и высокой грудью, с гордо поднятыми головами. Как ожившие статуи, двигались они в мраморной красоте, и мне казалось, что это родильные машины, живые автоматы, – опусти монетку в прорезь, и ровно через девять месяцев аппарат выдаст ребенка с точностью механизма, помноженного на животворную силу природы. Когда они улыбались, я оборачивался, чтобы увидеть, кому там, за моей спиной, предназначалась эта улыбка, – я не принимал ее на свой счет.

На сквер у паперти костела вступали женщины с пустыми возками и сиянием на лице. Дети, размахивая ручонками, как плавниками, гребли воздух. Молодые матери, близ которых умирает вожделение, наклонялись над своими чадами. Вот женщина проходит, плавно неся свое крупное тело, блестя глазами, поводя плечами, цветистый шелк платья играет красным и голубым, обнимая ее всю до крепких золотистых икр. Девушка в красном свитере птицей перелетает площадь, легко касаясь земли стройными ногами, точно несет ее невидимая си-

ла. Сила молодости. Я был влюблен в них без желания и ревности. И в эту девушку в красных туфлях, что пробует носком невидимую волну, подступающую к ногам. Волна отступает и приливает, и естественная грация прибоя, продолжаясь в ее движениях, повторяется дважды. Волны моря обтекают лодзинский сквер, и он превращается в остров, населенный призраками... Я кусал губы и закрывал глаза, чтобы опомниться.

Я хотел освободиться от одного воспоминания, которое, как пятно, прилипло к моей душе. Это было лагерное воспоминание того времени, когда я скатился на самое дно физического упадка. В лагере не было зеркала, я не знал, как выгляжу, и мне это было безразлично. Я видел себя в отражении моих соседей, жалких и уродливых «доходяг». Я не брился неделями, спал одетый и был омерзительно грязен, как все, или еще грязнее. По какому-то делу случилось мне зайти в контору, в кабинет начальницы, женщины «вольной», аккуратной, я бы сказал, педантически-опрятной. Она сидела за столом, и я, забывшись, подошел к столу вплотную. С нескрываемым ужасом она взглянула на меня и мгновенно предупредила:

– Не подходите близко!

Такая паническая брезгливость изобразилась на ее лице, что я оторопел. Я вдруг осознал всю неслыханную грязь своего годами немытого бушлата, запах лохмотьев, прилепившихся к телу, весь свой невозможный, внушающий отвращение вид. У меня закололо сердце. Это не был окрик начальника, нет, это была непроизвольная реакция женщины на меня, на то, что я на два шага ближе подошел к ее столу, и она не могла этого вынести. Я вернулся в барак, чувствуя себя прокаженным, как Иов со скребком на смердящей куче навоза. Я смотрел на свои руки, как на чужие. Возможно ли, что эти самые руки когда-то касались женщин, и их не отталкивали?..

С остановившимися глазами я впал в сон наяву. Я вспомнил эпизод из времен, когда мне не говорили «не подходите». Я припомнил отель «Савой». Тот самый отель, недалеко от сквера. Тогда он назывался иначе, но это было то же здание: шестиэтажный дом в боковой уличке, уединенно стоящий, с кондитерской на углу и цветочницей у подъезда.

Я жил тогда довольно далеко, на окраине города, в большой неуютной квартире, принадлежавшей некогда фабриканту колбас Карпузе. Колбасник разорился и умер, а его вдова сдавала комнаты в наем. Квартира была набита жильцами. Моя студенческая комнатенка, самая маленькая, выходила прямо в обширный устланный ковром вестибюль с зеркалами и панелями красного дерева.

Долговязая тощая хозяйка, с унылым лицом и глубоким, как из бочки, голосом, просила денег прислуге не давать и все, что полагалось за уборку комнаты, сдавать ей прямо в руки. В доме убирала ее племянница, Мария, и нельзя было допустить, чтобы у нее были особые источники дохода: это подорвало бы авторитет хозяйки и тетки. Вдова Карпузе, говоря о племяннице, имела особенно постный и кислый вид.

Мария была бедной дальней родственницей, принятой в дом прямо из деревни. Ей было семнадцать лет, а мне девятнадцать. Мой опыт

общения с женщинами был обратно пропорционален моему знанию Канта, с которым я не расставался. «Теория феноменальности пространства и времени» рано потрясла мое воображение, и мои более практические знания пришли в сравнительный упадок. Это был мой первый год вне родительского дома, а у Марии было свежее, круглое личико, открытое и очень приветливое. Оно располагало к доверию. На нем была написана невинность и готовность слушаться старших. Тетка обращалась с ней весьма строго. Но, несмотря на то, что госпожа Карпузе, поджав губы, сказала мне, что это девчонка бедовая, я все же предпочитал чаще разговаривать с Марией, нежели с ее теткой.

Мы быстро подружились. В наших беседах я ограничивался короткими репликами и замечаниями, давая Марии высказываться самой. Она жаловалась на тетку, которая загоняла ее работой. Рассказывала очень трогательно о жизни в деревне, о матери, об отце – школьном учителе, у которых она была по счету шестая, но не последняя. В этих разговорах и укрепилась наша дружба, дружба двух молодых естественных союзников среди ворчливых, хмурых людей, населявших квартиру. Она не только подавала мне утром завтрак, но и пришивала недостающие пуговицы. Она была привлекательна и весела, всегда опрятна, воспитанна и не возбуждала во мне никаких бурных чувств. Я дразнил ее Золушкой. Принц в золотой карете должен был заехать за ней и спасти от тетки Карпузе. Все было в порядке, пока она пришивала пуговицы на рубашках после стирки, но однажды понадобилось пришить пуговицу прямо на мне, и она уселась вплотную, так что круглая розовая щека, вздернутый нос и пепельные локоны почти коснулись моего лица. Я почувствовал свежее легкое дыхание на своей щеке, и мне ничего не осталось, как осторожно обнять ее и поцеловать.

Мы сидели на диванчике в моей комнате. За дверью слышался глубокий бас хозяйки. Не выпуская из руки иголки с ниткой, Мария сказала мне шепотом, очень серьезно:

– Нельзя! – и продолжала шить, но глаза ее смеялись. Я рассмеялся тоже и крепко расцеловал ее в румяные щеки. Ее губы скользнули вдоль моих, она быстро дошила, оборвала нитку и убежала. Я был очень доволен собой. Я встал с дивана, улыбаясь. На сегодня с меня было достаточно. Но в ту же минуту открылась дверь, и Мария снова появилась на пороге. Я не ожидал этого, но еще более неожиданным было выражение ее лица, ликующее, полное внутреннего смеха, который она не могла сдержать. Никогда больше не видал я такого радостного ожидания на сияющем лице. Она ступила навстречу, открыла в волнении рот и... запнулась. Она не знала, что сказать.

– Я хотела спросить...

Я молчал и ждал. Она сказала, глядя на меня во все глаза:

– Вам не надо еще что-нибудь пришить?

Тогда я заключил ее в объятия со всей силой своей философской молодости, увязшей в трансцендентальной аналитике и антиномиях чистого разума. Я забыл про хозяйку и двери, в которые каждую минуту мог кто-нибудь войти. Через минуту я услышал ее взволнованный шепот по-польски: «Wara od moich nog!» И тотчас старуха Карпузе, будто видела сквозь стены, закричала из столовой: «Мария!»

Она оторвалась от меня и снова прижалась, опять вырвалась и прижалась, и я знал, что все, что я делал, было ей так же необходимо и радостно, как и мне. В пять минут мы перестали лицемерить и бояться друг друга, и я в первый раз сказал ей «ты».

И все-таки я толком не знал, как мне следует вести себя с ней. Я чувствовал себя много старше и сознавал ответственность за свои поступки.

Несколько дней спустя я возвращался домой из собрания, где разговоры затянулись до трех часов ночи. По дороге застал меня дождик, на который я, впрочем, не обратил внимания. Я шел по мокрому асфальту, подняв воротник летнего пальто, и думая о чем угодно, только не о Марии. Я совершенно забыл о ней.

Поднявшись на третий этаж, я отворил дверь ключом, но оказалось, что она заложена изнутри на цепочку. Какая досада! Обыкновенно, кто возвращался последним, закладывал дверь на цепочку, но до сих пор я еще никогда не был последним. Никому не пришло в голову проверить, дома ли я. Надо звонить! Неловко подымать людей ночью, но делать нечего. Я принялся звонить, звонил долго, но никто не отзывался. Дом, полный людей, спал. Я начал стучать, разносить дверь. Ответа не было. Четверть часа спустя я еще стоял на площадке и уже начал отчаиваться. Несмотря на адский шум, который я поднял, мои соседи по прихожей спали, как зарезанные. Спала и старуха Карпузе в комнате с открытыми в столовую дверями. Не было и речи достучаться до Марии – она спала в дальнем конце квартиры. Ее комнатка находилась возле кухни в самом конце длинного коридора.

Убедившись, что мне не откроют, я спустился во двор и стал подниматься по черной лестнице. Я шел в темноте и считал этажи. На третьем я постучал в дверь кухни. В ту же минуту послышался испуганный голос девушки: «Кто это?»

– Открой скорее! – сказал я нетерпеливо.

– Но я не одета... – зашептали за дверью. Это было уже просто нелепо.

– Да, открой же, наконец!

Вступив на кухню, я увидел в темноте тонкую фигуру в накинутом шлафроке. Я обнял ее, но мне мешало пальто. Пальто пропиталось городской пылью и дождем. Было неловко и странно в пальто обнимать девушку, которая вся еще дышала теплом постели. Я почувствовал сквозь пальто ее твердые груди и... вдруг сделал открытие, которое меня смутило.

Я вырос в городе, и единственная рубашка, которую я считал естественной для женщины, была нарядная легкая шелковая рубашка. Других я не видал и не знал. На киноэкранах, в витринах магазинов и в обиходе того круга, к которому я принадлежал, никогда не было других. Пижамы вошли в употребление несколько позже. Обняв Марию, я почувствовал, что она носит на себе шершавую и грубую ткань, домотканый лен из родительского дома в польской деревне. Я смутился. Я слышал, как билось ее сердце сквозь суровую ткань. Она стояла без движения... Но я почувствовал, что ни за что на свете не буду в состоянии коснуться этой целомудренной и несообразно длинной

одежды подростка. Я оставил ее и через коридор и темную столовую, мимо открытых дверей спальни тетки Карпузе, вернулся к себе в комнату. Но заноза уже вошла в меня. Я не спал всю ночь, я был взбудоражен. На другой день я твердо решил выбросить из головы ночную встречу. Мне удалось это в первой половине дня, но по дороге домой (я обедал у хозяйки) ноги сами привели меня в магазин на главной улице, и я купил шелковую рубашку. Не очень дорогую и не самую дешевую, бледно-розовую, очень приличного вида, такую, какой, я знал, никогда не было у Марии. Для моего скромного студенческого бюджета это был значительный расход. Продавщица одобрила мой выбор и вкус.

Придя домой, я положил сверток на стол и позвал Марию: «Это для тебя». Но она не притронулась к свертку. Поняв, что она конфузится и не решается взять подарок, я отнес его в комнату в конце коридора и бросил на постель. Я представлял себе выражение ее лица, когда любопытство заставит ее, в конце концов, открыть пакетик. Вернет? Или примерит?

Вечером в столовой у хозяйки собрались гости. Играли в карты. Я рано лег и читал, ожидая, чтобы все разошлись и можно было пройти через столовую в ванную комнату. Я купался по вечерам. Утром в ванную была слишком большая очередь.

Гости не часто бывали в этом доме, но как раз сегодня происходил большой прием, с тортами, цветами и шумом – именины хозяйки. Я ждал терпеливо. После полуночи начались, наконец, прощания, проводы в передней, потом шум сдвигаемых стульев, убираемой посуды.

Когда все стихло, я пошел проверить, не остыла ли вода. Но ванна была прекрасная. Я сел в воду, и сначала еще слышал шаги в коридоре, голоса хозяйки, Марии. Потом все звуки затихли.

Я засыпал, лежа в горячей воде. Тысячи мыслей проплывали в моем сознании. Я потерял представление о времени. Безмолвие нарастало вокруг меня. Один я еще не спал во всей квартире. Яркий электрический свет горел над моей головой в двойной стеклянной оболочке. Вдруг я очнулся и открыл глаза. Дремота подобралась незаметно, и в первую секунду я не мог понять, где нахожусь. Зеркало запотело, но я никого и не искал в нем. Набросив на необсохшие плечи халат, стараясь не шуметь, я вышел в темный коридор.

Не успел я притворить за собой двери ванной, как сразу одним резким движением, распахнулась дверь освещенной комнаты Марии. Она стояла на пороге в полосе света, улыбаясь и не произнося ни слова. Неподвижная, как манекен в витрине, она демонстрировала свою новую, первую в жизни, настоящую шелковую рубашку. На лице девушки сияло восхищение, и она смотрела на меня, как в зеркало, округлив голые руки.

Мгновенно я потерял голову. Только что мокрый, я сразу высох. Между мною и нею ничего не было, кроме тонкого гладкого шелка, полного матовых отливов и нежных теней, но этот шелк был я сам и она. Я выключил свет за ее плечами и закрыл дверь маленькой комнаты. Мы легли рядом на узкой и жесткой постели, и тогда я почувствовал, как она отяжелела от страха. Она стала говорить мне странные

слова сдавленным голосом, как будто что-то перехватило ей горло. Я боялся быть первым в жизни Марии. Я начал успокаивать ее осторожно, как ребенка, которому подносят новую еду:

– Увидишь, как это хорошо, попробуй только, потом сама будешь просить...

– Неужели ты никогда еще не спала с мужчиной?

Тем же сдавленным от волнения шепотом она рассказала мне, что с ней случилось в деревне, когда ей было 16 лет, как это было ужасно... Она хотела потом убить этого человека, хотела камнем разбить ему окно, и с тех пор никогда, никогда... Я сразу перестал ее слушать. Мне было все равно. Даже если она солгала, мне было все равно. Можно лгать в любви словами, мыслями, чувствами, но тело не лжет никогда. По крайней мере, я так думал.

Но если тело и не лжет, то это вовсе не значит, что его правда всегда и во всей полноте открыта нам. Иногда оно – как глубокая вода, в которую пловец бросается в жаркий день, и, выйдя на берег, чувствует, точно и не входил в воду. Я был стеснен и связан близким присутствием вдовы Карпузе. На следующее утро после этой случайной и торопливой встречи я чувствовал себя глубоко неудовлетворенным. Что могло быть унизительнее необходимости оглядываться на каждую дверь в квартире, полной чужих людей? Или смешнее ночного путешествия через столовую мимо открытой двери мадам?

Утром, как всегда, Мария постучалась и внесла в комнату поднос с завтраком. Ничего не было на ее лице, кроме невозмутимой, херувимской ясности. Может, мне приснилось вчерашнее? Я посмотрел на нее вопросительно. «Как ты себя чувствуешь, Мария?» Она подняла доверчивые, простодушные глаза и сказала:

– Хорошо... Вот только здесь чуть-чуть ломит. – И положила ладонь на бедро неожиданным движением, полным спокойной интимности.

В ближайшее воскресенье – это был выходной день племянницы госпожи Карпузе, когда ей разрешалось покидать дом после обеда, – я вышел рано утром и снял комнату в отеле. Я выбрал отель в центре города, большой и полный народу, где никто не обращал внимания на входящих и выходящих. Я выбрал «Савой», тот самый отель, где двадцать пять лет спустя заново открывал для себя Европу. До полудня я оставался в номере, занимался хозяйством: приготовил фрукты, пирожные, даже вино. Потом вернулся домой и объявил Марии, что после обеда жду ее к себе в гости в гостиницу «Савой», комната № 413. Однако эффект получился неожиданный: Мария испугалась. Она никогда не бывала в отеле, не подымалась на лифте, и мои объяснения еще больше напугали ее. Она отказалась. Мы почти поссорились. Я отвернулся мрачнее тучи. При виде моего жестокого разочарования (у меня выступили слезы на глазах) Мария смягчилась. Мы решили, что я буду ждать ее у входа в отель, и сам приведу ее в комнату № 413.

Через пять минут после трех Мария показалась из-за угла. Она шла медленно и нерешительно, едва передвигая ноги, и всматривалась издалека. Вид у нее был торжественный – шляпка, вуалька, и на руках длинные по локоть белые перчатки. Перчатки, видно, были из шкафа мадам Карпузе. В руке она держала сумочку и скромный свер-

ток, в котором я угадал бледно-розовую шелковую рубашку. Всё вместе было очень трогательно, но перчатки я попросил снять, чтобы не привлекать к себе внимания.

Мы вошли в холл и поднялись в лифте, делая вид, что не знаем друг друга. Темный и пустой коридор был устлан ковровой дорожкой. Я чувствовал себя так, будто это было не только первый раз в моей жизни, но и вообще первый раз в истории отеля «Савой», в истории человечества, в истории мира.

Я до сих пор не знаю, была ли Мария испорченной хитрой девчонкой – это было так же несущественно, как присутствие мутного осадка на дне стакана с чистой водой: я выпил воду и не коснулся осадка. Она была ошеломлена и увлечена, как и я, и даже больше, потому что за шесть часов, которые мы провели вместе в большой никелированной кровати, как в лодке, которую буря сорвала с причала и унесла в открытое море, она не притронулась к еде, ничего не пила и почти ничего не говорила. Я помню удивительно круглые движения, которыми она подавала мне свои застежки и лямки, и короткие паузы сна, в течение которых ее тело на краю постели дышало жарким, животным и таким необычным для меня, не моим, близким теплом. Она, казалось, спала, но стоило мне протянуть руку и легко коснуться ее плеча, как в ту же секунду вся она поворачивалась ко мне так послушно и точно, как если бы мы были одним идеальным механизмом, все части которого пригнал одна к другой великий мастер.

Пришли сумерки, наступил вечер, бледный электрический свет зажегся под потолком. Мы сделали открытие: четверть десятого. Нужно было возвращаться. Постель выглядела страшно. Подушки и простыни склубились, будто их сжевал, проглотил и выплюнул какой-то доисторический динозавр. Мария долго и тщательно одевалась перед зеркалом, причесывалась. Потом, готовая выйти, подошла, наклонилась к постели, на которой я покоился, как Бог после шести дней творения. Она поцеловала меня и сказала просто:

– Спасибо.

Я не отозвался. Но когда, через минуту, слово дошло до моего сознания, я пережил нечто вроде электрического сотрясения. Раньше я только теоретически знал, что в любви и через любовь открывают какое-то продолжение своей жизни в жизни другой. Это слово «спасибо» наполнило меня непомерной гордостью, будто я сдал первый настоящий экзамен.

Когда в лагере, много лет спустя, другая женщина сказала мне «не подходите» так же инстинктивно и непосредственно, как Мария свое «спасибо», это означало, что я выпал из круга нормальных людей. «Не подходите» стерло «спасибо» Марии и сделало меня отверженным. Все последующие годы в России я носил на себе клеймо, пока летом сорок шестого судьба не привела меня в тот самый отель «Савой», и в этом я увидел этап моего возвращения на Запад, на свободу. Как Маяковский, я ждал прихода Марии. Этажи и коридоры здания были исхожены ее ногами. Я ждал ее нетерпеливо, как много лет назад, вопреки очевидности, вопреки мертвому грузу лет и невозможности вернуть что-либо из прошлого...

Окна в сад были открыты. Легкий шум вентилятора был едва слышен. На низком помосте стоял скрипач во фраке. Белый горб его рубашки сливался с силуэтом янтарно-золотой скрипки. Точнее, это был цвет крепкого чая. При первом кристально-чистом звуке я положил руку на руку моей спутницы и передал ей маленький ключик.

Скрипач играл сонату Генделя. Аккомпанемент тенью следовал рядом, но скоро обозначился диалог скрипача и инструмента. Это был всадник, припавший к шее коня. И – о диво! – диалог превратился в трио, мелодия раздвоилась, душа скрипки вознеслась над страстным монологом сонаты. Поворачиваясь углом, скрипка стала расти и шириться, ее бухты и заливы, казалось, заполонили зал, и смычок, как парус, блестя на солнце, выплыл в открытое море.

В антракте моя соседка встала и неслышно вышла. Я остался один. В десять часов я поднялся в залу ресторана. Мы ужинали за круглым столом в нише, последний раз перед отъездом…

Мальвина, сестра моего друга, крупная блондинка с сонным и спокойным лицом, спаслась именно благодаря этому спокойному и невозмутимому выражению своего лица. Ей не надо было притворяться, она такой была от рождения. В польской семье, где она служила горничной во все время немецкой оккупации, и где бы не задумались сдать ее полиции, если бы узнали ее тайну, в этой семье говорили: «Вот уж нашу Зосю никто за еврейку не примет! Еврейки все такие нервные, беспокойные, а наша Зося, хоть с лица и похожа, но как себя держит!»

Ее подруге, Кристине, было восемнадцать. Она была прелестна нежной фарфоровой красотой и огромными сияющими глазами. Блеск этих глаз спас Кристине жизнь, когда немецкий жандарм остановил ее на улице в Варшаве: «Что вы несете?» Кристина подняла глаза и с кокетливой улыбкой протянула ему сумку. В сумке были прокламации патриотического союза. Жандарм галантно пропустил ее без проверки.

Но и у Кристины была своя трагедия, и не одна, а целых три. В шестнадцать лет – несчастная любовь к господину, который не принимал ее всерьез; страшный, мучительно скрываемый факт, что мать ее была «фолькс-дойче» и после войны бежала в Германию; и, наконец, то, что отец ее сошелся с другой женщиной. Кристина оставила дом отца и пыталась отравиться. Она приняла большую, но, оказалось, недостаточную дозу веронала и осталась в живых. Все мы очень жалели Кристину и восхищались ее ангельской красотой. Особенно восхищался студент Яцек. Он всё хотел познакомить Кристину со своей матерью, но Кристина уклонялась. У Яцека был приятный голос, он выступал на лодзинском радио. Когда он пел, Кристина садилась возле радиоаппарата и слушала с набожным выражением лица. Это не помешало ей, однако, разбить сердце верного Яцека. Со смехом рассказала она Мальвине, что Яцек кричал, хватая себя за голову и вращая глазами: «Ты бесчеловечна! Это евреи, с которыми ты водишься, сделали тебя такой жестокой!»…

В тот прощальный вечер мы выпили больше обычного. Мне было грустно, что никогда больше не вернусь в эту страну, но еще грустнее было бы в ней остаться.

– Каждый должен сам выбрать свое счастье и несчастье, свое добро и зло. Не дайте ничего навязать себе, боритесь. Кристина верит в Бога. Мало верить, надо любить. Но невозможно любить то, что выше нашего понимания и тревог. Я люблю Кристину, у нее лицо ангела и тело танцовщицы. Каждое твое движение, Кристина – танец, но ты не знаешь этого. Если бы ты овладела движениями своего тела, ты стала бы знаменитой. Я читаю каждое движение сердца на твоем лице. Если бы ты смогла овладеть своим лицом, какой актрисой ты бы стала! Страшно, но у нас нет власти над собой!

Кристина сдержанно улыбалась и сидела неподвижно, как человек, впервые надевший коньки и знающий, что ему не миновать падения.

– Когда я уеду отсюда, я напишу драму человека, который хотел быть вождем. Это не удалось ему, и он стал учителем. Когда ученики отвернулись от него, он решил остаться только товарищем, хорошим другом. И наконец, он остался один.

– Как печально! И что с ним стало?

– Он защищался, как мог. Он был, как пловец в бескрайнем море. Судьба его – утонуть во враждебной стихии. Пока не иссякли силы, он качается на волне, лежа на спине и глядя в небо. Над ним солнце, под ним холодная пучина. Одно короткое мгновение, закрыв глаза, он чувствует себя так хорошо и покойно под солнцем.

– А я, – сказала Мальвина, – я на твоем месте написала бы вещь, которая никого не касается. Вещь только для себя... Мне раз приснилось, что я лежу на дне глубокого потока, на дне реки, отделенная от мира и людей плотной стеной воды. Мертвая тяжесть пласта воды прижала меня к песчаному дну. Я видела игру теней и света в последний раз, прежде чем погаснуть навеки. Я знала, что умру вместе со всем, что во мне, вокруг и надо мною. И это, правда, было! было! было! Как во сне, так похожем на правду, что не замечаешь, как просыпаешься...

На прощанье я осторожно коснулся поцелуем розовой гладкой щеки Кристины. Она посмотрела на меня с упреком, и мы рассмеялись. В издательстве, где Кристина служила машинисткой, молодые авторы, восходящие звезды польской литературы, целовали ее на счастье, входя в бюро. Кристина негодовала, но протесты не помогали. А я не был даже польским автором и не имел никаких шансов напечататься в ее издательстве...

С подносом, на котором стоял ночной стакан чаю, я поднялся на третий этаж. Было 11 часов вечера. У двери номера я огляделся. Некому было помочь открыть мне дверь. Я поставил поднос на пол и осторожно нажал ручку незапертой двери.

Свет горел у изголовья постели. Спутница моя спала, высоко положив на подушку голову в золотистых локонах и завитках. Узкие бледные губы ее светились кораллом. Лицо куклы. Руки лежали на одеяле.

Она спала крепко. Здесь, в этой комнате, она чувствовала себя «лучше, чем дома». Так она сказала, когда я привел ее в первый раз, после случайного знакомства в кино. Тогда она вошла в номер с церемонной вежливостью, спокойно, неторопливо огляделась, сказала:

– Здесь вы живете? Очень хорошая комната, лучше моей, – и села в кресло под окном.

Я позвонил и попросил принести чаю. Потом спросил, как долго она может остаться.

– В шесть утра я должна уйти. – И помолчав: – У вас не будет неприятностей из-за меня?

– Никаких неприятностей. У меня особые права.

– И вы часто приглашаете женщин так поздно?

– Нет, моя милая. Вы – первая.

– За все лето – первая?

– О нет – за семь лет. – Она засмеялась.

– Что же с вами было семь лет?

Мы продолжали говорить в постели, постепенно привыкая друг к другу. Постепенно проходила ее неуверенность. Узнав, что я иностранец, она заметила:

– Я тоже один раз была заграницей: у родных в Дрездене.

– Вот как? Значит, вы немка?

Она испугалась:

– Что ж из того? Я совсем не скрываю, что я немка.

– Значит, можно с вами говорить по-немецки. Я давно не говорил по-немецки.

В то первое послевоенное лето нехорошо было быть немцем в Лодзи. Она рассказала мне свою историю. Она родилась и прожила всю жизнь в Лодзи. Ее покойный муж был поляк, механик. Ее звали Мария. Ее ребенок умер год тому назад. Теперь она работала продавщицей в магазине. Другие продавщицы не должны были знать, что она немка. Хозяин знал. Хозяин, конечно, должен был знать.

– Я семь лет не касался женщины. Боюсь, что вышел из практики... – пошутил я.

Она сказала очень серьезно:

– Нет, ты не вышел.

Поздно ночью я зажег свет и взял книгу с ночного столика. Я читал целый час, чувствуя ровное и теплое дыхание за собой. Иногда я протягивал руку и касался ее. Мир, безмолвие, покой. Потом я заснул, крепко обняв ее. Правая грудь ее была в моей левой ладони.

В шесть часов утра она поднялась. Мы условились встретиться завтра.

Во вторую ночь она неожиданно расплакалась. Нет более страшного города, чем Лодзь. Во всем мире нет более страшного города. Если бы я мог забрать ее с собой заграницу. Все равно куда. Она хорошая хозяйка. Она будет работать. Она будет мне верна.

Я едва успокоил ее.

– Ты ничего не знаешь обо мне. Ты молода еще, всё устроится.

Она, действительно, ничего не могла знать обо мне. Не знала и того, что эта наша третья встреча будет последней. Утром я уезжал далеко, на Запад, и еще дальше. Все было готово, упакованы чемоданы, кончены прощания. В последние часы только она осталась со мною.

Во сне она была каменной, твердой, как статуя. Она медленно просыпалась, оживала, теплела. Искра пробежала по ее телу. Дрогнули колени и плечи. Гибкость, упругость возвращались к ней. В темноте она открыла глаза и вздохнула.

Наутро, когда она уходила, я задержал ее.

– Тебе нужны деньги?

– Деньги всегда нужны. Но я хотела, чтоб ты купил мне что-нибудь. Потом, когда захочешь.

– Купи себе сама. Открой ящик стола. Деньги сверху.

– Сколько? – спросила она, увидев кипу ассигнаций.

Лежа в постели, я смотрел на нее в последний раз.

– Возьми половину.

– Но это слишком много.

– Пусть будут у тебя. А то, пожалуй, в карты проиграю.

– Нет-нет! – сказала она, – тогда лучше возьму себе.

И уходя, обернулась:

– Ты позвонишь сегодня?

– Не сегодня и не завтра, – сказал я, засыпая. –Я уезжаю в Варшаву.

– Надолго?

Но я уже спал. Дверь закрылась за Марией. Во сне я видел, как она уходит достойным и медленным шагом, высоко неся голову, идет по ступеням широкой лестницы, по ковру вестибюля, мимо заспанного швейцара. На пустой улице встречает ее серый рассвет, с которым так не вяжется ее вечерний вид и наряд.

Конец Марии. Finis Poloniae. Конец старым обидам и счетам, старым страстям и волнениям. Начало новых дорог и волнений, новых радостей и разочарований.

СЕНТЯБРЬ 1946

Ранним утром 29 августа 1946 года друзья проводили меня на аэродром в Варшаве.

Я принадлежал к той группе беженцев, которым Польша временно дала возможность эмигрировать. В те дни многие мне завидовали, зная, что я уезжаю на Запад, еду за черту, разделявшую два мира. Когда в отеле, где я прожил все лето, стало известно о моем отъезде заграницу, нумерные, швейцар и портье наперерыв вздыхали о моем счастьи. Можно было подумать, что они чужестранцы в собственной стране, силой прикованные к месту.

Я вспомнил проводы на славгородском заводе в далекой Сибири, за пять месяцев до этого. Тогда было такое же участие, такие же прощальные взгляды и вздохи – «поляки-то уезжают!». Мы, счастливцы с польскими документами на руках, лицемерно сожалели, что не придется нам больше греться на великом солнце сталинской свободы, а рабочие улыбались с видом, который и без слов говорил, что они нас понимают, и уверены, что мы их понимаем не хуже.

Только один партиец, причастный тайнам, утешил нас тогда: «не беспокойтесь! мы за вами идем по пятам, мы еще встретимся»...

Теперь провожавшие меня сами готовились вскоре покинуть Польшу, и в то утро репетировали предстоящий отъезд. Они остались за барьером, и я чувствовал их взгляды на своей спине, когда наша кучка пассажиров вышла в поле и направилась к самолету.

Нам показывали дорогу. Нас ждали. Нас приглашали: «Сюда, пожалуйста». Самолет покоился, весь в лучах и розовом блеске, но то был мнимый покой, за минуту до старта, и ровный шум моторов, усиливаясь, заставлял биться наши сердца и мы опускали глаза, чтобы не выдать внутреннего волнения.

Самолет оказался американской транспортной машиной, наспех приспособленной для сообщения с Парижем. Внутри, под круглыми окошечками, тянулись с двух сторон скамьи, между которыми возвышалась груда багажа. Слышалась английская и французская речь. Сидевшая рядом со мной дама летела к мужу в Боливию. Едва самолет поднялся, краснолицый добродушный американец вытащил коробку с соленым миндалем и оделил им соседей.

Я сидел неудобно, боком, и, не отрываясь, глядел в окошко. Под ярким солнцем блистали асфальтовые шоссейные дороги. Земля была расчерчена цветными квадратами. В воздушном провале вдруг возник игрушечный поезд, он полз, как маленький червячок, и я увидел станцию, из которой он вышел, и ту, куда он направлялся.

Прошел час, и вот от края до края горизонта протянулась, сверкая, узкая лента реки с песчаными отмелями – Одер. Граница Польши. Только теперь я был действительно свободен. Мы пролетели Франкфурт-ам-Одер, и я вспомнил, что последний раз был в этом городе восемнадцать лет назад. «Советское приключение» было окончено.

– Левой ногой перекрещусь, лишь бы живым выпустили! – сказал прораб Зелемоткин, брюхатый любитель блинов в снежном лагере.

– Прощай, Зелемоткин!

* * *

Полагалось лететь без остановок до самого Парижа. Но через два часа полета мы сели на аэродроме в Ландсберге, в километрах двадцати пяти за Берлином. Массивные корпуса, построенные во времена Гитлера, сохранились в целости. Мы всё еще находились в зоне русской оккупации. Советские мундиры окружали нас. Пока самолет заправлялся горючим (на эту операцию ушло часа два), мы прошли по широкому полю в ресторан. Остановились возле часового – монгольское скуластое лицо.

– Откуда ты?

– Из-под Казани.

Кто-то подмигнул ему на немку-уборщицу, которая мимо нас тащила с озабоченным лицом метлу и ведра.

– Немки здесь хороши?

Татарин сплюнул: – Да ну их! Все как одна заразные.

– И эта?

Он чуть покосился и ухмыльнулся:

– Нет, эта ничего, чистая.

Довоевалась Германия.

Мы вошли в помещение ресторана, где немецкий персонал суетился вокруг молодых советских лейтенантов. Лейтенанты вели себя с неслыханным достоинством, «держали фасон». Я смотрел на них с

сочувствием человека, который оценивает не только их внешнюю выправку победителей, но понимает и то, о чем никакие иностранцы не догадывались – всю затаенность, настороженность детей советской Чухломы или моего бывшего Славгорода (в Голодной степи) в нынешнем чужом и трудном для них окружении.

Мои спутники были крайне возмущены: ресторан аэропорта Ландсберг не принимал никакой валюты, кроме немецких марок и советских рублей. Доллары и фунты были здесь бесполезны... И вдруг я нащупал в кармане то, чего никто из европейских пассажиров самолета не имел и иметь не мог – рубли, семь советских рублей. Они случайно завалялись у меня еще с апреля, с сибирского эшелона. Эти мятые бумажки в России не имели никакого значения. На славгородском базаре за семь рублей можно было купить лишь маленькую булочку. Но здесь советский рубль был в цене! Рубль-завоеватель! Я заказал себе завтрак: яичницу, кофе, масло и, к удивлению официантов, гордо расплатился семью советскими рублями. Но на пиво уже не хватило. Я попросил молоденькую немку из буфета принести мне воды. Один стакан принесли сразу две девушки, чистенькие, аккуратные, приветливые. Я смотрел на их румяные лица, с непривычки с трудом выговаривая немецкие слова, и не мог опомниться:

– Я в Германии! Вот передо мной послегитлеровская Германия, вся в развалинах, как земля после потопа, полная жутких призраков и ростков новой жизни. Эти девушки еще вчера были в «гитлерюгенд», что за новая «югенд» ждет их завтра?..

Самолет оторвался от земли.

Сеанс продолжался. Волшебный экран не мог вместить всех воздушных пространств. Географический атлас превращался в цветущий мир, и я был зрителем, участником, современником. Мы летели над Германией, минуя большие города, и нигде не было видно следов войны.

Какое богатство, густота населения, разнообразие ландшафта! Зеленые холмы и леса сменялись живописными городками и селениями. Башни церквей, черепичные крыши домов, сады и поля переплетались с дорогами и реками. Озера лежали, как зеркала в драгоценных рамах. Всё, казалось, полно нерушимого мира, покоя, довольства. Эта страна была так очевидно благоустроеннее Польши, так несравнима с пустынной и однообразной равниной России, и отсюда, именно отсюда, из этой благословенной полноты и силы, разлилось по миру несчастье.

Я вспомнил своих бывших немецких друзей, которые голосовали за Гитлера, которые предали меня, которым теперь при встрече я не смог бы подать руки. Что с ними? Где они теперь? В этой Германии, над которой летит мой самолет? Где ты, добрая тетя Гедеке, что не брала денег с еврейских бедняков-квартирантов, а потом?.. Где симпатичная фройлейн Рор из Дрездена, учительница ритмики, которая годы прожила среди нас в Польше, а потом... А смешанные семьи давних приятелей с маленькими детьми? Они теперь были бы взрослыми юношами и девушками, если бы остались в живых... Мысль переходит к тем

беспомощным людям, которых вывезли на смерть, мысли кружатся, замирают, цепенеют, расплываются, гаснут... И тут я увидел Рейн, и, далеко в стороне, стрелки Кельнского собора. Уже? Так скоро?!

На Запад, на Запад!

* * *

Из глубины падения, из царства мертвой ночи, от теней прошлого – в прекрасную светлую Францию, в страну, которая сама страдала, но не была повинна ни в тусклой злобе, ни в мрачном изуверстве, как ее соседи. Как долго ждал я этой границы, будто в самом деле есть в мире граница между царством Добра и Зла. Сколько бы я ни говорил себе, что нет такой границы на карте, что она проходит, едва различимая, в сердце человека, а не на земле, – но именно здесь было для меня преддверие свободы. Мы летели над белыми домиками французских городов, и солнце уже клонилось к закату, когда мы стали снижаться над Парижем, над городом, о котором мы столько говорили с Олегом, моим лагерным другом.

Олег был сыном бывшего советского полпреда на Рю де Гренелль, позже ташкентского профессора. Школьником он прожил два года в Париже и полюбил этот город. В открытом поле под осенним северным небом, у костра Олег рассказал мне, как отец взял его с собой на обед со знаменитым профессором Ланжевеном. Профессор вызвался посвятить гостей в таинства французской кухни, ввести в святилище гурманов. У них на глазах яства готовились и подавались на десятках тарелочек. Полпред похваливал. А потом спросил Олега: «Ну как, тебе понравилось?» И Олег решительно ответил: «Да за один горшок гречневой каши отдам все сорок блюд!» Отец рассмеялся: «Ты прав».

«Прощай Олег, прощай, гречневая каша!»...

Париж раскинулся в неописуемой красе. Город-гигант развертывался на холмах, аэропорт Ле-Бурже приблизился и обозначился десятками самолетов и муравьиной сутолокой машин и людей вокруг них. Мы сели плавно, покатились, потом побежал навстречу сигналист с флажком, показывая, где нам стать.

Всё! Приехали. Я вылез и рядом с боливийской дамой пошел через поле к вокзалу. И вдруг сбоку за барьером кто-то метнулся, замахал шляпой, закричал...

Через полчаса Александр привез меня на Фобур Пуассоньер, и Нина, жена его, обняла меня. Я не находил слов. В тот вечер я не вышел из дому. После восьми лет это были первые родные, с которыми я встретился. Каждый из нас мог рассказать гораздо больше, чем позволяет нормальная способность говорить. Я был оглушен, ошеломлен, был в том состоянии, когда волнение не дает договорить начатой фразы. Я ничего не знал о своих родных все эти годы, и они ничего не знали обо мне. Я всматривался в них как бы издалека и постепенно приходил в себя. Вот, наконец, первые люди, которые любят меня. Как странно! Невероятно! Я видел их оттуда, из Алтая, и улыбался беззубым лагерным ртом. На руке моей не было обручального коль-

ца, и однако, мы были те же. Те же, что восемь лет назад. Столько любви и тепла не было в моей жизни за все годы неволи, как в один тот вечер. А ведь это был еще только пролог, только задаток, ведь я еще не был дома...

О нашем Сане всего не расскажешь, хоть год пиши. Довольно сказать, что во время немецкой оккупации он не зарегистрировался как еврей, и это спасло ему жизнь. Он принял участие в движении сопротивления, снабжал информацией Лондон, по его указаниям бомбардировали немецкие аэродромы, а один склад бензина был им подожжен лично. Вуаля! Играл со смертью, был арестован....

Квартира Александра и Нины была полна довоенного уюта, солидного комфорта, покоя – наследия прошлых поколений. Скульптура Родена стояла на камине. Прекрасные картины висели в салоне, где постелили мне на широком диване. Коридор был длинный, темный, половицы старого паркета скрипели под ногами, и по пути на кухню было несколько боковых дверей. Окна были завешены плотными шторами. Александр сел за пианино и сыграл композицию собственного сочинения, а потом, для сравнения, Баха, – точно, как восемь лет назад. Потом мне показали, как тушить свет в большой люстре, и оставили одного.

На ночном столике лежало письмо для меня из Тель-Авива.

На следующее утро Александр отправился за билетом для меня на пароход в Палестину. Он вернулся с вытянутым лицом – мест на пароходах не было до октября, ноября... Был 1946 год! Морской транспорт еще не функционировал нормально.

– Пустяки! Я полечу!

Самолеты в Лидду летели через Каир. Я поехал в Египетское Королевское Консульство. Меня приняли любезно, но когда выяснилось, что я еврей, в визе было отказано.

Египетское правительство не соглашалось пропустить меня через свою территорию. Я был чужой в арабской Палестине. Это было эхо той ненависти, от которой я бежал из Сибири, из Польши. Египтяне не были коммунистами, напротив. Они не были гитлеровцами. Они только предпочитали, чтобы я оставался там, откуда прибыл.

Мой отъезд неожиданно превратился в проблему. Как отсюда уехать? Париж был слишком велик для меня, слишком прекрасен, слишком вечен. Я шел по бульварам, вышел на площадь Конкорд. Я не первый раз был в столице Франции. Когда-то я прожил месяц в тихом предместье Кламар и добросовестно выполнил программу, что полагается беззаботному туристу-иностранцу. С тех пор многое изменилось, но для меня этот город по-прежнему оставался спящей твердыней тысячелетий. Я не верил ни в «падение», ни в «сожжение» Парижа. Но я был не в состоянии бездумно фланировать по Елисейским Полям. Я хотел продолжить свой путь. Я хотел вернуться в этот город не из Сибири, а из Тель-Авива. Мне нельзя было медлить. В моем представлении завтрашний день вытеснял сегодняшний. Салон Александра с картинами Кислинга и Мане-Каца был затоплен разливом лазури и блеска Средиземного моря.

Ехать! Ехать! Ехать! Плыть, лететь, мчаться вперед и вперед, освобождаясь от мертвого груза, прочь из круга ненависти, туда, на родину, где, наконец, обретешь дар слова, где вспомнишь все забытые слова...

На третий день, в воскресенье, внезапно выяснилось, что на пароходе, отходящем на следующий день, в понедельник, из Марселя в Хайфу, есть свободное место. По телефону это место закрепили за мной, и в тот же вечер я выехал в Марсель.

Перрон Лионского вокзала, с вечерней сутолокой огней и провожающих, проплыл мимо окна, и я остался один, со знакомым детским чувством: снова один, потерянный в ночи, в огромном мире, как пловец, упавший за борт парохода в океан. Но океан на этот раз был не бурный, ледовитый и враждебный, а теплый, спокойный и без волн, да и пароход, светя огнями, не уплывал, а стоял и ждал, ждал меня в марсельском порту.

Я долго стоял в пустом коридоре у окна, вглядываясь в темноту. Поезд мчался с грохотом, замедляя и ускоряя движение, семафоры указывали ему путь, диспетчеры сигнализировали его проход на станциях, он вздрагивал, меняя колею, и я слышал обрывки разговоров, «сонные слова», которыми обменивались ночные пассажиры. Я был на Западе, я мог стоять у окна, не боясь, беспечно и спокойно! А завтра в это время буду спать в жаркой кабине, под шум мотора, где-нибудь у берегов Италии...

Молодой человек, похожий на студента, остановился около, оглядел меня с любопытством и заговорил первый.

– Из Сибири в Палестину? Это же так далеко! – сказал он, узнав, откуда я еду. – Вы, наверное, видели много стран. И что? Где-нибудь люди довольны, счастливы? Я тоже уеду отсюда за море, в Индокитай!

– Зачем? Неужто воевать?

– Нет, мы довольно повоевали. Мы ищем мира. Может, найдется страна, где можно все начать сначала. Мир обваливается. Франция нищенствует. Откуда придет свет? С Востока? С Запада?

– Пустяки, – сказал я. – Вы молоды. У вас прекрасная, богатая страна. Работайте и не доверяйте чужим. Не ищите у них света. Какой же свет в Сибири? Там холод и нужда, там рады бы иметь ваши заботы.

Но молодой человек продолжал домогаться подробностей о Сибири. Палестина интересовала его меньше. Во Франции он, видимо, уже совсем разочаровался. Я пожелал ему спокойной ночи и ушел спать в купе.

* * *

В десять утра, в проливной дождь, мы прибыли в Марсель. Я поспешил на рю де Републик в бюро пароходного общества. Место на пароходе было еще свободно. Я достал свой варшавский паспорт и кипу французских ассигнаций, уплатить за билет. При виде моего паспорта лицо служащего омрачилось.

– Вы иностранец? В таком случае по закону вы обязаны платить за билет заграничной валютой. Есть у вас доллары, фунты?

– Нет, но если нужны доллары, пожалуйста, я сейчас выйду и обменяю деньги.

– Невозможно, – сказал служащий. – Вы можете платить только той валютой, которую ввезли во Францию, и при въезде задекларировали на границе. Сколько вы ввезли?

– Я ничего не ввез, сударь. Но у меня родные в Париже, они снабдили меня деньгами.

– В таком случае мы не можем продать вам билет.

Я забеспокоился:

– Послушайте, получается, что я вообще и никогда не смогу уехать из Франции. Посудите сами: я иностранец, которому продают билеты за валюту, отмеченную в паспорте. Но если ничего не отмечено, что же мне делать?

Служащий высказал мысль, что лучше всего было бы вернуться в Париж и похлопотать в министерстве.

– Но тем временем истечет моя транзитная виза! Вот штемпель «без права продления».

– Ах! – сказал служащий, – какая жалость. Неужели вам придется вернуться в Польшу?

Я мягко заметил, что у меня паспорт эмигранта. Без права возвращения. Если я вернусь, Польша меня не примет.

– Тогда оставайтесь, – позволил служащий. – Есть у вас кто-нибудь в Америке, кого бы вы могли попросить купить вам билет? Вот выход: Америка.

Я снял себе номер в отеле на рю Кольбер, недалеко от Канебьер, и после обеда поехал в бюро Сионистской организации. Там мне объяснили, что выехать из Франции я смогу лишь с транспортом беженцев, которые, по соглашению с французским правительством, периодически переправляются сионистской организацией из Марселя в Палестину. Меня обещали отправить с ближайшим судном, но не могли точно указать, когда оно отправится. Может, на этой неделе, а может, и позже.

Я остался ждать парохода, и ждал его три недели. Префектура продлила мне визу, несмотря на штемпель «без права продления». Такая вещь в Советском Союзе не прошла бы гладко. Там штемпель есть штемпель. За невыезд вовремя, то есть «за нарушение паспортного режима», как я выяснил в свое время, полагается несколько лет принудительного труда в исправительном лагере. Но французы народ беспечный.

* * *

Итак, я застрял в Марселе, но не жалел об этом. Приятно находиться «в состоянии отъезда» на юге Франции, в большом портовом городе, в сентябре, когда небо синее и улицы залиты солнцем. Чувство бездумной легкости, сказочной невесомости овладело мною. Я знал, что ненадолго, но это было исполнение давнишней мечты. В 1943 году, в советском лагере, я написал, обещал себе, закрепил:

Не надо мне цехинов и дукатов,
Фамильного не надо серебра.
От общества банкиров и магнатов
Не жду себе ни пользы, ни добра.
Но если я приду к себе домой,
Мне будет тесно в городской квартире –
Насиженный и теплый угол мой
Мне через день покажется тюрьмой,
И я уйду – бродить свободно в мире.
Ни дел вчерашних, ни вчерашней дружбы!
Ни серой паутины сонных дней –
Я не приму обязанностей службы
И ритуала, связанного с ней –
«Часов приема», службы у дверей.
Не для того я жил в неволе годы,
Где каждый шаг мне недруг диктовал,
Чтоб не желать неистовой свободы,
Как в первый день творенья Бог желал.
Чудесных книг, не читанных доселе,
Волшебных стран, не виданных еще,
Весенних гроз и синевы в апреле...
Меня влекут соблазны горячо.
Мой поезд утром подходил к Парижу,
И Сакре-Кэр сияла в высоте,
Но этот город я еще увижу,
Прекраснее и ярче, чем в мечте.
Прекраснее, и ярче, и желанней
Ко мне вернется молодость моя,
Как ласточка в воздушном океане,
Летящая в далекие края...

С этими стихами, живущими где-то в подсознании, я бродил по улицам и бульварам, сидел в кафе, где подавали кофе без сахара, и каждый день обедал в другом ресторане. Я научился есть «буйябез» и пить вино из стакана. Я пил виноградный сок у киосков «стасион юваль». Я ходил в синема на Марлен Дитрих и Фернанделя.

Осенью 1946 года Франция переживала голодное время, но я не замечал этого. В полночь я покупал сэндвичи на улице и стоял в очереди за жареными каштанами. Я съездил на остров Иф на внешнем рейде со знаменитой крепостью, в казематах которой некогда содержался Мирабо и, помнится, умер Портос, перебив сто шесть человек перед своей геройской кончиной. Я поднялся лифтом на высоту Нотр-Дам де Гард и созерцал миллионный город в потоках южного солнца и платиновый блеск моря. Я ездил на Корниш и купался в море. Я получал и писал письма. Денег у меня было ровно столько, чтобы дожидаться парохода, особенно не роскошествуя и никуда не отлучаясь из Марселя, где каждый день мог быть дан сигнал на посадку. Я был весьма доволен своей жизнью. Всё происходившее со мной казалось мне божьим чудом.

Разумеется, я использовал три недели сидения в Марселе и для французского чтения. Семь полных лет я был оторван от культуры Запада, от текущей литературы, семь лет я питался тем, что мог найти в лагере в глухой советской провинции. Жажда моя была неописуема, и теперь впервые я смог припасть к источнику «чудесных книг, не читанных доселе...» Что случилось за годы моего отсутствия в литературе, философии? Со смирением я подымал глаза к престолу мудрых и робко протягивал руку.

В Париже я попросил Александра дать мне что-нибудь из новинок, из последних произведений французской мысли.

– Экзистенциализм! – сказал Александр.

Я не знал, что это такое.

Александр принес две книги неизвестного мне автора. «Повесть» и толстый том «феноменологической онтологии»: «Бытие и Ничто». Имя автора было Жан-Поль Сартр.

В Марселе я взялся за обе эти книги. Я начал читать, поспешно перелистывая страницы повести, в ожидании, что она сама задержит, прикует мое внимание. И, действительно, интерес мой скоро проснулся.

* * *

Бывают книги, покоряющие читателя, увлекающие его, бывают и другие, они дразнят и стимулируют, одновременно отталкивая. «Тошнота» оказалась второго рода. Герой этой философской повести Сартра, человек немолодой и ученый, провинциал, пишущий некий исторический труд, внезапно делает открытие, или, можно сказать, заболевает невиданной болезнью – он обнаруживает свое собственное существование.

Как Парменид, который две с половиной тысячи лет назад открыл «бытие», Рокантену, герою повести, открылась нагая правда его присутствия в мире. Но существование господина Рокантена, как и существование всего его окружения, впервые открывшееся ему, было полной противоположностью парменидовского «бытия» – оно наполнило его ужасом и отвращением, точно он увидел голову Медузы. Герой повести бросает начатый труд, разочаровывается в гуманизме отцов, теряет способность любить и ненавидеть, короче, обращается в живой труп.

Это было бы удивительно даже, если бы Сартр изобразил приключения своего героя только как его личные, никого не обязывающие переживания. Однако это не просто роман с психологическими приключениями. Это своего рода введение в философию экзистенциализма. Причем, существование вообще есть то, что вызывает отвращение и страх. Люди, не пережившие этих состояний, просто не существуют надлежащим образом. Они обманывают самих себя.

Трудно представить себе книгу, менее отвечающую моему душевному состоянию в Марселе. Я был лагерник, вырвавшийся из заключения на свободу. Мне нужен был хлеб свободы, а мне предлагали рокфор, блюдо французской кухни. В одном отношении только не

обманула меня первая книга, которую я взял в руки по возвращении на Запад: ничего подобного, конечно, не могло быть ни написано, ни обнародовано в тех местах, откуда я прибыл. Вся книга эта была – свобода и поиск.

Но свобода Сартра напоминала смерть (о чем он и сам упоминает при случае). А поиск... Я попробовал представить жизнь господина Рокантена, прежде чем он открыл «существование» во всей его тошнотворности. Я следил не без сочувственного любопытства за философскими борениями героя Сартра. «Тошнота» представлялась мне смешным переживанием старого холостяка, неожиданно для себя осмыслившего, что это такое – присутствовать в мире. А до того? Какой «сон души», какие разрисованные декорации мешали ему приобрести этот основной опыт, с которого начинается действительно серьезная жизнь?

* * *

В молодости я был полон надежды, удивления, энтузиазма. Мой страх пред жизнью был счастливым страхом неопытного любовника. Тошноту жизни я ощутил впервые в пять лет, при виде огромных голых ступней увиденного мной трупа. Тогда я испытал пламенное желание отделаться от собственных ступней и впервые ощутил, что это невозможно. Я рос из этих ступней, и я сам был эти ступни. Я был «пойман» в жизнь.

Но никогда отвращение и страх не могли возобладать над детской душой.

При чтении книги Сартра я испытал не инфантильное отвращение, а негодование. Когда писалась эта книга? До войны, когда Гитлер готовил завоевание Европы и истребление миллионов людей в лагерях смерти. В эти годы многих обуял страх пред жизнью. В некотором смысле эта книга была ответственна за смерть моей матери в гетто. Была подземная связь между умонастроением, «климатом» этой книги и будущими успехами гитлеризма... или сталинизма. Поражение Франции было заложено в ней. Философия, исходным пунктом которой была «Тошнота», физическое отвращение к жизни, логически непременно приводит к моральному и политическому безразличию, капитуляции перед брутальными, полными примитивной энергии, заряженными мужской силой массовыми движениями. Человек, сделавший «открытие» Сартра, очевидно, мог продолжать «существовать», лишь опираясь на что-то вне себя, на что-то мощное и победительное, к чему стоит примкнуть. Так ребенок боится перейти канаву по доске и ищет помощи, хватает за руку любого, кто идет без головокружения: «возьми меня»...

Я открыл «Бытие и Ничто». К чтению этой трудной и запутанной книги я был подготовлен с философией Гуссерля и Хайдеггера. «Введение» сразу вернуло меня в атмосферу хайдеггеровского «Бытия и Времени». Даже в стиле было подобие...

«Бытие и Ничто» было философским продолжением повести «Тошнота». Там философская беллетристика, здесь беллетристиче-

ская философия. Продираться сквозь анализ Сартра было нелегко. В конце концов, каждый анализ превращался в тончайшую и вполне произвольную паутину, сотканную на границе опыта, где мрак становится непроницаемым и перестают различаться фантазия и данное. Я начал рассматривать анализ Сартра как увлекательную игру понятий, эксцентрический танец на канате, чистое искусство. Я отказался от надежды согласить мир Сартра с тем, в котором я жил, и только после этого чтение книги превратилось для меня в беспримесное наслаждение, полное незаинтересованного любопытства. Я перестал искать в ней объективную правду и нашел в ней точный автопортрет современника, сына нашей жестокой эпохи.

Так, точно так, а не иначе, должна была реагировать отчаявшаяся западная мысль на лабиринт действительности, где она безнадежно заблудилась и осталась во мраке сама с собой...

Антитезу «Бытие и Бог», которой питались тысячелетия человеческой мысли, Сартр попытался заменить антитезой «Бытие и Ничто», и, как следствие, в его воображении не только распалась целостность мира, но и целостность душевной жизни превратилась в фантом. Отрицание приняло форму утечки, и образ «потока сознания», которым оперировали два поколения психологов, заменился образом бегства, падения, неудержимого провала в Ничто. Лицом к лицу с загадкой мира Сартр с его непреодолимым Ничто по-своему выразил бессилие и страх, озлобленное отчаяние обманутого сына века.

Не знаю, как повлияла бы на меня эта философия при иных обстоятельствах, но годы советского лагеря и опыт душевного сопротивления искривлению «человеческой реальности», которое там практиковалось, дали мне иммунитет против такого философствования.

Своеобразие этого экзистенциализма заключалось в озорной и забубённой позе, которая из области бытовой и политической распространилась, наконец, и в область духа. Человеческая трагедия была подана как пикантный и легкомысленный скетч.

Хорошо
Когда брошенный эшафоту в зубы
Крикнуть
«Пейте какао Ван-Гуттена!»

С такой ментальностью политический экзистенциалист Маяковский пришел к коммунизму и «нигде кроме, как в Моссельспроме», а философский экзистенциалист Сартр – к понятию «Ничто». И однако, выговорить слово «ничто» – значит уже придать ему положительный онтологический смысл. Нет «пустых» интенций, как нет интенциональности вне бытия. Я живо чувствовал огромную витальность, бодрость книги Сартра, энергию его мысли... но не видел никакой «необходимости» ни в жизни автора, которая могла прерваться в любую минуту по его свободному решению, ни в его мысли, которой так легко можно было бы придать совсем другой оборот.

Когда я начал просматривать страницы, посвященные конкретной структуре человеческого сознания, автопортрет Сартра вообще пере-

стал меня интересовать. Моя любовь, мои страсти, мои пороки не умещались в этот анализ. Толкование чужого сознания как угрозы, как чего-то, взрывающего целостность моего восприятия мира, было мне чуждо.

Я оставил чтение на половине. Не потому, что очевидная субъективность псевдоанализов мне надоела, а потому, что со всем этим мне просто нечего было делать. Я хотел жить! Я только-только вырвался из пропасти и искал союзников, друзей, соратников в борьбе с реальным злом. Но, прежде всего, я был переполнен ощущением жизни во мне и вокруг меня.

Философия, которая не умеет показать, как скрещиваются сознания, хотя бы при обмене взглядами влюбленных, при сплетении их рук на бульваре многолюдного города, – немного стоит. Чему мог меня научить этот первый «привет с Запада»? Чем он мог помочь мне или моим друзьям, оставшимся в России, в лагерном аду?

Припев Марсельезы звучал в моих ушах: «К оружию, граждане!»

Люди, сложившие и певшие Марсельезу, верили в реальность мира, добра, зла и свободы не по Сартру. Я чувствовал в подпочве его философии скрытые враждебные силы, тайную измену, попытку уклониться от того, что преследовало меня не как «фантом прошлого», а здесь и сейчас, во мне и при мне…

Но ощущение силы и возможностей жило во мне, и было радостью. К оружию, граждане! На борьбу с несомненным и реальным злом, без страха пред тенью ночи!

Мне весело было в Марселе, и я три недели жил в нем как сын богов и гость перелетный. Всему чуждый и близкий, пришелец и свой, в антракте меж действиями мировой драмы, в паузе между одним и другим взмахами смычка, пловец на гребне огромной волны, вынесшей меня из пучины к людям, солнцу, небу, счастью и новому опыту еще предстоящего страдания.

НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ (ПИСЬМО С ДОРОГИ)

В начале сентября в Марселе я получил телеграмму из Парижа, где меня просили «не волноваться». Годы скитаний и разлуки были за мной. Семь лет я не был дома. В Тель-Авиве ждали меня родные и близкие, товарищи и друзья. Я был счастлив, как может быть счастлив человек в моем положении. Может, даже больше. В Марсель я прибыл из Парижа, чтоб ехать домой в Палестину.

Но оказалось, что этого сделать нельзя. Мне объяснили, что я, как иностранец, должен заплатить за билет не франками, а иностранной валютой, которой у меня не было. Я приехал из Польши, откуда не разрешалось вывозить более 1000 франков, и так как только эта ничтожная сумма значилась в моем паспорте, пароходная компания не была в праве продать мне билет.

Паспорт и виза, франки в кармане, место на пароходе – все было. Пребывание мое во Франции никому не было нужно, и даже незакон-

но, так как срок действия транзитной визы уже кончился. И все-таки я не мог уехать туда, где ждали меня семья и родина.

Это пример того, как люди в самом ясном положении ухитряются запутать себя и других, создавая тупик там, где все просто и ясно. Мои друзья просили не волноваться. Все, мол, устроится, выход найдется. Но я и не волновался. Жизнь научила меня относиться к превратностям судьбы с философским спокойствием. За мной были годы войны, ссылки, Сибири, годы заключения в советских тюрьмах и лагерях. Те, кто волновались, нервные, неуживчивые люди вымерли, а мы, выжившие, научились принимать бессмысленную жестокость и тупое зверство как самое обыкновенное, естественное явление, норму мира сего.

Удивиться и волноваться заставляет меня нечто другое – каждый акт доброты, внимания к человеку, каждое проявление разума и человечности. Я волновался, как ребенок, убедившись, что есть еще люди, которые меня помнят. Я был потрясен, узнав, что в Польше покупают железнодорожный билет и едут, куда хотят, без разрешения властей. Я был смущен, когда увидел, что за советской границей можно купить на улице почти все, что нужно человеку. Я удивлялся не тому, что польское правительство не выпускает поляков за границу. Это понятно. Наоборот, я был взволнован, когда мне разрешили эмигрировать в страну, где мой народ пытается жить свободно и где живут мои жена и сын. Это слишком просто, по-человечески. Советский Союз не разрешил бы этого. Там евреев, мечтающих о Палестине, сажают по статье 58 на десять лет. И это как раз понятно, ибо так требует советский гуманизм.

За семь лет я привык, что нужно голодать и ходить в лохмотьях, когда есть легкая возможность быть сытым и одетым. Нужно пилить дрова, имея университетский диплом. Надо лгать, потому что правда убивает, и жить среди тех, кто тебя ненавидит, а не с теми, кто любит тебя. Я понял, что не нужно быть виноватым, чтобы понести наказание, и не надо быть большим философом, чтобы заставить людей поверить в любой абсурд. И что проще простого согнать на убой миллионы людей, с их же согласия или, во всяком случае, без их сопротивления.

И научившись всему этому, я нисколько не удивился, когда в Париже оказалось, что нельзя кратчайшей дорогой ехать в Палестину, потому что кто-то не дает транзитных виз, а в Марселе нет возможности за французские франки купить билет на французский пароход. Это сущая безделица, и я бы удивился, если бы было иначе.

Когда-то понадобилось десять казней, чтобы заставить фараона выдать визу нашим предкам. Но современные фараоны чудес не боятся, и в приемной египетского консульства в Париже я почувствовал, что на этот раз даже пришествие Моисея не помогло бы устроить мне билет.

Мои дорожные приключения – только частный случай. В дороге весь еврейский народ. С ним та же история. У него есть родина и место на земном шаре. Есть материальная и техническая возможность жить по-человечески, никому не мешая. Есть паспорт, выданный три

тысячи лет назад в весьма высоком месте, на паспорте – современная виза господина Бальфура. Документы, деньги, транспорт и, наконец (хоть и с нескольким опозданием), добрая воля самих господ пассажиров – все имеется. Но ехать нельзя и жить по-человечески нельзя, потому что это было бы слишком просто. Почти также просто, как в свое время оставить живыми миллионы еврейских детей, мужчин и женщин. Всегда что-нибудь мешает – тогда идеология Гитлера, теперь – вето добряка Бевина. Тогда – 100 миллионов немцев, а теперь – 50 миллионов арабов и редакция американского журнала абсолютно не могут согласиться, чтобы мы тоже существовали на свете. «Не волноваться, все устроится!».

Мы знаем, что не все устраивается, как хотелось. Случайность, что я еду домой. Мысль о моих друзьях, которые менее счастливы, которые погибают или уже погибли в проклятых советских застенках, значительно снижает во мне исторический оптимизм и веру в торжество Разума. Но волноваться не стоит. Это не значит, конечно, что надо отказаться от борьбы за честь и свободу. Как раз наоборот. Но чтобы бороться, надо иметь крепкие нервы и раз навсегда перестать удивляться. Это означает, что нам, чью волю не сломили немецкие и московские людоеды, Бевин и собственные путаники, требуется нечто другое. Нам нужна холодная ярость, такой концентрат презрения и ненависти, при котором не останется места для нервных реакций и душевной растерянности.

Когда я был молод, то очень волновался при самых разнообразных оказиях. Я не знал ни своей силы, ни свойств внешнего мира, и мне еще предстояло убедиться, что огонь жжет, а в воде тонут. В особенности я опасался всяких «крайностей», как путешественник в незнакомой местности боится проехать свою станцию или слишком рано высадиться. Теперь я знаю, что «экстремизм» есть Закон нашей ненормальной еврейской жизни. Сионизм времен Герцля был в глазах рассудительных людей «экстремизмом». Позже маленькие люди, пришедшие ему на смену, оказались ничуть не меньшими экстремистами. Кто же был большим упрямцем и экстремистом: тот, кто в 38 году в Варшаве призывал польских евреев к массовому исходу, или кто от имени официального сионизма ответил ему в газете: «3 миллиона евреев жили, живут и будут жить в Польше»?

Причина сего фатального экстремизма проста. Дело не в каких-то особых свойствах еврейской психики, а в радикальной, непримиримой, сверхэкстремистской позиции, которую неизменно занимает по отношению к нам нееврейский мир. Если еврей не хочет себя обманывать, он экстремист.

Экстремизм, который я имею честь представлять, не заключается в требовании Еврейского Государства по обе стороны Иордана. Хотя требование это само по себе весьма скромное, серенькое по сравнению с такими идеалами, как Мировая Революция, Еврейская Социалистическая Республика или пришествие Мессии. Не могу также сказать, что всякое еврейское государство мне подходит. Если это будет государство того типа, который я видел в Советском Союзе, пусть лучше не будет никакого. Теперь, когда лозунг Еврейского

Государства перестал пугать и превратился в ходячую монету, особенно ясно, что дело не в слове, а в том, кто за ним стоит. Ценность каждой школы сионизма заключается не в прекрасных словах, не в теоретических лубинах и умелой хозяйственности, а в человеке, в новом типе человека, в том типе еврея, который этой школой воспитывается. Во времена кишиневских погромов были одни идеалы и понятие свободы, теперь, во времена Треблинки и Майданека, Эритреи и Кипра – другие.

Надо бояться не экстремизма, а того, что произошло в Кельцах, где летом сорок шестого года сорок евреев были заколочены насмерть палками и камнями, после того как они добровольно отдали имевшееся у них оружие – несколько десятков револьверов и гранат. Эти люди не были трусами, как же назвать их поступок?.. Сионизм не в том, чтобы пахать землю. Не в том даже, чтобы идти в Негев. Не в том, чтобы испытывать те или иные высокие чувства. Как ни важно это все, нужно сказать, что это или подобное уже было в еврейской истории. А вот чего не было с незапамятных времен – чтоб люди умели защищать свою жизнь, свое несомненное право с оружием в руках. И чтобы, как плевелы, были выкорчеваны из их сознания пустые слова и нереальные иллюзии. На баррикадах варшавского гетто погибали наши герои в безнадежной борьбе, хотя легко было уйти на арийскую сторону. И хотя немало было среди них коммунистов и бундовцев, ясно, что не нужно исповедовать Маркса и Каутского, чтобы так поступить. Достаточно быть сыном своего народа. Экстремизм, который дает мне силу жить, заключается в том, чтобы людей такого типа было как можно больше, и чтобы они нашли правильное применение своим силам – не на развалинах гетто, а в нужном месте, в нужное время.

То, что происходит в моей стране, и что не вчера началось, напоминает мне сценку из жизни в советском лагере. Мы, арестанты, стояли в очереди за пайкой хлеба под окошком хлеборезки. Каждый брал положенный ему кусочек хлеба, как святыню. Вдруг кто-то выхватил пайку из моих рук. Я обернулся. Это был здоровенный мужик, который и хлеба получал побольше моего. Тогда у польских евреев, у «западников», часто забирали пайки из одного озорного любопытства: «что такой сделает?» Западники бежали жаловаться начальству. Им отвечали: «Дураки, ваш хлеб уже давно съеден, и поделом – держите крепче свою пайку». А я поступил единственным разумным способом: бросился на вора и вырвал у него свою пайку. До сих пор стоит перед моими глазами этот несчастный кусок хлеба, в который вцепилось двое людей, грязный, раздавленный, раскрошенный, растерзанный немытыми руками. Я съел его, потому что был голоден. В нормальных условиях я бы отвернулся от него с отвращением.

Мы, евреи, могли бы получить свою пайку, как все люди, спокойно и тихо, без скандала, хотя и позже других встали в очередь. Нашу пайку схватили чужие руки. На наших глазах этот законный кусок хлеба становится предметом отвратительной свалки, и мы рвем его из бандитских рук. Моя родина, омытая слезами и любовью поколений, – выглядит как раскрошенная, растоптанная, загаженная в драке

лагерная пайка. Сколько подлой злобы кругом, сколько злодейства и циничного надругательства! Делается все, чтобы этот чистый хлеб стал для нас неприемлем, чтобы евреи всего мира отвернулись от него с отвращением.

Мирный возврат еврейского народа – после стольких страданий и океана пролитой крови – в свою отчизну мог бы стать одним из самых прекрасных зрелищ истории, праздником всего человечества. Но это слишком просто и поэтому несбыточно.

Первое, что мне бросилось в глаза по приезде в Париж, после семи лет оторванности от европейской прессы, была большая статья Артура Кестлера о Палестине. Цитирую из этой статьи слова Камель-Эффенди, араба, которого какой-то американский журналист имел наивность интервьюировать на тему еврейских благодеяний арабскому населению в Эрец-Исраэль:.

– Большая важность, что вы платите. Да наплевать на ваши госпиталя и школы! Страна эта наша. Понятно? И не надо нам заграничных благотворителей. Не надо ни их меда, ни их жала. Скажите им это, в их Америке. Если их выбрасывают из их стран, я очень сожалею. Мне, право, жаль, но это не наше дело. Если они хотят сюда приехать – немножко, одна-две тысячи – что делать? Но уж тогда извольте помнить, что вас впустили в чужой дом, и ведите себя как следует. Иначе идите к черту! В море – и дело с концом!

Очень понятно говорил Камель-Эффенди. «Какое нам дело, что вы гибнете! Идите к черту, в море». Этого араба автор статьи, еврейский журналист называет образованным и умеренным. Господин Кестлер, которого редакция журнала, вероятно, не без оснований называет знаменитым автором, и которого она выбрала, чтоб он объяснил французам положение в Палестине, этот судия праведный не находит, что ответить хулигану. Статья Кестлера начинается с утверждения, что «судья, который хочет быть одинаково справедливым по отношению к арабам и евреям, должен покончить самоубийством». А кончается добрым пожеланием евреям всего мира поскорее ассимилироваться. А в Палестине, где ассимилироваться невозможно, размежеваться с арабами так, чтобы принять еще немножко евреев. Немножко. Много и так в страну не поедут.

Так выглядят наши «образованные и умеренные». Понятно, что в стране за пайку хлеба они работать не будут. Положение в Палестине так просто, что даже ребенок может в нем разобраться. Налицо попытка закрыть погибающему народу единственный выход к жизни. То, что такая попытка предпринимается, не может вызвать в нас ни удивления, ни волнения. Это закономерно. По отношению к нам, евреям, всегда было два рода политиков. Одни говорили открыто: «Идите к черту», как образованный и умеренный Камель-Эффенди. Другие, хоть и не говорили, но, по существу, были бы очень довольны, если бы мы перестали путаться под ногами, проще говоря, пошли бы к черту. Третьей политики в еврейском вопросе не было, до тех пор, пока мы сами не взялись за ум, согласно пословице: «Лучше поздно, чем никогда».

Рафаэль Шустерович

КЛЮЧ ОТ ГОРОДА

КОЗЫРИ

сдай же сегодня козыри черви
карты ложатся как кривотолки
книга изрядно теряет в прочтении
лучше оставить её на полке

вот мы творители примечаний
сонм комментаторов лучше ль хуже
перелистать предаться отчаянью
может воздержимся сдай же друже

пусто кресло где ждал азарт
кто-то снова принял задание
что он успеет разве сказать
пару колкостей мирозданию

разве какой-нибудь Фруассар
не побоится вечного риска
если не выдержит адресат
может быть выживет переписка

вот и споткнулась не веря вере
женщина Лота у сдомских столбов
так оглянешься на потери
а вспоминается лишь любовь

2006

ХРОНОТОПОТ

Каллиграф-хронописец неспешно вычерчивал вензели,
зная сызмальства, где каждой строчке бывает предел,
вроде жил не тужил, пребывая в счастливом неведении, –
но так жадно глядел на дорогу, так жарко глядел.

Можешь кистью водить по просторам родного папируса,
на родимом пергаменте храбро ложиться на курс –
сколько строк ни строчи, сколько сам же в себя ни копируйся,
не осилить тебе этот едкий бродяжий искус.

Осыпались империи, семьи искали спасения,
города отдавались, а кто не отдался – сгорал...
Не от тех ли туменов сияние рдело на севере,
не от тех ли кибиток небес загорался опал?..

Он пошел, каллиграф, за ордой на моря на закатные,
он в верблюжьей корзине устроил себе кабинет –
чтоб потомок неведомый слышал тот голос закадровый
когда нет ни степей, ни туменов – и голоса нет.

2005-2006

И-М

стоит ли поисков дряхлый заросший дом
вон Иван Алексеич в том давнем набеге
вышел на крышу храм увидел и Сдом
и прислонил картину к шальной телеге

в семь заказать фокаччо и крем-брюле
под бормотание иерихонского горна
призрак любви витает а на столе
плавные блюда сменяются нерукотворно

город приподнят этот приподнят град
он золотой он светится в винной черни
свежие стены нежные говорят
линией неуловимой виолончели

в ближних холмах добыты известняки
только подать рукой и рука повисла
впрочем запасы камня невелики
невелики ресурсы ночного смысла

мы на окраине мира мы в центре сна
где серебрят оливы изнанку сада
перевитой оградой обнесена
каждая пядь сошедшего с неба града

выйди на крышу приснись самому себе
чувствуешь крылья чешутся спится снится
лирой ли прислониться к печной трубе
или луной скользнуть к ледяной странице

2006

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Каждому стоящему у моря
Дали в руки палочку и хлеб:
Кто не дирижирует, а спорит,
У воды достаточно нелеп.

Тот, кто птицам не бросает пищи
И не ждет дельфина из волны,
Пусть идет, другое море ищет
Чудаки такие не нужны.

1982

КЛЮЧ ОТ ГОРОДА

Посередине площади,
Куда слетается снег,
Ни фонарей, ни лошади,
Стоит один человек.

Отовсюду к нему летит тишина,
Хлопьями – снег тишины.
У него впереди – любовь одна,
И не больше одной войны.

У него позади – любовь и война,
Чужая любовь и война,
И он не уходит. Идёт тишина,
Как в землю идут семена.

1982

БРАТЬЯ

И вот нас удачи оставили,
И трубы охрипли, трубя.
И время спросить у Авеля:
Где брат твой, казнивший тебя?

Где брат твой, не по заслугам
Обиженный на дележе?
Где брат твой, не ставший другом,
И взявший топор уже?

Но Авель идёт невредимо,
И связанный агнец тих.
И Авель ступает мимо...
«От пастбищ и пашен своих...»

Ну что б им делить, трудягам:
Тот пахарь, а тот пастух...
Но к неким высоким благам
Допущен один из двух.

1984

САМСОН И ДАЛИЛА

И город, прикрытый плешинкой,
Уже погружается в сон,
И грубой цирюльной машинкой
От битв отрешённый Самсон...

Казалось: закончена ловля,
Пиров назначается час...
Но вот уже дрогнула кровля –
Никто не спасётся из нас.

1985

САЛАРДУ

И вот, в каком неведомо году,
с востока мы входили в Саларду
по чёртову мосту, срывая липы
пьянящий цвет. Отчаянно, в бреду,
как порученцы Ирода Антиппы,

единственный недремлющий трактир
мы взяли с бою – споро, беспощадно...
О милости взывал трактирный клир:
в такую ночь – хоть временный, но мир,
и чаю нам накрыли на площадке.

Ночь строила свой космос, словно Дант
смеялась за поленницей толстуха,
в истоме понижая свой дискант,
когда ей молодой официант
нашептывал скабрезности на ухо.

Был пир недолог. Церковь на холме –
с калиткой в диабазовой стене,
с погостом где-то на персон двенадцать,
дремала, чуть ворочаясь во сне,
знать, подбирала доводы вчерне,
улаживая ссоры конгрегаций.

Для чуждой речи раскрывая слух,
сквозь строй старух – и вовсе не старух –
всё знающих: куда нам, и обратно ль,
весь лабиринт коротких улиц двух
прошли мы, как критяне, безвозвратно.

Ждал чёрный сланец в глубине двора –
уложен в стопы только до утра –
из чёрных книг стать чёрной черепицей
на грубых новостройках... Что ж, пора
уйти на дно, иль в горы возвратиться.

2004

ЗАТЕРЯННЫЙ ХОРАЛ

Памяти Давида Шварцмана

В Дрездене заново найден забытый хорал Вивальди.
Пока учили, пеняли, промежду собой не ладили,
Или там подступали с факелом к библиотеке
В том ещё, прошлом, или же позапрошлом веке,

Скрылся с чужим ID бедный хорал Вивальди
Где-то в подвале, пока читатели воевали,
Рыли окопы, бомбили, грабили, жгли, душили,
И боевые гимны гоняли со спецмашины.

С глаз сокрылся хорал, с экранов, пюпитров, из вида,
Словно осиротел 109-й псалом Давида,
Гендель и Моцарт, вам перевернуться в могилах
Надо б – но вы не в силах.

Свыше сказали: Давид, не печалься, я буду справа,
Слава моя – она теперь твоя слава,
Жезл моей силы – тебе. В день моего гнева
Я поражу народы. Ты будешь слева.

Ёжится виноград, тесней прижимая кисти.
Слышишь: бывший твой брат переходит на финикийский.
Плоть сожрёт известняк, слёзы уйдут в оливы,
Что же – стоять вот так? Прятаться, пока живы?

Сын венецийского пекаря толк понимал в заводе
Свежего теста. Часам пасмурно было в природе,
Но сменяли друг друга те же четыре сезона,
С ревностью тамплиера или франкмасона.

Вот этот стих, дошел в сравнительно полном виде:
Стоит ли убиваться о смертном царе Давиде?!
Нас выгоняют с кладбищ: идите, пляшите, пойте,
Только уйдите с погоста. Но только – руки умойте.

В пост разрушения первого, также – второго храма,
В зимний Мельбурн распахнута музыкальная рама,
Ветхой замазки останки, с именем Балтазара
Сыплются в зал, заполненный временным гулом базара.

10.08.2005

SENDA CAZADORES

рай это там где можно забыть о рае
там где можжевельник не умирает
там где грядут с небес на охотничьи склоны
буковый пепельный лес и туман зелёный

ад это там где знают что рай бывает
там куда невпопад вывозит кривая
там где ещё не вечер и вряд ли каждый
мечен медовый день надеждой и жаждой

каждый охотник желает зла безотчётно
дорого ль коротко всякая лань подсчётна
в кузнице местной давно подбивают клинья
лишь бы над пропастью зашелестели крылья

пленных не отпускают жадные горы
с аборигенами нервны переговоры
талое время уходит сквозь нас играя
жаром и хладом пеной ада и рая

2006

Давид Маркиш

РАССКАЗЫ У КОСТРА

«Сказка – ложь, да в ней намёк...»

А. Пушкин

Сочинительство появилось на свет в незапамятные времена, у костра, в пещерке, на синем краю ночи. Сидели вокруг костра охотники, вернувшиеся, так сказать, с ловитвы, рубали за обе щеки жареную на открытом огне убоину с дымком и травили байки, полные блистательной лжи. И тот, кто рассказывал скучно, – того съедали.

Всё здесь шло в дело: отвага охотников – в особенности, понятно, рассказчика, суровый или, напротив, сентиментальный пейзаж, портретные характеристики людей и зверей, ну и, разумеется захватывающий сюжет, стилистические находки и богатейшие звукоподражания, такие, как вой ветра, звериный рёв и, наконец, триумфальный охотничий клич. То была эпоха устной цивилизации, мало в чём уступавшей письменной, а то и превосходившей её. Время рыцарских романов с их довольнотаки убогим любовным враньём, со всем этим платоническим и бескорыстным служением прекрасной даме в поясе невинности, запертом на замок, пришло позже.

Да и изобразительное искусство, и музыка появились в то допотопное время, поистине героическое. Оба эти жанра служили подспорьем рассказчику: художник иллюстрировал рассказ рисунками на стене, композитор бубнил себе под нос, заполняя паузы в повествовании и создавая соответствующий сюжету фон. Вот как было дело.

Несмотря на нынешнее нашествие кнопок и клавиш – этих злокозненных библейских мух современности – искусство в некоторых прелестных местах мира сохраняет свою первозданность. Охотники до приключений на свою голову сидят у костерка, лошади уютно хрумкают овсом за их спиной, в синеве. Мир пахнет детскими пелёнками и счастьем.

СПАСЕНИЕ УДАРНОЙ АРМИИ

Глухой ночью змея укусила солдатку Розенцвейг за гениталию. Казалось бы: ну, что тут такого? Война всё спишет...

Ночь была приятная, немного ветреная. Ветер дул и дудел, звёзды красиво сверкали над Синайским полуостровом. Солдатка Розенцвейг вышла из палатки на волю, стала там оправляться, и её тяпнула змея.

– Сразу видно, что она не из Галиции, – узнав о происшествии, заметил сержант Мишка Гербер, хустский уроженец. – Га-

личанские бабы писают стоя. Если б она тоже писала стоя, никакая змея её бы не достала. – Мишка Гербер считал себя истинным галичанином, и это обстоятельство как бы приподнимало его над синайской песчаной равниной.

А со змеёй было всё не так просто. Командир батальона подполковник Дуду Бар-Муха, по кличке Тембель*, ещё третьего дня обошёл солдатские палатки и всё объяснил: «Вы, ребята, даже не сомневайтесь. Я сам из Марокко, я знаю: тут змей никаких нет и быть не может. Я это вам прямо говорю. Скорпионы – да, это дело другое. Но где их нет, скорпионов! Тут надо под ноги глядеть, не зевать».

Солдатка Розенцвейг тоже, надо думать, не зевала, а вон что вышло. Мало того. Назавтра вечером, уже после истории с солдаткой, в нашей палатке обнаружился змеёнок. Солдаты, числом восемь, включая Мишку Гербера, валялись на двухъярусных койках. Откуда ни возьмись появился змеёнок, чиркнул по земляному полу. Солдаты, живенько подобрав ноги, заорали на своих койках, а змеёнок от этого ора и почему-то хохота юркнул в ближайший красный ботинок, валявшийся около койки. Не сговариваясь, солдаты выдернули из под своих тощих матрасиков автоматы М-16 и открыли ураганный огонь очередями по десантному ботинку. Это правильно, что автоматы кладут под матрас, чтоб всегда были под рукой.

На шум прибежал Тембель, имевший нехорошее обыкновение шататься по лагерю в темноте и выуживать солдат, вышедших подышать воздухом без каски на голове. Такие любители свежего воздуха могли, с подачи Тембеля, угодить под трибунал и схлопотать денежный штраф или двое суток губы. Приятного мало.

– Вы чего? – заглядывая в палатку, но не входя, спросил Тембель.

– Змея! – укоризненным хором объяснили мы со своих коек. В этой укоризне заключалось и то, что змея ужалила солдатку Розенцвейг, и то, что уверения подполковника – тут, мол, этих тварей не сыщешь и днём с огнём – оказались пустым звуком.

Тембель ковырнул носком разнесённый в клочья ботинок.

– Исключительный случай, – постановил Тембель. – А вы уже испугались. Израильские солдаты боятся какой-то вшивой змеи! Учебный фильм все видали?

Нечего было и гадать, какой именно фильм имел в виду Тембель. Он имел в виду потрясающую трофейную ленту, на которой египетские десантники, пробегая верблюжьей парадной рысью мимо трибуны с начальством, выдёргивали из-за пазухи живых змей и сжирали их на бегу, начиная с головы. Глядя на эту мрачную трапезу, нельзя было не взгрустнуть о том, что господь Бог послал нам таких жутких соседей.

Войска соседей стояли тут же, за Суэцким каналом. Посреди канала нелепо торчал из воды притопленный кубинский сухогруз. Гражданских вообще нигде не было видно, они куда-то ушли или попрятались, как сквозь землю провалились. По бе-

лым улицам пустых прибрежных городов бродили только кошки да ослы. Собаки не появлялись, арабы не любят собак, считают их нечистыми. Кто-то нам рассказывал, что если араб случайно прикоснётся к собаке, то он потом не может совершать намаз. У каждого свои заморочки.

Соглашение о прекращении огня было уже подписано на 101-м километре от Каира, в пустынной степи справа от шоссейной дороги. Там разбили огромную палатку, настоящий шатёр, как в древние времена, когда в ходу были кожаные рубли и деревянные полтинники, а солдаты скакали с пиками на лошадях, а не ездили в танках и самоходках. Вечерело, египтяне выставили шеренгу с одной стороны шатра – почистились, построились и ровно стояли, несмотря на поражение. А наши раскидались кучками по всей степи до горизонта вокруг костерков, на которых варили кофе – грязные, заросшие, только-только из боя. Вся степь была в этих костерках, как будто тут конники Чингисхана спешились на ночь и варят свою кашу... Подписывать соглашение прилетел начальник военной разведки генерал Аарон Ярив. Он по-молодому выпрыгнул из вертолёта, поглядел на вытянувшихся по стойке «смирно» почищенных египтян, усмехнулся и прошёл в шатёр. В шатре он недолго пробыл – обсуждать было нечего, а подготовленные документы лежали на столе.

Война к тому времени уже почти закончилась: Арик Шарон, форсировав Суэцкий канал, проутюжил своими танками его африканский берег, нашпигованный зенитными ракетами. Теперь нашим самолётам ничего не мешало атаковать стратегические объекты в глубине Египта. На Синае слышалась ещё кое-где стрельба: то пытались пробиться к своим, на Запад, отбившиеся от разбитых и размётанных частей группки египетских солдат. Пленных не брали, у сдававшихся тысячами египтян отбирали оружие и ботинки и отпускали: идите домой! И это было умно: пленных надо кормить и охранять, а без оружия и босиком в пустыне много не навоюешь.

Самую большую головную боль причиняла нашему начальству Ударная египетская армия. Прижатая к каналу с синайской стороны, поредевшая, обескровленная и обезвоженная, она всё же представляла собою боевую единицу. Что с ней делать, не знал никто. Одни предлагали распустить её по домам, другие – сжечь напалмом; а время шло, и поползли уже разговоры, что израильтяне специально, с дальним прицелом ничего не делают и что в Ударной вот-вот начнётся повальный мор. Нам, в наших палатках, плевать было на то, что случится с Ударной армией, в сорока километрах от нас. Мы уже полтора месяца не получали увольнительных, и поездка домой на сорок восемь часов стала для нас нежной мечтой, которую даже не стоило представлять вживе, чтоб не спугнуть.

Однако же и на Синае, вблизи священной горы, на отрогах которой не остыли ещё следы пророка Моисея со скрижалями в

руках, всякая вещь имеет свой конец. Дождались и мы: нас отпускают на пятницу и субботу, за нами придёт транспортный «Геркулес» по прозвищу «Гиппопотам» или, сокращённо, «Гиппо». Сорок минут полёта – и мы дома. Ура!

Уже с утра мы то и дело поглядывали на небо: не летит ли транспортник. «Гиппо» должен был приземлиться в четыре, и нам объявили, чтоб мы были готовы. Да мы и так были готовы: оружие при нас, электробритва, кое-какая трофейная на память мелочёвка с того берега канала, из Африки. Какая мелочёвка? Ну, какая... Брикетик мыла «Земляничное» саратовской, что ли, фабрики, или солдатская штормовка, тоже советская. Мы под Порт-Саидом военный склад вскрыли, а там одни штормовки эти и мыло, больше ничего нет. Ну, всё же трофеи! И уже на выходе внимание обратили: на двери бумажка висит, на ней написано «Заминировано». Ну, думаем, пронесло... Оказывается, это наши ребята из полевой контрразведки бумажку прилепили, чтоб не лазили, кому не положено. А чего там лазить, кому это мыло нужно? Может, сами египтяне склад успели грабануть, оставили одно барахло.

А то, что было там ещё кое-что, это точно. Сапоги, например. Настоящие русские сапоги! Низкие такие кирзачи, на две ладони ниже колена. Гербер Мишка под пустыми полками нашёл пару. Отличные, между прочим, сапоги, их носить – не переносить, года на два хватит, а наши ботинки рассчитаны только на шесть месяцев. Полгода – расчётный срок. Если полгода прошло, а солдат топает себе дальше, ничего с ним не случилось, – ему новые ботинки выдадут. А если случилось, то тогда и новые ботинки ни к чему. И в этом, если вдуматься, ничего такого нет особенного. Зачем мёртвому солдату новые ботинки? Средний срок жизни солдата по статистике – полгода, и если ботинки всем подряд шить, предположим, на год, то это дороже обойдётся налогоплательщику. А чего ради? Чтоб совесть спокойная была у госконтролёра? Так ведь это для нас шьют, для солдат, а у нас и так совесть – броня; так что всё в порядке.

Да это нас и не волнует, сказано же: каждой вещи свой срок. Если бы Господь Бог хотел сделать нас бессрочными, он дал бы нам алмазные зубы – а у нас скребки какие-то во рту, от них одни неприятности, не говоря уже о том, что никаких денег на ремонт не напасёшься. Пока в армии, чинят за счёт казны, а после – демобилизации делай, что хочешь.

Я люблю армию. Не из-за зубов, конечно, я её люблю. У нас в армии все, строго говоря, равны – как в бане: там тоже кипяток на всех один. А что наш Тембель придурок, так это ничего не меняет: дурак – он и в Африке дурак, и это в прямом смысле. Вон она, Африка, за каналом, и если Тембель перейдёт на ту сторону по понтонному мосту, он умней от этого не станет.

Да, в армии все равны, хотя один приказывает, а другой как бы беспрекословно подчиняется. Для того, чтобы в армии тебе было легко и хорошо, надо валять дурака, и в этом состоянии всё время пребывать. Вот и я валяю дурака, и объясняюсь по-

дурацки, и прекрасно себя чувствую. А если начнёшь рассуждать о философии войны и насилия, о крови и проверенных военных хитростях, когда надо обмануть человека, заманить его в западню и убить из-за угла, это – беда.

По существу, солдаты – те же испорченные дети, армия – детский сад. Тут и ходят строем, и поют всякую муру по принудиловке. Дети должны слушаться. Пой, и всё, хотя у тебя нет к этому никакой склонности. И наказание тебе светит, если что не так и старшие поймают. Только в детстве нас тянуло оторвать у мухи крылышки, у кузнечика – голову, а то и кошку стукнуть ни за что ни про что палкой с гвоздём. А в армии главная задача – укокошить врага на законном основании.

Все мы, с блуждающей улыбкой на поблёкших щеках, мечтаем вернуться в детство хоть ненадолго. Вот и возвращаемся в армии. «Р-рота! За-певай!» Топ-топ, топ-топ. Взрослым людям неестественно ходить гуськом под музыку, уставившись в затылок друг другу. На гражданке так пойдёшь – подумают, что психи сбежали из сумасшедшего дома. А детям можно, и многие даже думают, что это трогательно и красиво.

К посадочной полосе мы потянулись врассыпную и без песен. Увольнительную получили шестнадцать солдат – две палатки. Подходя, мы уже по-деловому смотрели то на часы, то на небо: ну где же «Гиппо», чего ж не летит, чёрт его возьми! До Тель-Авива час лёта, а оттуда многим из нас ещё предстояло добираться до дому два-три часа. Стоя у края полосы, мы нетерпеливо переступали с ноги на ногу, как будто самолёт уже приземлился и мы сейчас толпой бросимся садиться.

Наконец, с небес прилетел далёкий рёв моторов, и мы сразу расслабились: вон он, вон он! Хотелось погрузиться как можно скорей и подняться в воздух.

И тут явился Тембель.

– Ну как, ребята, готовы?– подозрительно сладко спросил Тембель. – Молодцы! – И продолжал уже неприятным голосом: – Тут у Ударной армии проблемы, смертность у них подскочила, теперь весь район провоняют... Надо им помочь, кровь сдать. Спасти, то есть. На добровольных, конечно, началах.

Новость била наповал.

– Как это? – спросили солдаты вразнобой. – Кому?

– Им, – не стал вдаваться в подробности Тембель. – Ударной. Спасти, я сказал.

– Да нет! – немного оклемавшись, выступил вперёд Мишка Гербер. – Кому сдавать-то?

– Не понимаешь? – нехорошо прищурился Тембель. – Нам! Добровольно!

– Вот это да! – сказал Мишка Гербер и поглядел на нас злыми глазами. – Вот это по-нашему! Пусть гражданские сдают, мы-то тут при чём! Кровь!

«Геркулес» тем временем зашёл на посадку, сел и поехал по неровной земле. Оставалось подняться в самолёт, пристро-

иться на железных седачках, укреплённых вдоль бортов, и улететь домой.

– Не хочешь – не сдавай, – сказал Тембель. – Я ж говорю: дело добровольное. Но кто не сдаст, домой не поедет. – Крутанувшись на каблуках, он размашисто зашагал к штабному бараку. И мы, понурив головы, угрюмо поплелись за нашим командиром Дуду Бар-Мухой.

– Главное, чтоб самолёт без нас не ушёл, – пробормотал Мишка Гербер. – Ну, что ты будешь делать!

– А то ты не знаешь, – подбодрил я Мишку Гербера. – Поллитра сдал – и свободен. И ещё чашку кофе дадут с бутербродом.

– На чёрта мне этот бутерброд! – сказал Мишка Гербер и в сердцах махнул рукой. – Я, как увижу кровь, сразу сознание теряю.

Это было что-то новенькое: Мишка Гербер прошёл всю войну в боевых частях, и быть такого не могло, чтоб он крови не видал.

– Какую кровь-то? – спросил я, стараясь разобраться в услышанном. – Чужую или свою?

– Всё равно, какую, – сказал Мишка Гербер. – Теряю – и всё. Это вроде такой болезни. И внутри всё едет.

– А если не смотреть? – предложил я обман. – У тебя берут – а ты в это время отвернись.

– Не поможет, – кисло поморщился Мишка Гербер. – Ты отворачиваешься, а тебя всё равно тянет смотреть. Так тянет, что не утерпишь. Я-то уж знаю.

Палатка, оборудованная под полевой лазарет, стояла сразу за штабным бараком. Раскладные походные койки были готовы принять доноров в свои парусиновые ладони. На дощатом ящике, на голубом подносе, покрытом марлей от мух, тесно лежали бутерброды с сыром. Всё было готово. Фельдшер, покуривая, ждал.

Не снимая обуви, мы молча улеглись. Фельдшер быстро переходил от койки к койке, наклонялся и делал своё дело. Я глядел, как наша кровь шибко бежала в пластмассовые прозрачные мешочки.

Когда очередь дошла до Миши Гербера, он как-то затравленно огляделся и, поймав мой взгляд, подмигнул мне. Я слышал, как он скрипнул зубами, протягивая фельдшеру выпростанную из рукава гимнастёрки руку. Головы он так и не отвернул и зачарованно следил за тем, как длинная игла шприца глубоко вошла в его вену. Потом кровь показалась в трубочке и уверенно поползла по ней вверх, к мешку, а тело Миши вдруг выгнулось, а потом обмякло, и голова откинулась на подушечный валик.

– Э! – окликнул я фельдшера. – Он сознание потерял!

– Ничего, – переходя ко мне, сказал фельдшер. – Это бывает. Пройдёт.

«Гиппо» ревел всеми своими четырьмя моторами, в грузовом отсеке стоял ровный грохот. До посадки оставалось ещё минут двадцать. Мы, плечо в плечо, сидели вдоль борта, а у наших ног, на железном полу, лежал на носилках Мишка Гербер. Он ещё не пришёл в себя, фельдшер вкатал ему что-то успокоительное, и он теперь спал. Дикий шум, как видно, не тревожил его.

Ударная армия была спасена.

ПОМЕЩИК РИВКИН

ПОМЕЩИК РИВКИН

Ривкин, Саша Ривкин, был подмосковным уроженцем. Говоря точней, ему случилось родиться в тридцати километрах от столицы, в городке Электроугли; с тем же переменным успехом он мог появиться на свет Божий где-нибудь в Житомире или даже в Буэнос-Айресе – евреи повсюду живут, это общеизвестно.

В нашем кочевом народе поместных дворян и родовых аристократов голубых кровей не встречается, нет их в заводе, и нечего вешать лапшу на уши легковерным людям – на то куриный бульон. Все мы вышли из местечка, а ещё раньше, давно, гоняли баранов и козлов, кочевничая по холмам милой привычной родины, к востоку от кружевной ленты средиземноморского прибоя. И если, начиная с дедушки, серебряная цепочка раввинов течёт из ладони вглубь времён, ни один из нас по этой причине не становится выше ни на палец: возвышенной преемственностью тут и не пахнет.

Но что это я всё «мы» да «мы»! Чья бы корова мычала, а моя бы молчала... Я в этой истории никак не замешан, я стою за кулисами, смотрю и слушаю.

Но Ривкина я знал, да.

Саша Ривкин, электроинженер, был человек читающий; он понимал немало. Например, он точно понимал, как и почему ток бежит по проводам, а не стоит на месте – это не каждому дано. И по нашей еврейской части он был неплохо подкован: на историческом поле, начиная от праотца Авраама из Ура вплоть до билуйцев и дальше, он ориентировался без компаса. Случались, правда, иногда у него сбои и заблуждения – так ведь и Авраам блуждал. Голова Саши Ривкина была набита всякой интересной всячиной, и не его вина, что все эти километры, центнеры и байты-гигабайты энциклопедических сведений их держатель далеко не всегда умел свести в строгие причинно-следственные линии. Немногие из начитанных людей справляются с такой задачей.

Электрическая работа не удовлетворяла Сашу Ривкина. Его влекла духовная жизнь на лоне природы, например, на берегу

какой-нибудь спокойной светлой реки, где можно было бы разбить огород и кормиться бодрым продуктом земли: репой и картошкой с огурцами. Но город Электроуглi был окружён вонючими болотами, а помойный ручей, волочившийся за окраинными бараками, более всего напоминал канализационный сток. На берегу такого ручья если б что и выросло, так осиновый кол, а не помидоры. И о прокормлении от щедрости земли, трудами рук своих, нечего было и думать.

Был, правда, один инвалид в Электроуглях, натаскавший откуда-то из соседнего района доброй земли и разбивший в углу своего двора огород на две грядки. Как-то раз Саша явился к нему. Отстегнув культю с ноги, инвалид сидел среди морковной ботвы.

– Ты счастлив? – подойдя, спросил Саша Ривкин.

– Нет, – не задержался с ответом инвалид.

– Ну и дурак, – сказал Ривкин и пошёл прочь.

В разговорах с сослуживцами и коллегами Саша называл себя «толстовец». Некоторые из этих людей читали «Войну и мир», пусть не от корки до корки, но хотя бы по диагонали; одни задерживались на батальных сценах, а другие, напротив, останавливались на описаниях княжеского быта. Что такое толстовство и в чём заключалась принадлежность к нему Саши Ривкина, понять им было никак невозможно, но и расспросы по существу предмета казались неуместными: толстовец так толстовец. Кому хочется выставлять на обзор собственное невежество, когда никто не заставляет и не вынуждают обстоятельства! Да и рамки самого этого понятия, если уж на то пошло, несколько размыты; Время коснулось его своими музыкальными пальцами, и «толстовец» звучит для современного уха ненамного определённей, чем «гомерец» или даже «вольтерьянец».

А Саша имел в виду всего-то не принудительное, а свободное, одного лишь прокормления ради, ковыряние в ботве, на грядках, на собственном наделе. «Трудись, Ривкин, трудами рук своих на своей земле – и обретёшь благодать и умиротворение духа». Автор «Войны и мира», если такого и не сказал в своих сочинениях, то вполне мог бы сказать.

Всё дело было в том, что чахлую унылую землю вокруг Электроуглей Саша Ривкин не считал своею. Своя – значит, близкая, а иногда и любимая, – а к болотным кочкам и костлявым кустам, обступившим город, не только Ривкин, но и прочие горожане сердцем не привязывались. Не приживались тут кружки преданных любителей родного края, отряды патриотов Электроуглей не топали своими сапогами по главной улице – их тут никто и не видал. Вот если б стояли Электроугли в самшитовом лесу где-нибудь на приморском Кавказе или в Крыму, по соседству с Ливадией, то и патриоты проклюнулись бы, и шустрые любители. Можно, конечно, тут оборотиться на чукчей – они тоже проживают не в окружении лаврового листа, а ведь свои торосы ни на что не променяют, – но, во-первых, эти

чукчи сидят в снегах испокон веков, и второе, никого их мнение не волнует: хотите сидеть – сидите дальше. Электро же Угли возвёл посреди болот Лаврентий Берия – нагнал заключённых и велел строить посреди болот секретные бункеры. Потом планы изменились, Берию расстреляли, бункеры засыпали, а бараки остались. В эти бараки уже при Хрущёве слетелись по зову партии комсомольцы – беспокойные сердца и отгрохали тут завод по производству угольных стержней для электросварки. И был город заложён...

В паспорте у Саши Ривкина так и значилось: «Место рождения г. Электроугли».

Жидоморство не было главной достопримечательностью этого города. Нельзя утверждать, что антисемиты там, как патриоты, вообще не водились, и дружба народов царила над болотами. Нет, это не так. Но к Ривкину Саше никто особенно не вязался и не цеплялся, – может, оттого, что нос у него был как нос, волосы не вились проволочным медным кольцом, а глаза не источали пресловутой бараньей скорби. Не по причине глупого отношения знакомых или вовсе незнакомых людей решил Саша ехать в Израиль на ПМЖ, и не потому, что заскучал он по колбасе, с которой случились глубокие перебои в Электроуглях в начале 90-х. Глядя на обрыдлые болота, он испытывал ослепительную заочную любовь к пальме и тёплой сухой земле, в которую она упирается своей слоновьей ногой. И земля эта, по которой кочевали в давние времена мужиковатые правнуки Авраама со своими чадами и домочадцами, – эта земля была его землёю по законам сердца и памяти.

Он не делал тайны из своей любви. Знакомые, которым он о ней рассказал, ничуть не удивились – странным показалось им лишь то, что Саша так долго тянул и давно уже не воспользовался внезапно открывшимися преимуществами своего национального происхождения. Они и сами рады были бы сняться с кочки и отправиться хоть в Израиль, хоть на Канарские острова, где, по слухам, порхают на воле канарейки вместо комаров и слепней, хоть к чёрту в ступу. Ехать не мешкая готовы были знакомые и незнакомые люди, включая мэра Электроуглей и всю его администрацию. Поехали бы, пожалуй, со всем народом и патриоты, обнаружься они тут, – махнули бы рукой и поехали... Но никто русских людей никуда не звал и нигде не ждал – в отличие от Ривкина с его пальмой. А чем, спрашивается, пальма лучше сосны или той же берёзы? Да ничем.

По мере развития любовного романа созерцательное прежде отношение Саши Ривкина к заморской исторической родине менялось на глазах. Унылым приятелям и коллегам, обречённым оставаться здесь, на болотах, он с упоением рассказывал о приключениях Иосифа Прекрасного, о богатыре Самсоне и коварной красавице Далиле, – как будто каждый день ходил с ними в заводскую столовую есть макароны по-флотски и пить кисель. Обзор увлекательных исторических событий Саша за-

канчивал на современной ноте – оттенял преимущества кибуцев перед колхозами. Слушатели проявляли понятный интерес к мясо-молочной теме и задавали трезвый вопрос: почему же, если в этих кибуцах всё такое общее, крестьяне не разворуют всё до нитки и не пропьют как можно скорей, не откладывая дела в долгий ящик? Ривкин радостно объяснял и это – мол, еврейские крестьяне вообще не пьют, можно на них положиться. Такое объяснение не удовлетворяло коллег, они недоверчиво покачивали головами и хмыкали. Так или иначе, получалось, что сионисты сильно обогнали русского человека по надою молока, и это было понятно: евреи всё же не дураки, они зря б не стали... Ещё несколько лет назад за такие разговоры Ривкин схлопотал бы годков семь строгого режима, а нынче никто и не озирается, головами не вертит и не подмаргивает, намекая на то, что и на стенах уши растут: плохое быстро забывается, так устроен русский человек.

Еврейское устройство недалеко ушло от русского и общечеловеческого: редко кто из детей Израилевых вспоминал, как всего лишь два десятка лет тому назад, в 70-х, евреи бились за выезд на историческую родину, как птицы о стекло. В новые, продуваемые свободой времена отверженный недавно народ отъезжал на ПМЖ в Израиль, как на приморский курорт по профсоюзной путёвке: собирались да ехали. Собрался и Саша Ривкин, и пригласил знакомых на проводы – посидеть в тесном кругу и выпить на посошок.

Помогла соорудить стол чертёжница Марина, с которой Саша сердечно дружил последние два года и с которой теперь принуждён был облегчённо расстаться: пришёл час. Марина, пока не постучали гости, тихо плакала, намекая на то, что готова перекреститься в иудеи и построить с Сашей на новой земле здоровую и крепкую семью: ведь привыкли уже друг к другу, ничего и менять не надо, кроме вида за окном. А Саша был хоть и нежен, но твёрд, как неприступная скала. Душа его уже перелетела в пальмовую рощу и отдыхала там в тени в свободном одиночестве, в то время как тело, несомненно, находилось в Электроуглях. Такое раздвоение не причиняло неудобств Саше Ривкину, совсем напротив: он чувствовал прилив неведомой центральной энергии, а слова Марины бесшабашно от него отлетали, как лёгкие целлулоидные шарики от умелой ракетки над столом для пинг-понга. Новую жизнь надо начинать с нуля, желательно, с абсолютного – это Саше было ясно; такой сигнал подавала душа из-под пальм.

Потом пришли гости, время, показывая свою относительность, потекло быстрей, чем раньше. За окном, над болотами, стояла ночь. До отъезда на аэродром оставалось уже всего ничего.

На отъезжающего вот-вот Ривкина выпивающие гости смотрели иными глазами, чем вчера или намедни: древняя кочевая тяга человека к перемене мест давала о себе знать. Ривкин

отправлялся в запредельные золотые края, а его собутыльники, приставив ладонь полкой ко лбу, оставались куковать в Электроуглях. И совершенно неважно, что в тех далёких краях всё шиворот-навыворот и даже читают там справа налево – облупившуюся оболочку жизни надо менять время от времени, чтоб она красиво сверкала новизной. Ривкин уезжает. «Поезд отправляется, провожающих просим выйти из вагонов». И червь тоски высасывает душу.

В слова Саши вслушивались за столом с напряжённым вниманием, как будто он перенёсся уже за бугор и речь его долетала до Электроуглей из финиковой рощи. Чтоб лучше слышать, застольники налегали грудью на столешницу и сводили брови к переносью, – хотя, ведя разговор на темы вполне приземлённые, более того – бытовые, окружённый со всех сторон непрерывным вниманием Саша Ривкин сбивался с мощёной тропы и начинал блуждать в зарослях. Слушатели желали, чтобы отъезжающий подбодрил их и обнадёжил, хорошо бы – языком загадочным, словом не ходовым – как заграничная Пифия или, на худой конец, отечественный ведун.

Но, наконец, водка сделала своё дело: языки развязались у всех, все загомонили, перебивая друг друга. Нависнув над плечом хозяина с рюмкой в руке, заводской его коллега Володя Дровяной сказал:

– Человек – он что? – сказал Володя Дровяной. – Царь природы или же кусок мяса на костях?

Вопрос носил праздный характер и не требовал незамедлительного ответа. Саша Ривкин промычал:

– М-м..

– Ему нальёшь, такому человеку, а он выпьет – и всё... – заключил Володя Дровяной.

К этому безысходному заключению, пожалуй, нечего было прибавить, да и убавить тут тоже было нечего. Саше Ривкину стало жалко Володю Дровяного, он промолчал и почему-то запомнил эти его слова в предотъездной хмельной суете. Царь природы или мясо на костях... Надо же!

К рассвету гости разбрелись. Саша планировал ехать в Шереметьево без провожатых, в одиночку, но Марина просила и настаивала; пришлось её взять. Всю дорогу она плакала, сморкаясь в платочек, и проклинала тот час, когда ей случилось появиться на свет и, тем более, повстречаться потом с Сашей Ривкиным. Из её причитаний получалось, что она ненавидит Сашу страшно, но бабья её грусть всё же пересиливала жабью ненависть: облачка приятных воспоминаний наплывали на утёс голого горя, она закрывала ненадолго рот и успокаивалась. А Саша с нетерпеливой надеждой представлял себе ту пограничную аэродромную дверь, за которую не пустят уже никого из этой жизни.

Так и вышло. Сашу пропустили, а Марина осталась. Через несколько часов самолёт приземлился в Израиле. Смеркалось.

Сидя в Электроуглях, Саша Ривкин не только «Еврейскую энциклопедию» почитывал последние полгода, но и учебник иврита штудировал изо дня в день. Труд даром не пропал: в зале приёма новых иммигрантов, в тель-авивском аэропорту, он худо-бедно смог объясниться с чиновником на языке Библии, хотят тот норовил то и дело перейти на русский и облегчить тем самым задачу новоприбывшего.

Узнав, что Ривкин ищет возможности применить себя в сельском хозяйстве, чиновник удивился, хлопнул Сашу по плечу и отправил его в кибуц для первоначального обустройства по программе «Первый дом на Родине». Маячил, стало быть, на горизонте и второй дом, а, может, и третий. Саша пожал плечами, сел в поданную ему машину и поехал, куда повезли. Ехали долго. Наступила чёрная южная ночь, в свете фар вспыхивали иногда высокие пальмовые стволы под зелёными папахами крон. В спящем кибуце какая-то старушка отвела Сашу Ривкина в комнату, где стояла застланная без морщин кровать и желтели апельсины в большой тарелке на столе. Хорошо улыбаясь, старушка распахнула дверцу холодильника и указала: вот простокваша, вот рыба, можно брать. Саше было неловко, что старая женщина дожидалась допоздна приезда совершенно незнакомого ей человека из города Электроугли, вместо того, чтобы отдыхать в свои пенсионные годы.

Наутро Саша Ривкин обнаружил себя посреди солнечной долины, безлесной, бережно засаженной подсолнухами и засеянной злаками. Невдалеке громоздились каменные развалины Мегиддо. Саша знал, что это и есть Армагеддон, и подумал про себя: «Неслабое место!»

В кибуце ему понравилось. Работал он в коровнике, на птицефабрике, в общественной гладильне – куда пошлют. Люди здесь были спокойные, каждый со своим значением. Никто Сашу ни о чём не выспрашивал, а если сам он затевал разговор об Электроуглях и совершенной невозможности выращивания там овощей – слушали внимательно. Рассказывал он и об инвалиде на морковной грядке, и слушатели сочувственно вздыхали: им было жалко далёкого огородника.

Кибуцные люди любят мечту – и свою, и чужую – верной, уравновешенной любовью, как любят брата или сестру. Это оттого происходит, что кибуцники, коллективные люди-дроби, где числитель – человек, а знаменатель – человечество, лучше других понимают: мечту нельзя поймать, положить в карман и зашпилить английской булавкой. Одна мечта влечёт и тащит за собой другую, как будто это разноцветные платки – розовые, изумрудные, абрикосовые – которые фокусник, начав, всё тянет и тянет из рукава.

Мечта Саши Ривкина разбить огород воспринималась кибуцниками как реальное намерение и хозяйственный план. Поэтому, недолго посовещавшись в рабочем порядке, они сообща раскопали три грядки по соседству с детским садом, чтоб и де-

ти с пользою для себя наблюдали изо дня в день за ростом овощной культуры. Сашу такое совместительство не вполне устраивало, да и грядки он хотел копать сам, собственноручно, чтобы как следует прочувствовать упоение земляным трудом. Спорить и настаивать он всё же не решился, тем более что кибуцники действовали из лучших побуждений... Теперь оставалось лишь терпеливо ждать, когда проклюнутся ростки и пёрышки, а потом, гляди, поспеют и клубни. Как плодотворно соединить собственный урожай с кормлением в общественной столовой, Саша Ривкин покамест не думал, хотя и предполагал, что это будет непросто: не ходить, что ли, на обед и хрумкать капусту в собственной комнате, в одиночестве? Так ведь люди подумают, что сбрендил и пошёл вразнос.

Одна голова хорошо, две – лучше. Товарищ по коровнику, вежливый старичок с синим лагерным номером на руке, внёс своё рациональное предложение: будущий урожай отдать в детский сад, дети скормят овощи питомцам живого уголка – морским свинкам и кроликам. Услышав такое, Саша Ривкин только ошалело улыбнулся, а потом сплюнул на цементный пол молочного хозяйства.

– Огород же ведь, – сказал Саша, – мой!

– Не «мой», а «наш», – поправил старичок. – У нас всё общее, это хорошо и полезно.

– А молоко? – спросил Саша и подбородком повёл.

– И молоко, – сказал старичок.

– А вон Зерубавель марки собирает, – не отступил Саша Ривлин, – они, что – тоже общие?

– Нет, – сказал старичок. – Совет ветеранов собрался и решил, что марки не общие. Я голосовал против.

– А – почему? – захотел понять Саша Ривкин.

– Раньше, – коротко вздохнул старичок, – когда наши люди работали на просушке болот, в перерыв кто-нибудь хотел петь. Петь песню. И тогда вся бригада совещалась и решала, как тут быть. И если хоть один человек был против, никто не пел. Никто. А сейчас молодые люди собирают марки и ни у кого ничего не спрашивают. Новые времена пришли!

– А огород? – с надеждой спросил Саша. – Там же всего три грядки!

– Ну и что ж! – твёрдо сказал старичок. – Земля всё равно общая.

– А душа? – снова спросил Саша Ривкин.

– Души нет, – сказал старичок. – Только сердце. – И руками развёл виновато.

Тут было над чем задуматься. Как это – нет души! А что ж тогда тянет и ноет с левой стороны, когда сердце у человека совершенно здоровое? Это в Электроуглях, в заводском клубе, лекции читали, что, поскольку Бога нет – а это раз и навсегда доказано спутниками – то и души тоже нет никакой, и точка. И вот вам, пожалуйста, нате – под Армагеддоном открывается

такая же жеребятина! Но Саша Ривкин не стал обижаться на нумерованного старичка, а только взял его на заметку.

Дикое мнение старичка, собственно говоря, имело право на существование; Саша готов был это признать. А вот путать «моё» с «нашим» он не согласился бы ни при какой погоде – хотя бы потому, что такая путаница преследовала его все годы жизни в Электроуглях и прямиком вела к нищете и советской околесице. Последний работяга из заводской котельной, распивая с приятелями ворованный технический спирт, насмешливо ссылался на то, что «завод-то – наш, народный!», а значит, можно красть всё, что плохо лежит и тем самым переводить тот же спирт для протирки механизмов из размытого разряда «наш» в куда более понятный и приятный разряд «мой». Так и со здешней крохотной деляночкой. Украсть, что ли, надо эти три грядки для того, чтобы сказать с радостным сердцем: «Вот мой огород!» Но это же глупо и ведёт в жизненный тупик.

Сопротивляясь глупости, Саша Ривкин твердил и повторял при всякой возможности «Мой огород», и ударение упрямо ставил на «мой». Кибуцники, слушая его, пожимали плечами и смущённо ухмылялись, как при встрече с тихо свихнувшимся человеком. Приглашённый в конце концов на Совет ветеранов, он, волнуясь, сбивчиво повёл рассказ о котельщике, распивавшем с приятелями общественный спирт и о несомненном вреде путаницы для социального здоровья. Ветераны ничего толком не поняли из того рассказа и вынесли единогласное решение: обсуждаемый Саша Ривкин страдает сильным индивидуалистическим уклоном и не подходит для условий коммунальной жизни. Всё.

Через два дня его тепло проводили из кибуца в большой мир неограниченных индивидуальных возможностей.

Мир пах клубникой, пришёл её сезон. Уличные торговцы выкрикивали цену роскошных литых ягод, уложенных в зелёные пластмассовые корзиночки.

Шагая по людной городской улице, Саша Ривкин рассуждал о том, что крупная, в полпальца размером клубника похожа на зрелую полную женщину, одетую по вечернему нарядно, а в лесной землянике что-то есть от вертлявой девчонки, расположенной ко всяким приятным глупостям. «А почему?» – задавался исследовательским вопросом Саша, и отвечал с долею грусти: «Да так...»

По торговой улице тесно ехали машины и автобусы, а прохожие люди беззаботно пялили глаза на витрины магазинов, лавок и закусочных, сплошной лентой протянувшихся вдоль фасадов домов. Витрины не оглушали роскошью – для того были другие магазины, на других улицах города – но купить здесь можно было всё, что душе угодно: одежду и вставные зубы, парики для религиозных женщин и прозрачные трусики с розой, настоящие золотые цепи и фальшивые картины Марка Шагала, кайенский перец и арабский кофе в зёрнах, христианскую икону с бисером

и музыкальный рог-шофар для игры в синагоге в праздничный день. Лица встречных-поперечных напоминали о бухарских песчаных просторах и холмах Грузии печальной, о коричневых скалах Йемена и иссохших степях Эфиопии; но встречались иногда и голубоглазые носители мёрзлого нордического зернышка. Иными словами, весь круглый еврейский мир был щедро здесь представлен, на торговой улице. Девушки разных оттенков кожи, в сползающих потёртых джинсах, оставляющих открытым для всеобщего обозрения тёмный глазок пупка, спешили куда-то по своим делам или вовсе без всякого дела. Саше Ривкину хотелось познакомиться с ними поближе и за рюмкой вина, в приятельской обстановке, во всех подробностях рассказать им о городе Электроугли, увязшем в среднерусских болотах. Обрывки русской речи слышны были здесь и там, вывески на русском языке часто встречались над входом в торговые заведения. Одна из таких вывесок была выполнена не без задора: на небесно-голубом поле в псевдославянских красных завитушках значилось: «Симпозион «Коммерция и жизнь». Лёгкая закуска». И изображён был кругломордый, похожий на Ивана-дурака то ли кельнер, то ли половой с жёлтым чубом и расписным подносом в руках. Саша Ривкин подошёл поближе, прочитал на стеклянной дощечке «Воронежское землячество» – и потянул дверь.

Собрание, как видно, то ли уже закончилось, то ли ещё не начиналось, а может, наступил перерыв; жизненные коммерсанты, человек сорок, сидели за столиками и управлялись с лёгкой закуской: бутербродами, орешками и зелёными оливками. На одном из столов стояла литровая бутылка водки «Александер», пятеро застольников выпивали из пластмассовых стаканчиков и вели сбивчивый разговор, не имевший касательства ни до купли, ни до продажи. Среди выпивающих была и девушка располагающей внешности, в джинсовой жилетке, с копной медовых волос над круглым чистым лицом.

– Кончай материться-то! – неубедительно сказала девушка, поймав косой взгляд проходившего мимо Саши Ривкина.

– А чего, он по-русски не понимает, что ли? – обернулся худой, чтобы не сказать изможднённый, в затасканной курточке с надписью «Летучий голландец» на спине. – Греби к нам, земеля, всё равно сидеть негде!

Но Саше не хотелось никуда грести, он прошёл мимо. Тем временем на сцену, украшенную бело-голубыми бантами и транспарантом «Если рынок не идёт к человеку, то человек идёт на рынок», поднялся распорядитель и, призывая к тишине, затряс колокольчиком. Публика неохотно подчинилась, а Саша Ривкин, обойдя зал, вышел на волю.

Рынок располагался наискосок от Воронежского землячества, по другую сторону торговой улицы. Рынок был разбит на кварталы, ряды – на торговые гнёзда. Евреи, по большей части выходцы из Африки и азиатского Востока, стояли за прилавками и нараспев выкрикивали цены оперными голосами. Некото-

рые, гордые своим умением, распевали целые куплеты, иногда по-русски, гортанно: «Рас-цветали яблони и груши...» или совсем уже дикое в этих краях, но отменно работающее как манок для уроженцев далёких российских просторов: «С боем взяли город Брянск...» Изобретательность – двигатель торговли, она идёт сразу вслед за воровством.

Саша Ривкин остановился у углового лотка, любуясь выложенными на покатом щите овощами. Здесь было всё, о чём можно только мечтать человеку мечтающему: зелёные ядра капусты, лакированные штиблеты баклажанов, указующие персты огурцов, луковицы в перламутровых сорочках, томные пунцовые помидоры. Натюрморт был квадратно обрамлён пучками укропа, киндзы и вилками махрового салата. Дивясь и радуясь, Саша молча глядел на эту Божью картину.

Торговец – марокканский, верней всего, уроженец с дикими глазами, опушёнными необыкновенно длинными, круто загнутыми вверх ресницами – стоя за своим лотком, внимательно наблюдал за очарованным Сашей Ривкиным.

– Хочешь? – спросил марокканец, придя, очевидно, к выводу, что покупатель из Саши Ривкина никакой. – Вон, бери из ящика. Денег не надо. – И, продолжая наблюдать, отхлебнул глоток чёрного кофе из маленького стаканчика.

В скособоченном ящике под прилавком лежали врассыпную овощи-инвалиды, назначенные на выброс – надломленные или битые, или тронутые гнилью. Саша выбрал крупную луковицу и коралловую морковку, подагрически искривленную в пояснице.

– Цвика меня зовут, – сказал марокканец. Его, как видно, тянуло поболтать. – А ты русский?

– Откуда ты знаешь? – удивился Саша Ривкин.

– Люблю русских, – объяснил Цвика и ресницы доверительно опустил. – Они умные: все инженеры или музыканты.

Толпа текла по проходу между рядами, люди вертели головами и взыскательно примеривались к выставленной напоказ торжествующей красоте. «Неужели они всё это унесут отсюда и сожрут?» – подумал Саша Ривкин, и ему стало почему-то неловко за людей.

– Тебе помощник не нужен? – так, на всякий случай, спросил Саша у лотошника.

– Почему не нужен!.. – задумался марокканец. – Ты по-русски будешь кричать и петь. Сможешь?

– Смогу, – сказал Саша и плечами пожал: петь так петь, хотя это и непривычно.

– Первый месяц бесплатно, – играя глазами, сказал марокканец. – Для учёбы. Ешь, сколько хочешь – и всё... У тебя ж деньги есть? У вас у всех есть?

– У меня нет, – сказал Саша.

– Как нет! – не поверил марокканец. – А «корзина»! На аэродроме вам всем дают на раз, и прожиточные, и на съём квартиры. Мало ли на что! «Корзина»!

– А, это... – согласился Саша Ривкин. – Говорят, дают. Я ещё не ходил.

– А ты сходи, – дал совет Цвика. – В банк положи, пусть лежат... Ты песню такую знаешь – «Эх, раз, ещё раз, ещё много-много раз»? Пой!

Взрыв случился через четыре дня на пятый, утречком. Как только рвануло, базарная толпа ринулась смотреть: кого убило, кого искалечило. Бежали покупатели, бежали лотошники, побросав свои лотки. Бежал Саша Ривкин, поспевая за марокканцем Цвикой с коровьими ресницами. Возникла толкучка. Твердили разное: самоубийца взорвался, лопнул газовый баллон или сработала подброшенная сумка со взрывчаткой.

Караульные солдатки, охранявшие рынок, кричали и размахивали руками. Они дожидались подмоги и старались не допустить толпу к месту взрыва: могла тикать поблизости, под каким-нибудь рундуком, ещё одна бомба, да и вообще это ни к чему – пялить глаза на кровавую беду. Но к голосу разума редко кто прислушивается, голос разума скрипуч и немузыкален – и народ пёр и давил, пока ни прибыла полиция и ни оттеснила толпу, расчищая проезд для машин скорой помощи и сапёров с собаками.

Специалисты принялись за дело, тело убитого взрывом лотошника Овадии накрыли простынёй, а четверых раненых увезли в больницу. Вторую бомбу не нашли, сколько ни искали. А первая, с батарейкой и часами, была, действительно, уложена террористом в хозяйственную сумку, от которой остались одни ошмётки.

– Это, считай, ещё повезло, – сказал Цвика, возвращаясь с Сашей Ривкиным к своему лотку. – Ни гвоздей, ни шариков. А в прошлый раз троих убило.

Назавтра базар был редок – лотошники поехали на кладбище хоронить товарища своего Овадию.

В похоронном еврейском ритуале сохранилась, как ни в чём другом, неразрывная наша связь с древним азиатским корнем, неистребимым. В этом, да ещё в преданности родовому Богу, который везде... Кто не был никогда на еврейском кладбище, не советую ходить туда на экскурсию – дело не для слабонервных.

Овадию хоронили по всем правилам. Саша Ривкин шёл в гуще людей за простыми брезентовыми носилками, на которых лежало тело Овадии, запеленатое в белый саван. По обе стороны прохода тесно стояли в ряд каменные могильные плиты, сотни плит, на которых угловатыми буквами древних времён обозначалось имя покойного, имена его матери и отца. Ни цветов тут не было, ни деревьев, ни травы – ничто не отвлекало трепетного внимания живых от силы и власти мёртвых. За рядами камней можно было увидеть участок, подготовленный для будущих погребений: землю словно бы припечатали бетонной густой решёткой с тёмными ячейками прямоугольных ям, гото-

вых принять, кого понадобиться, на вечное хранение. Сотни две таких ям можно было там насчитать.

Пока шли, Сашу клевал и не отпускал вопрос: неужели так и положат Овадию в яму – без привычного гроба, без какого-нибудь хотя бы ящика, отъединяющего ещё вчера живую плоть от огромной слепой земли? Прямо так – только в саване, под которым угадывалась голова и лицо головы, – и больше ни в чём? Как какого-то неприкаянного бомжа – а у него ведь осталась жена, остались дети, вон они идут, обнявшись от горя... Вряд ли кого-то ещё, кроме Саши Ривкина, занимал здесь этот вопрос. Сама мысль о ящике для Овадии была бы отброшена провожающими с негодованием: нагим он пришёл в этот мир, нагим и уходит из него, – не в штанах же или пальто ему уходить. Ящик? Но это же полная бессмыслица и нарушение заданной стройности событий: для чего препятствовать земле делать своё дело?

Подойдя, обступили могильную яму. Саша видел, как наклонили носилки, и тело податливо соскользнуло в землю и исчезло из виду. Помолившись, кладбищенский раввин попросил у Овадии прощения: может, кто-то из людей погребального братства ненароком его обидел во время обмывания и похорон. «Прости нас. Всё, что мы делали, мы делали из уважения к тебе», – сказал раввин и отошёл от могилы. Всё было кончено, люди потянулись к выходу – не той дорогой, по которой сюда пришли.

Саша Ривкин, отбившись от группы, свернул в сторону и пошёл бродить по дорожкам кладбища. Он всматривался в буквы на плитах, разбирал имена и дивился, как можно в такой тесноте найти нужное надгробье среди множества точно таких же. Около свежей могилы работал каменщик – разведя цемент в ведёрке, ляпал мастерком. Увидев одиноко бредущего Сашу, каменщик сдвинул на затылок кепку, знававшую лучшие времена, и тихонько запел по-русски: «Я ехала домой, двурогая луна...» Саша подошёл и остановился, а каменщик продолжал напевать.

– Я знаю эту песню, – сказал Саша, немного подождав. – Красивая.

– Романс, – уточнил каменщик. – А вы вчерашнего хоронили, с базара?

– Ну да, – сказал Саша. – Я там тоже работаю.

– У нас тут поспокойней, – кивнул каменщик. – Бомбы не рвут, гранаты не кидают. Тихо. Во всяком случае, пока что...

– А почему здесь нет травы? – спросил Саша Ривкин. Кладбищенский каменщик, распевающий романсы, должен был знать ответ на этот вопрос.

– Всему своё место, – пожал плечами каменщик, – так я вам скажу. – Траве – в лесу... Но я, вообще-то, по этой части не специалист, я раньше другим делом занимался.

– Вы певец? – снова спросил Саша.

– С чего это вы взяли! – досадливо отмахнулся каменщик. – Я мемориальные доски рубил в Ростове, вот что я делал. – И

добавил, уже без досады: – Вы ведь тоже не всю жизнь петрушкой торговали, а?

– Не всю, не всю... – сказал Саша. Ему не хотелось рассказывать ростовскому скульптору про город Электроугли. – А вон, за оградой, деревья растут – там что? Парк?

– Какой там парк! – сказал каменщик. – Просто хоронят за забором не по обряду – русских, например, или хоть китайца зароют. Мимо земли никого не пронесут... Есть и евреи чистокровные.

– Чистокровные? – переспросил Саша Ривкин.

– Ну да, – сказал каменщик. – По завещанию, или если родственники решили. Некоторые хотят с эпитафией, а другие памятник ставят. Можно сходить посмотреть.

Идти было недалеко. Под сытыми, сильными деревьями и разросшимися кустами бугенвиллий могилы, расположенные вразбивку, не вплотную друг к другу, имели живописный привольный вид. Некоторые были украшены цветами, в изголовьях других стояли апельсиновые деревья с оранжевыми мячиками плодов в круглых кронах. Надгробье над могилой художника имело форму палитры, пианиста – чёрно-белых клавиш. Надписи на камнях были сделаны на разных языках, Саша Ривкин внимательно читал прощальные напутствия умершим и со значением подобранные цитаты из классиков литературы. Встречались фамилии русские, еврейские, английские. На одном из надгробий Саша прочитал: «Ривкин Вениамин Моисеевич. 1915-1986». Рядом с могилой была врыта в землю приземистая лавочка, сбитая из старых железнодорожных шпал.

Саша сел на лавочку. На душе у него сделалось покойно и светло, словно бы он пришёл в гости к родственнику, помнящему семейные узы, но никому не досаждающему назойливыми телефонными звонками и просьбами. Доброму родственнику, редкие встречи с которым приятны и теплы. Может, этот Вениамин Моисеевич, действительно, из его, Саши Ривкина, рода? Как хорошо вот так, нежданно-негаданно ощутить близость родной души... Прямоугольник могилы был сплошь засажен цветами – красными, жёлтыми и голубыми. По левую руку от надгробья место было свободно, там зеленела на земле молодая травка. Сгорбившись на шпале, Саша переводил взгляд с могилы на эту свободную землю. Ощущение родства с неведомым Вениамином усиливалось в нём, поднималось, как столбик ртути в термометре, он испытывал благодарность к этому человеку за то, что тот пришёл сюда и здесь остался. И полоска пустующей зелёной земли, прилепившейся к обводу могилы, уже не была ему чужой, а стала родной и необходимой, словно бы он, в конце концов, узнал её в лицо и привязался к ней душою.

Домик кладбищенской конторы стоял у ворот, среди деревьев. На письменном столе управляющего светился экран ком-

пьютера. Управляющий поглядел без вопроса на вошедшего Сашу Ривкина – нечего тут спрашивать, люди приходят сюда по одному-единственному делу и сами всё рассказывают.

– Тут у вас лежит Ривкин Вениамин Моисеевич, – сказал Саша. – И я...

– Минуточку, минуточку... – сказал управляющий и защёлкал клавишами компьютера. – Третий участок, шестая единица.

– Слева свободное место есть, – сказал Саша.

Управляющий снова уставился на экран.

– Да, – сказал управляющий. – Свободное.

– А можно его получить? – со страхом ожидая отказа, спросил Саша.

– Можно купить, – сказал управляющий. – Вы родственник?

– Родственник, – сказал Саша.

– Тогда вам полагается скидка, – сказал управляющий. – Можно, если хотите, платить по частям.

– Вот у меня есть справка, – сказал Саша и протянул управляющему бумажку, полученную в банке. – Тут всё, что мне дали по «корзине абсорбции». Этого хватит?

– Ещё останется, – заглянув в бумажку, сказал управляющий. – Будем оформлять?

– Да, конечно, – поспешно сказал Саша Ривкин. – Но вы скажите, пожалуйста – можно там будет посадить что-нибудь? Ну, цветы, например?

– Ваша земля, – сказал управляющий, – что хотите, то и сажайте. Хоть арбуз. Только марихуану нельзя, это запрещено. Полиция проверяет.

– Ну, что вы... – сказал Саша Ривкин. – Насчёт этого не беспокойтесь.

– Тогда давайте заполнять, – сказал управляющий и достал из сейфа форменный бланк с красивой виньеткой из цветов и листьев.

Часом позже Саша вернулся по знакомой дорожке к шестой могиле третьего участка. В его кармане лежал документ с гербовой печатью, удостоверяющий в том, что он, Александр Ривкин, приобрёл в полную собственность на вечные времена земельную единицу номер семь третьего участка кладбища «Зелёный мир». Саша освобождённо опустился на лавочку и так сидел. Кругом никого не было видно. Посвистывали и перекликались птицы в густой листве.

– Теперь я землевладелец, – сказал Саша Вениамину Моисеевичу и улыбнулся счастливой улыбкой. – Помещик Ривкин.

На своей седьмой грядке Саша Ривкин посадил три куста картошки, помидоры, баклажаны и укроп. Он часто приезжает сюда, окучивает, выдёргивает сорняки, проверяет, достаточно ли воды. А потом, сидя на шпале, глядит на свой огород.

Может, он и сейчас там сидит.

Феликс Кривин

ИЗВИНИТЕ ЗА НАЗВАНИЕ!

Когда я прочитал то, что вы прочитаете на следующей странице, мне стало немного не по себе. Мне не нравятся такие слова, даже с уменьшительным или ласкательным суффиксом. Когда-то мне довелось употребить (крылатое, между прочим) выражение «вечный жид» и я получил взбучку от читателя. Жида не спасает вечность. Хотя писатель Андре Жид получил Нобелевскую премию.

И тут я опустил глаза на следующую строчку и прочитал: «Мемуар». Это смягчило неудобопроизносимость названия. Я всегда питал слабость к словам, которых нет ни в одном словаре, и это было именно такое слово. Оно существует только во множественном числе, подразумевая множество событий. Но автор молодой, событий в его жизни немного, может быть, лучше ограничиться единственным? Впоследствии, с течением времени, автор накопит события и напишет мемуар, потом ещё мемуар, и в результате у него получатся мемуары.

Знакомясь с мемуаром, я поймал себя на том, что смеюсь. Отчего я смеюсь, братцы? Может, вспомнил что-то смешное? Какой-нибудь анекдот или рассказ Зощенко? Нет, я смеялся именно над тем, что читал. Мемуар оказался и смешным, и грустным, и разным, но всегда увлекательным.

Мне кажется, что этот мемуар, пусть даже в единственном числе, доставит и читателям такое же удовольствие, какое доставил мне. Хотя за всех читателей ручаться не могу. Даже нобелевский лауреат Андре Жид не мог ручаться за всех читателей. Кстати, он совсем не тот, каким его представляет фамилия, он только родился в семье юриста.

Пусть вас не смущает обилие многоточий внутри слов. Они свидетельствуют об эрудиции автора и вместе с тем о его деликатности. Того же он ждёт и от читателя.

ИГОРЬ ШНАЙДЕРМАН

ЖИДЁНОК

Мемуар никому не известного человека

Журнальный вариант

Моему дедушке Иосифу Гуревичу,
которого я никогда не видел

В детстве я учился в художественной школе имени Репина. Туда меня привёл мой дед. Он провожал меня в школу до тех пор, пока это приличествовало моему нежному возрасту. А я учился в «Репинке» только потому, что водил меня туда – дедушка.

Я никогда не хотел быть художником. Просто мне нравилось создавать портреты. Поначалу живопись и графика казались наиболее удобными для этого средствами.

Потом я заболел театром. И чем более инфицировался, тем яснее понимал, что изображать людей, перевоплощаясь в них, куда более заманчиво. Эта болезнь оказалась затяжной, но не смертельной. Ещё и сегодня я ощущаю её остаточные явления, но что такое болезнь по сравнению со страстью?

К сорока годам, вместе с острой потребностью в независимости, появилась страсть к написательству. Потому что, пока ты пишешь, ты зависишь только от себя. От себя самого.

Без малейшего стеснения ты вываливаешь на безответный клочок бумаги все свои внутренности, всё своё дерьмо, всю свою жизнь. Ни на миг не перестаёшь ты надеяться, что кому-то это может быть интересно:

– А вдруг?

Чужие портреты, чужие глаза, постыдные мысли, сердца, тайные желания, обгрызенные ногти перекручиваются в твоей графоманской мясорубке и превращаются в твой же собственный автопортрет. С ужасом и с любовью ты смотришь на всё это месиво и думаешь:

– А вдруг?

Ты зачёркиваешь, перечитываешь, выбрасываешь, ты снова и снова вглядываешься в эти бессмысленные каракули и видишь там только два слова:

– А вдруг?

Сознайтесь! Ведь каждого из вас будоражит это неопределённое?

– А вдруг?

А вдруг жизнь состоялась?

– А вдруг?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Милиционер в троллейбусе – пьяному пассажиру:
– Гражданин, а жидок-то прав, сойди с ноги!

Из анекдота

Первый раз «Бей жидов – спасай Россию!» я услышал ещё в утробе матери. Мне жутко не хотелось выбираться. Но соблазн оказаться вовне был слишком велик, и я оказался. Где, собственно, и пребываю по сей день.

В яслях я практически не был. Нет, скорее, был. Полдня.

Где-то в районе обеда я плакал под забором, очевидно, предвосхищая будущие издержки коллективного сознания в национальном вопросе. Где и был замечен украинской женщиной Михайловной. Михайловна – впоследствии Няня – подкараулила мою маму и, сказавши умилённо:

– Такий гарненький! Він же і на єврея не схожий! – уговорила её «доглядати хлопчика», то есть меня, «за бесплатно». В результате «хлопчик» под влиянием Няни, соседей и районного врача Юлии Ивановны стал говорить исключительно по-украински.

Когда я родился, мне попытались придумать максимально еврейское русское имя на букву «И». Все Исаи, Иосифы, Исааки и прочие Израили воплотились в языческом имени «Игорёк».

Моя прабабушка Соня, основным языком общения которой был идиш, так и не смогла ощутить благозвучность этого имени. Она говорила:

– Игир-р-рь? Что это за имья – Игир-р-рь? Игир-рок? Я не понимаю!

Тем не менее, это непонимание я пережил и очень успешно. Потому что, если бы благозвучность моего имени ощущала моя прабабушка, для всех остальных бабушек и дедушек, а также тёть и дядь нееврейской национальности оно ассоциировалось бы с кинологической командой «Фас!».

Кстати, мой Самый Первый Тесть, будучи коммунистом и нося нежное отчество Израилевич, пришёл как-то в райком и написал такое заявление:

«В связи с израильской агрессией на Ближнем Востоке как коммунист считаю недостойным носить отчество Израилевич, и прошу переменить моё отчество в честь вождя нашей партии на отчество Ильич».

Которого из двух Ильичей имел в виду Израилевич, он не уточнил.

Дом, в котором я родился, был построен по проекту академика архитектуры Алексея Николаевича Бекетова. А стоял он на улице, носящей имя выдающегося естествоиспытателя Чарльза Дарвина, который доказал, что обезьяны тоже были евреями. До эпохи исторического материализма эта улица носила поэтичное, но совершенно не марксистское название Садово-Куликовская.

Ностальгируя о «раньшем времени», мои аполитичные и заскорузлые дедушка и бабушка называли многие улицы их допотопными названиями. А их внук своим нестойким детским умом не мог понять, почему улица Чубаря лучше, чем «Садовая», Потебни – чем «Подгорная», а улица Маршала Бажанова лучше, чем «Черноглазовская» или, к примеру, «Девичья».

Всё моё детство было соткано из противоречий.

Мы жили в двадцатиметровой комнате очень большой коммунальной квартиры. Мы – это мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, няня и я. Не утруждайтесь, я уже подсчитал. Нас было семеро. «Семеро смелых». Няня спала на раскладушке, прабабушка – на кровати, бабушка и дедушка – на диване, мама и папа – на сундуке, а я – в корыте. Общая площадь спальных мест составляла четырнадцать метров. На остальных шести гармонично сосуществовали буфет, шифоньер, холодильник «Саратов», телевизор «КВН», трюмо, тумбочка, туалетный столик, стулья и большой обеденный стол.

За которым и коротала время наша дружная семья.

Коридор в нашей коммуналке был настолько велик, что в нём, действительно, можно было кататься на велосипеде.

Правда, велосипеда у меня не было. У меня был самокат. На нём я и совершал свои первые круизы вдоль стоявших здесь же в коридоре газовых плит и висящих корыт, с заездами в туалет, ванную и прочие места общего пользования. Я познавал жизнь.

Так проходило моё безмятежное детство.

* * *

– Зачем ты трогаешь его за писюнчик?
– Я не трогаю. Я оттягиваю шкурку, чтобы головка свободно раскрывалась. Это необходимо.
– Не знаю. Мы тебе в детстве ничего не оттягивали!
– Вот поэтому я и женат третий раз.

Из жизни

Моё сексуальное, социальное и эстетическое развитие шло в вопиющем диссонансе с Моральным Кодексом строителя Коммунизма. Поэтому все детские и отроческие устремления носили у меня антисексуальный, антисоциальный и аморальный характер.

Я подсматривал, щупал, вырезал сомнительные картинки и лазил под юбку однокласснице Тине Богомаз. Как-то раз, после интеллектуального разговора со сверстниками о максимальных размерах того, что в умных книгах называют «эрегированным пенисом», я попробовал. Ну, мне было любопытно...

Когда я увидел сырьё, из которого делают детей, я очень испугался.

Но пробовать не перестал. Мучился, стыдился, взывал к собственной совести, но не переставал. Ноги, груди, чулки, бюстгальтеры (об их хозяйках я боялся даже думать) сидели в моей голове

настолько прочно, что историям, математикам, физикам и прочим неэротическим дисциплинам я «не давал ни малейшего шанса».

Первые сексуальные фантазии почему-то не побуждали меня и моих сверстников к написанию стихов, любовных записок, бурным объяснениям и мордобитиям из-за предмета страсти. Эту нечеловеческую страсть мы реализовывали в районе женских туалетов, раздевалок, бань, переполненных трамваев и прочих неромантических мест, где можно было подсмотреть, подслушать, пощупать, потереться и слиться с воображаемыми ногами, руками, губами, волосами, не дай Бог, грудями, и, совсем шёпотом, с самыми интимными частями, которые в комплексе составляли понятие «женщина». Это была какая-то безумная гонка, которая забирала меня всего без остатка, превращала в вечно кающееся животное, и казалось, что этому не будет конца.

На фоне этой болезни, как говорят врачи, я страдал, вдобавок, клептоманией и пьянством. Я не шучу. Дело в том, что мой дедушка готовил наливку. Эта наливка хранилась в буфете. Она была вкусная. Я её пил. Делал глоток-другой. И всё. И так каждый раз. Я отпивал совсем чуть-чуть, и в бутылке оставалось почти столько же. Но что значит – неуч! Я не был знаком с теорией относительности знаменитого еврея Эйнштейна. Я сравнивал количество «до» и количество «после» с интервалом в пять минут, а бабушка и дедушка помнили, сколько наливки было месяц назад. Они ничего не могли понять: «Может быть, выветривается? А может, мыши? А может, прусаки? А может...»

Как-то раз они задумались: «А может, он?»

Короче, пить я перестал, но начал воровать. Я воровал юбилейные рубли, которые бабушка и дедушка собирали и складывали в тот же буфет. Знаете, такие – с Лениным, с воином-освободителем, с просто рублём. В конце концов я попался. Дедушка обозвал меня йолтом и страшно обиделся. Бабушка сказала, что мне должно быть очень стыдно.

И всё.

На меня не орали, не били ремнём и не ставили коленками на гречку. Может быть, поэтому я понял. Может быть, поэтому слова стали иметь для меня вес, я стал их ценить и, возможно, поэтому начал читать.

Я всю жизнь завидовал людям, помнящим себя внятно чуть ли не от рождения. Но всё никак не мог взять в толк, почему их рассказы о детских подвигах не вызывают у меня законного умиления. Слушая их, я, как и все, делал большие глаза и губки «бантиком». Но мне были совершенно не интересны все эти шедевры склеротического творчества. И я думал:

– Ну почему?

И только сейчас начинаю понимать, что мы все и всегда выдаём желаемое за действительное.

Вероятно, поэтому я начал писать: очень много накопилось желаемого и очень мало осталось действительного.

* * *

– Бабушка, ты умрёшь?
– Умру.
– Тебя в яму закопают?
– Закопают.
– Глубоко?
– Глубоко.
– Вот когда я буду твою швейную машинку вертеть!

Из книжки Корнея Ивановича Чуковского «От двух до пяти»

Бабушка моя работала машинисткой в Облместпроме. Вернее, старшей машинисткой. А если уж быть совсем точным, должность её называлась «заведующая машбюро».

В силу врождённой честности, она не пользовалась теми благами, которые можно было извлечь из этой работы. Бабушка жила на зарплату.

Вечерами она подрабатывала печатаньем чужих диссертаций, монографий, научных трактатов и казённых бумаг. Дедушка неизменно ей диктовал.

Мой дедушка очень любил мою бабушку. Поэтому он купил ей трофейную портативную печатную машинку фирмы «Каппель».

В предпенсионном возрасте, в пору, так сказать, супружеской зрелости, они получили, наконец, отдельную комнату в коммунальной квартире на улице, носящей имя академика Владимира Петровича Воробьёва – человека, бальзамировавшего Ленина.

Большую часть времени я проводил у бабушки и дедушки: дедушка диктовал, бабушка печатала, а я спал здесь же на раскладушке. Моё детство прошло под аккомпанемент бабушкиной печатной машинки.

Трофейный «Каппель» был главным предметом моих вожделений. Первое время я пытался исподтишка нажать на какую-нибудь клавишу. Дедушка меня гонял.

Чуть повзрослев, я стал одержим желанием покатать каретку и позвонить в звоночек. Дедушка и тут был на страже.

Когда я научился писать, у меня появился весомый аргумент напечатать на бумаге первые известные мне слова. Тогда я впервые был допущен к «Каппелю» легально. Дедушка контролировал процесс.

Поскольку бабушка и дедушка берегли машинку, как зеницу ока, у меня к ней тоже выработалось невероятно трепетное отношение.

Я взрослел. Бабушка и дедушка старели. Потом дедушка умер.

У меня родилась Алиса. Дуся. Когда я доставал машинку из футляра и начинал печатать, Дуся стремительно ползла на звук и так же, как и я в детстве, норовила нажать на клавишу.

Потом не стало бабушки. У меня родилась Марточка. Муха, Мушка. Её наследственное стремление нажать на клавишу я тоже жестоко пресекал. Я берёг машинку.

Время ускользало, как песок из-под пальцев. Я женился и разводился, и снова женился, и снова разводился. Я перевозил машинку из семьи в семью, из города – в город.

Совсем недавно на свет появился Юлька. Мой сын. Я по-прежнему печатаю на бабушкиной машинке. А Юлька по-прежнему, маневрируя ползком между стульями и креслами, пытается подобраться ко мне и нажать на заветную клавишу. И я по-прежнему его гоняю...

Когда меня обуял писательский зуд, я сначала придумал название. «Жидёнок». Потом написал несколько страниц. Затем несколько рассказов. «Жидёнок» рос. «Жидёнок» увеличивался в объёме. «Жидёнку» стало тесно на тетрадных листках.

И тогда я достал бабушкину машинку. Я напечатал на титульном листе название.

И старая немецкая портативная печатная машинка «Каппель» № 0205236, которую мой дедушка подарил моей бабушке, засбоила. У неё стала западать и пропечатываться ниже строчки одна буква.

Буква «Ж».

* * *

– Дедушка, я похож на еврея?
– Нет. Но все евреи похожи на тебя.

Из глубокого детства

В школе я каждый день дрался. Вернее, в школе меня каждый день били. Потому что я – еврей.

Я не скрывал своей национальности. Нет, не так. Я не стеснялся её. Это раздражало тех, кто меня бил. Они добавляли к слову «еврей» разнообразные эпитеты, и это раздражало меня. Я лез драться. И меня били. Какие-то «кузи», «реввы», «ткачики», «кирнозы» и прочие жиганы нашего класса отстаивали чистоту славянской расы.

До девятого класса били меня, потом стал бить я. Просто в одной из драк я понял, что меня бьют по лицу, а я интеллигентно защищаюсь ударами по корпусу. Я понял, что от удара по лицу не умирают.

И дал по морде. Просто дал по морде. По разу я дал по морде каждому обидчику, и меня перестали бить.

Вымытый, накормленный и не отягощённый багажом знаний, я выдвинулся за пределы двора, в котором жили бабушка и дедушка. Я шёл в школу.

Мой маршрут проходил через двор, в котором обитал толстый отличник Жора Пузик.

Подходя к его дому, я замедлил шаг. У меня засосало под ложечкой, и сердце стало медленно перемещаться к пяткам. Потом

я подумал: «Ну не будет же он меня караулить специально!» – и меня попустило.

Я ступил на вражескую территорию. И тут же увидел его.

Он смотрел на меня, как кот на селёдку. Он явно меня выпасал. Он мгновенно усёк мои душевные терзания. Улыбка прорезала его упитанную физиономию и коснулась красных ушей.

Как только мы поравнялись, Жора Пузик сглотнул слюну и, подбивая надутыми щеками мячики зрачков, произнёс:

– Ты б поторопился: последний поезд на Израиль уходит. Смотри, – опоздаешь!

Он тужился сказать что-то ещё, но вместо этого в недрах его тела возник булькающий звук, который, поднявшись по пищеводу, преобразовался в раскатистый, похожий на отрыжку, хохот.

Я отвернулся и в окне первого этажа увидел его благообразную бабушку. Она махала нам рукой и говорила что-то хорошее.

Когда мы с домашними обсуждали маниакально-депрессивный антисемитизм Жоры Пузика, мой дедушка высказал предположение, что это, вероятно, культивируется в семье. И сейчас, глядя на пузиковскую бабульку, я пытался понять, врождённый это порок или благоприобретенный.

Не придя ни к какому сколько-нибудь внятному выводу, я подумал, что день начинается как обычно, а это уже неплохо.

Между тем, Пузик громко крикнул бабушке: «Засунься!», спросил, выучил ли я стихотворение по украинской литературе, взял меня по-дружески под руку и повёл в школу.

На улице Чубаря, в девичестве «Садовой», нам перерезала дорогу одноклассница-нимфетка Ляля Ступор. Она была троечницей и хулиганкой. Ко мне Ляля испытывала двойственные чувства: с одной стороны, я её явно привлекал как представитель противоположного пола, с другой, – явно отталкивал как представитель противоположной национальности.

Ляля Ступор двинула портфелем в рыхлый живот Жоры Пузика, отбежала на безопасное расстояние и продекламировала:

– Жиро-мясо-комбинат,
Пром-сосиска-лимонад!

Оскорблённый отличник заорал:

– Ступор, иди в жопу! – и добавил мне по-свойски: – Дура.

Нимфетка, в свою очередь, собрала в передней части полости рта ядовитую слюну и прицельно плюнула.

Но попала не в Пузика, а в меня. Я совершенно не умел ругаться и обиженно промямлил:

– Ля-яля...

Троечница сощурила глазки и фальшиво пропела на мотив «Чижика-пыжика»:

– Грязный и вонючий жид по верёвочке бежит!

Затем хулиганка стремительно ко мне подбежала, очень больно ущипнула за руку, очень обидно дёрнула за ширинку и умчалась вперёд.

Было весеннее солнечное утро. Мы шли на занятия.

Наша школа находилась в «нагорном» районе. Здесь учились дети из приличных семей. Во всяком случае, так считалось.

По какому-то странному стечению обстоятельств наш класс был в этом смысле исключением. Мало того, что у нас сконцентрировались все местные хулиганы. На моё счастье, я оказался ещё и единственным мальчиком-евреем. Это бросалось в глаза, и глаза становились красными. Вот так, с красными глазами, все десять лет проходили директриса нашей школы и еврей-антисемит – завуч по воспитательной работе по кличке «Папа Шульц».

Наша директриса была маленькой, сбитой и энергичной, как дрожжевое тесто, полковничьей женой. Курчавые русые волосы, вздёрнутый нос и агрессивно выступающая вперёд нижняя челюсть делали её похожей на кучерявого курносого бульдога. Она преподавала русский язык и литературу.

Её правая рука Папа Шульц был историк. Таракан тараканом в усах, в очках и в вечно недовольной гримасе. «Таракан, Таракан, Тараканище!» Если бы наш завуч по воспитательной работе был единственным живущим на земле евреем, я обязательно стал бы юдофобом.

...Урок зоологии подходил к концу. Это был «открытый урок». На задней парте сидели директриса и Папа Шульц.

Биологичка Руслана Теодоровна – милая женщина – очень доходчиво поведала нам о физиологически-гастрономических особенностях домашних птиц, и мы стали складывать учебники.

Вдруг... Вы обратили внимание, что все на свете неприятности происходят вдруг? Так вот, вдруг я услышал свою фамилию. Я услышал свою фамилию и узнал голос директрисы. Она всегда произносила её, грассируя единственную присутствующую в ней букву «Р». В жизни она почти не картавила. Вернее, не так. Она просто не проговаривала дискредитирующий её звук. И наверняка страдала в детстве оттого, что не могла произнести «Р-р-р» со славянской лихостью.

Итак, вслед за моей фамилией прозвучало командирское «К доске!», и я вышел на «лобное место».

Папа Шульц посмотрел на директрису. Директриса посмотрела на меня. Я отвёл глаза. Тогда она сказала:

– Мы (реверанс в сторону завуча) весь урок наблюдали за твоим поведением. И у нас (ответный реверанс в сторону директрисы) возник к тебе ряд вопросов. Ну-ка назови нам известных тебе домашних птиц.

Задание проще трудно было придумать.

Я перечислил всех домашних птиц, известных человечеству. Я ответил блестяще. По зоологии я был отличником.

Мне уже грезилась очередная «пятёрка» в журнале, но тут прошелестел целлофановым кульком голос Папы Шульца:

– Эт-то не всё-ё-ё...

Я напряг память. Как фокусник, я снова выгреб из её недр не только всех куриц, индюков, гусей и уток. На всякий случай, я пе-

речислил ещё и цесарок, куропаток, фазанов, рябчиков, тетеревов, вальдшнепов, бекасов, чирков и перепелов. Я чуть не задохнулся от собственных знаний.

И снова услышал голос директрисы:

– Ай-яй-яй-яй-яй! А канарейки? А попугайчики?

Обычно я старался не шутить с людьми, которые не способны понять моих дурацких шуток. А тут не сдержался: с противной ухмылочкой я продекламировал:

– Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как я мог позабыть вкус канареек, фаршированных яблоками и попугайчиков «табака»! Перед подачей на стол канарейки жалобно пели, а попугайчики желали всем приятного аппетита!

Тогда я ещё не знал, что почти процитировал речь бургомистра из шварцевского «Дракона».

Невероятно громкий визг директрисы покрыл хохот моих одноклассников. Она орала:

– Руслана Теодоровна! Это «двойка»! Это твёр-р-рдая двойка!

В этот момент прозвенел звонок, и нерешительное заступничество Русланы Теодоровны утонуло в воплях полковничьей жены и в здоровом детском смехе.

Если верить утверждению, что историческая наука – это наука-проститутка, то совершенно справедливым будет также утверждать, что наш историк Папа Шульц являлся её альфонсом.

Учителем он был никудышным. Через десять минут его монотонных лекций класс обычно начинал кунять. Папа Шульц нервничал, терзал рукой лацкан пиджака (была у него такая привычка) и повышал голос. Класс просыпался, но спустя некоторое время, убаюканный «рассказками» про жирондистов, лоббистов или чартистов, снова засыпал.

На одном из таких уроков, упорно борясь с дрёмой, я нарисовал шульцевский портрет. Историк вышел на нём как влитой. Рисунок пошёл по рукам и попал на учительский стол с надписью «Папа Шульц – дебил!»

Пожилой педагог бросил беглый взгляд на листок и разулыбался. Однако же, как вы понимаете, улыбался он недолго. Его кривая правая бровь подняла за собой мутный глаз, и Шульц ознакомился с диагнозом.

Мне стало муторно, потому что моё авторство не могло вызывать ни малейших сомнений. Муторно стало и Папе Шульцу. Закалённый многолетней борьбой с учениками, завуч мобилизовал свои скудные дипломатические способности и спросил готовым сорваться целлофановым голосом:

– А к...то такой Па-апа Шульц?

Класс ожидал чего угодно, но только не такого изощрённого и толерантного хода: юные мерзавцы прекрасно понимали, что не знать своего прозвища историк не мог. Двадцать пар глаз ушли под парты. Двадцать пар смешков, перехохатывая друг друга, вырвались из-под них позорным школьным вальсом, и учителю за-

хотелось выйти. Он схватился за спасительный лацкан и дёрнул его сильнее, чем обычно. Рука сорвалась, взвилась вверх и сбила очки с шульцевского носа. Очки упали на пол, и завуч полез под стол. Ситуация вышла из-под контроля.

Я готовил оправдательную речь. В мозгах крутилось:

– Это не я... Я не знаю, кто написал... Я понятия не имею, кто такой Папа Шульц... Я...

Речь не пригодилась. Учитель вылез из-под стола, дрожащими руками собрал бумажки и сутулясь вышел из класса.

Говорят, после этого урока завуч попросил у директрисы мою тетрадь с контрольными работами и долго сверял почерк. Удостоверившись, что надпись сделана не моей рукой, историк провёл графологическую экспертизу всего класса. Однако и она не помогла выявить злоумышленника.

Несмотря на моё алиби, чувство собственной важности возобладало в душе педагога над чувством прекрасного, и я попал в немилость.

Месть Папы Шульца была столь же нелепой, как и он сам: политизированный до крайности пожилой еврей не пустил своего юного соплеменника в Ленинский комсомол.

Нашего физкультурника звали Константин Сергеевич. Нет, не Станиславский и даже не Алексеев. Однако, несмотря на несходство фамилий, он чувствовал все же свою принадлежность к знаменитым театральным инициалам. Он артистично ходил по спортивному залу, артистично заигрывал со старшей пионервожатой и артистично щупал девочек.

Его любимым занятием было исправление осанки у старшеклассниц: левой рукой он брал красную от стыда школьницу за грудь, правой – за попку и, вдавливая их в тело, причмокивал:

– Спокойно, Бурёнка! Тренер – это доктор твоих костей, твоих мышц!

Я быстро бегал, далеко прыгал и хорошо играл в баскетбол. Но Костя меня всё равно не любил. Он никогда не называл меня по имени и крайне редко произносил мою фамилию. Чаще всего я проходил под погремухой «Моня Цахес – король подтяжек». Цахес – была единственная еврейская фамилия, которую он знал из литературы и мог обобщить до образа.

...Мы сдавали нормативы ГТО. Мальчики и девочки – жертвы смешанного обучения – встали по росту и разместились по кругу. Наши девочки по габаритам были больше наших мальчиков. Их формы предательски топорщили спортивные костюмы, от чего мальчики заводились и становились невменяемыми.

Костя свистнул, и мы побежали. Это была разминка. Время от времени наш спортивный наставник пошлёпывал девочек по мягким тканям и покрикивал:

– Спинка ровная! Выше колени! Грудь вперёд, мозги назад!

Позади меня бежал Витя Есауленко. Ещё в раздевалке я заметил какой-то странный блеск в его глазах, но не придал тогда

этому значения. Я не ждал от него особых неприятностей. И напрасно.

На очередном вираже Витя поймал меня за штаны и дёрнул. Вместе со штанами он прихватил трусы и обнажил мой, начинающий мохнатиться, зад. Я запутался в спортивных брюках и упал. Витя ухватился за резинки и дёрнул ещё раз. Резинки лопнули, и я оказался с совершенно голой задницей посреди толпы одноклассников. Кто-то сказал:

– Смотрите, какой волосатый Абрам Гутанг! – и все дружно рассмеялись.

От обиды я разревелся и, придерживая руками трусы, убежал.

Вслед прозвучал поставленный голос моего учителя физкультуры:

– Я, кажется, никого с урока не отпускал!..

С тех пор прошло очень много лет. Недавно я увидел Костю. Он сидел на троллейбусной остановке с большой авоськой в руках и всё время что-то говорил.

Возле него не было ни души.

Жора Пузик окончил два института и пошёл работать водителем троллейбуса. В свободное время он занимался книжной фарцовкой.

Сейчас он торгует на базаре телевизионными антеннами.

Ляля Ступор вышла замуж за еврея, очень похожего на меня, и уехала с ним в Германию.

Вероятно, в детстве она просто мстила мне за будущую национальность её ребёнка.

Директрису и Папу Шульца я не видел после школы ни разу.

...У нас был учитель труда Степан Калиныч. Он был гомосексуалист: простой украинский мужик и – гомик. У него на руках не хватало нескольких пальцев.

Гомик, учитель труда – и без пальцев.

Степан Калиныч был добрый и хороший дядька. Ему были совершенно чужды национальные предрассудки.

Он был интернационалист.

* * *

Регина Аршинная была цыганкой. В шестом классе мы сидели за одной партой.

Её рост был два аршина, груди – ватерпольные мячи, а её вздёрнутые ягодицы наводили на нехорошие мысли.

В седьмом классе я был у неё в гостях. Она сидела у меня на коленях, играла на семиструнной гитаре и пела:

– Граждане, пожалуйста, потише –
Голуби целуются на крыше...

После восьмого класса Региночка Аршинная вышла замуж.

Наша классная руководительница Наталья Леонидовна очень переживала:

– Региночка! Ты ведь совсем молоденькая. Погуляй ещё. Окончишь десять классов... Зачем тебе так рано? Успеешь.

Региночка отвечала крайне серьёзно и убеждённо:

– Понимаете, Наталья Леонидовна, боюсь отцвести.

* * *

Пионерский лагерь, воспитательно-оздоровительное учреждение для пионеров и школьников... В 1977 году пионерскими лагерями обслужено около 11 миллионов детей.

Из Советского Энциклопедического Словаря, 1982 год

Третьего дня, сидя на унитазе, я сформулировал свою жизненную позицию: мне нравится наблюдать за жизнью, а не участвовать в ней. Как только я это понял, мне полегчало.

Несколькими минутами позже, стоя под душем, я поймал себя на том, что не пою. Ну, просто совершенно не пою. Перестал петь. Хотя раньше, едва переступив порог ванной комнаты, делал это автоматически.

А ещё через несколько минут, намыливая голову и не обнаружив на ней волос, я услышал стук в дверь. Я спросил:

– Кто там? – и чужой противный голос ответил:

– Старость.

Ну что делают люди, когда приходит старость? Вспоминают молодость.

И я ударился в воспоминания.

Одним из светлых пятен в моём пионерском детстве был «Водотрест». Так мы называли пионерлагерь «Факел» нашего городского водокоммунхоза – нашу оттепель, нашу демократию, наш разврат и наше диссидентство.

Здесь мне впервые признались в любви, здесь я нашёл друзей, здесь ух!.. здесь ох!.. Ах, к сожалению, все эти «здесь» остались где-то «там», и вернуть их уже невозможно.

Наиболее таинственными и запретными воспоминаниями пионерского лета были встречи рассвета.

Облюбованное нами место называлось «Бараньи лбы» или, попросту, «Барашки». Они представляли собой несколько поросших травой холмов, округлых и своей формой напоминавших, скорее, стриженный полубоксом череп старшего пионервожатого – ударника ресторана «Мир» Саши Зуба, чем лбы кучерявых барашков.

Наши романтические души не удовлетворяли редкие официальные походы на Бараньи лбы с пением пионерских песен, жже-

нием пионерского костра и санкционированным начальником лагеря восходом солнца. Нас тянуло на Барашки при каждом удобном случае. А случай этот предоставлялся почти каждую ночь. Мы жарили самое вкусное в мире мясо и ели его полусырым, пекли самую сладкую в мире картошку, смотрели друг на друга влажными глазами и были счастливы.

Как-то раз произошло событие неординарное: нас засекли.

Застукали.

Зашухарили.

В общем, нас замели.

Человек, который поймал нас на горячем, был заместителем начальника лагеря. Звали его Савелий Фёдорович Котик.

Это был мужчина неопределённого возраста и очень маленького роста. Он был абсолютно нормальным человеком, только очень маленьким.

И мама его, работавшая в камере хранения, была маленькая.

И дети его тоже, наверное, были маленькими.

И их маленький папа нас прижучил.

Провинившиеся искатели приключений были построены в коридоре. Котик ходил вдоль шеренги встречателей рассвета и пристально заглядывал в глаза каждому в надежде увидеть хоть в одной паре «зеркал души» хотя бы слезинку раскаянья. Но поиски были напрасными.

Голова его приходилась вровень с декольте наших девочек. После долгих поисков истины шея, на которой торчал кладезь котиковской мудрости, устала, и Савелий Фёдорович вместе с головой опустил глаза. И упёрся прямо в пышный бюст пловчихи Леры Щукиной.

Котик остановился и крепко задумался. При этом «очи страстные» заместителя начальника лагеря неосознанно застряли в разрезе между жутко аппетитными грудями пионерки. У Савелия Фёдоровича началось обильное слюноотделение, и он едва успел подхватить капельку слюны, собиравшуюся слететь с нижней губы. Поймав её, Котик издал хлюпающий звук, который стал началом его речи...

Савелий Фёдорович, правду сказать, был очень неплохим дядькой, и мне до сих пор немного стыдно за те каверзы, которые мы ему устраивали. Тем более что и мнения-то собственного на его счёт я не имел: руководствовался стадным чувством.

Но, с другой стороны, посудите сами: вот идут два человека – начальник пионерлагеря Илья Витальевич и его заместитель Савелий Фёдорович. Илья Витальевич – то ли волейболист, то ли баскетболист, и росту в нём – полные два метра. Савелий Фёдорович – его правая рука (ну, буквально, правая рука) и по должности и, простите, по росту. Самые смелые (или самые любознательные) из наших девочек для ознакомления с наиболее объёмным и законченным портретом этих двух гоголевских персонажей бегали подсматривать за ними в баню. Какие такие живописные детали они надеялись там рассмотреть, я не стану рассказывать.

Как не стану пересказывать, о чём Савелий Фёдорович говорил в своей речи.

Собственно, и речи-то никакой не было; была длинная и бесполезная нотация, какие мы с вами так любим читать нашим детям.

Загнав под кожу свой независимый и нетерпимый характер, мой друг Лёша прослушал котиковскую мораль без обычных своих хамских замечаний. Но последней фразой Савелий Фёдорович всё-таки вбил гвоздь в хрупкий монолит лёхиного терпения. Он сказал:

– Вот вы, вот вы, мальчики, ходите с девочками и не задумываетесь, какие могут быть последствия...

Мой друг Лёша готов был принять множество обвинений, но только не констатацию того вожделенного стремления, которое... ах... ещё не стало реальностью. В неправедном гневе Лёшка возразил, что в нашем общении с девочками нет никакой эротики.

И тут произошёл конфуз.

Савелий Фёдорович совершенно не знал слова «эротика». Он не читал Платона. Он не читал Апулея. Он не читал даже Николая Альбертовича Куна.

Он раскрыл рот в надежде, что подоспеют мысли. Но мысли явно запаздывали, и Котик, как рыба, стал ловить ртом воздух. Надышавшись, он замер, усилием воли подогнал заблудившуюся мысль и обрушил на Лёшу всю мощь своей беспомощности:

– Алексей! Не надо думать, что все кругом дураки, а ты один умный. «Эротика»! Я понимаю, что тебе хочется покрасоваться перед девочками. Но только, если ты прочёл в какой-то умной книжке какое-то умное слово, это ещё не значит, что ты тоже поумнел. И я даже сомневаюсь, что ты сам точно понимаешь, что это означает... это слово. Я намного старше тебя, Лёша, и знаешь... как-то до сих пор обходился... без «эротики». И ничего – живу. И, между прочим, работаю заместителем начальника лагеря...

Лёша слушал Котика, закатив глаза к потолку, изо всех сил стараясь выказать полное безразличие к тому, что он говорил. Но на злополучном слове «эротика» юный пионер снова сломался. Он вздрогнул, сверху вниз посмотрел на карманного начальника, и его длинные мохнатые ресницы задрожали от жалости:

– Извините, Савелий Фёдорович, я не хотел Вас обидеть...

Но было поздно. Котик обиделся.

Он сделал последнюю ходку вдоль нашей развратной шеренги и в торце её наткнулся на длинные ноги пионерки Инги Шульман. Савелий Фёдорович вздохнул, махнул нам безвольной рукой и прошевелил вялыми губами:

– Надо сначала человеком стать, профессию получить, а потом уж...

И вышел из корпуса.

И побрёл в сторону библиотеки.

* * *

Света Медведева была фигуристкой. У неё было одно выдающееся достоинство – красивые ноги. Причём, об этом мне сказал Лёшка.

И мы стали встречаться.

Мы встречались каждый день и гуляли.

Причём Света Медведева гуляла с красными от возбуждения глазами, а я – с двояковыпуклыми брюками, которых очень стеснялся.

Нам пришла пора, а мы не знали.

На танцах мы танцевали медленные танцы. Танцевали очень медленно и очень близко. Наши друзья и подруги наблюдали за нашими танцами.

Как только мы дотрагивались друг до друга, содержимое моих брюк, пропустив команду «равняйсь!», становилось по стойке «смирно!». Света очень ценила боевую выправку и прижималась ко мне, чтобы... несколько приободрить. Я, в полнейшем смущении, отодвигался назад. Партнёрша думала, что я кокетничаю, и прижималась сильнее. Мой зад отодвигался ещё дальше. Девица была ещё настойчивей...

Этот поединок продолжался весь танец и являлся, собственно, его содержанием.

К концу всей этой свистопляски мы со Светочкой Медведевой напоминали две кавычки: она – выпуклую, а я – вогнутую.

Недавно на фотографии второго отряда я обнаружил чей-то автограф: «Больше смелости (особенно на танцах)».

* * *

Знаете ли вы, что такое «блядки»? А? Нет, ну что вы, это совершенно не то.

«Блядки» – это особый вид досуга членов дружины пионерлагеря «Факел» Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В период дефицита эротических фильмов и «ужастиков», «блядки» заменяли нам и то и другое.

Наши ночные бдения проходили по примитивной схеме: мальчики рассказывали кошмарные истории, а девочки делали вид, будто им страшно. Верхом блаженства было выдать страшилку с неожиданным финалом и ощутить в благодарность непроизвольное желанное прикосновение испуганной соседки.

В одну романтическую ночь все юные ленинцы нашего отряда очутились в палате юных ленинок. Меры предосторожности предприняли только мы с Лёшкой: набили в одеяла все свои пожитки и сделали из постелей муляжи.

В эту ночь нас накрыли. Всех донжуанов-ленинцев вернули в мальчуковую палату, и только мы с Лёхой спрятались в постелях под крылышками двух симпатичных пионерок.

Воспитатели отложили разбирательство до утра и оставили нарушителей дисциплины наедине со своими беспокойными снами.

Лишь только страсти поутихли, я высунул нос из-под девчачьего одеяла. Сна не было ни в одном глазу.

В корпусе спали все, кроме нас и наших подружек. Я лежал рядом с очень аппетитной и столь же наивной Беллочкой Якельчик, Лёха примостился возле грудастой девочки Наташи.

...Было темно. Вначале с соседней кровати послышались звуки. Мы с Беллочкой затаились и стали вглядываться в ночь. Когда наши пытливые глазки привыкли к темноте, мы, к своему ужасу, обнаружили, что Лёша и Наташа, совершенно не тяготясь нашим присутствием, производят под одеялом странные телодвижения.

Беллочка испуганно прижалась ко мне всем своим пышным тельцем и тихонько сказала:

– Какой ужас! Я от Лёши такого не ожидала!

Я попытался не потерять самообладания и прогундосил:

– Да-а-а...

Стеснительная пионерка накрыла меня и себя с головой и, щекоча своими горячими губками мою мохнатую ушную раковину, прошептала:

– Я не могу на это смотреть!

Я выдохнул в её маленькое ушко:

– Я тоже...

Мы промучились без сна до самого утра. Моё тело била мелкая дрожь, а глупенькая Беллочка обнимала меня ну совершенно по-матерински и, то и дело засовывая ножку мне в пах, говорила:

– Ну, ничего, ничего, сейчас согреешься, – и грела меня, как сауна.

...Я очнулся, когда кто-то потрепал меня по плечу и стянул одеяло. Надо мной стоял Лёша. Он сказал:

– Пора, – и мы пошли.

По дороге мой друг сообщил, что стал мужчиной. Он рассказал, как его первая девушка в момент интимной близости стонала:

– Ты не подумай, я не такая. У меня и парень есть. Я его сильно-сильно люблю...

Я спросил:

– Лёха, ну а как вообще?

Лёшка ответил:

– Знаешь... как говна объелся!

Утром на разборе полётов пионервожатый Валера Милашкин поставил нас с Лёхой в пример всем остальным:

– Они не поддались стадному чувству и спокойно, сопя в две дырочки, делали то, что пионеры должны делать ночью.

Пионерка Наташа улыбалась.

Пионер Лёша улыбался тоже.

У меня было непроницаемое лицо и красные уши.

Беллочка Якельчик стояла, покачивая головкой и закатив вверх свои круглые, прелестные, возмущённые глазки.

* * *

Первый раз я поцеловался по-настоящему в пятнадцать лет. Мы вместе ходили в любительский театр. Потом я её провожал. Ей было девятнадцать.

Это произошло в сквере на Площади Поэзии. Ну, так совпало.

Мы сидели на скамейке и курили. Потом она взяла меня за щёки и поцеловала...

Вкус её поцелуя напоминал вкус прокисшего бульона. Мне было страшно неприятно.

Но я терпел.

Мне казалось, что она хочет вывернуть меня наизнанку.

Но я терпел...

Меня спасла собака. Соседский ирландский сеттер по кличке Бест.

Он её спугнул.

С тех пор это моя любимая порода.

* * *

Мой самый первый и самый главный Театр назывался Зара Довжанская.

Если бы я был именитым и признанным театральным деятелем, одной этой фразы, пожалуй, было бы достаточно.

Когда Зары не стало, не стало и театра. Остались люди, осталось это чудо внутри каждого из них, но театра не стало. Потому что Она и была – Театр.

Она репетировала, сидя в кресле, но казалось, что она летает. Она с трудом передвигалась, но казалось, что она летает. Она жила почти без движения, но казалось, что она летает.

И она действительно летала.

Я уверен, что и сейчас, когда она ушла из жизни, она продолжает летать. Она продолжает летать и освещать путь пришедшим в Театр – звёздочкой под названием Зара Довжанская.

Её театр был не просто хорошим театром. Её театр был театром одухотворённым и добрым, ищущим и находящим, интеллектуальным и простым.

Люди её театра были не просто талантливыми. Они были стремительными и видящими, колоритными и красивыми, любящими и любимыми.

Спектакли её театра не просто были. Они есть. Они живут в тысячах воплощений моей жизни и жизни многих и многих помнящих.

Зара была переполнена талантом. Она выплёскивала его походя. И этих капель было достаточно, чтобы заполнить души всех.

Зара была Женщиной. Женщиной в самом полном значении этого слова. Женщиной во всех проявлениях. Когда её лукавые

глаза заглядывали тебе в душу, они излучали любовь всех воспетых человечеством женщин, и ты начинал чувствовать.

Когда её руки тянулись к тебе в надежде растормошить твой дремлющий темперамент, тебе становилось щекотно.

Когда её искалеченные ноги приподнимались на носочки, тебе казалось, что она кружит по залу и вовлекает тебя в свой чарующий танец.

Я любил её и ненавидел. Я тянулся к ней и избегал её. Я чувствовал себя её мужем и её сыном. Она была разнообразна, как разнообразна жизнь.

Я люблю Вас, Зара Тевелевна! Я преклоняюсь перед Вами, Зара! Я помню Вас...

* * *

Гуляли мы как-то в районе трамвайной остановки под названием «Госпром». Мы – это Лёшка, Виталик и я. Лет нам было по семнадцать.

Мы бы гуляли и дальше, но услышали стон. Услышали стон и увидели человека, лежащего на скамейке. Увидели пьяного человека и услышали, что он нас зовёт.

Мы остановились.

– Матушка Варварушка, – простонал алкоголик, и мы поняли, что он читал Телешева.

Мы познакомились.

Дальше мы гуляли вчетвером.

Он был маленький и лысенький. Он не просто цитировал классику и периодику, он называл издание, страницу и даже строку.

Фамилия этого феномена была Басюк. Когда-то у него была семья, когда-то он преподавал в университете, когда-то он был приличным человеком.

Я рассказал, что хожу в театр к Заре Довжанской.

Он сказал:

– К Зарке? Я Зарку еб...л!

Он прочитал нам два стишка. Я запомнил их:

Здесь гостит коньяк и чача,
Здесь обкомовская дача.

И второй:

Целый год Басюк не пил –
Деньги на пальто копил.
Наконец пальто купил, –
Не донёс домой – пропил!

Мы были знакомы пару часов.

* * *

Один раз я влюбился.

Я стал посвящать ей стихи.

Дальше – больше. Я посвятил ей поэму.

Когда моя любовь разрослась до романа в стихах, я спросил Лёшу, что делать.

Он сказал:

– Представь себе, как она какает.

Я представил. Любовь ушла.

* * *

– Ты танцуешь?
– Танцую.
– А я пою…

Из фильма Глеба Панфилова «Начало»

К семнадцати годам я явственно осознал, что могу нравиться девушкам. Я понял, что способен бороться с перхотью, запахом изо рта, прыщами на физиономии, чрезмерной волосатостью, словом, с большинством пороков переходного возраста.

Вместе с тем, из огромного количества морально-этических принципов великой и могучей русской литературы я вынес все каноны трепетного отношения к женщинам. Я обращался с ними, как с хрустальными статуэтками. Я боялся поцеловать, я боялся дотронуться, я просто боялся. Девушки ждали от меня решительных действий, а я пасовал.

И тогда им приходилось быть инициативными. Меня просто-напросто «брали». Мне говорили, что я должен объясниться в любви, и я объяснялся; мне намекали, что я должен поцеловать, и я целовал; мне давали понять, что готовы разделить со мной постель, и я ложился, но...

Но я считал, что «это» возможно только после штампа в паспорте и останавливался. Я останавливался в самые сокровенные мгновения и сохранял наше обоюдное целомудрие.

Впервые ощутив настоящее чувство, я совершенно растерялся. Я был в панике и обратился за советом к Лёшке. Лёха спросил:

– Она ждёт ребёнка?

Я не понял вопроса:

– Какого ребёнка?

Теперь, в свою очередь, не понял Лёша:

– Ну, вы… живёте?

Я ответил, что живу с родителями. Лёшка, вероятно, подумал, что общается с идиотом. Он спросил прямо:

– Короче, вы спите вместе? Как мужчина с женщиной?

Я жутко возмутился:

– Ты что? Она – девственница!

Мой друг сказал:

– Ну, так я не понимаю, какие у тебя проблемы?

...Мы стояли возле памятника Тарасу Шевченко. Был замечательный ясный день. Я понял, что пора взрослеть.

Однако мой путь к взрослению был каким-то обходным. А говоря проще, – корявым. Я прочертил водораздел между теми, в кого влюблялся и теми, с кем потенциально можно было переспать.

Но и тут меня подстерегала неудача: потаённые мысли были видны невооружённым взглядом, а по дрожи в голосе и в коленках можно было элементарно просто определить мои похабные притязания. Между тем, женщины, как известно, неуверенным, прыщавым и потным предпочитают уверенных, спортивных и наглых.

В один из летних дней мы с Лёшкой и Витюлей нежились на берегу Алексеевского водохранилища. Невдалеке от нас принимали солнечные ванны три хорошенькие девицы. Мы играли в карты, и девицы играли в карты. Мы поглядывали на девиц, и девицы поглядывали на нас. Самым представительным в нашей триаде был Виталик: он раньше всех начал бриться, раньше всех оформился как мужчина и обладал бархатистым и очень интимным баритоном. Когда мы созрели познакомиться с соседками, вопрос «кого делегировать?» не стоял. Виталий Григорьевич уверенно подошёл к хорошеньким и так же уверенно произнёс:

– Родные, не хотите ли составить нам компанию в карты или насладиться общением?

Девушки захихикали и стали переносить вещи...

Через пару дней нас с Лёшкой снова занесло на тот же пляж и на ту же подстилку. Мы снова играли в те же самые карты, а возле нас загорали две пляжницы с вопиющими формами.

Предшествующий опыт запудривания мозгов не мог не побудить в нас желания познакомиться с новыми жертвами нашего неотразимого мужского обаяния. Мы бросили монетку, и миссия отсутствующего третьего выпала мне. Я удивительно спортивно и лихо подрулил к девицам и произнёс, как мне тогда показалось, виталиковским баритоном:

– Девушки! Давайте сдвинем подстилки и познакомимся!

Подружки на секунду оторвались от карт и в унисон пропели:

– Пошёл на х...й!

Мне было стыдно дословно процитировать Лёше форму отказа, и я соврал, что девушки ждут своих парней.

Ещё приблизительно пять минут мы понаслаждались солнцем, собрали манатки, и я потащил друга в указанном девицами направлении.

Тогда я понял, что жизнь состоит не только из взлётов.

* * *

В нашей семье, как и в большинстве еврейских семей, вопрос «куда идти работать после школы?» никогда не стоял. В нашей семье, как и в большинстве «наших» семей, стоял вопрос «куда идти учиться?». Мои родители пытались прочесть в глазах своего единокровного воплощение своих же несостоявшихся мечтаний. Причём, круг их ограничивался двумя очень национальными профессиями: профессией музыканта и профессией врача.

Я никогда не учился в музыкальной школе и представить себе не мог, как можно разрезать живого человека. Помыслы мои были загажены низменной и мало оплачиваемой профессией актёра.

Вместе с тем, дефицит характера, как в те далёкие пламенные годы, так и в нынешние вялотекущие, никогда не позволял мне, гад, принимать кардинальных решений. Всю жизнь я искал причины и всю жизнь пренебрегал возможностями. Вот и теперь: под предлогом «непричинения неудобства родным и близким» я пошёл по пути наименьшего сопротивления и, имея за душой «Свидетельство» об окончании художественной школы, отправился испытывать судьбу в архитектурный институт.

Без ложной скромности должен вам заявить, что рисовал я неплохо. На экзамене я так лихо изобразил слепого грека Гомера, что мне с испугу поставили за него отличную оценку. Ещё по двум предметам я «прицепом» получил «четыре» и «пять».

И вот в этот удивительно благоприятный момент абитуриент архитектурного факультета во мне скончался. Я гордо проигнорировал последний экзамен и без зазрения совести соврал родителям, что засыпался.

В этот пиковый момент во мне проснулся бес лицедейства. Хотя, скорее всего, он и не засыпал. Он просто выжидал удобного случая и засандалил мне под дых, как только я расслабился.

Поступил я более чем неразумно: вступительные экзамены в театральные ВУЗы благополучно завершились месяц назад. Что мне оставалось делать? А ничего: идти работать на авиационный завод. Почему на авиационный? Потому что «мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

На авиазаводе работал мой папа. По блату меня взяли разметчиком-плазовым. «Разметчик» – это человек, который размечает, а «плаз» – это такая плоская железка, на которой вычерчены детали самолёта.

Целый год я активно развивал советское самолётостроение и не менее активно готовился «в артисты»: посещал народный театр, штудировал умные книжки и изучал творческое наследие корифеев сцены.

Судя по всему, эта свербинка сильно отличала меня от всех остальных разметчиков-плазовых. Иначе чего бы было моему приятелю Витьке Лыкову писать такое высокоштильное стихотворение:

Он статен и хорош строеньем,
Красив, в искусстве знает толк,
У всех он поднимает настроенье,
А с женщинами он – матёрый волк...
Вы скажете: «Видали мы таких!»
Ан нет! Эр-ршите запретить!
Он здесь единый, неприкосновенный...
И вообще, домой пора иттить.

Помимо устремлений эстетических, я не терял надежды решить и свою основную этическую проблему. Подстёгиваемый лыковской фразой «а с женщинами он – матёрый волк», я настойчиво пытался стать мужчиной.

Очередным объектом моих сексуальных вожделений стала девушка с русским именем Татьяна и армянской фамилией Тер-Осипян. Притягательная смесь Кавказа и Центрального Черноземья отличалась тем, что других зон, кроме зон эрогенных, на её теле не было.

На её глянцевых, уходящих в бесконечность ногах хотелось спать, на её грудях хотелось жить, а её мокрые губы хотелось есть, как бифштекс с кровью.

Татьяна пахла женщиной. Татьяна была развратна. В Татьяне было сто восемьдесят сантиметров росту при семидесяти килограммах живого тела. И я мечтал, чтобы именно она лишила меня невинности.

Существовала, правда, одна маленькая загвоздка: Танюша была невестой. Она собиралась замуж за курсанта лётного училища Серёжу. Причём загвоздкой это было отнюдь не для Танюши – её любви хватило бы и на двоих, и на троих.

И третий таки был. Третьим был Лёшка.

Целых два дня бедная девушка не могла решить, кого из нас она любит больше. Целых два дня мы гуляли втроём, и Танина головка, как на шарнирах, вертелась то влево, то вправо. Целых два дня мы с Лёхой деликатничали, кивали друг на друга и начинали тихо ненавидеть соперника.

На третий день в наши отношения бесцеремонно впёрся случай: мы с Танюшей оказались вдвоём у меня дома.

...На сковородке шкворчало подсолнечное масло. На проигрывателе хырчала старая пластинка. Я жарил картошку. Таня танцевала под «Весёлый вечер» Александра Наумовича Цфасмана. Я на кухне. Она в гостиной.

...Огонь выключился, и картошка перестала шкворчать. Музыка кончилась, но проигрыватель продолжал хырчать. Я пошёл в комнату, чтобы переставить пластинку.

Но не дошёл. Потому что, проходя мимо спальни, я увидел на белых простынях родительской кровати смуглое и совершенно голое женское тело. У меня перехватило дыхание. Я подумал: «Вот оно!», но сказал абсолютно противоположное:

– Тань, как тебе не стыдно! Ты же невеста...

Танюша медленно прошлась рукой по всем своим бугоркам, согнула ногу в колене и скользнула подрагивающей ладошкой туда, внутрь бедра, где чёрные колечки волос безуспешно борются со срамом.

Мои коленки подкосились, затем спружинили, и я, как шимпанзе, одним прыжком вскочил в постель. Она быстро и умело стащила с меня одежду и мгновенно поставила на шее огромный засос.

Мы целовались так, будто губами пытались выхватить друг у друга лопнувший, исходящий соком персик. Своими острыми и длинными ногтями она царапала мою спину, а я постанывал от боли и от желания и мял её груди, её выпуклый зад, её живот, её ляжки... Я мял её всю, словно у меня было сто рук. Мои наглые пальцы судорожно вошли во что-то странное и запретное, Татьяна басом выдохнула: «Да!» – и в тот же миг откуда-то извне раздался щелчок.

«Мама!» – подумал я и упал с кровати.

Натягивая на себя разбросанные по комнате шмотки, я в запарке вместо своих семейных трусов надел Танюшины кружевные трусики. Она расхохоталась, а я, продолжая засупониваться, бегал от двери к постели:

– Ужас! Какой ужас!

Когда первый испуг прошёл, я глянул в глазок и понял, что за дверью никого нет. Я вернулся в спальню и спросил:

– Что это было?

Таня потянулась и очень ехидно ответила:

– Проигрыватель выключился.

...Она по-прежнему лежала посреди кровати, а я сидел на краю и соображал, что делать. Её нога почухала меня по спине. От прикосновения я снова завёлся и теперь уже стал раздеваться сам. Татьяна остервенело вцепилась губами в моё ухо, и я взвыл от счастья. В ту же секунду, сквозь собственный вой, я услышал, что зазвенел дверной звонок.

Как ужаленный, я снова стал натягивать то, что успел снять, а Танюша не отпускала меня и шептала:

– Не открывай, иди ко мне, я тебя хочу...

Я, как полный балбес, всё же напялил на себя рубашку и брюки и подбежал к глазку. На лестничной клетке стояла соседка. Я зачем-то открыл дверь. Соседка спросила, дома ли мама и ещё минут десять жаловалась на своего мужа-алкоголика. Когда дверь за нею захлопнулась, я почувствовал, что проголодался.

...Мы сидели на кухне и молча ели жареную картошку. Танюша была завёрнута в одеяло. Она потянулась за хлебом, край одеяла слетел, и на меня уставилась аппетитная грудь с выпуклым коричневым глазом. У меня пропал аппетит.

Скатившись на пол, мы принялись за дело с новым воодушевлением. Пошла третья попытка. Моя голова билась о дверной косяк, а нога повалила мусорное ведро. Я уже по-взрослому почувствовал что-то влажное и тёплое, внутренний голос уже

поздравил меня с первой победой, гордость уже обуяла меня с ног до ушей...

И вдруг девушка сбросила с себя моё волосатое тело и быстро встала на ноги. Я попытался вернуть её в исходное положение, я практически повис на ней и тут с ужасом услышал:

– Ключ... Кто-то идёт...

Пришла мама...

Следующие несколько дней я мучительно остывал. Я готов был броситься на каждую встречную особь женского пола. Встречные же особи, в свою очередь, смотрели на меня исподлобья и, поравнявшись, заметно ускоряли шаг.

Ночами я забывался одним и тем же сном: мне мерещилась голая Танюша в фате, лежащая на кровати моих родителей. Я кидался к ней, срывая с себя одежды, но обнаруживал вместо неё в постели жениха Серёжу в генеральской форме.

Через месяц мы гуляли на их свадьбе. Я выпил много водки. Помню табачный дым, женскую туфлю с «Шампанским», дёргающихся потных тёток и пьяный Танюшин голос:

– Почему не кричат «Горько!?» Горько! Го-о-орько! Го-о-орько!..

А между тем, мои трудовые будни продолжали течь.

Они текли и они текут абсолютно параллельно течению моей жизни, а я – несчастный троечник – до сих пор наивно полагаю, что две эти параллельные прямые когда-нибудь сойдутся.

Мои трудовые будни текли аж до самого лета. В июне мы поехали в колхоз.

Сельскохозяйственные работы никогда не были приоритетным направлением моей разнообразной деятельности. Злополучную сурепку я выгребал, стоя перед ней на коленях, и в то время, когда соседи по рядкам были уже в конце поля, я едва-едва доплетался до половины. Душевные заводские комсомолки взяли надо мной шефство.

Душевнее всех оказалась комсомолка Надя. Она так самоотверженно взялась за дело, что мы подружились. Вот так, день ото дня, прямо на колхозной ниве, наша дружба перерастала в «отношения», и мы стали встречаться.

По собственной моей классификации, Наденька принадлежала к категории девушек, в которых влюбляются, но с которыми не спят. Почти сразу она предупредила меня, что невинна и до замужества не собирается избавляться от этого недостатка.

Однако же, когда я дотрагивался до неё, она мелко дрожала; когда на местной «дискотеке», под «Танец с саблями» Арама Ильича Хачатуряна, мы танцевали медленный фокстрот, её тело трясла тропическая лихорадка; когда я её целовал, она вибрировала, как отбойный молоток.

Мы возвращались в общежитие с синими губами, отходили ко сну в абстинентном ознобе и изо всех сил оберегали Надюшину девственность.

Надо сказать, что заводские ребята не исповедовали моих моральных принципов. Каждый день перед сном у меня выпытывали, на какой стадии находятся наши отношения, и я каждый раз разочаровывал их нашим с Наденькой целомудрием.

Случилось как-то мужичкам чрезмерно попить водки, и их потянуло на подвиги. В этот момент им подвернулись мы с моей подружкой.

Спервоначалу пьяные работяги принялись подъезжать к девушке с устными сексуальными предложениями, а затем нагло и недвусмысленно полезли под юбку. Этого я и вовсе выдержать не мог. Я встал на защиту невинности. Мужички удивились, но лапать Наденьку не прекратили. Я полез драться. Меня скрутили в одну секунду, но бить не стали. Кессонщик Быця достал из-за пазухи бутылку самогона, ткнул ею мне в рожу и сказал:

– Еврей, ты не прав! Надьке не вдул и с нами не бухаешь! Если сам выжрешь «ноль семь» и сам дойдёшь до общаги, мы вас отпустим. Но если завтра Надюхе не засадишь, я ей сам засажу!

Перед входом в общежитие была вырыта канава. Через канаву была брошена узкая доска.

Я залпом выпил самогонку, прошёл по дощечке, практически на руках у девушки ввалился в дверь – и умер.

Не думаю, что угроза Быци была реальной, но только Наденька сделала вид, что сильно испугалась. Для начала она попросила меня клятвенно пообещать, что я не отберу у неё того «единственного богатства, которое при других обстоятельствах жизни (она) была бы счастлива вверить (мне) в вечное пользование». Я ответил, что «в жизни своей не обманул ни одной женщины» и, что «чистота (её) служит порукой моей мужественности».

Тогда Надюша взяла меня за руку и увела далеко-далеко от общежития. Там среди бескрайних сельскохозяйственных угодий колхоза имени «Шестой Пятилетки» мы завалились в высокую, неправдоподобно мягкую траву и до бесконечности купались в её мохнатой шевелюре.

Я исследовал каждый клочок Наденькиной анатомии и открыл ей самые стыдные секреты моей физиологии. Я обцеловал и обнюхал каждый волосок на её коже, а она замесила и взбила каждую песчинку моего тела.

Мы выли, и скулили, и плакали. И она вдруг разбрасывала ноги и умоляла, и хватала эту огнедышащую чурку, и обжигала об неё ладошки, а я выворачивался, я отползал, и меня распирало от собственного благородства. А она стонала и выгибалась, как Горбатый мост, и нас снова бросало друг к другу, и мы катились по оплодотворённой земле, и Кхаджурахо поспешно высекал наши горельефы на своих стенах...

Мы возвращались рука об руку, с лоснящимися физиономиями, порочные и целомудренные.

Работяги постеснялись задавать вопросы. Перед сном ко мне подошёл кессонщик Быця и, присев на край кровати, сказал:

– Ты знаешь... Ты завтра, наверное, на прополку не ходи... Я договорюсь. Ну, в общем... Отдыхай, мужик.

Закончился колхоз, пролетел июнь и пришёл июль. Вместе с июлем пришли отборочные туры, собеседования и вступительные экзамены в театральные институты. Пришло время судьбоносных решений.

Самый простой способ получения информации – это выхватывание её со вторых рук. Удобнее всего от кого-то прослышать, где-то прознать или что-то пронюхать. Большинство населения пользуются именно этим способом: читают книги, которые кто-то посоветовал прочесть, покупают вещи, которые кто-то уже носит, произносят слова, заимствованные из чужого лексикона и проживают жизнь, не подозревая, что это слепок чужой судьбы.

Я принадлежал к большинству. Хотя, слава Богу, моими «первыми руками» были приличные люди.

А приличные люди поступали в Вахтанговское училище.

И они, ну, буквально, ну... не оставили мне выбора.

Но вот чем страдает косвенная информация, так это тем, что она обычно запаздывает. И, успев разобраться по сути, ты часто не успеваешь в срок: на вступительные экзамены я опоздал. Я приехал в самый последний день отборочного тура. В день, когда закончились основные прослушивания, когда толпа желающих податься в артисты своей громадностью подтверждала самые фантастические слухи про «пятьсот человек на место», и когда адреналин всех абитуриентов Москвы завис над Белокаменной здоровенной рябой тучей, готовой сорваться тебе на голову ливнем из чугунных болванок.

Я понял, что пролетел. Я уже готов был пустить слезу, но тут над площадью прогремел поставленный женский голос:

– Осетинская студия, подойдите ко мне!

Я очень быстро сообразил, что это мой единственный шанс и стал протискиваться сквозь толпу. Я собрал всё своё умение говорить с кавказским акцентом и возник перед входной дверью полным и законченным осетином.

Меня уже запустили внутрь, уже провели по коридорам, уже подвели к заветной двери...

И тут сопровождавшая нас грузная дама достала чёрный «список». Она перечислила всех моих коллег-осетин, затем поглядела на меня и строго спросила:

– А Вы кто? Осетин?

Я произнёс самую нелепую фразу, которая только могла прийти в голову:

– А вы что, принимаете в артисты по национальному признаку?

Женщина задвигала желваками, но от физической расправы удержалась; ещё несколько секунд пошуршала бумажками и выдавила из себя:

– Как зовут?

Я сказал.

– Странно, – удивилась дама.

И внесла меня в список.

Прослушивание проходило в катастрофически маленькой и узкой комнатушке. В одном торце её стоял стол, за которым спали преподаватели, в другом – два высоченных шкафа. Пространство между шкафами служило сценой. На этих «подмостках» соискатели должны были являть своё искусство высокой комиссии.

Два преподавателя спали очень реалистично – склонившись над столом и подложив под головы руки. Третья – по всей видимости, лаборантка – записывала наши данные.

Когда она спросила мою фамилию, я внезапно жутко разволновался. Я очень широко раскрыл рот и, чётко артикулируя, назвался. Однако, договорив, понял, что не издал ни звука. Девушка это тоже поняла и попросила повторить погромче. Я повторил настолько громко, как мог. Оба преподавателя проснулись от моего ора и уставились на горлопана недобрыми глазами. Я потерялся окончательно.

Это был действительно полный крах. У меня из головы начисто вышибло все произведения, готовившиеся долгими и упорными репетициями, и я стал читать какой-то бред, который едва помнил. Преподаватели, убаюканные моим бездарным чтением, снова уснули.

Домой я вернулся в больших зелёных соплях.

Незадолго до моей поездки у нас с Лёшкой состоялся серьёзный и принципиальный разговор. Я поделился сомнениями по поводу собственного предназначения. Лёха выслушал меня внимательно и сделал вывод, который прозвучал, как приговор. Это была цитата, если не ошибаюсь, из «Утраченных иллюзий» Бальзака:

– Поэтическая натура, но не поэт.

Первым, что я вспомнил после неудачного поступления, была эта фраза. Она застряла у меня в мозгах, как кусок мяса в больном зубе. Она застряла, как говаривал Ильич, всерьёз и надолго.

«Поэтическая натура» поставила крест на своем актёрстве и вновь подалась в архитекторы.

Памятуя прошлогодний опыт, я пошёл на экзамен по рисунку с «лёгкостию необыкновенной». Голова слепого пиита Гомера, которую, по роковому стечению обстоятельств, мне вновь выпало рисовать, не оставила камня на камне от утверждения, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Автора «Илиады» и «Одиссеи» я изобразил настолько достоверно, что постыдился, что до сих пор не прочёл его гениальные книги.

Через день я пришёл за законной «пятёркой».

В списке напротив моей фамилии стояло «неудовлетворительно».

Это было полнейшей неожиданностью, как для меня, так и для моих родителей. Мы совершенно искренне решили, что про-

изошло какое-то недоразумение. Из недр родственных связей мы вычислили дальнего родственника – архитектора по специальности – и уговорили его пойти разобраться.

Родственник-архитектор выполнил нашу просьбу. Пообщавшись с приёмной комиссией, он встретился со мной и сказал:

– Ты поставил меня в неловкое положение. Мне показали твой рисунок. У тебя Гомер не похож на Гомера. Твой Гомер похож на слепого Карла Маркса.

Тогда я вынул из папки наброски, среди которых был и портрет гениального грека. Родственник крайне удивился. Родственник констатировал:

– Тот портрет сделан не этой рукой... Может быть, перепутали? – и снова пошёл на кафедру, прихватив для убедительности мои эскизы.

В институте работал его бывший сокурсник. Разговор с ним был коротким и недвусмысленным:

– ...«пятая графа»... Ты ж знаешь, у меня все друзья – евреи... В прошлом году он был практически один. А в этом... Они как с ума посходили: половина абитуриентов – Коганы, Шифманы и Финкельштейны. Ну, не повезло... Сам понимаешь... Извини...

С глубокого детства я знал, что есть такие несчастные и невежественные люди, которых называют «антисемитами».

Я также понимал, что в обществе есть такое прискорбное явление – «антисемитизм».

Однако я был убеждён, что никакой антисемитизм не в состоянии перешибить истинные знания и истинный талант. Если они наличествуют – это единственный весомый аргумент для любого бедняги-антисемита.

Несостоявшееся тогда студенчество поставило меня перед дилеммой: то ли у меня резкий дефицит таланта, то ли в стране переизбыток антисемитов.

И я решил: поживём – увидим.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

– Здравствуйте, товарищи солдаты!
– Здравия желаем, товарищ генерал!
– Ох, и вонища тут у вас...
– Ура! Ура! Ура!

Из анекдота

Вы видели когда-нибудь нормального человека, добровольно пришедшего в военкомат и попросившегося в армию в мирное время? Спрашиваю дальше. Видели ли вы когда-нибудь еврея, добровольно пришедшего в мирное время в военкомат и попросившегося в пограничники? Вот! Я не сомневался.

Военком московского района тоже не видел, поэтому в пограничники меня не определил. Он решил, что я буду более полезен в «войсках ПВО родной страны».

Удивительно высокохудожественные стихи написал про эти войска майор еврейской национальности с лаконичной фамилией Шварц:

Пусть паутину войн плетут
Стратеги натовских штабов!
Их уничтожат, их сожгут
Ракетным залпом ПВО!

Интересно, где сейчас майор Шварц? И майор ли он? И еврей ли он?

Областная комиссия.

Врачи.

Женщины-врачи.

Молодые женщины.

К молодой женщине-хирургу подходят совсем молодые и зелёные призывники. Они стягивают перед её влекущим взором трусы и выставляют на ощупывание пенисы и мошонки. Вот уж действительно:

– Я их столько повидала, меня ничем не удивишь!

Но призывники об этом не знают. Вернее, не догадываются. Для каждого это впервые, для каждого это вновь, для каждого это – любовь.

Среди всей этой зелени – один зелёный до прозрачности. Будущий боец – полтора метра ростом. Наверное, будет танкистом. «Беспокойное хозяйство» с нижней отметкой в районе колен.

Он подходит к молодой женщине-врачу, сначала синеет, потом краснеет, потом багровеет. Лицо женщины невозмутимо, только левая бровь, непослушная бровь, лезет вверх и вверх. Рука дотрагивается до мошонки как-то не так, как-то иначе. Ну что делать? Не каждый день встречаются столь удивительные пропорции.

Чувственный допризывник, ощутив прилив крови в местах не столь отдалённых, совершенно не сумел совладать с природой. Его детородный орган медленно и неуклонно пошёл вверх. Вероятно, это движение спровоцировала бровь докторши.

Что делать? Опытная женщина отправила член молодого человека под холодную воду, куда он и повёл своего хозяина. Под потоком холодной воды и железной воли пенис вернулся к колену, а допризывник к докторше. Оба решили, что инцидент исчерпан. Однако не тут-то было.

Докторша, вероятно пытаясь не повторить предыдущего промаха, дотронулась до мошонки с новым чувством. Эта новизна заставила аппарат с таким же новым чувством, но с большей скоростью вновь подняться за бровью.

И снова холодная вода, снова усилие воли.

Эта «любовь» повторялась ещё и ещё, и таки нашла своё логическое завершение. В очередной раз, когда рука докторши потянулась к гениталиям, произошёл скандал. Неуправляемый член буквально вскочил, и под напором критической массы и нескольких лет воздержания вперемежку с мастурбированием семя обильным потоком хлынуло в лицо – красное от волнения лицо молодой женщины, и тысячи сперматозоидов побежали по нему в поисках яйцеклетки.

Теперь под холодную воду побежала докторша. Она мыла лицо в полной тишине, потому что сотни призывников молчали, затаив дыхание. Они боялись нарушить таинство. Таинство первой любви.

* * *

Мы ехали в плацкартном вагоне по девять человек в купе. Спали на трёх полках. Сало, колбаса, цыплята, яйца, самогон и анекдоты. Такого количества анекдотов я не рассказал за всю свою жизнь. Пять суток от подъёма до отбоя я травил анекдоты. Постепенно в нашем купе сосредоточились все молодые бойцы. Я стал любимцем публики.

К концу шестых суток запас анекдотов постепенно иссяк, и я вспомнил, что мечтаю быть артистом.

Шестой вечер был театральным. Я знакомил подельщиков с творчеством Зощенко, Бабеля, Чехова и Пушкина. На закуску я решил выступить с пародией на Авдотью Никитичну и Веронику Маврикиевну. Вероятно, я был первым, кто поместил этих забавных старушек в компанию классиков.

Происходило это в районе отбоя.

В десять часов сержант громко попросил из своего купе, чтобы выключили радио. Представляете, он подумал, что это радио! Он меня не узнал. Ну, как бы вы отреагировали на это невольное признание недюжинного таланта? Я отреагировал так же. Я продолжил с новой силой и с новым вдохновением.

Сержант повторил просьбу более настойчиво. Я воодушевился ещё больше. Сержант пошёл по вагону. Бойцы ржали, как педальные кони. Я продолжал. Я предвкушал радость признания глаза в глаза.

И они встретились. Наши глаза.

Сержант отреагировал неадекватно. Сержант обиделся. Очень обиделся. Наверное, впервые в жизни он почувствовал себя идиотом.

Под смех всего вагона я был отправлен «на полы». Я вылизал до блеска плацкартный вагон.

И если вы думаете, что это отбило у меня охоту к актёрской профессии, так вы ошибаетесь. Наоборот. Я понял, что это судьба. Полы и театр. Театр и полы.

И не ошибся.

* * *

Портянки, это механическое приспособление для утепления стоп. Выдаются солдатам по количеству ног (обычно две).

Из письма Гены Микитянского

Служить меня определили в страшно секретный город Приозёрск, которого нет ни на одной карте, из которого рукой подать до станции Сары-Шаган, которая, в свою очередь, находится недалеко от города Балхаш, который является районным центром Джезказганской области, которая раскинулась на необъятных просторах Казахстана, который занимает значительную часть азиатской территории бывшего государства рабочих и крестьян.

Приозёрском город назвали потому, что стоит он на озере Балхаш, половина воды в котором солёная, а половина пресная. А сам Приозёрск отличается от других городов тем, что это военный город, и солдаты в нём ходят по улицам, постоянно держа раскрытую ладонь у виска. То ли честь отдают, то ли напоминают офицерам о скудости ихних офицерских мозгов.

Загадочные люди эти солдаты.

Каждый советский школьник знает, что такое «карантин». Это когда не нужно ходить в школу.

Каждый советский отпускник также знает, что такое «карантин». Это когда запрещают купаться в море, а отдыхающие всё же купаются, несмотря на холеру.

Каждый советский новобранец тем более знает, что такое «карантин». Это когда еб...т.

В течение первых нескольких минут пребывания в «Несокрушимой и легендарной» нас обрили наголо лезвием «Нева» для технических нужд. А поскольку брили и стригли всех одним и тем же лезвием, мы автоматически породнились кровью.

В течение следующих пятнадцати минут приблизительно шестьдесят новобранцев выкупались под одним-единственным душем.

После этого нам сказали, что мы прошли санобработку, и выдали обмундирование.

Затем нас, чистых, исцарапанных и патриотичных, выстроили на «центряке». В каждой казарме есть «центряк», то есть центр, то есть место, где происходят построения.

Старшина карантина был на год старше самого младшего из нас, но нам казался сорокалетним мужиком. Он грязно выругался, обидно обозвал нас «молодыми», скомандовал «равняйсь, смирно» и спросил:

– Кто играет на гитаре?

Тут же практически весь карантин выставил вперёд левую кирзовую ногу. И напрасно. Потому что «гитарой» в этих краях называлась щётка для натирания полов. Устройство её было

несложным: толстое бревно с набитыми снизу щёточками и рукоятка. Для большей эффективности на гитару вешали обычно гирю шестнадцати или двадцати четырёх килограммов. Одна проходка такой «гитарой» через «центряк» называлась «туром балхашского вальса».

Однако вернёмся в строй. Уже упомянутый розоволицый старшина улыбнулся во весь кариес и оглядел гитаристов. Гитаристы улыбнулись в ответ и приняли стойку «вольно». Старшина улыбнулся ещё шире и очень тихо сказал:

– Смирно, бл...дь!

Карантин испугался.

Старшина ткнул пальцем в нескольких «гитаристов»:

– Вы будете ансамбль, а ты, – он посмотрел на еврейский нос рядового Димы Иткиса, – ты будешь солистом.

За один тур «балхашского вальса» Дима Иткис похудел на пять кило и обильно оросил «центряк» собственным потом.

Но в тот момент я не обратил на это особого внимания. Я был очень занят: я радовался. Я радовался тому, что поскромничал.

Но радовался я недолго.

После нескольких туров старшина сделал серьёзное лицо и доверительно прошептал:

– Кто не играет – шаг вперёд.

Я играл, но плохо. Но я не вышел в первый раз, поэтому, преодолев угрызения совести, шагнул навстречу судьбе.

Старшина одарил нас той же кариесной улыбкой и продолжил:

– А вас научим.

Затем мы встретились с ним глазами, и он сказал:

– Ты будешь первым!

Вероятно, в тот момент он ещё не догадался, что я уже второй.

* * *

Знаете ли вы, глубокоуважаемые неевреи, что такое «еврейское счастье»? Это термин, который придумали мои соплеменники вместо слова «несчастье». Почему? А почему бы и нет?

Когда старшина карантина громко скомандовал: «Отбой!» – я подумал: «Вот и закончился мой первый день в армии».

И ошибся. Жестоко ошибся.

Место в казарме, где спящих солдат не тревожат соловьи, называется «кубрик». В кубрике в два яруса стоят койки.

Меня определили спать на первую койку нижнего яруса.

Когда старшина скомандовал «Отбой!», я разделся, как мне показалось, со скоростью звука, вскочил под одеяло и мгновенно заснул.

Спал я ровно секунду. Потому что ровно через секунду меня разбудил крик:

– Рота, подъём! Сорок пять секунд – одевайсь!

Карантин вскочил, кое-как натянул на себя непривычное казённое обмундирование и замер возле коек.

Старшина снова скомандовал:

– Отбой! Сорок пять секунд – раздевайсь!

...Таким манером нас «отбивали» около часа. Мы успели раздеться и одеться раз пятьдесят. Когда ни у кого уже не было сил, старшина тихо сказал:

– Отбой. Пиз...ец.

Бойцы улеглись, но спать никто не мог. Скрипнула чья-то койка. Старшина зловеще прошептал:

– Спать, бл...дь!

Скрип повторился.

Старшина не любил скрипа. Скрип его раздражал. Поэтому он заорал:

– Ноги пистолетом! Пресс держать!

Измученные и уставшие бойцы подняли ноги «берёзкой».

Я выдержал немного. Через минуту мои ноги стали неотвратимо идти вниз. Я оглянулся на остальной кубрик и обнаружил, что все лежащие на нижних койках держатся пальцами ног за пружины верхних. Я, естественно, сделал то же самое.

В ту же секунду из-за поворота вынырнул сержант. Он увидел только меня. Меня одного. Теперь вы понимаете, что такое «еврейское счастье»?

Сержант разулыбался кровожадной улыбкой и отправил меня на верхний ярус. Дальше начался отбой-подъём для отдельно взятого индивидуума. Я прыгал с койки и на койку ещё около часа. Я собственной шкурой ощутил, что произошёл от обезьяны. Это продолжалось до тех пор, пока у меня не началась дрожь в коленках.

Говорю об этом безо всякой иронии. Я просто не мог поднять ногу. Не мог физически. Вся эта «гимнастика» сопровождалась таким отборным тихим матом, что у меня устали уши.

Через час утомлённый сержант отправил меня под душ. По дороге я подумал: «Кажется, отмучился...»

И ошибся второй раз.

После водных процедур сержант завёл меня в Ленинскую комнату и спросил фамилию.

Я сказал.

Он задумался. Он крепко задумался. Он посмотрел на меня долгим сочувственным взглядом. Он посадил меня за стол, а сам сел напротив. Он сказал:

– Ну, ничего.

Я сказал:

– Так точно.

Он сказал:

– Понимаешь, есть евреи, а есть жиды. У меня сосед – еврей. Человек. Мы с ним знаешь, как живём?! А жидов я, бл...дь, ненавижу. Вот ты вроде как еврей. Твоё счастье.

Так вот я и спрашиваю: знаете ли вы, глубокоуважаемые неевреи, что такое «еврейское счастье»? Нет?

А сержант карантина, видно, знал.

* * *

Русский: У нас в армии был еврей-генерал!
Еврейка: Ну, и?..
Русский: Ну, – генерал…
Еврейка: Ну и что?
Русский: Ну, еврей-генерал!!
Еврейка: Ну, так что?!
Русский: Ну, он был хороший человек…

Из разговора в очереди
за израильской гуманитарной помощью

Сны я вижу крайне редко. Та первая ночь в армии была исключением.

Мне приснился человек с густой чёрной бородой, длинными вьющимися пейсами, большим семитским носом и с ермолкой на макушке. Одет он был в форму сержанта Советской Армии. Раввин-сержант стоял посреди казармы и протяжно пел:

Жи-и-ды-ы! По-одъё-ём!
Жи-и-ды-ы! О-отбо-ой!
Я из вас, пархатые, сде-елаю евреев!

Было холодно. На нас были гимнастёрки и зимние шапки с кокардами. Мы маршировали «на месте» перед входом в столовую. На крыльце стояли старослужащие из автополка. Их забавляли наши телодвижения. Они ржали и переговаривались. Стоял гул.

…Вначале я подумал, что мне это послышалось. Второй раз я услышал это явственно и стал искать глазами источник. Наконец я увидел: на ступеньках среди гогочущей шоферни стоял стопроцентный еврей в форме рядового Советской Армии. Сложив руки рупором, он кричал, глядя на меня:

– Аид? Ты – аид?

Расталкивая локтями всех подряд, он подбежал ко мне и спросил, глядя в упор:

– Аид?

Я опасливо огляделся по сторонам и выдавил из себя:

– Да-а…

Так произошла наша встреча с луганским (ворошиловградским) евреем, крупнейшим фармазоном города Приозёрск, ротным писарем автомобильного полка Якубом Максовичем Вайсбергом.

Это был самый независимый еврей из всех, которых я знал. Он не только не стеснялся своего еврейства, он гордился им, он нёс его, как знамя, и все встречные уступали дорогу этому правофланговому сионизма, этому символу иудейства, потому что у нас больше всего уважают символы, лозунги и призывы. Якуб Максович умудрялся даже в далёком военном городе обеспечивать себе достаточно комфортное существование, почти ни в чём не отказывать и смотреть на мир глазами сво-

бодного человека. Мне казалось, что он сконцентрировал в себе весь многовековой опыт оптимизма и гениальной приспособляемости народа, к которому имел честь принадлежать.

И этот столп советского еврейства взял шефство надо мной – стеснительным жидёнком, брошенным под колёса советской же военной машины. Когда он заходил ко мне в роту, все как-то примолкали. Я делился с ним самым сокровенным, а он давал мне советы, как ребе незадачливому еврею. Помогали они мало, но внушали оптимизм, и я ждал прихода Якуба Максовича почти как демобилизации.

Попав в город Приозёрск, Якуб Вайсберг первым делом выяснил, какие слабости имеют несгибаемые советские офицеры. Поняв, что они неумеренно потребляют алкоголь, испытывают патриотические чувства к игре под названием «футбол», иногда кладут глаз на женщин и всем азартным играм предпочитают преферанс, рядовой Вайсберг своим еврейским умом смекнул, за какие ниточки нужно дёргать. И дёргал.

Нуждающимся в алкогольном допинге он был прекрасным собеседником и на вопрос «Ты меня уважаешь?» неизменно отвечал:

– Так точно, товарищ подполковник (а то и полковник)!

Футболистов поражал точными прогнозами и меткими характеристиками игроков. Озабоченных сводил в нужное время и в нужном месте с аппетитными офицерскими жёнами, отправившими мужей на дальние площадки. У преферансистов умудрялся выигрывать так, что им не было обидно. Многие должны были ему, и он был должен многим. Подполковники и полковники просили у рядового Вайсберга отсрочки, а рядовой Вайсберг скрывался от других рядовых, которые хотели получить с него свои же деньги. Он ходил по городу без увольнительных и маршрутных листов. Патрули не трогали его, потому что были его должниками или собутыльниками. Он жил полноценной жизнью, он купался в ней, хотя был, безусловно, «белой вороной».

Якуб Максович говорил:

– Ты среди этих гоим пытаешься найти нормальных людей. Это заблуждение большинства интеллигентных аидов. Ты посмотри на них: они же все мишигены. И относиться нужно к ним, как к мишигенам. Тогда они, минимум, не будут тебя трогать, а максимум – будут ценить и уважать. Конечно, бывают исключения. Ну, так я тебе скажу, что эти исключения – тоже аиды. Только они об этом пока не знают.

Через год после моей демобилизации Якуб Вайсберг появился в нашем городе. Он снял шикарный номер в гостинице «Интурист» и закрутил какую-то немыслимую аферу с постельным бельём. Через неделю он занял у меня двадцать пять рублей и исчез навсегда.

Якуб! Где ты? Долг я тебе давно простил. Отзовись!

* * *

Ни в одном словаре великого и могучего русского языка не найти слова «шара». Ни Даль, ни Ушаков, ни Ожегов так и не сумели извлечь его из богатейших недр российской лексики.

Ни в одном памятнике классической русской литературы не найти также слова «халява». Ни Пушкину, ни Тургеневу, ни Толстому так и не хватило пороху начертать этот «вульгаризм» на собственных «скрижалях».

Но, как известно, «свято место пусто не бывает». Поэтому пытливый и ищущий русский народ, не удовлетворённый разнообразием родной речи, извлёк эти ключевые слова из глубин широкой славянской души и окрестил понятиями «на шару» и «на халяву» подлинную суть своей многоукладной жизни.

В городе Приозёрск Джезказганской области, куда я потащил за собой вас, мои утомлённые читатели, «шара» с «халявой» безжалостно вытеснили все прочие системы взаиморасчётов и конкурировали разве что между собой.

В этом благословенном городе был переизбыток дармовой рабочей силы. Только за то, чтобы не ошиваться в казарме, солдаты были согласны на любую пахоту, хотя бы отдалённо напоминающую вольную «гражданку».

Каждая воинская часть обслуживала несколько магазинов, кафе, ресторанов, универмагов, складов ликероводочных изделий и прочих стратегически важных гражданских объектов. Отдельный батальон охраны, в котором в должности старшего стрелка я готовил себя к ратным подвигам, шефствовал над гастрономом «Юбилейный». Все наши бойцы готовы были по первому требованию командиров и начальников выступить на защиту прав советского потребителя.

И выступали. Но делали это не из «любви к искусству», а из-за возможности разжиться (а правильнее было бы сказать «отвернуть») пачку печенья или вафель, банку сгущённого молока или какао, сигареты, а если сильно повезёт, бутылку портвейна «три семёрки» или «Каберне».

Двадцать седьмого марта, в День театра, мы с друзьями-однополчанами выполняли в «Юбилейном» ответственные погрузочно-разгрузочные работы. Упитанные продавщицы в изящных фартучках «божья коровка» подбадривали нас словечками, вроде «солдатики», «землячки», «сынки», «женихи» и «красавчики». Мы улыбались в ответ и исходили слюной по «любительской» колбасе по два восемьдесят и по «кильке в томате» по тридцать три копейки.

И уборщица Ядвига Сигизмундовна, и продавщицы, и завмагша, и взводные командиры, и комбат подполковник Мадьяров, и даже командир полигона генерал-полковник Сергиенко прекрасно понимали, что ни один солдат срочной службы не покинет стен магазина без отвёрнутой банки, пачки, коробки или бутылки. Это были законные трофеи, и отобрать их было так же

невозможно, как вырвать из пасти голодной собаки сладкую мозговую кость.

...Сначала запахло весной. Потом со стороны автополка принесло запах «сухой» картошки с сайгачьим жиром, и все поняли, что пришло время обеда. Мешки были свалены, ящики сложены, банки расставлены, а солдатские трофеи распиханы по карманам галифе.

И лишь один солдат никак не мог решиться украсть законную сгущёнку. Лишь одного солдата одолевали чуть ли не гамлетовские сомнения. И этим солдатом был я.

Но колебался я не потому, что не мог украсть в принципе. Украсть я мог. Я колебался потому, что ещё никогда не воровал в День театра.

Мы уже вышли из подсобки, уже поднимались по лестнице, уже шли через торговый зал, а совесть моя была так же чиста, как и карманы. В последний момент из-под вывески «Сыпучие товары» на меня надвинулась пирамида печенья со щемящим названием «Театральное». Я понял, что если сейчас захлебнусь слюной, то уже никогда не стану артистом.

Тогда я воровато схватил пачку, сунул её за пазуху и оглянулся. И – о, ужас! Ехидно улыбаясь, на меня смотрели заплывшие жиром глаза заведующей.

...Меня били двенадцать сержантов во главе со старшиной. Чёртова дюжина. Били в Ленинской комнате, били ногами, били молча. У меня под гимнастёркой лежала пачка «Театрального» печенья, которую почему-то забыли конфисковать. Каждый раз, когда чей-нибудь сапог попадал в неё, я думал:

– Боже мой, точно поломают! Как же я это буду есть?

...Я скоблил лезвием писсуар, а стоявший у меня над душой дежурный по роте сержант Тимошенко стряхивал в бумажный кулёчек пепел со своей сигареты «Прима».

Товарищ сержант в высшей степени доброжелательно и рассудительно говорил:

– Я хотел бы внести ясность. Ты поимел не за то, что ты – еврей. Я подчёркиваю: не за это! И, конечно, не за то, что украл. Ты поимел за то, что попался.

Ночью после отбоя я поедал вынесенный из боя трофей. Я поедал его тихо, стараясь не хрустеть. Я тщательно перетирал языком обломки «Театрального» печенья и мечтал о театре...

* * *

Как-то по пьянке командир роты по кличке «Дядя» похвастался коменданту гарнизона по кличке «Панас», что у него появился хороший художник. Панас спросил:

– Ты мне друг?

Дядя ответил:

– А что?

Панас сказал:

– Одолжи мне на пару дней своего еврейчика.

Дядя поставил условие:

– С тебя бутылка.

Панас выставил две.

Так я попал в комендатуру. Мне предстояло выпиливать пенопластовый макет города Приозёрска.

Утром на разводе патрулей Панас, стараясь не материться, произнёс речь. Сказал он, приблизительно, следующее:

– Этот боец – мой человек. Командование поручило ему стратегически важное задание. Он имеет право беспрепятственно ходить по городу, смотреть, мерить, ну там, записывать... Что ещё? Да, в общем, всё, б...

Судя по тому, как патрули расшаркивались со мной при встрече, они подумали, вероятно, что я – замаскированный агент КГБ в звании не меньше капитана, совершающий инспекторскую проверку. На самом деле всё было значительно проще: я обмерял здания и улицы. Причём измерительным прибором мне служили ноги.

Я считал шаги.

За два дня я обсчитал треть города, но выпиливать домики так и не начал.

Зато я так понравился коменданту, что он пригласил меня столоваться у него дома. Каждый раз его жена – милая украинская женщина – наливала мне стопарь разбавленного спирта, и каждый раз Панас приговаривал:

– Дерябнем по граммульке

За здоровье моей мамульки!

Ночевал я в комендатуре в панасовском кабинете: спал на шикарном диване и смотрел цветной телевизор.

На третий день комендант меня в роту не отпустил. Он сказал:

– С Дядей я договорился. А ты пока, знаешь, по городу не ходи. Тебе ж есть что пилить, вот и пили.

И я пилил. Мне, правда, показалось странным, что Панас перестал приглашать меня к себе домой и привозил «термосочки» прямо в комендатуру. Но, с другой стороны, поступки командиров не обсуждаются, и я успокоился.

На пятый день я проснулся от ужасающего ора командира моей роты. Дядя кричал:

– Ёб...ый, ёб...ый! Если через двадцать секунд он не будет на разводе, я его объявлю дезертиром!

Ему вторил обстоятельный баритон полковника Опанасенко:

– Дядя, мы ж договорились. Я тебе и так вместо одной – две выставил. И ещё выставлю!

Но капитан Шемякин по кличке «Дядя» был непреклонен: к тому времени он решил завязать.

Меня вернули в роту. Следующие две недели к нам в часть каждый божий день приходили или сам Опанасенко, или его заместитель. Они требовали своего макетчика. Но Дядя не давал.

Он скрывал свой «золотой фонд». Он прятал меня в каптёрках, в батальонной библиотеке, в сушилке, в туалете...

Через две недели Панас перешёл в наступление.

«Гусиным шагом» возвращались мы с развода, когда на территорию гарнизона въехал комендантский «воронок». На бешеной скорости он подрулил к нашему строю и резко остановился. Из «Газика» выскочили заместитель коменданта и начальник «губы». Два здоровенных мужика, походя расталкивая всех, кто попадался им на пути, подбежали ко мне и, схватив в охапку, погрузили в машину.

Через пятнадцать минут я уже сидел в комендатуре и выпиливал домики. В обед меня навестил Панас. Он разложил на столе бутерброды и сказал:

– С тобой вопрос решён. Я посадил тебя на трое суток. Спокойно заканчивай макет. По городу будешь ходить с выводным. Надо будет, получишь столько «допов», сколько потребуется. Всё. Приятного аппетита.

И полковник Опанасенко выставил на стол бутылку.

Вечером офицерский патруль привёл в комендатуру пьяного капитана Шемякина. Он был схвачен перед входом в гарнизонную гауптвахту. Дядя размахивал пистолетом и кричал:

– Ёб...ый, ёб...ый! Отдайте мне моего бойца!

...Закончить макет города мне так и не довелось. По приказу Начальника Политотдела я был объявлен начинающим талантливым артистом и отправлен на гастроли в город Павлодар.

Через полгода после моей демобилизации в армию попал мой друг Лёшка. Рано утром за ним приехал участковый милиционер и не дал ему уклониться от почётной воинской обязанности.

По иронии судьбы, Лёха проходил службу в городе Приозёрске Джезказганской области. На Новый год от него пришла открытка:

«С Новым годом, воевода! Круг замкнулся. Успешно заканчиваю начатый тобой макет города».

* * *

Где вы теперь?
Кто вам целует пальцы?

Александр Вертинский

Когда я уезжал из родного города в далёкие казахстанские степи, мой дедушка был уже смертельно болен. Я не понимал этого, но чувствовал, что больше его не увижу. Уезжал я тринадцатого ноября, а тридцатого его не стало.

Мои родные боялись об этом сообщить. Три месяца они передавали приветы от деда, а деда уже не было. Я очень обижался, что он не пишет. Я говорил, что очень его люблю, я просил черкануть хоть пару слов, я, сам того не зная, по живому резал душу маме и бабушке. Через три месяца у них уже не было сил молчать. Через три месяца они написали правду. Всю правду...

Я любил его больше всех на свете. Я его боготворил. Он был достойнейшим и честнейшим человеком из всех живущих. Он светился интеллигентностью.

Когда он радовался, на его глазах выступали слёзы, когда ему было грустно, улыбка прорезала его лицо. Его рот улыбался, а глаза плакали. Когда-то он переболел «виттовой пляской».

Дед был круглый и лысый. В детстве у него была кличка «глобус».

Во время войны, в эвакуации, всё в тех же казахстанских степях, он искал бабушку и маму. Этот толстяк впервые сел на лошадь и проскакал зимой по целине многие сотни километров. Он нашёл их, потому что очень любил.

Дед был блестяще образован. Он знал несколько языков. Они переписывались с сестрой на английском, немецком и французском.

Моими первыми детскими стихами были:

Где вы теперь?
Кто вам целует пальцы?
Куда исчез ваш китайчонок Ли?..

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...

Меня положат в гроб фарфоровый
На ткань снежинок яблоновых...

Моими первыми детскими поэтами были Вертинский и Северянин. Их стихи дед помнил наизусть. Он читал Гумилёва, Сашу Чёрного, Ахматову... Он читал, улыбался и плакал. Он рассказывал, как видел живого Вертинского в клоунском наряде; как играл в карты со знаменитым Синельниковым; как пьяные бандиты-революционеры отобрали у него отцовский револьвер; как прадед его двадцать пять лет служил рекрутом в царской армии и как, вернувшись, получил право жить вне пределов «черты оседлости»; как его дед стал одним из самых богатых людей в городе... Он впитал в меня свою юность, он сделал меня своим другом, он раздвинул для меня границы времени.

Когда, еще младенцем, я спал в своём корыте, в своей колыбели, дед тихонько подкрадывался ко мне и, боясь даже дышать, произносил:

– Буба, Буба...

Он с первого дня караулил мои таланты. Он первым увидел, что я неплохо рисую, и повёл меня в художественную школу. Он подсунул мне первые в моей жизни книжки. Он почувствовал во мне актёрские задатки и трепетно отогревал мою душу.

Дедушкино имя и мамино отчество были разными. Разными были и их фамилии. Я никогда не придавал этому значения.

...В том письме мне написали, что дед был не родным моим дедом. Что настоящий мой дедушка давно умер. Что он был светлым и красивым. Но умер до того, как я родился...

...Я рыдал в тёмном зале... Я выл от безысходности в тёмном зале солдатского клуба, а на сцене стоял мой дед, мой родной, мой самый лучший... Он плакал и смеялся, он смотрел на меня безгранично добрыми, ясными глазами...

Он провожал меня во взрослую жизнь.

* * *

До знакомства с сержантом Кузнецовым у меня не было врагов.

Узнав, что я еду на гастроли с Ансамблем песни и пляски, Кузя огорчился. Кузя сильно огорчился и в сердцах воскликнул:

– Я думал, ты – человек, а ты – хитрый жид!

Потом он решил, что обида должна иметь физическое воплощение, и обрил меня наголо.

Во время экзекуции я плакал, а Кузя приговаривал:

– Если ты, бл...дь, талант, тебя и лысым признают!

...До отъезда на концерт оставалось минут десять-пятнадцать. К автобусам вяло сбредались артисты Ансамбля. Было жарко. Я дотащился до конца квартала и зашёл в гастроном.

Возле автоматов газированной воды ко мне подошёл огромный красивый казах с ярко выраженным криминальным прошлым и в агрессивном подпитии. Посмотрев на мои голубые погоны, он сказал:

– Здорово, зёма! Я тоже такие носил. Летун?

– Нет, – вяло ответил я, – я служу в Ансамбле песни и пляски.

– Тоже нех...ёво.

Я посчитал, что разговор окончен и вышел из гастронома.

Не доходя метров двадцати до автобусов, казах снова меня окликнул:

– Слышь, зёма, а ты откуда призывался?

– С Украины.

– Хохол?

– Нет, еврей.

...Последним, что увидел мой левый глаз, был здоровенный кулак моего нового знакомого. Резким и сильным ударом казах сшиб меня с ног. Я бросился было драться, но тут мой правый глаз увидел выруливающую из-за угла «шоблу» таких же «казахов» с криминальным прошлым, настоящим и будущим. Я понял, что нужно «делать ноги», и побежал...

Мне всегда казалось, что лейтенант Григоров меня недолюбливает. Увидев фингал и выслушав рассказ о его происхождении, он взял меня за руку и, вскочив в автобус, поехал искать моих обидчиков.

Мы обнаружили их возле кинотеатра. Григоров уверенно влетел в самое кубло. Я не видел того, что происходило внутри, но через минуту мой командир вышел из толпы, ведя за руку моего казаха.

– Сейчас он будет просить у тебя прощения, – сказал лейтенант и оставил нас наедине.

Провинившийся азиат смотрел в землю. Я молчал. Затем он выдавил из себя:

– Прости, зёма, я тебя спутал.

У меня почему-то вырвалось:

– С кем?

Казах посмотрел поверх моего лысого черепа и очень членораздельно произнёс:

– С евреем.

* * *

Прапорщик, воинское звание в Советских Вооружённых Силах (с 1972). Младший офицерский чин в русской армии (с 1884 только в военное время).

Советский Энциклопедический Словарь, 1982 год

К слову «прапорщик» я с детства испытывал такие же чувства, как к слову «аристократ». Потому что аристократом мама и бабушка называли моего дедушку. А я его любил.

Когда в Советской Армии ввели звание прапорщика, я страшно обрадовался. Скажу больше: я полюбил родную армию почти как родного дедушку.

На улицах я изо всех сил искал глазами военных с двумя маленькими звёздочками на погонах.

Это произошло на центральной улице нашего города возле знаменитого дома страхового общества «Саламандра». В одной точке сошлись три почитаемые мной с детства явления: Сумская, Саламандра и прапорщик.

Он окликнул нас с Лёшкой. Он окликнул нас, когда мы говорили о чём-то очень незначительном. Он сказал:

– Ребята, можно вас на минутку?

Когда я оглянулся, то увидел только погоны. Я смотрел на них, как завороженный. Очнулся я, когда прапорщик заговорил снова. Он спросил:

– Ребята, а где у вас тут бл...ди кучкуются?

Это был первый в моей жизни знакомый прапорщик. Мне было пятнадцать лет, но выглядел я на семнадцать.

В городе Приозёрск Джезказганской области прапорщиков было огромное количество. Но прапорщик с фамилией Копчиков был один. Он очень чисто говорил по-русски, поэтому казался мне интеллигентным человеком. Он даже матерился как-то по-тургеневски. Я был большим поклонником русской литературы, поэтому тянулся к нему изо всех сил.

Копчиков был маленьким, сухоньким и лысым прапорщиком. У него были маленькие глаза, маленький рот и курносый нос императора Павла I. Остатки волос Копчиков зачёсывал через всю лы-

сину от левого до правого уха и смазывал постным маслом, перемешанным с мёдом, чтобы они не разлетались.

Во всём его облике ощущалась душевная нереализованность русского человека. Он терпеливо ждал. Он спокойно и терпеливо ждал своего звёздного часа.

И она взошла. Взошла звезда прапорщика.

По уставу, в отсутствие командира роты обязанности командира роты исполняет замполит.

А в отсутствие замполита, исполняющего обязанности командира роты, обязанности командира роты исполняет командир первого взвода.

А в отсутствие командира первого взвода, исполняющего обязанности командира роты, обязанности командира роты исполняет командир второго взвода.

А в отсутствие командира второго взвода, исполняющего обязанности командира роты, обязанности командира роты исполняет командир третьего взвода.

Прапорщик Копчиков командовал четвёртым взводом.

Все тринадцать звёзд, стоящие по субординации перед двумя прапорщицкими звёздами Копчикова, в этот день закатились: кто на охоту, кто – на больничный, а кто куда. Так военный интеллигент Копчиков стал командовать ротой.

Он пришёл в казарму за полчаса до подъёма и тут же дал сонному дневальному два наряда за отсутствие бдительности. После этого он проследовал в туалет и, обнаружив на писсуаре чей-то русый волосок, влепил второму дневальному внеочередной наряд за беспрецедентную грязь в казарме. Затем исполняющий обязанности командира роты завопил:

– Рота, подъём! Тревога!

Тембр его голоса напоминал тембр певицы Ольги Борисовны Воронец, а сила – мощный бас Шаляпина. Для всех бойцов это было полной неожиданностью. Мы были совершенно деморализованы, поэтому «потревожились» очень вяло. Это стоило всей роте получасового тренажа, после которого командный голос Копчикова стал нам родным.

На завтрак мы маршировали «гусиным шагом» вперемежку с «бегом с высоким подниманием бедра».

В столовой между командами «приступить к приёму пищи!» и «закончить приём пищи!» гурман Копчиков сделал паузу всего в сорок пять секунд, в течение которой мы едва успели накидать в миски «сухую» картошку, а в карманы – сахар и хлеб.

В этот раз рота была свободна от караулов, и чистоплотный Копчиков устроил нам парко-хозяйственный день: «салаги» чистили лезвиями писсуары, «молодые» шлифовали стёклышками паркет в классе, бытовке и Ленинской комнате, «черпаки» мыли и натирали мастикой «центряк», а «деды» чистили оружие.

Обед прошёл в том же ключе, что и завтрак, с той лишь разницей, что после принятия пищи мы ещё час занимались строевой подготовкой.

После обеда коммунист Копчиков проводил политзанятия. Через пять минут после их начала бойцы затосковали по парко-хозяйственным мероприятиям и по «гусиному шагу».

Весь день нас преследовал командный голос неуёмного прапорщика:

– Р-р-ёта-а! Стана-ись!
– Р-разайдись!
– Р-р-аяйсь!
– Сир-р-ра!
– Отставить!
– Ко мне! Бигом!
– Кр-рю-гом!
– Службы, бл...дь, не знаешь? Упал – отжался!
– «Является» чёрт во сне, а военнослужащий «прибывает»!
– Можно козу на возу! В армии говорят «разрешите»!
– Вспышка сверху!
– Вспышка справа!
– Вспышка слева!
– Р-р-ёта-а! Стана-ись!

К концу дня бойцы совершенно забыли о существовании офицерского корпуса. Они были уверены, что единым и неделимым Офицером Советского Союза является прапорщик Копчиков.

Когда рота была построена на вечернюю поверку, прозвучала команда «смирно!», и в казарму вошёл командир части подполковник Мадьяров. Безукоризненным строевым шагом Копчиков подошёл к комбату и отрапортовал:

– Товарищ подполковник! Рота на вечернюю поверку построена!

И тут звезда прапорщика засияла с максимальной яркостью. Звонкой и трогательной колоратурой Копчиков закончил:

– Докладывал исполняющий обязанности ко-ман-ди-ра-роты, – здесь он сделал паузу, – пра-пор-щик Коп-чи-ков!

...Перед отбоем счастливый Копчиков произвёл получасовый сон-тренаж и закрылся в канцелярии с каптёром и двумя бутылками водки.

Среди ночи меня разбудил его голос. Совершенно пьяный, с болтающимся возле левого уха длинным локоном, он ходил между койками и плакал. Он гладил нас по головам, поправлял наши одеяла и приговаривал:

– Тяжело в учении, легко в бою. Я вас вы...бу и высушу. Я из вас сделаю людей!

Тем местом, где происходила окончательная перековка «бурых солобонов» в защитников родины, была гарнизонная гауптвахта. А тем человеком, который руководил этим процессом, был начальник «губы» прапорщик Шевченко. Рост – два метра, вес – сто пятьдесят килограммов. Спина, переходящая в шею, голос – иерихонская труба. Кулак у прапорщика Шевченко был больше, чем голова коменданта гарнизона полковника Опанасенко. А этой головы боялись все – от последнего салаги до командира полигона.

Так случилось, что дверь мастерской, в которой я «потел» над макетом Приозёрска, оказалась как раз напротив комнаты, где прапорщик Шевченко обрабатывал «губарей». Двери в гарнизонной комендатуре закрывать было не принято, так что я был обречён с утра до вечера являться свидетелем этой обработки.

У товарища прапорщика был железный порядок действий, который очень способствовал педагогическому процессу. Начинал он всегда с команд:

– Сорок пять секунд – раздевайсь!

– Сорок пять секунд – одевайсь! – причём между командами совершенно не делал пауз. Через десять минут любого, даже самого здорового бойца, начинало пошатывать. Тогда товарищ прапорщик переходил ко второму этапу. Он производил короткие и резкие движения кулаками в сторону «губаря», приговаривая при этом:

– Боец, втяни живот! Видишь, мне руки девать некуда!

– Та шо ж ты такой неповоротливый – двинул торцом прямо мне в ладошку!

– Ты на чей кулак челюсть поднял, засранец!

Я очень боялся прапорщика Шевченко. Я обходил его десятой дорогой. У себя в мастерской я сидел тихо, как мышь.

И все же как-то раз потерял бдительность. Умиротворённо выпиливая пенопластовые домики, я вдруг запел. Я даже не запел, а замурлыкал себе под нос какую-то незамысловатую песенку. Когда я оторвал глаза от домика, передо мной нарисовалась физиономия начальника «губы». Я испугался, но петь не прекратил. Мы смотрели друг другу в глаза. И тут я понял, что пою не сам. Чистым и красивым баритоном прапорщик Шевченко подтягивал вторым голосом…

Когда мы кончили, он улыбнулся и задушевно спросил:

– Зёма! Можно я к тебе ещё зайду? Попоём…

* * *

Вся его физиономия была усеяна прыщами. На их фоне выделялись пухлые красные губы и огромные коровьи глаза. Выражение лица отсутствовало. Рост у этого шкилимота был метр девяносто. Фамилия – рядовой Сосиска. Его облик и его фамилия были полным унисоном.

Сосиску призвали в армию с родины Константина Эдуардовича Циолковского – города Калуги. Его родители тоже были Сосисками и работали в НИИ.

Не нужно обладать большой фантазией, чтобы понять, что человеку с такой фамилией и такой внешностью адаптироваться в Советской Армии было непросто. Слово «сосиска» произносилось сержантским составом значительно чаще других слов и неизменно в сопровождении лингвистических оборотов нежелательного употребления.

Кроме фамилии и внешности, у этого шлемазла было ещё два порока: он всегда был голоден и всегда хотел спать.

Как-то ночью я охранял каптёрки. Проходя мимо окна, расположенного в торце казарменного коридора, я обнаружил, что дневальный Сосиска, стоя «на тумбочке», спит. Во сне его плавно раскачивало. Причём, чем больше он погружался в объятья Морфея, тем больше наклонялся вперёд. Доходя до отметки в сорок пять градусов, Сосиска на мгновение просыпался и возвращался в исходное положение.

Я остановился и засмотрелся. Человека, который мог бы так виртуозно владеть своим телом, я не видел даже в цирке.

Должен проинформировать цивильную публику, что пост дневального располагается в казарме как раз напротив входа.

Когда в дверном проёме возник дежурный по батальону прапорщик Копчиков, Сосиска как раз приблизился к сорока пяти градусам. В этот момент ему, видимо, приснилось что-то очень хорошее и доброе, и он, пропустив критическую точку, начал падать на ничего не подозревающего прапорщика. Бедный Сосиска завалил бедного Копчикова на пол и очень испугался. У него не было времени понять, что произошло, и он истошно заорал:

– Смирно! Тревога!

Сонные бойцы, сбежавшиеся на «центряк», увидели странную картину: дневальный Сосиска стоял на «тумбочке» по стойке «смирно» с неестественно задранной вверх головой. Прапорщик Копчиков, поднявшись на носочки, тянул к его носу скрюченный указательный палец и визжал:

– Два наряда вне очереди! Тр-р-р-ри наряда! Четыре! Ты у меня, бл...дь, будешь вечным дневальным! Вечным дневальным! Я тебя сгною на полах!

...Это был пятый подряд день его дневальства. Он спал по два часа в сутки. Он был страшно голоден...

Когда старшина скомандовал:

– Рота, закончить приём пищи, – Сосиска не сумел остановиться. Он схватил «разводной» и зачерпнул им варево из сушёной картошки. И тут же был пойман за руку сержантом Кузнецовым. Кузя зловеще улыбнулся и проговорил:

– Что, бл...дь, не хватает?

Сосиска посмотрел на него честными глазами и кивнул утвердительно.

Быть голодным считалось для салаги смертным грехом. Поэтому, учуяв запах крови, к сосискиному столу подошли все жаждущие расправы старослужащие и сержанты. Перед ним поставили пятилитровый чан «сухой» картошки и буханку хлеба, похожего на пластилин.

Сосиска начал есть. Под аккомпанемент непотребных шуток он уничтожил треть бачка и полбуханки. Поняв, что проглот Сосиска ещё не наелся, истязатели поумерили свой охотничий азарт. После следующей трети картошки и четверти буханки в глазах зри-

телей возник интерес. Когда Сосиска приканчивал штрафную пайку, говорили только мухи.

...Ему осталось проглотить всего несколько ложек. И тут он остановился. Он поднял на Кузю виноватые глаза и с полным ртом произнёс:

– А можно ещё кусочек хлеба?

После аттракциона в столовой Сосиска сутки жил в туалете. К нему прилепилась кличка «проглот-засранец».

Когда рота уходила в караул, всем бойцам выдавалась суточная пайка колотого сахара. Этот сахар хранился в четырёх огромных кулях.

В тот злополучный день начальники караулов не обнаружили полагающийся им сахар и ушли в наряды недоумевающими и злыми. Свободные от караулов перевернули всё в казарме вверх дном, и нашли сахар под матрацем рядового Сосиски. Воровство было слишком очевидным, и Сосиска в своё оправдание мог только промямлить:

– Я больше не буду.

На следующий день любителю сладенького устроили показательный суд. Рота зашла в ленкомнату. В центре её поставили стол, на котором белела огромная гора колотого сахара. Сосиска сидел, остальные стояли и смотрели. Выдержав паузу, старшина сказал:

– Ешь!

Сосиска вздохнул, опустил глаза и очень робко отправил в рот первый кусочек...

Стояла гробовая тишина. Слышен был только хруст.

Изначально наше молчание задумывалось как немой укор, но когда мы увидели, что гора растаяла на четверть, у нас пропал дар речи. По моим подсчётам, проглот-засранец употребил килограмма два «белого врага человека». Мне стало жаль Сосиску.

Когда гора растаяла на половину, подсудимый поднял умоляющие глаза на старшину и прошептал:

– Товарищ старшина, а попить можно?

Старшина был до такой степени ошеломлён, что сам сбегал за графином.

Дальше всё произошло, как в ускоренном кино. Сосиска выдул полграфина и стал поглощать сахар с немыслимой скоростью. Мы наблюдали за ним в полном оцепенении. Когда этот феномен стал слизывать крошки со стола, несколько человек, не сговариваясь, подхватили его под руки и поволокли в санчасть.

Сосиску посадили перед старшим лейтенантом медицинской службы Васиным и, перебивая друг друга, рассказали о случившемся. Доктор Васин посмотрел на рядового Сосиску, как на зомби и, сглотнув слюну, спросил:

– Как вы себя чувствуете?

Сосиска впервые улыбнулся и ответил:

– Хорошо. Я так наелся...

* * *

– Он хоть и не еврей, но очень приличный человек...

Из жизни

На территории нашего гарнизона располагались три воинские части: батальон охраны, автополк и авторемонтная база. Каждый день в одно и то же время на плацу выстраивались все уходящие в наряд бойцы, а дежурный по полигону бравый офицер командовал этим построением. Называлось это «развод».

В качестве лирического отступления должен сказать, что в Приозёрске была сосредоточена огромная часть научно-технического потенциала войск ПВО родной страны. Этот потенциал ходил, в основном, в подполковничьих погонах и ездил на работу на велосипедах «Украина».

Не умереть с голоду им помогали военнослужащие, которые ходили в погонах прапорщиков и ездили на «Жигулях».

Именно подполковники-велосипедисты заступали, как правило, дежурными по полигону и командовали разводом.

Среди всей этой военной интеллигентщины попадались такие, которых и на «гражданке» обозвали бы «сильно культурными».

Я стоял в строю уходящих в наряд солдат и скучал. И ждал, когда на плац выйдет офицер и скомандует: «Развод, равняйсь! Смирно!».

Пауза затянулась, бойцы расслабились.

И тут на краю плаца возник человек в форме. Мне даже показалось, что его вытолкнули. Это было забавное рыжее существо в очках, веснушках и подполковничьих погонах. Он остановился, осмотрелся и чихнул. Он показался мне похожим на зайца, попавшего в волчью стаю.

Рыжий подполковник оправился от замешательства и сделал первый «строевой шаг»: его согнутая в колене нога резко рванулась вперёд. Этим движением он сильно напомнил кенгуру, бьющего под зад клоуна в цирке. Вторым этапом та же нога и так же резко выпрямилась, и воображаемый клоун получил ещё и в пах. После этого подполковник повторил весь цикл другой ногой, затем снова первой, опять второй, первой, второй, первой, второй... Так наш «рыжик» дошёл до центра.

Следующим строевым «па» был поворот направо. Это «фуэте» он проделал на одной ноге, предварительно скрутив для разгона туловище, как пружину.

Боясь поднять глаза на стаю уходящих в наряд солдат, подполковник дребезжащим, тоненьким и картавым голоском воскликнул:

– Газвод! Гавняйсь! Смигно! Сегодня дежугным по части заступает майог Иванов. Помощником дежугного буду я, – и совсем тихо: – Моя фамилия... Кукушкин.

Услышавши эту тираду, наглые бойцы вместо стойки «смирно» выполнили прямо противоположную команду и раскрыли рты для дружного смеха. Но тут...

Но тут на плац вылетел маленький, коренастый, стриженый ёжиком живчик. У него были настолько серьёзные глаза, что мы стали смирно совершенно без команды. Мы поняли, что это майор Иванов. Глядя на него, действительно верилось, что на этой фамилии Россия держится.

Он пошёл каким-то зверским строевым шагом прямо на несчастного Кукушкина. Кукушкин так спружинился, что вместо поворота на девяносто градусов развернулся на триста шестьдесят с гаком и оказался фактически спиной к боевому майору. Поняв свою оплошность, подполковник как-то нелепо оглянулся и поспешил с рапортом к начальнику.

Причём, по мере их сближения, майор Иванов правую руку тянул к виску, а левую – к паху, очевидно опасаясь кукушкинской строевой выправки.

Однако членовредительства не произошло. Кукушкин так же картаво отрапортовал младшему по званию, но старшему по убеждениям майору, что «кагаулы на газвод постгоены» и растворился в ивановском командном голосе...

Вечером Кукушкин проверял наш караул. Я заварил ему чай. Разомлевший подполковник долго расспрашивал меня о моей семье и о том, чем я занимался на «гражданке». Потом он исчез на десять минут и вернулся совершенно пьяный.

Он прочитал несколько своих стихотворений. Они были корявыми, но очень искренними.

Вдруг он остановился и сказал:

– Я кагтавлю, и поэтому они думают, что я – евгей. Лучше б я был евгеем!

Кукушкин заплакал и попросил меня перейти с ним на «ты».

* * *

В Ансамбле песни и пляски у меня был друг. Он очень любил спать, поэтому я прозвал его «Канистра».

У Канистры была знакомая по кличке «Арлекино».

Арлекино и Канистра были любовниками. Хотя любовниками их можно было назвать с большой натяжкой: Канистра не любил Арлекино. Просто, по словам самой же девушки, он её «натягивал». Правда, по её же признанию, делал он это, «как Бог».

Арлекино работала швеёй-мотористкой. Она приехала в Приозёрск из городка Шахтинск Карагандинской области, где на шахте работали её родители.

Арлекино с Канистрой так бы прозаично и спаривались все два года, отведённые им Конституцией СССР, но гастрольная карта Ансамбля внесла в их отношения некоторые коррективы: к большой радости канистриной пассии, нам выпали гастроли на её ро-

дину – в город Караганду. Познавши об этом, Арлекино пообещала Канистре «полный улёт», мне – «ох...енную подружку», взяла отпуск за свой счёт, сделала пергидрольную причёску и уехала в Шахтинск готовить достойную встречу.

Для нас – зашуганных, одичавших и голодных во всех смыслах солдат – поездка в Караганду была чем-то вроде гастролей Нежинского муздрамтеатра на Бродвее.

Нас поселили в самую лучшую гостиницу в центре города.

Побросав в номерах вещи, бойцы Ансамбля ринулись утолять свой разнообразный голод. Поскольку я больше всего истосковался по пище духовной, первым местом, которое я посетил в Караганде, был книжный магазин. А первым приобретением – подарочное издание «Неточки Незвановой» Достоевского. Расплатившись, я ещё в магазине раскрыл книжку и настолько увлёкся чтением, что не заметил, как вернулся в гостиницу и дошёл до своего номера.

Открыв дверь, я заорал идиотским голосом:

– Канистра, подними жопу, посмотри, что я купил!

С этим я вошёл в комнату и поднял глаза на друга.

Вместо Канистры передо мной стояла распаренная молодая женщина с мокрыми волосами. Из одежды на ней было только банное полотенце, едва прикрывавшее нижний срам. В полном обалдении, я спросил:

– А где Канистра?

Женщина оказалась красивой и бесцеремонной. Она села на диван, закинула по-американски ногу на ногу и ответила:

– В гараже.

Меня жутко возмутила такая наглость. Я отвернулся к стене и воскликнул баритоном, переходящим в фальцет:

– Девушка! Я живу в этом номере!

Девица ещё более бесцеремонно сказала:

– Ну, тогда раздевайся.

В этот момент я вгляделся в стенку и пришёл к ужасающему выводу: на наших обоях были нарисованы совершенно другие ромашки. Ну что сделал бы на моём месте приличный человек? Конечно, попросил бы прощения и сказал бы, что ошибся дверью. Но так случилось, что на тот момент я был девственником. Осознание того, что за моей спиной – голая и готовая к употреблению женщина, меня совершенно парализовало. Я так и продолжал стоять, уткнувшись лицом в обои.

Моя новая знакомая сказала:

– Ты здесь не живёшь. Здесь живу я, – затем встала, развернула моё девственное тело и произнесла так, что мне стало щекотно:

– Но, раз пришёл, оставайся.

В полном смущении я прикрыл пах «Неточкой Незвановой» и стал пятиться назад. Я только сумел выдавить из себя:

– Я в другой раз, ладно? – и открыл задом дверь.

Вслед я услышал манящее:

– Придёшь в себя – заходи!

Весь день прошёл под знаком моей новой незнакомки. Я не знал её имени, поэтому назвал Неточкой. Я представлял себе, как переступлю порог её комнаты, возьму её на руки, положу на кровать и скажу:

– Я люблю тебя, Неточка!

Но в этом месте логическая цепочка почему-то обрывалась, и я очень нервничал.

Вечером после концерта я рассказал о дневном происшествии Канистре. Он сразу стал страшно деятельным и принялся вспоминать всех своих баб. Чем больше он живописал, тем меньше во мне оставалось пыла. В конце концов, я решил, что не пойду. Канистра сообщил мне, что я идиот, и лёг спать.

Я ворочался до часу ночи. Я исстрадался и вымочил слезами подушку.

Очнулся я возле её номера. За дверью громко и беспокойно сопел предмет моей страсти. Я решил не стучать и сделать ей сюрприз. Я снял туфли, тихо открыл дверь и прошмыгнул внутрь.

В комнате горела настольная лампа. Я зажмурился. Открыв глаза, я увидел перед собой что-то чёрное. Этим чёрным могли быть только волосы в том месте, которое было главным предметом моих вожделений. Почему-то эта растительность показалась мне похожей на усы.

Охватив взглядом всю картину, я понял, что не ошибся: передо мной возникла усатая физиономия грузинца, терзавшего грудь моей возлюбленной.

Две головы повернулись в мою сторону. Зазвенела пауза. Я понял, что, обозвав меня идиотом, Канистра попал в самую точку.

Лежащее под грузинцем нежное создание улыбнулось и осипшим голосом прошептало:

– Ты опоздал, солдатик.

...На следующий день в гостинице появилась Арлекино. Увидев её, я вспомнил об обещанной подружке, и мне немного полегчало. Правда, подружка оказалась в Шахтинске, но что такое несколько десятков километров для перманентно влюблённого солдата?

У нас был дневной концерт и свободный вечер. Мы подмылись, побрились и поехали на родину Арлекино.

На Шахтинском автовокзале нас встречали с оркестром: баян, балалайка и большой барабан. Арлекино сказала, что это традиционное шахтёрское гостеприимство.

По городу мы шли в сопровождении почётного эскорта. Мы чувствовали себя героями-космонавтами. С нами здоровались все встречные.

Возле дома родителей Арлекино нас поймал какой-то дед, увешанный орденами и медалями. Он долго тряс наши руки, затем почему-то сказал: «Удовлетворён», – и всхлипнул.

В комнате, которую Арлекино-папа упорно называл «залой», был накрыт стол. Нам сразу же налили по полстакана самогонки и отправили в ванную. После ванной нас заставили выпить ещё по полстакана и сказали:

– С лёгким паром!

Затем состоялся обед в тесном семейном кругу. Мы не успевали закусывать. Папа канистриной подружки произнёс несколько тостов. Сначала он выпил за гостей, потом за новую квартиру, которую должен получить, затем за новую машину, в очереди за которой стоит и, наконец, за Арлекино и Канистру.

Когда папаша спросил, где они намерены жить после армии, я понял, что мы приехали свататься. Я посмотрел на Канистру. Он был пьян.

Стемнело. Я жевал жвачку, которую дают шахтёрам вместо курева. Будущий канистрин тесть рассказывал о достоинствах автомобиля «Москвич». Его жена смотрела на молодых и плакала. Канистра пытался поймать вилкой солёный грибок и гладил ляжку своей невесты.

Вдруг запели канарейки. Я дёрнулся от неожиданности, но сообразил, что это – дверной звонок. Арлекино с мамашей загадочно посмотрели друг на друга и побежали в переднюю. Папаша потёр руки и хлопнул меня по плечу.

Я заикал.

В этот момент в комнату вплыло двухметровое создание с «арбузными» грудями, выпуклыми ягодицами и золотозубой ослепляющей улыбкой. Это была подружка. Увидев её, я понял, что от меня здесь уже ничего не зависит.

Хозяин дома налил штрафной двухсотграммовый стакан и протянул гостье. Девушка пропела густым басом:

– Ну, вы чё, это много, – и опрокинула его залпом.

Её посадили между мной и папой-Арлекино. Бойкий папашка щипал её за задницу и приговаривал:

– Мы с её батей, знаешь?.. От так от!

Через десять минут подружка сказала:

– Пошли, что ли, – и встала из-за стола. Все засуетились.

Подружка взяла меня за руку, перевела через лестничную клетку, и мы вошли в квартиру напротив.

В прихожей нас встретили подружкин папа и подружкина мама. Оба были маленькими, сухонькими и пьяненькими.

В «зале» был накрыт стол. Это был точь-в-точь такой же стол, как в квартире Арлекино. Передо мной поставили немыслимых размеров блюдо, наложили туда немыслимое количество еды и сказали:

– Ты ешь, ешь, набирайся сил.

Подружкины родители смотрели на меня влюблёнными глазами. Когда я умял полблюда, подружкин папа спросил:

– Заморил червячка? – и поднял первый тост за гостя. Выпив, он торжественно понюхал кусочек хлеба, вернул его в хлебницу и провозгласил второй тост. Когда я услышал, что мы пьём за но-

вую квартиру, которую он вот-вот должен получить, я понял, что мы приехали сватать не только Арлекино.

Нас положили спать в одной комнате. Придя из ванной, распаренная и разомлевшая подружка наклонилась ко мне низко-низко и сказала:

– Ты меня сильно не лапай. Я тебе и так дам. Только после свадьбы.

Сказавши это, она залезла ко мне под одеяло и засопела.

Наутро нас провожали на автовокзал. Канистра смотрел на меня виноватыми глазами. Когда автобус тронулся, женщины зарыдали.

* * *

У хормейстера нашего Ансамбля были длинные изящные пальцы, неуставная шевелюра и нежная фамилия Поляничко.

Когда к нему на прослушивание пришёл боец по фамилии Омельченко, у маэстро, скорее всего, были заложены уши. Я так думаю только потому, что принять в музыкальный коллектив человека, напрочь лишённого музыкального слуха, мог только глухой хормейстер. К тому же, рядовой Омельченко был альбиносом, а его водянистые глаза смотрели в разные стороны.

И вот, артист с таким неожиданным сценическим имиджем был зачислен в Ансамбль песни и пляски.

Поскольку на прослушивании Омеля пел (конечно, с поправкой на временную глухоту Полянички) громко и пронзительно, его определили исполнять партии первых теноров.

На первой же репетиции самый главный первый тенор Тихонравов, услышав Омелину руладу, влепил ему смачный подзатыльник, заявил, что тугоухость заразна и потребовал немедленно его убить.

Тогда артиста хора Омельченко из первых теноров перевели во вторые.

После второй репетиции самый главный второй тенор Стариков сделал заключение, что человеку с такими вокальными данными нужно работать сиреной в пожарной команде.

И Омелю тут же перевели в баритоны.

Когда солист баритонов Олег Зябликов (у которого со слухом, кстати, тоже было не всё «слава Богу») посреди песни «И вновь продолжается бой» свирепо заорал:

– Он меня сбивает! – несчастный альбинос, без чьей-либо подсказки, сам перебрался к басам.

В конце репетиции бас Дмитрий Трофимович Меринец, поотечески похлопывая Омелю по стриженому затылку, предложил:

– А может ему лучше... плясать?

Народу стало весело. Народ расслабился.

И тут виновник веселья, артистическая карьера которого висела на волоске, лихо всунул в рот четыре пальца и... свистнул. Это было неожиданно. Очень неожиданно.

В обитом зелёным сукном хоровом классе стало тихо. Тогда Омеля вложил в рот шесть пальцев и свистнул ещё раз. Затем во рту побывали восемь пальцев и, наконец, все десять. После этого последнего свиста все присутствующие с опаской посмотрели на Омелины ноги.

Вдохновенный «соловей-разбойник» выкатил белёсыми ресницами свои наивные бесцветные глазки и очень гордо возвестил:

– А ещё я умею... вообще без пальцев!

И свистнул.

...Анатолий Георгиевич Поляничко, мучимый приступом вины, не спал всю ночь. Он думал. Он пытался найти выход из создавшегося положения. К утру хормейстер забылся тревожным сном, и ему, конечно же, приснился артист хора Омельченко, стоящий на сцене в лучах прожекторов и крайне фальшиво высвистывающий романс Алябьева «Соловей».

Поляничко проснулся в холодном поту, но сразу понял, что выход найден.

Так в Ансамбле песни и пляски появился штатный свистун. Почти в каждой песне ему определили место для «сольной партии», и Омеля возликовал.

К началу первых в его жизни гастролей он уже чувствовал себя настоящей звездой. Он разгуливал по Караганде в сопровождении двух наштукатуренных девиц, одетых во врезающиеся в задницу юбки и прозрачные кофточки, расстёгнутые до пупа. После концертов какие-то странные люди брали у него автографы, а в городе Темиртау ему даже предложили быть почётным председателем «общества свистунов».

Омелину артистическую карьеру, как, впрочем, карьеры многих великих людей, сгубили бабы. Да, да, те самые наштукатуренные, в юбках выше ватерлинии, почитательницы его таланта.

Солнечным майским днём они отдыхали на скамейке в скверике в центре Караганды. На плечи одной из девиц был наброшен Омелин форменный китель, другая нахлобучила на крашеные волосы фуражку с кокардой и повязала на шее зелёный солдатский галстук. Омеля сидел в расстёгнутой гимнастёрке, а своими бесстыжими грабками елозил по девичьим ляжкам.

В это время случилось проходить по аллее начальнику Ансамбля Валентину Фёдоровичу Пустовалову. Заметив рядового Омельченко, майор Пустовалов инстинктивно потянул руку к виску, наивно полагая, что солдат немедленно вскочит, чтобы поприветствовать старшего по званию.

Но не тут-то было! Наш свистун осклабился и, похлопывая подружек по упитанным конечностям, неторопливо просвистел:

– А-а-а! Здравствуйте, Валентин Фёдорович!

Рука Пустовалова, по инерции, добралась до виска, и... гуляющие по скверу люди с удивлением увидели, что майор Советской Армии проходит церемониальным маршем мимо развалившегося на скамейке солдата, да ещё и отдаёт ему честь.

Когда Валентин Фёдорович понял свою оплошность, было уже поздно. Кроме того, чисто по-человечески, ему не хотелось ломать Омелин кайф. Но он оскорбился. Он очень оскорбился и рассказал о происшедшем лейтенанту Григорову. Лейтенант Григоров рассказал старшине Боднару. Старшина Боднар рассказал нам. Мы приняли меры.

Мы не били своего товарища по оружию. Мы только припугнули его. Но припугнули сильно. Настолько сильно, что Омеля с испугу прикусил себе язык. Прикусил в физическом смысле...

Оборвались все струны на скрипке Паганини!

Крышка рояля прищемила руки гениального Листа!

У Орфея отобрали его кифару!

Перед вечерним концертом мастер художественного свиста с прикушенным языком подошёл к хормейстеру и сказал, что свистеть он не может, потому что к нему не пришло вдохновение и, наверное, уже не придёт никогда.

До конца гастролей Омеля вёл затворнический образ жизни. Он как-то углубился в себя, и кто-то из артистов даже видел его читающим «Устав гарнизонной и караульной службы». Пару раз его, правда, навещали подруги, из-за которых он «погорел», но, как сообщал всё тот же информированный источник, после второго посещения они выходили от затворника, неся подмышкой брошюрку под названием «Их нравы и наша Нравственность».

До и после концертов Омеля с повышенным энтузиазмом грузил ящики с костюмами и реквизитом, во время работы был услужлив и вёл себя безупречно.

По возвращении с гастролей снова чёрным вороном завис вопрос об Омелином пребывании в Ансамбле.

...Открытый худсовет заседал в танцевальном классе. Когда начальник открыл рот для оглашения печального приговора, непредсказуемый рядовой Омельченко вдруг вскочил и, притоптывая ногами по скрипучему полу, радостно закричал:

– Я не понимаю, как тут можно танцевать!?

Валентин Фёдорович запнулся, а балетмейстер Гриша Шеремет отчаянно замахал руками и срывающимся картавым голосом запротестовал:

– Не-ет! Даже не мечтай! В балетной гтуппе и так пегебог!

Омеля, не обращая внимания на Гришу и продолжая выбивать неуклюжую чечётку, вдохновенно объяснял:

– Я ж, ёлы-палы, плотник! Паркетчик я! Я ж вам могу так полы постелить, что вы сразу станете народными артистами!

Не знаю, какой из аргументов убедил начальство, но свистуна-паркетчика оставили в Ансамбле стелить полы. Он переложил паркет во всех классах.

В редкие моменты, когда никого не было рядом, Омеля позволял себе немного посвистеть. А один раз в приоткрытую дверь я увидел, как у него, насвистывающего какую-то песенку, из косых осоловевших глаз капали слёзы умиления.

Он был счастлив.

* * *

– Ну, совсем как дитё!

То ли упрёк, то ли похвала

Слово «мутация» в Большом Энциклопедическом Словаре трактуется как «резкое понижение голоса подростков вследствие роста гортани». Эта пресловутая мутация на корню зарубила мою певческую карьеру, когда я солировал в детском хоре «Жаворонок» Дворца Культуры работников связи. Кроме меня, все остальные хористы в этом «Жаворонке» были девочками. Ровно год я купался в море косичек и ленточек, пока не подкралась мутация и не превратила мой звонкий дискант в баритон.

Партию которого я и исполнял в Ансамбле песни и пляски Советской Армии.

У моего наставника – премьера баритонов Олега Зябликова – была лужёная глотка. Песни он не пел, а орал. Если бы при этом у него был ещё и музыкальный слух, он вполне мог бы работать муэдзином в какой-нибудь мечети. Его агрессивный вокал пребывал в ужасающем противоречии с его натурой. Он ходил, как полуторагодовалый ребёнок, и казалось, что он вот-вот упадёт. Когда он пел, раскачиваясь взад-вперёд с безумной амплитудой, казалось, что вот-вот упадёт микрофонная стойка. Он выступал в гигантских размеров фуражке, которую зачем-то натягивал на уши и на брови. На носу он носил очки с немыслимым количеством диоптрий, а подвёрнутую вверх губу прикрывал тараканьими усиками.

У нас с Зябликовым был очень своеобразный творческий тандем: во время концертов я обычно стоял чуть сзади и пел баритоновую партию прямо ему в ухо. А он уж её как бы озвучивал.

Настоящим мучением были для близорукого премьера репетиции. Ноты он видел плохо, а поворачивать к нему голову во время распевок начальник Ансамбля не позволял. Зябликов фальшивил, злился на весь мир, заворачивал ладошками ушки, чтобы лучше себя слышать, но пел всё что угодно, кроме того, что было написано в партитуре.

С полной ответственностью могу сказать, что самой нелюбимой фразой из всех песен, которые он когда-либо пел, была фраза: «Впереди у жизни только даль». Именно на ней он споткнулся, именно с неё он упал, и именно из-за неё получил кличку «мутант».

Мы разучивали страшно популярную в то время песню «Соловьиная роща». Хору в ней фактически нечего было делать. В финале каждого припева мы оптимистично докладывали зрителям, что «впереди у жизни только даль», а рыжий солист Володя Емцев обещал им «полную надежд людских дорогу». И всё.

Эти гениальные в своей дальновидности слова баритонам надлежало петь вполголоса, мягким стаккато съезжая по полутонам и плавно микшируя последнюю нотку секунды три – четыре.

Что означает «смикшировать», Зябликову объяснили; как можно петь вполголоса, он только догадывался; что такое «полутон», он не знал вообще.

Сначала этот музыкальный фрагмент, как и положено, несколько раз проиграл хормейстер Поляничко. Затем его по очереди пропели для премьера все баритоны. Наконец, подружески приобняв Зябликова за плечи, ещё несколько раз спел его Володя Емцев. После каждого раза Зябликов старательно пропевал некую мелодию, которая к партии баритонов не имела никакого отношения.

В хоровом классе запахло матом, и Поляничко, во избежание неизбежного, отправил всех, кроме премьера-баритона, на перерыв.

Индивидуальный мастер-класс затянулся на час. Во всё это время из-за обитой дерматином двери раздавался один-единственный жизнеутверждающий девиз:

«Впереди у жизни только даль!»

Снующие по помещениям Ансамбля хористы муссировали это изречение на все лады, заменяли в нём слова и придавали фразе самые неожиданные и смелые трактовки.

Когда после перерыва мы вернулись на репетицию, из зябликовских очков струилось счастье. Он был уверен, что у него получилось.

Эта уверенность улетучилась, когда вместе с баритонами запели тенора и басы...

На Зябликова было больно смотреть.

Ему подсказывал весь хор, ему подсказывал оркестр, ему подсказывал Поляничко, ему подсказывал пришедший на помощь начальник Ансамбля, а в минутку случайной паузы мы услышали за дверью картавый голосок балетмейстера Гриши Шеремета:

– Впегеди у жизни только даль! Ну, это же так пгосто!

Гриша переполнил чашу зябликовского терпения. Премьер перешёл в наступление. Он снял очки и, пожирая меня невидящими глазами, несвойственным ему первым тенором закричал:

– Это ты меня сбиваешь!

Справедливый Валентин Фёдорович отправил меня в сторонку, а сам сел рядом с Зябликовым. Хор вместе с премьер-баритоном пропел ещё раз специально для начальника:

– Впереди у жизни только даль.

...Несколько мгновений майор Пустовалов подбирал слова. Хор покорно ждал. Приговор получился лаконичным и не подлежащим обжалованию:

– Ну, ты и мудак!

Взмокший сорокалетний премьер-баритон заёрзал на стуле и потерянным голосом сообщил:

– Ну да, ну да... Понимаете, Валентин Фёдорович, у меня просто эта... мутация...

Я очень хорошо помню, что самым первым слово «мутант» произнёс бас Дмитрий Трофимович Меринец. Уже потом хористы много спорили, кто же, всё-таки, на самом деле был первым, но я точно знаю, что первым был именно он.

Много лет спустя, когда я преподавал мастерство актёра в театральном институте, я водил одну из своих студенток к светилефониатру профессору Ясногородскому. У неё были сильные хрипы в голосе, которые долгое время не проходили.

Девушку обследовали, но никаких серьёзных отклонений или патологий не нашли.

На обратном пути, дилетантски размышляя над возможными причинами такого странного тембра у восемнадцатилетней девочки, я спросил:

– Анечка, а у тебя когда закончилась мутация?

Студентка опустила глазки, зарделась и, глядя в землю, ответила:

– Вчера...

* * *

Дмитрий Трофимович Меринец был бас. Кроме того, что он пел басом, он был очень упитанный мужчина, и у него был идеально круглый живот. Лет ему было немногим за сорок.

Жена Дмитрия Трофимовича была костюмершей. Кроме того, что она заведовала костюмерным цехом, она была очень маленькая, очень толстенькая и идеально круглая. Мы их любили.

И они любили друг дружку.

И мы не могли представить себе, как у них происходит «это». Мы долго соображали. И мы сообразили.

Они перекатываются. Как ёжики или как колобки.

На какие только ухищрения не идут люди ради любви!

* * *

Я потерял девственность в Казахстане. Город назывался Саяк. Девушку звали Галя.

Это произошло во время гастролей.

Мы приехали в этот город в полдень, концерт наш был вечером, уезжали мы в пять утра.

Днём несколько артистов Ансамбля, среди которых был и я, вышли на прогулку. Через пятнадцать минут гуляния мы поняли, что главной достопримечательностью Саяка является строительство жилого дома. Мы посетили эту стройку. Там работали маляры и штукатуры женского пола. Я сразу положил глаз на девушку с раскосым азиатским взором. А она скосила его на меня.

Но, как это обычно со мной происходило, дальше гляделок не пошло.

На обратном пути я поделился чувствами к раскосой девушке с коллегами. Они отреагировали моментально.

– Кру-гом! – сказали они, и мы вернулись.

Наше возвращение не оставило никаких сомнений ни у степной красавицы, ни у её подруг. Через пять секунд все рассосались и обеспечили нам полный тет-а-тет.

Я достал из кармана носовой платок и вытер пот. Потом высморкался. Причём, постарался сделать это тихо, а вышло наоборот. Звук, который я при этом издал, девушка посчитала началом беседы. Она спросила, на каком инструменте я играю. Услышав труднопроизносимое слово «конферансье», раскосая штукатурша решила было расстроиться и с грустью посмотрела на мастерок. Я почувствовал, что выпускаю из рук счастье и промямлил:

– Вообще-то я играю на аккордеоне...

Эта фраза произвела на неё, как пишут в романах, магическое действие. Узкие глаза девушки округлились и расстреляли в упор мои вздыбленные брюки. Она прошептала:

– А у меня как раз есть аккордеон. Вы приходите ко мне после концерта... Поиграете...

На концерте она сидела в первом ряду. Она не сводила с меня глаз. Я был перевозбуждён. Я пел с оттопыренным задом. Я оттопыривал его настолько, что касался коленок стоящего за моей спиной баса – Дмитрия Трофимовича Меринца.

После концерта она взяла у меня автограф и сказала:

– Я жду.

Я зашёл в гостиницу на вечернюю проверку и, чтобы сэкономить время, лёг в койку в шинели и в сапогах.

После проверки меня стали провожать и напутствовать. Всем Ансамблем песни и пляски. Каждый считал своим долгом сказать:

– Ты ж донеси, а то может выгнать!

...Сначала мы смотрели фотографии. Я делал вид, что мне интересно и думал:

– Только бы донести...

Потом она сказала, что аккордеон у сестры, а я подумал:

– Только бы донести...

Потом мы танцевали, а я думал:

– Только бы донести...

Потом она сказала:

– Не снимай маечку, у меня холодно...

А я подумал:

– Только бы донести...

Потом мы легли в постель, и я подумал:

– Только бы донести!

И не донёс. Конфуз произошёл где-то по пути. Я подумал, что буду с позором изгнан. Мне было очень стыдно.

Она достала из-под подушки тряпочку. Она явно заготовила её на этот случай. Она обтёрла меня и себя.

И я донёс. И снова донёс... Я доносил до пяти утра. В пять утра я вспомнил, что «есть такая профессия – Родину защищать».

...Из родного моего Саяка я ехал с идиотским выражением лица и в таком возбуждении, которого уже, наверное, никогда не испытаю.

Бойцы были деликатны. Они ни о чём не спрашивали.

Они были уверены, что я донёс.

* * *

Эй, музыканты! Где ваши ноты?
Из песни Людмилы Лядовой «Старый марш»

В период моего служения Музе песни и пляски Советской Армии самым популярным солдатским шлягером была песня «Через две зимы». И артисты, и зрители одинаково вдохновенно пели и слушали этот знаменитый хит.

Начальник нашего Ансамбля Валентин Фёдорович Пустовалов был замечательным дирижёром. Он дирижировал очень талантливо, очень индивидуально и с большим чувством...

...Начал он как обычно, отсчитывая «четверти» и напоминая контрабасисту по кличке Кикс, когда ему бить по струнам.

Первый куплет, в котором защитники Родины напоминали зрителям о необходимости нежных писем и обещали, достойно отслужив, вернуться к мирному труду, майор Пустовалов отдирижировал сдержанно и достойно.

Когда в начале второго куплета квадратные солисты Стариков и Тихонравов задушевными тенорками пропели о солдатских снах, в глазах у Валентина Фёдоровича появилась поволока, и он крепко о чём-то задумался. Одновременно туловище его подалось вперёд, а руки плавно ушли вниз. Движения их стали похожи на взмахи лыжника, выезжающего на лыжню. Жесты были настолько недвусмысленными, что хористам стало ясно, что в воображении Валентина Фёдоровича проходят все бывшие, настоящие и будущие женщины, которым он симпатизировал.

Когда два очень немолодых вокалиста напомнили девушкам о скорых свиданиях и предупредили, чтобы те не ходили в кино с другими, Пустовалов «вышел на дистанцию». Теперь движения его рук не вызывали сомнений ни у кого. Он дирижировал ожесточённо и эротично. Хор подхватил:

– Только две, только две зимы-ы,
Только две, только две весны-ы,
Ты в кино, ты в кино с другими не ходи!

Валентин Фёдорович «дирижировал» всё активней и всё конкретней; он так махал руками, что нам казалось, будто это мы, а зрительницам женского пола – что это их.

Пели мы всё громче, а старшина ансамбля тромбонист Боднар готовился к своему соло: он должен был проиграть тему и подготовить почву для мощной коды.

Настроение начальника ансамбля передалось даже строгому старшине. Боднар так виртуозно сыграл первую музыкальную фразу, что вдохновение его перешло все границы: с невероятной силой дунул он в мундштук и резко отправил вперёд гнутую медную кулису. Кулиса слетела с тромбона и полетела в зрительный зал.

Зрители замерли.

Хористы и оркестранты попытались исправить положение. Одни открыли рты для того, чтобы петь, другие – для того, чтобы дуть. Но и у первых и у вторых вместо музыки вырвался немузы-

кальный, икающий смех. И чем больше мы пытались удержаться, тем громче смеялись.

Публика подхватила нашу бациллу и стала хохотать ещё более несдержанно.

Постепенно весь зал слился в громком хохоте, а два местных хулигана, выпучив глаза, дули в две дырки кулисы.

Это была кода!

* * *

– Я два месяца, как отчалил, и уже в непонятке! А на зоне хавку дают, тряпки, дохать есть где, кореша… Бл…дь буду, залеплю скок, погужуюсь, потом погорю по малому и – домой, на кичу…

Из исповеди пьяного скокаря-домушника)

Вот ведь какая штука: всего два года службы в армии, и в результате – сдвиг в сознании, масса воспоминаний и море исписанных страниц. Армия похожа на тюрьму: те же нары, тот же подневольный труд, та же жизнь по расписанию и та же отсидка от звонка до звонка.

С надеждой на неминуемое счастье ты ждёшь демобилизации; словно потному и пыльному отпускнику, тебе не терпится поскорее плюхнуться в это прохладное бесконечное море, именуемое «свободой», но, оказавшись на «гражданке», ты вдруг начинаешь хотеть обратно, туда, где не нужно думать, где не нужно решать, выбирать, туда, где остались твои надежды.

Незабвенный друг Якуб Вайсберг на заре нашей дружбы предостерегал меня такими словами:

– Вон видишь – капитан в малиновой фуражке? Он – особист. Подъезжать к тебе будет, как к любимой девушке. Не будь шлемазлом: не пускай его к себе в душу и ничего ему не рассказывай. Это первое. Теперь второе: ты уже знаешь, кто у вас в роте стучит? Нет? Я так и думал. Ну, так я тебе скажу: первый же, кто не будет тебя шугать и полезет в друзья-товарищи – стукач.

Я крепко-накрепко усвоил заветы старослужащего еврея и следовал им неукоснительно.

Капитан-особист действительно обхаживал меня, как мучимый приступами вины отец – своего внебрачного ребёнка. Он всегда возникал в самых неподходящих местах и с самыми непредсказуемыми расспросами. Я изо всех сил старался держать дистанцию и на любой его вопрос обычно отвечал:

– Всё нормально.

В роте я вёл себя сдержанно, не рассказывал политических анекдотов и ни с кем не делился своими мыслями и чувствами.

Однако мысли и чувства всё же были. Мысли и чувства всё же бродили, распирали меня и просились наружу.

Тогда я завёл себе маленький блокнотик. Я спросил его:

– Ты умеешь хранить тайны?

Блокнотик промолчал, и я тут же излил ему первую порцию своих душевных переживаний.

За два года я исписал его от корки и до корки.

Любовь перемежалась там с политикой, алкоголик-замполит майор Ященко легко уживался с генсеком Брежневым, заметки о дедовщине соседствовали с мыслями об антисемитизме, а мои потаённые терзания с тупым максимализмом спорили с действительностью.

Вместе с последней точкой на корочке блокнота пришёл первый соблазн посвятить кого-то близкого и надёжного в его сокровенные записи.

С мазохистской дотошностью следуя предостережениям Якуба Максовича, я обошёл стороной всех, с кем делил в роте пайку хлеба и миску «сухой» картошки. В свою тайну я посвятил лишь баяниста Ансамбля Сашу Масякина по прозвищу Канистра и дезинфектора гарнизонной санчасти – дзюдоиста и добряка – Лёшу Хренова. Происходило это в разное время и в разных местах, но и музыкант, и спортсмен слушали мои излияния с одинаково влажными глазами, одинаково обхватив руками головы и одинаково подытожив весь этот неконтролируемый поток сознания:

– Всё против нас. Господи, в какой стране мы живём!

Только тогда я успокоился, спрятал блокнотик в надёжном месте и купил себе новый.

Первого октября я проснулся за час до подъёма. Меня разбудил мой собственный хохот. Я накрыл лицо подушкой, чтобы не разбудить соседей по кубрику, но подушка не помогла.

Под утро первого октября мне приснился дурацкий сон.

Снюсь это себе я, до пояса раздетый и сидящий в таком неподобающем виде в Ленинской комнате.

За моей спиной, облачённый в солдатское нижнее бельё и кирзовые сапоги, сидит начальник штаба полигона генерал-майор Грабовский. Боевой генерал, вооружённый иголкой и разноцветными чернилами, выкалывает на моей спине огромную татуировку. Я не вижу её, но почему-то знаю, что состоит она из батальных сцен, в которых я езжу на танке, прыгаю с парашютом, беру «языка» во вражеском тылу, катапультируюсь со сверхзвукового самолёта, словом, совершаю разнообразные героические подвиги.

Я поворачиваю голову назад, мы с генералом встречаемся глазами, и смущенный начштаба начинает часто моргать и заискивающе улыбаться. Мне становится неприятно, и я увожу взгляд в сторону.

И тут же замечаю начальника политотдела генерал-лейтенанта Борзых, стоящего с утюгом в руках у гладильной доски. Главный идеолог города Приозёрска раскладывает на доске мои парадные брюки, набирает в рот воду, с пукающим звуком разбрызгивает её, плюёт на утюг и начинает глажку.

Я опять отворачиваюсь и прямо по курсу вижу фигуру третьего генерала – командира полигона генерал-полковника Сергиенко. Седой командир сидит в таких же, как и его коллеги, солдатских кальсонах, и пришивает погон к моему кителю. От натуги он высунул язык, а изо рта у него свисает нитка.

Вероятно, почувствовав мой взгляд, он пугается, делает резкое движение, колет себя иголкой в мизинец и автоматически засовывает палец в рот.

И тут я вскакиваю и ору мерзким командным голосом:

– Сорок уколов против бешенства!

Испуганный генерал становится по стойке «смирно», «ест» меня глазами и чётко по-солдатски отвечает:

– Благодарю, товарищ рядовой! Вы фактически спасли мне жизнь!

Я командую:

– Вольно, салага! – и выхожу в коридор.

И что же я там вижу? Я вижу мой собственный, огромных размеров, портрет, и рядом с ним золотую тиснёную надпись:

«Увольняется в запас
Лучший воин среди нас!»

Я, конечно, сначала обалдеваю, но постепенно прихожу в себя, расплываюсь в улыбке и с любовью вглядываюсь в знакомые черты.

Затем в моих сновидениях происходит временной сдвиг, и медленно начинает проявляться следующая картинка.

Туалет. Я отхожу от писсуара, застёгивая на ходу ширинку. Прямо на меня движется, – кто бы вы думали? Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Устинов. Как родному, протягивает мне Дмитрий Фёдорович руку, а я, наоборот, прячу свою за спину и обращаюсь к нему с такими словами:

– Я вас, конечно, уважаю, но руки не подам. Но не в том смысле, что вы подумали, а просто не помыл её после туалета.

Дмитрий Фёдорович, мотыляя головой из стороны в сторону, хватает мою нечистую ладошку, долго её трясёт и приговаривает:

– Это даже лучше, товарищ рядовой! Это такая честь, такая великая честь для старого солдата! После вашего рукопожатия я, может, и свою руку мыть не буду, долго не буду мыть! Как говорится, руки не поднимутся!

После этого эпизода в моём сне опять возникают помехи, а когда они рассеиваются, я оказываюсь стоящим на трибуне в центре нашего гарнизонного плаца. Слева и справа от меня выстроен почётный караул, состоящий сплошь из генералов и адмиралов.

На ступеньках перед трибуной возятся какие-то пожилые люди. Я вглядываюсь в них и не верю собственным глазам: отталкивая друг друга локоточками и пиная ножками, на лестницу поднимаются Члены Политбюро ЦК КПСС.

Мне становится смешно, но я проникаюсь серьёзностью момента.

Снизу раздаётся истошный вопль:

– Пропустите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! – и я вижу, как, орудуя кулаками, по ступенькам несётся Председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. Однако прорваться ему не удаётся, так как путь его преграждают идеологи коммунистического движения Суслов с Пономарёвым. Суслов кричит:

– Куда прёшь, как танк?! Мы тут все секретари ЦК! А я, например, ещё с ночи очередь занял!

Посрамлённый Андропов возвращается в хвост очереди, и я слышу внизу его голос:

– Кто крайний? Ты, Константин? Я за тобой буду.

Я чувствую, что вот-вот расхохочусь, и кусаю себя за палец.

И вдруг буквально в метре от меня нарисовывается до боли знакомая каждому советскому человеку физиономия «дорогого и любимого» генсека товарища Леонида Ильича Брежнева. Своим неповторимым величественным тембром он говорит:

– Участники войны без очереди, – и подходит ко мне вплотную. Я окаменеваю, а Леонид Ильич, смущаясь, как девушка, продолжает:

– Разрешите поцеловать в губы выдающегося русского воина-богатыря?

В угрожающей близости я вижу его морщинистое лицо, его косматые чёрные брови, его старческий причмокивающий рот. Генеральный Секретарь берёт меня за плечи и с неожиданной силой притягивает к себе.

В ту же секунду у меня в руках почему-то оказывается... подушка. Я прикрываюсь ею, но какая-то третья сила оттаскивает подушку в сторону...

...и надо мною зависает голова дежурного по роте младшего сержанта Володи Петрова. Он глядит на меня ошалелыми глазами и шепчет:

– Ты чё, сдурел? Чё ты во сне ржёшь?

Как только я понял, что все эти страсти мне приснились, я расхохотался в полный голос и прикрыл лицо подушкой, чтобы не разбудить соседей по кубрику. Но подушка не помогла.

Бойцы проснулись и потребовали объяснений. По свежим следам я пересказал им свой сон. Они хохотали так громко, что разбудили остальную роту. Тогда мне пришлось повторить свою историю снова.

Друзья-однополчане икали, плакали, матерились, прыгали на кроватях, размахивали одеялами, били кулаками по матрацам и кричали:

– Дембель давай!

Когда радостное буйство немного поутихло, младший сержант Володя Петров мечтательно произнёс:

– Скоро, скоро на дембель, землячки. Чувствуете, свободой запахло!

Он сказал это первого октября в шесть утра.

А в одиннадцать меня вызвали в Первый отдел.

...Я сидел на табурете в центре комнаты. За столом восседали четыре особиста со спектром званий от полковника до капитана. Да, да, того самого капитана, которым ещё в начале службы стращал меня мудрый Якуб Максович Вайсберг.

Именно он – капитан, – вопреки всем законам юриспруденции, в самом начале заседания «четвёрки» зачитал мне приговор:

– Первое – исключение из комсомола (я уверен, что комсомольская организация нас поддержит); второе – дальнейшее прохождение службы в дисциплинарном батальоне; третье – передача «дела» в Комитет Государственной Безопасности.

Сначала я очень удивился, затем жутко сдрейфил, а, услышав о КГБ, чуть не уделался. Но самым зловещим было то, что я ничего не понимал.

Чекисты-особисты знали обо мне всё. То есть всё вообще.

Они знали о моём детстве, о моём отрочестве и о моей юности. Они рассказали о моих родителях и о родителях моих родителей. Они поимённо назвали всех моих друзей. Им было известно о том, что на «гражданке» мы издавали журнал «Менестрель», который печатался на всё той же бабушкиной машинке. С каменными лицами и без тени улыбки они пересказали самые смешные и самые любимые мои анекдоты.

Наконец, они слово в слово процитировали выдержки из моего тайного блокнотика.

Мне «шили» самиздат, сионизм и антисоветскую деятельность. И это абсолютно не было похоже на шутку.

Я приготовился к тому, что сейчас из-под меня выбьют табурет и, пиная ногами, напомнят сегодняшний сон...

И тут фортуна повернулась ко мне фасадом: об этом последнем и решающем обвинительном «эпизоде» им ещё не успели настучать.

Я напряг мышцы ног и бешено закрутил извилинами.

– Товарищи офицеры!

От страха я начал так патетично и пронзительно, что особисты на мгновение привстали.

– Может быть, сейчас вы видите перед собой самого большого патриота и самого верного сына нашей Советской Родины. Отдавая должное прекрасной работе органов возмездия, как комсомолец (пока ещё), я должен всё-таки сказать... Простите, но изложенные вами факты вырваны из контекста. Они половинчаты. А, как писал Владимир Ильич в письме к Феликсу Эдмундовичу, чекист не имеет права руководствоваться показаниями только одной стороны; чекист обязан видеть ситуацию во всей её многогранности, – я на секунду приостановился.

– По первой части выдвинутых вами обвинений должен сказать, что великий основоположник научного коммунизма Карл Маркс называл менестрелей первыми революционерами. И содержание упомянутого вами журнала от первой до последней странички было проникнуто идеями революции, идеями равенства и свободы...

Я говорил всю эту чушь на совершеннейшем автопилоте, потому как в голове моей крутилась только одна мысль, один вопрос: «читали или им пересказали?».

Моя аудитория заёрзала на стульях и стала переглядываться. Я понял, что не читали, и ожил.

– Что же касается анекдотов... Вас ввели в заблуждение. Когда в компанию моих друзей попадает человек, рассказывающий анекдоты сомнительного характера, мы просто гоним его прочь. А процитировать подобный анекдот я могу только в назидание такому болтуну. Я всегда говорю: «Про это нельзя – это свято! Как тебе не стыдно, ведь ты – комсомолец!»

Я нёс такой бред, которому позавидовал бы самый больной самой белой из всех возможных горячек. У служителей «щита и меча» брови поползли на затылки, а звёздочки взлетели над погонами.

– А что же злополучный блокнотик?– спросите вы. – Да, – отвечу я, – блокнот существовал. Однако прочитанные вами выдержки являются лишь цитатами, лишь фрагментами прямой речи моих неблагонадёжных собеседников. Когда я понял, что эти записи могут попасть в руки политически близоруких людей с нестойким коммунистическим мировоззрением, я его просто уничтожил...

Я собрался продолжить дальше, но полковник вдруг резко встал и так же резко отрезал:

– Выйди! Жди!

Я пулей вылетел в коридор и обнял ушами дверь.

Через несколько минут меня снова пригласили в кабинет. Под влиянием уже знакомого интерьера меня вновь понесло:

– В своём послании к молодым литераторам Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев писал...

– Помолчи, – удивительно мягко прервал меня полковник. – Ты в Ансамбле кто? Певец?

– Так точно. А ещё я артист разговорного жанра.

– Оно и видно. Так вот, артист разговорного жанра, считай, что на первый раз ты отбрехался. Но если вдруг когда-нибудь, где-нибудь, прямо или косвенно, при каких-либо обстоятельствах, каким-то образом... Короче, если ещё раз тобой заинтересуется наша... наше ве-дом-ство, дело твоё автоматически выплывет из архивов, и тогда ты так просто не отбрешешься. Всё. Свободен.

Только тут я осознал, что мог быть «несвободен» по-настоящему. Только тут я вспомнил, что любой мой поход в незнакомую компанию бабушка и дедушка всегда предваряли словами:

– Не рассказывай анекдотов! Дядя Маня из-за них пятнадцать лет отсидел!

Через пару месяцев после демобилизации я оказался у друзей в городе Горьком. В этом городе жил мой армейский товарищ Лёша Хренов. У меня был его адрес.

Я честно его искал.

И я его не нашёл.

Ещё через пару лет я гостил в Москве у Канистры. Первым, что мне бросилось в глаза, когда я вошёл в его квартиру, была висящая на вешалке прапорщицкая шинель: после возвращения из армии баянист Ансамбля Саша Масякин по прозвищу Канистра пошёл служить в КГБ.

Я не грешу ни на одного из них. До сих пор я уверен, что был кто-то третий...

* * *

Вы видели когда-нибудь нормального человека, которого по окончании срочной службы забыли бы уволить из армии? Спрашиваю дальше: видели ли вы когда-нибудь еврея, который в мирное время отслужил бы в армии больше положенного срока? Вот, я не сомневался.

Начальник Ансамбля песни и пляски майор Пустовалов тоже не видел, поэтому ошибку строевой части решил не исправлять и отправил меня ещё на полтора месяца гастролировать по дальним площадкам.

В качестве компенсации за задержку я был отправлен на «дембель» самолётом ТУ-154, в котором из Приозёрска летали на «большую землю» старшие офицеры.

Перелёт был сказочный: все три часа в салоне крутили песни Луиса Дэниела Армстронга, разносили освежительные напитки и кормили пассажиров жареной курицей.

В совершеннейшей нирване я прилетел в столицу нашей Родины, переехал в метро на Курский вокзал и зашёл в общественный туалет.

В туалете был один-единственный посетитель: очень пьяный гражданин, монотонно дёргающий цепочку сливного бачка и пытающийся зачерпнуть воду из унитаза. Пьяница меня не увидел, а услышал. Я бы даже сказал: почувствовал. Не поворачивая головы в мою сторону, он заговорил:

– Что, бл...дь, на дембель? Ты, бл...дь, думаешь, что ты Родину защищал? Ни х...я! Ты, бл...дь, коммунистов ё...ных защищал! Бл...дь, ё..ные коммунисты, ё...ная Советская власть! Зашёл, бл...дь, в туалет руки помыть, а воды нет! Бл...дь! Ты что, бл...дь, думаешь, воду жиды выпили? Ни х...я, бл...дь! Её коммунисты ё...ные вылакали! А коммунисты кто, ты думаешь? Жиды, бл...дь! Только не те жиды, что, бл...дь, жиды, а те, что ё...ные коммунисты!

После этого прочувствованного монолога алкаш полез в ведро с использованной бумагой, взял ворох и принялся вытирать ею руки. Увидев, что руки его не оттираются, а, скорее, наоборот, он, чуть не плача, вновь разразился проклятиями в адрес Советской власти и коммунистов:

– Нет, ты видал? Бл...дь! Ё...ная Советская власть, ё...ные коммунисты! Хотел, бл...дь, руки вытереть, взял, бл...дь, бумажку, а она в говне! Ё...ные коммунисты, ё...ная Советская власть! Ты видал, бл...дь, у нас, бл...дь, «Правдой» жопы подтирают!..

...Фирменный скорый поезд нёс меня из Москвы в мой родной город. Я лежал на верхней полке и считал до ста. С закрытыми глазами лежал я на верхней полке и изо всех сил пытался уснуть.

Я считал до ста, а жизнь отсчитывала километры, годы, встречи, потери... Жизнь отсчитывала жён, детей, друзей, подруг... Она перечёркивала города, адреса, страны... До дыр она стирала имена, лица, голоса...

Она уничтожала саму себя, а маленький беспомощный человек болтался в плацкартном вагоне скорого поезда, который уносил его сквозь время и выстукивал колёсами одну и ту же фразу:

– Мимо станции «Жизнь» поезд проследует без остановки...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Какие только сюрпризы не преподносит нам история! Ну, кто бы мог подумать, что предводитель римских гладиаторов Спартак был далеко не последним человеком в иудаизме. Иначе зачем было бы открывать в синагоге спортивное общество его имени?

За два дня перед уходом в армию я познакомился с девушкой. Она была красивая и умная. Я познакомился с ней и ушёл в армию. И написал из армии письмо. И попросил прислать фотографию.

Она прислала.

На фотографии ей было пять лет.

После армии мы стали встречаться. Вот так, встречаясь и гуляя по городу, мы забрели как-то поздним вечером во дворик за синагогой.

Пахло весной.

Мы остановились возле сырой кирпичной синагогальной стены. Я закрыл рот. Стало тихо.

По Пушкинской проехал трамвай в сторону парка. Через минуту – другой в сторону вокзала.

Тогда она сказала:

– Как-то так мы с тобой ходим... Поцелуй меня, что ли?

И мы впервые поцеловались.

Потом она сказала:

– Как-то непонятно: то ли ты при мне, то ли я при тебе. Давай поженимся, что ли?

И я в первый раз женился.

* * *

Конспективно:

Осиротив ряды Советской Армии, не придумал ничего лучше, как вернуться на родной авиационный завод. Там месяца три-четыре попел соловьём в художественной самодеятельности, и снова (в который уж раз) потянуло в артисты.

Уволился.

Собрал семейный совет.

Мой Самый Первый Тесть отчаянно картавил и совсем не умел говорить тихо.

– У меня есть приятель-козлист, – мы с ним в саду Шевченко играем в домино. Он, правда, гой, но такой... приличный. Так он – директор парка культуры и отдыха на Холодной горе. Я поговорю с этим поцем, и он тебя куда-нибудь пристроит.

Мне подумалось, что культура и отдых пребывают с искусством театра в более тесном родстве, чем самолётостроение.

Сдался.

В парке культуры и отдыха Ленинского района свободной оказалась единственная вакансия – начальника спортивно-массового отдела. К массовому спорту я никогда не имел никакого отношения, но слово «начальник» до такой степени заарканило честолюбие, что я тут же забыл о театре.

Беспамятство продолжалось до первого рабочего дня, когда выяснилось, что, во-первых, должность называлась не «начальник», а «заведующий»; во-вторых, что в моём подчинении был только один человек; в-третьих, что этим человеком был я сам.

Хроники ПКиО Ленинского района «Юность» (построенного на месте бывшего кладбища и потому именовавшегося «парком живых и мёртвых»):

6 сентября. Стал свидетелем попытки изнасилования культработницы Веры одноруким работником «лесного хозяйства» на аттракционе «Весёлые горки». Предотвратил.

6 октября. Был вдавлен в отверстие унитаза семипудовой инспекторшей городского управления культуры: пребывавшая на пике половой абстиненции, пьяная инспекторша снесла дверь туалета, в котором я мирно журчал портвейном «Агдам».

6 ноября. В канун праздника Великой Октябрьской Социалистической Революции под стелой «Мальчиш-Кибальчиш» обнаружил труп околевшего алкоголика.

Вызвал милицию.

Приехали люди в штатском. Составили протокол. Подписали.

Забыли внести в протокол деньги, золотой крестик и карманную иконку.

Уехали.

Вместе с культработницей Верой грузил труп на грузовик и лично препровождал в морг.

6 декабря. 10 часов 40 минут. Заведующий пунктом проката пенсионер дядя Саша узнал от знакомых, что из холодногорской тюрьмы сбежали четверо заключённых.

11 часов 40 минут. Зэки появились в парке.

11 часов 45 минут. Дядя Саша вызвал милицию.

12 часов 00 минут. «Молодые орлы» устроили «бега» на детских «лошадках».

Дядя Саша с топором наперевес спрятался в кассе.

12 часов 40 минут. Насладившись «гонками по пересечённой местности», уркаганы направились в детский кинотеатр и заставили киномеханика прокрутить для них несколько серий популярного мультсериала «Ну, погоди!». Когда на экране появились бобры в милицейской форме, урки стали палить из «пушек» и бросать в ментов «перья».

13 часов 10 минут. Дядя Саша позвонил в милицию во второй раз.

13 часов 30 минут. Зэки спустились к заснеженной полянке, на которой играл духовой оркестр, и заставили пожилых лабухов исполнять блатные песни (трубы, тромбоны, кларнеты, туба, большой барабан – и «Пердячий пар, юрцы и вошляки, Я первый срок мотал...», – это... сам себе завидую, что слышал).

14 часов 00 минут. Дядя Саша позвонил в милицию в третий раз.

14 часов 05 минут. Сдали нервы. Я подошёл к самому авторитетному зеку и очень интеллигентно попросил его с подельщиками удалиться.

Пахан вдавил мне в живот пистолет, а его товарищ, размахивая ножом, заорал:

– Шмаляни в него, суку! Шмаляни!

Я осознал свою неправоту, извинился и отошёл в сторонку.

14 часов 15 минут. Пахан, под аккомпанемент духового оркестра, спел песню «За фабричной заставой».

14 часов 25 минут. Зэки удалились.

14 часов 45 минут. В здание конторы, крадучись, пробрался одинокий милиционер, спросил: «Как обстановка?», сказал: «Если что – звоните!», сел на трамвай и уехал.

30 декабря. Мне повысили зарплату на пять рублей.

31 декабря. Уволился.

...Первого января заскочил на работу к сводному брату. Поздравил с Новым годом.

Он сказал:

– Уволился?

Я сказал:

– Ага.

– Хочешь у меня работать?

– Не понял...

– Здесь, в пуско-наладке...

– А кем?

– Слесарем-наладчиком.

– В смысле?..

– Проверять «уровень шума» и «степень освещённости».

– Ты шутишь?

– Будешь занят четыре-пять дней в месяц. Остальное время – твоё.

– А что, за такое платят?

– Платят. Двести пятьдесят рублей. Блатным. Иди – получай командировочные.

* * *

Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе, и крылья заходили над убитой птицей.

Исаак Бабель, «Мой первый гусь»

Город Путивль Сумской области знаменит не только плачем Ярославны – жены князя Игоря. Этот древний город примечателен также тем, что в его окрестностях водятся самые упитанные и ценные с гастрономической точки зрения индюки и гуси.

Именно в Путивль, спустя восемь веков после похода Игоря Святославовича на половцев, попали три командировочных: армянин, татарин и еврей.

Помимо задач, поставленных перед нами родным пусконаладочным управлением, мы преследовали ещё две личные цели: посмотреть финал «Кубка Кубков» по футболу и купить трёх гусей и столько же индюков, чтобы достойно встретить праздник «Седьмое Ноября» – годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции.

После безрезультатных поисков вала, на котором причитала Евфросиния Ярославна, мы затарились водкой и поселились в гостинице. Вечером в холле перед калечным телевизором собрались болельщики. Кроме армянина, татарина, еврея и сисястой администраторши, все они были потомками гордых грузинских князей: в этот вечер играло тбилисское «Динамо».

Футбол выдался успешным: динамовцы взяли Кубок.

Их земляки ликовали. Национальный герой Колхиды комментатор Котэ Махарадзе в восторге кричал:

– Ликует вся Грузия! Ликует весь Советский... весь советский... любители футбола!..

Грузины стреляли «Шампанским», произносили короткие, но ёмкие тосты и по очереди предлагали администраторше, ставшей «королевой бала», «пламенную кавказскую любовь».

В этот вечер и в эту ночь мы растворились в грузинских песнях, «Советском Шампанском» и гостиничных клопах.

На следующий день, произведя сложные пуско-наладочные работы, мы отправились покупать птиц. Поторговавшись для приличия с аборигенами, мы купили трёх симпатичных индюков и

трёх не менее симпатичных гусаков, засунули их в багажник и повезли домой.

Сидя на заднем сидении «жигулёнка», я вдруг понял, что и гуси, и индюки совершенно живые, а для приготовления индюшиных котлет и гусиных шкварок их нужно, как минимум, забить. Я крепко задумался.

В унисон с ходом автомобиля впереди покачивались уверенные спины моих попутчиков, а в зеркало заднего вида на меня поглядывали две пары глаз. И тут я с роковой неотвратимостью осознал, что убивать несчастных птиц придётся именно мне. Я как-то сразу взмок, и капельки пота по-пластунски поползли по моим глазам.

«Жигуль» резко встал. Армянин спросил:

– Зачем плачешь?

Татарин сказал:

– Ты тараканов убивал? Так это те же тараканы, только они выросли.

Ну, как было объяснить этим чёрствым мужланам, что вся моя утончённая натура вставала на дыбы даже тогда, когда руки пришлёпывали прусака домашней тапочкой!

Мы выехали на опушку леса. Мои коллеги вынули из мешка индюка и, лишив последнего слова, тут же его разделали. Гусь остался за мной.

Весь обратный путь мне подробно излагали технологию убийства и подсчитывали, сколько тонн мяса средний человек съедает за свою среднюю жизнь.

В то время я жил с Самой Первой Женой, Самой Первой Тёщей и Самым Первым Тестем в самом центре нашего большого города. Напротив нашего дома через площадь стоял Дворец Труда и Горсовет.

После непродолжительных дебатов гуся было решено поселить на балконе, выходящем на площадь. Мы не преследовали никаких политических целей. Просто в нашей квартире был всего один балкон.

До «Седьмого Ноября» оставалось несколько дней. Из художественной литературы я знал, что гуся перед употреблением очень полезно некоторое время покормить грецкими орехами. Тогда он становился жирным и покладистым.

Всей семьёй мы накололи тазик орехов и выставили их на балкон. Гусь не оправдал наших ожиданий: ему было грустно, он вспоминал прежних хозяев и в таком ностальгическом настроении отказался от еды, а содержимое миски обгадил. За несколько дней наш лапчатый брат сильно исхудал и затосковал.

Его жизнь прервалась шестого ноября. Я сделал всё по правилам: оттянув верёвкой гусиную голову, я свершил свой неправедный суд. За эти несколько минут перед моими глазами прошла вся галерея известных мне гусей: от тех, которые спасли Рим, до тех, которых воровал Паниковский.

Мой тесть из-за балконной двери кричал, что я садист, и клятвенно пообещал, что не притронется к жареной птице. Я нецензурно попросил отца моей жены отойти и принялся ощипывать тушку.

И тут произошёл сбой в технологической цепи: перья полетели на площадь. Я уже не мог прервать процесс и, прячась за перегородкой, дощипал свою жертву.

На следующий день трудящиеся нашего города стройными колоннами двигались на демонстрацию.

Над площадью вместо праздничных шариков летали гусиные перья.

Мы на демонстрацию не пошли. Сидя за кухонным столом просторной «сталинки» на седьмом этаже дома со шпилем, заперев дверь на все замки, засов и цепочку, мы уничтожали следы преступления.

Я обгладывал гусиное крылышко, а у меня перед глазами стоял боец Первой Конной армии Будённого Исаак Эммануилович Бабель. Тот самый Бабель, который написал когда-то рассказ «Мой первый гусь». Я грыз кость и думал, что никогда, ты слышишь, гусь, никогда не поднимусь до бабелевского «вопреки»! Я скрежетал зубами и понимал, что возвёл мост разве что между нашими гусями...

* * *

Здесь всё в открытую, без кулис –
Тряпья бутафорского нету
В спектакле, имя которому – «жизнь»,
На сцене с названьем «планета».
Здесь нету партера и нету лож,
Эффектной нет мизансцены;
Билет покупает и правда и ложь –
Равны на билеты цены.
Здесь часто в кумирах бездарный позёр,
Нашедший и «лапу», и место,
Здесь часто таланту шепчет суфлёр:
– Вы отклонились от текста!
Здесь главная сложность – суметь прожить
По нетеатральным законам,
Здесь каждый актёр может зрителем быть,
А может остаться актёром.

Песня, возникшая в недрах театра-клуба, написанная Сашей Гельманом

Мне шёл двадцать четвёртый год. Я исчерпал свой первый брак, у меня не было профессии, и жизненные цели были призрачными.

Мною по-прежнему владела страсть к театру. Она забирала все мои мысли, всё моё время, всю мою личную жизнь. Театр был моим домом, театр был моей семьёй, театр был моей религией и моим грехопадением.

Мой второй театр назывался «театром-клубом». Самым ценным и самым удивительным было то, что это название полностью соответствовало этой сути. Как клуб, наш театр каким-то чудом впитал в себя принципы свободной дискуссионности, абсолютно открытого общения, бескомпромиссного поиска и трепетного человеческого братства. Как театр, наш клуб со всем простодушием и наивностью искал своё место во всемирно-историческом театральном процессе, скрупулёзно и педантично изучал театральную историю и, опираясь на традиции великих лицедеев, пытался изобретать новые формы.

Главным кредо театра-клуба было «создание спектаклей средствами выразительности театров разных эпох».

Я проводил в театре всё своё время. С одной стороны, маму мою устраивало то, что её сын не болтается по улицам, не распивает в подъездах спиртные напитки и не спит со случайными женщинами. С другой – она понимала, что это увлечение не только не повысит моего благосостояния, но ещё и, не дай Бог, своей духовностью отвратит от поисков столь необходимого хлеба насущного. Поэтому она сказала буквально следующее:

– Твой покойный дедушка, на долгие годы, мечтал, чтобы ты стал образованным человеком. Поступи в какой-нибудь институт и получи диплом. Ты же знаешь, что в наше время означает диплом!

Я не очень хорошо понимал, что в наше время означает диплом. И всё же, для маминого спокойствия, поступил на вечернее отделение некоего ВУЗа в пяти минутах ходьбы от нашего дома...

...Утром пришло извещение о том, что я зачислен на первый курс вечернего отделения машиностроительного факультета, днём Борька Шаршунов «снял» двух «подруг», а вечером мы вчетвером прятались от дождя в телефонной будке; Борька звонил к себе домой:

– Здравствуйте! А Боря дома?

Борькина мама (за неполные тридцать лет, прошедшие со дня его рождения, так и не привыкшая к выходкам собственного сына) неуверенно отвечала:

– Не-ет.

Тогда Борис Александрович выдал свою коронку:

– Ну, так он и не придёт; ну, так вы его и не ждите: он скоропостижно женился и ночует сегодня в другом месте!

Тем же вечером «на хате» мы пили водку и охмуряли дам. Над столом воспарила любовная нега, и я сформулировал общее мнение:

– Давайте определяться.

Дамы встали из-за стола и чухнули в ванную. Моя левая бровь изобразила вопросительный знак, но Борька обломал предстоящий кайф.

Он поставил на стол не выпитую рюмку водки (чего раньше за ним никогда не замечалось), сделал серьёзное лицо (чего не случалось с ним ни до, ни после) и спросил:

– А когда же ты будешь ходить в институт?

Он спросил меня, когда я буду ходить в институт! Заметьте, не «на репетиции», а «в институт»!

И я задумался в первый раз.

...Днём в торжественной обстановке мне выдали девственную зачётную книжку, а вечером мы сочиняли очередной «капустник» к очередному ...летию того же Борьки Шаршунова.

Начиналось весело: выждав, пока все собрались, в дверь вкатился Серёжа Андрюнин. Из одежды на нём были только трусы и носки, в руках кожаный «дипломат». Он чапал на корточках и гнусавил тонюсеньким голоском:

– Фирма «Лесбиянка»! Услуги на дому и на производстве! Создаём интимную обстановку с последующим излечением. Посещение манипуляционного кабинета за счёт источника. Фирма «Лесбиянка»...

Андрюнин настроил публику на смешливую волну, но «капустник» не пошёл.

После получасовой маеты из-за широкой пазухи Владика Ольховского выполз свёрток со свернувшейся бычьей кровью – фаршем для кровяной колбасы, героически вынесенный через проходную роганского мясокомбината. «Кровянка» взбудоражила публику и выманила из сумок заготовленные на «после того, как» ёмкости с горячительными напитками.

Вопреки неписаным правилам, мы зарядились алкоголем и зарядились основательно, однако и это не принесло вдохновения.

В результате Яковлева с Немцевой взяли гитару и запели что-то слезоточивое. Кажется:

Ой, цветёт алоэ
В поле у ручья,
Тело молодое
Нагуляла я.
Тело нагуляла
На свою беду,
А теперь для тела
Дела не найду.

Кончилось пьянкой.

Расходились глубокой ночью. В пиндюрочной прихожей народ разбирал обувь.

Я залез под полку за своей сандалией; неожиданно меня качнуло и, под воздействием сладостного «шафе», опрокинуло на пол. Немцева неприлично разоржалась и, глядя на меня сверху вниз, сказала:

– Слушай, а что ты себе думаешь? Нужно репетировать! Когда же ты будешь ходить в институт?

И я задумался во второй раз.

...Вечером у меня было первое занятие по начертательной геометрии. Я, не задумываясь, его прогулял.

И пошёл на репетицию в театр-клуб.

Институтским преподавателям я честно врал, что не посещаю лекций, потому что постоянно езжу в командировки, но вот-вот подтянусь и вообще переведусь скоро на заочное отделение. Сбитые с толку моими противоречивыми покаяниями, «доценты с кандидатами» ставили «государственную» оценку, а я вырывал из их рук зачётку с подозрительной поспешностью ещё до того, как успевала докрутиться последняя закорючка преподавательской подписи.

...Предмет, которым обычно запугивают абитуриентов, называется «сопротивление материалов».

Этот страшный «сопромат» вела в нашей группе чрезвычайно милая молодая женщина с аккуратной фигуркой, проседью в волосах и мохнатыми усиками в уголках губ.

Сопроматчица не стала исключением и получила свою порцию перманентных историй о перманентных командировках. Больше того: поскольку дамочка была значительно привлекательней толстых дядек, посвятивших свою жизнь токарным и винторезным станкам, то и порция её «лапши» получилась обильнее и длиннее. Сопроматчица абсолютно уверовала в то, что я не вылажу из поездок и являюсь незаменимейшим из всех специалистов-пусконаладчиков.

На зачётах она виновато задавала мне вопросы, потом сама же на них отвечала, ставила «удовлетворительно» и напутствовала добрыми словами, от которых начинали чесаться пятки:

– Вы хоть поспите... Нельзя так много работать...

Мой институт нисколько не мешал моему театру, потому как я даже помыслить себе не мог, что вместо репетиции можно пойти на «пару».

И чего уж тут скромничать: ясно, что в условиях такой моей завзятости и такого же оголтелого фанатизма всех остальных театралов-клубистов театр-клуб не мог не разродиться гениальным спектаклем.

И разродился.

Называлось это детище коллективного таланта – «Театротека», то есть игра в театр. По форме это была некая производная от модной тогда дискотеки и драматического спектакля, а по сути – сцены и прологи из различных театральных эпох.

Каждый из актёров исполнял несколько ролей. В просторном фойе дворца культуры строителей были сооружены двенадцать сценических площадок. Традиционные зрительские места отсутствовали, и зрители были обречены перебегать от площадки к площадке и быть вовлеченными в действие не пассивными наблюдателями, а вольно мобилизованными участниками.

Наш художественный орган «клуб-совет», стимулируемый инъекциями серого вещества Саши Гельмана, замыслил так, что господа лицедеи должны были начинать спектакль в цивильной одежде, затерявшись среди публики, а по мере развития действия, переодеваться в сценический костюм и возникать на том или ином помосте в разных концах фойе.

...Сновавшие среди публики участники Театротеки жутко волновались. Отец-основатель театра-клуба Саша Гельман пересекал толпу трассирующими «броуновскими» перебежками, терзал бороду и, натыкаясь на артистов, по-шпионски нашёптывал:

– Не прилипайте друг к другу – растворяйтесь среди зрителей!

Закадычный друг театра Венька Бенский, в праведном желании приободрить очумевших актёров, подкрадывался по очереди к каждому и спрашивал:

– Ты волнуешься?

Актёры так же поочерёдно, но более разнообразно посылали флегматичного гения общения, и он послушно перебегал к следующему объекту своей трогательной заботы.

Исключение составила лишь Ленка Яковлева. Она ответила исчерпывающе честно:

– Я волнуюсь?! Да я просто ссу!!!

В тот момент, когда «диск-жокей» Хазик врубил музыку, а «театр-жокей» Андрюнин издал первую реплику глашатая, в противоположном от меня конце фойе появились директор Дворца культуры и моя сопроматчица. По всему видно было, что они хорошие знакомые. Директор выглядел «солидняком» и что-то обстоятельно рассказывал своей спутнице. Женщина окинула взглядом пространство и тут же увидела меня. Она просияла и помахала ручкой. Наверное, моя театралка безумно обрадовалась, что студенты машиностроительного факультета посещают столь изысканные мероприятия.

Со мной же, как впоследствии говаривал наш преподаватель режиссуры Анатолий Леонидович Вецнер, случился «шокинг». Я представил, как директор, который знал меня как облупленного, рассказывает своей приятельнице, что я провожу тут дни и ночи, посещаю в промежутках театральную библиотеку, и что из всех институтов важнейшим для меня является театр. Я задницей почувствовал, как моё коричневое враньё начинает бродить, подниматься и с головой покрывать доверчивую дамочку.

Только глубочайшая убеждённость в том, что театр – это святое, и затрещина, полученная с «двух рук» от Яши с Немцевой, заставили жреца Мельпомены отбросить потусторонние эмоции и «войти» в спектакль...

Рискую совершенно запутаться, не выбраться из нарытого мною же омута немыслимых параллелей и меридианов, но, ей-богу, театр-клуб того заслуживает. Я скажу. Это было чудо. Это было счастье вдохновения, это было то, что бывает раз в жизни.

...Подхваченная под белы рученьки возбуждёнными зрительскими массами, моя педагогиня послушно дрейфовала по фойе, и её с необъяснимым постоянством прибивало к самым кромкам площадок, на которых проистекали мои сцены.

Она стояла, опершись руками о подиум, когда, воспарив на котурнах, нахохлив воробьиным оперением гиматии и увенчав себя лавровыми венками, мы с Борькой пытались довести зрителей до катарсиса:

– Да, я люблю среди лавров и роз
Смуглых сатиров затеи...
– Да, я люблю и Лесбос и Порос...
– Да, я люблю пропилеи...

Скрепив ладошки и прикрывши ими носик, улыбающимися глазками она постреливала в художника, разыгрывающего пасторальную сценку:

– О, прелестная фемина,
Вы сама – уже картина!
Мне в портрете вас воспеть ли?
Вдохновения глотнуть!

– она наблюдала за художником в белых чулочках и белом паричке, которому только вчера поставила «зачёт» по сопромату.

Она... Десять раз подряд в маске пьяного персонажа «комедии дель арте» я «подъезжал» к неприступной Смеральдине:

– Тук, тук, тук! Кто там? Это я – доктор Грациано. Пришёл к Вам с интере-е-есным предложением!

Десять раз подряд негодующая Смеральдина отпихивала меня со слабо скрываемым темпераментом Ленки Яковлевой.

А она... Десять раз подряд я отлетал безвольной наслюнявленной бумажкой и сшибал с ног хохочущую кандидатку технических наук.

Она распознавала силуэт своего брехливого студента в тени отца Гамлета – Славки Прилуцкого – самого неартистичного, самого правдивого и самого философичного из всех гамлетов.

Она узнавала мой «голос из сини» в голосе Людовика, оглашавшего свой вердикт Мольеру.

Когда, вдохновлённый до крайности... о, Господи, слова не поспевают за мыслью... под сценической «крышей» короля Фердинанда я орал на Танюшку Немцеву, с трудом прячущуюся от меня под образом Екатерины. А она, моя преподавательница, затыкала уши, и зажмуривала глаза, и покатывалась со смеху, и кричала:

– Браво!

И в конце, и в финале представления, когда мы все, уже совершенно «без тормозов», неся зрителям одну мощную коллективную эмоцию, скандировали:

– Когда я пришёл на эту землю,
Никто меня не ожидал!

– я увидел, что она – моя училка – задрав голову, стоит у моих ног, а из глаз её капают слёзки...

Потом был традиционный «капустник» и большая пьянка. Были «друзья театра», и была она.

Уже поздней ночью и уже после обильной выпивки и скудной закуски посреди пустой чёрной сцены я ловил за хвост свою мечту.

Сначала я унюхал запах духов, а уж затем в подошедшей ко мне женщине узнал её. Она обняла меня совершенно не по-преподавательски, и я ощутил, какая она хрупкая и миниатюрная.

Театр-клуб родился Первого Апреля.

И люди театра-клуба – к чёрту метрики! – родились Первого Апреля. В день Смеха! В день Радости!

В день Истины. Ибо, процитировав вслед за Феликсом Давидовичем Кривиным старика Демокрита, на вопрос «Что есть истина?» каждый из нас ответил бы:

– Я смеюсь!

Театр-клуб был прав. И мы были правы. Потому что давали людям надежду. Ибо великая и скромная миссия искусства – давать людям надежду.

Сегодня мы живём в разных городах и даже в разных странах. А грубый, неотёсанный и болезненно правдивый Владик давно обитает на небесах.

Но мы все удивительно неустроенны в жизни.

И виной тому – наш клуб-театр.

Он не научил нас устраиваться.

* * *

...После капустника намечалась пьянка с последующим развратом...

Мама, как обычно, сказала:

– Не шляйся среди ночи, лучше оставайся там до утра. Когда я знаю, что ты вернёшься утром, мне как-то спокойнее.

Я очень надеялся, что у меня получится остаться до утра в этом заманчивом «там», поэтому я легкомысленно пообещал маме ночевать вне дома.

Ещё я понимал, что ей очень хотелось бы, чтобы её любимый мужчина – стеснительный и деликатный Виктор – остался с ней на всю ночь. Моё присутствие это полностью исключало.

Намеченная после капустника пьянка состоялась, а вот разврат – увы. Я позвонил домой. Мама до такой степени вяло и неохотно сказала, что ждёт, что я вначале бодро сообщил, что пойду ночевать к друзьям, а потом уж обиделся.

Идти мне было некуда. Я лазил по ночному городу и, в конце концов, приплёлся туда, где обычно собираются все беспритульные. На вокзал.

* * *

А мы с ним ещё и поторговались. Ой, как стыдно!

Кавказ. Абхазия. Отпуск.

Я, Таня, Славик, дети... Это был прямо-таки творческий отпуск. Мы со Славиком в море на надувном матрасе пишем пьесу. Гениальную пьесу. Мы её действительно пишем. Тут же на матрасе лежит мокрая тетрадь и ручка.

В свободное от моря время мы собираем грибы горькушки. Варим их три часа. А потом едим горькими.

У нас потрясающий хозяин.

Он осетин. Он одинок. Он щедр. Он пьяница. Мы зовём его Петридис.

Мы возвращаемся с пляжа, а он идёт на работу:

– Там эта, Танья, Игор, Слявик... Кушайтэ... Я эта... Курицу... Чтоб бильо... Кушайтэ... Отдихайтэ...

Я как-то ляпнул, что люблю «Псоу». Это такое полусладкое вино. Мы, опять же, возвращаемся с пляжа, а он, опять же, идёт на работу:

– Там эта... Игор... Вино... Чтоб бильо...

Мы заходим в дом и видим ящик (!) «Псоу».

Пить с ним было невозможно. Он ставил бутыль невероятных размеров и бокалы, которые нужно было держать двумя руками. Мы закусывали приготовленной им курицей, а он – перцем «огонёк», который срывал тут же с грядки. Один бокал он заедал одним «огоньком». После двух-трёх тостов мы поочерёдно отвлекали его и сливали вино обратно в бутыль. Он произносил один и тот же тост:

– Эта...Слявик, Игор... Эта... Я хочу выпить, чтоб эта... Чтоб бильо... Эта... Всьо... Эта... Слявик, Игор... Всьо... Эта... Чтоб бильо... В общем... Чтоб бильо...

Он был совершенно косноязычен, но безгранично добр.

А мы с ним ещё и поторговались. Ой, как стыдно!

* * *

И сотворил Всесильный человека по образу Своему, по образу Всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их.

Тора, Брейшит, глава 1, стих 27

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Библия, Бытие, глава 1, стих 27

Поистине, Иса перед Аллахом подобен Адаму: Он создал его из праха, потом сказал ему: «Будь!» – и он стал.

Коран, Сура 3, стих 59

Серёжка Коньков был моим другом. По профессии он был закройщик, а по призванию – анекдотчик и юморист. Серёжка мгновенно реагировал на любые, даже очень глубоко замаскированные, ростки смеха. Я никогда не видел его неулыбчивым: смуры не были коньковской стихией.

Невозможно описать словами, какое было удовольствие выпить с ним рюмку водки. Наше алкоголическое общение всегда возникало неожиданно и превращалось в праздник. Коньков умело сервировал стол, даже если в холодильнике валялась одинокая пачка пельменей. Когда он находился рядом, водка станови-

лась запотевшей, пельмени домашними, а любой хлеб – «бородинским».

...Лекция закончилась. Мы вышли из душной аудитории в прохладный осенний вечер.

Это было время поголовного дефицита, и особо популярным анекдотом был:

– Что было раньше: курица или яйцо?

– Раньше всё было!

Для полноты картины должен заметить, что такая книга, как Библия, была нам известна только в изложении Зенона Косидовского, а из всего научного наследия Чарльза Дарвина мы помнили только, что нашими предками были обезьяны.

Проходя мимо магазина с актуальным названием «Диетический», Коньков вдруг спросил:

– А действительно, что было раньше: курица или яйцо?

Я собрался отшутиться, но тут взгляд мой неожиданно напоролся на здание старого заброшенного монастыря, и из меня вывалилась фраза:

– Кстати, о яйцах: ты знаешь, что луковицы куполов, это – головки фаллосов?

Коньков хмыкнул, но, поглядев на монастырь, нервно передёрнулся и враз посерьёзнел:

– Точно!

Дальше слова полились из меня, как вода из крана со скрученным вентилем:

– Ничего не было раньше или позже. Всё было всегда. Вот ты можешь себе представить бесконечность? Логически я не могу тебе этого объяснить. Ну, вот представь себе окружность, кольцо. «Любовь – кольцо, а у кольца начала нет и нет конца». Ты, когда вычерчиваешь окружность, один только знаешь, где начал, а где кончил. А я понятия не имею (если, конечно, не подглядываю). А теперь представь: ты поместил на окружности курицу и яйцо. Что раньше? Для того чтобы ответить на этот вопрос и при этом не выглядеть полным идиотом, хитрый еврей Эйнштейн придумал «теорию относительности». Но мы с тобой, как настоящие марксисты, не ищем лёгких путей и честно заявляем: ответа на этот вопрос не может быть, потому что его не может быть никогда!

Серёжка прищёлкнул языком, снял с пальца обручальное кольцо и посмотрел сквозь него на небо. Затем он попробовал колечко на зуб, водрузил его обратно и сделал сногсшибательный вывод:

– Значит, не факт, что наши родители были раньше нас. Выходит, что наши предки одновременно и наши потомки? Ты знаешь, я, кажется, начинаю чувствовать бесконечность!

Мы миновали Исторический музей, шугнули пацанов с английского танка времён Первой мировой войны, прошли мимо здания старого ломбарда, мимо театра «Березіль», мимо загса и задворками вошли в городской сад. Мы шли молча и курили. Первым заговорил Коньков:

– Как это? Азохен вей, да? Азохен вей: я, простой закройщик, всегда называл материей кусок ткани. И при этом не задумывался, что это нечто, извини за выражение, непостижимое и бесконечное...

Серёжка поднял голову и увидел невдалеке обсиженный голубями памятник Ленину. С нежностью глядя на обкаканную фигурку Ильича, он продолжил:

– Вот только объясни мне – рядовому недалёкому коммунисту: ещё в детском садике, когда я водил хороводы вокруг ёлочки и пел песни про дедушку Ленина, мне вбили в голову, что материя первична. И в своём ателье индивидуального пошива модной одежды я каждый раз в этом убеждаюсь. Сначала я раскраиваю ткань и режу её на лоскуты, а уже потом девочки сострачивают клиенткам кофточки с глубоким вырезом. И выходит, что ты не прав: кофточки вначале были ситчиком, а мы с тобой – личинками, куколками и ещё чёрт его знает какой гадостью.

Я понял, что недооценил диалектические способности моего друга и с нарастающим азартом продолжил полемику:

– Одно другого не исключает. Понимаешь, материя – она как пластилин. Или как глина. Вернее, чтобы понять, что такое материя, нужно представить глину или пластилин. Ты берёшь брусок и лепишь из него фигурку. Ну, как Бог лепит человека. Но ты из того же количества, из того же куска мог бы вылепить другого или другую, третьего, негра, азиата, бегемота, ну – любого. Потом у тебя фигурка постояла – пожила, ты её смял и слепил следующую... Мы не просто из одного пластилина, мы из одного куска!

Ни я, ни Коньков не заметили, как с неторопливого и размеренного шага перешли на движение вприпрыжку. Мы скакали по газонам и в своём жизнеутверждающем прозрении наступали ногами на наших невидимых предков – муравьёв, жучков, мошек... Мы общались друг с другом одним лишь нам понятными междометиями, предлогами, союзами... Мы сотрясали воздух матерными словами вперемежку с научными терминами, о значении которых только догадывались. На нас оборачивались прохожие, от нас шарахались девушки. Им, беднягам, было не понять, до каких высот поднялись мы в своём понимании, к каким откровениям прикоснулись!

Мы вырулили на проспект, носящий имя того же загаженного симбирского оракула. Закройщик-коммунист Серёжа Коньков, подпрыгивая, как жизнерадостный пудель, визжал во весь голос:

– Так что выходит? Нет, ты понимаешь, что получается? Это ж... ну, ни хрена себе! Выходит, что все люди, все звери, все кошки, собаки, мы все – братья! Настоящие, кровные братья! Получается, что мы все – родственники! Нет! Ой! Ну, ни фига себе! Мы – единое целое, мы – вообще один человек!

Прыгая возле него родезийским риджбеком, ему вторил беспартийный наладчик:

– Мы умрём! Нас похоронят! Из нас вырастет дерево! Его склюют птицы! Потом они покакают и удобрят землю! На земле

вырастет яблоня! И наши дети будут есть эти яблоки, в которых частица нас же! И тогда смерть – это фигня! Это иллюзия! Потому что мы не умираем! Никто не умирает!

Коньков перешёл на фальцет:

– Ты понимаешь, что ты сказал? Нет, ты... Я же, если откушу это яблоко, я откушу кусочек тебя! Ты будешь во мне! Какая-то часть тебя! Нет, не будешь! Есть!! Прямо сейчас во мне часть тебя, а в тебе – часть меня! Нет, ни черта! Не часть! Ты весь во мне, а я весь в тебе!!! Значит... я – это ты! А ты – это я! Я – это ты!!! А ты – это я!!! Я – ты!!! Ты – я!!!..

Последние фразы мы кричали хором. Это было значительно сильнее любого оргазма. Мы почувствовали, как одно общее большое счастье переливается в наших телах. Мы услышали, как оно булькает и с невероятной силой просится наружу...

...Было темно. Мы стояли под огромным кустом и оправлялись. Коньков посмотрел на меня. Я посмотрел на Конькова. Потом мы очень синхронно и очень серьёзно закивали друг другу головами. Коньков сказал:

– Да.

Я сказал:

– Да, да, Коньков. Я писаю тобой...

Коньков сказал:

– Да. Я писаю тобой, а ты писаешь мной...

Если сказано, что Создатель сотворил человека по образу и подобию своему, то совершенно очевидно, что главное человеческое предназначение – создавать. А поскольку создавать, не познавая, невозможно, получается, что живём мы все ради познания. И, по большому счёту, здесь уже не имеет значения, познаёшь ли ты какие-то непреложные истины, или изучаешь физиологические особенности собственного организма. Ты познаёшь и поэтому ты ещё живёшь.

Сейчас Серёжка работает в женской тюрьме. Он майор. Недавно мы встретились, и он сказал, что думает идти служить на таможню. Там больше платят.

* * *

Курорт. Барышня разговаривает по междугородному телефону:
– Клара! Ты меня слышишь?! Ехать не советую! Тут абсолютно нет мужиков! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув!

Сергей Довлатов, «Записные книжки»

Когда я в самый первый раз развёлся, я даже представить себе не мог, что это произошло не в последний раз. Да, не в последний...

Мой самый первый развод совершенно деморализовал мои нестойкие мужские гормоны, и я обмяк.

В состоянии полнейшей ветоши я был подобран друзьями и подругами и препровождён в п.г.т. Приморский, что на Южном Берегу Крыма.

Процесс первичной регенерации плоти проходил довольно спокойно. Я наслаждался солнечными ваннами, карточными играми и огромными кормовыми огурцами, в обиходной речи именуемыми «желтяки».

Постепенно скукоженные мужские гормоны расправили плечи и потребовали «продолжения банкета». Первым побуждением друзей и подруг было решение воспитать достойного в своём коллективе. Но по зрелом размышлении народ пришёл к выводу, что дружба дороже любви, и решил искать партнёра на стороне.

Жертва подвернулась незамедлительно. Ею оказалась хорошенькая восемнадцатилетняя девушка с высокими стандартами, стройными кондициями и пытливыми глазами. Когда её впервые пригласили играть в «дурака», она даже представить себе не могла, какого «пляжного подкидного» уготовили ей эти приличные люди с интеллигентными лицами и обгоревшими спинами.

В тот момент мне было двадцать пять лет. Путём несложных арифметических действий вы можете подсчитать, что разница в возрасте между мной и избранницей коллектива составляла семь лет.

И если это не составит вам труда, я просил бы вас эту разницу запомнить.

Гормональная атака началась, как говаривал мой знакомый Миша Плинтус, с «выгула реципиентки».

Здесь я вынужден сделать небольшую паузу с тем, чтобы нагло и самонадеянно, буквально в течение нескольких секунд, обобщить и схематизировать многовековой опыт общения мужчин и женщин.

Итак, схема эта являет собою спираль. Внешние её витки, расширяющиеся и уходящие в бесконечный макрокосмос, символизируют, соответственно, космическое зарождение полов, первые сексуальные фантазии, мечты, первые прикосновения и первые поцелуи.

Средние витки спирали более конкретны. На них мужчины знакомятся с женщинами и распускают перед ними хвосты. Они выгуливают реципиенток по аллеям, усыпанным осенними листьями, водят их в театры, в модные кафе и к друзьям, живущим без родителей.

В эти периоды мужчины бывают исключительно порядочны, романтичны и даже остроумны.

Наконец, на самых маленьких витках спирали стоит очень конкретная кровать где-нибудь в общежитии, у друга, или под звёздами в подъезде. И вот здесь происходит то, ради чего мы всю жизнь ходим кругами, извините, спиралями. И это «то, ради чего» уходит в бесконечно маленький, я бы даже сказал, жал-

кий микрокосмос. И кончается, и растворяется в нём поутру одним и тем же вопросом:

– А был ли мальчик?

Я позволю себе продолжить повествование со средних витков. Начались они на берегу моря, затем плавно перешли на улицы, затем в летний кинотеатр и сузились до скамейки во дворе дома, в котором моя знакомая снимала койку пополам с подружкой. На берегу моря она говорила о поэзии, на улицах – о музыке, в кинотеатре – о любви, на скамейке она молчала.

Она молчала так выразительно, что я понял, что буду последним ничтожеством, если не поцелую её. И поцеловал. Она ответила так рьяно, что я открыл глаза, чего раньше никогда не случалось в такие мгновения. Когда поцелуй исчерпался, она мягко отстранилась и, держа меня за руку, прошептала:

– Прости, я не могу преодолеть возрастной барьер...

Первые несколько мгновений до меня доходил смысл сказанного.

В течение нескольких следующих я перебрал все имеющиеся у меня в наличии признаки старения, как-то: отсутствие девственности, наличие в глубинах рта нескольких пломб и зарождающуюся в глубинах шевелюры лысину.

В этих размышлениях меня застал второй её поцелуй, во время которого я почувствовал, что она пытается преодолеть возрастной барьер изо всех сил.

У меня немного отлегло от сердца, и я опять забылся.

Я продолжал ещё тянуть к ней губы, как телёнок к вымени коровы, но она снова отстранилась и снова прохрипела:

– Н-не могу... Возраст... Барьер...

Я вспомнил строчку из стихотворения про майора Деева и майора Петрова: «Учись, брат, барьеры брать!».

И выругался матом. Про себя, конечно.

...Она пыталась преодолеть возрастной барьер на скамейке во дворе, на лестнице, ведущей на второй этаж, у двери скромной девичьей обители, на врезающемся в задницу ободе панцирной их с подружкой кровати... Она практически преодолела, перешагнула, перелетела его и зависла над ним в ожидании моего прыжка...

И вот тут возрастной барьер не сумел преодолеть я. Эти семь лет разницы показались мне чем-то очень аморальным. Мне стало стыдно.

Я подумал фразой из какой-то книжки:

– Ведь она же, в сущности, ещё совсем дитя...

И тут же переспал со своей тридцатилетней подружкой.

Несколько лет я обходил молоденьких девушек десятой дорогой, с ровесницами исключительно дружил, а спал исключительно со старшими подругами.

Только раз повстречалась мне девушка моложе меня.

И я женился во второй раз.

* * *

Сионизм – реакционная шовинистическая идеология и политика еврейской буржуазии... Характерные черты сионизма – воинствующий шовинизм, расизм, антикоммунизм, антисоветизм.

Советский Энциклопедический Словарь, 1982 год

Так случилось, что в нашем пуско-наладочном управлении получился переизбыток инженерно-технических работников.

И вот сели они, то есть – мы, как-то в кружок, посмотрели друг дружке в глаза и затосковали. А затосковали потому, что на пятьдесят пар глаз две пары были армянские, три – татарские, одна – греческая, а остальные – кто по паспорту, а кто так – евреи.

Задача перед руководством стояла нелёгкая: среди всего этого безобразия нужно было выбрать инженера, который мог бы освоить смежную рабочую профессию и поехать на месяц в командировку штамповать детали для котлов. Думаю, вы понимаете всю щекотливость создавшейся ситуации?

Национальные меньшинства отпали сразу. Начальство отпало автоматически. Вслед за ним отпали женщины и девушки. Затем были поставлены диагнозы, и отпали язвенники, сердечники и аллергики.

В результате выбор был сделан по армейскому принципу, и в командировку поехал самый молодой. То есть – я.

Месяц выдался плодотворный. Между купаниями в Днепре и прогулками по «матери городов русских» я умудрился не только освоить профессию штамповщика, но ещё и стать приспешником международного сионизма.

Мы жили под одной крышей с двумя симпатичными антисемитами из Винницы.

Каждый новый день эти милые слесаря-юдофобы начинали с предания анафеме всех евреев и всего еврейского. После продолжительного звонка будильника один из них укрывался с головой одеялом и бурчал:

– Заткни этот жидовский будильник!

Второй садился на кровати, одной рукой тёр глаза, другой – энергично мял содержимое трусов и произносил дежурную тираду:

– Абрам с Сарой спит, а у Ивана на работу х...й стоит.

Первый высовывал из-под одеяла заспанную физиономию и просил закурить. Любитель поэзии отвечал стихами:

– Курыть – здоровью вредить.

И тут следовала особенно любимая мною фраза:

– Ну не жидись, дай сигарету!

Днём в курилке неизменно возникала женская тема. Наш поэт рассказывал о неразделённой любви:

– У нас на участке жидовочка-инженерша... Там станок!.. Но сука редкая. Я ей говорю: «Дай, ну хули ты из себя строишь?» А она говорит: «Я мужа люблю». Я говорю: «У Ивана елда больше,

чем у жида!» А она разревелась. Ну, видно, и хочется, и колется... А вера не велит...

В этом месте присутствующие обычно смеялись.

Ко мне слесаря испытывали симпатию, поэтому не ассоциировали со столь ненавистной нацией. Сначала мне не хотелось их разочаровывать, но по прошествии времени я понял, что скоро сам начну тихо ненавидеть «жидов пархатых», «жидов проклятых», «жидов вонючих», «жидов хитрожопых», «морды жидовские» и вообще «жидовню». Мне стало стыдно. И тогда я решил обратить заблудших антисемитов в иудаизм.

Для начала я выяснил, что мои оппоненты считают основателем иудаизма предателя Христа Иуду Искариота. Разубедить их в этом не составило особого труда. Заодно я вскользь упомянул, что почти все апостолы тоже были иудеями. Мои ученики были немного шокированы этим известием, однако, осмыслив свои новые знания, сделали очень старые выводы, что «есть евреи, а есть жиды. И вот как раз апостолы – это хорошие евреи, ставшие учениками нашего Христа». Я понял, что это уже прогресс, и решил на этом закончить первый цикл сионистской обработки.

Вторым этапом наших занятий были разговоры о самом Христе. Я попросил подшефных определить его национальность. Версий было две: грек и русский. Когда я сообщил моим антисемитам, что Йешуа Иосифович был иудей, то есть еврей, то есть жид, они просто отказались этому верить. Шок продолжался пару дней, и второй вывод был прогрессивнее первого:

– Значит, христианство придумали евреи? Так за что ж их не любят?

Я ответил, что как раз за это, видно, и не любят, и решил, что пора сдаваться.

Я признался, что тоже еврей.

Эффект был неожиданный: мои слесаря полюбили меня, как родного. Они думали, что ликбез на этом закончился. О, как они заблуждались! Бедные! У меня в запасе был третий проеврейский аргумент. И этот аргумент был настолько силён, что я решил дать бывшим юдофобам тайм-аут.

Мы купались в Днепре, гуляли по городу, знакомились с девушками... Мы всё время были вместе.

Через пару дней я стал замечать у моих апостолов еврейский акцент. Тогда я понял, что пора.

Как-то, за вечерним чаем, я рассказал моим подопечным про Адама и Еву, про Ноев ковчег, про Авраама и Израилевы колена... Сперва мои ученики слушали это просто как занимательный рассказ. Однако по мере врубления в суть у них стала складываться логическая или, если хотите, генеалогическая цепочка появления на свет племён и народов...

В этот день спать мы пошли молча.

Наутро мои вновь обращенные иудеи впервые встали до жидовского будильника. Они не курили, не матюгались и не отрыгивали за завтраком. Мне даже показалось, что, сидя за столом, они

покачивали головами, как молящиеся в синагоге. Хотя, наверное, это мне действительно показалось.

После завтрака, выждав многозначительную паузу, они переглянулись, и поэт сказал:

– Значит, все люди произошли от евреев. Значит все люди – евреи.

Это был не вопрос. Это было утверждение.

После того, как мы расстались, меня долго мучила совесть. Говорят, что обрезание в зрелом возрасте – очень болезненный процесс.

Как там у них всё прошло?

* * *

За компанию хорошо не только пить водку, но и поступать на режиссёрский факультет театрального института. И, кто знает, может быть, и вовсе не поступил бы я туда, если бы не подвернулась компания.

Комплекс театра стал для меня своеобразным комплексом вины. Я считал себя недостойным. Я считал себя недостойным этой неземной профессии. Если бы я знал! Если бы я знал!

Режиссёр представлялся мне эдаким Господом Богом с нимбом в виде бороды – ходячим интеллектом, эстетическим эталоном и священным синонимом слова «порядочность». Если бы я знал тогда! Если бы знал!

До двадцати семи лет я терзался, я проверял себя, я перекопал и перековырял все желудочки своего сердца! Знал бы я! Если бы я знал!

Актёры мне виделись ангелами и архангелами (это в зависимости от званий) с пушистыми душами и крылатым талантом за спиной. Да, если бы знал я тогда! Если бы!..

Дождливым, мрячным и астматическим весенним днём душевный мой друг и всеми любимый городской сумасшедший Веня Бенский подвёл меня к замызганному щиту, на котором чёрными траурными буквами было написано: «Объявляется набор студентов на кафедры режиссуры и мастерства актёра»

Веня был единственным человеком, который безоговорочно и точно поставил мне диагноз. Я поверил ему и стал искать компанию.

Компаньон нашёлся незамедлительно – в тот же вечер. Руслан – так звали (как, впрочем, и зовут) моего партнёра по любительской сцене и по угарным винно-водочным вечерам, которыми мы грезили о будущем служении прекрасной и продажной Мельпомене...

Я хватаю себя за руки, я дёргаю себя за узду, я ору себе:

– Тпру-у-у!

Я говорю себе:

– Если Господь сподобит, ты напишешь ещё свой роман о Театре!

Ей Богу, это не о театре, это о жизни.

Лето. Жара.

Гастроли Рязанского театра. «Тартюф». Тихий ужас.

Мы выдержали только первый акт и вознамерились сбежать. В фойе нос к носу столкнулись с заведующим кафедрой режиссуры, профессором, народным артистом и моим будущим мастером – Александром Сергеевичем Барсегяном.

Экспозиция: я пихаю в бок Руслана, Руслан пихает меня. В итоге говорим хором:

– Александр Сергеевич! Мы... сдать документы... познакомиться... проконсультироваться... в этом году закончил медицинский... пять курсов политехнического... в любительском театре... мечтали... только к Вам...

Барсегян покрыл нас властным и хриплым голосом:

– Вы это видели? Я еле выдержал! Я хотел уйти посреди первого акта, но вы понимаете... Главный режиссёр академического театра, заведующий кафедрой режиссуры, профессор, народный артист, понимаете, так ссать, в общем... меня все знают... Вот – Анатолий Леонидович видел... Вы понимаете? Это... в общем, так ссать...

Институт наш... Так ссать, в общем... Курс набирается под мастера... под меня в общем, так ссать... У нас учились Тектинер, Нестантинер, другие... приличные, так ссать... Школьник... вот в этом году у меня заканчивает Зельгин... преподаватели... Яков Лазаревич Резников, Кагановская Инна Петровна – она тоже... Моисей Яковлевич Розин, вот – Вецнер Анатолий Леонидович – познакомьтесь... он тоже... так ссать в общем... Сдавайте документы, приходите на консультации... Я вижу, что вы тоже, так ссать... в общем, серьёзные люди...

* * *

Ну, ещё чуть-чуть не о театре.

Женщина-легенда Нина Романовна преподавала в театральном институте зарубежный театр и литературу.

Эта очаровательная, вечно молодая старушка рассказывала студентам, что Зевса вскормил орёл, а на формирование религий в Древнеримской империи оказывало влияние мусульманство.

Студенты верили.

Она показывала, как двести с лишним лет назад двигался по сцене великий Гаррик, и как Сара Бернар в конце прошлого века играла роль Гамлета. Показывала так, будто видела их своими глазами.

Эта милая фантазёрка пересказывала содержание «Мандрагоры» Макиавелли так эмоционально:

– Эта Лукреция: «Ти-ти-ти! Ти-ти-ти!» Скромница – куда там! Такая... вертихвостка натуральная... А её муж – старый дурак!

Ходит так, ворчит: «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!», – и с такой достоверностью, словно подсматривала за ними в замочную скважину.

Студенты только что не аплодировали.

Узнав, что Руслан до поступления на «театралку» закончил мединститут, Нина Романовна кокетливо попросила:

– Руслан, Вы теперь будете моим личным врачом, хорошо?

Студенты разулыбались, а Русик очень широко распахнул ставни и ответил, сложив губы пельменем:

– Хорошо, Нина Романовна, только я – патологоанатом.

Милая Нина Романовна! Дай Вам Бог – до ста двадцати!

Ироничный, амбициозный и, безусловно, талантливый народный артист Борис Моисеевич Табаровский вспоминал:

– После второго курса меня взяли работать в театр. В институте я ходил в «талантливых», играл главные роли! А тут в театре – эпизод за эпизодом:

– Кушать подано!

– Вам телеграмма из Москвы!

– Иван Иваныча к телефону!

Я всё ждал, когда меня заметят, нервничал, кровь играла... Через полгода пошёл к своему учителю. Говорю:

– Так и так; что делать?

А он отвечает:

– Тебе дают говно, а ты из говна сделай конфетку!

Вот я и думаю: почему мы всю жизнь делаем конфетки из говна? Почему бы не попробовать хоть раз сделать конфетку, к примеру, из сахара?

* * *

Польша. Лодзь. Новый театр.

На закрытии фестиваля польских театральных школ сыграли украинскую пьесу «Ніч на полонині» Александра Олеся.

После спектакля – банкет со студентами курса Махульского.

Наши впервые увидели киви и терпеливо ждали, пока кто-нибудь из поляков «покажет», как «это» есть. Дождались, набросились и умяли почти все кивины. Кроме последней.

Мы же интеллигентные люди.

Польский студент провозгласил тост за режиссёра. За меня.

– Я почувствовал, как это тебе близко. Ты тоже с Западной Украины?

– Нет.

– А, понимаю. Корни: родители, бабушки, дедушки...

– Я бы не сказал...

– А, понимаю. Неважно. Ты как украинец это знаешь.

– Я не украинец.

– А кто?

– Еврей.
– Кто?
– Еврей.
(Пауза)
– А, понимаю – жид!
(Мои студенты сжали кулаки).
– А у меня жена – жидовка! Вот, Анна, он тоже жид!
(Тихое недоумение украинской делегации, осознание, момент истины).
– Это... А! Так ведь это – по-польски! По-польски еврей – «жид»! Еврей – «жид»... Это по-польски.
(Счастье, братание, обмен адресами, дружба народов).

* * *

Я – преподаватель театрального института.
– Ну, ни фига себе!
Я ставлю украинскую классическую комедию «Мартын Боруля».
– Охренеть!
Мне нравится.
– С ума сошёл!!!

Первый акт.
Диалог в деканате:
– Мне нужно сделать большие кубы для спектакля.
– Зачем?
– Понимаете, на каждой грани – рисунок. Он составляет кубы, и получается то лежанка, то чемоданы, то стол, то скамья, то пяльцы... Он как бы создаёт себе и домашним среду обитания. Это игра. Мартын Боруля играет в кубики. Он как ребёнок. Для него стремление стать дворянином – это и мечта, и игра, и творчество.
Декан и завкафедрой украинского театра. Двухголосие:
– Как!? Мартын Боруля играет в кубики? Це ж українська класична драматургія! Це ж зовсім інший засіб буття! Це зоряні ночі, це дівочі співи, це соняшники, це глечики на тинах...
– Я ставлю современный спектакль. Мы же европейская страна! Вы же сами говорили, что украинскому театру пора перестать быть «театром гопака та горілки»!

Второй акт.
Кубы всё же делаются.
Спектакль. Удача. Хохот.
Два человека с твердокаменными лицами.
После спектакля прямо на парадной лестнице вычитывается за «знущання над українською класикою». Проходящие мимо студенты поздравляют с премьерой.

Финальная сцена второго акта: снизу через лестничный пролёт – крик заведующего кафедрой:

– Коне-ечно, из хохлов проще делать идиотов! Что ж ты не ставишь спектакль про своих евреев? Показал бы их такими же дураками, как наших украинцев!

Он действительно обиделся за «своих».

Третий акт.

Туалет. Мы одновременно выходим из кабинок. Натыкаемся друг на друга. Натыкаемся буквально. Завкафедрой улыбается чуть виноватой улыбкой, за которую можно всё простить.

Он умер через несколько лет. Я его хоронил.

Милый, добрый, славный Мартын Боруля. Милый, добрый славный Анатолий Григорьевич.

Земля Вам пухом.

* * *

Начальник нашего городского управления культуры – бывший учитель украинского языка. Поэт.

Главный режиссёр нашего театра – бывший коммунист, член Ревизионной комиссии ЦК Компартии Украины.

Начальник городского управления культуры – приверженец украинской национальной идеи – терпеть не может главного режиссёра.

Директор нашего театра – бывший баянист – сильно не любит меня. Он очень хочет, чтобы я уволился, и поэтому не подписывает «Приказ» на постановку спектакля.

Я же, наоборот, не хочу увольняться. Я хочу репетировать спектакль.

Я хочу репетировать спектакль и поэтому иду искать справедливости у начальника управления культуры.

Вот вам. Вот вам его монолог:

– Ні, ви тільки подивіться, що робить цей ё...ний комуняка – ваш головний режисер! Ви тільки проаналізуйте уважно. Значить. Спочатку він, як тільки прийшов, поставив «Короля Ліра»! Розумієте?! Розумієте, бл...дь?! Потім він ставить «Украдене щастя» Франка. Ви дивіться, дивіться! «Украдене щастя»!! Потім він хотів поставити Андрєєва «Камо грядєші?», тобто, «Куди ми йдемо?». Розумієте, розумієте?! Так художня рада йому, комуняці ё...ному, не дала. Тепер. Він ставить Чехова «Три сестри»; памятаєте: «В Москву, в Москву!»? В Москву, комуняка ё...ний! Розумієте? І зараз він хоче поставити Горького «На дні».

Ви розумієте, що робить цей ё...ний, бл...дь, комуняка – ваш головний режисер? Це ж не випадковість – це спрямована комуняцька політика. Розумієте?

Значить.

Радянський Союз розпався. Це «Лір».

У Україні украли щастя. Франко.

Куди ми, бл...дь, йдемо?

В Москву, ось куди треба було, в Москву!

І де ми тепер? В жопі, на дні!

Ви розумієте, ні, ви розумієте?! Ё...ний комуняка!

И совершенно без перехода:

– А вам не казали, що не дають ставити виставу тому, що ви – єврей? Га?

Иерусалим. Общество выходцев из Украины. Библиотека. Концерт. Пожилые евреи, чуть коверкая слова, поют украинские песни. Книжный шкаф. На центральной полке – сборник стихов начальника нашего городского управления культуры.

Ви розумієте?

* * *

Наконец в твоей жизни появилась страсть! Наконец в твоей жизни появилась цель, имеющая вполне закруглённые формы! Наконец появилось то, что опутало тебя не на день, не на год, – навсегда!

Ты пишешь книгу! Ты пишешь везде: дома, в кафе, в туалете, во сне, в автобусе по дороге на работу, в автобусе по дороге с работы... Ты только и думаешь... Вся твоя сущность... И вдруг...

И вдруг: линия бедра, линия таза, линия... А, чёрт, нет в русском языке этого слова! «Попка», а тем более, «попа» отдают ладаном...

И вдруг: у этой девушки, почти девочки, в джинсах вверху между ног – просвет, а из просвета, из этой дырочки выглядывает солнышко. Эдакий солнечный зайчик.

И вдруг: вырез, выкат, бюст, декольте! И всё к чёрту! И вдохновение, и зуд, и книжка. И ты перестаёшь жить. Вернее, только начинаешь.

И перестаёшь замечать всё вообще. И даже косые взгляды пассажиров.

Ты возвышаешься над нею, над своей попутчицей. Ты заглядываешь в эти зыбкие барханы, ты окунаешься в это устье груди.

И один соблазн, один-единственный дьявольский соблазн: убрать оттуда случайный чёрный волосок.

А автобус подпрыгивает, а она содрогается, переливается, и твоя надежда пробраться поближе к... истоку тыщу раз умирает последней!

А вдруг там, в этом банальном кружевном чёрном бюстгальтере живёт твоя муза?

Наверное, Бог не создал ничего лучше женской груди!

* * *

Что такое, какая она – идеальная жена? Очень просто: это такая жена, которую муж никогда не видел спящей. Я думаю, понятно.

Сам же я это придумал, да сам же и забыл.

И женился в третий раз.

* * *

Всё произошло быстро. Без слезы и надрыва. Моя бывшая жена сказала, что скоро все мы там будем. Я бодро согласился и подумал, что больше никогда не увижу дочь.

Тяжелее всего было подписать эту бумажку. Бумажку, что я не возражаю против её отъезда.

На историческую родину.

Я понимал, что я её предаю. Не понимал только – чем: то ли тем, что не хочу подписывать, то ли тем, что всё-таки подписал.

Аэропорт «Шереметьево». Сутолока. Евреи с цыганскими глазами. Тележки, чемоданы, тюки, баулы. На тележках – сонные дети с опухшими личиками.

Слёзы.

У неё на щеках – мои слёзы. Она не плачет: просто не понимает, как далеко и как надолго.

Я так соскучился по моей маленькой дочке.

Ей было всего девять лет, когда она уехала. Ещё столько же, ещё целых девять лет мы не виделись.

И я соскучился по моей маленькой дочке.

Мы встретились с ней – с большой, взрослой. Восемнадцатилетней. А я соскучился по моей маленькой дочке.

Сейчас она красивая и умная. Она пишет стихи, поёт песни и говорит на разных языках. Она, наверное, даже целуется.

А я так соскучился по моей маленькой дочке.

Мы почти не видимся. Она работает, она учится. Она ужасно занята. Мы почти не видимся.

А я соскучился...

* * *

Я родился в рубашке. Хотя правильнее было бы сказать – в шубе. Мама рассказывала об этом первом своём кошмаре на родильном столе, когда акушерка показала ей длинный чёрный орущий меховой воротник с двумя мутными голубыми глазами.

Это был я.

Я был невинным грудным младенцем: я не мог самостоятельно прожевать кусок колбасы, выпить кружку пива и жениться.

Я ходил под себя.

Но не это важно. Важно другое: будучи буквально с пелёнок законопослушным гражданином, воспитанным на коммунистически-

православной... Нет, не так. Наоборот. Будучи ...лёнок ...ушным ...ином, воспитанным на православно-коммунистической традиции, я с младенчества терпеть не мог любые ритуалы. Помню, что в тот космический момент, когда мне отрезали пуповину, я спросил себя: «А зачем?» – и сразу понял, что терпеть не могу ритуалы. Слава Богу, что в условиях развитого социализма мои родители были лишены возможности сделать мне обрезание. Иначе я возненавидел бы и этот ритуал.

...Зачерпнувши кружкой кипяток, я подумал, что омовения из тазика стали уже ритуальными. За тридцать с лишним прожитых мною зим я не помнил ни одного лета, когда бы в наших домах не отключали горячую воду. Это называлось «профилактика».

...Стояло лето. До самолёта оставалось три часа. Самолёт летел в город Ивано-Франковск, бывший Станислав. В Ивано-Франковске – бывшем Станиславе – гастролировал Черниговский театр. В Черниговском театре я должен был ставить спектакль. Поэтому я и собирался лететь в Ивано-Франковск, бывший Станислав, буквально через три часа как-то знойным летом.

И тут мне вдруг представилось, что в гостинице города Ивано-Франковска, бывшего Станислава, может не оказаться ни воды, ни кастрюли, ни кружечки, ни сотейничка. Тогда я принял сложное для себя решение – помыться.

И вот, стоя в ванной, полный творческой потенции, за три часа до самолёта я зачерпнул кружкой кипяток и подумал, что омовения из тазика стали уже ритуальными. И, подумавши так, я совершенно забыл добавить в кипяток холодную воду.

И вылил его на себя.

Мне повезло, но не до конца: кипяток попал на бороду, на волосатую грудь и на, слава тебе, Господи, не обрезанную крайнюю плоть.

Я закричал, как ошпаренный... впрочем, что я говорю? В одном виске застучало: «Креститься!», в другом заныло: «Обрезаться!» – но тут же откуда-то из сплетений ручейков-извилин в очередной раз вынырнуло: «Я с детства терпеть не могу ритуалы!»

...Прежде чем его фамилия попала в список распределения ролей, нами с Зайцем в гостиничном номере Станиславской гостиницы было выпито, съедено, рассказано и спето: «Української горілки з перцем», сала солёного и копчёного, анекдотов про евреев и разнообразных, но всегда очень громких песен, соответственно: до поросячьего визга, от пуза, до коликов в животе и абсолютно не считаясь с нормами советского общежития.

Артисту Черниговского украинского муздрамтеатра – русскому мальчику Серёже Горшкову, которого все любовно называли «Заяц», в моём спектакле предстояло играть еврея.

Воплощение еврейской темы на советской сцене и на советском экране – это всегда, или почти всегда, по сквозному, извините за выражение, действию – мой любимый анекдот про еврея,

хулигана и милиционера в трамвае. Помните? Хулиган многократно наступает интеллигентному еврею на ногу, тот страдает и просит прекратить, хулиган нагло смеётся ему в лицо и не прекращает, и вот тут наступает кульминация: милиционер вмешивается в конфликт и очень миролюбиво произносит фразу на все времена:

– Гражданин, а жидок-то прав: сойди с ноги!

Меньше всего хотелось мне видеть Зайца пархатым «рабиновичем» с горбатым шнобелем, старательно грассирующим букву «рейш» еврейского алфавита.

Хотелось слышать не акцент, а интонацию, смеяться не над хитростью, а над самоиронией, удивляться не жадности, а способности, потеряв всё, всё начать сначала, и вновь потерять, и снова начать...

Выпивка, закуска, трёп и песни открыли мне путь к истине, а Зайцу – к загадочной еврейской душе.

Однако же путь этот, ну просто неизбежно, должен был материализоваться в дальнюю дорогу. И материализовался. Под наркотическим влиянием сивушных масел, ну и, конечно, в целях знакомства с иудаикой, нам выпала дальняя дорога в рассадник иудаизма – в синагогу.

Была ночь с пятницы на субботу, то есть, священное для евреев время – шабат.

Мы вышли на рассвете.

Мы тащились по похмельному городу полусонные и полупьяные, сшибая тележки у пенсионеров, смущая не выспавшихся девиц с распухшими губами.

Солнечными зайчиками заигрывали с нами купола церквей, высокие узкие шляпы приподнимали кирхи и костёлы, раскрывали объятья длиннорукие пагоды, и мечети кивали тощими минаретами. Они скалились, и заискивали, и охмуряли нас, но мы уверенно шествовали мимо. Мы шествовали мимо Мекки и Медины, и Голгофы, и Софии, и Тибета, и Ватикана... И даже не останавливались, даже не оглядывались, и уверенно шли вперёд, шли прямо в Землю Обетованную, прямо в Иерусалим к Стене Плача!

Спросить было не у кого. Не у кого было спросить, и мы стали искать табличку вроде «Ивано-Франковская синагога», или «Ивано-Франковская хоральная синагога», или просто «Синагога».

Ничего.

Мы остановились возле подворотни. На зелёных металлических воротах наглела надпись: «Во дворе туалета нет».

Из подворотни потянуло мочой, и нас потянуло в подворотню.

Примостившись возле бывшего входа какого-то бывшего учреждения, мы задрали кверху головы и принялись расстёгивать брюки. Прямо по курсу осколками битого стекла ощерилась вывеска:

Жилищно-экс нтора
кого района
города И ковска

Откуда-то из-за угла вылетело ведро, а вслед за ним выкатилась толстая дворничиха:

– От, люди! От же ж люди! Та хіба ж ви читати не вмієте? Обісцяли всю вулицю! Вся вулиця в цій гидоті. В кожнім куточку або гівно, або сеча! От тільки що на голову мені не насцяли!

Мы успели остановиться, так и не начав, и нелепо вскинули руки. Дворничиха – добрая женщина – ни в коей мере не собиралась ломать нашего кайфа:

– Та вже писяйте, чого ви смикаєтесь: до дому ж не понесете. Я відвернуся, – и спряталась за угол.

Мы с Зайцем решили, что приличнее будет потерпеть и застегнули «молнии».

Однако дворничиха была единственным живым существом, встреченным нами за последние двадцать минут, поэтому именно к ней адресовались мы своим вопросом:

– А вы случайно не знаете – где-то тут поблизости должна быть синагога?

Тётка высунула из-за угла закалённый борьбой с трезвостью нос и спросила:

– Що це? Єврейська церква, чи що? Так ви ж її тільки що трохи не обісцяли!

В синагоге страдали восемь пожилых евреев: они не могли (и, видимо, далеко не в первый раз) собрать миньян... Опять в башку лезет это дурацкое и нелюбимое слово «ритуал»: по иудейскому закону молитву в синагоге можно начинать только при наличии минимум десяти мужчин старше тринадцати лет. Этот «кворум» и называется «миньян».

Для восьми пожилых станиславских евреев наш приход стал Явлением.

Терпеливо и неспешно расспрашивали они нас о том, кто мы и откуда, о нашем театре и о нашем спектакле, но в замочных скважинах их морщинистых глаз суетилось нетерпение, и затаила дыхание Великая Надежда.

Когда приличия были соблюдены, самый пожилой аид с медалью участника Великой Отечественной войны осторожно предложил нам поучаствовать в молитве.

Последовавший за этим промежуток жизни выплывает из моего подсознания чуть замедленной «кинолентой видений» в стиле французского художника Эдгара Дега.

Общий план. Вид сверху: мы с Зайцем посреди актового зала жилищно-эксплуатационной конторы «...кого района города И... ...ковска». Вокруг нас – станиславские евреи.

По углам свалены стенды и транспаранты с потрескавшимися красными буквами и фотографиями передовиков. На стенах – свежие плакаты с какими-то текстами или молитвами на древнееврейском языке.

Средний план. Панорама: последовательно – лица восьми стариков. В глазах – надежда. Только надежда.

Крупный план: мы с Зайцем киваем утвердительно.

Общий план. Вид сверху. Движение в рапиде: люди в кипах, ермолках, кепках и шляпах сдвигают столы и расставляют стулья.

Общий план. Вид спереди: еврей-ветеран взбирается на сцену, подходит к массивному сейфу (наверняка наследство жэковской бухгалтерии), огромным ключом отпирает его и достаёт оттуда, – что бы вы думали?– чехол со свитками Торы.

Оптический наезд до крупного плана.

В этом месте на экране появляется перечёркнутый кадр, затем надпись «обычный формат» и белая вспышка. Плёнка обрывается.

Народ в зале возмущается, свистит, топает ногами. Раздаются крики:

– Кина не будет, – электричество кончилось!

– Сапожник!

– Сливай воду!

Я угнался.

Извините.

...Старик в ужасе посмотрел в зал и закричал.

Возопил.

Возгремел.

Возроптал.

– У них не покрыты головы!!!

Всё пришло в движение. Евреи шерстили углы, выдвигали ящики и выворачивали карманы. Евреи искали кипу, ермолку, кепку или шляпу. Евреи искали что-нибудь, чем можно было бы прикрыть наши с Зайцем темечки, эти срамные места, эти груди, эти ягодицы, эти гениталии, от которых стыдливо отвернулся сам Господь Бог.

Безрезультатно.

Евреи стали скисать. Потянуло отчаяньем.

Тогда ветеран – староста, кантор и главный раввин Иваново-Франковской синагоги – достал из того же жэковского сейфа два вымпела и протянул нам:

– Накройте головы этим... Всё же это лучше, чем ничего.

Зайцу достался «Победитель соцсоревнования», а мне – «Дом высокой культуры и образцового быта».

Раввин-ветеран расправил ветхий вылинявший талес и укрыл им голову. Запахло нафталином.

Заяц тихонько спросил:

– Это талес?

Я ответил:

– Это талес.

Старик вынул из чехла Свитки Торы и принялся их разматывать.

Заяц спросил:

– Это Свитки Торы?

Я ответил:

– Это Свитки Торы.

Еврей запел.

Заяц выкатил на меня красные кроличьи глаза и ничего не спросил.

С первым звуком молитвы, с первым стоном на землю рухнул дождь. Ливень был первозданный и беспросветный. Молотки струй били по стёклам, по крыше, по голове.

И было страшно от одиночества. Потому что в комнате был только ты и эта пронзающая небеса музыка, эта мольба, этот звериный вопль. Молитва не входила в уши, она миновала их. Она влетала через глаза, через кровь, через кожу.

Старик пел, а в горле у него клокотало, резонировало и рвалось наружу его истерзанное вечной надеждой сердце.

Справа от меня, покачивая вымпелом победителя соцсоревнования в такт древней еврейской молитве, сидел русский мальчик Серёжа Горшков. Он кивал головой и вспоминал свою маму, своего рано ушедшего отца, своего ещё не родившегося сына. Он вспоминал всё светлое, щемящее и любимое, что было ему дорого в этой жизни...

Дождь прекратился внезапно, он скончался скоропостижно, и солнце вскочило в окно одновременно с последним всхлипом старика, последним аккордом грома. Оно вскочило грузно и неловко и ударилось круглой щекой об оконную раму и набило себе шишку.

Оно вскочило суетливо и поспешно, словно боясь не застать на наших просветлённых рожах первые лучики надежды.

* * *

Слово «алия» в переводе с иврита означает «восхождение». Не «репатриация», не «возвращение», а именно «восхождение».

Дотошно, настырно и въедливо вслушиваясь в историю, философию и политэкономию этого слова, я обретаю великое откровение: вот он – ключ к неординарному и противоречивому понятию «еврей»!

Написал, будто оговорился, – понятию!

– Брось кокетничать, писатель. Написал – так написал. Не выбрасывать же! Не Гоголь.

Евреи – единственная национальность, ставшая понятием. И единственное понятие, ставшее национальностью.

«Что же касаемо ключа, дык вот вам моё скромное разумение»: уж не знаю, какому такому продвинутому Моисею Господь вложил в голову словосочетание «Земля Обетованная» – таинственное и влекущее словосочетание, за которым – всё лучшее, что известно, и ещё чуть-чуть неведомого, прекрасного и манящего; и вечная тоска, вечная мечта евреев о собственном доме, собственной стране... И какими такими доводами вооружил Он краснобая Аарона; а только вышли иудеи из Египта, и пошли по пустыне, и завоевали кучу городов, и потеряли кучу народу, и убили кучу врагов, и оросили потом, кровью и слезами путь свой, и пришли в Ханаан. О чём гордо и скрупулёзно отчитались на страницах своей Книги.

А ещё не знаю, на каких таких одномандатных выборах проголосовал Сущий за тот единственный народ, что стал с тех пор именоваться «Богоизбранный». Не знаю, а только та самая идея избранничества Божьего не дала моим праотцам раствориться во множестве стран и народов, куда разбрелись они, будучи в очередной раз выставленными со своей исторической родины. И чёрт его знает, хорошо ли это, плохо ли, а только не что иное, как выспренняя уверенность в собственной исключительности помогла им... нам... им... сохранить и язык, и традиции, и религию.

Словосочетания, словообразования, слова, слова, слова...

Слова помпезные и душераздирающие, слова манящие и горделивые, слова заносчивые и сердечные... Слова – ключи, слова – замки, слова – друзья, слова – враги, слова – жизнь, слова – смерть.

И, наконец. И совсем уж близко.

Не репатриация, не возвращение, а именно – восхождение. Восхождения на пьедестал, восхождения на трон, восхождения на Эверест, помноженные на миллионы! Оно – это слово, эта морфема заставила Народ Его вновь сойтись в Земле Обетованной разноликой, разноцветной, разноязыкой клокочущей массой, этим черноглазым, смуглокожим, картавым, гортанным, кипастым, пейсатым, носатым птичьим базаром; сойтись, чтобы остаться, чтобы никогда уже не уходить, чтобы стоять насмерть, чтобы на каждом шагу ругать свою страну, чтобы опоэтизировать каждый клочок этой выжженной земли, чтобы насадить всю её деревьями и цветами, и строить, и строить, и строить, и ругать, и ругаться друг с другом, и любить друг друга, и ненавидеть «чёрных», «пейсатых», «рыжих», «русских», «йеменских», «бухарских», «марокканских», и сливаться в общих праздниках, и замирать в «минуту памяти», и жить, и рожать, и умирать, и гордиться этой треугольной полосочкой, этой миниатюрной страной, в которой помещается весь мир.

На кровати рядом с бабушкой, укрывшись одеялом с головой, спит девочка, подросток, девушка – спит моя младшая дочь.

Расставаться с ней было не так больно. Я уже знал, что через год снова увижу её, сопящую, нежную, любимую.

Я уже знал, что через год совершу к ней свою «алию».

* * *

Сквозь королей и фараонов,
вождей, султанов и царей,
оплакав смерти миллионов,
идёт со скрипочкой еврей.

Игорь Губерман, «Гарики на каждый день»

Это рассказ о Йосе. Иосифе Михайловиче Рубинчике. Старом скрипаче, игравшем по пятницам в маленьком зале маленького кафе. Йося был четырнадцатым ребёнком в семье. Четырнадцатым и последним ребёнком у своих родителей.

Он родился в Днепропетровске, бывшем Екатеринославе, но считал себя одесситом. А кем бы считали себя вы, если бы учились в Одессе у Петра Соломоновича Столярского?

В сорок третьем году пятнадцатилетним пацаном Йося Рубинчик пошёл на фронт. Пошёл, по его же словам, из-за постоянного чувства голода. В сорок пятом он вернулся живым, но по-прежнему несытым.

Всю жизнь Иосиф Михайлович прослужил первой скрипкой в симфоническом оркестре. Он не утомлял себя многочасовыми репетициями и дома никогда не брал в руки скрипку. Говорил:

– Что мама дала, то и есть.

Всю жизнь Йося прожил со своей женой Женей. Со своей единственной женой Евгенией, бывшей старше его на шесть лет, заменившей ему и мать, и любовницу, и супругу.

Господь Бог не дал им детей, поэтому на старости лет Йося постоянно спешил. Он спешил к своей парализованной жене Жене, потому что кроме него, больше некому было к ней спешить.

Моя подруга Яша сказала:

– Ты должен его услышать.

Моя подруга Яша сказала:

– Ты должен это услышать, пока их ещё не закрыли, и пока Йося ещё жив.

Яша сказала:

– Там не обязательно много заказывать; можно взять чашку чаю или кофе и просидеть весь вечер. Но, даже если ты возьмёшь какую-нибудь еду, там невозможно есть. Невозможно жевать, когда он играет.

Я ничего не знал о йосиной жизни и, конечно, собирался увидеть «модную штучку». Я собирался увидеть «модную штучку», а увидел встроченный клин на брюках (к сожалению, наши вещи не полнеют вместе с нами). Я увидел клин на брюках, а ещё я увидел лысину, мясистый нос и собачьи глаза. Я увидел почти точный портрет моего покойного дедушки – папиного папы – скорняка и закройщика из еврейского местечка Бершадь.

Хитрец Йося вошёл в кафе, расшаркиваясь с посетителями, не давая нам ни секунды усомниться в том, что мы пришли именно «на него». Его колючие глазки пинали застенчивую улыбку и щурились на публику враждебно и вожделенно. Он поднялся на сцену и ослепил меня вшитым клином на заднице. Я зажмурился.

Йося нахально зыркнул в зал, и из его правой руки зелёным чайным побегом вырос смычок. Он натёр его канифолью, отвернулся, икнул...

...и превратился в скрипку.

И поскакала галопом музыка! Рубинчик лабал мильон раз слышанные мною вещи.

Он «жарил» банальный свадебный джентльменский набор, а я пил свой «Седой граф», набивал пепельницу «бычками» и не понимал, почему мне так хочется плакать.

Йося врал о своей жизни, он сопел, и потел, и обманывал нас, самонадеянно внушая «радость бытия».

Переплясывая «цыганщину», через проход пошла потрясающе шикарная дама с цветами. Дама танцевала самозабвенно, до стыдного великолепно, никого не видя перед собой, кроме этого круглого «паганини», идя на него, и соблазняя, и соблазняясь!

Йосина скрипка задрожала от возбуждения и вожделения и перепрыгнула через октаву.

Я смутился. Я покраснел. Я взревновал. Я приревновал эту женщину к Йосе. Я приревновал незнакомую женщину к йосиной скрипке!

Это произошло тут же. Всё произошло здесь же, в кафе. С ним были все женщины. И даже моя подруга Яша. Даже Леночка Яковлева была с ним в это мгновение.

А старый еврейский Кинг-Конг барабанил себя кулаками в грудь, а его скрипка летела над головами на «бреющем полёте» и издавала победные возгласы!

Я нервничал. Я психовал. Я желал другой музыки. Я жаждал «своей» музыки. Я наклонился к Яше:

– Он играет что-нибудь человеческое? Можно его попросить сыграть что-нибудь для меня, что-нибудь «наше»?

Ленка просила аккомпаниатора, аккомпаниатор шептался с Йосей.

Старый скрипач умело «снял с меня мерку», скривился и заиграл... «Мурку»...

Яша хохотала:

– Его сбила твоя золотая цепочка! Он принял тебя за вышибалу!

...Скрипка отдыхала в футляре, смычок слизывал остатки канифоли, Иосиф Михайлович сидел за нашим столиком:

– Слушайте! Мы с оркестром были в Киеве, играли на правительственном концерте. После концерта был банкет у Президента. Так там подали такие, вы знаете, грибы в горшочках. Жульены. Слушайте: все ели, а я побоялся. Я вообще стараюсь не есть грибы – столько случаев отравления! Вот... А потом уже, после банкета, я подумал: «Это же готовили для Президента, это всё проверяли – там есть специальные люди...» Слушайте... Я до сих пор жалею...

Слушайте! Слушайте: это было в перерыве. Только в перерыве, когда скрипка отдыхала в своём бархатном ложе, а смычок слизывал канифоль волосатым конским языком, старый скрипач, похожий на портного, травил свои майсес.

Слушайте!

Послушайте, можно рассказать о йосиной жизни, но разве можно рассказать музыку? Разве можно пересказать вкус молока, что тянула твоя прапрабабка из своей еврейской мамы? Разве можно уснуть под колыбельную, что убаюкивала твоего прапрапрадеда в маленьком еврейском местечке? Разве можно ос-

тановить кровь, что бьёт фонтаном из груди твоих порубанных прародителей? Разве можно спеть о любви, что сплетала годы и судьбы и выстрадала, и выносила, и явила миру тебя?

Разве можно рассказать истину?

Вечный жид Йося терзал свою скрипку, он рвал её струны, он тянул её нервы, он терзал наши нервы, он тащил нас за собою сквозь времена и народы, и менял лица, и взрослел, и молодел, и умирал, и рождался, и кричал из толпы Моисею и Аарону:

– Почему вы ставите себя выше народа Его?! – и жмурился от света и величия, переступая порог отстроенного Иерусалимского храма; и глотал песок, шагая в неизвестность по Ливийской пустыне; и стучал деревянными каблуками по мостовой Севильской иудерии; и серым морозным утром отпирал дверь маленькой ювелирной лавчонки; и крутил ручку арифмометра, подбивая баланс в душной бухгалтерии Табактреста У.С.Н.Х.; и провожал в далёкую неведомую страну маленькую женщину в «українській хустиночці», говорящую на идиш; и провожал моих дочерей, моего отца, мою маму.

И провожал меня.

Он провожал меня за три моря, сам того не подозревая. Он провожал меня, не зная даже моего имени, Провожал, сидя рядом со своей парализованной женой Женей, понимая, что никогда не попадёт в землю своих предков, зная, что навсегда останется со своей холодной, несчастной, нищей, но такой любимой исторической родиной – Украиной.

* * *

В молодости нам кажется, что всё лучшее ещё впереди, что сегодня мы как бы ещё и не живём, а только готовимся жить.

В зрелости мы вспоминаем молодость и понимаем, что только тогда и жили.

Я не создавал, не дай бог, роман и не писал, упаси Господи, дневник. Это была всего лишь попытка косноязычного человека высказаться более-менее внятно.

Но сколько бы ни кокетничал автор, всё получалось, как в романе: на первых страничках, так же, как и в начале жизни, всё шло последовательно и, не побоюсь этого слова, поступательно; по мере развития фабулы, и соответственно, с течением лет, между радостными и жизнеутверждающими фрагментами появлялись глубокие, заполненные вязким дерьмом, трещины; и к финалу (читай – к закату земных дней) мгновения счастья стали лишь едва заметными островками в огромном океане ежедневного говна.

А коль так, прости меня, мой изможденный читатель, за то, что выхватывал из жизни лакомые куски и пичкал ими тебя «за маму», «за папу», «за бабушку», «за дедушку» и за бога душу мать!

Всё. Устал. Исписался.

1997 – 2001, Украина – Израиль

Рената Муха

И Я ГОВОРЮ ЭТО ПРЯМО В ГЛАЗА

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ

– Преувеличивать всё глупо, –
Сказала Микроскопу Лупа.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКОВ

Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду ввешь на просторе…

А. С. Пушкин

Вот вентилятор тоже дует,
А ни на что не претендует.

НИКТО СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

– Мне очень обидно, – сказала Слеза,
– И я говорю это прямо в глаза.

ЗАМЕТКИ ПО ИСТОРИИ

И стала принцесса
супругой консорта.
(Консорт – тоже принц,
Но не первого сорта).

НЕБОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Как жаль, что в дубраве замолк Соловей
И трели его не слышны средь ветвей.
– Ну, это как раз небольшая потеря, –
Заметила с ветки Глухая Тетеря.

МОЛЧАЛКА

Я спросила у Волчат,
Почему они молчат?
А в ответ Волчата молча
Говорят с улыбкой волчьей..

Но ответы тех Волчат
Вас, наверно, огорчат,
И чтоб вас не огорчать,
Мне придётся помолчать.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В руках остались два весла,
А лодку речка унесла.

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОМ*

Мой маленький Ёжик –
Весёлый бездельник.
Купить ему, может быть,
Ёженедельник?

С ним вместе запишем
На листике белом
Всё, что он хотел,
Но забыл и не сделал.

А если мой Ёжик
Исправится всё же,
Тогда ёжедельник
Куплю ему позже.

* Написано с Самарием Зеликиным.

Феликс Кривин

СВОЙ ЧЕРЁД

ОДНАЖДЫ

Я начал сказку так: «Однажды Заяц...»
Потом чуть-чуть помедлил, сомневаясь.
Потом, сомнения преодолев,
я начал сказку так: «Однажды Лев...»
Потом сравнил я эти два «однажды»,
сообразил, что так бывает с каждым,
кто в чём-то струсив, в чём-то осмелев,
однажды заяц, а однажды – лев.
Конечно, львом нетрудно стать, когда ты
устроился на львиную зарплату
и гаркаешь на всех не хуже льва,
употребляя львиные слова.
Конечно, зайцем можешь стать легко ты,
когда тебя грозятся снять с работы,
соседи травят, у жены мигрень
и в школу вызывают каждый день.
Всё это так знакомо... Но однажды...
«Однажды» труса делает отважным,
из робких зайцев делает мужчин...
И это – сказки доблестный зачин.
Однажды в сказке может всё случиться,
а кто за остальное поручится?
Ведь даже сказка – в этом весь секрет –
однажды сказка, а однажды – нет.

ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ С СОБАКОЙ

Нет ни дуба, ни осины,
ни сухого стебля нет,
и собака по пустыне
ходит, ищет туалет.
Вот и вечер на исходе,
зажигают звезды свет...
Так устроено в природе:
что-то есть, чего-то нет.

РИСУНОК

Там, где контуры горы
и луны окружность,
жили-были две сестры –
Внешность и Наружность.
Жили – просто никуда:
грубо, косо, криво,–
то ли веник и скирда,
то ли хвост и грива.
Не лепился к штриху штрих,
все не так, как надо.
Но уставились на них
два пунктира-взгляда.
И впервые понял мир
красоты ненужность,
глядя, как один пунктир
пронизал Наружность,
и впервые ощутил
красок неуместность,
глядя, как другой пунктир
врезался во Внешность.
Что случилось, господа?
Не узнать Наружность.
неприятные для глаз
вялость и небрежность
оказались в самый раз –
подменили Внешность.
Загляденье для души,
лёгкость и воздушность –
до чего же хороши
Внешность и Наружность!
Две подружки, две сестры,
две березки в поле...
Это всё видней с горы,
а с луны – тем боле.

СЛОВО

А слава – дым, а слово – дом,
и в этом доме я живу.
Под вечер за моим окном
садится солнце на траву,
а утром, выспавшись, встаёт
и отправляется в полёт
вокруг столиц и деревень
с весёлой тучкой набекрень.

Приходят Прежде и Потом,
в мою стучатся дверь,
интересуясь, где живёт
прекрасная Теперь.
А я на это: вот те на!
Да где ж ей жить ещё, когда
Теперь – моя жена?

Я приглашаю в дом гостей,
прошу испить вина.
И входит в комнату Теперь,
садится у окна.
Я Прежде знаю с давних пор,
мы даже с ним на ты.
И потянулся разговор
до самой темноты.
И ночь стояла у окна,
вздыхая о былом...
Но где Теперь, моя жена?
Она ушла с Потом.

Как много у меня потерь!
И вот – ещё одна.
Ушла она, моя Теперь,
неверная жена.
Ушла, покинула мой дом,
а я кричал: «Вернись!»
Проснулось солнце за окном
и устремилось ввысь.
И на пути его крутом
кружилась голова.
Но слава – дым, а слово – дом...
Слова, слова, слова...

И просыпалась жизнь вокруг,
как водится, с утра,
и Прежде, мимолётный друг,
промолвил: «Нам пора».
И я поднялся, чтоб идти,
но распахнулась дверь,
и встала на моём пути
прекрасная Теперь.
Другая, новая Теперь,
она вошла в мой дом.
И другу я сказал: «Иди.
Я как-нибудь потом».

МУЗЫКА

Звук не дошёл до тишины,
он где-то пал на полдороге,
и были больше не слышны
его сомненья и тревоги.

А улица не знала сна,
и вот тогда, молчать не в силах,
заговорила тишина
над звука павшего могилой.

Она над городом плыла,
надежда наша и порука...

И это музыка была,
что в мире недоступна звуку.

ЭЛЕГИЯ

А морда просит кирпича
отнюдь не для беседы
о Тициановых холстах,
о ритмах Дебюсси.
Нас окружает странный мир,
который нам неведом,
его услышать и понять
едва хватает сил.

Но морда просит кирпича
не для высоких истин,
не для задумчивых страниц,
что выстрадал Монтень.
Уходит солнце в облака,
и опадают листья,
и стынут жаркие слова,
и мысль уходит в тень.

А морда просит кирпича.
Безмолвно, безнадёжно.
Откуда в мир она пришла?
Куда она уйдёт?
Но просит морда кирпича.
Когда-нибудь... возможно.
Жизнь продолжается. Всему
настанет свой черёд.

Рахель Лихт

КНИГА ДЕДУШКИ ДАВИДА

ОСНОВАТЕЛЬ РОДА

И вновь я мысленно уношусь в город маминого детства, Кременец. Он еще безмятежно купается в зелени садов, сквозь которые то тут, то там мелькают крыши, словно вы набрели после дождя на грибную поляну. Крутые улочки проворно карабкаются на возвышающиеся над городом карпатские отроги. По центральной улице с удивительным названием – Широкая – нет-нет да промчится, гремя колесами по наезженной колее, пролетка с опущенным верхом. Город небольшой, купеческий. Самые добротные дома, которыми щеголяет и вправду широкая центральная городская улица, с высоты своего второго этажа благосклонно взирают на солидных бородатых мужчин в сюртуках и шляпах, важно постукивающих своими тросточками по тротуару.

Вверх от Широкой взбирается в гору Казначейская улица, по обеим сторонам которой разместились дома, принадлежащие многочисленной семье Ройхелей. Гордо возвышается над соседними домиками двухэтажный особняк маминого прадеда Герша Менделя Ройхеля. В просторном дворе набитые товарами торговые склады, добротная баня и синагога. Внуки помнят седобородого дедушку Герша в черной ермолке, важно восседавшего возле ворот. Но до того как Герш Мендель отрастил бороду до пояса и превратился в благообразного старца, он торговал сахаром. К сахару вскоре добавилась торговля свечами, а когда появился спрос на оберточную бумагу, Герш Мендель стал торговать бумагой. Расчетливый купец, он сделался одним из первых фабрикантов среди евреев Кременца, прикупив писчебумажную фабрику. Слыл он человеком строгим и независимым, имеющим обо всем свое собственное мнение. Да что там мнение, все у него было свое: дом, улица, баня, синагога и даже раввин.

Его зятья тоже были весьма состоятельными людьми. Муж младшей дочери Бейлы, Шимон Биберман, имел свой магазин галантереи на углу Широкой и Казначейской. На том же углу находилась и гостиница «Пассаж», принадлежавшая Шмуэлю Канеру, мужу Ципы, внучки Герша Менделя. По соседству располагался и дом ее отца Мойше Лиса, женатого на старшей дочери Герша Менделя, Хайтеме. Дом младшего сына Герша Менделя, Йеошуа, стоял рядом с отцовским. Йеошуа был компаньоном отца на писчебумажной Руднe-Почаевской фабрике, расположенной в нескольких верстах от Кременца. Расстояние по тем временам неблизкое, поэтому отец и сын проводили на фабрике всю рабочую неделю. Домой возвращались только к наступлению шабата. Дело делом, но еврейские традиции в семье свято соблюдались.

Благодатные места, благословенное время... Время, ход которого еще никому не удавалось остановить. В годы первой мировой войны и следующей за ней войны гражданской по Волыни прошло столько армий, что жители с трудом отличали контрибуцию одной от мародерства другой. Когда летом 1920 года в боях за Волынь сгорела Руднe-Почаевская железнодорожная станция вместе с близстоящими фабриками и жилыми домами, не имело ровно никакого значения, было ли это делом рук конницы Буденного или результатом артобстрела армии Пилсудского.

Время распорядилось по-своему. Сохранив копию бланка Руднe-Почаевской писчебумажной фабрики и фотографию ее владельца, оно не оставило нам ни фотографии, ни имени той, что родила Гершу Менделю четверых детей.

...Самый старший сын Герша Менделя, Мойше, был отцом моего дедушки Давида. Его дом стоял напротив отцовского. В просторном дворе размещалось несколько жилых сооружений и огромный магазин мануфактуры. Купец второй гильдии Мойше Ройхель ни в чем не испытывал недостатка: прибыльное дело, дородная жена, восемь детей. И не его вина, что сменявшие одна другую войны пошатнули прибыльность торговли и благополучие семьи.

После того как в 1921 году Кременец надолго отошел к Польше, в городке воцарился мир и порядок, а в доме Мойше и Шпринци появились первые внуки. Вернулась в Кременец семья старшей дочери Ханы с маленьким Мареком. Вернулась семья старшего сына Давида с маленькой Рут. Жизнь в Кременце для моей мамы началась с четырехлетнего возраста. Она запомнила тихий городок, жизнь неторопливую, спокойную, не лишенную радости, хотя и без особого достатка.

ИДИШИСТ

Все дети Мойше Ройхеля, или, по крайней мере, те, о которых в семье сохранилось хоть какое-то предание, успели получить среднее образование до начала первой мировой. Волынь тогда входила в состав царской России со всеми присущими ей процентными нормами и чертой оседлости. В состоятельных еврейских семьях, какой была семья Мойше Ройхеля, детям стремились дать гимназическое образование. Три из пяти дочерей Мойше (Хана, Нехама и Рахель) окончили русскую гимназию, а Рахель – даже с золотой медалью.

О судьбе двух других дочерей, Мани и Брони, как и о судьбе их брата Соломона, моя мама не смогла вспомнить ничего примечательного.

Братья Давид и Иосиф были старше сестер-гимназисток и, в отличие от сестер, получили домашнее образование. По-видимому, курс гимназии братья прошли с частными учителями, что и дало им возможность в дальнейшем уехать учиться в Одессу.

По документам известно, что Иосиф поступил в одесское коммерческое училище в 1909 году. Можно предположить, что Давид появился в Одессе на два года раньше.

Это было время жесточайшего разгула реакции на развалинах подавленного властью общественного движения. Для любых сборищ, будь это даже семейные праздники, требовалось разрешение полиции, которая подобные сборища не поощряла. И если в крупных городах еще можно было добиться легализации некоторых объединений и кружков, то в провинции были запрещены даже такие безобидные, как «Этнографическое общество», «Распространитель просвещения», «Литературное общество». Зато вовсю процветали танцевальные классы, игорные залы и лига «свободной любви». Хлынувшая на книжные прилавки бульварная литература (или «санинщина», как ее тогда называли по одноименному роману Арцыбашева) отвлекала молодежь от бредовых социальных идей.

Те единицы, которые стремились к самообразованию, объединялись вокруг петербургского журнала «Вестник знания». Журнал действительно являлся источником самого широкого круга знаний. Кроме того, его редактор добился легализации одноименного сообщества. Теперь для создания общества «Вестник знания» в самых разных регионах страны не требовалось специального разрешения. Легализация общества автоматически давала право на проведение собраний, семинаров и лекций на самых разных языках. Среди гонимых языков, за которыми не признавались права «научного», был идиш.

Летом 1909 года воодушевленный идеей просветительства Давид Ройхель прибыл в Кременец на каникулы. К тому времени он уже был активным членом одесского кружка «Вестник знаний» и без труда наладил связи с другими кружковцами из соседних с Кременцом местечек. Вскладчину были приобретены первые книги, которые по задумке организаторов должны были заменить бульварную литературу. Первым камнем, о который споткнулись распространители, был язык. Обучавшиеся в русских учебных заведениях молодые люди не предполагали, что работу среди рабочей еврейской молодежи надо вести на языке идиш. Что те, кого они собираются просвещать, не знают русского языка и не смогут прочесть предлагаемые им русские книги.

Пока распространители всерьез обсуждали вопрос, обучать рабочих русскому языку или самим перейти на идиш, Давид Ройхель захотел выяснить - а существуют ли эта самая литература на идише и заинтересует ли она рабочих?

Каково же было его потрясение, когда в ответ на запрос петербургское «Литературное общество» выслало ему в качестве образца издававшийся в Вильно еврейский журнал «Лебн ун висншафт» («Наука и жизнь»). Не менее бурной была реакция на содержимое журнала тех, кто, в отличие от Давида, хорошо знал идиш. Первые приобретенные распространителями еврейские журналы были мгновенно раскуплены.

Так были разрешены все сомнения. Отложив в сторону русскую литературу, Давид углубился в изучение идиша и произведений еврейской классики. Воодушевленные успехом журнала, молодые люди стали распространять произведения Менделе Мойхер-Сфорима, Переца, Шолом-Алейхема, Шолома Аша и других еврейских прозаиков. Книги хорошо раскупались.

Но годы шли, и родители, наверное, не раз выговаривали юноше, что пора бы уже и за ум взяться. Когда родители говорят: «Пора взяться за ум», чаще всего они подразумевают не ум, а деньги. Поскольку за ум Давид взялся уже давно и, судя по всему, не собирался расставаться с мечтой о дальнейшем процветании идишской литературы, пора ему было подумать о заработке на этом поприще.

Страстный поклонник русской литературы и не менее страстный поборник внедрения в еврейскую культуру языка идиш, Давид объединил обе свои страсти в переводческой деятельности. Для приложения своих сил на новом поприще подходили два города, в которых в начале XX века находились крупные издательства идишской литературы: Варшава и Вильно. Выбор пал на Вильно, с книжными издательствами которого Давид уже был знаком.

ВИЛЕНСКИЙ ЛИТЕРАТОР

Развитие еврейской литературы в Европе шло нехожеными тропами. Известно, что никакие конференции по языку идиш, сколько бы раз они ни объявляли его одним из национальных языков еврейского народа, ничего не могли изменить в умах этого самого народа, пока отсутствовали школы и театры на идише, пока не набрала достаточную силу идишская литература. Но и сам литературный идиш в те годы находился еще в стадии становления.

Путь, который избрала виленская еврейская интеллигенция, можно назвать компромиссным. Поскольку на создание собственной литературы необходимо было время, издатели обратились к переводам. Таким нехитрым способом велось, с одной стороны, приобщение еврейского населения к сокровищам европейской культуры; с другой стороны, на богатейшем материале совершенствовался идиш, а вместе с ним шло развитие идишской литературы.

Вильно не зря называли Литовским Иерусалимом. В многочисленных виленских газетах, журналах и книгах художественная литература сочеталась с научной, религиозная с секулярной, а переводная не мешала развитию оригинальной еврейской. И все это издавалось как на еврейском идише, так и на древнееврейском иврите.

Ко времени появления в Вильно (не раньше 1912 и не позднее 1915 года) Давид Ройхель в совершенстве знал оба языка, что позволило ему в дальнейшем заняться анализом употребления в идише компонентов иврита, и внести свой вклад в теорию перевода на идиш.

Приверженность Давида еврейской литературе была непонятна его сионистски настроенным двоюродным братьям и сестрам. Точно так же, как и его не занимали пропагандируемые ими идеи сионизма. Душу молодого виленского литератора не затронули и проблемы российских социалистов всех мастей. Революционный 1917 год отличался у Давида от остальных лет только рождением сразу двух его первенцев. В феврале 1917 года в Вильно родилась дочь Рут. В том же году увидела свет серия книг из «Иллюстрированной детской библиотеки Ройхеля». Не думаю, чтобы это было случайным совпадением. Как видно,

дедушка Давид серьезно готовился к роли отца. И может быть, решил подарить своему ребенку то, чего был лишен в детстве сам – лучшие сказки и истории для детей на идише.

Для самых маленьких читателей молодой отец перевел русские народные сказки «Колобок», «Репку», позднее «Ханушкины сказки» Мамина-Сибиряка (изменив на еврейский манер имя дочери писателя Алёнушки, для которой эти сказки писались). В детскую библиотечку вошли его переводы: «Дюймовочка» Андерсена, «Суд царя Соломона» Куприна. И еще один Соломон... Вот только я не поняла, его «Царь Соломон. Асмодей» – это перевод с иврита истории, написанной Бяликом, или это собственная обработка в доступной для детей форме известных танахических сюжетов. То, что Давид Ройхель делал собственные переложения по мотивам известных произведений, я узнала, обнаружив в интернете ссылки на «Сказки» Давида Ройхеля. Впрочем, об этой книге я расскажу чуть позже. А сейчас речь не обо мне, а о девочке Рут, чье рождение было отмечено упомянутым литературным событием.

Читала ли она эти книги, когда подросла? Или они безвозвратно пропали в нагрянувшей вслед за 1917 годом и надолго затянувшейся военной неразберихе? Если мама что-то и рассказывала о книгах своего отца, то так давно и так мимоходом, что ни у меня, ни у брата в памяти эти рассказы не сохранились. Зато мы оба помним историю о газетном оповещении, в котором писателя Давида Ройхеля поздравляли с рождением дочери его друзья и сотрудники. Поскольку сама виновница поздравления никак не могла помнить подробности этого события, остается предположить, что она не раз слышала эту историю дома.

И в дальнейшем мамин день рождения отмечался довольно бурно, и подарки дарились дорогие – по утверждению ее младшей сестры Фирочки. Одним из таких подарков была привезенная из Германии фарфоровая кукла с закрывающимися глазами. Для того времени – вещь фантастическая, величиной с настоящего младенца. Мама с восторгом рассказывала, как пугались впервые заходившие в дом люди, замечавшие оставленного без присмотра «младенца» где-нибудь на стуле. Я даже думаю, что мама специально оставляла куклу в самых неожиданных местах, чтобы напугать взрослых. Увы, проделки девочки закончились маленькой трагедией. Один из гостей сел на стул, не заметив лежавшую там куклу. Чудо техники тех времен так и не удалось починить. Горевали и девочка, и неловкий гость.

Младшая сестренка, Фирочка, родилась десятью годами позже и не застала ни чудо-куклы, ни дома, где толклась шумная литературная братия, ни отца. Она родилась в провинциальном Кременце, далеком от литературной жизни и крупных издательств. Инициатором возвращения в Кременец была жена Давида Мирьям.

Кто мог тогда предвидеть, что государственная граница, проведенная русско-польской войной между Вильно и Кременцом, продержится недолго. Что надо только немного переждать, и Вильно, как и Кременец, отойдет к Польше. Напуганная перспективой оказаться отрезанной от родительского дома, Мирьям уговорила мужа вернуться в родной им обоим Кременец.

За нелегальный переход границы по лесной тропе родители Рут расплачивались банками сгущенки. Как всегда в лихие годы, деньги уступали место натуральным продуктам. Когда в 1991 году уезжала из России наша семья, я расплачивалась бутылками водки, которые накопила, исправно отоваривая водочные талоны.

КТО ТЫ, ДЕДУШКА ДАВИД?

Еще до возвращения в Кременец Давид Ройхель, по-видимому, пробовал закрепиться в Киеве, где в 20-х годах увидели свет пять его книжек. В столь далекий путь по районам, кишащим бандами и войсками регулярных армий, его погнал поиск стабильного еврейского издательства. В Киеве набирала силы«Культур-лига» – еврейская организация, занимающаяся развитием идишской культуры. Несомненным достижением этого сообщества стало создание в июне 1919 года в Киеве одноименного крупнейшего издательства.

В 1921 году оно выпустило книгу Давида Ройхеля «Сказки». Это был сборничек в 20 страниц с его собственными переложениями на идиш историй о животных по мотивам произведений А. Афанасьева, В. Даля, К. Ушинского, Д. Тихомирова и других собирателей русского фольклора. Являются ли при этом переложения Ройхеля такой же кладовой идишского фольклора, сказать не берусь.

Книга имела успех и через год была переиздана тем же издательством «Культур-лига», на этот раз с иллюстрациями Эпштейна. Но к тому времени Киев окончательно отошел к Советам, а Кременец, куда перебрался Давид Ройхель с семьей, был отвоеван Польшей.

При чтении отзыва на замечательные иллюстрации художника Марка Эпштейна в моей памяти зашевелились смутные воспоминания о некоей детской книжке с зайцем на обложке. Было там и другое смешное зверье. Названия сказок заодно с моей памятью: «Заяц и еж», «Лисица и заяц», «Заяц и лев». Ошибается память или нет, проверить пока не удалось.

Значит, наш дедушка Давид писал детские сказки?

По словам брата, дедушка был молчалив и сумрачен. Мог ли такой человек писать сказки для детей? Но даже если доверять ощущениям шестилетнего мальчика, не исключено, что в сумрачного человека Давид Ройхель превратился уже на излете не баловавшей его жизни. Вспоминала же мама дом своего детства, наполненный не только пением ее матери, но и многочисленными друзьями отца. Ведь при всей своей нелюдимости именно дедушка Давид занимался развитием своего единственного внука и моего брата Виктора. Это он научил его говорить букву «р» (а то, страшно вымолвить, на вопрос, куда уехали родители, малолетний внук говорил: «Ленин...г`ад!»). Это он покупал и читал ему детские книжки.

Некоторые из этих книг я помню до сих пор, потому что они, даже в несколько ободранном виде, еще долго хранились в нашей библиотеке. Потому что чудесные иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» были неотделимы от пушкинских строк, потому что мечта о лошадке,

точно такой, как в стихотворении Льва Квитко, так и осталась мечтой. Потому что «Овощи» Тувима мама с братом декламировали в унисон, а мне по малолетству доверялась всего одна, но весьма содержательная и экспрессивная реплика: «Ох!»

Подарить своему первому внуку библиотечку детских книг на идише Давид уже не мог. К тому времени часть еврейского населения, для которой он старался переложить на идиш жемчужины русской культуры, была уничтожена, а другая часть освоила язык оригинала.

Зато дедушка Давид научил малыша читать в таком раннем возрасте, в котором другие дети еще только начинают разговаривать. Вернувшиеся из Ленинграда родители были поражены не только раскатистым «На горе Арарат растет крупный виноград», но и тем, что сын прочитал им отрывок из «Сказки о царе Салтане». «Э, нет! – не поверила Рут. – Он эту сказку знает наизусть и помнит, где надо переворачивать страницы». Но когда малыш столь же бойко прочитал название подсунутой ему газеты, сомнения родителей рассеялись.

Мне повезло меньше: и картавила почти до школы, и читать научилась только годам к шести. В моем образовании было много пробелов – сказывалось отсутствие дедушки Давида.

Замкнутый и, как иногда проскальзывало в маминых воспоминаниях, эгоистичный дедушка Давид. Маму можно понять. Она тащила на себе тяготы послевоенного времени: и добыть, и вскопать, и полить, и прополоть, и воды в дом наносить, и всех обстирать... И приготовить на всех. Мама переходила от корыта к огороду, а от огорода к керосинке. Каждый человек в доме оборачивался дополнительной заботой. Скромный заработок мужа позволял еле-еле сводить доходы с расходами, а дедушка Давид тратил деньги на книги... Или вот еще придумал: подарить внуку фильмоскоп – чудо послевоенной техники.

Внук был в восторге, хотя и несколько скис, когда вместо обещанного ему «кино» увидел застывшие кадры. Все равно, рассматривать сказки в картинках через смотровое окошко фильмоскопа долгое время было одним из наших с братом любимых занятий. Настольные фильмоскопы с подсветкой появились лишь спустя несколько лет, уже после смерти деда. Я помню эти сладостные минуты ожидания, когда все зрители в сборе, на стене уже натянута простыня, и уже пришли к согласию, какой фильм будем сегодня смотреть, и чья очередь читать текст, а чья – вертеть ленту, и вот сейчас, еще мгновенье, и поползет по простыне первый зачирканный черным зигзагом кадр, сменяясь несметными сокровищами Хозяйки Медной горы из диафильма нашего детства.

Но новым, «продвинутым» фильмоскопом мы могли наслаждаться только в домах своих друзей, родители нам такие дорогие игрушки не покупали.

Зато в нашем доме можно было увидеть странные, открывающиеся задом наперед, книги с узорчатыми буковками. У автора одной из них была смешная фамилия – Перец. Принадлежали это книги дедушке Давиду, или родители купили их для себя, я не знаю. Знаю только, что книги самого дедушки Давида в доме не сохранились.

А таких книг, как я недавно выяснила, было много. И когда я приступила к поиску дедушкиных следов в литературе, то постепенно на поверхности реки забвения показались вполне заметные островки.

«Ройхель был не только великолепным переводчиком, особенно детской литературы, – написал мне один из современных идишистов, – но и теоретиком перевода».

Я и сама убедилась в этом, когда на сайте Иерусалимского Еврейского университета обнаружила названия более тридцати статей Давида Ройхеля. О теории перевода, о структуре языка идиш; литературоведческие и обзорные статьи. Может быть, желание прочесть хотя бы некоторые из них подвигнет меня изучить идиш? И тогда я сама смогу ответить на вопрос, кем же был наш таинственный дедушка Давид.

Увы, он не был образцовым отцом и преданным мужем. Единственная дама сердца, которой он остался верен до конца жизни, была идишская литература, чем дальше, тем настойчивее требовавшая от Давида оставить провинциальный Кременец. И чем упорнее Мирьям противилась отъезду из родительского дома, тем тягостнее становилась обстановка в семье. Тем чаще Давид срывал свою тоску по любимому делу на жене, заставившей его покинуть Вильно.

Сначала Мирьям просила подождать, пока затихнут многочисленные войны. Потом отъезд пришлось отложить, потому что Мирьям была беременна. Потом ей было страшно пускаться в неизвестность с младенцем на руках, да и Рут уже пошла в школу. А потом Давид уехал один...

Только в 1930 году, после долгих лет, проведенных в захолустье, ему удалось вырваться в Варшаву. Но если учесть, что все эти годы в Вильно продолжали выходить книги его переводов («Избранные рассказы» Куприна в 1924 году, роман Вересаева «В тупике» в 1925 году, роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» в 1929 году), то можно считать, что годы кременецкого «заточения» не прошли для него впустую.

В начале 30-х годов цвет еврейской литературы переместился в Варшаву. Давид стал сотрудником крупного варшавского ежемесячника «Литерарише блэтэр» («Литературные страницы»), Литературного журнала, одним из основателей которого был Перец Маркиш, а главным редактором в течение нескольких лет – Израиль Зингер, старший брат будущего Нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера, который в те годы только начинал публиковать свои рассказы.

Начиная с 1930 года, вплоть до начала Второй мировой войны, редкий номер «Литерарише блэтэр» выходил без статьи Давида Ройхеля. В это же время в издательстве «Литерарише блэтэр» выходили книги его переводов. В 1931 году он перевел «Историю русской литературы от древнейших времен до наших дней» П. С. Когана и «Историю еврейского рабочего движения в России» Н. А. Бухбиндера. В 1936 году в том же издательстве вышли в переводе Ройхеля роман Пильняка «Созревание плодов» и автобиографический роман А. Авдеенко «Я люблю». Следом, в 1937 году вышла переведенная Ройхелем повесть Паустовского «Колхида»

В том же 1937-м, пушкинском юбилейном году, Давид Ройхель переводил прозу Пушкина. Переводил он и «Мертвые души» Гоголя.

Он вновь почувствовал себя в родной стихии. Вернулось ощущение силы и молодости, когда ни тяготы быта, ни безденежье не лишают вкуса к жизни. Впрочем, быт скоро наладился: в доме Давида появилась юная жена.

Мирьям, так и не решившейся оставить родной дом, пришлось одной поднимать двух дочерей, младшая из которых была очень обижена на отца. Старшая – моя мама – отнеслась к решению отца спокойно. В дальнейшем она сумела наладить и с отцом, и с его новой женой, которая была ненамного ее старше, нормальные дружественные отношения.

ТАЙНА БОРДОВОЙ СУМОЧКИ

Имени дедушкиной жены я не запомнила. Возможно, потому, что, вспоминая о ней, мама говорила «папина жена». Возможно, потому, что у молодой дедушкиной жены было какое-то простое имя (Фаня?), в отличие от звучного имени ее младшей сестры – Ирен. Впрочем, имя Ирен сохранилось в моей памяти еще и потому, что сохранились ее фотографии в семейном альбоме, и сохранялась ее переписка с мамой (только ближе к семидесяти годам мама стала жаловаться, что ей трудно писать по-польски, путаются буквы, схожие по написанию с русскими). На прочность их дружеских отношений не повлияли ни годы, ни государственные границы. Семья Ирен была среди тех евреев, которые после милостивого сталинского указа 1947 года приняли решение вернуться в Варшаву (кстати, именно там, пережив волну оголтелого антисемитизма, они с мужем поменяли свои еврейские имена и фамилию на польские). В конце 50-х Ирен приезжала в Москву уже туристкой, и роскошные шелковые клетчатые ленты, подаренные ею для моих косиц, закрепили за мной в школе недолго продержавшуюся кличку «полячка». Впрочем, еще раньше, чем исчезла кличка, учительница запретила мне появляться в школе в «заграничном».

Давид с женой успели уйти из Варшавы перед тем, как город был оккупирован гитлеровской армией. Они оказались во Львове, который при «карточном разделе» Польши достался Советскому Союзу. Недолгая передышка в советском Львове – и снова нацистская угроза, и снова Давид отправился в бега. Судьба забросила его в какое-то глухое местечко под Уфой. Куда при этом исчезла дедушкина жена, для меня так и осталось тайной. Знаю только, что Ирен долго была обижена на Давида, то ли за то, что он недостаточно сильно уговаривал жену последовать за собой в далекие башкирские степи, то ли за то, что не разделил вместе с ней участи евреев, оставшихся на оккупированной территории. А может, жена погибла в эвакуации, и за это тоже нес ответственность Давид.

Мамины рассказы о бегстве из Львова, ее скитаниях по России, жизни в Узбекистане и Новосибирске, замужестве и переезде в Москву всегда дышали красочными подробностями. Не менее ярко она вспоминала совместную жизнь со своим отцом и его женой на съемной варшавской квартире. Но искусно уходила от вопросов о послевоенной жизни отца в Ульяновске. За этими умолчаниями чувствовалась какая-

то тайна. Впрочем, в жизни моего дедушки Давида было много таинственного. Такой же таинственной была и его смерть.

Не осталось никаких следов того, чем занимался дедушка Давид в эвакуации. Переводить на идиш в башкирской глуши было не для кого. Война словно вычеркнула его из жизни. Недаром в Российской Еврейской Энциклопедии датой его смерти указаны 1941-1942 годы. Именно тогда прервалась жизнь переводчика Давида Ройхеля. Хотя человек Давид Ройхель еще дышал и двигался, еще хотел жить.

После окончания войны ему с невероятным трудом удалось выбраться из Башкирии. Он появился в Москве уже после того, как из столичных гостиниц съехали «евсеки» – члены еврейской секции Союза писателей Украины. Они вернулись домой, на освобожденную Украину. Но у Давида не было там ни дома, ни семьи. Он приехал в Москву уже после того, как город покинула семья его дочери Рут. В Москве для него не нашлось ни работы, ни жилья, хотя жили в Москве его двоюродные Малка и Моисей, и работал в Госиздате родной брат Иосиф.

Давид понимал, что ни в Варшаве, ни в Вильно он уже не найдет идишских издательств. Нечего ему было искать и в Палестине, демонстративно не признававшей идиш. В конце 40-х положение идишской культуры в стране, победившей фашизм, тоже становилось все более шатким. В СССР уже готовили казнь еврейской культуре.

Давиду Ройхелю ничего другого не оставалось, как уехать к дочери в Ульяновск. Бывший переводчик и литературовед стал продавцом провинциального книжного магазина, где он был и за кассира, и за экспедитора. Страстный идеалист, веривший в силу слова, способного спасти мир, разрываемый на части людской злобой и завистью, был на грани отчаяния. Шел 1948 год. Выбранное Давидом государство вело объявленную войну с космополитизмом и необъявленную – с еврейским народом. Так что причин для отчаяния было достаточно.

Где и когда совершил он непростительную ошибку? Тогда ли, когда, зная о коричневой чуме в Германии, не уехал вместе с другими еврейскими литераторами в Америку? Когда идишскую литературу предпочел русской? Или причина всех бед была только в том, что он родился евреем?

Я дедушку Давида почти не помню. За исключением одного случая. Был в моей жизни такой позорный эпизод: диким рёвом я испортила детям новогодний праздник, когда на пороге нашей квартиры возник Дед Мороз. Меня долго не могли успокоить. На скандальное требование: «Момой хочу!» – мне никак не могли доказать, что я дома. Даже когда, сняв бороду и усы, страшный Дед Мороз превратился в моего папу. Даже когда меня унесли в детскую и уложили в собственную кровать. И вот тут я смутно припоминаю лицо дедушки Давида, склонившегося надо мной, чтобы успокоить. Все взрослые смеялись. И только он один был серьезен. Ему-то я и поверила.

Но это смутное воспоминание так же туманно и недостоверно, как и моя память о дедушкиной книге сказок. И виноват в этой беспамятности не только возраст. Имя дедушки Давида в нашей семье долгие годы не упоминалось. Сначала, как я сейчас понимаю, из сострадания к маминому состоянию, потом – чтобы уберечь детскую психику, а по-

сле – больше по привычке. Ведь забыв о дедушке Давиде, мы с братом о нем уже не расспрашивали.

На следы его жизни я натолкнулась совершенно случайно, исследуя недра платяного шкафа.

Произошло это вскоре после папиной смерти, когда мама вынуждена была пойти на работу. До этого она была домохозяйкой. Война помешала ее учебе в педагогическом. Потом надо было дать возможность учиться мужу. Потом родился сын. А потом оказалось, что ни одно советское учреждение не желает принять на веру полученную ею в юности специальность портнихи. Степень мастерства в СССР оценивалась не по умению, а по наличию документа. Но у беженки, ночевавшей в поле под бомбами и умиравшей от голода в «хлебном» Узбекистане, все документы исчезли бесследно. Восстановить их в учебном заведении, которое стерли с лица земли вместе с многотысячным населением, было еще сложнее, чем отыскать в царстве чудовища аленький цветочек. Так вот и получилось, что пока был жив папа, мама сидела дома. Обшивала всю семью, родственников, знакомых и знакомых этих знакомых. У хорошей портнихи перебоев в работе не бывает. Только катаракта, закрывшая оба ее глаза, разлучила маму с иголкой.

Но это произошло много позже, а когда в сорок три года она осталась вдовой с двумя несовершеннолетними детьми на руках, сердобольные соседи помогли ей устроиться контролером готовой продукции на соседний с нашим домом Полиграфкомбинат.

Я не знаю, что делали другие дети, предоставленные самим себе. Меня манили тайны. Не спрашивайте, что я искала в платяном шкафу. Мне кажется, следы моего погибшего папы. Мне нравилось трогать его вещи. Заодно рассматривалось все, что попутно попадалось на глаза. Мамина старенькая бордовая, в форме трапеции, сумочка не могла остаться незамеченной. Пухлая пачка бумаг и документов не позволяла ей закрыться. Содержимое сумочки как бы само просилось в руки. Выпавший из сумки документ решил все мои сомнения. Им оказался папин студенческий билет. Тот самый студенческий «квиток», который был выдан первокурснику Арону в 1939 году Львовским политехническим институтом. Наличие этого документа помогло папе восстановиться во время войны на учебу в Московский инженерно-строительный институт. С фотографии студенческого «квитка» на меня смотрел незнакомый худой молодой человек с пышной шевелюрой.

С жадностью архивного исследователя набросилась я на остальное содержимое маминой бордовой сумки. Каждый листочек, каждый потрепанный документ таил в себе историю нашей семьи. Вот папин диплом об окончании института. «С отличием». Молодец папа! Вырезанный из «Строительной газеты» некролог на папину смерть. Дежурные фразы, стандартные слова, но для меня и за этими словами стояло нечто мое, болезненно-дорогое. Потёртая на сгибах бумажка – свидетельство о браке родителей. До этого я не знала, когда и где они поженились. Эта дата ими не отмечалась. Мне только тринадцать, и первым делом я считаю число месяцев от женитьбы родителей до рождения моего брата. Не сходится! Вруньи-девочки во дворе уверяли, что должно быть девять месяцев. Целых полтора года! (Потом мама мне

расскажет, что голод и малярия надолго лишили ее не только здоровья, но и женского естества.)

Все лежало вперемешку в той сумочке. Странные серые бумажки с гербом – облигации государственного займа, на который уходила немалая часть папиной зарплаты, соседствовали с его трудовой книжкой. Свидетельство о браке родителей – со свидетельством о папиной смерти, отличавшимся от остальных бумаг своей давящей новизной. А это – «жировки»: счета за свет, за воду, за газ – сущие копейки. Рядом письма московского дедушки Шойла – папиного папы. Шойл ненадолго пережил своего сына. Но пока был жив, письма от него приходили исправно. Он помогал маме и подбадривающими словами, и материально. А это письмо написано моим папой своему отцу в то злополучное лето. О том, как тоскует по семье, которую отправил отдыхать на море. О том, что уже два года не был в отпуске. О непонятных болях в сердце. Страшно читать эти строки, зная дальнейшее: в отпуск вырвался с трудом, приехал к семье на море. И сердце не выдержало.

Очередной стершийся на сгибах листочек выпал прямо мне на колени. Я осторожно развернула его. Еще одно свидетельство о смерти. Незнакомая фамилия, неизвестное имя. Не сразу я поняла, что речь идет о моем забытом дедушке Давиде: возраст, дата, причина смерти... Прочитанное в последней графе повергло меня в ужас. Я поняла, что залезла в мамину тайну, и быстро засунула страшный листок назад в сумочку.

Лист бумаги можно засунуть как можно глубже и никогда к нему не возвращаться. Но что делать с памятью? Мне долго не давало покоя то, каким образом ушел из жизни забытый мною дедушка Давид. Ужас тайны сковал меня молчанием. Впервые я заговорила на эту тему с братом совсем недавно. Когда, задумав написать историю знакомства наших родителей, я решилась спросить у брата, что он помнит о дедушке Давиде. К моему изумлению, о способе, которым поставил точку в своей жизни наш дедушка, брат узнал из того же самого документа, примерно в то же самое время, что и я, после папиной смерти. Он тоже рылся в заветной бордовой сумочке! Но, в отличие от меня, прочитанное не ужаснуло брата, оно просто подтвердило его смутные детские воспоминания и кое-что прояснило в них.

Дедушка Давид ушел из жизни молча, без объяснений. Так же молча он провел последние годы своей жизни. После разгрома еврейской культуры в 1948 году говорить было не о чем, да и не с кем. К 1950 году, который отмечен в свидетельстве как год дедушкиной смерти, почти весь цвет нации был арестован. Оставшиеся «на свободе» еврейские писатели работали носильщиками, дворниками, так что должность продавца книжного магазина была не худшим уделом для бывшего идишиста. И, конечно, не собственная горькая участь подтолкнула Давида к роковому решению.

Чтобы отвлечь маму от тягостных воспоминаний, папа тут же перевез семью в другой дом, подальше от страшного места и свидетелей-соседей, хотя при этом пришлось сменить двухкомнатную квартиру на однокомнатную. Вскоре он добился перевода в Саратов, и мы навсегда покинули город, в котором осталась бесхозной дедушкина могила.

Дедушка Давид уже не расскажет, что заставило его свести счеты с жизнью. Мама, если и знала, то свято хранила в тайне не только причину отцовского ухода, но и выбранный им способ. И на мой робкий вопрос буркнула что-то непонятное, касающееся не столько дедушки, сколько ее. Про какие-то допросы, которыми ее мучили в милиции из-за дедушкиной смерти. Бедная мама... Страх сковал ей не только ее язык, но чувства.

Когда много лет спустя в ее голове наступила полная сумятица мыслей и языков, как видно, отпустили тормоза страха, и она о чем-то пыталась мне рассказать по-польски, жалуясь и плача.

– Мама, я не понимаю тебя, говори по-русски, – в который раз безуспешно пыталась я остановить поток ее слов.

И вдруг услышала жалобное: «Я им ничего не сказала! Передай Фейге, я ничего не сказала!»

Конечно, это был бред истраченного годами мозга. Или выполз наружу страх, сидевший глубоко внутри с тех давних времен, когда, отвечая на вопросы следователя о возможных причинах самоубийства ее отца, еврейского писателя Давида Ройхеля, она боялась, что следствию станет известно ее родство с Фейгой, женой арестованного в то время еврейского поэта Давида Гофштейна...

Скованные параличом молчания, люди держат в своих домах шкафы со скелетами. Но рано или поздно шкафы открываются. И тогда в дом приносят страшное известие. От детей его пытаются скрыть. Я такая маленькая, что меня можно просто отправить к соседям. Шестилетнего мальчика у соседей не спрячешь. Брата увозят подальше от дома, к дяде Шае. Надо было бы еще спрятать куда-то дворовых мальчишек, которые потом будут пугать брата: «Пойдем, покажем, где твой дедушка...»

Но он верит не мальчишкам, а родителям, которые сказали, что дедушка Давид уехал в Москву, к своему брату Иосифу. Ведь это так похоже на правду: из Москвы он к ним приехал, в Москву и уехал. Потом из Москвы дедушку Давида будут срочно «отправлять» к сестре, в Одессу. Как еще объяснить едущему в Москву мальчику, что там его ждет встреча только с одним дедушкой, Шойлом?

О чем молчали родители, мы с братом теперь знаем. О чем молчал Давид Ройхель, уже не узнает никто. Он был верным рыцарем идишской литературы и, похоже, пожелал умереть вместе с ней. Работа переводчика редко кому приносила лавры. Тем более при переводе на мало распространенный идиш. Сегодня в Израиле вы с трудом найдете человека, которому знакомо имя Давида Ройхеля.

Не то что имя его двоюродного брата, который юношей уехал из Кременца на защиту еврейских поселений в Палестине! Многие израильтяне знают, за что боролся и чего достиг генерал и даже одно время посол Израиля в СССР Йосеф Авидар.

Но биографии генералов и писателей редко пересекаются. К тому же, время любит переставлять фигуры на доске памяти.

...Вышедшую в 1937 году на идише книгу «Повести Белкина» перевели Давид Гофштейн и Давид Ройхель (Варшава, изд-во «Литерарише блэтэр»). Они были ровесниками. И ушли из жизни с разницей в два года. Давид Ройхель сам поставил точку в своей жизни в 1950 году. Давида Гофштейна расстреляли в 1952-м...

Борис Крутиер

НОВЫЕ КРУТЫЕ МЫСЛИ

* * *

Чтобы пустить народ по миру, виза не нужна.

Никто так часто не меняет окраску, как цвет нации.

Беда не в том, что партии растут, как грибы, а в том, что, в основном, поганки.

Если государство – это мы, то не стоит ждать от него больше, чем от себя.

Обещали фигу с маслом. Спрашивается: кому досталось масло?

Когда положение правительства становится безнадежным, оно объявляет его чрезвычайным.

Оппозиция приходит к власти только там, где она есть.

Все больше в родном Отечестве пророков с двойным гражданством.

Выборы – это когда власть идет в народ по нужде.

Предвыборные обещания – мышеловка без сыра.

Величие нации – охранная грамота ее отщепенцев.

С наших олигархов ничего не возьмешь, кроме примера.

Министры размножаются делением портфелей.

Никто нас так не понимает, как мы не понимаем себя сами.

Если бы мы не верили обещаниям, которыми нас кормили, мы бы уже давно жили, как нам обещали.

Если бы жернова истории не работали впустую, она бы не повторялась так часто.

В аду нет безбожников.

Житие грешника – роман, святого – афоризм.

Лжепророки, как продавцы, ошибаются в свою пользу.

Слава Богу, что хоть 10 заповедей принимались без согласительных комиссий.

Чертовски хочется быть ангелом.

Церковь должна быть отделена от государства, но не от Бога.

* * *

Как прекрасен был этот мир до того, как обезьяна вышла в люди.

Младших братьев любят еще и за то, что они не ведут себя, как старшие.

Собака – друг человека, пока он ее хозяин.

Если бы динозавры не вымерли, их бы давно истребили.

Аристократ ведет свою родословную с той обезьяны, которая первой слезла с генеалогического древа.

Если бы осел не был таким упрямым, его бы давно заездили.

У волка вся жизнь – обеденный перерыв.

Козлов отпущения стригут заблудшие овцы.

Чтобы понять овцу, надо побывать в ее шкуре, – считает волк, но не овца.

* * *

Судить о человеке надо по тому, за что он сам себя судит.

Ничто так не выдает человека, как то, за кого он себя выдает.

Иногда достаточно посмотреть человеку в глаза, чтобы понять, что он говорит о тебе за глаза.

Ничто так не мешает человеку быть самим собой, как инстинкт самосохранения.

Когда человек сам себе враг, он теряет последнего друга.

Человек, вышедший в люди, – потерянный для людей человек.

Пока человек ищет свою дорогу, он на правильном пути.

Чтобы заговорить с человеком нужен повод, чтобы помолчать – тема.

Человек может все, пока он в это верит.

Гением человек рождается чаще, чем умирает.

Ничто так не обезличивает человека, как удостоверение личности.

Пока человек стоит перед выбором, он у него есть.

Ничто так не разделяет людей, как необходимость делиться.

Порядочный человек не станет обманывать других больше, чем себя.

Труднее всего человеку дается право быть самим собой.

* * *

Хорошую жизнь легко испортить мечтами о лучшей.

Жизнь так коротка, что не каждый успевает стать человеком.

Ничто так не укорачивает жизнь, как ожидание, когда она наступит.

Иногда самое трудное в жизни начинается, когда все трудности уже позади.

Жизнь избавляет от старых иллюзий, освобождая место для новых.

Жизнь – это панацея от всех болезней, если принимать ее каждый день.

Жизнь не женщина: дается только один раз.

Все можно отложить на потом, кроме жизни.

Трагедия жизни чаще всего не в том, что она быстро кончается, а в том, что так и не началась.

Как же надо любить жизнь, чтобы ради нее умирать.

Кроме мягкого знака в конце у жизни и смерти нет других смягчающих обстоятельств.

Все в жизни мелочь, кроме ее самой.

Настоящую цену жизни знает только тот, кому она не по карману.

* * *

Человечество со смехом прощается с прошлым, чтобы со слезами вспоминать о нем в будущем.

Миражи – светлое будущее пустыни.

Чем дальше темное прошлое, тем оно светлее.

* * *

Для раба цена свободы зависит от цен на предметы первой необходимости.

Если выдавливать из себя раба по капле в день, век свободы не видать.

Свобода, равенство, братство – три хита всех времен и народов.

Раб готов отдать за свободу любые деньги, свободный человек – жизнь.

* * *

Когда правда всплыла, ее приватизировали те, кто ее топил.

Закрывать глаза на голую правду – это бесстыдство.

Две правды меньше одной.

У правды один недостаток: на всех ее не хватает.

Трудно быть идеалистом без материальной базы.

Крылья позволяют летать, но мешают ползать.

Строительство воздушных замков обходится дешевле, чем их содержание.

Ничто так не оживляет пустыню, как миражи.

* * *

Счастье – это когда понимаешь, что не создан для него.

Мало дать человеку счастье, надо еще не отбирать его у других.

Счастье – это когда не надо утром спешить на работу, а вечером – домой.

Как мало надо человеку для счастья, если оно не в деньгах.

Тяжело быть счастливым, когда никто не завидует.

* * *

Чем мельче цель, тем труднее промахнуться.

Когда средств не хватает, расплачиваются целью.

Чем ближе цель, тем больше желающих пострелять.

Жить по совести не каждому по карману.

Потеряв совесть, находишь то, что она тебе не позволяла.

Работа на совесть – одна из самых низкооплачиваемых.

Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.

У зла есть выбор, у добра выбора нет.

Злые люди делают то же, что и добрые, но за большие деньги.

Третьего не дано: либо добро должно быть с кулаками, либо – с протянутой рукой.

Не так страшен Страшный суд, как Страсбургский...

Повязка на глазах Фемиды – для отвода глаз.

По неписаным законам живут те, кто их пишет.

Хочется жить по средствам, но средства не позволяют.

Экономия денег требует денег.

Инфляция – это когда денег надо гораздо больше, чем раньше, чтоб убедиться, что счастье не в них.

Отпущенные на свободу цены назад не возвращаются.

Труд облагораживает человека, зарплата унижает.

Из временных трудностей денежные – самые постоянные.

Нельзя хранить деньги и счастье в одном месте.

В рыночном обществе все имеет свою цену, даже бескорыстие.

Денежные массы не пересекаются с трудящимися...

Лица вождей на денежных купюрах народу ближе и роднее.

Не каждому хватает ума, чтобы не пользоваться им.

С возрастом умный становится мудрецом, глупый – начальником.

На всякого мудреца ведется тайный протокол.

Одни чувствуют себя умнее после разговора с умным человеком, другие – с глупым.

Ничто так не способствует утечке мозгов, как их промывание.

Глуп, как пробка: чуть что – лезет в бутылку.

Если бы мы не были такими умными, кто бы нас считал такими дураками.

Пока умный делает глупости, дурак подводит под них теоретическую базу.

Недостаток серого вещества делает жизнь серой, избыток – черной.

Мало быть гением, надо еще не быть дураком.

Нет такой глупости, до которой бы мы не дошли своим умом.

* * *

Не имея своих мыслей, нельзя понять чужие.

Задние мысли не любят стоять в очереди.

Мысли – как женщины, оставленные без присмотра, – уходят к другим.

Природа отдыхает на детях, а родители – на природе.

Незнание законов природы не освобождает от наказания за то, что мы с ней сделали.

Лучшие соседи – это соседи по Вселенной: их не видно и не слышно.

Лабиринты, из которых нет выхода, часто начинаются парадным входом.

Ничто так не обесценивает вашу квартиру, как попытка ее продать.

Идеалисты строят воздушные замки, материалистам приходится в них жить.

* * *

Плох тот солдат, что не мечтает о дембеле.

Солдат еще может стать маршалом, полковник – только генералом.

Победителей судят потомки побежденных.

* * *

Когда хорошие привычки будут приносить такой же кайф, как дурные, от последних будет проще отвыкнуть.

Дожив до глубокой старости, можно пренебречь рассуждениями о пагубности вредных привычек.

За бутылку готов продать Родину, за сто грамм – отдать жизнь за нее.

Если принимать жизнь такой, какая она есть, то «принимать» приходится каждый день.

Ничто так не продлевает молодость, как ее ошибки.

Молодость штурмует бастионы, старость – места общего пользования.

Молодость – это когда ждешь от будущего больше, чем от настоящего.

В молодости желания ограничены возможностями, в старости возможности – желаниями.

Если бы не ошибки молодости – вся жизнь была бы ошибкой.

В молодости здоровье нужнее, чем в старости.

Молодость – это звездный час, старость – комендантский…

Чтобы умереть своей смертью, надо до нее еще дожить.

Успехи медицины налицо, а неудачи – зарыты в землю.

Мнимые болезни лечатся настоящими.

Больной был уже в том возрасте, когда шалят только нервы.

Необходимость постоянно делиться многие клетки сделала нервными.

По статистике среди медицинских причин смерти жизнь стоит на первом месте.

* * *

Жене надо верить, даже если она говорит правду.

Женоненавистник ненавидит всех женщин, женатый – только одну.

Хуже мужа, который не приходит домой вовремя, только муж, который приходит не вовремя.

Если жена молчит, значит, ей есть что сказать.

Невеста – это девушка, добровольно меняющая внимание к себе многих мужчин на равнодушие одного.

Чтобы муж не чувствовал себя дураком, жена должна быть умницей.

* * *

В постели можно все, но не больше, чем ты можешь.

Особенности национального секса: власть имеет народ как хочет, а народ имеет то, что имеет.
О настоящей любви либо мечтают, либо вспоминают.

Ел женщин уже только глазами, но еще с большим аппетитом.

Тост: «Так выпьем же, мужики, за любовь, а те, кто уже не может, – за дружбу!».

Поэт в каждой женщине видит богиню, прозаик – в каждой богине – женщину.

Однолюбу не везет в любви только один раз.

* * *

Женщины будят в мужчинах зверя: в одном – льва, в другом – зайца.

Умная женщина с годами становится мудрее, красивая – опытнее.

Строила глазки ножками.

Женскому сердцу не прикажешь, но договориться можно.

На конкурсах красоты побеждает самый богатый спонсор.

Многие блондинки гораздо умнее, чем считают брюнетки.

Умной женщине для конспирации приходиться быть красивой.

Опытная женщина верит комплиментам больше, чем обещаниям.

Бескорыстная женщина отдается по дружбе, расчетливая – по любви.

В прошлом медицина, образование и женщины были доступнее.

Женщины лгут не чаще мужчин, но гораздо правдоподобнее.

Когда умную женщину хвалят за красоту, она глупеет на глазах.

* * *

Если обстоятельства позволяли, вел себя как порядочный человек.

Тех, кого понимаешь, как себя, простить особенно трудно.

Отказался от своих убеждений, узнав, кто их разделяет.

Мания величия: носить фиговый листок на несколько размеров больше.

Лесть особенно неприятна, когда льстят не тебе.

В смирительной рубашке даже самый спокойный человек становится буйным.

Узнав себе цену, понял, что экономия ничего не даст.

Возможности позволяли иметь только желания.

Познав себя, убедился, что не всякое знание обогащает.

Труднее всего защищать справедливость от самого себя.

Не успеваешь подумать о себе плохо, как тебя уже опередили другие.

Чем меньше учишься на чужих ошибках, тем больше времени остается на собственные.

Быть честным с начала до конца труднее, чем в обратном порядке.

Теряя голову, трудно сохранить лицо.

Принимая все на свой счет, не предъявляй его обществу.

Всегда легче поставить себя на чье-то место, чем кого-то на свое.

Когда любишь жизнь, приходиться мириться с тем, что ты у нее не один.

Ошибается ли тот, кто ошибается в свою пользу?

Если все время ставить себя на место начальника, можно остаться без своего.

Что посмеешь, то и пожнешь.

От себя можно уйти только в то место, куда послали...

Прежде, чем называть вещи своими именами, надо представиться.

С собственным мнением надо считаться.

Иногда так хочется помолчать, но не с кем.

* * *

Чем прохладнее отношения, тем лучше они сохраняются.

Над тем, кто витает в облаках, тучи сгущаются в первую очередь.

Хороших людей подавляемое большинство.

Обиднее всего, когда победу, одержанную над собой, приписывают другому.

Эхо не любит болтливых.

Лес поднятых рук – самый дремучий.

Телевизор – это окно в мир, зашторенное экраном.

Ничто так не ведет к перегибам, как прямолинейность.

Чтобы не портить себе аппетит, людоеды не делят людей на хороших и плохих.

Не так много гласных, как негласных...

Память, как женщина, обычно изменяет с тем, кто не вызывает подозрения.

У слепо верящих в победу справедливости мало шансов увидеть ее своими глазами.

Средства, сэкономленные на борьбе за справедливость, идут на празднование ее торжества.

Бедные родственники находятся сами.

Если дети умнее своих родителей – это заслуга детей, если глупее – вина родителей.

Знание – сила, позволяющая определить всю глубину своего невежества.

В чужой памяти чаще всего мы остаемся тем, что стараемся вычеркнуть из своей.

Каждая эпоха предъявляет свой счет предыдущей.

Когда вокруг столько чужого, трудно стоять на своем.

С общественным мнением у нас уже хорошо, с собственным – все еще плохо.

Если твое мнение никто не разделяет, тебе больше останется.

Подопытные кролики переживают неудачный опыт тяжелее экспериментаторов.

Опыт – это умение делать одни и те же ошибки безошибочно.

Никто так часто не обновляют свой гардероб, как голые короли.

Говорить, что жить стало лучше, не запретишь.

Жить в свое удовольствие мешает чужое.

Тому, кто не ждет от жизни ничего хорошего, ничего не остается, как надеяться на лучшее.

Когда делят по справедливости, больше всего достается тем, кто делит.

Скептику легче поверить в собственное бессмертие, чем в воскрешение из мертвых.

Нежелание идти на контакт с нами – лучшее доказательство существования братьев по разуму на других планетах.

Пессимисты ошибаются реже, но оптимизма им это не прибавляет.

Иногда вопрос в том и состоит, кем он задан.

Нетерпеливые ждут дольше.

Когда на душе праздник, тело отрывается по полной программе.

Ничто так не характеризует общество, как его отбросы.

Без пустыни оазис не смотрится.

Настоящий эксгибиционист не стесняется быть самим собой на людях.

Дипломатия – это умение держать язык за зубами, не прерывая разговора.

Увидел свет в конце тоннеля? А может, ты зашел в него с другой стороны?

Ничто так не обесценивает Слово, как слова.

Свобода слова должна гарантировать свободу молчания.

Из песни слово не выбросишь, а из гимна – запросто.

Молва складывается из недомолвок.

* * *

Труднее всего рассмешить того, над кем смеются.

Хорошо смеется тот, кто знает, над кем можно смеяться.

Как мало долгожителей среди верящих, что смех продлевает жизнь.

Рассмешить человека до слез – это ремесло, довести – искусство.

Смех продлевает жизнь до самой смерти.

* * *

Маленький талант легче зарыть, большой – втоптать...

Как же порой далеко искусство от жертв, принесенных на его алтарь.

Идеологически подкованный Пегас летать не может.

Никто так не портит музыку как те, кто ее заказывают.

Ничто так не меняет прожитую жизнь к лучшему, как мемуары.

Голодание полезно поэту, но не Пегасу.

Чтобы тебя читали другие, надо писать для себя.

Никто так не унижает талант, как гений.

Плох тот афоризм, который ни разу не украли.

* * *

Пиарова победа.

Качал права человека.

Истина в последней инструкции.

Поэт божьей милостыней.

Витязь в овечьей шкуре.

Постулаты Крутиера

Не спорь с дураком, если он глупее тебя!

Не размахивай белым флагом, как победным знаменем!

Не мешай людям верить, что они лучше тебя!

Не рой яму другому! Уступи свою…

Не ищи правду там, где у каждого – своя!

Не разделяй свои взгляды с кем попало!

Не верь всему плохому, что о тебе говорят, но еще меньше – хорошему!

Не стой перед выбором поперек дороги!

Не родись счастливым! Денег не будет…

Не ищи Человека в толпе!

Не бойся будущего! Оно не настоящее…

София Шегель

ЗНАЕТ И ПОМНИТ

Люблю Мераса еще с далеких шестидесятых, когда два его романа – «Ничья длится мгновение» и «На чем держится мир» – ошеломили непривычно глубинным восприятием действительности и особенным художественным инструментарием. И сегодня, спустя почти полстолетия, эти книги читаются по-прежнему захватывающе и дают возможность читателю – совсем иному, чем в те времена – изучить особое литературное явление: Ицхокас Мерас. Это не значит, что после упомянутых книг была творческая пустота. Полная драматизма повесть «Сара», романы «Полнолуние», «Старый фонтан», «Стриптиз», многочисленные рассказы принесли автору широкое признание. Его читают более чем на двадцати языках, его произведения доступны народам самых разных исторических судеб. Ценители творчества Мераса знают, что он, еврей, уже более тридцати лет живущий в Израиле, пишет по-прежнему на литовском, и потому русскочитающая публика с нетерпением ждет счастливой возможности взять в руки новый перевод, прикоснуться к творчеству мастера на новом этапе.

Относительно недавно в Литве вышла в свет новая книга Мераса – сборник рассказов «Остановка на полпути»*. Большинство включенных рассказов уже были изданы ранее – в США, под названием «Опрокинутый мир»**, но есть и новые, впрочем, уже известные нам в русских переводах. В том числе и один из самых новых – «На полпути», давший название сборнику.

Жанр рассказа в творчестве Мераса обрел особые черты. Впрочем, как и жанр романа. На самом деле, различие между этими жанрами у Мераса – чисто количественное: объем текста, набор деталей, выписанность фабулы. Что же до глубины проникновения – то эти особенности диктуются не жанром, но внутренним миром автора. И неудивительно. Литературное произведение всегда говорит об авторе больше, чем он сам может и хочет рассказать о себе. Личность писателя, его система ценностей, духовных и эстетических приоритетов высвечивается ясно и отчетливо, во всей своей полноте, открывает путь к тому непосредственному включению читателя в творческий процесс, которое и отличает подлинную литературу. И в этом смысле новеллистика Мераса стоит особняком. Строго говоря, эти произведения малых форм только условно можно определить как рассказы. Жанровое многообразие их определяется как тематикой и формами художественного воплощения, так и творческим поиском автора, неожиданными ракурсами видения мира и человека. Здесь представле-

---

* Icchokas Meras. Stotelė vidukelėj. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2004.

** Icchockas Meras. Apverstas pasaulis. Algimanto Mackaus knygų leidymo fondas. Chicago, 1995

ны многие жанры: от классической новеллы до притчи, легенды, аллегории... Разные стили: от жесткого реализма до сказочного символизма, элементов мистики, сюрреалистических вкраплений. Однако все это многообразие ни в коей мере не разрушает художественной цельности. Жанровое своеобразие диктуется выбором сюжета, фабулой, характером героя, но прежде всего – эмоциональным состоянием автора, которое и находит отражение в творчестве.

А эмоциональный мир Мераса – это мир подлинной страсти, мир мощного напряжения. Оно и диктует ту характерную для мастера сдержанность, даже, можно сказать, скупость в отборе выразительных средств.

Боже ты мой, каких только красок здесь не было, – самые разные, местами кусты сплошь цвели, как гигантские букеты, фиолетовыми цветами, и розовыми, и красными, и даже светло-светло-зелеными, почти желтыми цветами, но всегда, стоило мне отвернуться от ямы и окинуть взглядом кладбище, – меня слепил ровный светлый цвет, словно ничего другого не было вокруг, только песок, всегда такой ослепительный на солнце, каким бывает слепящий снег.[*] («Оазис»).

Не видится ли здесь сочный и страстный мазок Гогена? Где истоки авторской эстетики? Давно сказано – учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Порой даже не осознавая этого.

Вы не найдете в текстах Мераса прямых толкований, вербально сформулированных нравственных оправданий или порицаний. Не найдете пространных бытописательских характеристик: одна выразительная деталь, штрих... В основе всего – действие, даже если это действие – только мысль. Но проникшись этой мыслью, читатель как бы поднимается до уровня автора, становится соучастником творческого процесса, воссоздания этого трудного мира, опрокинутого мира нашей реальности.

– Скажите мне, Элишева, как вы снова стали еврейкой? – обращалась к Марите, уже не в первый раз повторяя одну и ту же фразу, тетя Лили и Лямы, которую раньше звали Лялей, а теперь Авиталь и которой я никогда в жизни не сказал и не скажу недоброго слова, потому что, глядя на нее, всегда думаю, что вот такими, наверное, были бы теперь мои отец и мать – очень немолодыми, морщинистыми, иссохшими. И, видя, что Марите не находит того единственного слова, чтобы объяснить, потому что его нет, этого слова, я сказал:

– Ни один еврей, который хотя бы мгновение не побыл католиком, никогда этого не поймет. («Тайная вечеря»).

Этот небольшой отрывок из рассказа по объему информации, по высокой ноте эмоционального напряжения, пожалуй, равен роману: сколько судеб затронуто, какой пласт времени обозначен, как неожиданно ярок герой – здесь и его возраст, и его биография, и его окружение. Емкость текста как непременная характеристика малого жанра органически присуща прозе Мераса.

[*] Здесь и далее – переводы мои. (*С. Ш.*)

Доминанта всего творчества этого писателя отражена в рассказе «Тайная вечеря». Мерас родом из горького детства времен войны и Катастрофы. Этим и определяется его творческая палитра, насыщенный драматизмом, легко узнаваемый колорит его произведений. Даже бытовая картинка, даже буколический пейзаж – прозрачная морская волна, или нетронутый луг, или нежные краски восхода и заката, даже портрет, пусть и проходной, мимолетный – все это преломляется через восприятие человека, смотревшего в глаза смерти. Отсюда постоянное ощущение тяжкой ноши, которую не сбросить и не одолеть. Отсюда даже в любви нет той юношеской легкости, и даже в радости всегда присутствует горчинка знания.

Он шел неторопливо, осматриваясь по сторонам, любуясь всем, что видел вокруг – как вчера, как позавчера, – как поза-позавчера. Ему нравилось, что дома беспорядочно разбросаны, нравилось, что нет улиц, а только забранные в асфальт деревенские дороги, без тротуаров.

Нравились узловатые деревья и колючие кусты, из-за которых порой и домов не видно.

Нравилось, что эта загорелая длинноногая девчонка, которая в киоске подает кофе и мороженое, эта девчонка с серыми кошачьими глазами совсем ему не нравится... («У киоска на взморье»)

Вполне идиллическая картинка – летний отдых на море. Но отчего такая грусть? Она сквозит в ритмическом строе фразы, в музыкальных повторах, настойчивых рондо, словно человек ходит по кругу в тщетной попытке – найти себя? убежать от себя? обойти свою судьбу?.. Горчинка знания...

А я был маленьким, полураздетым, голодным и босым ребенком. И почувствовал на своих слабых, согбенных плечах всю тяжесть того, что было, и того, что будет, и не в силах был больше нести эту неподъемную ношу, так тяжко давила она, что лучше бы уж я не вернулся тогда с полдороги к карьеру, а прошел бы тот путь до конца, но его уже не было, того пути... («Тайная вечеря»).

Оценки происходящего диктуются опытом, знанием, образованием. Но восприятие – мир подкорки – формируется первыми жизненными впечатлениями. И как бы ни повернулась жизнь, какими бы дорогами ни повела, человек ощущает окружающий мир с позиций, сформированных в самом раннем детстве. Это сопряжение осознанного опыта и чувственного стереотипа и создает основу цельного восприятия большого мира через конкретную картину.

Вернулся он домой, почему-то сделав крюк через Берлин, коротенько осмотревшись на чужой аллее, носившей имя Unter den Linden, где тоже летом должно пахнуть липой.

Хотя пахло там и кровью, и липами, и юностью.

Возвратившись, только возвратившись, он снова почувствовал настоящий запах липы. («Под липами»).

О чем бы ни писал Мерас – о не вернувшихся с войны, или о ждущих, или об отчаявшихся ждать, о случайной встрече и темном омуте

страсти, о верности, которой мы жаждем, и о Боге, который у каждого из нас в душе, – о чем бы он ни писал, в каждой строке читаем: он знает, он помнит и с этим знанием, с этой памятью живет свою жизнь.

– Я друг твоего отца.

Словно отец все еще был – здесь, в Азии, или там, в Европе, или, может, еще где-то все еще был после того, как мы виделись в последний раз там, на въезде в ту усадьбу, в квадратной трехъярусной башне с островерхой черепичной крышей, куда мы тяжело поднимались с матерью по плоским, стертым временем каменным ступеням, и его вывели из камеры, и я увидел его таким, как всегда, только в очках от правого стекла торчали осколки, а глаз был залеплен тряпицей... («Оазис»).

Не правда ли, информации – на эпопею, хотя это всего одна фраза, стремительно взбегающая вверх по ступеням напряженного ожидания, как восходящая гамма, и создающая предчувствие обрушения, краха, невозвратности. Удивительная суровая музыкальность, стройный эпический ритм, тонкая завершенность звучания. Отточенность текста – за этим большой труд и большая ответственность.

– А что лба не перекрестил?

И Стяпукас, не поднимая еще глаз, пробормотал:

– А я больше не крещусь, маманя...

– Так что, совсем уже евреем заделался? — краска бросилась в бледное до того лицо Морте.

– И еврей и не еврей, ни то ни се, — ответил Стяпукас.

– Хоть так... Я говорила! Лучше безбожником! Только не евреем... («Горький вкус щавеля»)

Писатель волен осознавать или не осознавать себя выразителем национальной идеи, литература же всенепременно национальна в той мере, в какой автор объективно выступает носителем этой идеи.

...он обернулся и вновь смотрел на мертвые обнаженные тела, как попало валявшиеся во рву.

«Если бы они теперь поднялись, я снова мог бы стрелять», – подумал он. Он погладил ствол автомата – и обжег руку: автомат все еще оставался горячим. Он выругался несколько раз, и только после этого услышал голос из глубины рва:

– Мама, мама, мама...

Потом снова:

– Открой глазки...

Девочка нежно гладила волосы матери, но мама была неподвижна... («Земля всегда жива»).

Да, это могло случиться где угодно и когда угодно: выродки есть в каждом народе и рождаются во все времена. Но у тех, о ком пишет Мерас, есть конкретные имена, и место, где они родились и выросли, и страна, где они жили свою жизнь – те, кто спасал, те, кто убивал... Вот она, горечь знания. Опрокинутый мир. Мир, обреченный вечно помнить и жить с этой памятью. И мы с вами в этом мире... Пока еще на полпути.

Дмитрий Быков

ПУЗЫРЬКИ ВОЗДУХА

Народом, по-моему, называется тот, кто пишет народные песни. В этом смысле русским народом лет сорок работали Окуджава, Ким, Новелла Матвеева, Высоцкий, Визбор, а в последнее время – Щербаков.

Но у фольклора жанров много, народными песнями дело не ограничивается. Есть еще и сказка, и этот жанр в XX веке тоже эволюционировал, причем двумя путями: сатирическая превратилась в анекдот, волшебная – в народные слухи об НЛО, грядущем подорожании и тайных планах Кремля.

А еще есть частушка – самый оперативный способ реагировать на действительность. Частушка выпевается по горячим следам, часто раньше анекдота. Частушка знаменует собой преодоление любой гнусности, потому что способность сказать о гнусности в рифму и есть самый надежный способ подняться над ней. Частушка не клеймит – она демонстрирует, до какой степени народу по фигу очередная подлянка. Потому что тот, кто не утратил способности писать и думать в рифму, явно не побежден. Срифмовав, он как бы заявляет, что все в порядке, ничего, давайте дальше.

В последние тридцать лет главным частушечником работает Игорь Губерман, по совместительству историк, философ и коллекционер живописи. Одно время он еще работал ночным сторожем и до сих пор считает эту профессию лучшей – она меньше всего мешала ему думать.

Изобретенный Губерманом «гарик» – идеальная литературная форма: четверостишие (а иногда и двустишие), обладающее всеми признаками полноценного лирического высказывания. Четверостишие – жанр исключительной трудности: легче всего придумать две афористичные строчки, а сверху приписать к ним две необязательные. Так, кстати, Пастернак советовал начинающим переводчикам: главную мысль помещаем в последние две строки, сверху приписываем две проходные. Но такое хиляет в большом тексте, где можно как-то спрятать болтологию, пробормотывание и необязательность. А на крошечном пространстве четверостишия каждое слово торчит. Здесь «Кровавую Мэри» – водка сверху, сок снизу, – не изготовишь. Напиток должен быть однороден. Губерман этим даром овладел в совершенстве. У него нет ни единого лишнего слова, плотность смысла чрезвычайно высока, а ударные последние строчки тщательно подготовлены двумя первыми, не менее ударными. Ну, например, – если брать уж совсем классику:

За все на евреев найдется судья:
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя.
За то, что она промахнулась.

Это невозможно было сказать иначе, а значит, перед нами классическая русская поэзия.

Окуджава любил повторять, что учиться надо у фольклора: в нем плохое не выживает. То, что до нас дошло, – прошло самый строгий отбор: его запомнили и сохранили в эпоху бесписьменности. Если хотите уцелеть в веках – подражайте народной балладе, сказке и частушке, улавливая, однако, не внешние, а фундаментальные ее признаки. Как выясняется, самый фундаментальный из этих признаков – амбивалентность. Песня не расставляет моральных оценок, анекдот не сочувствует персонажу, попавшему в смешную ситуацию, а частушка в четырех строчках сочетает трагедию и фарс: «Ах, тошно мне, кто-то был на мне. Сарафан не так, и в руке пятак». Тут роман, эпос, – и все в предельно лаконичной форме, и главное – с эпическим смешением цинизма и слезного сочувствия. Так написаны все великие эпопеи – от «Гаргантюа» до «Уленшпигеля», от «Дон Кихота» до «Швейка». И последний эпос в этой великой традиции – русская народная трехтомная былина «Там, где нас нет» Михаила Успенского, – выдержана в той же интонации: все время смешно, все время страшно, от этого еще смешней.

Так вот: Губерман – абсолютный чемпион по амбивалентности в современной российской литературе. Кому-то кажется, что это мудрость, – и очень возможно, что именно в этом истинная мудрость и заключается. Губермана охотно цитируют в подтверждение своих мыслей юдофилы, антисемиты, патриоты, русофобы, православные, атеисты, буддисты, тоталитарии, рыночники, военные, штатские, – и если бы у меня были достоверные сведения о круге чтения исламских фундаменталистов, я почти наверняка обнаружил бы ссылки на Губермана даже в этой, не самой продвинутой среде. Губерман делает для народа то, что и обязан делать поэт – анонимный или признанный, крестьянский или интеллигентский: он дает народу удобные, лаконичные и универсальные формулы для выражения сложных вещей. Пушкин стал величайшим национальным поэтом потому, что миллионы людей вслед за ним повторили «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил так искренно, так нежно» и «Снова тучи надо мною собрались в тишине». Губерман как раз и занимается всю жизнь производством таких формул, так работает его поэтическое мышление, – а поскольку он обычный человек и думает в день как минимум несколько взаимоисключающих мыслей, то эти самые мысли и становятся поэтическими афоризмами на все случаи жизни. Поэтому Губерман – для всех. Поэтому он так внутренне противоречив – как и все творение Господне, в котором именно из преодоления противоречий и предрассудков получается все самое лучшее.

Все его тексты, противоположные по смыслу и настроению, веселые и отчаянные, трагические и фарсовые, человеколюбивые и мизантропические, циничные и нежные, объединены, однако, одним качеством, которое и располагает к Губерману столько сердец. А расположение это очевидно и мгновенно: стоит ему выйти на сцену и заговорить своим издевательским тенором, так странно сочетающимся с массивной и мощной фигурой, широкой костью, крупным носом на крупном лице, – и зал тает, и ни одна живая душа не раздражается. Это главное располагающее качество – жизнеприятие. Поэзия Губермана – в огромной степени благодарственная молитва: мир с его сложностью, неудобствами и роскошью представляется ему интереснейшим местом для жизни. В ко-

нечном счете его все здесь устраивает – потому что на любую гнусность находится борец, а на любую хворь или ипохондрию – уравновешивающая и превосходящая ее прелесть. Очень много баб. Существование баб, кажется, само по себе оправдало бы для Губермана всю историю человечества с ее ужасными крайностями, но ведь и помимо баб сколько прекрасного! Друзья – раз, выпивка – два, жратва – три, искусство – вообще на первом месте, но об этом он скромно умалчивает, потому что писать о поэте и поэзии ему не позволяет скромность. А поверх всех этих примитивных гедонистических радостей – восторг творческого акта: Губерман ведь наслаждается, выдувая свои пузыри. Этого не спрячешь.

Губерман сделал русскому стиху очень важную прививку – не только фольклорную (освоение фольклора шло у нас трудно, ограничивалось стилизациями, уроки до сих пор усвоены поверхностно – наверное, это реакция на тупое насаждение народного творчества в народнические, а затем в советские времена). Он многому научился у Гафиза, у востока вообще, где сильна традиция лаконичного, строго формализованного высказывания. Русская поэзия, при всей своей прелести, часто аморфна, многословна – Губерман научил ее краткости, четкости, строгости, чего у нас до него почти не умели. В России очень мало мастеров, способных в немногом сказать многое и сформулировать мысль, не теряя лирического жара. До Губермана, пожалуй, лучше всего с этим справлялся Маршак, прошедший школу шекспировского сонета. Держать строфу – скрепить железными внутренними связями четыре строчки, выстроить кристаллическую решетку стиховой молекулы, – искусство чрезвычайно сложное и редкое. Удачные русские поэтические миниатюры догубермановской эры можно пересчитать по пальцам. Губерман и сам неравноценен, из его стихов едва ли каждый пятый становится подлинным шедевром и уходит в народную речь, – но любой знаток поэзии подтвердит вам, что это высочайший процент, КПД на грани вечного двигателя.

Губерман проживает классическую нелегкую жизнь большого русского поэта: он работал инженером, участвовал в самиздатских журналах, писал научно-популярные брошюры и сценарии, коллекционировал живопись, пять лет сидел по уголовной статье, против воли уехал из России, много ездит по всему миру с выступлениями, перенес рак, успешно излечился, выпустил три тома мемуаров, роман и шеститомное собрание сочинений. Все это не помешало ему выпить не одну цистерну и осчастливить не один женский ударный батальон. Чтобы много и точно писать, надо широко и полно жить. Он хорошо с этим справляется. Его гарики – легкие и блестящие пузыри, наполненные воздухом внутренней свободы, – оказались долговечнее километровых поэм и баллад его современников, относившихся к себе слишком серьезно. Губерман умудрился не попасть ни в юмористы, ни в эстрадники: за каждой его строкой угадывается большая жизнь, сильный и трезвый ум, выносливая и стойкая душа. Всякая истинная радость оплачена стоицизмом – радоваться жизни по-настоящему умеют те, кто хорошо себе представляет ее изнанку. Губерман – знает; и это делает его истинно народным поэтом, потому что народу тоже несладко.

Зато в любви к ним обоим – народу и Губерману – клянутся все, кому не лень. Что отнюдь не облегчает их жизни, но сильно забавляет.

Тета Квят-Эйделанд

СОРОК ЛЕТ С ФРАНЦЕМ КАФКОЙ

Если люди будут когда-то читать,
они будут читать Кафку

Хорхе Луис Борхес

Первая встреча Лидии Эйдус с творчеством Франца Кафки произошла в 1965 году, когда его впервые издали в СССР. За прошедшее с тех пор время ею проиллюстрированы романы «Процесс», «Замок», многие новеллы, рассказы, притчи. Кафка живописал безраздельную силу власти и её абсурдность, беспомощность и беззащитность человека. Его предвидение грядущих событий оказалось пророческим. Лидия Эйдус прикоснулась к творчеству Кафки, когда самые ужасные предсказания уже сбылись... Не удивительно, что образ писателя традиционно ассоциировался с беспросветностью его сочинений. Однако ещё задолго до появления в России исследований о Кафке Лидия Эйдус оценила масштаб личности мастера и остро почувствовала особенность его дара – «терпеливое, жизнелюбивое, ироничное восприятие нелепостей этого мира, трогательную иронию и действующий как короткое замыкание юмор» (Макс Брод). Уловила она и особый художественный приём, делающий возможным ироническое отношение, – дистанцированность от описываемых событий и созданных им героев. Этот приём мы видим и в работах Лидии Эйдус: ирония, юмор присутствуют в каждом её рисунке. Один из главных мотивов Кафки – безликость человека – в её иллюстрациях порой достигает гротеска.

Лидия Эйдус, так тонко ощутившая мир этого ни на кого не похожего писателя, до репатриации преподавала математику в высших учебных заведениях Ленинграда. А еще она – художник. У нее было три попытки официально учиться изобразительному искусству, но в силу различных обстоятельств они ничем не закончились. Позднее ее замечательные учителя, ленинградские скульпторы М. А. Вайнман и М. М. Харламова, оберегая самобытность её дарования, не рекомендовали ей посещать ординарные художественные студии.

Уже оформившись как оригинальный художник, Лидия стала посещать занятия художественной студии Дома учёных, чтобы иметь возможность выставляться. В 1977 году состоялась ее первая персональная выставка в Доме народного творчества. Выставке предшествовало немало идеологических осложнений, кое-кому не нравилось, что художница рисует помойки и стариков-евреев...

В 1980 году Лидия и её муж Даниил Эйдус репатриировались в Израиль. В аэропорту с ними произошел забавный случай. Разрешение на вывоз рисунков должно было быть дано на таможне. Интеллигентного вида офицер, внимательно изучая рисунки, сопровождаемые цитатами из произведений Кафки, сопоставляя последние с текстом специально доставленной книги, так увлёкся чтением, что, к неудо-

вольствию отъезжающих, процедура проверки затянулась. Так Лидия Эйдус познакомила советскую таможню с творчеством Кафки.

Персональные выставки Лидии Эйдус проходили и в Израиле. Первая из них состоялась в 1988 году в известной иерусалимской галерее «Нора». Художественные интересы Лидии разнообразны, и это в полной мере проявилось в новой жизни. Ей захотелось ткать ковры. Она поступает на курсы ткачества при музее Израиля в Иерусалиме, приобретает ткацкий станок и начинает ткать гобелены. Каждый ее гобелен – это произведение искусства, исполненное света и неизменного чувства юмора. Вот, например, название одного из них: «Смотри, кто к нам пришел!» На зеленой матиссовского тона лужайке разноцветные весёлые лошадки дивятся появлению Пеґаса...

Ее дом пронизан творчеством. Здесь физически ощутима атмосфера тепла и духовности, здесь царство стиля и вкуса. С порога тебя встречают картины, среди них – семейные портреты, там и тут – гобелены, декоративные поделки. Конечно же, благодатное сочетание вкуса, женственности и творческой фантазии художницы не могли не отразиться на ее нарядах. «Когда б вы знали, из какого сора...» сотворены эти платья, эти блузы, эти броши и браслеты! Из перелицованных маминых нарядов, из кусочков кожи, из косточек персика...

Лидия Эйдус, решительно отвергает расхожее мнение о Кафке как о печальном, мрачном человеке. Для неё крайне важно показать веру Кафки в духовные силы и творческие возможности человека. Здесь, в Иерусалиме, иллюстрируя замечательную притчу писателя «Ночью», она – через поколения – восприняла его посыл в будущее: «Бодрствовать кто-то должен»...

Мир Кафки разнообразен, и это разнообразие находит своё отражение в новых иллюстрациях к афоризмам и притчам, многие из которых впервые переведены на русский язык мужем Лидии, профессором математики Даниилом Эйдусом. То и дело мы совершенно неожиданно встречаемся с лирическим, трогательным, романтическим, фантастическим, радостным, иногда даже игривым Кафкой.

Особый аристократизм, интеллигентность и редкостная самоирония роднят писателя и художника. «Только люди, поражённые одинаковым недугом, понимают друг друга», – писал Кафка. Независимо от времени и расстояния Франц Кафка и Лидия Эйдус ведут диалог, который могут вести лишь родственные души. Это понимаешь, вновь и вновь разглядывая её работы. И всякий раз открываешь с помощью художника что-то новое в творчестве писателя, чувствуешь необходимость перечитать его заново.

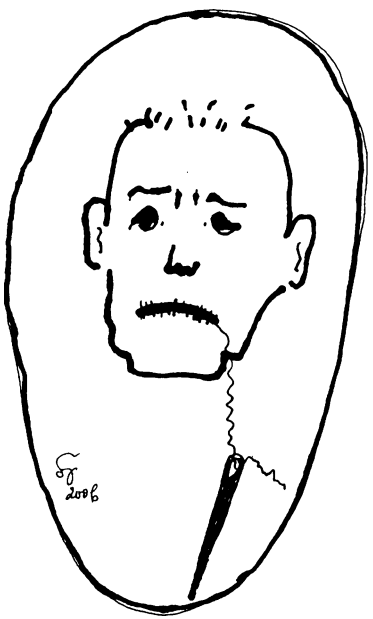
Франц Кафка, для которого судьба его народа была вечной неизбывной болью, понимал, что «как представитель расы человек не может жить без своей страны».

После смерти гениального прозаика его товарищ по гимназии Хуго Бергман, работавший в Еврейском Университете в Иерусалиме, писал: «Я считаю милостью судьбы то, что ещё год назад мог быть свидетелем того, как сильно Кафка любил Палестину. Хотелось бы, чтобы мы сделали что-нибудь, чтобы увековечить его память в Палестине».



Праведники идут в ногу,
Ничего о них не зная,
Другие танцуют вокруг них
Танцы Времени.

Из книги: F. Kafka "Poseidon und andere kurze Prosa".
Fisher Taschenbuch Verlag, 1994. *Перевод Д. Эйдуса*

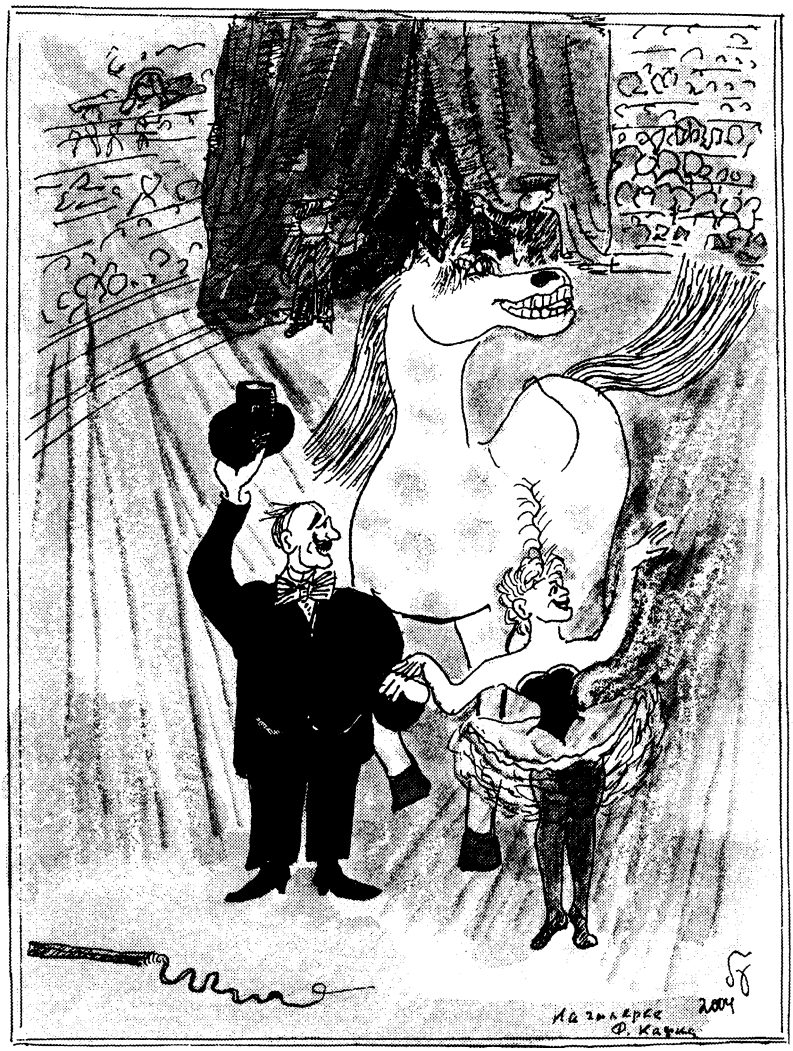


Молчаливость - один из атрибутов совершенства.

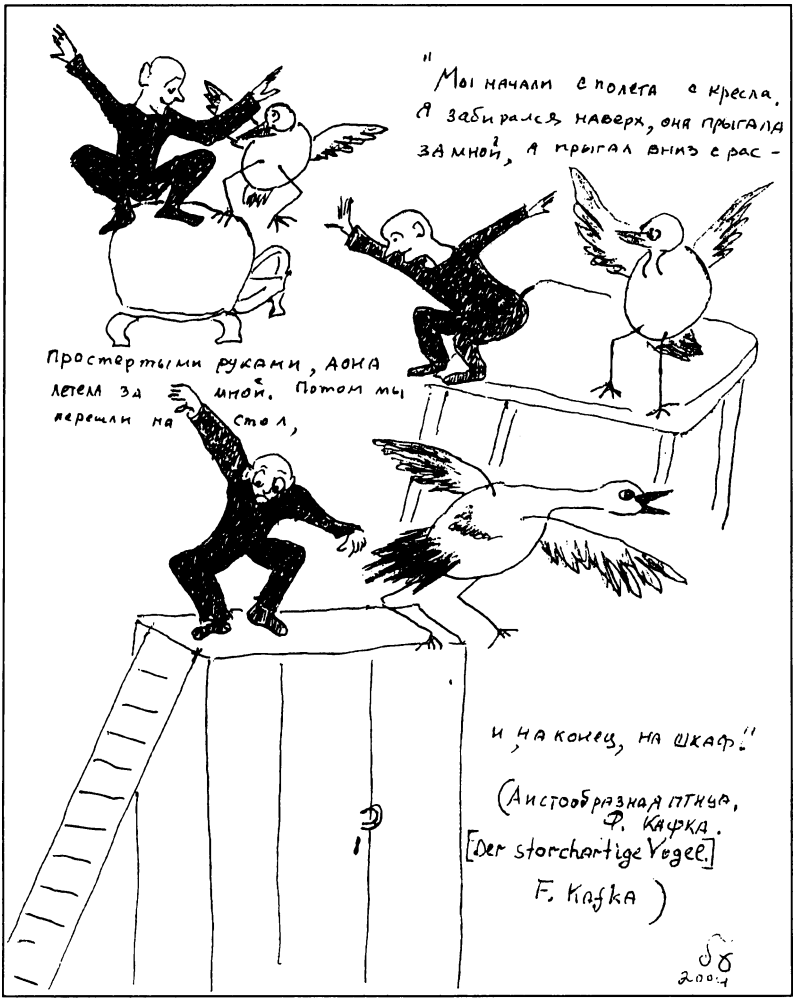
Ф. Кафка „Разрозненные листки".
„Звезда" №7, 2001 г. *Перевод Г. Ноткина*



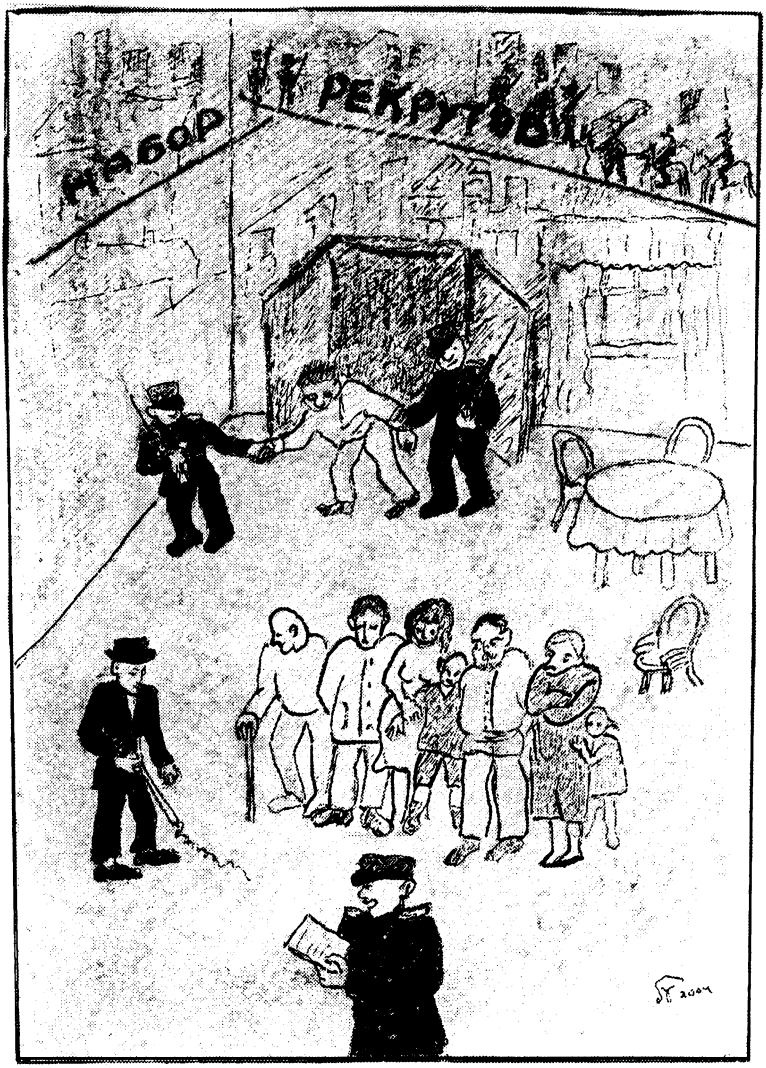
Стать путешественником" - из книги: F. Kafka "Poseidon und andere kurze Prosa". Fisher Taschenbuch Verlag, 1994. *Перевод Д. Эйдуса*



„На галерке" – из книги: F. Kafka "Poseidon und andere kurze Prosa". Fisher Taschenbuch Verlag, 1994. *Перевод Д. Эйдуса*



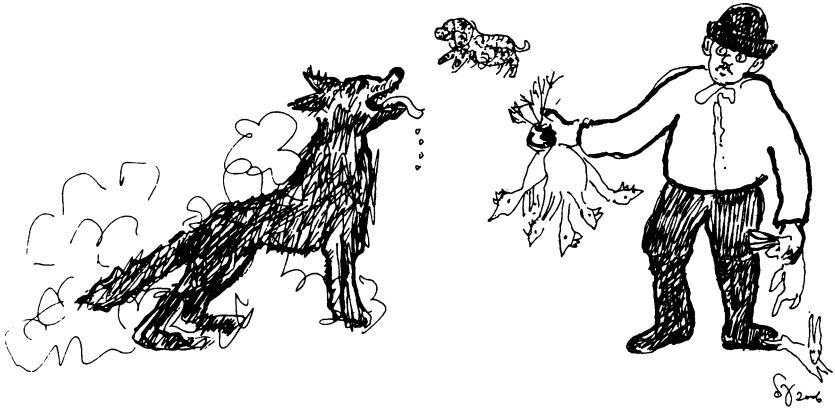
„Аистообразная птица" - из книги: F. Kafka "Poseidon und andere kurze Prosa". Fisher Taschenbuch Verlag, 1994. *Перевод Д. Эйдуса*



„Набор рекрутов“ - из книги: Ф. Кафка „Избранное“.
С.П. „Кристалл“, 1999 г. *Перевод С. Анта*



Ф. Кафка „Разрозненные листки".
„Звезда" №7, 2001 г. *Перевод Г. Ноткина*





Ф. Кафка „Сцены защиты одного двора"
„Звезда" №7, 2001 г. *Перевод Г. Ноткина*

Елена Игнатова

«МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО РАБОТА...»

«...теперь, когда жизнь достаточно длинна, виден путь – не одно бездорожье...», – писал Владимир Портнов в одном из поздних стихотворений. Теперь, когда его жизненный путь оборван смертью, я помню о нем с восхищением, болью и нежностью. Мы познакомились много лет назад в Ленинграде, в доме переводчиков Владимира Ефимовича Шора и Инны Яковлевны Шафаренко. В этом доме царили интеллигентность, доброта, трудолюбие, его хозяева любили и высоко ценили Владимира Портнова и, приезжая из Баку, он всегда останавливался у них. Красивый, доброжелательный, медлительно-важный, он в свои сорок с небольшим лет был еще молод, но нам, двадцатилетним, казался человеком почтенного возраста. В то время Владимир Портнов был известен как переводчик французской поэзии, но, пожалуй, не меньше – как автор статей в журнале «Новый Мир». В поздних стихах он скажет об этом времени: «Я стал печататься в журнале Общих Мест, /подававшихся как Неслыханная Новизна. / Он походил на пулеметчика, / который отстреливается до последнего патрона. Правда, это была своего рода киносъемка, / а не настоящий бой...», однако его опубликованные там статьи – никак не из разряда «общих мест», он был умным и прозорливым критиком. Но главной страстью Владимира Портнова были стихи, он преображался, когда говорил о них; знал наизусть, казалось, всю русскую поэзию и блистательно переводил французских поэтов XIX столетия. Эта поэзия, с ее величавыми интонациями, грандиозной пышностью образов, изысканной пряностью метафор была переложена Владимиром Портновым в прекрасные русские стихи. Но больше ее тяжелого великолепия – золота, античных камей, драгоценных эмалей – я люблю в переводе Владимира Портнова «простые», мелодичные стихи, например, Марселины Деборд-Вальмор или вот это – Поля Верлена:

Синее небо над кровлей,
Мир и покой.
Дерево тихо над кровлей
Машет рукой.

Звон с колокольни соседней
Еле плывет.
Птица на ветке соседней
Песню поет.

Господи, вот они, звуки
Буднего дня.

Эти смиренные звуки
Мучат меня:

– Плачешь? А что же ты сделал?
Вспомни скорей.
Что, непутевый, ты сделал
С жизнью своей?

Стихи Владимира Портнова так же мелодичны и просты, в них воспоминания о бедном детстве, о хорошем времени армейской службы, о нищей идиллии городских окраин, где обитают любовь, сострадание и красота. Эти стихи наполнены множеством примет жизни и времени, закрепленных в его слове и памяти. Та же зоркость и ясная мудрость присутствуют в биографической повести Владимира Портнова «Нищая идиллия» – лирических воспоминаниях о его детстве в предвоенном Баку.

Мы создали свою жизнь –
или она возникла сама.
И была она оборотной стороной
того страшного или парадного,
что было где-то за нами или над нами.
И, может быть,
может быть, –
да простит меня Бог, если это не так, –
она была не оборотной стороной,
а лицом.

Владимир Портнов повлиял на многих людей, но, пожалуй, никто не обязан ему больше чем я. От него я услышала первые слова литературного признания, он публиковал мои стихи в Баку, а в многолетней переписке помогал мне найти свой «путь в бездорожье». Когда мы встретились в Израиле, его мнение и оценки по-прежнему значили для меня очень много. Вскоре он переехал в Цфат, продолжал переводить французскую поэзию, а в 2002 году выпустил книгу «Избранные стихи». В последние годы Владимир Портнов тяжело болел, и все же я не думала, что мне предстоит передать весть о его смерти его петербургским друзьям.

Теперь моя жизнь – это работа,
которую я умею делать, –
и мне доставляет хмурое удовлетворение,
что в ней нечего больше менять –

написал когда-то Владимир Портнов...

Вероника Долина

ПРОВОДНИК

...Юрочка, ты – проводник. Ты был и есть проводник!

Получилось так, что за этот год написала я немыслимо стихов ко дням рождений. Ну, прямо руку набила. Из сердца вырастала такая небольшая рука и писала, писала строчки для моих сердечных друзей.

Что сейчас скажу о тебе, Юрочка?

Смогу ли объяснить?

...Мне было-то лет шестнадцать, когда познакомились. Мой брат Саша (специалист, знаток японской поэзии, давний уже обитатель Токио) учился с Юрой Штерном в одном классе в старенькой французской школе на Сретенке. Потом была пауза, и Саша с Юрой нашлись уже взрослые, почти семейные, окончание МГУ и все такое...

И вот новость для меня! – Юра Штерн любит поэзию, гитару. Вокруг моих маленьких девчоночьих песенок вдруг завертелись пространства. Завертел их, ну, просто щелкнув пальцами, Юра Штерн.

Вот концерт Вадима Егорова, в Пединституте, на факультете математики. «Ты пойди-ка туда, – сказал Юра. – Вот с ним будешь выступать, потом придумаем, где». Шел 1974 год. «Знакомься, – Юра говорит – это Луферов, Мирзаян, Бережков, они – хорошие».

Еще разное, всяческое.

В глазах у него было... Ну, другие миры. Не долгая дорога туда, не предощущение. Он смотрел оттуда. Это был опыт открывателя, не испытателя. Не задумчивость, а уверенность. А самолюбования-то и не было.

Как сказал (не забудешь ведь...) пожилой рабочий сцены, в Израиле, в зальчике, где через десять минут мне надо было начать петь... Так вот, тертый израильский мужичок при виде Юры, сидящего со мной на нестерильных ступеньках за кулисой, сказал: «Ты чего тут делаешь? Ты в Кнессете сидеть должен, а ты где сидишь?» Любоваться собой, достижениями, видимо, было некогда. А ведь в его хлопотной жизни был подлинный блеск, и, посмеиваясь над этим блеском, что ли, – он снова и опять был занят работой.

В жарком родном Израиле многие больны тяжелым холодным жлобством. То есть человечество повсеместно этим прибаливает, но видеть это в Израиле особенно больно.

А вот Юре можно было позвонить и в будни, и в праздники. Силы и время для встречи – всегда братской – у него находились.

Мы увиделись год назад – в гримерной опять, в Тель-Авиве, после концерта. Говорили прерывисто, старались – о важном. Получилось – о родительском и детском, о черном и белом... Отчего-то все звучало пронзительно.

А я была не в курсе его заболевания. Мы говорили как в последний раз. Это и был последний. Выходит так, что пишу я это в годовщину смерти Б. Ш. Окуджавы. Десять лет прошло, эре «без Булата» десять лет.

Без Юры жизнь будет иной, она уже иная.

Но, Юра, ты был проводник. Со Сретенки – в Иерусалим. Люблю тебя.

* * *

Памяти Юрия Штерна

На Серебряном, на Сретенском крыльце –
Мы сидели с первой мукой на лице.
С первой болью, как от жара стрекозы, –
Если б девочка бежала от грозы.

С первым зайчиком – соседское окно.
С первым мальчиком – недетское кино.
С первым братцем по грудному молоку...
Это вкратце, тут длиннее не могу.

На Серебряном, на Сретенском крыльце
Мы лежали, как на сахарном яйце.
На пасхальном кумаче, почти в гробу –
Со звездою в высоко клейменном лбу.

На Серебряном, на Сретенском крыльце –
Вот стоим, как в эпилоге, как в конце.
Что мы можем тут, на берегу реки,
Где мы плавали, теченью вопреки?

А мы можем, от беды на волосок,
Слышать Сретенки-старушки голосок.
Он звучит, он так невыносимо чист!
...Мой мизинчик. Магазинчик «Букинист».

май 2007

Денис СОБОЛЕВ, «Иерусалим» – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005.

Книга Дениса Соболева «Иерусалим» вышла в ростовском издательстве «Феникс», была номинирована на российскую премию «Букер», включена в шорт-лист, т. е. в шестерку лучших, и на равных конкурировала с соперниками. Вот официальная и широко распространенная информация о романе. Впрочем, у нас ведь собственная гордость, и мы вправе судить да рядить о написанных в Израиле произведениях и без оглядки на мнения российских инстанций, пусть и самых уважаемых. Так вот, моя оценка: роман безусловно стоит читать, несмотря на то, что книга эта у автора первая, еще очень молодая, дерзкая, а порой и претенциозная, и размах притязаний в ней не всегда подкрепляется стабильным уровнем мастерства. Впрочем, видали мы этот «стабильный уровень» – не скажу, где...

Но рекомендуется читать «Иерусалим» не всем подряд, а тем, кто не склонен довольствоваться «плоскостью обыденных представлений», как говорили когда-то Стругацкие, и любит выходить из нее вон. Вот им-то и показано распахнуто-герметичное пространство этой книги, где бытовое городское мельтешение рассмотрено с высоты вековых стен и холмов, тысячелетних тайн и вечных проблем, где разреженная атмосфера философско-теологических абстракций вдруг освещается маревом фантазий и ослепительными вспышками экзистенциальных прозрений.

Денис Соболев любит и знает свой Иерусалим, он увлеченно описывает холмистые пейзажи города, его светотени, его камень и пыль, его островки зелени, его пустоту и сутолоку. Топонимы Иерусалима и окрестностей, переведенные на русский, звучат странно и освежающе ново. В романе калейдоскопически сменяют друг друга кривые улочки центра и артерии окраин, синагоги и церкви, скромные съемные квартиры, коридоры и лужайки университетских кампусов. Будни и бреды обитателей города, их блуд и боль. Все это придает повествованию обманную фактурность, вещественность – и неподдельную достоверность.

Семь новелл книги, семь персонажей, семь контуров судьбы – образуют сложный узор с непересекающимися, но перекликающимися линиями. В чем-то эти люди похожи (все они – молодые новые репатрианты, обреченные на врастание в израильскую действительность и на борьбу с ней), но каждый из них, по замыслу автора, призван быть еще и отдельным, отличным от других голосом, говорящим с бытием: молящим, вопрошающим, проклинающим, примиряющимся. Каждый из них помещен в определенную житейскую ситуацию, «историю» (их общим знаменателем часто оказывается семейная связь с (любовь к) женщиной, «не стоящей внимания»), в повседневные обстоятельства. Но вместе с этим – он вовлечен в диалог с миром, он бросает или принимает вызов, он пытается проникнуть в загадку бытия, рассеять мрак бессмыслицы, абсурда, враждебности.

Это придает повествованию неподдельную интеллектуальную глубину и напряженность.

Реальность предстает в романе многослойной, многомерной – в точном и намеренном соответствии с многоуровневостью прочтения и понимания Торы в еврейской традиции. И, пожалуй, самый яркий и тревожный колорит повествованию придают разлитый в нем холодный огонь мистических откровений, чуть вычурная экзотика каббалистических представлений, сухой шелест и шепот образов древней истории, Талмуда, фольклорной демонологии.

Один из героев романа может запросто общаться с сонмом женских духов зла – *лилин*, любить их предводительницу Лилит, драматично переживать расставание с нею. Другой – попасть под неумолимое обаяние прекрасной и безжалостной вампирессы. Третий – познакомиться с Вечным жидом, который, наконец, умирает среди камней и теней Мирового города. Лучшим, пожалуй, из мозаичных текстов романа является тот («Орвиетта»), в котором герой неустанно размышляет/фантазирует над загадочной и трагической судьбой рабби Элиши бен Абуйя, знаменитого в еврейской традиции Ахера, отступника, взбунтовавшегося против Бога и его миропорядка. Виртуальное путешествие нескольких знаменитых талмудических авторитетов к высотам Божественной истины и созерцания Его славы, представленное в терминах и образах альпинистского горовосхождения, создает сильный психоделический эффект.

Но самый, мне кажется, главный и близкий автору образ – это герой последней новеллы, «Дерево и Палестина». Он тоже писатель, по крайней мере, в душе, и когда его мечта отлетает от плоскости пародийной действительности, она сгущается в рельеф легендарной Хазарии с ее пепельными просторами, призрачной историей и трагическим финалом. В этих видениях герой черпает силы продолжать жить, исполнять долг, искать вожделенные, недостижимые подлинность и свободу. Не случайно именно в его истории собираются, встречаются на резервистских сборах, становятся плечом к плечу персонажи остальных новелл.

«Иерусалим» – неровная книга, в ней есть свои просчеты и слабости (избыточная риторичность – одна из них). Однако они превозмогаются остротой и богатством мысли, ярким воображением, незаурядным даром изобразительности и еще одним ценнейшим качеством автора – отвагой быть и творить.

Марк Амусин

ИМЕНА

Татьяна АЗАЗ-ЛИВШИЦ родилась в Харькове. Закончила биофак Ленинградского университета. Репатриировалась в 1977 году. Автор книги «Лекарственные препараты в Израиле» (1996). Составитель (вместе с Б. Л. Милявским) сборника «Вопреки времени» избранных работ литературоведа Льва Лившица и воспоминаний о нем (1998). Живет в Мевасерет-Ционе.
В «ИЖ» опубликованы рецензии на книги Н. Дорошко-Берман (№ 11), М. Меламед (№ 13) и альманах «Римон» (№ 20-21).

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Закончила филфак МГПИ. Репатриировалась в 1991 году. Автор книг для детей, поэтических сборников и книги-альбома об отце – Меире Аксельроде (1993). Стихи **Е. А.** и ее переводы (с идиша и других языков) включены во многие антологии. Лауреат премии Союза писателей Израиля. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» опубликованы подборки ее стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3); «Кофе под "Хронику дня"» (№ 10), рецензии на книги Юрия Шаркова (№ 5) и Якова Хромченко (№ 7), эссе «Власть одиночества» (памяти Александра Белоусова, № 17). В *«Библиотеке Иерусалимского журнала»* вышла книга Елены Аксельрод и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне» (2000).

Марк АМУСИН родился в 1948 году в Ленинграде. Репатриировался в 1990 году. Защитил докторскую диссертацию по филологии в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (Иерусалим, 1996) и «Город, обрамленный словом» (Пиза, 2003). Статьи публиковались в журналах «Время искать», «Зеркало», «Звезда», «Нева», «Октябрь», «Вопросы литературы» и др. Живет в Иерусалиме.

Геннадий БЕЗЗУБОВ родился в Москве в 1946 году. Жил также в Киеве и Ленинграде. Репатриировался в 1990 году. Стихи публиковались в литературной периодике, в антологиях «Строфы века», «Самиздат века», «Возвращенный Улисс» и др. Автор книг стихов «Амнистия слова» (1992), «Случайный свидетель» (1997), «Вместо дружеских писем» (2001), «Позднее среднегорье» (5766). Живет в Иерусалиме. Работает на радио «Рэка».
В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов (№№ 2, 9) и рецензия на книгу стихов Александра Верника (№ 3).

Дмитрий БЫКОВ родился (1967) и живет в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. С 1985 года работает в «Собеседнике». Автор книг стихов и прозы, публицистических, литературоведческих, полемических статей. Лауреат литературных премий имени А. и Б. Стругацких (за романы «Орфография», 2004 и «Эвакуатор», 2006), «Национальный бестселлер» и «Большая Книга» (за книгу «Борис Пастернак», 2006).

Александр ВЕРНИК родился в Харькове в 1947 году. Автор поэтических книг «Биография» (1987), «Зимние сборы» (1991), «Сад над бездной» (1999). Репатриировался в 1978 году. Жи-

вет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 9 опубликованы его стихи, а в № 3 – заметки об Илье Бокштейне.

Леонид ГОМБЕРГ родился в 1948 году в Москве. Закончил филфак МГУ. Репатриировался в 1991 году. Был главным редактором российско-израильского литературного альманаха «Перекресток–Цомет», обозревателем газеты «Москва–Иерусалим», ответственным секретарем «Международной еврейской газеты». Автор четырех книг прозы, изданных в Москве и Тель-Авиве, последняя – «От Эдена до Вавилона» (2001). В настоящее время живет в Москве.
В «ИЖ» опубликована рецензия **Л. Г.** на книгу Михаила Хейфеца № 9 и эссе об Илье Бокштейне (№ 12).

Семён ГРИНБЕРГ родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репатриировался в 1991 году. Один из основателей «Иерусалимского журнала». Автор поэтических книг «Разговоры и сонеты» (1992), «Иерусалимский автобус» (1996), «За столом и на улице» (1996) «Разные вещи» (1998), «Стихотворения из двенадцати книжек» (2003). Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборки **С. Г.** «Дни творения» (№ 2), «Встреча» (№ 18), его переводы из У. Офека и Й. Гефена (№ 7).

Давид ГРОССМАН родился в 1954 году в Иерусалиме. В 1982 году издал повесть «Дуэль»; в 1983-м – сборник рассказов «Бегун» и «Смотри статью "любовь"», отрывок из которого публикуется в номере. Удостоен нескольких израильских и зарубежных литературных премий. Книги **Д. Г.** переведены на многие языки. Живет в Мевасерет-Ционе.

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979–84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **И. Г.** «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13), «Блаженство пьесы этой краткой» (№ 22), «Харон уже строит паромы» (№ 23), заметки о Саше Окуне «Текст к рисункам» (№ 4), главы из «Книги странствий» (№ 8) и книги «Вечерний звон» (№ 20-21); эссе «Блики эпохи» (№ 12).
В «*Библиотеке Иерусалимского журнала*» изданы «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005).

Вероника ДОЛИНА родилась (1956) и живет в Москве. Окончила МГПИ им. Ленина (1979) по специальности «преподаватель французского». Песни на свои стихи пишет с 1971 года. Записала более двадцати дисков. Автор более десяти сборников стихов.

Тамара ДУБИНА родилась в Москве. По образованию – врач. Работала научным сотрудником в области биохимии. Жила также в Вильнюсе и в Минске, откуда репатриировалась в 1989 году. Автор книги стихов «Формула счастья» (2002), книги прозы «Еврейские перекрестки» (2007), а также многочисленных эссе о природе, опубликованных в периодике. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» № 6 опубликована подборка стихов **Т. Д.**. «Обратный счет».

Елена ИГНАТОВА родилась в Ленинграде. С 1975 года публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор поэтических сборников «Стихи о причастности» (Париж, 1976), «Теплая земля» (Ленинград, 1989), «Небесное зарево» (Иерусалим, 1992), «Стихотворения разных лет» (Иерусалим, 2006),очерков и рассказов, а также книги «Записки о Петербурге» (Санкт-Петербург, 1997, 2003). Автор сценария документального фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (1989). Стихи включены в антологии русской поэзии XX века,
В 1990 году переехала в Израиль. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы повесть **Е. И.** «Педивер» (№ 1), рецензия на книгу Славы Курилова «Путь» (№ 6), эссе «Новый Гоголь народился» (№ 7), «Два рассказа» (№ 20-21).

Борис КАМЯНОВ родился в Москве в 1945 году. В 1976 году репатриировался в Израиль. Автор поэтических книг и юмористических сборников; в его переводе (в соавторстве с раввином Н.-З. Рапопортом) вышла в свет «Песнь песней» с комментариями. Стихи и переводы включены в антологии «Строфы века» и «Строфы века – 2». Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы стихи **Б. К.**, его переводы из У. Ц. Гринберга (№№ 12, 13) и воспоминания «"Знамя строителя" и его знаменосцы» (№ 16).

Гета КВЯТ-ЭЙДЕЛАНД родилась в Коростене. Жила в Киеве. Окончила Политехнический институт. Работала инженером. Принимала участие в разработке систем безопасности атомных реакторов. Репатриировалась в 1991 году. Живет в Иерусалиме.

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор около пятисот песен, трех десятков пьес и более десяти книг. Лауреат российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000).
В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а в последнее время и в Москве.
В «ИЖ» опубликованы заметки **Ю. К.** о Венечке Ерофееве (№ 7), циклы стихов и песен «Из иерусалимской тетради» (№ 1), «Я всё время шёл к тебе» (№ 6), «Любовь на все лады» (№ 11), «Тема любви» (№14-15), эссе о Михаиле Щербакове и повесть «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17), повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием, куда вошли стихи, проза и пьесы, издана в 2000 году в «*Библиотеке Иерусалимского журнала*».

Феликс КРИВИН родился в Мариуполе (1928). Детство провел в Одессе. Окончил пединститут в Киеве. Плавал моряком по Дунаю, преподавал в школе русский язык и литературу, логику и психологию, работал корректором и редактором. С 1955 года жил в Ужгороде. Автор сорока книг. Лауреат литературной премии имени В. Короленко. Репатриировался в 1998 году. Живет в Беэр-Шеве. В «ИЖ» опубликованы проза и стихи **Ф. К.** – «Сказки из жизни» (№ 3), «Парк» (№ 8), «Из новой книги» (№ 14-15).

Борис КРУТИЕР родился в 1940 году в Одессе. Окончил Хабаровский мединститут. Работал кардиологом и иглотерапевтом. Автор нескольких сборников афоризмов. Живет в Москве.

Александр ЛАЙКО родился в 1938 году в Москве, где жил до 1990 года. Автор четырех книг стихов. Стихи **А. Л**. включены в антологию «Самиздат века» (1997). Живет в Берлине. Редактор альманаха «Студия». В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов «На Brusendorfer музыка играет» (№ 2), «На Фридрихштрассе веет сквознячок» (№ 9) и эссе «Илюша» (№ 10).

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынске. Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград–Иерусалим» (1997). Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса». В «ИЖ» опубликованы рассказы **Л. Л.** «Полет» и «Одуванчик» (№ 1), повесть «Проект» (№ 6) и эссе «И вот я увидел» (№ 11). подборка рассказов «Штука сложная и неправильная» (№ 14-15).

Рахель (Элла) ЛИХТ родилась в Ульяновске, жила в Саратове, откуда репатриировалась в 1991 году. Окончила саратовский Политех, работала конструктором в области машиностроения. В журнале «Волга» (№ 2, 1990) опубликовала эссе «И творчество, и чудотворство» (опыт духовной биографии Бориса Пастернака); «Письма Б. Л. Пастернака К. А. Федину». Автор комментариев и составитель сборника «Б. Пастернак. "Мой взгляд на искусство"» (Изд-во СГУ, 1990). Живет в Ришон ле-Ционе. В «ИЖ» № 23 опубликованы воспоминания Р. Л. о Владимире Ланцберге «Кто бы мог подумать...».

Юлий МАРГОЛИН (1900, Пинск – 1971,Тель-Авив). В 1925 году окончил Берлинский университет со званием д-ра философии. В 1926 году поселился с женой в Лодзи, где издал брошюру «Идея сионизма». Репатриировался вместе с семьей в 1939 году. В том же году, когда **Ю. М.** приехал в Пинск навестить родителей, город оккупировали советские войска. Как «социально вредный элемент» и сионист был арестован и провел шесть лет в тюрьмах, концлагерях, ссылке. В 1946 году вернулся в Израиль и начал активно бороться за право советских евреев на выезд на историческую родину. В 1952 году издал книгу «Путешествие в

страну Зэ-Ка» (Издательство им. Чехова, США), которая принесла автору всемирную известность. В 1958 году под псевдонимом Александр Галин опубликовал книгу «Израиль – еврейское государство», в 1960-м – книгу «Еврейская повесть».

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг; 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.
В «ИЖ» опубликованы его рассказы «Конец света» (№ 6), «Гуревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12), «Тринадцатая нить» (№ 17) и эссе «Русская рулетка Олеши» (№ 14-15).

Рената МУХА родилась в Одессе. Окончила Харьковский университет и преподавала там английскую филологию. Репатриировалась в 1995 году. Автор сборников стихов «Переполох» (с Ниной Воронель, 1968), «Про Глупую Лошадь, Забывчивую Сову, Братьев-Бегемотов, Кота-который-не-умел-мурлыкать и Котенка-который-думал-что-он-тигр» (с Полли Камерон и Вадимом Левиным, 1993), «Гиппопоэма» (1998), «Недоговорки» (2001), «Бывают в жизни чудеса» (2002) и др..
Живет в Беэр-Шеве.

Сергей НИКОЛЬСКИЙ родился в 1961 году в Москве. Окончил Строгановское художественное училище. Репатриировался в 1990 году. Стихи публиковались в литературной периодике и коллективных сборниках. В настоящее время живет в Нидерландах. В «ИЖ» № 7 опубликована подборка его стихов «Из кулинарной энциклопедии».

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, росла в Подмосковье. Окончила МИНХ им. Плеханова, работала в Москве социологом, сторожем. Автор девяти поэтических сборников. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы ее стихотворные подборки (№№ 3, 12, 18). Лауреат поэтических фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006). Стихи поэта в переводе **З. П.** опубликованы в «ИЖ» (№№ 20-21, 22). В *«Библиотеке Иерусалимского журнала»* вышли книги **З. П.** «Иерусалимские картинки» (2000), «Счастье без прикрас» (2002), «Новые иерусалимские картинки» (2004), «Ближневосточница» (2006).

Илан РИСС родился в 1950 году во Фрунзе (ныне Бишкек). Репатриировался в 1978 году. Автор книги «Муди и Иисус» (1996). Рассказы, написанные на иврите, публиковались в журнале «77». Живет в Иерусалиме. Работает программистом. Подборки рассказов **И. Р.** опубликованы в «ИЖ» (№№ 4, 12).

Юрий РЯШЕНЦЕВ родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил филфак МГПИ. Семь лет преподавал в школе, в том числе в школе для трудных подростков. С 1962-го до середины 90-х работал литконсультантом в журнале «Юность». Много писал для театра и кино. Наиболее известны песни к фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Автор нескольких сборников стихов и романа «В Маковниках. И больше нигде». Лауреат Госпремии России им. Булата Окуджавы (2002). Живет в Москве. В «ИЖ» опубликована подборка «Лучше бы сесть мне в лодочку» (№ 22).

Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников. Один из классиков-зачинателей жанра современной авторской песни. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001), премии «Венец» Союза писателей Москвы (2005).
В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбора», «Формула сплава», «Переделкинские посиделки», «Я была вам хорошим товарищем» (№№ 3, 11, 13, 19), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседы «Другой имеет право быть другим» (№ 11, с Татьяной Бек) и «Поговорим о поэзии» (№ 23, с Сергеем Трухановым), проза «Венок сонетов» (№14-15). В 2001 году в «*Библиотеке Иерусалимского журнала*» вышла книга стихов и песен **Д. С.** «Холмы».

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и пяти книг прозы, вышедших в Москве. Живет в поселении Бейт-Арье. В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14-15), романы «Протоколы сионских мудрецов» (№ 16), «Иона» (№ 19) и «Пепел» (№№ 22-23), который в 2007 году вошел в шорт-лист премии «Русский Букер».

Владимир ХАНАН (Ханан Бабинский) родился в 1945 году в Ереване. Жил в Ленинграде и Царском Селе. По образованию историк. Репатриировался в 1996 году. Печатался в России, Литве, Америке, Франции, Германии, Австрии, Югославии, Израиле. Автор книг стихов «Однодневный гость» (2001) и «Осенние мотивы столицы и провинций» (2007) и книги рассказов «Аура факта» (2002). Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы его рецензия на книгу Павла Лукаша (№ 2) и рассказы (№№ 10, 16).

Марк ХАРИТОНОВ родился в 1937 году в Житомире. Окончил МГПИ. Работал учителем, ответсекретарем в многотиражке, редактором в издательстве. Переводил с немецкого (Г. Гессе, С. Цвейг, Э. Канетти, Ф. Кафка и др.). Дебютировал как прозаик повестью «День в феврале» в журнале «Новый мир» (1976,

предисловие Д. Самойлова). Автор нескольких книг прозы. Лауреат Букеровской премии («Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича», 1992). Живет в Москве.
В «ИЖ» № 12 опубликована проза **М. Х.** «Проект Одиночество».

София ШЕГЕЛЬ (Шегельман) родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Вышэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатриировалась в 1989 году. Сотрудничает с израильской и зарубежной русскоязычной прессой. Живет в Ашдоде.
В «ИЖ» № 14-15 в переводе **С. Ш.** опубликован рассказ Ицхокаса Мераса «Оазис», в № 17 – ее рассказ «Здравствуй, Лиза».

Светлана ШЕНБРУНН родилась в Москве. Училась на Высших сценарных курсах. Репатриировалась в 1975 году. Автор книг прозы «Декабрьские сны» (1990), «Искусство слепого кино» (1997) и романа «Розы и хризантемы» (2000), вошедшего в финальную шестерку номинантов Букеровской премии. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2001). Живет в Гиват-Зеэве.
В «ИЖ» опубликованы ее переводы из Авигдора Шахана (№ 1), Шмуэля Йосефа Агнона (№№ 2, 5), Иеудит Кацир (№ 4), Дана Орьяна (№№ 7, 19), Гершона Шофмана (№ 9), а также первая часть повести «Пилюли счастья» (№ 5).

Игорь ШНАЙДЕРМАН родился в Харькове в 1958 году. Окончил театральное отделение Харьковского института искусств по специальности «режиссёр драматического театра». Преподавал мастерство актёра и режиссуру в театральном институте, работал в украинских театрах и на телевидении. В числе его постановок: «Трёхгрошовая опера» Брехта, «Республика на колёсах» Мамонтова, «Кьоджинские перепалки» Гольдони, гоголевская «Женитьба», спектакли по пьесам Варфоломеева, Карпенко-Карого, Олеся, Ануя, Патрика и др.
Репатриировался в 1998 году. Живёт в Петах-Тикве. Работает режиссёром, редактором и телеведущим «Девятого канала».

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ родился в 1954 году под Москвой, жил в Саратове. Репатриировался в 1993 году. Женат, отец двоих детей. Публиковался в литературной периодике. Работает инженером-электронщиком. Живет в Ришон ле-Ционе.

Лидия ЭЙДУС жила в Ленинграде. Окончила механико-математический факультет Ленинградского Университета, преподавала математику в ленинградских вузах. Репатриировалась в 1980 году. В 2001 году в Иерусалиме с ее цветными иллюстрациями вышел роман Франца Кафки «Процесс», в 2003-м – книга **Л. Э.** «Иллюстрации к рассказам и романам Ф. Кафки "Процесс" и "Замок"».

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
СЕМЕН ГРИНБЕРГ. Городское. *Стихи* 3
ДАВИД ГРОССМАН. Вассерман. *Глава из романа* 9
БОРИС КАМЯНОВ. Но предан Господу и я. *Стихи* 50
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Наш выход. *Рассказы* 53
НИКОЛЬСКИЙ. Я опишу вам женщину... *Стихи* 77
ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ. Неожиданный визит. *Рассказ* 83
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ. Когда будет подан знак. *Стихи* 92
ИЛАН РИСС. Прорубь. *Рассказ* 95
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. По памяти – 2. *Стихи* 100
ТАМАРА ДУБИНА. Снег в Иерусалиме. Рассказ 101
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. Домашние реестры. Стихи 110
ВЛАДИМИР ХАНАН. Мерлин и Марлин. Рассказ 115
ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Разговор ангела-хранителя с лирическим героем в день семидесятилетия автора 120
ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
АЛЕКС ТАРН. Дом. *Времена года* 123
ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
ЮЛИЙ КИМ. Время складывать камни. *Избранные зонги* 173
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ, Дмитрий СУХАРЕВ. Диалог о Киме. 181
ЛЕОНИД ГОМБЕРГ. Между временем и бытием 186
МАРК ХАРИТОНОВ. Дверь, открытая в неизвестность. *Стихи.* . 191
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. Двор на Баррикадной. *Из книги воспоминаний* 197
НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ
АЛЕКСАНДР ЛАЙКО. Из цикла «Руины». *Стихи* 213
УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО
ЮЛИЙ МАРГОЛИН. Дорога на Запад 219
ЯФФСКИЕ ВОРОТА
РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ. Ключ от города. *Стихи* 249
ДАВИД МАРКИШ. Рассказы у костра. 255
ФЕЛИКС КРИВИН. Извините за название! 275
ИГОРЬ ШНАЙДЕРМАН. Жидёнок. *Мемуар* 276
СИОНСКИЕ ВОРОТА
РЕНАТА МУХА. И я говорю это прямо в глаза 379
ФЕЛИКС КРИВИН. Свой черёд. *Стихи* 381
ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ
РАХЕЛЬ ЛИХТ. Свиток дедушки Давида 385
РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ
БОРИС КРУТИЕР. Новые крутые мысли 398
ПОДЗОРНАЯ ГОРА
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ. Знает и помнит 413
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Пузырьки воздуха 417
УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ
ГЕТА КВЯТ-ЭЙДЕЛАНД. Сорок лет с Францем Кафкой 420
ЛИДИЯ ЭЙДУС. Иллюстрации 422
ХОЛМ ПАМЯТИ
ЕЛЕНА ИГНАТОВА. «Моя жизнь – это работа» 429
ВЕРОНИКА ДОЛИНА. Проводник 431
НОВЫЕ ВОРОТА
МАРК АМУСИН о книге Дениса Соболева 433
ИМЕНА
Авторы и персонажи 435

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,
P. 0. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В других странах – $64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:
В Израиле – 40 шекелей, включая пересылку.
В других странах – $18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Василия Емельянова (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Холон), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала.

Любые советы, предложения, а также пожертвования будут приняты с благодарностью

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Hapoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА» в 1999 – 2007 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»
Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1, 2)
Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»
Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной», «Авангардист на крышу вышел»
Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»
Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий», «Гарики предпоследние», «Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник».
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)
Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»
Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»
Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»
Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»
Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас», «Ближневосточница»
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»
Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»
Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая), «Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»
Илья БЕРКОВИЧ. «Стихи, написанные в Израиле»
Эли БАР-ЯАЛОМ. «Горизонтальная луна»
Владимир ФРЕНКЕЛЬ. «Другая осень»,
Марк БОГОСЛАВСКИЙ. «Воробьиная ночь»,
Вильям БАТКИН «Талисман души».

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)
Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА, Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Книги Феликса КРИВИНА, Илана Рисса
Владимира ДРУКА, Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ,

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Заремби, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Коэлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE
SEMEN GREENBERG. Urban motifs. *Poems*
DAVID GROSSMAN. Wassermann. *Chapters from the nove. Translated by Svetlana Shoenbrunn*
ALEXANDER VERNIK. From memory – 2. *Poems*
LEONID LEVINZON. Our entrance. *Short Stories*
NIKOLSKY. I'll portray a woman... *Poems*
TATIANA AZAZ-LIFSHITS. An unexpected visit. *Short Story*
BORIS KAMYANOV. Three poems. *Poems*
ILAN RISS. The ice-hole. *Short Story*
GENNADY BEZZUBOV. New poems. *Poems*
TAMARA DUBINA. Snow in Jerusalem. *Short Story*
ZINAIDA PALVANOVA. Household inventories. *Poems*
VLADIMIR KHANAN. Merlin and Marlin. *Short Story*
IGOR GUBERMAN. The dialogue between the guarding angel and the lyrical character on the day of the author's seventieth. *Poems*

SHKHEM GATE
ALEX TARN. A house. *Seasons*

JUBILEE QUARTER
YULI KIM. A time to gather stones. *Selected songs*
YURI RYASHENTSEV, DMITRY SUKHAREV. A dialogue on Kim
LEONID GOMBERG. Between time and existence
MARC KHARITONOV. A door opened to uncertainty. *Poems*
Elena Axelrod. Court on Barricadnaya street

GERMAN COLONY
ALEXANDER LAYKO. From the cycle "Ruins"

ZHABOTINSKY STREET
YULI MARGOLIN. The road to West

JAFFA GATE
RAFAEL SHUSTEROVICH. A key to the city. Poems
DAVID MARKISH. Stories round the campfire
FELIX KRIVIN. Excuse my title!
IGOR SCHNEIDERMAN. A little kike. Life story

ZION GATE
RENATA MUKHA. And I say it straight to the face
FELIX KRIVIN. New poems

JEWISH QUARTER
RACHEL LIGHT. Family scrolls

RUSSIAN COMPOUND
BORIS KRUTIER. New tough ideas

MOUNT SCOPUS
SOFIA SHEGEL. Knows and remembers. Family Chronicle
DMITRY BYKOV. Air bubbles

BETZALEL STREET
Getha Kvyat-Edeland. Forty years with Franz Kafka
Lidia Eidus. Illustrations

MEMORY HILL
ELENA IGNATOVA. "Nothing to change any more..."
VERONICA DOLINA. Conductor

NEW GATE
MARC AMUSIN on the new book by Denis Sobolev

NAMES
Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 24-25, 2007

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Elena Ignatova, Yuly Kim, Zinaida Palvanova, Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary: **Leonid Levinson**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina, Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky, Victor Gopman, Gregory Gordin, Svetlana Moiber, Vasily Yemelyanov**

SCOPUS Publishing House Print: ***TSUR OT***

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2007. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel
E-mail: review@antho.net
Phone: 972-2-9960827, 972-54-4745322, 972-2-6451288; Fax: 972-2-9960302

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow:	**Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru
	Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru
in New York:	**Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
	Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com
in Chicago:	**Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; sashablin@hotmail.com
	Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com
In Boston:	**Tanya Goldmakher** –1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
in Paris:	**Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@ free.fr
in Toronto:	**Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים:

שער האריות
סמיון גרינברג. עירוני – שירים
דוד גרוסמן. וואסרמן. פרק מרומן
אלקסנדר וורניק. על פי הזיכרון (2) – שירים
לאוניד לווינזון. התור שלנו – סיפורים
ניקולסקי. אתאר אישה לכם – שירים
טטיאנה עזז-לפשיץ. ביקור לא צפוי – סיפור
בוריס קמיאנוב. שירים חדשים
אילן ריס. פתח בקרח – סיפור
גנדי בזובוב. שירים חדשים
תמרה דובינה. שלג בירושלים – סיפור
זינאידה פלבנובה. רשימות ביתיות – שירים
וולדימיר חנן. מרליו ומארלין – סיפור
איגור גוברמן. שיחתו של מלאך השומר עם הגיבור הלירי ביום היובל השבעים של המחבר

שער שכם
אלכס טארן. בית – סיפור

שער יפו
רפאל שוסטרוביץ'. מפתח העיר – שירים
דוד מרקיש. סיפורים ליד המדורה
פליקס קריבין. סליחה על הכותרת!
איגור שניידרמן. יהודונון. זיכרונות

קרית יובל
יולי קים. עֵת כְּנוֹס אֲבָנִים – פזמונים נבחרים
יורי ריאשנצב, דמיטרי סוחנוב. דו-שיח על קים
לאוניד גומברג. בין זמן והוויה
מרק חריטונוב. דלת הפתוחה אל לא נודע – שירים
ילנה אקסלרוד. חצר ברחוב בריקדנאיה

מושבה גרמנית
אלכסנדר לאיקו. מתוך מחזור "חורבות"

שער ציון
רנטה מוחה. זאת אני אומרת ישר לעינייך – שירים
פליקס קריבין. שירים חדשים

מגרש הרוסים
בוריס קרוטיאר. מחשבות חזקות חדשות

הר הצופים
סופיה שגל. לדעת ולזכור
דמיטרי ביקוב. בועות אויר

הרובע היהודי
רחל ליכט. מגילות משפחתיות

רחוב ז'בוטינסקי
יולי מרגולין. הדרך למערב

הר הזיכרון
ילנה איגנטובה. "ואין בה דבר לשנות"

השער החדש
מרק אמוסין על ספר מאת דניס סובולב

שמות
יוצרים ודמויות

כתב-עת ירושלמי **2007. 24-25**

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת **"אנתולוגיה ירושלמית"**

מערכת:
איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון

מזכיר – לאוניד לוינזון
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון

תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,ווסילי ימלינוב, סבטלנה מויבר, אילן ריס

הוצאה לאור: **"סקופוס"** הדפסה: דפוס **"צור-אות"**

בתמיכת

קרן ספרות ע"ש י. בבל

מועצת הפיס
לתרבות ולאמנות

בית מורשת אורי צבי גרינברג

2007 © כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-6451288, 0545-766722
E-mail: review@antho.net

ПРОЛОГ

реет над бездной дух катится круг времён
реки текут к морям в небо глядятся души
и восстает из тьмы огненный вавилон
сто покорит племён сто городов порушит

стонет гудит набат миг и уже дрожит
вовсе не горний свет а серебра и злата
солнце летит в закат ворон во тьме кружит
миг и любимый брат возненавидит брата

и загорится дом и запылает храм
и разметает жар камни ерусалима
стелется чёрный дым реки текут к морям
бездна полна времён духом одним хранима

может и сладок плен но и чужбине срок
у вавилонских рек слёзы не лить веками
в мире где всё течёт всё-таки есть отсчёт
отчего края лад краеугольный камень

скальных его пород не сокрушить царям
даже царям царей с места его не стронуть
вечер ползёт угрюм ветер свистит упрям
и возродится род чтобы любить и строить

вот он во мраке бед вот он во тьме разрух
вновь подымает храм чтобы стоял веками
катится круг времён реет над бездной дух
и освещает нам краеугольный камень

июль 2007

Игорь Бялсий

